

Философия ПОЛИТИКИ

ВСЬ
МИР

Э.А. ПОЗДНЯКОВ

Философия
ПОЛИТИКИ

Издательство «Весь Мир»

Москва

2014

УДК 321.01+327
ББК 66.0
П 47

Поздняков Э.А.

П 47 **Философия политики.** 3-е издание, исправленное и дополненное. — М.: Издательство «Весь Мир», 2014. — 544 с.

ISBN 978-5-7777-0588-4

Автор не считает свою книгу ни учебником, ни научной монографией. Здесь представлено авторское, иногда полемически заостренное, понимание политики как полнейшего выражения социального бытия людей в ее наиболее существенных аспектах, подкрепленное суждениями великих философов, политических мыслителей и реальных политиков. Книгу отличает ясное изложение, глубина анализа и стремление с его помощью сделать более понятными драматичные события нашей внутренней и международной жизни.

Книга рассчитана на широкую аудиторию — студентов и преподавателей политологических и социологических институтов, факультетов и кафедр, научных работников, практических политиков, а также всех, кто интересуется проблемами политики.

УДК 321.01+327
ББК 66.0

Отпечатано в России

ISBN 978-5-7777-0588-4

© Э.А. Поздняков, 2014

Оглавление

Введение	9
Глава I. НАУКА О ПОЛИТИКЕ: СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ	15
Ценностный (аксиологический) подход в политической науке	23
Наука национальная или наука общечеловеческая	32
Возможно ли «объективное» познание социально-политической действительности?	48
Может ли быть создана теория политики?	57
Глава II. ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВО	72
Понятие политики	72
Государство: природа и происхождение	82
Государство как олицетворение общего начала	98
Суверенитет государства	101
Государство как воплощенная сила	108
Государство — воплощение духовной идеи	119
Глава III. ПОЛИТИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ	143
О критериях нравственности политики	143
Нравственность, свобода воли, политика	157
Нравственность и государство	169
Средства политики и нравственность	182
Нравственность и международная политика	190
Глава IV. ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЯ	204
Понятие идеологии	204
Гносеологические и исторические корни идеологии	206
Идеология и социально-политический прогресс	217
Связь идеологии и политики	232

Глава V. ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА	238
Политика versus экономика	238
Экономика и политика в международных отношениях	251
Глава VI. НАЦИЯ, НАЦИОНАЛИЗМ, ПОЛИТИКА	264
О понятии «нация»	267
Что понимается под национализмом? Национализм и политика	291
Особенности «русского национализма»	307
Есть ли будущее у национализма?	316
Глава VII. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА	320
Понятие национального интереса	322
Внутренний аспект национального интереса	329
Внешний аспект национального интереса	346
Национальный интерес и Россия	356
Внутренняя и внешняя политика: соотношение	365
Глава VIII. ПОЛИТИКА И ВОЙНА	377
О причинах войны	377
Война как случайность и как необходимость	395
Клаузевиц о войне и ее связи с политикой	410
Jus ad bellum VS jus in bello	418
Нравственна ли война?	424
Глава IX. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА	433
Мировая политика как система отношений между государствами	436
Структура системы межгосударственных отношений	440
Понятие силы в мировой политике	447
Понятие баланса сил	458
Глава X. ГЕОПОЛИТИКА	484
От географического детерминизма до геополитики	487
Понятие геополитики	510
Граница как геополитический фактор	514
Геополитическая структура современного мира	521
Рост населения планеты как геополитический фактор	535

*Мы должны радоваться, если наше рассуждение
окажется не менее правдоподобным,
чем любое другое, и притом помнить,
что и я, рассуждающий, и вы, мои судьи,
всего лишь люди, а потому нам приходится
довольствоваться в таких вопросах
правдоподобным мифом, не требуя большего.*

Платон. «Тимей»

Введение

Современный мир политизирован до предела. Политика проникла во все поры человеческих отношений, не оставив, похоже, ни одной области, где бы не ощущалось ее влияния. В прежние, теперь уже отдаленные времена человек мог еще как-то скрыться от нее, еще существовали отдельные «островки» жизни, свободные от масштабного и далеко не всегда благотворного ее воздействия. Сегодня он в полном плену у политики; он активный или пассивный ее участник и неотъемлемая частица; он мыслит и действует политически, даже если не осознает того, — как мольеровский герой не знал, что всю жизнь говорил прозой. Повседневная «проза» нашего времени — это политика, и все мы, осознавая это или нет, говорим ее языком.

Несмотря на такую всеохватность политики, глубину ее проникновения в нашу жизнь, в научном сознании, не говоря уже о сознании обыденном, о ней нередко существуют самые превратные представления. И это неудивительно: политика слишком близка к самым глубоким, самым сокровенным интересам человека, социальных групп, государств; она затрагивает наиболее чувствительные струны человеческих отношений, страстей, устремлений, надежд и помыслов людей. Политика, как говаривал Макс Вебер, — это *слава божественного и дьявольского начал*, и последнее слишком часто берет в ней верх. Вот почему лицемерие, сокрытие истины, демагогия, интрига — обычная атрибутика того, что принято называть политикой. Если есть правда в выражении, что человеку язык дан, чтобы скрывать свои мысли, то она относится, прежде всего, к сфере политики. Кстати, само это высказывание принадлежит Талейрану — человеку, снискавшему в политике далеко не безупречную славу.

Однако эти черты политики, столь знакомые всем по романтизированной истории или повседневной жизни, отражают лишь одну ее сторону, сторону внешнюю, подчас авантюристическую, часто привлекательную, но далеко не главную. В предлагаемой книге она остается в стороне, хотя автор и отдает себе отчет в том, что тем са-

мым лишает ее привлекательности и теряет многих потенциальных читателей. Задача книги иная: рассмотреть политику как социальный феномен в наиболее существенных ее аспектах и гранях; показать, что политика есть полное выражение глубинной природы человека как *Homo sapiens*; что она неотъемлема от всего его существа и его бытия, как неотъемлемы от него разум, мысль, слово. Она составляет и внутреннюю, и внешнюю его среду; в ней он только и может жить, дышать, действовать, а вне политики — задыхается, подобно выброшенной на берег рыбе.

Как автор, я вполне осознаю, что предмет, за который я взялся, поистине безграничен и необъятен, не говоря уже о многочисленных надводных и подводных препятствиях, лежащих на пути его изучения. Но, быть может, именно понимание этого позволило определить должные границы исследования, обозначенные десятью предлагаемыми разделами, каждый из которых отражает соответствующий аспект политики.

Автор назвал книгу «Философией политики», вполне сознавая, что оно не без претензий и ко многому обязывает. Но если под философией понимать, как минимум, учение об общих основах и принципах бытия (а политическое бытие есть не только важнейшая, но и имманентная часть социального бытия человека), а также учение об отношении человека к этому политическому миру — отношении не только прагматическом, но и ценностно-познавательном, — то именно исследованию этого круга проблем и посвящена книга.

Дать полную обобщенную систему взглядов и представлений о таком сложном феномене, каковым является политика, — задача, в общем, непосильная для одного человека, и я, как автор, естественно, не мог ставить ее перед собой. В то же время, опираясь на собственный многолетний опыт научно-исследовательской и преподавательской работы, я стремился рассмотреть политику в виде единой системы взглядов и общих принципов. Хотя в своем исследовании я и отталкивался от всего ценного, что создано прошлыми и современными политическими мыслителями, предлагаемая в книге система взглядов, разумеется, субъективна, поскольку выражает личную точку зрения автора на рассматриваемые проблемы, не во всем совпадающую с утвердившимися в политической науке суждениями, а порой и противоречащую им.

И еще: всё, что связано с философией, вызывает нередко у читателя ассоциацию с чем-то сложным по изложению и для понимания. Учитывая это, я стремился избегать всякой «засушенности», тяжелого «профессионального» языка, которым грешат многие

философские сочинения, а также обязанности выдвигаемых положений, определений и выводов. Я старался строить материал в форме мысленного диалога с читателем, чтобы привлечь его к активному восприятию излагаемых в книге положений, пробудить в нем критическое отношение к прочитанному, вызвать ответную мысль и, если хотите, даже протест против концепций автора, желание поспорить с ним.

В условиях небывало возросшего в последнее время интереса к политике, к политической науке (или, как нынче принято говорить, к политологии) предлагаемая читателю книга может использоваться как дополнительное пособие для студентов политологических факультетов институтов и университетов, равно как и для преподавателей политологии, хотя, повторяю, в строгом смысле она таковым не является.

В книге широко используется мировая классическая литература по философии и теории политики и международных отношений. Данное обстоятельство немаловажно, если относиться к книге как к пособию, которое может помочь интересующимся политикой погрузиться в атмосферу политической мысли, начиная с древнейших времен и по настоящее время. Дело в том, что политической классикой у нас долгое время пренебрегали; вернее, ее изучение ограничивалось несколькими известными именами и еще меньшим числом работ, да и те стояли далеко не в первых рядах библиотечных полок, если стояли вообще. Такие имена, как Фукидид, Платон, Аристотель, Боден, Макиавелли, Спиноза, Монтескье, Руссо, Гегель, Ранке, М. Вебер, Дюркгейм, Шпенглер, Тойнби, не говоря уже о Рейнольде Нибуре, Гансе Моргентау и других современных политических мыслителях, в том числе имена отечественных философов — Н. Бердяева, Н. Данилевского, И. Ильина, К. Леонтьева, Л. Карсавина, И. Солоневича, Л. Тихомирова, Г. Федотова и других, были, в общем, достоянием небольшого круга специалистов. По крайней мере, студенческой и академической аудитории они были известны больше понаслышке, да и то не все.

Широкое использование автором политической классики в определенной мере было обусловлено и просветительской задачей, но лишь в определенной мере. Главным же образом оно служило неисчерпаемым источником мыслительного материала, иллюстрацией преемственности в развитии политической мысли, равно как и целям подкрепления собственных авторских концепций и взглядов практически по всем излагаемым в книге проблемам. Взгляды же эти, как я уже заметил, не всегда и не во всем совпадают с общепринятыми и

привычными подходами, а потому могут показаться в каких-то случаях парадоксальными. Однако, как показывает опыт, необычный, порой даже парадоксальный угол зрения, казалось бы, на известные «истины» не только не мешает, но, наоборот, помогает лучшему восприятию материала и пробуждению живого интереса к рассматриваемым проблемам политики и политической науки.

Но даже если читатель не согласится с авторским подходом и трактовкой тех или иных понятий, событий, проблем и вопросов политики и политической науки, книга, надеюсь, не оставит его равнодушным и не окажется для него бесполезной. Быть может, даже наоборот: тогда-то она и принесет ему наибольшую пользу, ибо истинное познание всегда сопровождается сопротивлением материала.

Как бы то ни было, я, как автор, тешу себя надеждой, что книга будет интересной и полезной для всех, кто профессионально (и непрофессионально тоже) интересуется проблемами политики и международных отношений. Полагаю, она поможет развитию у читателя самостоятельного, свободного от догматизма мышления и пробудит неподдельный интерес к политической науке, в первую очередь тех, кто готовит себя к службе на государственном поприще. Именно это больше всего побуждало автора к тому, чтобы максимально избегать всякого догматизма и особенно той его формы, которая основывается на абстрактных идеалах и принципах, далеких от реальной жизни, а потому и наиболее губительных для политики. В этом смысле автор разделяет позицию известного американского социолога, философа, экономиста и публициста Грэхема Самнера (1840–1910), писавшего:

«Наихудший порок в изучении политики представляет тот вид догматизма, который исходит из высоких принципов или предположений вместо точного изучения вещей такими, какие они есть на самом деле, и человеческой природы, какой она являет себя в жизни... Идеалы рождаются на основе более возвышенного представления о вещах, чем они есть на самом деле; и часто, даже бессознательно, идеал начинает рассматриваться как нечто реальное, но тем самым создается почва для разного рода спекуляций, не имеющих под собой никакой почвы... Метод абстрактных спекуляций вокруг политических вопросов порочен и опасен в принципе. Конечно, куда легче вообразить себе новый идеальный мир, нежели выяснить, что представляет собой мир существующий. Куда проще пуститься в спекуляции, основанные на нескольких самых общих положениях, нежели изучать исторические основания государств и их учрежде-

ний; куда спокойней держаться популярной догмы, нежели выяснять, соответствует ли та жизненным обстоятельствам и основанной на них истине или нет»*.

В этих словах слышатся отголоски мыслей Макиавелли, Спинозы, Гегеля, придерживавшихся в своих политических рассуждениях земной правды, как бы та ни была горька и неприятна. Как автор, я стремился следовать великим Учителям прошлого и быть настолько близким в своих логических построениях к «грешной» земле нашей, насколько это возможно. В какой мере это удалось — судить читателю.

* Цит. по: *Morgenthau H. Politics Among Nations. The Struggle for Power. 4-th edn. N.Y., 1967. P. 16.*

Глава I

НАУКА О ПОЛИТИКЕ: СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Из собственного опыта я хорошо знаю, что понятие «методология», а тем более — «методологические основы» нередко вызывает у читателя нечто вроде идиосинкразии, заранее навевая на него скуку и отвращая от чтения. Тому есть, конечно, свои причины. Под методологией обычно понимают науку, которая вооружает историка, социолога или политолога необходимыми методами работы с материалом и правильного, логического его изложения.

Конечно, это далеко не так. Методология — отнюдь не свод правил и не инструкция начинающему ученому или студенту. Даже самое глубокое знание методологии никого не может сделать историком, социологом или политологом. Наука возникала и ее конкретные методы разрабатывались в ходе решения конкретных проблем, но отнюдь не благодаря гносеологическим или методологическим соображениям. Поэтому правомерно утверждать, что всякая конкретная наука одновременно есть и методология.

Однако понятие методологии имеет и другой смысл. Под ней понимается некоторое целостное мировоззрение, кредо, символ веры, или, выражаясь метафорически, тот «магический кристалл», сквозь который исследователь смотрит на мир и оценивает его как реальность. Именно такой была марксистская методология, методология позитивизма, гегелевская и всякая иная, заслуживающая внимания. Задача методологии как раз и видится в создании такого, условно говоря, «магического кристалла», или, иными словами, в разработке и формулировании общих мировоззренческих принципов.

Задача, что и говорить, чрезвычайно сложная. Редко кому она удавалась сполна. Но без ее более или менее удовлетворительного решения изучаемая реальность лишается целостного видения, содержания и формы. В таком случае любого человека, тем более политолога,

можно уподобить лодке «без руля и без ветрил», плывущую по воле волн. И если методологию брать в таком именно смысле, то можно, в общем, утверждать, что каждый человек, имеющий твердую почву под ногами, имеет и свою собственную методологию, даже если он лавочник, получающий прибыль за счет ближнего (впрочем, как раз он — скорее всего).

В этом смысле многие отечественные ученые, прежде всего работающие в сфере общественных наук, попали в довольно сложную ситуацию. Дело в том, что вместе с разрушением прошлого их мира (Советского Союза) было разрушено и здание марксистской методологии, долгие годы служившей тем самым главным «магическим кристаллом». Потеряв его, многие утратили и прежнюю достаточно твердую почву под ногами, а также критерии оценки окружающего мира. Сегодня марксистская методология рассматривается многими как ложная. Так ли это? А если так, то в каком смысле можно объявлять ту или иную методологию, равно как и всякую веру, идеологию, мировоззрение, учение, ложной? Конечно, наивно утверждать, что марксизм есть единственное истинное учение, как это делалось в недалеком прошлом. Но еще большей наивностью было бы обратное утверждение, а именно, что тот вообще ложен. Ложность или истинность методологии, идеологии, веры, учения определяются отнюдь не большей или меньшей обоснованностью их положений — обосновать при желании можно всё, что угодно. Любая методология, вера, учение истинны только в определенном социокультурном ареале, где они признаются таковыми; за его пределами они, по сути дела, всегда утрачивают это качество. Сегодня марксистское учение вместе со своей методологией для многих стали «ложными» не столько сами по себе, сколько по причине изменения того общественного строя, в котором те считались истинными. Вместе с его изменением стали быстро меняться и наши представления об окружающем мире, что, в свою очередь, вызвало потребность в новой методологии, новом «магическом кристалле».

Признавая всё это, я, как автор, вовсе не ставил своей задачей дать новый «магический кристалл», хотя, конечно, в меру своих сил и возможностей стремился обозначить некоторые направления, двигаясь по которым можно, как я надеюсь, найти какие-то опорные точки, способные послужить для интересующихся сферой политики своего рода азимутом в наше беспокойное и смутное время.

Что касается марксизма, мы погрешили бы против истины, если бы не отметили, что как учение он содержит ряд положений, явно идущих вразрез с тем, что мы наблюдаем в реальности. Речь тут

идет и о главной марксистской идее приоритета материи над духом, бытия над сознанием и, как одно из следствий, экономики над политикой и остальными сферами духовной жизни человека. Можно признать (и то не без существенных оговорок) приоритет материального над духовным в соотношении «человек–природа». Я говорю «не без существенных оговорок», потому что представления человека об окружающем природном мире суть конструкции его мыслящего разума, о чем свидетельствует постоянная их корректировка по мере развития наук. Что же касается утверждения приоритета материального над духовным в случае, когда речь идет об отношениях общественных, тут оно порой просто искажает картину происходящих процессов и саму природу человека как существа одновременно и мыслящего, и общественного. Нас же интересует как раз соотношение «человек–общество», поскольку именно в данном измерении творится политика.

Аристотель в своей знаменитой «Политике» — труде, к которому я буду не раз обращаться, — высказал простую и в то же время замечательную мысль, ставшую афоризмом: «*Человек по природе своей есть существо политическое*»¹.

Данный афоризм содержит два важных смысловых узла, на которые я обращаю внимание читателя. Те заключены в словах: «*по природе своей*» и «*существо политическое*». Слова «по природе» надо понимать так, что людям во все времена их существования были неизвестны иные состояния, кроме состояния общественного, а тем самым и политического. Подобно Афине Палладе, вышедшей во всеоружии из головы Зевса, человек как *Homo sapiens* сразу же утвердился на Земле как существо политическое. Это же значит, что всё бытие человека во всех его аспектах и проявлениях есть бытие политическое, к какой бы его стороне мы ни обратились — экономической, этической, религиозной, гражданской или иной. То, что все они так или иначе связаны с политикой, зависят от нее, испытывают ее влияние — это, думается, вряд ли может вызывать сомнения. Не случайно тот же Аристотель называет политику важнейшей и самой главной из всех искусств и наук, ибо ее цель — высшее благо, которое, в свою очередь, неотрывно от государства².

При столь широком подходе к определению политической науки может возникнуть мысль о ее безграничности, всеохватности и связанных с этим трудностях в определении самой сферы политики. Такие трудности, разумеется, существуют; однако они не непреодолимы. Утверждение, что все человеческие отношения так или иначе носят политический характер, отнюдь не имеет целью заменить

экономический монизм монизмом политическим. Ведь совсем еще недавно мы считали (а некоторые считают и до сих пор), что в основе всего человеческого бытия лежит экономика, тогда как многообразные духовные отношения между людьми — это лишь политико-юридическая, философская и, в целом, идеологическая надстройка над ней. До сих пор многие сохраняют веру в истинность тезиса, что бытие определяет сознание, хотя в реальной жизни это далеко не так, и мы сплошь и рядом видим, как сознание определяет бытие, меняя его и даже ломая.

Предварительной посылкой, позволяющей уйти от жесткости как экономического, так и политического монизма, является, как минимум, признание того, что бытие определяет сознание не в большей мере, чем сознание — бытие. Но это «как минимум». Если же смотреть в корень вещей и в корень особой природы человека, то, думается, ближе к истине всё же апостол Иоанн с его *«В начале было Слово»*.

Именно «Слово», а значит — мысль, идея, разум — есть то, что выделяет человека из остального животного мира, определяет подлинную его природу, отличающую от остальных существ. Разум же — это способность образования всеобщих, абстрактных представлений, называемых понятиями. Эти понятия, как обобщения многих единичных вещей, составляют *основу языка*, а через него — мышления, а через него — осознания не только настоящего, свойственного также и животным, но прошлого и, более того, будущего. Отсюда, как писал идеалист Шопенгауэр, — обдуманность, предусмотрительность, планомерная совместная деятельность, ремесла, искусства, науки, религии и философии — словом, все то, чем жизнь человека так резко отличается от жизни остальных животных³.

Но ведь и материалист Маркс, по сути дела, выражал ту же точку зрения, утверждая, что самого плохого архитектора отличает от самой лучшей пчелы то, что у него план здания всегда предварительно имеется в голове в виде идеального образа (идеи). Или, как это выразил другой великий немец — Генрих Гейне: *«Мысль предшествует действию, как молния — грому»*. Много позже, подтверждая ту же мысль, такой строгий марксист, как Плеханов, писал, что

«нет ни одного исторического факта, которому не предшествовало бы... и за которым не следовало бы известное состояние сознания»⁴.

В данном пункте мы обнаруживаем замечательное сопряжение и созвучие взглядов Аристотеля, апостола Иоанна, Маркса и других мыслителей, столь разных во многих других отношениях. Да, человек

есть существо политическое *по природе своей*, как существо мыслящее. Мыслящим же он стал с момента овладения Словом. Но Слово есть также инструмент социального общения людей. Оно само могло возникнуть только в общении и, в свою очередь, существует и развивается только благодаря общению. Без Слова нет Человека, без того и другого нет общества; без последнего нет политики. В этой цепочке все звенья неразрывно связаны и взаимообусловлены. У английского философа Томаса Гоббса были все основания утверждать:

«Без способности речи среди людей не было бы ни государства, ни общества, ни договора, ни мира в такой же мере, как этого не бывает среди львов, медведей и волков. Первым творцом речи был сам Бог, который научил Адама, как называть вещи...»⁵.

И в самом деле, социально-политические явления присущи только совместной жизни людей, наделенных разумом. Именно те, будучи продуктом их сознательной деятельности, и составляют в своей совокупности реальное бытие человека. Другого он никогда не знал и не знает. От времени появления человека как такового, то есть как политического существа (а иные его состояния нам неизвестны), и по настоящее время его бытие во всех своих проявлениях — семья, государство, гражданские, правовые, экономические и политические учреждения, различные договорные отношения и т.д. — выступало и выступает как результат воплощения идей, взглядов, которые человек имеет относительно всех этих вещей⁶.

Если говорить обобщенно, то всё социальное бытие человека без всякого изъятия есть не что иное, как идея, реализованная в духовные и материальные формы. И уже в этой реализованной, «овеществленной» форме бытие оказывает обратное воздействие на сознание человека, формируя и меняя его. Взятая именно в таком значении формула «бытие определяет сознание» наполняется подлинным содержанием, а человеческий разум освобождается из плена подчиненного, рефлектирующего состояния, в которое его загнала материалистическая философия.

Думаю, не нужно доказывать, что политические отношения, политический строй всякого народа имеют в основе своей культуру общества, рассматриваемую в самом широком плане как система политических, экономических, правовых, эстетических, этико-религиозных идей, взглядов, представлений, мировоззрений, традиций и установлений. И эта культура — отнюдь не «надстройка», не какой-то «довесок» к базису и не его порождение. Культура, в указанном

смысле, сама есть *основа бытия* общества во всех его основных проявлениях, включая экономику. Она есть плод деятельности человека, обладающего разумом и свободой воли (пусть даже ограниченной). Культура всякого народа образует своего рода духовный каркас, имеющий огромный запас прочности и устойчивости по отношению к внутренним и внешним воздействиям и возмущениям. Так называемый экономический базис сам есть порождение и отражение культуры в указанном выше смысле. Это подтверждается и исторически. Можно с хронологической точностью показать, что повсюду изменения в сознании, в идеях намного *опережали* изменения в так называемых производственных, материальных отношениях; они исподволь готовили последние, служили их идейной основой, базой. Вот почему известное выражение «*Идеи правят миром*» — не просто удачный и броский афоризм: оно исполнено глубокого смысла.

Реформационные, ренессансные и другие великие исторические духовные движения зарождались в массовом сознании раньше или протекали параллельно развитию экономических материальных отношений, и притом нередко с гораздо большей интенсивностью. Идейные основания феодального Средневековья в виде стоицизма, христианского учения появились и получили затем широкое распространение в массовом сознании задолго до становления его материальной базы. Ренессанс и Просвещение были идейными предшественниками буржуазных отношений. О социализме не приходится и говорить: он весь вырос из умозрительной идеи; в реальной жизни очень долго практически отсутствовали значимые материальные его предпосылки. Это одна из причин, почему при его реализации политическими методами у нас и в других странах реальная жизнь подверглась серьезной деформации, поскольку она не вошла в искусственную схему.

Политика, таким образом, как и всемирная история в целом, совершается и творится в *духовной, идейной сфере*. Данное, по сути дела, аксиоматическое утверждение не нужно, однако, понимать в том смысле, что политика — это сфера только разума, сфера рационального сознания. Нет ничего более далекого от истины. Главный «агент» исторического и политического процесса есть человек во всей сложности своей природы, в совокупности рационального и иррационального, материального и духовного, свободы и необходимости. Рационально-рассудочная деятельность человека удовлетворяет только часть, притом не самую большую, всей жизни человека, и часто оказывается бессильной перед его чувствами, страстями, аффектами. Этот момент отмечал Гегель.

«Ближайшее рассмотрение истории, — читаем у него, — убеждает нас в том, что действия людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов, их характеров и способностей, и притом таким образом, что побудительными мотивами в этой драме являются лишь эти потребности, *страсти, интересы и лишь они играют главную роль*» (курсив мой. — Э.П.).

Разумеется, существуют и общие цели: желание добра, любовь к отечеству и другие, но эти добродетели, по мнению Гегеля, «играют ничтожную роль в отношении к миру и к тому, что в нем творится». И наоборот, страсти, своекорыстные цели, удовлетворение эгоизма имеют наибольшую силу; они не признают никаких границ, которые право и нравственность стремятся установить для них; эти силы ближе к природе человека, чем искусственное воспитание, благодаря которому человек приучается к порядку и к умеренности, к соблюдению права и к моральности. В общем, заключает Гегель, *«ничто великое в мире не совершалось без страсти»*⁷.

Кстати, всё, что произошло в нынешней России за последние 20 с небольшим лет, подтверждает мысль Гегеля. Правда, что касается «великого», то в данном случае оно больше относится не к созидательной, а разрушительной стороне происходившего. Увы, эта сторона человеческой жизни часто оказывается преобладающей.

Хорошо известна глубокая мысль Маркса, что идея, овладевшая массами, становится материальной силой (как мы видим, идеальное и здесь ставится впереди материального). По сути дела, высказанная им мысль есть парафраз афоризма *«Идеи правят миром»*. Народные традиции, обычаи, привычки, правила поведения, общественная нравственность и т.д. суть не что иное, как укоренившиеся в жизнь идеи, «материализовавшиеся» вследствие многолетнего повторяющегося опыта. Благодаря этому они становятся объективным социальным и политическим фактом и в этом качестве определяют поведение людей, их отношение к жизни, к окружающему миру, становятся, иными словами, объективной необходимостью.

Идея вовсе не обязательно всегда строго рациональна. Рациональная по форме, она часто имеет иррациональную природу. Собственно, все великие идеи, лежавшие в основе крупных исторических движений и свершений, были в значительной степени иррациональными по своему происхождению, были выражением жизненных, не всегда рационально осознаваемых потребностей человека. Они шли из недр человеческого бытия со всеми его предрассудками, стремлениями, страстями, интересами как духовными, так и

чувственными и материальными. Становясь материальной силой и овладевая массами, они часто играли не только созидательную роль, но и роль деструктивную, разрушительную.

Вот в этом непрерывном столкновении и борьбе идей, страстей, разнообразных и часто противоположных интересов, по сути дела, и создается человеческая история, творится политика. Без учета всех этих сторон человеческой природы понять такое сложное социальное явление, как политика, просто невозможно. Выше было сказано, что политика совершается в духовной сфере. Но отождествлять духовное, как это порой делается, только с высокой, добродетельной стороной жизнедеятельности человека, также было бы ошибкой. Как справедливо отмечал один из видных политических мыслителей Рейнольд Нибур,

«и худшие формы человеческих дурных деяний имеют духовную основу»⁸.

И в самом деле, добро и зло соединены в человеке и в мире таким образом, что дают основание и для самых высоких взлетов человеческого духа, и для самого глубокого его падения. Поэтому на известный вопрос пушкинского Моцарта: совместны ли гений и злодейство? — ответ может быть один: *да, совместны*⁹.

Мир на каждом шагу свидетельствует о совместности гения и злодейства как в одном лице, так и в целом народе, в тех или иных деяниях. Наш великий поэт Гавриил Державин ту же мысль исчерпывающим образом выразил в следующих строках:

«Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю.
Я царь — я раб,
Я червь — я Бог!»

Как верно отмечает тот же Нибур, человек в своем величии и ничтожестве, в своих высоких помыслах и в эгоистическом падении был, есть и всегда будет более сложным существом, чем его понимает современная культура. Мудрецы наших дней носятся с минимальным набором человеческих мерок, способных измерить лишь то, что не относится к делу, но едва затрагивающих те высоты и глубины, которые как раз и важны.

Итак, в качестве одной из теоретических посылок к изучению социально-политических явлений назовем *приоритет разумно-*

духовной стороны жизни человека над материальной, которая, в конечном счете, является воплощением первой. В своей совокупности, в своем неразрывном единстве они и образуют подлинное бытие человека как «политического животного».

Ценностный (аксиологический) подход в политической науке

Хотя в жизни человека как существа политического разум играет ведущую роль, было бы, однако, ошибочно абсолютизировать данный вывод. Он справедлив разве что в общефилософском смысле. Человек во все времена пытался строить свою жизнь на рациональных началах, на основе разума и логики, однако исторический опыт свидетельствует о другом. Страсти и аффекты, симпатии и антипатии, надежды и опасения за свое существование, равно как и за свою семью, общество, этническую или социальную группу, государство, — вот что преобладало над логикой и доводами разума и определяло движение истории. Свой «Политический трактат» Бенедикт Спиноза начинает следующими словами:

«Те, кто тешит себя мыслью, что народную массу или стоящих у власти можно склонить руководствоваться в их жизни одним разумом, те грезят о золотом веке поэтов или о сказке»¹⁰.

То же самое, в принципе, можно сказать и относительно мнений, которых люди придерживаются друг о друге, и суждениях, выносимых ими по поводу всего, что их окружает. Вслед за Спинозой скажем: те, кто тешит себя надеждой встретить «объективные», непредвзятые мнения, оценки и суждения людей в политической сфере, те грезят о несбыточном: они по природе вещей не могут быть таковыми и всегда носят оценочный, а следовательно, предвзятый характер. И впрямь: мы видим, как в социологии, политологии или истории одни и те же события объявляются то благотворными, то пагубными в зависимости от пристрастий ученого или политика, и каждый для подтверждения верности своего суждения и опровержения другого находит достаточно веские доводы и аргументы.

Уже давно сказано и доказано, что суждения в сфере истории и социальных наук, включая политологию, являются в основе своей ценностными, или, говоря простым языком, — предвзятыми. Трудно назвать крупного мыслителя, кто прошел бы мимо этой проблемы.

К ней обращались Платон, Аристотель, Гоббс, Спиноза и многие другие. Тот же Гоббс отмечал, что слова, помимо значения, обусловленного природой обозначаемой с их помощью вещи, имеют еще значение, обусловленное природой, наклонностями и интересами говорящего, то есть его *ценностной* позицией.

«Один человек, — пишет он, — называет мудростью то, что другой называет страхом, один называет жестокостью то, что другой называет справедливостью, один — мотовством то, что другой — великодушием, один — серьезностью то, что другой — тупостью»¹¹.

И это в обыденном общении; в политике же, где речь идет об интересах больших социальных групп, классов, партий и государств, такое различие и многообразие в суждениях и оценках умножается многократно.

Большой вклад в развитие и обоснование *ценностного* подхода внесли и выдающиеся современные социологи и политологи. Среди них назовем имена Освальда Шпенглера, Эмиля Дюркгейма, Карла Манхейма, Макса Вебера. Ценностный подход часто связывается с именем Макса Вебера, и не случайно. В своих суждениях он исходил из посылки, что политические, нравственные, культурно-эстетические стороны жизни *выходят за пределы научно постигаемой действительности*, поскольку содержат в себе моменты оценки, нормативности. Отсюда одной из существенных особенностей социально-политических проблем является то, что они не могут быть решены на основе чисто рациональных, а значит, непредвзятых, объективных соображений, вытекающих из неких общезначимых установок и целей, равно как и с помощью технических приемов и методов. В этой сфере, считал он, речь может и должна идти *о ценностных параметрах*, ибо такие проблемы поднимаются до уровня общих вопросов культуры. В свою очередь и культура сама есть для Вебера ценностное понятие. Значение того или иного явления культуры *не может быть выведено и обосновано* с помощью системы законов и понятий, какой бы совершенной та ни была, так как это значение предполагает соотнесение культуры с ценностными идеями.

«Эмпирическая реальность, — пишет Вебер, — и есть для нас “культура” потому, что мы соотносим ее с ценностными идеями... культура охватывает те — и только те компоненты действительности — которые в силу упомянутого отнесения к ценности становятся *значимыми для нас*»¹² (курсив мой. — Э.П.).

Данное положение принципиально важно для раскрытия сути ценностного подхода, в частности применительно к сфере политики, являющейся неотъемлемой частью культуры. Здесь важно верное понимание того, что означают слова «*значимое для нас*». Культуру часто понимают слишком широко, подводя под нее всё, что создано человеком в духовной и материальной сферах вообще. Хотя такое понимание имеет право на существование, оно мало что объясняет. Для китайского кули, египетского феллаха или русского крестьянина не представляет никакой значимости и ценности культура, скажем, ацтеков или майя, хотя для отдельных представителей тех же стран она может являть целый мир. Но для того же китайского кули имеет несомненную ценность конфуцианская этика, для второго — мусульманская культура, имеющая истоки в соответствующей религии; для третьего — православие в доступных ему формах культуры. Они-то и лежат соответственно в основе их отношения к миру.

Говоря словами немецкого социолога Карла Манхейма, существует не один коллективный опыт с одной особой направленностью: «мир» познается различным образом. Одновременно существующие и отличающиеся друг от друга тенденции мышления борются за свои толкования мира, данного им в опыте. Ключ к конкретному пониманию этого многообразия дает отнюдь не «предмет в себе» (ибо тогда было бы непонятно, почему он «преломляется» столь различным образом), а различие взглядов, ожиданий, стремлений и возникающих из конкретного опыта импульсов¹³. Последние же сами различаются в зависимости от социального окружения.

Что касается содержания слов «значимое для нас», раскрыть его поможет взгляд Освальда Шпенглера на сущность культуры. Говоря о культуре, вернее, о культурах, он использует применяемое в биологии понятие *габитуса*, означающего присущий каждому растению особый способ внешнего его проявления: характер и ход развития, продолжительность жизни и ее темп, в силу чего оно каждой своей частью и на каждой ступени своей жизни отличается от всех прочих растительных видов. Понятие это вполне применимо, считает Шпенглер, и к великим «организмам» истории. В этом смысле можно говорить о габитусе индийской, египетской, античной, западноевропейской и других культур. Этот габитус распространяется на поступки и мысли отдельных людей, их умонастроение, охватывает в существовании культур всю совокупность жизненных выражений высшего порядка, включая виды искусства, наук, административных систем, способов общения и поведенческих норм. Каждая культура произрастает из собственного лона материнского ландшафта, к которому она

строго привязана всем ходом своего существования, и каждая на своем материале творит собственную форму, собственную идею, собственные страсти, собственную жизнь, собственную смерть. Подобно растениям, различные культуры на всю жизнь привязаны к почве, на которой они произросли¹⁴.

Отсюда вывод: реально значима для нас не просто некая отвлеченная «культура», а всегда *особая* культурно-социальная среда, в которой человек обитает и которая «лепит» тип его мышления и поведения, обуславливает и определяет его. Соответственно и культура — это не совокупность неких общих духовных и материальных ценностей, а те «компоненты действительности» (как духовной, так и материальной), которые формируют образ нашего мышления и поведения, или, иными словами, — наше мировоззрение и отвечающие ему особенности мотивации наших действий.

Все эти «компоненты» в своей совокупности и образуют то, что Томас Карлейль назвал «*корой привычек*». Без этой «коры привычек», то есть определенных путей, способов действия и убеждений, ни одно общество не могло бы существовать. Только благодаря этой системе оно и существует; а уж хороша та или плоха — вопрос другой. Именно в такой системе привычек (благоприобретенных или унаследованных) и заключается истинный кодекс законов и конституция общества. И хотя они не писаны, им все повинуются. Когда же намеренно или по неосторожности такая «кора привычек» дает, подобно земной коре, трещину, то из-под нее вырывается всё загромождающая и поглощающая лава необузданных страстей и эмоций, неся с собой хаос, разрушение и гибель. И потребуются долгие годы смуты и борьбы, чтобы этот хаос преобразовался в новый порядок вещей, в новую «кору привычек»¹⁵.

Лев Гумилев определил культуру еще более лаконично, как «определенный стереотип поведения и мировоззрения»¹⁶.

В этой связи делается более понятным вывод Вебера, который важен для лучшего уяснения сути ценностного подхода к исследованию социально-политических явлений:

«Определить, что именно для нас значимо, никакое “непредвзятое” исследование эмпирически данного не может. Напротив, установление значимого для нас и есть предпосылка, в силу которой нечто становится предметом исследования»¹⁷.

Иными словами, вопреки утвердившемуся среди многих исследователей мнению, предмет исследования определяется не как ре-

зульгат якобы предварительного и «беспристрастного» изучения объективной социально-политической действительности, а, наоборот, как следствие нашей ценностной оценки этой действительности и выделения на этой основе *значимого для нас*.

Предпосылка всех наук о культуре — а к ним относятся все социально-политические и экономические науки — состоит, таким образом, не в том, что культура представляет определенную ценность (это знали и прежде), а в том, что *мы сами являемся людьми культуры*, притом не культуры вообще, а всегда культуры *конкретной*, что мы обладаем способностью и волей, которые позволяют нам сознательно занять определенную позицию по отношению к миру и, соответственно, придать ему должный смысл. Каким бы этот смысл ни был, именно он становится основой нашего суждения о различных социальных или политических явлениях, он заставляет нас относиться к ним положительно или отрицательно как к чему-то для нас значимому¹⁸.

Проиллюстрирую сказанное примером, заимствованным у французского социолога Эмиля Дюркгейма, анализирующего такой специфический социальный факт, как преступление. В подходе к нему особенно выпукло проявляется ценностный характер наших суждений. В самом деле: преступления как такового в дикой природе не существует. *Любые действия* людей, взятые сами по себе, *вне социального контекста, ценностно нейтральны*: их можно уподобить действиям животных. Как бы порой те ни казались нам жестокими, никому не придет в голову квалифицировать их как преступления. Действие квалифицируется как преступление, как проступок, грех и т.п. *только на основе существующих в данном обществе и в данное время ценностных критериев*.

«Не следует говорить, — замечает Дюркгейм, — что действие возмущает общее сознание потому, что оно преступно, но что оно преступно потому, что возмущает общее сознание. Мы его порицаем не потому, что оно преступление, но оно преступление потому, что мы его порицаем»¹⁹.

Подобный взгляд на вещи восходит еще к древним временам. У Секста Эмпирика находим:

«Нет ни блага, ни зла по природе, но “суд об этом выносит человеческий ум”, по словам Тимона»²⁰.

Аналогичную мысль высказывает и Спиноза: *мы любим вещи не потому, что они хороши, а они хороши, потому что мы любим их*, — суждение, наилучшим образом выражающее суть ценностного подхода.

Высказывание Дюркгейма можно перефразировать так: мы порицаем поступок не потому, что тот преступление, а сам поступок квалифицируется как преступление, потому что мы порицаем его. Оценка той или иной вещи, события или действия проистекает не от их неких «объективных» качеств, а *от нашего субъективного к ним отношения*, выраженного в существующих нормах поведения и законах.

То же самое и в социально-политической жизни. Любые поступки или действия человека, социальной группы, государства, взятые сами по себе, как бы нравственно нейтральны. Негативными или позитивными те делаются в наших глазах вследствие того, что общество, исходя из определенной системы ценностей, либо порицает их, либо оценивает их как позитивные. И если, скажем, соответствующие чувства и оценки, выражающие ту или иную совокупность ценностей, по каким-то причинам исчезли или сменились новыми, то даже самый губительный для общества поступок может не только быть терпимым, но даже почитаться и ставиться в образец. Используя терминологию Л. Гумилева, такое происходит в обществе, находящемся в фазе «*обскурации*», то есть упадка, деградации. Примеры тому можно видеть не только в истории, но и в повседневной, окружающей нас жизни, и особенно наглядно в нынешней России, где вследствие происшедших в последние два десятилетия перемен все нравственные оценки будто перевернулись с ног на голову. Как результат, многое из того, что прежде (в Советском Союзе) считалось дурным и предосудительным, стало в наши дни нормой поведения и даже поощряться.

Оценка и смысл, вкладываемые в тот или иной социальный или политический факт, зависят от многих обстоятельств, как внешних по отношению к человеку, так и внутренних: от его принадлежности к той или иной цивилизации, а следовательно, к специфической культуре. Зависят они и от его принадлежности к конкретной социальной или профессиональной группе, от воспитания, ближайшего окружения, от индивидуальных черт характера и склада ума и т.д.

Такое положение вещей свойственно в большей или меньшей степени *всем временам и всем народам*, ибо в нем отражена одна из глубинных черт человеческого бытия вообще. Вопрос может стоять только о мере: где-то она больше, где-то меньше. Но нигде поли-

тика, мораль, наука, искусство *не свободны* от воздействия социального окружения, везде они выполняют определенную социальную функцию, везде они — часть конкретной специфической культуры.

У Фейербаха в его «Сущности христианства» есть одно весьма характерное высказывание.

«Истина, — писал он, — граница науки». Науку можно считать «свободной» лишь до этой границы. «Когда наука достигает истины, она перестает быть наукой и делается *объектом полиции*: полиция есть граница между истиной и наукой»²¹.

На деле же, как говорит весь опыт, наука обычно делается «объектом полиции» тогда, когда она достигает некоторой частной «истины», не соответствующей господствующим в данном обществе взглядам и идущей вразрез утвердившейся в нем и в науке системе ценностей. Ведь в науке, как и обществе в целом, непрерывно идет столкновение, борьба и противоборство различных идей («истин»), и ни одна из них не уступает своего места без боя, без борьбы. И в этой борьбе, как мы хорошо знаем, не пренебрегают и «полицией», будь то светской или церковной.

Однако необходимость в таком вмешательстве возникает главным образом в периоды острых принципиальных расхождений разных «истин», затрагивающих идейно-нравственные и мировоззренческие устои общества или его части. В обычное время наука не нуждается ни в каком внешнем полицейском надзоре: она сама себе «полиция». Уже сам факт ее принадлежности к определенному обществу, ее материальная зависимость от него и от государства, социальный заказ, сознательно или неосознанно выполняемый ею; тот круг идей, которым она питается сама и которым питает своих социальных заказчиков, личные интересы и т.д. служат обычно достаточно надежной гарантией тому, что у нее не появится охота пересекать опасную «границу». Те же, кто отваживается на это, неизбежно становятся изгоями в своем отечестве и остаются таковыми, пока система ценностей не претерпит соответствующих изменений. Ведь всякая наука есть порождение своего времени и того социального пространства, в котором она живет и творит. Лежащая в ее основе специфическая культура и отвечающий ей набор ценностей есть та невидимая глазу духовная «полиция», которая, как правило, делает совершенно излишней любую иную, внешнюю полицию, вмешательство которой не вызывает ничего, кроме раздражения.

С теми или иными вариантами и нюансами всё это относится к любой науке. Ни одна из них не свободна и не может быть свободна от господствующей в обществе системы ценностей, которая во многом определяет направление и даже содержание научных исследований, выбор приоритетов, селекцию «важного» и «не важного», и тем самым придает окружающей действительности соответствующий смысл. Это становится особенно очевидным в поворотные моменты, в периоды крушения утвердившихся в том или ином обществе систем ценностей. Жизнь в таких случаях для многих людей лишается смысла, они теряют почву под ногами, не знают, чем жить, как жить и зачем жить, хотя материальный мир, взятый в его «голой» объективности, остается, в общем, прежним.

Поворотные, трагические периоды в жизни людей и народов с особой остротой подчеркивают то обстоятельство, что смысл жизни не в самой «материально-объективной» реальности, а *в нас, в наших ценностных суждениях о ней, в нашем к ней отношении, в наших на нее взглядах*. Они приходят к нам вместе с рождением, воспитанием, принадлежностью к определенной духовной, социальной, национальной и политической среде. Когда же среда эта разрушается, вместе с ней разрушается, естественно, и система ценностей людей, и для многих из них жизнь теряет всякий смысл. Смысл жизни, то есть ясное осознание, зачем и для чего жить, определяется конкретной культурой и в свою очередь образует ту систему ценностей, которая придает смысл окружающей человека действительности. Излишне, думаю, доказывать, что представления людей о смысле их жизни, будь то научные или обыденные, всегда конкретны, всегда соотносятся с определенным временем, той или иной цивилизацией, народом, обществом, государством и т.д. Вот почему ценностный подход не только не исключает, но, наоборот, предполагает существование «буржуазной», «пролетарской» и иной социально и политически обусловленной науки (как и культуры в целом), покоящейся каждая на своей системе ценностей.

Да ведь и сам Вебер отмечал, что в сфере социальных наук ученый, независимо от своего желания, часто выступает не только как слуга истины, но и *как слуга установленного порядка*, то есть если и не прямо, то «между строчками» защищает политику, окрашенную интересами его собственного класса, социальной группы или государства. Мы это видим, в частности, на примере обычно осуждаемой практики «переписывания» прошлой истории с позиций интересов данного времени. Однако такое «переписывание» естественно, и нужно было бы удивляться не тому, что история переписывается,

а если бы она оставалась во все времена одной и той же (хотя такие примеры вряд ли можно найти).

Сегодняшний историк, изучая прошлое, всегда ставит новые вопросы, так как его интерес направляется как ценностными идеями настоящего, так и личной системой ценностей²². Та же Российская история в одном только XIX веке писалась и переписывалась неоднократно, не говоря уже о веке XX и нашем времени.

Обычно считается, что ценностный подход в большей мере относится к социально-политическим наукам и в значительно меньшей к наукам естественным как более «объективным». Однако ученый-естественник также не изолирован от мира. Он, как и любой другой ученый, живет в том или ином обществе, в то или иное время со свойственными им системами ценностей и, при всем желании, не может от них абстрагироваться. История дает нам на этот счет достаточно убедительных свидетельств. Приведенное выше суждение Фейербаха относится отнюдь не только к социальным наукам и не только к философии. В иные времена «полиция» более усердно наблюдает за естественниками, являясь для них тем «объективным» фактором, который определяет в известной мере направления, границы и содержание их исследований.

Альбер Камю* как-то заметил, что в истории бывают времена, когда утверждение, что « $2 \times 2 = 4$ », может стоить жизни. Столь же опасными для жизни могут быть и утверждения, что Земля имеет форму шара, что она вращается вокруг Солнца, а не наоборот, что генетика, а не дарвинизм является подлинной наукой и т.д. Подобным примерам из истории развития науки несть числа. Каждое новое открытие в ней, каждый новый закон должен пробивать себе дорогу через существующую систему ценностей, ломая ее, меняя или приспособляясь к ней, а то и просто уходя в тень в ожидании лучших времен. Всё это не обходится без борьбы, часто весьма жестокой. Борьба же различных идей — в жизни ли, в науке ли, в политике ли — есть на деле борьба различных систем ценностей, которые эти идеи выражают. Каждая из этих систем имеет свое право на существование, и ни одна из них не уступает место без боя. Когда, скажем, Церковь боролась против гелиоцентрической теории, или против дарвинизма с его постулатом о происхождении человека от обезьяны, или против материализма, то делала она это отнюдь не из-за какого-то своего невежества или обскурантизма — ведь в течение многих веков сама Церковь была средоточием образо-

* Камю Альбер (1913–1960) — французский философ, писатель и публицист.

ванности, духовности, культуры и науки. В этой борьбе Церковь отстаивала не только свои догматы, но и по-своему гуманистическую систему ценностей с ее акцентом на божественном происхождении человека, на бессмертии его души, его высоком предназначении. И парадокс жизни в том, что когда под напором научно-технического прогресса и материализма эта система взглядов оказалась фактически разрушенной, то обнаружилось, к ужасу многих прогрессистов, что ей нет адекватной замены: человек в мире материи, в мире вещей оказался гол, одинок и незащищен.

Итак, в качестве другой методологической посылки к изучению социально-политической действительности назовем *ценностный подход*. Он есть лишь иное выражение мысли о приоритете разумно-духовной стороны человеческого бытия над бытием материальным. Если верно библейское утверждение, что в начале было Слово, то столь же верно и то, что это Слово изначально несло ценностную нагрузку.

Наука национальная или наука общечеловеческая

Вопреки широко бытующему и внешне, казалось бы, неопровержимому суждению, что не существует истины классовой, групповой, национальной, как не существует и «национальной» науки, что истина едина, что та не знает границ и т.д., историческая практика и выросший на ее почве ценностный подход говорят об обратном, а именно, что почти все науки, все «истины» и научные суждения всегда имеют как национальный, так и социально-классовый характер. Лишь немногие, главным образом строгие физико-математические и прикладные технические науки (да и то не без существенных оговорок, о которых будет сказано ниже), могут быть отнесены к наукам «универсальным», имеющим «всеобщую» значимость. Что же касается наук социально-политических, то *все они, без единого исключения*, носят ценностный, культурологический характер, а значит, всегда связаны с определенными системами ценностей — классовыми, групповыми, национальными, цивилизационными и т.д. Существует, по меньшей мере, столько «истин», сколько имеется систем ценностей и особых культур. Знаменитый вопрос Пилата, обращенный к Христу: «*Что есть истина?*» — был отнюдь не праздным; он сегодня столь же актуален, как и в то далекое от нас время, и всё так же не имеет ответа.

Спор о национальном характере науки отнюдь не нов; вопрос этот оживленно дискутировался в XIX веке и, надо заметить, особенно горячо в России, в идейной схватке между западниками и славянофилами. Западники, в лице главным образом М.Н. Каткова и Б.Н. Чичерина, утверждали, что в науке имеет цену только общечеловеческое, а не национальное содержание; что наука не терпит, чтобы мысль, разум — эти главные ее средства — подчинялись каким-либо исторически установившимся воззрениям на тот или иной предмет исследования. Славянофилы, прежде всего Ю.Ф. Самарин и К.С. Аксаков, ратовали за народность в науке и, в частности, за *русское воззрение*. По их мнению, национальное никак не исключает общечеловеческого. Никого, скажем, не смущают выражения «английская литература», «немецкая философия», «римское право». И тут трудно не признать, что если литература, философия, право именуется, соответственно, английской, немецкой или римским, то тем самым подтверждается их национальная принадлежность. «Илиада» Гомера есть достояние всемирное и в то же время явление чисто эллинское. Шекспир принадлежит всему человечеству, но в то же время он совершенно народный, английский. То же можно сказать относительно Толстого, Достоевского и других великих писателей и художников.

На это могут возразить, что, когда речь идет о науке, эти положения перестают действовать. И в самом деле: одно из самых известных возражений против национального характера науки состоит в утверждении, что истина одна, следовательно, наука, имеющая своей целью постижение этой истины, универсальна. Однако, если даже признать существование единственной в каждой сфере жизни истины, познать, раскрыть которую и должна соответствующая наука, нельзя также не признать, что путей к этой «единственной» истине превеликое множество и каждая цивилизация, каждый народ, каждая культура идет к ней своим особенным путем, часто вовсе не похожим на другие пути. Признание же единой истины в сфере культуры означало бы признание того, что на Земле существует единая общечеловеческая цивилизация с универсальной культурой, этикой, эстетикой, религией и наукой, что, как понятно, не соответствует действительности.

Кстати, в наши дни по этому поводу раздается немало шумной демагогии: пишут и говорят об общечеловеческих интересах и ценностях, об их приоритете над интересами национальными, народными и т.д. Несмотря на этот шум, весь человеческий опыт, как прошлый, так и настоящий, говорит нам, что такой вещи, как общечеловеческая

цивилизация*, попросту не существует. То, что подразумевается сегодня под ней, — это не что иное, как претензии западноевропейской цивилизации на исключительное ее представительство. Эти претензии активно выдвигаются и поддерживаются в политических целях западными, прежде всего американскими, политиками и учеными, равно как и всякими их прихвостнями из числа «аборигенов». Они являют собой, по сути дела, современную форму прежнего католического *«мессианского интервенционизма»*, агрессивно расширяющего сферу своего идеологического влияния.

Еще Арнольд Тойнби, выдающийся историк и теоретик, внесший значительный вклад в развитие теории цивилизаций, решительно выступал как против отождествления понятия «цивилизация» с одним лишь ее видом — западноевропейской цивилизацией, так и против тезиса о существовании некой единой общечеловеческой цивилизации²³. Такое отождествление Тойнби квалифицирует как совершенно ошибочное, видя корни заблуждения в том, что оно продиктовано определенным социальным окружением, влияющим на сознание западных политиков и ученых. Наиболее характерной его чертой является то, что западной цивилизации удалось вовлечь, по выражению Тойнби, в сети своей экономической и политической системы целые поколения человечества. Однако объединение мира на экономической основе и его частичное объединение в политическом отношении отнюдь не равноценно полному его объединению во всех остальных планах. В качестве важнейшего критерия выделения той или иной цивилизации Тойнби называет господствующую в обществе религию, служащую, в свою очередь, основой его культуры, его мировидения, его духа.

Западное воздействие на остальной мир в экономическом и политическом планах имеет сравнительно недавнюю историю. Принимать масштаб этого воздействия в качестве свидетельства существования в мире одной, притом единой и неделимой *Общечеловеческой Цивилизации* (как подчеркивает Тойнби, в единственном числе и непременно с заглавной буквы «Ц»), которая будто бы завершила свое предназначение, приобретя мировое доминирование, явив собою завершение человеческой истории, единого не-

* В данном контексте термин «цивилизация» применяется как синоним понятия культуры в широком его смысле. Однако ряд социологов и философов проводит между ними принципиальное различие. Шпенглер, скажем, в своей известной работе «Закат Европы» считает, что цивилизация есть завершающая, упадочная стадия развития всякой большой культуры. Она, по его мнению, есть конец культуры «без права обжалования» — тезис, надо заметить, весьма спорный.

прерывного исторического процесса, — было бы явным преувеличением²⁴.

Живучесть ошибочного взгляда на существование «Единой Человеческой Цивилизации» Тойнби объясняет тремя причинами: эгоцентрической иллюзией Запада, тезисом о якобы неизменяющемся Востоке и ошибочным пониманием развития как движения по прямой линии²⁵.

Здесь, кстати, мы видим прямое сходство этих трех причин с основополагающими положениями марксистского формационного подхода, выросшего целиком на почве западноевропейской культуры и потому воплотившего в себе многие ее признаки, в том числе западный эгоцентризм, концепцию «спящего Востока» и идею прямолинейного прогресса.

Согласно концепции Маркса, все предшествовавшие капитализму формации служили для него как бы ступенями; сам же капитализм есть непосредственная предтеча коммунизма, завершающего собой историю человечества. Тут налицо полная, так сказать, конгениальность всех ветвей единого и могучего ствола западноевропейской цивилизации — католичества, протестантства, гуманизма, просветительства, социализма, марксизма, коммунизма, фашизма, либерального демократизма. Всем им присуща одна главная черта — совершенно очевидный приоритет рациональной стороны жизни перед всеми остальными витальными характеристиками человеческой природы, равно как и мысль (то скрытая, то явная) о превосходстве западноевропейской цивилизации над остальными.

Однако более верный и отвечающий реальности подход — признание существования в мире различных и равноправных цивилизаций, из которых Западная представляет лишь одну из них. И если та и обладает какими-то несомненными достоинствами и преимуществами перед другими цивилизациями в экономическом и политическом планах, то нельзя того же сказать относительно других областей: культурной, духовно-нравственной, религиозной. Каждая цивилизация в этом смысле уникальна и самобытна.

Нельзя здесь не отметить, что Тойнби, обосновывая свои взгляды в известном труде «Исследование истории», опирается во многом на труды Шпенглера, также уделившего большое внимание проблемам развития цивилизаций, в частности, уникальности каждой из них в самых разнообразных сферах культуры. Шпенглер берет за основу главное в жизни обществ, их корни, фундамент, а именно — систему этических ценностей, доказывая, что каждая цивилизация имеет присущие только ей этические ценности, особое эстетическое

видение и свою самобытную систему мышления. Остановимся на некоторых взглядах Шпенглера подробнее вследствие их принципиальной важности для понимания рассматриваемой проблемы.

По Шпенглеру, существует столько систем нравственности, сколько имеется цивилизаций. В этой сфере никто не имеет свободного выбора. Индивидуум может вести себя «морально» или «неморально», «хорошо» или «плохо» с точки зрения изначальных нравственных критериев собственной цивилизации, и форма его поведения отнюдь не является вопросом его личного выбора. Каждая цивилизация имеет собственный этический стандарт, и тот начинается и заканчивается вместе с самой цивилизацией.

«Общечеловеческой морали не существует»

— таков вывод Шпенглера, и с ним нельзя не согласиться²⁶ (курсив мой. — Э.П.).

В то же время признание того, что каждая цивилизация имеет собственный взгляд и свои предпочтения в области искусства, свою систему этических стандартов, неизбежно поднимает следующий вопрос. Поскольку каждая цивилизация представляет собой некую целостность, чьи части органически связаны друг с другом, то может ли в принципе существовать качественная особенность одной сферы общественной жизни без того, чтобы она не воздействовала на все остальные учреждения, функции и деятельность социального организма в целом?

Шпенглер отвечает на этот вопрос однозначно: *нет, не может*. Более того, он утверждает, что разнообразие и относительность оценок и суждений, признаваемые в сфере искусства и исторической мысли, равным образом должны признаваться и в сфере математики и физической науки.

«Не существует и не может существовать, — утверждает он, — такая вещь, как число само-по-себе. Имеется множественность миров чисел, потому что существует множественность цивилизаций. Мы находим индийский, арабский, эллинский и западный типы чисел; и каждый тип есть нечто индивидуальное и уникальное с самого своего основания и в дальнейшем развитии; каждый есть выражение различного восприятия Универсума; каждый есть символ действительности, которая даже в научном смысле строго ограничена; каждый есть принцип организации статически существующего мира, отражающего внутреннюю суть уникальной души — и никакой другой

души, как именно этой души, которая, так сказать, есть центр только данной цивилизации и никакой другой...»

И дальше следует, на мой взгляд, замечательный по глубине проникновения в суть предмета пассаж:

«Не существует и физической науки без некоторых неосознанных предпосылок, находящихся за пределами контроля ученого. Более того, следы этих предпосылок можно обнаружить с самых первых дней существования цивилизации — дней, когда они впервые пробудились в сознании. Существование физической науки предполагает предварительное существование религии. В этом смысле нет различия между католическим и западно-материалистическим взглядом на физическую природу: оба они суть выражения одного и того же кредо, только в разных словах. Даже атеистические представления науки содержат в себе дух религии: *современная механика есть, по сути дела, воспроизводство, пункт за пунктом, христианских догм*. Ни одна наука не является просто системой, законом, числом или организацией; каждая является также историческим явлением, и как таковое она есть реализующий себя в мыслях людей живой организм, и его развитие направляется судьбами конкретной цивилизации. В современной физике как науке имеется как историческая, так и логическая необходимость. Она есть дело не только интеллекта, но также и расы... *Идея о существовании универсальной науки, которая представляла бы истину для всех цивилизаций, есть иллюзия*»²⁷ (курсив мой. — Э.П.).

И в самом деле, что, казалось бы, очевиднее факта, что природа едина для всех и что, следовательно, она должна представлять перед взором любого ее исследователя, независимо от его принадлежности к той или иной цивилизации, в одинаковом для всех виде. Отчего же этого не происходит, отчего греческий, арабский, китайский или немецкий естествоиспытатели видели ее (и продолжают видеть!) по-разному?

«Оттого, — отвечает на этот вопрос Шпенглер, — что у каждого своя собственная природа, хотя каждый с наивностью, спасающей его мировоззрение, спасающей его самого, и полагает, что она едина для всех. “Природа” — это достояние, насквозь проникнутое личностным содержанием. *Природа — это функция соответствующей культуры*»²⁸.

Сказанное дает основание и для еще одного радикального вывода, а именно, что, вопреки представлениям некоторых идеалистов, не существует и такой вещи, как *свобода мышления*. Индивидуум не является хозяином своих мыслей. Они — продукт не его собственного автономного ума, а выражения и реакции духовных и психологических напластований всего прошлого и настоящего бытия общества, к которому индивидуум принадлежит. Карл Манхейм, признанный авторитет в области социологии знания, пишет по этому поводу:

«Лишь в весьма ограниченном смысле индивид сам создает тип языка и мышления, который мы связываем с ним. Он говорит языком своей группы, мыслит в формах мышления своей группы. В его распоряжении оказываются лишь определенные слова и их значения. Они не только в большой степени определяют его подход к окружающему миру, но одновременно показывают, под каким углом зрения и в какой сфере деятельности предметы были до сих пор доступны восприятию и использованию группы или индивида. ...Мыслят не люди как таковые и не изолированные индивиды осуществляют процесс мышления, мыслят люди в определенных группах, которые разработали специфический стиль мышления в ходе бесконечного ряда реакций на типические ситуации, характеризующие общую для них позицию.

Строго говоря, — продолжает Манхейм, — утверждать, что индивид мыслит, вообще неверно. Значительно вернее было бы считать, что он лишь участвует в некоем процессе мышления, возникшем задолго до него. Он обнаруживает себя в унаследованной ситуации, в обладании соответствующими данной ситуации моделями мышления и пытается разработать унаследованные типы ответа или заменить их другими для того, чтобы более адекватно реагировать на новые вызовы, возникшие из сдвигов и преобразований данной ситуации. Таким образом, тот факт, что каждый индивид живет в обществе, создает для него двойное предопределение: во-первых, он находит сложившуюся ситуацию, во-вторых, обнаруживает в ней уже сформированные модели мышления и поведения»²⁹.

Мы не погрешим против истины, если скажем, что даже наиболее оригинальные идеи, самые абстрактные суждения и метафизические философские системы представляют на деле типы общего социального опыта и выражения глубинного народного духа. Они, так или иначе, в большей или меньшей степени присущи людям,

принадлежащим к одному и тому же общественному организму. Гегель или Кант — выразители именно германского социального типа и народного духа, равно как Пушкин, Толстой или Достоевский — русского, а Данте или Макиавелли — итальянского и т.д. Верно было сказано, что подлинным выразителем народного духа является не простой средний человек, а гений, даже если он творит в самой, казалось бы, удаленной от реальности сфере теоретической математики или физики.

Тезис о национальном характере науки, особенно науки естественной и технической, не всегда легко воспринимается. Происходит это, главным образом, по той причине, что смешиваются сама наука и ее результаты, ее плоды. Наука, как одно из выражений конкретной культуры, по своему глубинному характеру *всегда национальна*; а вот ее результаты, значимые выводы — *интернациональны*. Такие современные, преимущественно прикладные, науки, как, скажем, кибернетика, электроника, атомная энергетика, аэродинамика и т.д., есть главным образом плод западной научной мысли; но их результаты используются практически повсеместно, интернационально. То же самое происходит и с плодами литературы, живописи и искусства вообще: они всегда сугубо национальны, но как *высшие достижения* национальных культур могут использоваться (и используются) всеми народами, становясь тем самым интернациональными.

Плоды науки и искусства разных культур составляют вместе своего рода тезаурус, из которого может черпать каждый. Если национальная культура для относящихся к ней индивидов имеет общезначимый характер, то для индивидов других культур она имеет главным образом характер познавательный («факультативный»). Но даже когда мы ведем речь о заимствовании каким-либо народом плодов науки и искусства других народов, то и в этом случае национальный характер последних продолжает играть весьма существенную роль. Примером тому служат такие страны, как Россия, Япония, Южная Корея, Китай и другие, перенимающие опыт и результаты культуры других стран отнюдь не автоматически.

Определенное подтверждение взглядам Шпенглера находим, кстати, и у Дюркгейма. Тот отмечал, что люди отнюдь не дожидались прихода науки, чтобы составить себе представление о мире. Еще задолго до первых зачатков физики и химии у них были определенные понятия о физических явлениях. Эти понятия создавались главным образом в рамках разнообразных религиозных систем и тем самым соответствовали психически-ментальному складу тех или иных цивилизаций³⁰.

Итак, в итоге скажем: категории Мысли, Жизни и Сознания Вселенной различаются в той же мере, в какой различаются физиономии отдельных индивидуумов. На свете существуют как физические, так и интеллектуальные нации и народы. Тойнби иллюстрирует мысль о существовании принципиальных различий между цивилизациями на примере эллинской, индийской и западноевропейской цивилизаций. Эллинская проявила очевидную склонность к эстетическим формам. Индийская цивилизация, в свою очередь, нашла наиболее сильное свое выражение в религиозной жизни и формах, тогда как в западной без труда обнаруживается склонность к рациональным, техническим и социальным механизмам.

«Независимо от того, — пишет Тойнби, — насколько глубоко в истории можем мы обнаружить следы западной склонности к механике, ясно одно, что та есть характерная склонность Западной европейской цивилизации не в меньшей степени, чем эстетика есть склонность Эллинской цивилизации или религия — цивилизации Индийской»³¹.

Подобные же мысли находим у Шпенглера и М. Вебера. Последний особо подчеркивает *рационализм* как основную характерную черту западной цивилизации, принципиально отличающую ее от иных цивилизаций. Он проявляется во всех без исключения сферах ее культуры, как бы подчеркивая особое достоинство Запада, позволившее ему возвыситься в мире. И, разумеется, в наибольшей степени все это обнаруживается в таком могучем явлении, как капитализм.

«Без *рациональной капиталистической организации труда*, — отмечает Вебер, — все особенности капитализма... и в отдаленной степени не получили бы того значения, которое они обрели впоследствии (если они вообще были бы возможны)»³² (курсив мой. — Э.П.).

Перечень достоинств западной цивилизации в оценке М. Вебера звучит как гимн ее рационализму. Однако методологическое значение его оценки видится и в том, что, выделяя отличительные черты западной культуры, он, возможно, не замечая того сам, подчеркивает лишь ее специфику, качественное отличие от других цивилизаций, подтверждая тем самым, хотя и косвенно, концепцию Тойнби и Шпенглера. Из скрупулезно подобранного Вебером реестра достижений западной цивилизации следует лишь один вывод, а именно:

она имеет несомненные преимущества и достижения перед другими цивилизациями, но только в сферах, касающихся, главным образом, рационально-механической стороны жизни.

Рационализм, конечно, несомненное достоинство; однако отсутствие его в таких же формах и в таких же масштабах у других цивилизаций никак не может быть поставлено тем в минус. Западный рационализм отнюдь не сделал людей более счастливыми, чем религиозный иррационализм индийской цивилизации или конфуцианская этика китайской цивилизации. И часто приводимый факт, что хотя порох был изобретен в Китае, но свое «рациональное» применение получил на Западе, вряд ли можно отнести к какому-то особому достоинству западной цивилизации. И не мудрее ли оказались китайцы, когда, изобретая порох и, возможно, поняв его разрушительные и губительные возможности, отложили это изобретение подальше и постарались забыть о нем? Позволю себе высказать в этой связи гипотетическое предположение, что если бы X-лучи были открыты где-нибудь на Востоке, то с ними поступили бы, вероятнее всего, так же, как китайцы поступили с порохом. Запад же довел это открытие до «рационального» ядерного оружия, от которого человеку уже не избавиться никогда, как и от «рационализированного» пороха.

Одна из причин противоположных подходов к науке на Западе и на Востоке лежит, на мой взгляд, в том, что западная наука по преимуществу экспериментальная, тогда как восточная — созерцательная. В этой связи испанский философ Ортега-и-Гассет высказал близкую к истине мысль, что экспериментальные науки развивались главным образом благодаря работе людей *посредственных*. На Востоке же наукой занимались философы, не опускавшиеся до утилитарно-прикладных результатов; посредственным же людям вход в нее был заказан. Кюри открыл радиоактивность и был за это возведен до небес; если бы такое случилось с ученым на Востоке, его бы, скорее всего, заключили в темницу, а может, и того хуже.

Замечательный русский ученый XIX века Н.Я. Данилевский, раньше Шпенглера и Тойнби разработавший теорию цивилизаций (он назвал их «культурно-историческими типами»), убедительно показал в своей книге «Россия и Европа» не только культурную уникальность различных цивилизаций, но ценность и значимость каждой из них³³. Он был решительным противником всякого крайнего цивилизационного эгоцентризма, всякой идеи, утверждавшей превосходство одних народов над другими, одних культур над другими. Отдавая должное западноевропейской цивилизации (как особому

культурно-историческому типу), он столь же высоко отзывался о достижениях и достоинствах цивилизаций других.

Кстати, Данилевский задолго до Шпенглера³⁴ развивал идею о том, что не только культура каждого народа уникальна и самобытна — это было для него само собой разумеющимся, — но и наука как ее неотъемлемая часть тоже имеет народный, национальный характер.

Данилевский решительно выступал, как позже это делали Шпенглер, Тойнби и другие, и против понятия общечеловеческой цивилизации.

«Понятие об общечеловеческом, — писал он, — не только не имеет в себе ничего реального и действительного, но оно уже, точнее, ниже понятия о племенном или народном; ибо это последнее по необходимости включает в себя первое и, сверх того, присоединяет к нему нечто особое, дополнительное, которое именно и должно быть сохраняемо и развиваемо... *Общечеловеческого* не только нет в действительности, но и желать быть им — значит желать довольствоваться общим местом, бесцветностью, отсутствием оригинальности, одним словом, довольствоваться невозможною полнотою»³⁵.

Доказательству своих положений Данилевский посвящает многие страницы своего ярко написанного и одновременно глубоко аргументированного труда. Значимость его сегодня возрастает в связи с событиями, происходящими в нашей стране, с новым всплеском в ней агрессивного западничества, принижением всего самобытного российского, а также быстрым появлением и распространением в нашей общественной жизни типа российского «общечеловека», лишённого национальных духовных корней и жадно внимающего назойливым звукам западных погремушек.

Книга Данилевского в наши дни актуальна и в связи с приданием понятию «общечеловеческая цивилизация» нового звучания. Сегодня это понятие, по существу, отождествляется с западноевропейской цивилизацией. Кстати, на Западе давно уже выработался взгляд, что именно Европа создала высшую и окончательную формулу человеческой цивилизации, человеческой культуры, которой остается только следовать другим народам. Согласно ему, остались позади все переходные периоды развития человеческого общества, и поток всемирно-исторического прогресса, воплощенный в западноевропейской цивилизации, влился, наконец, в окончательное русло,

по которому он и будет дальше развиваться, оплодотворяя и осчастливливая все другие цивилизации, остальные племена и народы, поднимая их из исторической темноты и невежества на свет.

Сегодня в связи с процессами, происходящими в нынешней России и в Восточной Европе, этот залежалый идейный «товар» вновь выброшен на мировой рынок. Отчасти здесь имеется в виду статья американского политолога Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории?»³⁶, наделавшая немало шума в 1990 году. Главная ее мысль, в общем, вполне тривиальна; и то, что она вызвала такой ажиотаж в западных философских и политологических кругах, свидетельствует лишь об их интеллектуальном кризисе. Вслед за А. Кожевым — одним из современных интерпретаторов Гегеля — Фукуяма за точку отсчета конца истории принимает 1806 год, отмеченный тем, что в битве под Иеной наполеоновская армия нанесла поражение феодальной Пруссии. Факт этот знаменовал, согласно Фукуяме, начало распространения либерально-демократической идеи по всей Европе. По его мнению, это тот рубеж, который делит историю на две части и в то же время свидетельствует об ее идейном конце. Всё, что за этим рубежом, представляет собой уже не историю, а «постисторию», и в нее он помещает либерально-демократические страны Западной Европы, Северную Америку, Японию и некоторые другие. В *«трясине»* же истории (выражение Фукуямы) продолжает оставаться значительная часть человечества, недоросшего до стадии «постистории», в том числе такие страны, как Советский Союз, Китай, большая часть «третьего мира».

Не стану останавливаться подробно на критике данной концепции; замечу лишь одну принципиальную и, в общем, характерную ошибку Фукуямы: западноевропейской либерально-демократической идее он противопоставляет в качестве антиподов фашизм и коммунизм. Однако вся «пикантность» тут в том, что как фашизм, так и коммунизм родились не где-нибудь, а именно *в недрах самой западноевропейской цивилизации*. Они являются отпочкованиями либерально-демократической идеи, и в этом смысле — ее родными детьми. И тут надо ясно представлять себе, что эти ветви — отнюдь не какие-то случайности, а вполне закономерные, естественные порождения демократии.

Позволю себе в этой связи высказать мысль, что либерально-демократическая идея содержит в себе идеи коммунизма и фашизма, так сказать, *генно*, и нельзя исключать, что по мере дальнейшего движения жизни она будет периодически порождать из себя подобных детищ. Они — симптомы глубинных недугов западноевропейской

цивилизации. Фашизм и коммунизм суть крайние формы эгалитаризма, порожденные либерально-демократической идеей и всем ходом развития европейской культуры. Их крушение свидетельствовало не столько о победе и торжестве либеральной демократии, сколько о ее слабости и лишь об отсрочке тех новых «бунтов» против нее, зародыши которых та несет в себе. Фашизм и коммунизм как массовые исторические движения отражали духовный и социальный кризис именно западной либеральной идеи. Они являли собой насильственную попытку преодолеть пороки *либерального демократизма* с его развращающей расслабленностью и зависимостью человека от вещей, от материального благополучия, крайнего индивидуализма, духовной деградации, скепсиса и нигилизма.

В концепции Фукуямы — возможно, невольно — нашло свое отражение то, что всегда в принципе было присуще Западу и что подметил Тойнби, а именно, пренебрежительное и даже презрительное отношение к другим народам и цивилизациям — «варварским», «туземным», «некультурным». Лев Гумилев, наш выдающийся ученый-этнограф, писал по этому поводу:

В странах Западной Европы «предубеждение против неевропейских народов родилось давно. Считалось, что азиатская степь, которую многие географы начинали от Венгрии, другие — от Карпат, — обиталище дикости, варварства, свирепых нравов и ханского произвола. Взгляды эти были закреплены авторами XVIII в., создателями универсальных концепций истории, философии, морали и политики. При этом самым существенным было то, что авторы эти имели об Азии крайне поверхностное и часто превратное представление... К числу дикарей, угрожавших единственно ценной, по их мнению, европейской культуре, они причисляли и русских...»³⁷.

Что касается Фукуямы и его концепции, то «трясина истории», куда он загнал большую часть человечества, обитающего за пределами западной цивилизации, есть, по сути дела, выражение всё того же традиционно-высокомерного отношения Запада к «туземцам».

В чем безусловно можно согласиться с Фукуямой, так это с тем, что либерально-демократическая идея действительно знаменовала бы собой *конец истории*, притом не в переносном, а в буквальном смысле слова, одержи та победу во все мире. Победа либерально-демократической идеи была бы, прежде всего, торжеством идеи эгалитаризма, уравнивания всего и вся, сведения всего особенного, специфического, национально-самобытного к общему знаменателю,

к взглядам на историю среднестатистического, лишенного всяких национальных признаков западноевропейского филистера.

Сегодня эгалитаризм находит наиболее полное свое воплощение в Европейском союзе, где народам Европы грозит не только растворение в безликой Общей Европе, но исчезновение Европы как таковой. Подобно тому как во Вселенной постепенное выравнивание температур может привести к максимуму энтропии и, в конечном счете, к тепловой смерти, так и в социальной жизни выравнивание национальных особенностей до одной западноевропейской плоскости может также привести к «максимуму энтропии», а тем самым — к социальной смерти человечества. Полное выравнивание, полное равновесие, а значит, отсутствие «разности потенциалов»: тепловых ли, электрических, химических или социальных — это конец движения, это смерть.

* * *

Резюмируя, можно еще раз повторить, что такой вещи, как *общечеловеческая цивилизация*, не существует в природе; то, что подразумевается под нею, есть на деле цивилизация западноевропейская. В мире существуют различные цивилизации; каждая из них неповторима в своем культурно-религиозном и духовно-нравственном содержании. Начала цивилизации одного типа не передаются народам, принадлежащим цивилизациям другого типа. Всякая попытка такой передачи (а тем более попытка насильственная) может привести лишь к искажению и даже уничтожению культуры и нравственности народа, но отнюдь не к их замене другими духовными и культурными началами.

Мы хорошо видим это на примере «трансплантации» начал западноевропейской цивилизации с ее либеральным демократизмом в иные цивилизации и культуры. Их результатом была прививка не столько ее здоровых элементов, сколько ее болезней; не столько демократизация народной жизни, сколько демократизация общественных пороков. Та или иная форма принудительного их навязывания ведет к фактической гибели соответствующего народа, к превращению его из самостоятельного исторического субъекта в объект чужой деятельности.

На это специально обращал внимание русский философ К. Леонтьев в своей полемике с Вл. Соловьевым, придерживавшимся, как известно, западнической ориентации и выступавшим за отказ России от своей самобытности и приобщение к Европе. Леонтьев

настаивал на том, что процесс всеобщей ассимиляции, если его не приостановить, рано или поздно не только разрушит все существующие особые культуры и отдельные государства, но уничтожит само человечество на Земле, предварительно слив, смешав его в более или менее однородную, однообразную социальную смесь.

Но в однообразии — смерть, подчеркивает он.

«Всё, что служит космополитизму, всё, что служит всемирному ускоренному движению и общению, хотя бы самым невинным и непреднамеренным образом, — служит поэтому всеобщему разрушению жизни на этой земле»³⁸.

Сегодня космополитизм приобрел форму так называемого глобализма и мондиализма. Его идейные истоки тянутся из Соединенных Штатов, и плоды его разрушительной работы мы уже видим повсеместно. Агрессивное навязывание азиатским, африканским и иным цивилизациям начал западной цивилизации ведет к масштабному разрушению их культуры, религии, этических и эстетических основ, к разрушению сложившегося в них быта, традиций, всего социума. И сегодня мы уже воочию видим, как всё это сопровождается социальной и политической нестабильностью, экономическим упадком, нескончаемыми социальными потрясениями, перманентной социальной возбужденностью и кровопролитием. Уходя от собственных цивилизационных основ, многие народы не могут прийти и к основам чуждой им западноевропейской цивилизации, обрекая себя тем самым на гибель как представителей самобытных цивилизаций. Сегодня такая опасность реально нависла и над Россией.

Вся история, однако, подтверждает невозможность слияния разных цивилизаций. Такое слияние означало бы отказ народов от своей культуры, от своих богов в угоду культуре и богам чужим. На этот счет есть прекрасные и вдохновенные слова Достоевского в его романе «Бесы». Позволю привести их здесь.

«Ни один народ, — говорит он устами одного из героев романа, — ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устремиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служеб-

ную, так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо³⁹. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила непрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти... Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть *синтетическая личность* всего народа, взятого с начала его и до конца.

Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый. Признак унификации народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особеннее его бог.

Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя бы приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные»⁴⁰ (курсив мой. — Э.П.).

Достоевский в художественной форме выразил, по сути дела, ту же мысль, которую в более строгой, научной форме высказали Тойнби, Шпенглер, Вебер, Данилевский, Леонтьев и многие другие. Кратко она сводится к тому, что каждая цивилизация, каждый народ представляет собой *историческую индивидуальность, уникальную и самобытную во всех своих проявлениях и аспектах*, в том числе в восприятии и отражении действительности.

Ту же мысль находим и у Гумилева. Выше уже отмечалось его решительное неприятие мнения о «неполноценности» некоторых народов, как и предвзятости европоцентризма, согласно которому весь мир рассматривался как варварская периферия Европы. Цивилизованные европейцы, замечает он, стары, а потому чванливы и гордятся накопленными веками культурой, как и все этносы в старости. Но в своей молодости они были дикими франками и норманнами, научившимися богословию и мытью в бане у культурных в то время мавров⁴¹.

В признании равенства всех народов и состоит, собственно, объективная основа ценностного, культурологического подхода к действительности. Приведенные выше суждения различных авторов служат подтверждением положений Вебера, что наше восприятие окружающего мира и, прежде всего, мира культуры с его экономической, политикой, этикой, эстетикой и т.д. носит исключительно *ценностный* характер.

Ценностный подход — это подход цивилизационный, неотрывный от культуры того или иного народа. И тут вряд ли можно избежать цивилизационного или национального эгоцентризма — тот вполне естествен. Иное дело, когда эгоцентризм обретает форму универсализма, воинствующего мессианизма, стремления к навязыванию собственных принципов, претензий на их исключительную общечеловеческую значимость.

Итак, все сказанное естественным образом подводит нас к следующему вопросу.

Возможно ли «объективное» познание социально-политической действительности?

Ценностный подход, взятый в целом, равно как и признание того факта, что каждая цивилизация в силу своей самобытности и уникальности обладает собственной ценностной (культурной) основой, как бы сами собой исключают всякую возможность *беспристрастного, объективного* анализа социально-политической действительности. Вера же в такую возможность особенно характерна для западноевропейского мышления с его склонностью к рационализму, схематизации и систематизации всего и вся. Все это, в свою очередь, подкрепляется безоглядной верой в эффективность «*научных методов*», «*научную объективность*» как в инструменты, с помощью которых человечество поднимается все выше и выше по ступеням совершенства, по дороге прогресса, от выводов конечных и ограниченных — к универсальным взглядам⁴².

Однако человек — и это хотелось бы подчеркнуть — есть существо, причудливым образом сочетающее в себе рациональное и чувственное, духовное и материальное. Вот почему не существует «научного метода», с помощью которого можно было бы строго отделить одно от другого, действовать и мыслить, руководствуясь одним лишь «чистым» кантовским разумом и рациональной логикой. Это одна из причин, почему суждения человека в сфере социально-

политической являются исключительно суждениями *ценностными*, то есть субъективными, даже если тот всеми силами стремится к беспристрастности.

Поиски выхода из противоречия между стремлением к «объективной» истине, с одной стороны, и пониманием невозможности достичь ее вследствие двойственной природы самого человека — с другой, красной нитью проходят через всю историю развития человеческой мысли. Не вдаваясь в ее глубины, обратимся в качестве примера к суждениям двух видных историков и одновременно теоретиков первой половины XIX века: Вильгельму Гумбольдту и Леопольду Ранке. Думается, это будет полезно и поучительно для современного пытливого читателя, тем более для тех, кто взялся исследовать социально-политическую сферу жизни.

В одной из своих известных работ («О задаче историка») Гумбольдт предпринимает попытку соединить «беспристрастный» подход с подходом ценностным в единое «истинное» суждение об исторических фактах. Остановимся на некоторых ее положениях.

Гумбольдт начинает с отрицания возможности создать «скелет события» путем отбора фактов, реально с ним связанных. Полученное в этом случае знание представляет, по его мнению, лишь первое приближение к истории, ее, так сказать, сырье, но не саму историю. Ограничиться этим, считает он, значило бы пожертвовать действительной, внутренней правдой, обоснованной в рамках причинной связи, ради правды внешней, кажущейся⁴³. «Истинность» же любого события, по Гумбольдту, основывается на фактах, постигаемых внешними чувствами, с добавлением к ним «невидимой» чувствами части каждого факта с помощью интуиции, предположений и догадок.

В подходе к историческим событиям нужно, считает Гумбольдт, следовать двум методам: первый — это точное, беспристрастное, критическое их исследование; второй — соединение фактической стороны изучаемых событий с их интуитивным пониманием. Следовать только первому методу — значит упустить суть самой истины; пренебречь же им и делать упор на втором — значило бы исказить истину в ее конкретных деталях. Если историк просто описывает специфические обстоятельства события, связывая его с другими, как они представляются внешнему наблюдению, он создает не портрет, а карикатуру на событие. Поэтому он должен проделать строгий анализ внутренней связи событий, установить для себя картину активных сил, распознать их тенденции в каждый данный момент, исследовать отношение всех сил и тенденций к существующему положению дел

и к изменениям, которые ему предшествовали. Чтобы сделать всё это, историк должен быть знаком, прежде всего, с условиями, действием и взаимозависимостью этих сил, поскольку полное понимание специфики исследуемого явления всегда предполагает знание общего, на фоне которого оно постигается⁴⁴.

Читая этот реестр, в общем, безукоризненных научных требований, предъявляемых историку, невольно ловишь себя на мысли, что в таком виде их можно обнаружить в любом современном «методологическом наставлении», где в той или иной форме предписывается историку (или политологу, социологу и т.д.), что тот должен делать. Под этими требованиями могли бы со спокойной совестью подписаться многие сегодняшние теоретики, практики, эмпирики, продолжающие верить в автономность человеческого разума.

Но дело в том, что *сам первичный отбор событий и фактов*, важных и достойных нашего внимания, уже производится в ходе «предвзятого» исследования эмпирически данного. К тому же изучение социальных объектов не есть изолированный акт: оно происходит в определенном контексте, на содержание которого решающее влияние оказывают разделяемые исследователем ценности и «коллективно-бессознательные волевые импульсы» (К. Манхейм).

Установление ценностно значимого для нас есть главная *предпосылка* для отбора фактов и событий, для превращения их в предмет исследования, но отнюдь не его следствие. Именно с нее мы начинаем, хотя, быть может, не всегда осознаем это. Поэтому первый предлагаемый Гумбольдтом метод, а именно точное, беспристрастное, критическое исследование событий, как минимум, не может быть беспристрастным, поскольку подход к исследуемым событиям уже заранее *ценностно* предопределен. Что же касается второго метода — соединения «беспристрастно» изученного события с его «интуитивным» пониманием, то он, по сути, целиком лежит в рамках ценностного подхода.

Вера в возможность «беспристрастного» изучения исторических событий породила, в свою очередь, и веру в возможность точного определения и точной оценки подлинности или неподлинности того или иного исторического события или письменного памятника. Эта вера была особенно характерна для XVIII–XIX веков, дав жизнь так называемой «исторической критике», наиболее известными и яркими представителями которой были Ф. Вольф и Б. Нибур.

На данное обстоятельство обратил в свое время внимание известный отечественный мыслитель Павел Флоренский. В одной из своих интереснейших статей («К методологии исторической критики»⁴⁵)

Флоренский относит эту веру на счет исторического рационализма, то есть убеждения в возможности рациональной, а тем самым беспристрастной, объективной оценки исторических событий. Такой подход он называет *методологической наивностью*.

Отмечая неизбежную *вероятностность* наших суждений во всех науках, Флоренский особо выделяет историю. Тут, считает он (и это важно отметить), наука имеет дело не с тезисом, более или менее безразличным для духовной культуры, но с *духовной ценностью*, в сохранении или ниспровержении которой каждый исследователь так или иначе заинтересован.

«Поэтому, — продолжает он, — мы не в силах, да и не вправе, рассматривать ту или иную гипотезу касательно исторической данности безотносительно к ценности, которую имеет в нашем сердце эта данность при сделанной гипотезе; и, следовательно, когда мы задаемся той или иной гипотезой относительно некоторого памятника духовной культуры, то безусловно не можем, — да и нисколько не должны, — обследовать ее *вне своей оценки* этого памятника, хотя и сама оценка тоже, в свою очередь, зависит от характера гипотезы»⁴⁶.

На этом основании было бы явной нелепостью, по мнению Флоренского, притязать на «объективное» обсуждение подлинности какой-нибудь реликвии, например, происхождения Священного Писания, времени написания диалогов Платона или поэм Гомера. Ведь дело не в их подлинности или неподлинности (которые всё равно определить невозможно), но в их *духовной ценности и значимости для культуры*. Да и весь долгий человеческий опыт служит убедительным подтверждением того, что людей мало интересует фактическая достоверность того или иного события; для них гораздо важнее *нравственная* его сущность. Факт же это или вымысел — не столь уж и важно, если событие служит воплощением мыслей, чувств и надежд отдельного человека или целого народа. Вспомним в этой связи Пушкина: «*Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман*».

Весьма характерно в этой связи и суждение Гёте, высказанное им в одной из бесед с Эккерманом:

«До сих пор, — говорил он, — мир верил в геройский дух Лукреции или Муция Сцеволы — это зажигало и воодушевляло всех. Ну, а теперь является на сцену «объективная» историческая критика и утверждает, что личности эти никогда не существовали, что это фикции, басни, измышления великих духом римлян.

Что же нам, однако, делать с такой жалкой истиной?! — восклицает Гёте. — Если римляне были достаточно велики, чтобы сочинять подобные вещи, то нам следовало бы, по крайней мере, быть достаточно великими, чтобы в них поверить»⁴⁷.

Все попытки «беспристрастного», «объективного» суждения в истории всегда в итоге предлагают нам именно такую «жалкую истину», лишённую жизни и смысла. Наполняется же она и тем, и другим лишь вследствие ценностного подхода к историческим и социально-политическим явлениям. Ими же она и одухотворяется, благодаря чему занимает достойное место в ряду других исторических «истин».

Флоренский специально отмечает и то важное обстоятельство, что ни ценность, ни подлинность какого-то исторического события или памятника культуры не даются нам порознь, так как мы не можем судить ни об их ценности совершенно отвлеченно от вопроса об их происхождении, ни об их происхождении или существовании независимо от их ценности. Эти вещи в жизни идут всегда рука об руку и должны быть предметом исследования всякой сознательной критики в их единстве. Попытка же понять значение одного отдельно от другого есть, по мнению Флоренского, «наивная мечта о невозможном, да и ненужном».

Возвращаясь к взглядам Гумбольдта, отмечу, что определенную их двусмысленность он как бы компенсирует своей теорией идей. Говоря об их происхождении, Гумбольдт считает самоочевидным, что они возникают из массы самих событий или, более точно, появляются в сознании благодаря размышлению над ними в истинно историческом духе. Идеи, по его мнению, не берутся историей взаимно; они не привносятся в нее, но сами являются ее сущностью. Историк познает для себя общую картину связей всех событий путем изучения творящих сил мировой истории, и в рамках именно этой картины содержатся идеи⁴⁸.

В этом пункте мы видим принципиальное различие между взглядами Гумбольдта и М. Вебера. Последний, как мы помним, отвергал взгляд, что идеи или точки зрения «могут быть почерпнуты» из самого материала, называя его следствием наивного самообмана ученого, который уже с самого начала исследования подходит к материалу с определенными ценностными идеями, а вовсе не вычленяет их оттуда.

Почувительно также сравнение ценностной теории Макса Вебера и с позицией Леопольда Ранке. При поверхностном взгляде ценно-

стные подходы того и другого кажутся во многом схожими. Однако, как и в случае с Гумбольдтом, они имеют принципиальный пункт расхождения. Ценностный подход Ранке довольно традиционен. Универсальных ценностей, по Ранке, не существует вовсе. Все ценности имеют конкретную историческую форму как специфические ценности исторических индивидуальностей. Задача историка и состоит в том, чтобы выявить и распознать их в реальности, сам же историк должен занимать при этом максимально беспристрастную позицию. Именно в этом смысле нужно понимать одно из основных требований Ранке к историку — *быть беспристрастным*. Беспристрастный подход особенно важен, по его мнению, там, где имеется конфликт ценностей. В этом случае Ранке советует рассматривать обе стороны конфликта с их собственных позиций, в собственном их окружении, в собственном внутреннем состоянии.

«Не нам судить о правде или лжи как таковых, — считает он. — Мы просто должны рассматривать одну фигуру, возникающую бок о бок с другой фигурой; одну жизнь бок о бок с другой жизнью; одно действие бок о бок с противодействием»⁴⁹.

Поэтому суть объективности Ранке видит в способности описывать действующие в истории силы *без привнесения в них собственных ценностей*. Конечно, он признает, что сам историк не может не иметь своей собственной ценностной позиции, но, тем не менее, Ранке требует освобождения от нее.

«Было бы невозможно, — замечает он, — не иметь собственной позиции среди всей этой борьбы сил и идей, которая содержит в себе решения величайшего размаха и значимости. Но даже при всем том может быть сохранена суть беспристрастности, ибо та заключается в признании позиций, занимаемых действующими силами, и в уважении уникальных отношений, которые характеризуют каждую из них. *Объективность есть одновременно и беспристрастность*»⁵⁰ (курсив мой. — Э.П.).

Позиция Ранке представляется симпатичной и близкой к истинному положению вещей. Легко видеть ее близкое сходство с точкой зрения на эту проблему Гумбольдта, Флоренского и многих других, не исключая и Гёте. Эту точку зрения условно можно определить как «атрибутивную» на том основании, что, согласно ей, исторические памятники, события, факты, исторические индивидуальности

как бы сами по себе обладают абсолютной ценностью в качестве неотъемлемого атрибута. Задача исследователя — выявить, распознать эту ценность. Поскольку она объективно содержится в самом историческом факте, исследователь усилиями воли может занять «беспристрастную», «объективную» позицию и дать столь же «беспристрастную» оценку этой ценности.

Так многие думали в XVIII и XIX столетиях, и такая точка зрения казалась верной (собственно, немало исследователей придерживаются ее и поныне). Для ценностного же подхода не существует универсальной ценности и, тем более, ценности как атрибута (веберовская парадигма «ценностной нейтральности»). Напомню тут еще раз мнение Вебера о том, что предпосылка всех исторических и социально-политических наук как наук о культуре состоит не в том, что мы считаем какую-то культуру или какой-то исторический памятник ценными, а в том, что мы сами являемся людьми определенной культуры вместе с соответствующей ей системой ценностей. Это уже само по себе предопределяет нашу ценностную позицию по отношению к миру и придает тому смысл.

В отличие от «атрибутивного» подхода Гумбольдта, Ранке и других, подход Вебера можно было бы условно назвать «аппликативным». Согласно ему, мир сам по себе ценностно нейтрален; ценность ему в целом или в отдельных его аспектах и проявлениях придает культурно-ценностная позиция исследователя. Когда, скажем, Гёте порицает «историческую критику» за ее суждения, касающиеся Лукреции и Муция Сцевола, мы наглядно сталкиваемся с двумя прямо противоположными ценностными подходами, прилагаемыми к одному и тому же историческому явлению. Для Гёте и его культуры Лукреция и Муций Сцевола — героические личности, показывающие всем поколениям людей пример мужества, высоких нравственных качеств, добродетели. Для «исторической критики» те же персонажи — нечто вроде букашек, которые она рассматривает в свой «исторический микроскоп», и число волосков на их лапках затмевает сущностную ценность изучаемого ею явления.

В своей «Философии истории» Гегель приводит известную поговорку, что для камердинера не существует героя. Но не потому, добавляет он, что последний не герой, а потому, что первый — камердинер. И Гегель добавляет, что плохо приходится в историографии историческим личностям, обслуживаемым такими «психологическими камердинерами»: они низводятся ими до того же нравственного уровня, на котором стоят подобные «тонкие знатоки людей»,

или даже несколькими ступеньками ниже. Сравнивая их с иными школьными учителями, Гегель иронизирует:

«Какой школьный учитель не доказывал, что Александр Великий и Юлий Цезарь руководились страстями и потому были безнравственными людьми? Отсюда прямо вытекает, что он, школьный учитель, лучше их, потому что у него нет таких страстей, и он подтверждает это тем, что не завоевывает Азии, не побеждает Дария и Пору, но, конечно, сам хорошо живет и дает жить другим»⁵¹.

Когда за дело берется такой «школьный учитель» или «историческая критика», считающие себя беспристрастными, но, как понятно, обладающие своей системой ценностей и своей субкультурой, то кроме той «жалкой истины», по поводу которой сокрушался Гёте, ждать ничего не приходится. И дело тут, конечно, не в культурном уровне «школьного учителя» или «исторической критики». Каким бы тот ни был, низким или высоким, именно он служит основой суждения об окружающем мире, придает ему соответствующий смысл и ценностное содержание. Верно было сказано: «*Человек есть мера всех вещей*». Но этот человек — не абстракция, а всегда определенный человек, принадлежащий к какой-то конкретной исторической форме общественного бытия, обладающий своей системой ценностей, своим видением мира и наполняющий его своим смыслом и т.п. Вот почему и «мера вещей» всегда и повсюду разная.

Из опыта хорошо известно, насколько разнятся суждения людей относительно одних и тех же вещей, событий или ценностей в зависимости от их принадлежности к той или иной цивилизации или культуре. В самом деле, нас часто оставляют совершенно равнодушными и бесчувственными ценности, разделяемые другими народами. То же можно сказать о вкусах людей, их эстетических и этических представлениях, о суждениях, касающихся экономики, политики и иных сфер культуры. Ни в одной из них нет и быть не может универсальных, общечеловеческих, «объективных» ценностей: все они не «атрибутивны», а «аппликативны», то есть привносятся, прилагаются человеком определенной культуры при оценке им внешнего мира.

Сфера политики, являющаяся для нас предметом исследования, представляет собой, быть может, наиболее яркое и очевидное свидетельство отсутствия универсальных атрибутивных ценностей. Ни в одной другой сфере, наверное, не встретишь так мало взаимопонимания и, наоборот, так много расхождений и противоречий

в суждениях. Хотя при этом люди используют одни и те же слова, понятия, термины, но их смысл и содержание в каждом случае определяется разными системами ценностей, разными культурами.

Означает ли это, что объективное знание или суждение в культурологических науках невозможно вовсе? Всё сказанное выше подводит нас, казалось бы, однозначно к отрицательному ответу. М. Вебер так прямо и пишет:

«Не существует совершенно “объективного” научного анализа культурной жизни или социальных явлений, независимого от особых и односторонних точек зрения, в соответствии с которыми они избраны в качестве объекта исследования, подвергнуты анализу и расчленены...»⁵²

Однако отсюда вовсе не следует, что положения и выводы в области наук о культуре только «субъективны» в том смысле, что для одного человека они значимы, а для другого нет. Дело в том, что культура и ее ценности, будучи «овеществленными» идеями, сами являются объективными. Воспринимаемые и отражаемые сознанием и чувствами человека они (осознанно или неосознанно) доказывают свою «объективность». Поэтому социальная наука, будучи ценностной, тем не менее всегда, так или иначе, остается связанной с действительностью, всегда отражает ее с большей или меньшей степенью достоверности. В целом же социальная наука всегда отвечает культурным, а тем самым и ценностным запросам и потребностям человека, какой бы отвлеченной от жизни она ни представлялась. Если же наука не делает этого или если она противоречит этим ценностям, то она уже не наука — она мельчает, вырождается, теряет силу и значимость. Ведь если бы наука пошла путем, несовместимым с культурой, с ценностями того или иного народа, она пришла бы в разлад с самой жизнью и погибла бы. Вот почему вполне естественно, что и сам предмет исследования, и глубина проникновения в переплетение причинных связей определяются господствующими в данное время, в данной культуре, а тем самым и в мышлении данного ученого ценностными идеями. В свою очередь, эти ценностные идеи могут порой определять восприятие целых исторических эпох, то есть играть решающую роль в понимании не только того, что считается в явлениях «ценным», но и того, что является значимым или незначимым, «важным» или «неважным» в каждой из эпох.

Может ли быть создана общая теория политики?

Вопрос о возможности создания теории политики есть лишь часть более широкой проблемы, касающейся возможности создания строгих теорий в культурологических науках вообще. Читатель, взявший на себя труд ознакомиться с тем, что сказано выше, надо полагать, в общей форме уже дал ответ на поставленный вопрос. Однако тут существует и ряд особенностей.

Гегель начинает свою «Философию истории» со следующего известного размышления:

«Правителям, государственным людям и народам, — пишет он, — с важностью советуют извлекать поучения из опыта истории. Но опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научались из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее. В каждую эпоху оказываются такие особые обстоятельства, каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого этого состояния. В сутолоке мировых событий не помогает общий принцип или воспоминание о сходных обстоятельствах, потому что бледное воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с жизненностью и свободой настоящего»⁵³.

Двести лет назад Гегель сказал то, к чему мы, не без труда, приходим снова сегодня, а именно, что нет простой повторяемости в истории, и потому никакие аналогии между последовательностями событий в различные периоды истории не могут дать нам в руки надежного средства для сравнения и дедуцирования обоснованных выводов.

Приведем здесь мнение и такого выдающегося политика-практика, как Ришельё. В своем «Политическом завещании» тот писал:

«Нет более опасных для Государства людей, чем те, кто желает управлять королевством в соответствии с принципами, почерпнутыми из книг. Таким путем они часто полностью его разрушают, так как прошлое не имеет отношения к настоящему, потому что относительное расположение времён, мест и людей каждый раз совершенно различно»⁵⁴.

Мнение это очень близко к суждению Гегеля, прежде всего, в том пункте, что нет и в принципе не может быть в истории и в политике повторяемости. Но ведь всякая теория, заслуживающая такого названия, основывается именно на общезначимости определенных «законов», которые выводятся из закономерных повторяемостей в той или иной сфере явлений. Возможность установления законов предполагает существование закономерной повторяемости явлений; то и другое, в свою очередь, служит фундаментом для создания теории как системы достаточно строгих понятий и законов. Но вот именно в этом-то и состоит принципиальное различие между социально-политическими и естественными фактами: последние повторяются, первые — практически никогда. По одной только этой причине применение количественных методов в исторических и социально-политических исследованиях не только малопродуктивно, но может иметь своим следствием грубые ошибки в выводах.

Взгляд на возможность создания социальной теории аналогичной естественно-научной теории господствовал (и в основных своих аспектах продолжает господствовать и поныне) в западной социальной науке на протяжении XVIII, XIX и XX веков, откуда благополучно перешел и к нам. Этот взгляд был порожден рационалистическим мировоззрением XVIII века с его оптимистической верой в то, что социальная действительность может быть теоретически и практически рационализирована, что благодаря «научной объективности» могут быть познаны причинно-следственные отношения и на их основе — социальные закономерности. Это, в свою очередь, могло бы открыть широкие просторы для рационального движения человечества по пути прогресса...

И практически все теории социализма XIX столетия, включая и теорию Маркса, были следствием веры в безграничные возможности человеческого разума в познании и преобразовании как естественной, так и социальной природы. Утверждение того же Маркса, что он рассматривает развитие экономической общественной формации как естественно-исторический процесс, есть в той же мере отражение западноевропейского рационализма XVIII–XIX веков, как и его же утверждение, что конечной целью своего «Капитала» он ставит «открытие экономического закона движения современного общества»⁵⁵.

В те времена такой взгляд на вещи был, или казался, вполне оправданным: ведь иного смысла научной работы, кроме открытия объективных законов происходящего, никто не мог себе представить. Рациональное отношение к социальной действительности воз-

никло в тесной связи с бурным развитием естественных наук, и социальные науки стремились заимствовать у них не только их дух, но и методы, чтобы добиться максимального рационализации социального знания.

В этой связи отмечу определенное сходство условий, при которых произошла новая и небывалая по масштабам вспышка рационализма в сфере социальных наук уже в наше время, прежде всего в Соединенных Штатах. В США, которые социолог Ральф Дарендорф охарактеризовал как страну «прикладного Просвещения» (The Applied Enlightenment), существовало глубокое убеждение в том, что все социальные проблемы могут быть принципиально решены. Для этого стоит лишь применить *строго научный метод*, свободный от ценностного подхода и сочетающий эмпирическое исследование, формулирование гипотез и проверку. Специфически американское во всем этом были масштаб и глубина веры. Она охватила мир как социальных, так и естественных наук. Сформировалась убежденность, что в каждой сфере исследования существует своего рода универсальное средство — в виде не только интеллектуальной, но и операциональной парадигмы. Без такой парадигмы имеет место лишь движение наугад, но не последовательный прогресс. Когда же парадигма существует, практические результаты не замедлят последовать.

Один из видных американских политологов Стэнли Хоффман, отмечая все эти обстоятельства, расценил их как свидетельство возникновения в США своеобразной национальной идеологии, развивающей дальше постулаты рационализма XVIII столетия. Ее триумфу и развитию способствовало отсутствие какой-либо контридеологии, которая могла бы бросить вызов этой вере⁵⁶. Более того, национальный опыт экономического развития, социальной интеграции и внешнеполитических успехов усиливали эту веру. Практическим ее следствием стало убеждение в том, что методы точных наук, будучи приложенными к наукам социальным, должны непременно дать в итоге самые благотворные результаты. Голоса сомневающихся и скептиков тонули в общем потоке энтузиазма.

Считалось, что из социальных наук наиболее полно требованиям американской национальной идеологии отвечала экономика. Действительные или мнимые ее успехи подстегивали другие социальные науки. Особенно бурный всплеск произошел в сфере политических исследований. Именно здесь желание соперничать с экономической наукой проявилось наиболее полно. Никогда еще не были так сильны претензии на создание общей теории международных отношений, теории внутренней и внешней политики, теории конфликтов.

Как грибы после дождя, возникали различные направления и школы, появились десятки монографий...

К сфере политических исследований стали применяться новейшие достижения естественных и физико-математических наук: системный анализ, теория игр, методы математического моделирования, статистические методы и т.д. Поистине, рационализм XVIII века обрел в Америке середины XX столетия свое новое дыхание. Многие верили, что на пути «беспристрастного» эмпирического анализа и установления закономерных связей можно прийти к объективному (то есть свободному от ценностей) и вместе с тем вполне рациональному познанию социально-политической действительности как некой системы понятий и законов.

Вот что, к примеру, писал один из самых блестящих американских теоретиков международных отношений Ганс Моргентау, основатель школы так называемого «политического реализма», книга которого «Политические отношения между государствами» («The Politics Among Nations») стала настоящим катехизисом для многих поколений американских и неамериканских политологов-международников:

«Политический реализм исходит из того, что политика, подобно обществу в целом, основывается на объективных законах, корни которых лежат в природе человека. Чтобы что-то изменить в обществе, необходимо, прежде всего, понять те законы, по которым общество живет... Реализм, веря в объективность законов политики, верит и в возможность создания рациональной теории политики, отражающей эти объективные законы (пусть даже несовершенно и односторонне). Реализм верит и в возможность разделения в политике между истиной и мнением, или между объективной и рациональной истиной, подкрепленной фактами и имеющей разумное объяснение, и субъективным суждением, не соответствующим фактам и рожденным предрассудками или стремлением выдать желаемое за действительное»⁵⁷.

Данный пассаж вполне типичен как для значительной части американских исследований международных отношений, так и для западного рационализма в целом. Однако, увы, конечный результат этого «бума» рационализма и «объективизма» нельзя признать вдохновляющим. Если пропустить многочисленные произведения западной теоретико-политической мысли этого периода через хороший критический «сепаратор», то на дне его обнаружится, на удив-

ление, мало. Это — известная в своих основных чертах со времен еще Фукидида *«теория баланса сил»* и не менее известная в дипломатической практике, но так и не получившая адекватного выражения в теориях международных отношений и внешней политики *концепция «национального интереса»*. И это, кажется, всё. Как ни поразительно, но человеческая мысль до сих пор не выработала даже единого, общепринятого и «теоретически» обоснованного взгляда на такое явление, как война, учитывая, что никакой другой социальный феномен не несет столь губительных последствий для человечества, особенно в нашу эпоху.

Если признать тот факт, что политическая наука (политология), наряду с другими социальными науками, относится к наукам культурологическим, то придется признать и то, что значимость и причинная связь охватываемых ими явлений не могут быть выведены, обоснованы и пояснены с помощью строгой системы законов и понятий, так как сама эта значимость предполагает соотнесение исследуемых явлений с ценностными идеями. Что же касается причинного объяснения социально-политических явлений, то оно, по мнению М. Вебера и многих других философов, в этой сфере не только практически невозможно, но даже бессмысленно⁵⁸. Там, где речь идет об индивидуальных явлениях, вопрос причинной связи — это вопрос не об общих законах, а о конкретных причинных связях. Вот почему в причинном объяснении явления культуры или в познании того или иного исторического события или памятника культуры поиски причинной обусловленности — не цель, а только средство исследования.

В самом деле, если мы возьмем такие общие «закономерности», как закономерности функционирования и развития системы межгосударственных отношений или действия в ней баланса сил, то легко убедиться в том, что их знание не дает нам возможности удовлетворительно раскрыть ни конкретно-исторической системы баланса сил, ни роли и места отдельного конкретного государства в соответствующей пространственно-временной системе межгосударственных отношений, ни конкретную причинную связь, обуславливающую те или иные действия государств.

* * *

Не обошел своим вниманием рассматриваемую проблему и Карл Манхейм. В своем главном труде *«Идеология и утопия»* он посвятил ей специальную главу. Отправляясь от ценностной концепции и

экзистенциальной обусловленности нашего знания, Манхейм видит наиболее серьезные трудности, с которыми сталкивается знание в политической сфере, в том, что его объектом являются не застывшие данности, а текущие, находящиеся в непрерывном процессе становления тенденции, постоянно преобразующиеся целенаправленные действия. Трудность состоит здесь и в том, что в этой сфере все время меняется соотношение взаимодействующих сил. Там, где постоянно действуют одни и те же силы и где соотношение их носит регулярный характер, можно еще фиксировать общие закономерности. Там же, где происходит постоянное появление новых событий и тенденций, комбинации которых никогда нельзя заранее предвидеть, там исследование, опирающееся на общие закономерности, сильно затруднено.

Манхейм считает, что трудность заключается в том, что исследователь находится здесь *не за пределами изучаемой им сферы, но сам, так или иначе, участвует в столкновении борющихся сил*. Это участие неминуемо вызывает односторонность и предвзятость его оценок и волевых импульсов.

Еще большее значение Манхейм придает тому факту, что в области политики теоретик связан с определенным политическим течением, с одной из борющихся сил, притом часто не только в своих оценках. Характер постановки вопросов, весь тип его мышления вплоть до используемого им понятийного аппарата — все это с очевидностью свидетельствует о влиянии определенной политической и социальной среды. Вот почему в области исторического и политического мышления надлежит говорить о различии стилей мышления — различии, которое простирается даже на логику. В этом и состоит, по его мнению, невозможность для политики стать наукой в общепринятом смысле⁵⁹. Вместе с тем он отмечает и тот факт, что в настоящее время стала очевидной партийная обусловленность любого политического знания. И тем не менее Манхейм приходит к неожиданному выводу, что политика как наука всё же возможна.

Вывод этот, однако, не кажется убедительным. Об этом свидетельствует и тот факт, что все усилия к созданию политической науки, предпринятые уже после смерти Манхейма, не увенчались сколь-нибудь заметным успехом. Они лишь подтвердили его собственные слова:

«Там, где начинается область политики, где всё находится в процессе становления, где коллективный субъект сам формирует в нас это становление, где мышление выступает не в качестве беспристра-

стного наблюдателя, а как активный соучастник — там вступает в силу совсем иной тип познания, в котором решение и видение неразрывно связаны друг с другом. Здесь нет чисто теоретического отношения субъекта к объекту познания»⁶⁰.

Сказанное, однако, вовсе не следует понимать таким образом, что в области культурологических наук знание общего, образование абстрактных родовых понятий, знание закономерностей и стремление формулировать связи на основе «законов» вообще невозможны или не имеют научного оправдания. Если мы ставим себе целью познание конкретной причинной связи конкретных явлений, то без знания определенных законов причинных связей решить такую задачу невозможно. Без знания того же «закона баланса сил» или общих закономерностей функционирования и развития системы межгосударственных отношений было бы немисливо определить и значимость каких-то индивидуальных или даже уникальных явлений и событий в этой области. Знание «законов» (пусть даже приближительных) помогает нам найти место рассматриваемого явления или события в ряду других аналогичных явлений и событий, облегчает сведение их к конкретным причинам.

«В той мере, и только в той, — считает М. Вебер, — в какой знание законов способствует этому, применение его оправданно в познании индивидуальных связей»⁶¹.

Но тут выявляется следующая закономерность: чем более общи, а тем самым более абстрактны законы, тем менее они применимы для причинного объяснения индивидуальных явлений, а потому — и для понимания значения социально-политических процессов. В этом, как уже говорилось, состоит одно из существенных отличий естественных наук от наук культурологических.

Специфику общественных явлений, с точки зрения действия в них «законов», отмечал и Данилевский. Он считал, что общественные явления не управляются никакими специальными законами, кроме законов самых общих, духовных. Но и те действуют особым образом, под влиянием формобразующих начал организации обществ. Поскольку эти начала для разных обществ различны, то единое общетеоретическое знание таких дисциплин, как политика, политическая экономия и подобных, невозможно. Все явления общественного мира суть явления ценностно-культурные, а значит, их можно изучать и рассматривать только в этом качестве.

Их, разумеется, можно и нужно сравнивать и сопоставлять между собой, такое сравнение помогает понять «правила» для более или менее широкой группы политических обществ. Но, заключает Данилевский, *никогда политическое или экономическое явление, замечаемое у одного народа и там уместное и благотворное, не может считаться уже благодаря этому уместным и благотворным у другого. Это может быть, но может и не быть*⁶².

Согласно же Веберу, «национальные» — значит культурологические, то есть имеющие ценностное содержание.

Чтобы убедиться в правоте приведенных суждений, не нужно далеко ходить: достаточно взглянуть на состояние дел хотя бы с «теорией международных отношений» в любой стране, где той достаточно широко занимаются. В самом деле, кроме совокупности сильно различающихся и, как правило, мало совместных друг с другом точек зрения, ничего более обнадеживающего обнаружить не удастся. И уже многими признается, в том числе и упоминавшимся Хоффманом, что надежды на создание единой, общей теории международных отношений не оправдались. Хоффман в этом смысле даже более пессимистичен. Если, считает он, взглянуть на всю сферу исследования международных отношений с начала революции в ней (то есть с появления школы «политического реализма»), то этому периоду больше присущи не новые прорывы, а новые тупики. Из небольшого числа «прорывов» он выделяет концепцию международной системы (системный подход к международным отношениям), концепцию принятия внешнеполитических решений и кодифицирования «правил игры» на международно-политической арене и, наконец, попытки изучения сути и роли экономической взаимозависимости⁶³.

Оценка, как видим, более чем скромная, но нельзя сказать, что несправедливая. И корни неудач лежат не только в том, что природа рассматриваемой сферы является неопределенной. Главное в том, что наука о международно-политических отношениях, как и всякая иная социально-политическая наука, есть наука о «культуре» в самом широком смысле этого слова, а значит, требует применения к исследованию ценностного подхода. А он в принципе исключает создание теории в том смысле, в каком она понимается в науках естественных.

Если мы всё же предпочитаем и дальше пользоваться словом «теория» применительно к исследованиям политики и международных отношений, то в этом случае нужно четко представлять ее ограниченный и условный смысл. Всякая теория может рассматриваться

как некоторая совокупность представлений, выражающих идеальный образ изучаемой действительности при каких-то определенных, заданных наперед самим исследователем условиях. В естественных науках такими условиями могут быть, скажем, постоянные температура, давление, объем, масса и т.д. В науках же социальных обычно в качестве такого условия принимается «рациональное» поведение участников соответствующих социальных действий (при этом «рациональное» в ценностном понимании самого исследователя). Такого рода теория дает некий мысленный образ процессов, происходящих на политической арене (внутренней или внешней), но опять-таки при допущении строго рационального поведения их участников. «Образ» этот Вебер назвал «идеальным типом».

По своему содержанию «идеальный тип» есть своего рода утопия, созданная путем мысленного выделения и усиления определенных элементов действительности, представляющих для конкретного исследователя некоторую ценность и значимость. В научном исследовании он есть средство для выработки логически связанного суждения о причинной связи элементов действительности и ее своеобразии. «Идеальный тип», по Веберу, — даже не гипотеза: он лишь указывает, в каком направлении *должно* идти образование гипотез. Не дает он и образа действительности, а лишь предоставляет для этого однозначные средства выражения⁶⁴. Именно по данной причине «идеальный тип» не может рассматриваться как цель сама в себе, а только как *средство* для лучшего познания действительности.

В этом смысле, однако, значение «идеального типа» трудно переоценить. В самом деле, как только историк, социолог или политолог делает попытку выйти за рамки простой констатации конкретных связей и пытается установить культурно-ценностное значение даже самого элементарного индивидуального события и охарактеризовать его, он вынужден оперировать понятиями, которые могут быть точно и однозначно определены *только в «идеальных типах»*. Такие понятия, как, скажем, *империализм, капитализм, социализм, баланс сил, национальный интерес, нация, государство* и многие другие подобного рода, с помощью которых мы создаем образ окружающей социально-политической действительности и постигаем ее смысл, не могут быть определены по своему содержанию путем «беспристрастного» описания какого-либо конкретного явления. Они создаются благодаря конструированию «идеальных типов». Исследуя какую-либо выбранную для изучения часть действительности, мы не можем обойтись без них, но в то же время они не могут исчерпать бесконечного богатства этой действительности. Они представляют

собой не что иное, как попытку внести какой-то порядок в хаос тех фактов, которые мы включаем в круг наших исследовательских интересов, притом на данном уровне нашего знания и при имеющемся в нашем распоряжении понятийном аппарате.

Идеально-типичны по своему характеру все специфические марксистские «законы» и схемы процессов развития. Каждый, кто когда-либо работал с применением марксистских понятий, замечает Вебер, хорошо знает неповторимое эвристическое значение этих «идеальных типов», если пользоваться ими для сравнения с действительностью, но в равной мере знает и то, насколько они могут быть опасными, если рассматривать их как эмпирически значимые или даже реальные «действующие силы», «тенденции» и т.д.⁶⁵

Последнее особенно знакомо нам, поскольку именно мы превратили идеально-типические понятия марксовской схемы в точное отражение действительности, в строгую теорию, из которой дедуцировали действительность. Вот почему столь актуально предостережение Вебера против попыток рассматривать «идеальные типы» в качестве некоего «образца» или долженствования.

«Ничто не может быть опаснее, — отмечает он, — чем коренящиеся в натуралистических предубеждениях смешение теории и истории, в форме ли веры в то, что в теоретических построениях фиксировано “подлинное” содержание, “сущность” исторической реальности, или в использовании этих понятий в качестве прокрустова ложа, в которое втискивают историю...»⁶⁶.

Нам хорошо знакомы все эти «грехи»: и смешение истории и теории, и использование «идеального типа» социализма в качестве прокрустова ложа, под которое подгонялась российская действительность, и немало другого. Для многих до сих пор остается идейным руководством утверждение Энгельса в его рецензии на работу К. Маркса «К критике политической экономии», что логический метод исследования является в сущности тем же историческим методом, только освобожденным от исторической формы и от всякого рода случайностей⁶⁷.

Однако для тех, кто внимательно ознакомился с представленной здесь концепцией, должно быть понятно, что, сколько исторический метод ни тряс, как ни «освобождай» его от «случайностей» и от «исторической формы», логического метода мы не получим. Это совершенно иное направление мыслительной деятельности — направление, связанное с конструированием идеально-типических

понятий и «идеальных типов», которое, в отличие от ценностного суждения, совершенно индифферентно (или должно быть таковым) к конкретной действительности.

Можно создать «идеальные типы» чего угодно, в том числе, по словам Вебера, «идеальный тип борделя». Ведь и формационная теория Маркса — тоже характерный «идеальный тип». В нем путем мысленного выделения и усиления преимущественно производственно-экономических отношений, представляющих для Маркса как мыслителя наибольшую ценность, была создана некоторая эвристическая модель, практически не соответствовавшая ни одному из конкретно-исторических типов общества.

Если обратиться к сфере исследования международных отношений, то тут примерами «идеальных типов» можно назвать так называемую системную теорию международных отношений, концепцию «баланса сил», концепцию «национального интереса» и многие другие. В каждой из них путем выделения и мысленного усиления определенных элементов, представляющих для исследователя особый интерес, создается идеальная модель. В каждом конкретном случае та играет свою несомненную эвристическую роль и служит средством более глубокого познания международно-политической действительности.

Если, скажем, исследователь делает предметом своего изучения «баланс сил» между государствами в ограниченном регионе и в конкретный период времени, то сама постановка такого вопроса возможна только потому, что уже имеется более или менее отработанный «идеальный тип» межгосударственного «баланса сил», которым можно оперировать при исследовании конкретно-исторического его проявления. Без этого оно будет в значительной мере лишено границ и ориентации.

То же самое, в принципе, можно сказать и о многих других сторонах изучения социально-политической действительности, будь то государство во всех многообразных и сложных сторонах его жизнедеятельности или этические, экономические и правовые проблемы. Везде, хотя бы в виде общей и молчаливой предпосылки, должен уже существовать определенный «идеальный тип». Отталкиваясь от него, сверяясь с ним, мы тем самым имеем возможность углублять и расширять свои познания в выбранной сфере исследования. Научная работа подчас просто заходит в тупик или сильно усложняется, если такой «идеальный тип» не был предварительно разработан в соответствующей области исследования. Ведь многие по сию пору считают главной задачей и даже назначением каждой науки, не исклю-

чая и науки политической, создание целостной «теории». Претензии эти, как уже отмечалось, — отголосок эпохи Просвещения и позитивизма, и они продолжают корениться в мышлении многих исследователей исторической и социально-политической школы не только за рубежом (в основном на Западе), но и в нашей стране.

Отрицание возможности создания целостной и научно обоснованной теории в исторических и социально-политических дисциплинах, быть может, кого-то обескуражит. Однако наше знание и наше познание действительности и в самом деле *релятивно*, хотя бы в силу ценностной его природы, не говоря уже об ограниченных познавательных возможностях человека. Но релятивность вовсе не означает неопределенность и не тождественна ей. Ценностный подход, как говорит само название, основывается на определенной системе ценностей, благодаря чему он по-своему тоже «объективен», пока и поскольку данная система ценностей существует и служит отправным моментом исследования. Но не более того. Хотя, как в этой связи отмечал тот же Вебер, «почти все науки, от философии до биологии, время от времени претендуют на то, что они создают не только специальное знание, но и целое “мировоззрение”»⁶⁸.

«Мировоззренческие» претензии были свойственны также и различным теориям международных отношений. Но, как показал опыт послевоенного бурного развития теоретических исследований в данной области, все они оказались, по сути дела, тщетными. И вовсе не потому, что не было выдающихся умов, но главным образом потому, что создание универсальной теории политики или международных отношений невозможно в принципе. Кого-то, возможно, этот вывод разочарует, но что есть, то есть.

Примечания

¹ *Аристотель*. Политика. Кн. первая, I (9) // Аристотель. Соч. В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 378.

² См.: *Аристотель*. Политика. Кн. третья, VII (1) // Там же. Т. 4. С. 467.

³ См.: *Шопенгауэр А.* Две основные проблемы этики // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М., 1992. С. 69.

⁴ *Плеханов Г.В.* О материалистическом понимании истории // Плеханов Г.В. Избр. филос. произв. В 5 т. М., 1956. Т. 2. С. 247, 248.

⁵ *Гоббс Т.* Левиафан. М., 1936. С. 51.

⁶ См.: *Дюркгейм Э.* Метод социологии // Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С. 424.

⁷ Гегель. *Философия истории* // Соч. М.-Л., 1935. Т. VIII. С. 20, 23.

Эта же тема, но в художественной форме, развита Ф.М. Достоевским в «Записках из подполья». С присущим ему глубоким психологическим проникновением в природу человека он раскрывает ее иррациональность, своеволие, нежелание подчиняться рассудочным схемам и формулам, выработанным «гениями» человечества.

⁸ Reinhold Niebuhr on Politics / Ed. by Harry R. Davis and Robert C. Good. N.Y., 1960. P. 62.

⁹ Подкрепление высказанного суждения находим у Шопенгауэра. Тот пишет, в частности: «Разумное и порочное могут прекрасно совмещаться друг с другом, и только благодаря их соединению возможны крупные, далеко идущие преступления» (*Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики*. С. 160).

¹⁰ Спиноза Б. *Политический трактат* // Спиноза Б. Избр. произв. В 2 т. М., 1957. Т. 2. С. 289.

¹¹ Гоббс Т. *Левиафан*. С. 58.

¹² Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избр. произв. М., 1990. С. 374.

¹³ Манхейм К. *Идеология и утопия* // Манхейм К. *Диагноз нашего времени*. М., 1994. С. 223–224.

¹⁴ См.: Шпенглер О. *Закат Европы*. Т. 1. М., 1993. С. 151, 267–269, 305.

¹⁵ См.: Карлейль Т. *Французская революция*. История. М., 1991. С. 33.

¹⁶ См.: Гумилев Л.Н. *Древняя Русь и Великая степь*. М., 1992. С.137.

¹⁷ Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания. С. 374.

¹⁸ См.: там же. С. 379.

¹⁹ Дюркгейм Э. *О разделении общественного труда* // Дюркгейм Э. *О разделении общественного труда. Метод социологии*. М., 1991. С. 82–83.

²⁰ Секст Эмпирик. *Против ученых* // Секст Эмпирик. Соч. В 2 т. М., 1976. Т. 2. С. 30.

Ту же, по существу, мысль находим у Шопенгауэра: «Счастливыми или несчастными делает нас не то, каковы вещи в объективной действительности, а то, какими они являются нам в нашем представлении» (*Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости* // Шопенгауэр А. *Свобода и нравственность*. С. 271).

²¹ Фейербах Л. *Сущность христианства* // Фейербах Л. Избр. филос. произв. В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 15.

²² См.: Weber M. *Methodology of Social Sciences*. Glencoe, 1949. P. 10–12, 60.

²³ Претензии западноевропейской цивилизации на исключительное общечеловеческое содержание отмечал Л.Толстой в своем романе «Война и мир». «Вместо прежних, удобных божеству, целей народов, — пишет он, — ...новая история поставила свои цели — блага французского, германского, английского [народов] и, в самом своем высшем отвлечении, цели блага цивилизации всего человечества, под которым разумеются обыкновенно народы, занимающие маленький северо-западный уголок большого материка» (*Толстой Л.Н. Собр. соч.* В 14 т. М., 1951. Т. 7. С. 303).

Аналогичную мысль высказывает и Освальд Шпенглер. Критикуя западноевропейских мыслителей за отождествление истории Западной Европы с Всемирной историей, он отмечает, что в этом смысле «мы, люди западноевропейской культуры, с нашим историческим чувством являемся исключением, а не правилом. “Всемирная история” — это *наша картина мира*, но отнюдь не картина “человечества”» (*Шпенглер О. Закат Европы*. Т. 1. С. 143–144).

²⁴ См.: *Toynbee A. A Study of History. Vol. I. London: Oxford University Press, 1934. P. 149–158.*

²⁵ См.: *Ibid. P. 157.*

²⁶ Цит. по: *Toynbee A. A Study of History. Vol. III. P. 382.* См. также: *Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. С. 529–530.*

²⁷ *Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. P. 381–382.*

²⁸ Там же. С. 331.

²⁹ *Манхейм К. Идеология и утопия. С. 8–9.*

³⁰ См.: *Дюркгейм Э. Метод социологии. С. 422.*

³¹ *Toynbee A. A Study of History. Vol. III. P. 386–387.*

³² См.: *Вебер М. Предварительные замечания // Вебер М. Избр. произв. С. 44–48, 52.*

³³ См. *Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.* Первое издание книги вышло в 1871 г.

³⁴ Шпенглер не только был знаком с трудом Данилевского, но и заимствовал у него ряд идей.

³⁵ *Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С. 122–123.* В отличие от многих западных ученых Данилевский не относит древнегреческую цивилизацию к европейской; по его мнению, она входила в так называемую средиземноморскую цивилизацию, наследницей которой западноевропейская цивилизация вовсе не является.

Такой же точки зрения придерживался и Шпенглер:

«Нам надо бы, наконец, преодолеть почтенный предрассудок, будто античность внутренне близка нам, так как мы-де были ее учениками и отпрысками, тогда как фактически мы были лишь ее поклонниками. Понадобилась вся религиозно-философская, историко-художественная, социально-критическая работа XIX столетия не для того, чтобы научить нас понимать драмы Эсхила, платоновское учение, Аполлона и Диониса, афинское государство, цезаризм... чтобы внушить нам, наконец, как неизмеримо чуждо и далеко нам все это во внутреннем смысле, более чуждо, пожалуй, чем мексиканские боги и индийская архитектура» (*Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. С. 158.*).

³⁶ Русский перевод статьи см.: *Вопросы философии. 1990. № 3.*

³⁷ *Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992. С. 602–603.*

³⁸ *Леонтьев К. Из письма к Вл. Соловьеву // Наш современник. 1991. № 12. С. 170.*

³⁹ Эта мысль Достоевского удивительно перекликается с аналогичной мыслью Софокла в его «Антигоне». Закон народных обычаев и заветов, говорит Антигона, есть

«Неписанный, незыблемый закон
Богов бессмертных. Он не сегодня
Был ими к жизни призван, не вчера:
Живет он вечно, и никто не знает,
С каких он пор явился меж людей».
(*Софокл. Драмы. М., 1990. С. 138.*)

⁴⁰ *Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 10 С. 198–200.*

⁴¹ См.: *Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. С. 383–384.*

⁴² См. об этом: *Reinhold Niebuhr on Politics. P. 43–44.*

⁴³ См.: *Humboldt W. von. On the Historian's Task // Ranke L. von. The Theory and Practice of History / Ed. by Georg G. Iggers and Konrad von Moltke. N.Y., 1983. P. 6.*

⁴⁴ См.: *ibid. P. 14.*

⁴⁵ См.: *Флоренский П.* К методологии исторической критики // Флоренский П. Столп и утверждение истины. М., 1914.

⁴⁶ Там же. С. 545–546.

Учитывая близость взглядов Флоренского с ценностным подходом М. Вебера, можно предположить его знакомство с трудами последнего и, главным образом, с работой «Объективность» социально-научного и социально-политического познания», которая была опубликована впервые в 1904 г.

⁴⁷ *Эккерман И.-П.* Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1986. С. 162–163.

⁴⁸ *Humboldt W von.* On the Historian's Task. P. 15, 16.

⁴⁹ *Ranke L. von.* The Theory and Practice of History. P. 42.

⁵⁰ Ibid. P. XLIX.

⁵¹ *Тегель.* Философия истории. С. 31.

⁵² *Вебер М.* «Объективность» социально-научного и социально-политического познания. С. 369.

⁵³ *Тегель.* Философия истории. С. 7–8.

⁵⁴ Цит. по: *Meinecke F.* Machiavellism. The Doctrine of Raison d'Etat and Its Place in Modern History. Westview Press, Boulder, 1984. P.167.

⁵⁵ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 10.

⁵⁶ См.: *Hoffman S.* Janus and Minerva. Essays in the Theory and Practice of International Politics. Westview Press, 1987. P. 8, 14.

⁵⁷ См.: *Morgenthau Hans J.* Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. 4-th edn. N.Y., 1967. P. 4.

⁵⁸ См.: *Вебер М.* «Объективность» социально-научного и социально-политического познания. С. 376.

⁵⁹ См.: *Манхейм К.* Идеология и утопия. С. 10.

⁶⁰ Там же. С. 145–146.

⁶¹ *Вебер М.* «Объективность» социально-научного и социально-политического познания. С. 377.

⁶² См.: *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. С. 159, 160.

⁶³ *Hoffman S.* Janus and Minerva. P. 14.

⁶⁴ См.: *Вебер М.* «Объективность» социально-научного и социально-политического познания. С. 389.

⁶⁵ См.: там же. С. 404.

⁶⁶ Там. С. 394.

⁶⁷ См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 13. С. 497.

⁶⁸ *Вебер М.* «Объективность» социально-научного и социально-политического познания. С. 365.

Глава II

ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВО

*Политика в высшем смысле есть жизнь,
а жизнь есть политика.*

Освальд Шпенглер

Понятие политики

Можно смело утверждать, что «политика» — наиболее употребительное слово в современном общественном лексиконе. Мы говорим о политике государства или партии, о политике государственных деятелей, политике отдельных людей... Означает ли это, что во всех перечисленных случаях мы говорим об одном и том же, или существует различие в содержании термина «политика» применительно к каждому из них?

И да, и нет; положительный или отрицательный ответ зависит от того, применяем ли мы понятие политики в обиходном или научном смысле слова. Надо заметить, что эти два смысла нередко смешиваются, притом не только в обиходном, но и в научном употреблении. Если взять обиходное использование понятия политики, то во всех упомянутых выше случаях общим для них будет одно из ее значений, предлагаемое, к примеру, «Толковым словарем» Вл. Даля и означающее *«уклончивый и самотный образ действия»*. Дает он и значение слова «политик». По его определению, это

«умный и ловкий (не всегда честный) государственный деятель; вообще скрытный и хитрый человек, умеющий наклонять дела в свою пользу, кстати молвить и вовремя смолчать»¹.

Такие политики нам хорошо известны, особенно в последние десятилетия. Надо думать, на основе данного значения и возникло рас-

хожее суждение, что политика — «дело грязное», нечестное, корыстное, хотя и не лишенное своего авантюристического романтизма. Однако не об этой стороне политики пойдет тут речь. Оставим ее на откуп беллетристам, которые, подобно Дюма или Пикулю, с таким блеском представили ее в своих популярных произведениях.

Когда Аристотель в своей «Политике» утверждал, что человек по природе своей есть существо политическое, он подразумевал отнюдь не хитрость и изворотливость. Имел он в виду прежде всего и главным образом тот факт, что человек в глубинной и сущностной основе своей есть существо общественное, государственное, а тем самым и политическое. Политика и государство для него — понятия неразделимые, и свой труд он начинает со следующего определения:

«Поскольку, как мы видим, всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же общение организуется ради какого-либо блага..., то очевидно, все общения стремятся... к тому или иному благу, причём больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные общения. Это общение и называется государством или общением политическим»².

В этом довольно тяжеловесном определении выделим следующие главные моменты:

- всякое общение людей организуется ради удовлетворения каких-то интересов;
- наиболее важный вид общения, обнимающий все остальные, есть государство;
- государственное общение и есть, по определению, общение политическое.

Мы видим здесь, как Аристотель ведет нить своих рассуждений от общений вообще до высшего его вида — государства. Политика для него — это не просто форма обычного общения между людьми, а лишь та, которая прямо и непосредственно связана с государством, вытекает из него, определяется его нуждами и потребностями.

За два с половиной десятка столетий, прошедших с того времени, когда Аристотель дал свое определение, были предложены и другие дефиниции политики, однако аристотелевское понимание рассматриваемого феномена в существенных своих чертах не потеряло своего значения и поныне. Вслед за Аристотелем, многие политические мыслители так или иначе склонялись к признанию того факта, что

в жизни не существует не зависимых от политики сфер деятельности; она фактически всеохватна и, когда это необходимо, превращает в свое орудие любую сферу жизни — искусство, науку, экономику, семью, воспитание, образование, спорт, культуру и т.п.³

Любая общественная проблема, считали также и классики марксизма, приобретает политический характер, если ее решение, прямо или косвенно, связано с государством, с проблемой власти⁴. Связь же эта возникает перманентно.

Близкое по смыслу определение политики дают и такие разные во многих отношениях мыслители, как Макс Вебер и Ленин. Свою известную работу «Политика как призвание и профессия» Вебер начинает с вопроса, что понимается под политикой.

«Это понятие, — пишет он, — имеет чрезвычайно широкий смысл и охватывает все виды деятельности по самостоятельному руководству. Говорят о валютной политике банков... о политике профсоюза во время забастовки; можно говорить о школьной политике городской или сельской общины, о политике правления, руководящего корпорацией, наконец, даже о политике умной жены, которая стремится управлять своим мужем».

После этих слов, правда, Вебер переводит разговор о политике исключительно в русло деятельности государства и власти, оставляя вне поля внимания другие, обозначенные им же самим сферы. Однако различие между ними принципиально важно для уяснения всей проблемы, но об этом ниже.

Итак, Вебер продолжает:

«Политика, судя по всему, означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает»⁵.

Ему как бы вторит Ленин:

«Политика есть участие в делах государства, направление государства, определение форм, задач, содержания деятельности государства»⁶.

«Философская энциклопедия» (М., 1989) определяет политику как сферу деятельности, связанную с отношениями между класса-

ми, нациями и другими социальными группами, ядром которой является проблема завоевания, удержания и использования государственной власти.

Итак, мы видим, что при некотором внешнем различии представленных формулировок все они по сути своей идентичны. Можно, казалось бы, продолжить перечень определений политики с целью иллюстрации сделанного вывода, но несколько обескураживающим фактом является то, что в мировой политологической литературе с древнейших времен по настоящее время определение политики — скорее исключение, нежели правило. Ее определения не найти у Макиавелли, Спинозы, Монтескьё, Руссо, Гегеля, хотя главным или одним из главных предметов их раздумий и сочинений была именно политика. Данное обстоятельство, по размышлению, не является, в общем-то, странным. В самом деле, понятие политики слишком богато, слишком ёмко, глубоко и всеобъемлюще, чтобы можно было втиснуть его в рамки дефиниции, сколь бы пространной она ни была. Поэтому и данные выше определения политики — скорее не определения, а общие отсылки к той основе, на которой та строится, вокруг которой вращается, из которой постоянно порождается и развивается. Основа эта — та или иная форма человеческой ассоциации, прежде всего государство, из глубочайших жизненных сил и потребностей которого политика возникает, являясь его наиболее полным и деятельным выражением. Именно здесь нужно искать глубинные корни и основания политики, и без их знания она не может быть понята. Собственно, вывод этот изначально содержится уже в аристотелевском утверждении, что человек по природе своей есть существо политическое и уже тем самым — общественное.

В то же время ни одна человеческая ассоциация не существует без какой-то формы власти, то есть без той или иной формы принуждения. Отсюда естественно следует, что сфера политики неотрывна от власти и всего, что с ней связано. Ее присутствие мы видим на всех уровнях отношений между людьми и их ассоциациями, начиная с межличностных и кончая межгосударственными.

Власть — это, прежде всего, инструмент поддержания в любом обществе определенного порядка, его организации и управления. Сколько веков существует человеческое общество, столько же существует и власть. В самом деле, если некий порядок есть первая потребность человека как существа общественно-политического, то создание, поддержание и обеспечение этого порядка невозможны без власти и неотъемлемого от нее принуждения, с одной стороны,

и подчинения — с другой. На этих двух столпах — на власти и подчинении — держится любое общество, и без них существование какой бы то ни было человеческой ассоциации попросту невозможно: общество упразднилось бы, а вместе с ним упразднилась бы и политика.

Власть можно рассматривать и как способность оказывать определяющее воздействие на деятельность и поведение людей с помощью соответствующих средств, в том числе и силовых. Но власть может быть как личной, так и общественной. Относятся ли оба эти вида к явлениям политическим? Ответ на этот вопрос подводит нас к необходимости определения критерия, отделяющего политические явления от неполитических. Вполне очевидно различие между действием, направленным на удовлетворение каких-то частных интересов, и действием в интересах общества, группы, или, используя приведенный выше пример, различие между «политикой жены в отношении мужа» и политикой социальной группы, политического союза, государства, направленной на сохранение и поддержание в них определенного порядка.

Признание неразрывной связи политики и власти — необходимый, но еще недостаточный признак определения специфики политического факта. Вопрос о власти может стоять в отношениях и между отдельными людьми, и в семье или в какой-нибудь малочисленной и замкнутой группе людей, что еще не относит данные типы власти к разряду политических. Чтобы обнаружить эту специфику, нужно обратиться к рассматриваемому явлению с иной стороны.

И тут сразу необходимо отметить один из главных критериев в определении политики, а именно: *политическая деятельность обладает той специфической особенностью, что существует вне индивидуального контроля.*

Но и это еще не всё: она не только существует вне контроля индивида, но и наделена принудительной силой, благодаря чему навязываются тому помимо его воли и желания.

Политические виды действия и мышления обладают своим собственным независимым способом существования, или, другими словами, они носят по отношению к индивидам *объективный характер*. Связано это, прежде всего, с тем, что индивид находит их совершенно готовыми как результат предшествующей (более отдаленной или недавней) политической деятельности людей, и он не может ни отменить их, ни изменить простым волевым актом. Он вынужден считаться с их существованием, приспособливаться к ним, поскольку те всегда связаны с материальным и моральным

превосходством общества (социальной группы, ассоциации, государства) над своими членами.

Политика, следовательно, выступает по отношению к индивидам как объективная необходимость. Политический факт узнается по внешней, *публичной принудительной силе*, которую он имеет или способен иметь над индивидами⁷.

Я подчеркиваю тут слово «*публичной*», чтобы отделить политический факт от простого социального факта, не обладающего такой публичной принудительной силой и имеющего лишь *частно* принудительный характер. Та же «политика жены в отношении мужа», несмотря на присутствие слова «политика», есть, тем не менее, простой социальный факт, но отнюдь не политический. Ценовая «политика», скажем, той или иной торговой фирмы есть также социальный, а не политический факт, так как она не носит публично принудительного характера. В то же время ценовая политика, проводимая государством, — уже *факт политический*, ибо публично принудительная его природа совершенно очевидна. Именно данным обстоятельством объясняется тот часто встречающийся в практике факт, что политика имеет приоритет не только над индивидуальным поведением и мышлением, но и над публично-правовым законом — она может лишать его силы, отодвигать на второй план и даже отменять вообще.

Даже при том, что тот или иной политический факт не имеет юридически-правового оформления, он, тем не менее, может соблюдаться всеми как совершенно обязательный и быть прочнее, чем многие формальные предписания закона. Сплошь и рядом можно видеть, как юридические установления неосуществимы политически. И наоборот, политическая воля способна опрокинуть любой публично-правовой закон, вплоть до конституции. Нам это известно на примере первой французской конституции — «Декларации прав человека и гражданина», и не только: события 90-х годов прошлого столетия в СССР и России дают тому более чем убедительные свидетельства.

Публичная принудительная сила политического факта проявляет себя либо через какую-то санкцию, либо через сопротивление, оказываемое этим фактом всякой попытке индивида выступить против него. Сила эта дает себя знать также в специфически негативной реакции социальной группы на отклоняющееся поведение ее членов (различные формы остракизма, бойкота, осуждения, отчуждения и т.п.)⁸.

Как бы далеко ни заглядывать вглубь истории, факт общественного бытия человека оказывается наиболее обязательным для инди-

видов и является источником всех других его обязательств. Дело и в том, что политический факт, даже если тот выражается через отдельного индивида, имеет своим субстратом не индивида, а социальную группу (класс, партию, общество, государство и т.д.), в которой индивид является лишь одним из ее элементов. Обобщая, можно сказать, что главным субъектом политики всегда и повсюду является социальная группа, даже если ее воля выражается индивидом.

Итак, чтобы охватить суть политики во всех ее главных аспектах и проявлениях, нужно обратиться к формам коллективного общения людей и, прежде всего, к государству как высшему их проявлению. Нужно раскрыть его сущность, понять саму идею государства и власти, равно как и природы публичной принудительной силы. Без этого любые рассуждения о политике будут поверхностными и бессодержательными, а многие ее существенные стороны — непонятными.

* * *

В связи с рассуждениями о политике определенный интерес представляют взгляды немецкого социолога К. Манхейма. Впрочем, подобно многим другим, он не дает определения политики; его интерес направлен главным образом на ту сферу социальной жизни, где политика действует и где она, по его мнению, только и возможна. В своих суждениях Манхейм опирается на австрийского социолога и политика А. Шеффле, делившего общественную и государственную жизнь на две части: одну, состоящую из явлений, которые *уже сформировались* определенным образом, и другую — из явлений, находящихся *в процессе становления*. Первую часть Шеффле называет «повседневной государственной жизнью», вторую — собственно политикой. Когда, скажем, в ходе обычной административной деятельности текущие дела решаются в соответствии с существующими законами, правилами и предписаниями, то это, по Шеффле, не «политика», а «управление».

Однако, считает Шеффле, а вслед за ним и Манхейм, мы сразу же попадаем в область «политики», когда, к примеру, дипломаты заключают с иностранными государствами договоры, когда депутаты проводят в парламенте законы о новых налогах, когда кто-либо занимается предвыборной агитацией, когда оппозиционные группы готовят восстание, забастовку или иную акцию протеста...

Хотя и не без некоторых оговорок, Манхейм в целом согласен с тем, что политика как таковая возможна лишь там и тогда, где и

когда существует некая «иррациональная среда», и как только та исчезает, ее место занимает управление⁹.

При всех оговорках Манхейма, касающихся условностей подобного деления, согласиться с ним все же трудно. Можно было бы, притом с большими натяжками, ограничить сферу «чистого» управления чиновничье-бюрократическим аппаратом, кабы не было хорошо известно, что сам этот аппарат является не только и не просто исполнителем и проводником в жизнь определенной политики, но и проводит свою собственную, притом нередко весьма энергичную политику.

Помимо того, представляется не только мало обоснованным, но и неплодотворным относить политику к иррациональной стороне общественной жизни. Ведь определить эту сторону с какой-то разумной мерой достоверности вряд ли возможно, не говоря уже о том, что такой подход искусственно разделяет в принципе неразделимые части природы человека и его социально-политического бытия — рациональную и иррациональную. В таком случае нам пришлось бы отнести к сфере политики не раз уже упоминавшую выше «политику жены в отношении мужа» и подобные ей явления. И впрямь, что может быть более иррационально! Что же касается так называемой рациональной стороны государственного управления, на которую ссылается Шеффле, то, увы, жизнь на каждом шагу опровергает этот «рационализм», обнажая тут и там темные иррациональные глубины даже самого совершенного государственно-управленческого механизма.

Прежде чем перейти к рассмотрению понятия государства как средоточия политики, обращу внимание еще на один момент, важный для понимания предмета в целом. Из приведенных выше определений очевидно, что *политика есть сфера общественно-социальной деятельности человека*, и в таком своем проявлении и качестве она берется тут и анализируется. В первом разделе политика рассматривалась как наука, здесь же и дальше — как *деятельность*, то есть как форма реализации общественно-групповых интересов, целей и намерений людей. В ней же активно выражаются их склонности и страсти.

В то же время всякая общественно-социальная деятельность (равно как и бездеятельность, также представляющая собой род деятельности) сводится в известном смысле к занятию определенной *ценностной позиции*. Поэтому политику можно определить и как сферу выражения и столкновения различных общественно-групповых ценностей (духовных и материальных). Как таковая она есть

полное выражение соответствующей культуры и жизни. Для политики борьба и конфликт различных социальных ценностей особенно типичны и характерны, и в них она проявляется с наибольшей силой и страстью.

С этим связано и суждение о политике *как искусстве*, и это верно: в океане противоречивых сталкивающихся интересов, целей и страстей политика поистине должна быть высоким искусством, чтобы отстоять и защитить те ценности, которые она призвана защищать. Тут уже важно знание не теории, а жизни. Тут нужно обладать политической интуицией, умением верно определить момент для тех или иных действий и выбора соответствующих средств для достижения цели, включая правильный выбор политических союзников. Вот почему в политике столь важную роль играют здравый смысл, интуиция, предчувствия, жизненный опыт. Именно на эти качества опирались в своей деятельности такие великие политики прошлого, как Ришельё, Людовик XIV, Иван III, Фридрих II, Наполеон, Бисмарк, В.И. Ленин, И.В. Сталин и многие другие.

В эпоху, когда они жили, не существовало ни теории международных отношений, ни политологии, что, однако, нисколько не мешало тому, что политика действительно была высоким искусством. Наоборот, в наше время мы скорее наблюдаем попятное движение: по мере развития рационально-научных представлений о политике, попыток создания «теории международных отношений», реальная политика как-то постепенно тускнеет, утрачивает свой блеск и мастерство, свою привлекательность, кроющуюся, быть может, в том, что она всегда олицетворяла одновременно и божественное, и дьявольское начала. В наше же рациональное время политика превращается в рутинное и скучное ремесло, когда повседневная мелкая тактика, связанная с решением массы обыденных житейских дел, часто сковывает стратегическое мышление, мешает видеть перспективу.

Как справедливо заметил Бисмарк, *политика есть искусство возможного*, искусство реализации интересов и целей с помощью адекватных средств в конкретных условиях места и времени. Социально-политические идеи, намерения и планы, какими бы возвышенными и грандиозными те ни были, сколь бы тщательно они ни разрабатывались, мало чего стоят, если нет подходящей социальной обстановки и средств для их выполнения, если общество к ним не подготовлено. И тут мало чем может помочь опыт прошлого или искусство политика. В то же время история человечества свидетельствует, что великие политические свершения осуществлялись,

казалось бы, через невозможное, вопреки ему. Иными словами, политика нередко являет собой также *искусство невозможного*. Символами такой политики можно назвать «Гордиев узел» Александра Македонского, «Рубикон» Цезаря, «Колумбово яйцо» и т.д.

В любом, однако, случае политика остается высоким искусством, не терпящим никаких шаблонов. Показательно в этой связи признание одного из выдающихся политиков Франции XVII века, врага, а затем соратника Ришельё, герцога де Рогана, который в своей книге пишет:

«Нет ничего труднее, чем искусство политического управления: даже наиболее опытные в этой профессии в час своей смерти признавались, что они всегда считали себя в ней новичками. Причина тому в том, что невозможно сформулировать твердые и прочные правила управления государством, годные на все времена. Всё то, что служит основанием периодически вспыхивающих революций, является также и побудительным мотивом перемен в основных принципах хорошего управления. Поэтому те, кто позволяет себе руководствоваться в своей деятельности примерами из прошлого больше, чем изучением глубоких причин, определяющих настоящее, обречены на то, чтобы совершать губительные ошибки»¹⁰.

Не оспаривая этих истин, нельзя в то же время не заметить, что губительные ошибки совершаются нередко также из-за незнания опыта прошлого, — незнания некоторых фундаментальных основ государственного управления, непонимания тонкой и в то же время прочной связи государства с самыми сокровенными сторонами жизни народа, его духом, нравственностью и традициями, из-за взгляда на государство как на нечто механическое, что можно ломать, переделывать и перестраивать по собственному хотению. Бросая взгляд на прошлое, мы видим, что великие политики и государственные деятели от Моисея до Тезея, от Александра Македонского до Ришельё и Бисмарка, от них — до Ленина и Сталина... тем и были велики, что все они были создателями великих и могущественных государств. Среди этих имен нет ни одного, связанного с разрушением государства, с низведением его до ничтожного состояния. Такие имена тоже имеются, но они в другом списке. Вот почему тем, кто занимается политикой, необходимо глубокое знание истории, понимание основополагающих вещей, относящихся к политике и ее фундаменту — государству во всех его аспектах.

Государство: природа и происхождение

*...Лучшее государственное устройство
для любого народа — это то,
которое сохранило его как целое...
Ничто не порождает в государстве
такой неразберихи, как вводимые новшества;
всякие перемены выгодны
лишь бесправию и тирании.*

Монтень

Итак, политика неотделима от государства. Вся жизнь человека от рождения до смерти связана с государством; и как бы человек ни желал от него абстрагироваться, куда бы, в какие дебри и пустыни ни бежал от него, оно не оставляет его и держит в своих объятиях, даже если человек и не осознает того и тешит себя иллюзией свободы от него. С момента образования государства человек как таковой, как просто некое создание природы исчез: на его место встал или подданный, или гражданин. Если человек ни тот, ни другой — он никто и ничто, какими бы личными достоинствами ни обладал. Хотя, замечу походя, сами достоинства человека делаются таковыми только в обществе, в государстве.

Такая неразрывная, имманентная, внутренне обусловленная связь индивида и государства дала основание Аристотелю сказать:

«Тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, — либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек; его и Гомер поносит, говоря “без роду, без племени, вне законов, без очага”; такой человек по своей природе только и жаждет войны...»¹¹.

Нельзя не заметить, что, как и в случае с политикой, здесь имеет место определенная аберрация взглядов и мнений людей относительно государства. С одной стороны, признается, что нет ничего более жизненного, более материально-осязаемого, чем государство, и с другой — нет, кажется, ничего превратнее и искаженнее, нежели представления большинства людей о нем, притом не только в обыденном, но и научном сознании.

В самом деле, во мнении многих людей государство предстает как некий фантом, «*Левиафан*»*, противостоящий человеку и подавляющий его; как воплощение зла и несправедливости, как нечто такое, борьба против чего не только нравственно оправданна, но даже овеяна ореолом героизма и мученичества.

Такая тенденция в мышлении появилась отнюдь не сразу; по крайней мере, ее не существовало ни в древних демократиях, ни в древних империях, ни тем более в древних теократиях. Она — порождение Нового времени и связана с развитием на Западе демократии, гражданского общества вместе с присущими тем индивидуализмом и анархизмом. Тенденция эта нередко рассматривается как выражение прогресса в развитии человечества. Однако есть более веские основания утверждать обратное, а именно, что означенная тенденция знаменует собой не общественный прогресс, а *регресс*, то есть движение от органического слияния общего и индивидуального, социума и человека, государства и гражданина, к их разобщенности, отчужденности, враждебности, к росту приоритета индивидуального над общим. Это же есть верный признак деградации социальной жизни и, в конечном счете, — деградации самого человека.

В политическом сознании антиэтатистская тенденция хорошо просматривается от Платона и Аристотеля, с их безоговорочным признанием приоритета государства и общества над индивидуумом, через Гегеля, продолжавшего ту же линию, до современных теорий с их акцентом на приоритет отдельной личности, ее свободу и права («*свобода лучше, чем несвобода*»). А ведь еще Гегель подчеркивал, что так называемая «свобода мышления» часто пытается утвердить себя тем, что демонстрирует враждебное отношение к государству и к тому, что публично признанно. Такую «свободу» Гегель называет «свободой пустоты», бегством от всякого содержания как ограничения в угоду своеволию. В области политики такая свобода оборачивается фанатизмом разрушения существующего общественного порядка и шельмованием всех приверженных к порядку граждан и каждой пытающейся утвердиться организации.

«Лишь разрушая что-либо, — пишет Гегель, — эта отрицательная свобода чувствует себя существующей; она полагает, правда, что стремится к какому-либо позитивному состоянию, например, к всеобщему равенству или к всеобщей религиозной жизни, но на самом

**Левиафан* — «извивающийся зверь». Мифическое морское чудовище, образ которого перешел из Вавилона и Ханаана как персонификация всех сил зла.

деле она не хочет позитивной действительности этого состояния, ибо такая действительность тотчас же установит какой-либо порядок, какое-либо обособление как учреждений, так и индивидов, а между тем именно из уничтожения этого обособления и объективной определенности возникает самосознание этой отрицательной свободы»¹².

В истории эта форма «свободы» встречается довольно часто. Она проявляется в деятельном фанатизме как в политической, так и религиозной жизни. Сюда относятся, например, периоды ломки существующих государственных форм, когда стремятся к уничтожению всякого авторитета, когда разрушаются существующие государственные и общественные институты в угоду личным амбициям и всяким фантазиям¹³.

Начиная с Нового времени, человек нередко находит себя в двусмысленном положении относительно государства — служить ему или бороться с ним. Эти две крайние альтернативы с множеством срединных состояний существуют в той или иной степени в каждом государстве. В Европе это было связано с процессом становления деятельного гражданского общества и вместе с тем — с «раздвоением» индивида на просто «человека» как члена гражданского общества и «гражданина» как члена государства. Отнюдь не случайно первая конституция Французской республики называлась «Декларацией прав человека и гражданина».

Такая «раздвоенность» заложена, собственно, в противоречивой природе самого человека, прежде всего, в различных ценностных концепциях, которых он придерживается. Проявляется она и в многообразии взглядов на институт государства. Здесь же, в общем и целом, господствуют два крайних взгляда (с различными промежуточными вариациями). Один из них (либерально-демократический) исходит из того, что государство — это особая организация, призванная послушно служить человеку, его потребностям, нуждам и интересам и не выходить за рамки функций «пассивного полицейского».

В основе данной точки зрения явно просматриваются договорные теории происхождения государства. Но если даже исходить из предположения, что люди когда-то и в самом деле сознательно и добровольно создали государство, то, стало быть, они так же сознательно и добровольно обязались подчинить ему свою волю, ограничить свою свободу соответствующими правилами, нормами и законами и взять на себя обязательства перед обществом и государством. Взамен же

они получают от него определенные права и свободы, которые по самой природе подобного договора не могут в принципе быть выше прав созданной ими ассоциации, то есть в данном случае — государства.

Если же права отдельных индивидов выше прав самой ассоциации, то она попросту не имеет смысла. Это тем более так, когда речь идет о государстве как высшей форме человеческой ассоциации. Благодаря одному лишь этому факту оно не может не продуцировать и высшие формы обязанностей индивида. Вот почему *сама постановка вопроса о приоритете прав индивида над правами государства и абсурдна, и иллюзорна*. Она правомерна лишь в состоянии анархии и, в свою очередь, служит ее оправданию. Как программный же пункт, она направлена на развитие и укрепление анархических тенденций в обществе.

Другой взгляд исходит из того, что государство — это инструмент господства одного класса над другим, что оно не вечно, что будто бы были времена, когда государства не существовало вовсе, и что вместе с исчезновением в обществе классов государство постепенно отомрет и человечество вновь вернется в тот самый «золотой век», туманные отголоски о существовании которого донесли до нас древние мифы.

На деле же ни либеральный, ни классовый подход к оценке государства не соответствует действительному положению вещей. Тот и другой отражают какую-то часть бытия государства и представления о нем в политическом сознании. Однако в обоих случаях они абсолютизируются и выдаются за единственно верные. Конечно, государство во все времена стремилось (стремится и ныне) к расширению ареала своего господства за счет ущемления прав общества, давая тем самым повод к справедливой критике в свой адрес. Но спросим: какое из общественных образований и в какие времена так или иначе не злоупотребляло своим положением, своими правами и властью? Такого в истории не было, а потому совершенным безумием было бы на этом основании принижать, а тем более отрицать государственность.

С тех пор как люди живут сознательной жизнью, а следовательно, имеют историю, человечество существует на основе принципа государственности, в какой бы конкретно-исторической форме тот ни выступал. Государство — значительно более сложный феномен, нежели порой представляют либеральные его критики. Как бы к нему ни относиться, оно есть полное выражение сложной и противоречивой природы человека. Каков человек, таково и государство:

познать сущность государства — значит познать сущность человека и наоборот. Они родились вместе, вместе и умрут.

* * *

Для внесения большей определенности в вопрос о сущности государства как социального института попробуем выяснить вопрос: были ли в жизни человечества времена, когда государства не существовало и человек пребывал в так называемом естественном состоянии, которое изобразил в своем известном сочинении Гоббс? Вопрос этот отнюдь не праздный. В самом деле, если признать, что такие времена существовали, то придется подвергнуть серьезному сомнению положение Аристотеля о природной политической сущности человека. Аристотель утверждал, что помимо того, что «всякое государство — продукт естественного возникновения, как и первичные общения: оно является их завершением...»¹⁴.

Значительно позже последователь теории «естественного права» Спиноза дал более развернутую аргументацию в пользу естественного происхождения государства. Он отмечал, что так называемое естественное право *ничтожно*, если принадлежит каждому в отдельности; в этом случае оно существует скорее в воображении, нежели в действительности, ибо его осуществление ничем не обеспечено. Потому естественное право может быть действительным лишь при совместном владении землей, которую люди могут заселять и обрабатывать, при совместном обеспечении своей безопасности и совместной жизни по общему решению всех.

«Люди, — пишет он, — едва ли могли без взаимной помощи поддерживать жизнь и совершенствовать свой дух», что возможно, в свою очередь, только в государстве. Поэтому «все люди — как варвары, так и цивилизованные — повсюду находятся в общении и образуют некоторое гражданское состояние», и отсюда ясно, «что причин и естественных основ государства следует искать не в указаниях разума (Ratio), но выводить *из общей природы или строя людей*»¹⁵ (курсив мой. — Э.П.).

Определенным контрастом взглядам Аристотеля и Спинозы были так называемые «договорные теории» образования государства, наиболее яркими представителями которых в Новое время были Гоббс, Руссо, Монтескье¹⁶. «Договорные теории» в качестве основной предпосылки содержали идею, согласно которой до образования

государства человек пребывал в некоем «естественном состоянии». Характеризуя его, тот же Гоббс писал:

«Пока люди живут без общей власти, держащей их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, а именно в состоянии войны всех против всех»¹⁷.

Согласно же Руссо и Монтескьё, человек, наоборот, был в этом состоянии свободен, и «война всех против всех» возникла только с появлением гражданских отношений. Монтескьё, полемизируя с Гоббсом, указывает в своем главном сочинении «О духе законов» на то, что не следует приписывать людям, жившим *до* образования общества, такие стремления, которые могут возникнуть у них только *после* образования общества, вместе с которым у них появляются поводы для нападения и защиты:

«Как только люди соединяются в обществе, они утрачивают сознание своей слабости; существовавшее между ними равенство исчезает, и начинается война»¹⁸.

В этом отрывке содержится, собственно, главный пункт расхождения между теорией Гоббса, с одной стороны, и Руссо и Монтескьё — с другой. При общем признании ими существования догосударственного («естественного состояния») человека, Гоббс считал, что в «естественном состоянии» человек был поработен страхом и всеобщей враждой, тогда как Руссо и Монтескьё, наоборот, полагали, что именно в этом состоянии тот был подлинно свободным.

Это различие весьма существенно: подход Гоббса подводит к необходимости создания государства-Левиафана, подход же Руссо — к созданию государства, основанного на доброй воле людей и в котором человек свободен от личной зависимости.

На каком-то этапе, по мнению Руссо, люди достигают того предела, когда силы, противодействующие «естественному состоянию», начинают превосходить те силы, которые удерживают человека в нем, и тогда

«это изначальное состояние не может более продолжаться, и человеческий род исчез бы, не измени он своего образа жизни»¹⁹.

И тут у человека нет иного средства самосохранения, кроме как, объединившись с другими людьми, образовать совокупную силу,

способную преодолеть противодействие, подчинить эти силы одному «движителю» и заставить всех действовать согласно. В этом и состоит цель «общественного договора». Сам Руссо излагает ее следующим образом:

«Каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого». Вот это целое и есть «Политический организм», «Государство», «Держава». Члены же ассоциации в совокупности образуют «народ», а в отдельности — «граждан» или «подданных»²⁰.

В данном пассаже Руссо задолго до многих социологов сформулировал положения о *публично принудительном характере* власти и о подчинении индивида целому, то есть государству. В своей теории «общественного договора» он считал семью самым древним из всех обществ и «единственно естественным»²¹, из чего как бы следует, что семья исторически предшествует образованию государства. Но, как мы помним, Аристотель и Гегель считали, что именно государство *предшествует* семье. Ту же мысль проводит, по существу, и Дюркгейм.

«Договорная теория» Руссо, равно как и концепция «естественного состояния» Гоббса с его неперемным принципом *bellum omnium contra omnes* («война всех против всех»), пустила глубокие корни в сознание последующих поколений политических мыслителей, и их видимые следы можно встретить даже сегодня. Прежде всего, с ними сталкиваешься в так называемой эволюционной теории образования государства, а также в теориях, берущих за основу классовую борьбу. Последние нашли свое наиболее полное воплощение и развитие в марксистском учении. В своей знаменитой работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельс пишет:

«Государство есть продукт общества на известной ступени развития; государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимом противоречии с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми экономическими интересами, не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, стоящая, по-

видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах “порядка”. И эта сила, происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающаяся от него, есть государство»²².

Государство, таким образом, существует, по Энгельсу, не извечно: были общества, которые обходились без него и которые понятия не имели о государстве и государственной власти. Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением же классов исчезнет и государство — таков конечный вывод марксизма²³.

Эволюционные и классовые теории государства в основе своей держатся на постулатах дарвиновской эволюционной теории и договорных теорий образования государства. Приведенный выше взгляд — яркое тому свидетельство. Главная его слабость в том, что в нем нет никаких указаний на то, в какой форме существовали человек и общество до образования государства и до того момента, как оно «запуталось в неразрешимом противоречии с самим собой» — без власти, без каких-то прав и обязанностей членов общества, а значит, и без соответствующих, пусть самых примитивных, институтов, гарантирующих их соблюдение?

Внешне, казалось бы, привлекательная и убедительная эволюционная теория не может объяснить главного: причин появления государства и каким образом общество до создания государства обходилось без управления и организации, без власти, а значит, и без каких-то принудительных санкций и даже без обычного права, не говоря уже о праве позитивном. Если все же право в какой-то форме существовало (а сомневаться в этом вряд ли приходится), то эволюционная теория делается беспочвенной.

Тут мы скорее согласимся с русским философом Л. Карсавиным, который по своим взглядам был близок аристотелевской и гегелевской концепции государства. Для него само собой разумеющимся фактом является то, что

«общество упорядочивается только со становлением государственности, государства же без власти быть не может. Это имманентный закон социального индивида: не существует устроенного общества без власти, а человека — без такого общества; без человека же не существует и сам мир. И если действительно бог сотворил мир, то человеческий инстинкт государственности — идея власти — соответствует воле самого бога»²⁴.

Приведу еще одно мнение о происхождении государства и его месте в процессе эволюции человека и общества. Оно принадлежит известному английскому философу и публицисту конца XVIII века Эдмунду Бёрку (тот, кстати, снискал себе широкую известность неприимимостью к Французской революции). Бёрк считал, что общество вместе с различными его учреждениями и элементами просто «росло» в соответствии со «священным предначертанием». «Просто росли» также нация и государство. Бёрк называл совершенно пустым занятием обсуждение вопроса, с чего те начались — возможно, они начались с «договора», но никто этого не знает. Главное же здесь то, что они представляют собой исторические реальности, а отнюдь не плоды реализации воображаемого «естественного права». Государство — вовсе не простое соглашение между людьми в целях реализации каких-то их интересов, которое можно по желанию заключить и по желанию расторгнуть. Государство — это *постоянный союз*, цели которого не могут быть осуществлены на протяжении одного поколения. Если и рассматривать его как «договор», то это — *«договор между теми, кто живет, теми, кто уже умер, и теми, кто еще должен родиться»*. Государство тем самым есть воплощение органической и неразрывной связи поколений. «Народ», «нация» составляют единое целое с существующей у них формой правления, и никто не имеет права разрывать социальные узы, связывающие их с предками. Именно на этом основании Бёрк отрицал законность революций типа революции 1789 года во Франции, так как они, по его мнению, идут вразрез с историческими традициями страны, со всем ее прошлым. Он признавал только те революции, которые представляли собой попытки восстановить великие исторические традиции. К ним он относил, в частности, «Славную революцию» 1688 года в Англии, Американскую революцию, восстание в Индии против британского правления и т.п.²⁵

Положение Бёрка о простом, естественном росте государства дает, казалось бы, основание причислить его к эволюционистам. Однако такое суждение было бы поспешным. Рост и эволюция — вещи разные. Ошибочно было бы, к примеру, говорить, что растение эволюционирует из семени — оно *растет* из него. Семя содержит в себе всё то, что растение в процессе своего роста постепенно проявляет и реализует. Рост — это реализация программы, заложенной «священным провидением» в семени. То же и с государством: здесь роль «семени» играет сам человек как существо по природе своей политическое. В процессе роста постепенно реализуются все элементы государства, заложенные в нем «священным провидением», начиная с простых и кончая сложными. В целом же идея Бёрка плодотворна

в том отношении, что снимает вечную и неразрешимую проблему «курицы и яйца», или — что чему предшествовало, на которую, как известно, ответа не существует.

* * *

Прежде чем продолжить развитие темы, отмечу один немало-важный момент: в нашем разговоре о государстве не имеется в виду какое-то конкретное государство. Возникновение любого государства имеет свои неповторимые особенности и основания: оно может развиваться из племени, из рода, вследствие объединения нескольких племен, в результате завоевания и т.д. Речь также не идет о государстве в современном представлении, во всей сложности его управленческого, законодательного и правового механизма. Здесь имеется в виду изначально присущая человеку *идея государства* как некоторая форма гражданско-политического объединения людей, их ассоциации (притом любой формы — от самой примитивной до самой сложной), наделенной властными функциями в отношении своих членов — в противовес представлению об индивидуально-анархической природе человека и о его «естественном состоянии», будто бы имевшем место до образования государства.

Иными словами, речь идет об *идее* государственности. Государство же и государственность — вещи разные. Государственность — это ценностно-культурологическое понятие. Под ним подразумеваются, во-первых, присущая человеку как политическому существу потребность в государственном бытии и, во-вторых, своеобразие, уникальность политических учреждений того или иного народа и их глубинные религиозно-культурные основания. Конкретное же государство — это уже *форма* выражения *идеи государственности*. В той мере, в какой у разных народов различаются идеи государственности, соответственно различаются и их формы. Помимо того, форма государственного устройства, как следствие различных внешних обстоятельств, далеко не всегда может соответствовать духу, идее государственности. В последнем случае государство непрочное и лишено внутренней гармонии и крепости. По сути же дела, всю историю становления конкретных национальных государств можно рассматривать как отчасти сознательное, отчасти бессознательное стремление привести в гармонию форму государственного устройства и государственное сознание соответствующего народа.

* * *

Какое же из приведенных выше суждений ближе к истине и какое больше отвечает природе человека? Тут вряд ли можно согласиться с Бёрком, что такого рода вопросы и попытки найти приемлемый на них ответ праздны. Естественно, ни один здравомыслящий человек не станет занимать себя попытками выяснить, как доподлинно происходила эволюция государства и общества, что в этом процессе предшествовало чему и т.д. Это — область догадок и гипотез, доказательств которых найти практически нельзя. Однако постановка такого рода вопросов все же вполне правомерна в философском плане, ибо осмысление их может помочь выработке не только общей концепции государства, но и концепции самого человека. Если человек и впрямь пребывал когда-то в «естественном состоянии», то когда это могло быть, на каком этапе его истории, что он тогда представлял из себя сам, может ли человек в «естественном состоянии» вообще называться человеком и что, наконец, побудило «дикое необузданное существо» (Гоббс) или, наоборот, существо свободное (Руссо) стать существом политическим. Другими словами, что понудило человека связать себя узами государства и что породило в нем чувство государственности, если считать, что его изначально у него не было? Ведь если верны договорные и эволюционные теории, то придется признать, что человек имеет как бы внутреннее право расторгнуть некогда заключенный договор, выйти из ассоциации и вернуться в «естественное состояние», будь то состоянием свободы или дикости. В таком случае находят нравственное оправдание всякие формы антиэтатизма, начиная с духовного диссидентства, анархизма, вплоть до практических действий по разрушению государства.

Для начала замечу, что никаких исторических свидетельств, которые определенно подтверждали бы былое существование «естественного состояния», человека, попросту не существует. Более того, они и не могут существовать по природе вещей. Если бы такое состояние и впрямь имело место, то человек в нем был бы либо совершенно свободен от всего и вся (Руссо), либо поработен страхом и взаимной враждой (Гоббс). В том и другом случае его нельзя было бы еще назвать человеком в смысле *Homo sapiens*, то есть существом мыслящим, а тем самым общественным, политическим. В самом деле, существо мыслящее — это существо, владеющее членораздельной речью. Но речью человек мог овладеть только в сообществе себе подобных. Вне такого сообщества нельзя было бы ожидать от него разумных действий, которые могли бы подвигнуть его к мысли о необходимости объединения в каком-либо государствен-

ном образовании. По одной лишь этой причине все утверждения относительно «естественного состояния» приходится отнести к области праздных предположений, пустых гипотез, не имеющих, да и не могущих иметь в принципе ни материальных, ни духовных подтверждений.

Одним из тех, кто самым определенным образом выразил свое негативное отношение к идее общественного договора, был Гегель. Упомянув «естественное состояние» в связи с рассуждениями о свободе, Гегель, возражая взглядам Руссо, замечает, что в этом состоянии человек, по идее, должен был неограниченно пользоваться своими естественными правами и наслаждаться своей свободой.

«Это предположение, — пишет Гегель, — не выдается прямо за исторический факт, да при серьезном к нему отношении трудно было бы представить доказательство того, что такое состояние встречается в настоящее время или что оно где-либо и когда-либо существовало в прошлом... Конечно, можно констатировать состояния дикости, — продолжает он, — но при этом оказывается, что те связаны с грубыми страстями и насильственными поступками, но ведь даже люди, стоящие на очень низком уровне развития, связаны, тем не менее, с общественными учреждениями, которые считаются ограничивающими свободу».

Предположение о «естественном состоянии», заключает Гегель, является одним из «туманных теоретических построений», произвольно принимаемых за реально существующее без всяких исторических доказательств в пользу этого. «Естественное состояние», по его мнению, *есть скорее состояние бесправия и насилия, вызываемое необузданными естественными влечениями бесчеловечных поступков и ощущений. Человек не может быть в нем свободным, так как по понятию свободы ей присущи право и нравственность.* А они являются продуктами деятельности мышления, отличающегося от чувственности и развивающегося в противоположность ей.

«Свободу, — резюмирует Гегель, — всегда понимают превратно, признавая ее лишь в формальном, субъективном смысле, не принимая в расчет ее существенных предметов и целей; тем самым, ограничение влечений, вождлений, страстей, принадлежащих лишь частному лицу как таковому, ограничение произвола принимается за ограничение свободы. Наоборот, такое ограничение является условием, делающим возможным освобождение, а общество и госу-

дарство являются такими состояниями, в которых осуществляется свобода»²⁶.

Близкой к гегелевской была и точка зрения Дюркгейма. Критикуя теории общественного договора, как и предположения о «естественном состоянии» человека, он прямо указывал на отсутствие каких-либо исторических свидетельств и подтверждений в их пользу.

«Не только нет обществ, — пишет он, — которые бы имели такое происхождение, но нет и таких, структура которых содержала бы хоть малейший след договорной организации... Следовательно, — заключает Дюркгейм, — это и не исторический факт, и не тенденция, выявляемая в историческом развитии»²⁷.

В другом месте он еще раз обращает внимание на то, что на протяжении всей социальной эволюции нельзя обнаружить ни одного момента, когда индивидам приходилось бы решать, вступать ли им в общество и если да, то в какое именно²⁸.

Соглашаясь в принципе со многими положениями Гегеля и Дюркгейма по данному вопросу, замечу в то же время, что они несколько буквалистски трактовали договорные теории, усматривая в них отражение якобы имевших место исторических реальностей. Думается, авторы договорных теорий не были столь наивны, чтобы считать договорное создание государства подлинным историческим фактом. В договорных теориях был выражен общий взгляд на сущность человека и на принципы его взаимоотношения с государством, которые только еще *должны быть* установлены. В этом смысле они носили скорее нормативно-желаемый, нежели исторический, характер.

Хотелось бы в данной связи оттенить еще один момент, важный для понимания сущности государства. Гегель, отмечая, что свободе присущи право и нравственность, указывает, что сами они раскрываются лишь деятельностью мышления, то есть, что они свойственны лишь человеку как *разумному существу*, но отнюдь не дикому человеку, находящемуся в «естественном», то есть дообщественном, состоянии²⁹. В самом деле, человек как индивидуум подвержен многим аффектам, страстям и влечениям; он далеко не всегда в состоянии разобраться самостоятельно в том, что хорошо, а что дурно, что справедливо и что несправедливо. Поэтому, как считал Спиноза,

«по общему праву всего государства решается, что есть добро и что зло... справедливость и несправедливость могут быть представлены только в государстве»³⁰.

В свою очередь, его современник Гоббс подчеркивал, что в «естественном состоянии» ничто не может быть ни справедливым, ни несправедливым:

«Понятия правильного и неправильного, справедливого и несправедливого здесь не имеют места. Там, где нет общей власти, — нет закона; а там, где нет закона, — нет справедливости... Справедливость и несправедливость являются качествами, имеющими отношение к людям, *живущим в обществе*, а не к людям, живущим в одиночестве»³¹.

К этим суждениям мы еще вернемся, когда речь пойдет о соотношении политики и нравственности. А сейчас обратимся к единственному, кажется, документу, из коего можно почерпнуть некоторые сведения о моменте перехода человека из «естественного состояния» в состояние гражданское, политическое. Документ этот — Библия; ее первая книга «Бытие». Если и в самом деле существовало «естественное состояние», то им, несомненно, был библейский Рай. Момент же вкушения Адамом и Евой от «древа познания» точно фиксирует превращение «естественного» человека в *Homo sapiens*, то есть в существо разумное и одновременно в «существо политическое», а тем самым его переход из «естественного состояния» в состояние общественно-политическое. В самом деле, ведь познание добра и зла, справедливого и несправедливого возможно только в обществе и только разумным существом.

В связи с историей об Адаме и Еве отмечу и такой любопытный факт: вопреки утвердившемуся мнению, Бог отнюдь не гневается на них за их якобы «ослушание». Не гневается же потому, что знает, что никакого «ослушания», собственно, и не было, поскольку до «вкушения» от древа познания Адаму и Еве не могло быть известно, что есть добро и что есть зло, как и граница между одним и другим. Что дозволено и что не дозволено — они могли узнать *только после вкушения*. Поговорка гласит: «Нет еретика без Писания», но также нет и проступка без закона, то есть без знания того, что можно делать и чего делать нельзя (об этом, кстати, говорит и апостол Павел в своем «Послании к Римлянам» — 4:15). Поэтому Адаму и Еве не может быть вменено в грех то, чего сами они не осознавали как грех.

Здесь нельзя не заметить, что идея так называемого «первородного греха» не выдерживает критики ни с точки зрения божьих, ни с точки зрения человеческих законов. Бог в этом смысле был более справедлив, обрушив весь свой гнев на змея-искусителя и прокляв его. Человека же он только предупреждает о том, какую полную тягостей жизнь тот уготовил себе, познав существование добра и зла, и что это тяжкое бремя познания тому придется нести всю его жизнь. Бог выпроваживает Адама и Еву из Рая потому, что знает, что отныне они не смогут уже жить в «естественном состоянии», что теперь у них свой человеческий, общественно-политический путь. Вот он-то и является для них *естественным*.

В этой связи представляет определенный интерес мнение такого во многих отношениях замечательного, но пока малоизвестного для нас философа, как Жозеф де Местр. По-своему развивая линию Аристотеля, он считал, что естественным состоянием человека было состояние общественное, или политическое, и что возникло оно не вследствие какого-то неправдоподобного «общественного договора», а было создано Богом, как и сам Человек. По этой же причине для де Местра божественный характер имело и происхождение государства и государственного суверенитета³².

Размышления над библейской аллегорией приводят и к лучшему пониманию гегелевского утверждения, что государство можно рассматривать в качестве результата исторического развития *только* в движении научного понятия; на самом же деле именно государство оказывается «*подлинным основанием*».

«Поэтому в действительности, — подчеркивает Гегель, — государство есть вообще первое, внутри которого семья развивается в гражданское общество...»³³.

Ту же мысль находим и у Аристотеля, полагавшего, что «первичным по природе является государство по сравнению с семьей и каждым из нас».

«Государство существует по природе, — резюмирует он, — и по природе *предшествует* каждому человеку; поскольку последний, оказавшись в изолированном состоянии, не является существом самодовлеющим, то его отношение к государству такое же, как отношение любой части к своему целому»³⁴ (курсив мой. — Э.П.).

Эта на первый взгляд парадоксальная и даже абсурдная мысль значительно позже нашла свое выражение в следующем утверждении Дюркгейма:

«Коллективная жизнь не возникла из индивидуальной, но, наоборот, последняя возникла из первой». Если бы человек был рожден индивидуалистом, как предполагают некоторые, то каким образом, спрашивает Дюркгейм, мог он «согласиться на жизнь в обществе и государстве, так сильно ущемляющих его индивидуальные свободы?»³⁵.

Действительно, нельзя не признать, что исторически индивидуализм — явление уже позднего развития государства и общества, связанное, главным образом, со становлением западноевропейского гражданского общества и с присущими тому крайним индивидуализмом и анархизмом.

В приведенных суждениях мы, казалось бы, вновь сталкиваемся с дилеммой, что было вначале: курица или яйцо?, государство или человек? семья или государство?

Напомню в этой связи приводившееся выше мнение Руссо, что именно семья является наиболее древним общественным образованием, существовавшим до государства (такого же мнения, кстати, придерживается и марксистская теория). Оно полностью соответствует «договорной теории» и имеет хождение и поныне.

Аристотель же и Гегель придерживались противоположного мнения. Дюркгейм также считал, что именно государство превращает неустойчивую, «естественную» семью в устойчивую социально-общественную ячейку. В самом деле, человеческая семья есть, прежде всего, *факт социальный*, а потом уже биологический, поскольку она основана на контракте, то есть на договорных обязательствах сторон. Всякий же договор предполагает, что за ним в качестве гаранта стоит общество с его установлениями, правилами поведения, традициями и законами, готовое всякий раз вмешаться, чтобы заставить уважать принятые сторонами обязательства. Если бы это было не так, человеческая семья ничем бы не отличалась от семьи в животном мире. Отсюда же следует, что человеческая *семья есть продукт общественно-политического развития*, но отнюдь не его предпосылка: она *вторична* по отношению к государству. Последнее подтверждается и всей практикой: мы видим, что упадок, разрушение семьи оказывается первым и самым верным признаком упадка общества и государства. Не общество и государство разрушаются

от разрушения семьи, а, наоборот, *семья разрушается вследствие ослабления, деградации или разрушения государства*. И нынешний Запад, а теперь и Россия, — лучшее тому подтверждение.

Прежде чем двигаться дальше, кратко резюмируем сказанное: человек, именно как таковой, как *Homo sapiens* никогда не пребывал в «естественном состоянии». Если и применять данное выражение, то естественным состоянием человека является состояние общественно-политическое, состояние государственное; иных состояний он не знал, не знает и, думается, знать не будет, пока остается Человеком.

Государство как олицетворение общего начала

Обращаясь к понятию государства, логично было бы начать с его определения. Однако с первых же шагов мы сталкиваемся здесь с тем, с чем постоянно приходится иметь дело в политической науке в целом, а именно: с отсутствием адекватных понятий, противоречивым их толкованием, с множественностью подходов. Всё это в той или иной мере относится и к понятию государства. Не углубляясь в эту поистине беспредельную область противоречивых взглядов и мнений, отмечу лишь некоторые, важные для затронутой проблемы моменты.

Государство можно исследовать с различных точек зрения в зависимости от того, что конкретнее нас интересует: брать его в целом или в отдельных частях, аспектах и гранях; рассматривать его как политическую организацию господствующего класса или как политическую форму организации общества в целом; как совокупное целое существования народа или как специфическую институциональную форму, воплощенную в законодательных, исполнительных и судебно-правовых органах.

В зависимости от принятой точки зрения понятие государства, как очевидно, наполняется разным конкретным содержанием, хотя, в то же время, в каждом случае оно содержит в себе и нечто общее, некоторую константу, которая, где зримо и материально, где скрыто и завуалировано, содержится уже как бы в самом слове «государство». При всех различиях в его толковании, при всей широте и множественности вкладываемых в него значений, при всем многообразии его конкретных форм главным моментом, который неизменно сохраняется при всех вариантах, остается момент *общности*, неотрывный от самого понятия государства, с какой бы стороны и

с какими бы целями его ни рассматривать. По крайней мере, нет ни одного политического мыслителя, который бы оставил без внимания эту особенность. Как высшую форму общения рассматривал государство Аристотель. В свою очередь, Руссо в качестве важнейшего принципа отмечает тот факт, что

«одна только общая воля может управлять силами Государства в соответствии с целью его установления, каковая есть *общее благо*. Ибо, если противоположность частных интересов сделала необходимым установление обществ, то именно согласие этих интересов и сделало сие возможным. Общественную связь образует как раз то, что есть *общего* в этих различных интересах; и не будь такого пункта, в котором согласны все интересы, никакое общество не могло бы существовать»³⁶ (курсив мой. — Э.П.).

Государство — отнюдь не абстракция, как считают некоторые современные политологи. Не является оно и чем-то извне навязанным человеку, чему тот вынужден подчиниться против своей воли. Государство воплощает в себе глубокую потребность человека в неких единых для той или иной ассоциации ценностях, потребность в некотором ценностном каркасе, способном как бы сцементировать совместную социальную жизнь, которая иначе распадается. Можно сказать, что в земной жизни государство есть выражение всеобщего, универсального начала, выше которого ничего нет. Более того, государство по мере своего развития персонифицировалось, становилось своего рода *alter ego** человека, к которому он стал испытывать всю широкую гамму чувств, присущую отношениям между людьми: любовь и ненависть, поклонение и враждебность, гордость и унижение³⁷.

И не случайно все достойные упоминания массовые идеологии Нового времени имели предметом своего поклонения, своей целью государство, которое, по мере упадка религии в целом, всё больше превращалось в особый культ. Подобно средневековой религии, вера в национальную идею, полным воплощением которой является государство, имеет своих святых, свои места поклонения, свои гимны, ритуалы, символы, катехизисы, священные письмена и традиции. Подобно средневековой церкви, государство дарует милость, принимает исповеди, обещает спасение, наказывает ереси, внушает чувство самопожертвования и способствует распространению своей идейной

* Второе Я (лат.).

миссии и предназначения³⁸. И эта роль присуща любому современному государству, будь оно демократическим, диктаторским или теократическим.

Человек в обычной жизни редко осознает силу своей привязанности к государству. Это осознание приходит, как уже отмечалось, главным образом в критические моменты существования государства или индивида, когда либо гибнет государство, либо индивид вынужден не по своей воле покинуть его пределы. Именно в такие моменты и происходит трагический разрыв до той поры невидимых и не осязаемых нитей, связывающих индивида с его государством, разрыв между индивидуальным и универсальным бытием человека.

Руссо — этот великий «защитник вольности и прав», с его, казалось бы, космополитическим образом мышления, тем не менее, писал с чужбины:

«Не стены и не люди образуют отечество: это делают законы, нравы, обычаи, образ правления, конституция, всем этим обусловленный образ жизни. Отечество заключено в отношениях между государством и его членами; когда они изменяются или уничтожаются, исчезает и отечество»³⁹ (курсив мой. — Э.П.).

Отношение же это в благоустроенном и сильном государстве состоит в том, что частный интерес граждан соединяется с его общей целью и одно находит свое удовлетворение и осуществление в другом. Такое отношение Гегель называет *нравственностью*. Когда оно наличествует, тогда, по его словам,

«государство, его законы, его учреждения суть права составляющих государство индивидуумов; его природа, почва, горы, воздух и воды суть их страна, их отечество, их внешнее достояние; история этого государства, их деяния и то, что совершили их предки, принадлежит им и живут в их воспоминании. Всё в государстве есть их достояние, точно так же как и они принадлежат ему, так как они составляют их субстанцию, их бытие»⁴⁰.

Всё вместе это создает ту самую «таинственную», внешне невидимую, но вполне реальную связь между индивидуальным и универсальным, которая и дает чувство родины, отечества. Когда тот же Руссо в число факторов, составляющих отечество, включает законы, образ правления, конституцию, то это отнюдь не для красного словца. Первая и главная функция всякой конституции, правительства,

законов, где бы те ни устанавливались, — заставить уважать общие верования, традиции, обычаи, то есть защищать общее сознание, общие ценности против внутренних и внешних разрушительных тенденций. Вот почему конституция, власть, законы становятся символом общего сознания, «воплощенным коллективным типом», считал французский социолог Дюркгейм. Поэтому сила всякой власти не в том, что она обладает средствами принуждения, а в том, что она есть производное от силы, присущей общему сознанию, она имеет те же свойства, что и это сознание. По той же причине основание силы власти нужно искать не в особом положении управляющих, а в природе управляемых ими обществ⁴¹.

Мысли и чувства, выраженные в приведенных выше отрывках из произведений столь разных во всех отношениях политических мыслителей — Руссо, Гегеля, Дюркгейма и других — удивительным образом перекликаются, создавая вместе зримый образ этой «мистической» и в то же время неразрывной и органической связи между бытием частным и общим, между индивидуумом и государством.

Суверенитет государства

Полным олицетворением того общего, что воплощает в себе государство, является идея суверенитета, или, другими словами, идея общей и неделимой воли государства. Основоположник теории абсолютного суверенитета Жан Боден (Франция) подчеркивал:

«Без единой и неделимой Государственной воли не может быть и единого национального интереса»⁴².

Понятие суверенитета выступает основным определением и гегелевского «политического государства». Суверенитет трактуется им как *господство идеи целого над его составными частями и функциями*. Суверенитет государства как некая единая жизненная сила пронизывает все тело государства. Она, по Гегелю,

«находится в каждой его точке; лишь одна жизнь существует во всех точках, и противодействия ей нет. В отдельности от нее каждая точка мертва»⁴³.

Важным моментом в теории суверенитета Гегеля — и на это хотелось бы обратить внимание — является различение двух аспектов

суверенитета: внутреннего и внешнего. Рассматривая в этой связи феодальную монархию, Гегель отмечает, что та была суверенна во-вне, но внутри нее не только монарх, но и государство не были суверенны, поскольку

«часть особенных функций и власти находилась в ведении независимых корпораций и общин, и целое представляло собой скорее агрегат, чем организм; часть же их были частной собственностью отдельных индивидов, и то, что они должны были делать по отношению к целому, ставилось в зависимость от их личного мнения и желания»⁴⁴.

Описанная Гегелем ситуация в средневековых феодальных монархиях весьма напоминает ситуацию, сложившуюся в России в 90-е годы прошлого столетия и сохраняющуюся поныне. Ее особенность в том, что власть не обладает полнотой внутреннего суверенитета, а вследствие этого и полнотой суверенитета внешнего. Такое положение вещей совершенно аномально. В самом деле: если государство желает сохранить себя как таковое, то для того, чтобы самоутвердиться и не погибнуть, оно должно установить на всей своей территории *полный и безусловный свой суверенитет*. Если же такого суверенитета не существует или он лишь частичен, то никакой политической союз не вправе называть себя государством. Эти две вещи — суверенитет и государство — неразделимы и не существуют порознь, одна без другой.

Жизнь, впрочем, далеко не всегда согласуется не только с логикой и разумом, но и с существующим и апробированным международно-правовым опытом и практикой. Когда государство теряет полный и безусловный контроль над своими частями, когда на передний план выходят частные, групповые, партийные или национальные страсти и амбиции, этот опыт теряет практическую ценность и дела государственной важности вершатся именно так, как диктуют страсти и амбиции, какие бы вредные последствия для государства они ни имели. Это, к сожалению, мы видим в нынешней России.

Для более полного понимания проблемы суверенитета обратимся к рассуждениям Руссо, уделившем данному предмету немало места в своем «Общественном договоре».

«Если Государство или Гражданская община, — пишет он, — это не что иное, как условная личность, жизнь которой заключается в союзе ее членов, и если самой важной из ее забот является забота о самосохранении, то ей нужна сила всеобщая и побудительная, дабы

двигать и управлять каждой частью наиболее удобным для целого способом. Общественное соглашение дает Политическому организму *неограниченную власть* над всеми его членами, и вот эта власть, направляемая общею волей, носит... имя суверенитета». Волю же делает общей, как подчеркивает Руссо, «не столько число голосов, сколько общий интерес, объединяющий голосующих»⁴⁵ (курсив мой. — Э.П.).

Слова Руссо, касающиеся неограниченной власти «Политического организма» над всеми его членами и частными объединениями, наиболее полно отражают его концепцию суверенитета. Ее суть он излагает в следующих словах:

«Если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому *принужден* всем Организмом, а это означает не что иное, как то, что его *силой принудят быть свободным*» (курсив мой. — Э.П.).

У вольнолюбца Руссо такая фраза может показаться, на первый взгляд, чем-то совсем ему несвойственным. Но для него свобода индивида неотделима от его зависимости от общей воли, тогда как рабством он считал личную зависимость человека от другого человека. Это ясно из дальнейшего рассуждения Руссо, касающегося условий общественного соглашения, которое, по его словам,

«подчиняя каждого гражданина отечеству, одновременно тем самым ограждает его от всякой личной зависимости: условие это составляет секрет и двигательную силу политической машины, и оно одно только делает законными обязательства в гражданском обществе, которые без этого были бы бессмысленными, тираническими и открывали бы путь чудовищнейшим злоупотреблениям»⁴⁶.

Со времени Руссо политическая мысль не стояла на месте; и сегодня, судя по многим признакам, господствующим становится противоположное мнение: подчинение гражданина государству, отечеству расценивается как покушение на личную свободу, тогда как личная зависимость от современных промышленных и финансовых «феодалов» — как выражение свободы и демократии.

С XVI века, то есть со времен Бодена и Макиавелли, и примерно до середины XX столетия идея суверенитета не только не подвергалась пересмотру, но и рассматривалась, по сути дела, всеми политическими мыслителями как центральная и важнейшая в учении о госу-

дарстве. Сам же суверенитет — и в этом не было расхождений — должен защищаться государством всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Суверенитет един и неделим — вот главное, в чем сходились политические мыслители и политики-практики прошлого. Он не терпит никакого соперничества со стороны отдельных частей государства, и утвердить его в рамках государства можно лишь путем *уничтожения противоборствующих претензий на суверенитет, устранения параллельных властных структур и квазигосударственных образований*. Отсюда понятно, почему Гегель высоко оценивал деятельность Ришельё, который решительными и крутыми мерами уничтожил властные структуры гугенотов, имевших собственную армию, укрепленные города и сношения с иностранными державами.

«Заслуга министра, создавшего, подобно Ришельё, единую исполнительную власть в государстве, — пишет Гегель, — бесконечно выше любых других заслуг, таких, например, как увеличение страны посредством присоединения к ней какой-нибудь провинции или спасения ее от любых других бедствий»⁴⁷.

И наоборот, действия, ведущие к ослаблению государственного суверенитета, а тем самым к поощрению и содействию анархическим тенденциям в нем, издревле считаются самым большим преступлением и подлинным бедствием для государства (такого рода оценки мы встречаем уже в школе Пифагора)*. Не удивительно поэтому, что на альтернативу: деспотия или анархия — во все времена давался однозначный ответ в пользу деспотии. Гегель в том же сочинении отмечает:

*«Содействие анархии является высшим, вернее, единственным преступлением против государства, ибо оно включает в себя все остальные государственные преступления, и те, кто наносят вред государству не опосредованно, подобно другим преступникам, а непосредственно нападают на само государство, являются самыми страшными преступниками; и нет у государства более высокого долга, чем сохранить себя и самым верным способом уничтожить силу этих преступников. Выполнение государством этого высокого долга — уже не средство, а кара...»*⁴⁸ (курсив мой. — Э.П.).

* Это положение приобретает особую актуальность в свете трагических событий в Украине в конце 2013 — начале 2014 года, когда власть в лице Президента страны шаг за шагом уступала *параллельным, нелегитимным властным структурам*, доведя страну практически до состояния анархии.

Ныне, однако, представления о суверенитете государства терпевают заметные изменения: исчезает былая жесткость и категоричность в его оценке и значении. Многие считают, что он теряет свою прежнюю значимость, делается мягче, гибче...

Перемена во взглядах на суверенитет имеет, конечно, свои основания в действительности и в тех изменениях, которые в ней происходят. В течение последних десятилетий в мире идут важные процессы, связанные, прежде всего, с научно-технической революцией и с потребностями интернационализации и интеграции производства. Вместе с быстрым развитием средств транспорта и коммуникации, с возрастающим потоком информации как бы размывается традиционное различие между миром внутренним и внешним; границы государства — эта основа и символ жесткого суверенитета — делаются всё более проницаемыми и уязвимыми. По крайней мере, они стали совершенно неэффективными для защиты от проникновения идей, в том числе и враждебных государству.

Вследствие такого хода развития важнейшие проблемы национальной жизни — экономические, энергетические, экологические, продовольственные и многие другие — приобрели как внутренние, так и внешние аспекты и измерения. Более того, становится всё более очевидным, что они не могут быть решены в узких национальных рамках. Отсюда — концепция взаимозависимости. С точки зрения рассматриваемой проблемы, она предполагает прежде всего признание тесной взаимосвязи и взаимодействия внутренних и внешних факторов развития государства, а тем самым и ослабление жесткого суверенитета государств. Хотя нельзя не заметить, что эта жесткость всегда была больше в теории, нежели на практике, ибо большая или меньшая взаимозависимость государств существует с той поры, с какой существуют государства и общение между ними. Сегодня дополнительно к прежним элементам взаимозависимости прибавились современные формы интеграционных процессов, ведущие к ослаблению национального суверенитета за счет передачи некоторых, прежде сугубо национальных, функций наднациональным институтам.

Немалую роль играют тут и вопросы безопасности. С развитием современных высокоомобильных средств нападения, ракетно-ядерного и других видов оружия массового уничтожения ни одно государство не может, по существу, полагаться в вопросах безопасности только на себя. Отсюда — процессы военно-политической интеграции, новые формы межгосударственных союзов, захватывающие более широкие сферы сотрудничества, нежели чисто военные. Они,

в свою очередь, неизбежно ведут к передаче каких-то традиционно суверенных функций в ведение наднациональных органов.

Это одна тенденция современного развития — тенденция к ослаблению суверенитета государств. Нельзя ее недооценивать, но было бы ошибочно и переоценивать, или, того хуже, сводить всё к ней, не видя других направлений развития.

Питательной почвой для рождений концепций жесткого суверенитета всегда была идея национального объединения и единства. Теория абсолютного суверенитета Бодена возникла во Франции XVI века, когда она раздиралась внутренней междоусобицей и когда единственный путь ее национального спасения виделся в создании крепкого, единого, общенационального государства. Сочинение Макиавелли «Государь» появилось в Италии тоже в XVI веке, в аналогичной обстановке, когда страна дошла до самой низкой отметки своего нравственного и политического падения, в период иностранного нашествия, смуты и анархии в итальянских княжествах. В этих условиях Макиавелли пришел к твердому убеждению, что спасти Италию в той ситуации можно было, только объединив ее в единое, сильное суверенное государство. В условиях испорченности нравов и царящего повсюду слепого бешенства и ненависти он последовательно начертал путь и средства спасения, прямо и твердо заявив, что *в великом деле образования единого государства нет и не может быть безнравственных средств, что идея Государства, цель которого — образование единой нации, должна быть реализована всеми требуемыми для этого средствами и методами.*

По меткому замечанию Ранке, Макиавелли имел достаточно мужества, чтобы прописать своему отечеству яд⁴⁹.

В схожей ситуации формировались взгляды на государство и суверенитет у Гегеля. Рубеж XVIII и XIX веков был временем полного крушения старого мира в Европе и в Германии в частности. Одна из его ранних работ «Конституция Германии» (1802) была написана под впечатлением происходящих вокруг событий. В стране рухнула, порвалась прежняя связь между индивидуальным и универсальным существованием, разрушенная внешними силами, революционными и наполеоновскими войнами. В тот период Гегелю становится близкой нравственная сила позиции Макиавелли, поддерживавшего идею сильного государства как гаранта национальной свободы и независимости.

Если в 1789 году Гегель приветствовал Французскую революцию, то уже очень скоро он стал испытывать потребность в чем-то другом, а именно, потребность преодолеть противостояние между

государством и индивидом, потребность нерасчлененной жизни, которая соединяла бы их. Он нашел пример такого единства в древнегреческом городе-государстве. С глубокой симпатией набрасывает Гегель портрет греческого человека в его наиболее цветущий период — человека, для которого идея его Государства и отечества представляет конечную цель мира, позволяющую его собственной индивидуальности раствориться в этой идее, отойти перед ней на второй план. Постепенно умеряется и былой восторг Гегеля перед Французской революцией. Идея государства оттесняет ее на второй план, и в следующем отрывке можно видеть, насколько радикальным образом это происходило.

«Идея государства, созданного народом, — пишет он, — столь настойчиво заглушалась безрассудными призывами к так называемой свободе, что всех бедствий Германии.., всего прогресса разума и опыта, почерпнутого из неистовства, охватившего Францию в ее стремлении к свободе, вероятно, недостаточно для того, чтобы та простая истина, согласно которой *свобода возможна только в государстве, созданном объединившимся на правовой основе народом*, проникла в умы людей и утвердилась в качестве основного принципа науки о государстве»⁵⁰ (курсив мой. — Э.П.).

Этот пассаж, думается, целиком применим и к нынешней России с ее столь же безрассудными призывами к свободе, подведшими страну к той черте, за которой может наступить второй акт трагедии, начало которой было положено в 1991 году.

Небольшой экскурс в историю политической мысли предпринят здесь с той целью, чтобы специально подчеркнуть то обстоятельство, что проблема государства и государственного суверенитета приобретает особую остроту в определенные исторические периоды, связанные либо с разрушением государства и рождением хаоса и анархии в обществе, либо с потребностью того или иного народа в создании собственной государственности. В этом смысле наше время более чем богато — крушение бывших колониальных империй, образование многих десятков молодых национальных государств, прежде не имевших своей государственности, распад Советского Союза, дезинтеграционные настроения и процессы в ряде государств Европы, рост в них национализма, обострение всего комплекса экономических и социальных проблем — всё это свидетельствует о нарастающей тенденции к укреплению суверенитета и питающего его национализма, притом нередко в крайних его формах.

При этом было бы явно преждевременно считать, что тенденция к ослаблению суверенитета стала преобладающей в сфере отношений между развитыми странами Запада и Востока. Здесь наблюдаются постоянные рецидивы обострения «болезни суверенитета». Если проведенный анализ верен, то нельзя не признать, что «болезнь» эта и впрямь неизлечима — она как бы изначально «встроена» в структуру общественного человеческого бытия и сознания. Она дает о себе знать то в форме ожесточенных «торговых войн», то жесткого протекционизма, то острых рецидивов ксенофобии, поражающей то одну, то другую европейскую страну. Мы видим ее проявление и во многих других событиях нашего бурлящего мира, с таким трудом и так неохотно поддающегося всякой попытке его стандартизировать или унифицировать и будто интуитивно чувствующего, что в них кроется для него гибель.

Государство как воплощенная сила

Выше при характеристике государства в качестве основы был взят момент общности в противовес бытующему упрощенному взгляду на государство, сводящему его к власти (часто дурной) и к имеющимся в ее распоряжении карательно-принудительным органам, которые та использует для ограничения свобод своих граждан. Этот взгляд, по сути дела, абсолютизирует власть и отношение к государству как к тупому, карающему механизму.

Да, действительно: сила и ее институциональное воплощение — власть — являются неотъемлемыми и важнейшими атрибутами любого общественно-политического устройства. Без них немыслимо никакое государство, и об этом достаточно подробно говорилось в первом параграфе данной главы. Государство поддерживает необходимый для нормальной жизнедеятельности общества порядок преимущественно средствами принуждения, выраженными в законах и учреждениях, призванных гарантировать их исполнение. Именно эта принудительная сила государства служит для многих основанием для его характеристики как «Левиафана», то есть как воплощения зла и несправедливости. В такой характеристике есть, конечно, определенная доля истины. Однако односторонняя и нередко предвзятая оценка ведет часто к абсолютизации и выпячиванию лишь одной стороны явления и затемняет другие.

До сего момента я избегал каких-либо дефиниций государства по той же причине, что и при рассмотрении политики. Дело в том,

что понятие государства слишком ёмко, чтобы его можно было вместить в рамки дефиниции. Однако иногда полезно прибегнуть и к ней. Если она сформулирована признанными авторитетами, то, как правило, содержит в себе какие-то наиболее существенные стороны исследуемого предмета. Обратимся в этой связи к таким авторитетам, как Гегель, Макиавелли и М. Вебер.

Гегель в своей работе «Конституция Германии» в разделе «Понятие государства» пишет:

«Массу людей можно называть государством в том лишь случае, если она объединена для совместной защиты всей совокупности своей собственности».

И далее: «Для того, чтобы масса людей образовала Государство, ей необходимо создать совместную защиту и государственную власть»⁵¹.

В других местах он уточняет, углубляет и конкретизирует эти положения:

«Государству необходим общий центр., обладающий всеми разновидностями власти; этот центр осуществляет связь с иностранными державами, обладает военной властью, финансами, связанными со всем этим, и т.д. Помимо функций управления, этот центр должен обладать и необходимой властью, для того чтобы отстаивать свои права, проводить свои решения и держать в повиновении отдельные части государства»⁵².

И как итог, он отмечает, что образование, создание или преобразование государства

«никогда не бывает следствием логического вывода, оно всегда требует применения силы»⁵³ (курсив мой. — Э.П.).

Прервем ненадолго ход гегелевских рассуждений и обратимся к другому авторитету в вопросах государства — Макиавелли. В своем «Государе», помимо всего прочего, он излагает причины, по которым без применения силы не может обойтись ни одно преобразование государства, не говоря уже о создании государства нового. Он особо отмечает, что *нет дела более трудного, более опасного и более сомнительного, чем замена старых порядков новыми*, или, выражаясь современным языком, чем перестройка государства и общества.

«Кто бы ни выступал с подобным начинанием, — пишет он, — его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые. Холодность эта объясняется отчасти страхом перед противником, на чьей стороне — законы; отчасти недоверчивостью людей, которые на самом деле не верят в новое, пока оно не закреплено продолжительным опытом».

И затем Макиавелли приводит такие доводы:

«Чтобы основательнее разобраться в этом деле, надо начать с выяснения, самодостаточны ли такие преобразователи или они зависят от поддержки со стороны; иначе говоря, должны ли они для успеха своего начинания упрашивать или же могут применить силу. В первом случае они обречены, во втором, то есть если они могут применить силу, им редко грозит неудача».

Вот почему, подчеркивает Макиавелли, *все вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли*. В добавление к сказанному, полагает он, надо иметь в виду, что нрав людей непостоянен и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, *заставить его поверить силой*. Моисей, Кир, Ромул и Тезей, будь они безоружны, не могли бы добиться столь длительного соблюдения данных ими законов⁵⁴.

Но не одни лишь эти великие законодатели. Из Библии мы узнаем, что сам Бог был вынужден постоянно прибегать к силе или к угрозе ее применения, паяс «овец» своих. Читая Библию, нельзя не поражаться той многотрудной задаче, которую он взвалил на себя, взявшись за опеку и наставление своих чад. По сравнению с ней весь его труд, затраченный на сотворение мира, представляется не более чем детской забавой. Сколько минут и часов огорчения, раздражения, гнева и даже ярости породили у него люди своим неразумным поведением, своим своеволием, упрямством, хитростью, своим нежеланием следовать его мудрым советам и заповедям. Чтобы преодолеть упорство и бунтарский дух людей, Бог воздействовал на них отнюдь не одними отеческими наставлениями, а использовал с этой целью самый широкий арсенал средств от увещаний до грозных приказов, от явления народу чудесных знамений до наведения на него мора и язв, от мудрых советов рачительного хозяина до самых жестких мер принуждения вплоть до... Он дал народу не только заповеди и законы, но и дотошно расписал и регла-

ментировал всю его жизнь во всех ее больших и самых малых проявлениях, определил разветвленную систему ответственности и наказаний за все отступления от данных им правил.

Если судить по Библии, Бог поистине был первым великим Политиком и Администратором. Ведь он сам, своими руками создал человека, и кому, как не ему, было знать, чего тот стоит. Он нисколько не оболыщался относительно его достоинств и недостатков. Он знал, что пороки человеческие останутся, пока будут люди. И вся библейская история дает пример практического опыта обуздания этих пороков во благо самого же человека; пример мудрого государственного управления, основанного на глубоком знании природы людей и на заботе об их высшем благе. Он первый применил на практике принцип *«наибольшего счастья для наибольшего числа людей»*; но в отличие от будущих краснобаев и моралистов прекрасно знал, что этот принцип неосуществим без хороших законов, твердой власти и силы.

Обратимся теперь к М. Веберу и его определению государства. Такое определение он дает в нескольких своих работах, и все они, в принципе, идентичны. В наиболее известном произведении «Политика как призвание и профессия» Вебер задается вопросом: «Что есть “политический” союз с точки зрения социологического суждения? Что есть “государство”?»

Государство, по его мнению, нельзя социологически определить, исходя лишь из содержания его деятельности. Почти нет таких задач, выполнение которых оно не брало бы в свои руки. С другой стороны, нет такой задачи, о которой можно было бы сказать, что она полностью присуща лишь тем союзам, которые называют «политическими», то есть государствами. Дать социологическое определение современного государства, считает Вебер, можно, в конечном счете, только исходя из специфически применяемого им средства, а именно — *физического насилия*.

Вебер начинает с того, что солидаризируется со словами Троцкого, что «всякое государство основано на насилии», оговаривая при этом, что насилие не является нормальным или единственным средством государства, но оно есть *специфическое* для него средство.

«В прошлом различным союзам, начиная с рода, — пишет он, — физическое насилие было известно как совершенно нормальное средство. В противоположность этому сегодня мы должны будем сказать: государство есть то человеческое сообщество, которое внутри определенной области... претендует (с успехом) на монополию легитимного физического насилия... Право на физическое насилие

приписывается всем другим союзам или отдельным лицам лишь настолько, насколько государство со своей стороны допускает это насилие: *единственным источником “права” на насилие считается государство*»⁵⁵ (курсив мой. — Э.П.).

В данном отрывке, в целом ясном и недвусмысленном, единственно смущающей оговоркой может служить вот эта самая «определенная область». Остается не совсем ясным, кем «определенная» и в каких пределах? В одной из других своих работ, давая развернутую характеристику государства с точки зрения применения им насилия, Вебер уточняет пределы вышеупомянутой «области». Обращение к насилию и средствам принуждения не только вне, но и внутри своих границ свойственно каждому политическому союзу. Более того, именно оно и делает его *политическим* союзом.

«Государство», — подчеркивает он, — является таким союзом, который обладает монополией *на легитимное насилие* — иначе определить его нельзя. Заповеди Нагорной проповеди “Не противься злу” он противопоставляет: “Ты *должен* содействовать осуществлению права даже *силой* и сам ответишь за неправомерные действия”. Там, где нет этого, нет и “государства”, существует лишь пацифистский “анархизм”. Применение насилия и угроза им ввиду неизбежной прагматичности всякого действия порождает новое применение насилия. При этом государственные соображения следуют как вне, так и внутри границ своей собственной закономерности»⁵⁶ (курсив мой. — Э.П.).

Вот, собственно, эти «государственные соображения» и определяют пределы «области» применения насилия; они же, в свою очередь, подчиняются собственной закономерности. И поэтому для Вебера совершенно очевидно, что успех применения насилия или угрозы его применения зависит, в конечном счете, от соотношения сил, а не от этического «права», даже если можно было бы выявить его объективные критерии.

Весь исторический опыт подтверждает эту истину: *именно реальное соотношение политических сил, а вовсе не право, не отвлеченные моральные принципы и даже не конституции определяют масштабы применения насилия и его успех или неуспех.*

Позволю в этой связи привести суждение такого выдающегося государственного деятеля предреволюционной России, как П.А. Столыпин. В одном из своих выступлений в Государственной думе

(9 марта 1907 года), в ответ на критику правительства в связи с применением им излишне жестких мер против крестьянских волнений, он заявил:

«Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать *самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада*. Это было, это есть, это будет всегда и неизменно. Этот принцип в природе человека, он в природе самого государства. Когда дом горит, вы вламываетесь в чужие квартиры, ломаете двери, ломаете окна. Когда человек болен, его организм лечат, отравляя его ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. Этот порядок признается всеми государствами. *Нет законодательства, которое не давало бы права правительству приостанавливать течение закона, когда государственный организм потрясен до корней, которое не давало бы ему полномочия приостанавливать все нормы права*. Это... состояние необходимой обороны; оно доводило государство не только до усиленных репрессий, не только до применения различных репрессий к различным лицам и к различным категориям людей, — оно доводило государство до подчинения всех одной воле, произволу одного человека, оно доводило до диктатуры, которая иногда выводила государство из опасности и приводила до спасения. Бывают... роковые моменты в жизни государства, когда *государственная необходимость стоит выше права* и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью общества»⁵⁷ (курсив мой. — Э.П.).

Леопольд Ранке ту же связь государства и силы выразил более кратко, но не менее определенно:

«Между государством и силой не существует разницы, ибо идея государства имеет в своей основе идею независимости, которую нельзя сохранить без соответствующей силы»⁵⁸.

Здесь, собственно, мы видим то же самое, о чем уже говорилось при социологическом определении политики. Основной характеристикой государства, как и политики, служит *публичная принудительная сила*. Это и естественно, поскольку политика и государство — две вещи не только неразделимые, но и совпадающие. Единым мерилom для них выступает сила, и в государстве она обретает высшую форму выражения, а именно: *как монополия на легитимное применение насилия*.

Вебер, как бы в подтверждение этой мысли, замечает, что понятие «государство» отпало бы в том лишь случае, если бы могли появиться и существовать социальные образования, которым было бы неизвестно насилие как средство. В этом гипотетическом случае, считает он, наступило бы состояние, которое в особом смысле слова можно было бы назвать «анархией»⁵⁹. Вебер не уточняет, что он подразумевает под словами «в особом смысле». Но что бы под ними ни разумелось, мы видим, что ни «анархия», ни тождественное ей «естественное состояние» не присущи природе человеческого общества; и если они когда-либо существовали, то исключительно как состояния кратковременные и враждебные человеческой сущности. Еще Гоббс сравнивал «естественное состояние» с состоянием, испытываемым обществом в период гражданской войны.

Итак, государство возникло в соответствии с природой вещей еще на заре человеческого существования, и иные его состояния нам не известны. Но тогда, следуя логике, нужно признать и то, что присущее государству насилие также в природе вещей, что оно встроено в структуру общественного бытия человека, и самое большее, что можно тут сделать, — это разумно пользоваться им. Хотя, как очевидно, слово «разумно» само мало что может объяснить, ибо не существует ни одного случая применения насилия, которое нельзя было бы объяснить и оправдать.

Если попытаться дать объяснение феномену публично принудительной власти с психологической точки зрения, то, как представляется, ее природа неотделима от имманентно присущей человеку ментальной и психической раздвоенности, корни которой в его неспособности распознать различие между добром и злом самостоятельно, без посторонней помощи. В этом изнуряющем выборе ему постоянно нужен арбитр, будь то бог, дьявол или государство. Предоставленный же исключительно собственному выбору, человек по своей «доброй» воле склоняется преимущественно к злу — и это отмечали многие философы, теологи, социологи, включая Макиавелли, Лютера, Руссо, Ницше... Тот же Руссо в своем «Суждении о вечном Мире» пишет:

«Порок и зло, из употребления которых извлекает выгоду множество людей, распространяются сами собой; но то, что полезно для всего общества, почти никогда не осуществляется иначе, как силой, ибо частные интересы почти всегда этому противятся»⁶⁰.

Аналогичное суждение находим и у Спинозы:

«Если бы люди от природы так были созданы, — пишет он, — что они ничего не желали бы, кроме того, на что им указывает истинный разум, то общество, конечно, не нуждалось бы ни в каких законах, но, безусловно, довольствовалось бы обучением людей истинным правилам морали, дабы люди совершенно добровольно и от всей души делали то, что истинно полезно. Но человеческая природа устроена совсем иначе. Все, конечно, отыскивают свою пользу... но домогаются вещей и считают их полезными отнюдь не вследствие голоса здравого рассудка, но большей частью по увлечению вследствие только страсти и душевных аффектов (которые нисколько не считаются ни с будущим, ни с другими вещами). Поэтому ни одно общество не может существовать без власти и силы, а, следовательно, и без законов, умеряющих и сдерживающих страсти и необузданные порывы людей»⁶¹.

Образуется, казалось бы, некий порочный круг, из которого не видится выхода. В самом деле, если насилие присутствует во всем и повсюду, то, как резюмирует один из современных политологов,

«у нас остается один-единственный выбор: либо терпеть его с покорностью (в этом случае насилие становится верховным законом жизни, человеческой судьбой), либо пытаться устранить его. Но если мы выбираем второе, мы становимся пленниками неустранимой логики: чтобы покончить с насилием, с необходимостью приходится обращаться к нему же, так как не существует иных средств его устранения. Поэтому обращение к нему, не отвергая материальности самого насилия, только меняет его направление. Тут, правда, есть надежда, что таким путем деструктивное может превратиться в конструктивное и через эту метаморфозу нейтрализуется и исчезнет»⁶².

Однако наивность и тщета этих надежд была уже давным-давно разоблачена и высмеяна, в частности, великим Сервантесом в его «Дон Кихоте». Дон Кихот, как мы помним, выезжает в мир с целью «вытрямлять кривду и заступаться за обиженных», или, иными словами, с целью устранения насилия и восстановления справедливости. Но намеревается он это делать отнюдь не проповедью — он полон решимости творить добро, устранять насилие всё теми же, старыми как мир, средствами того же насилия. И получилось так, что благородные побуждения рыцаря, реализуемые с помощью насилия, при-

водили не к его устранению, а к его умножению и несправедливости. Думается, Сервантес в своем великом романе высмеял не столько бредовую рыцарскую манию Дон Кихота — такая задача была бы слишком мелкой для писателя его масштаба, сколько неизбежное желание всякого рода идеалистов внедрять свои абстрактные нравственные идеалы в жизнь, не считаясь с ней, ломая ее и коверкая, поскольку навязать их можно не иначе как только насильем. И великая насмешка истории, ее парадокс в том, что чем возвышеннее идея и чем отвлеченнее, тем больше применяется насилия для ее реализации, тем больше на ее алтарь приносятся жертвы.

Итак, куда ни кинуть взор, повсюду сталкиваешься с неустрашимой диалектикой добра и зла, переходом одного в другое. Она лежит в основе человеческого бытия, определяя и направляя его развитие. Человеку не дано видеть скрытую пружину этого развития, а потому не дано и понять, почему одни и те же благоприятные обстоятельства приносят одним процветание, а другим гибель; почему одни и те же бедствия приносят горе одним и радость или выгоду другим. Цивилизация, культура, демократия, которые, по мнению многих нынешних моралистов, смягчают нравы и служат якобы надежным препятствием против войн и насилия, являются, по словам известного английского писателя Ирвина Стоуна, лишь *тонким слоем лакировки, под которым бездна дикости, варварства и анархии*. И мы видим, как уже в наше, «цивилизованное» время этот слой то тут, то там прорывается и человечество оказывается на краю такой бездны ужасов, зверств и мерзостей, которые не приснятся и в самом страшном сне. И всё это при том, что существует государство, не позволяющее скагиться в эту бездну и хоть как-то сохраняющее видимость цивилизации. Хотя, признаться, само понятие цивилизации и мысль о ее якобы благотворном воздействии на человека далеко не очевидны.

«Да и что, собственно, смягчает в нас цивилизация? — спрашивал Достоевский. — Оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское... Цивилизация выработывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уже и случилось с ним...

Замечали ли вы, — продолжает он, — что самые утонченные кровопроливы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные Атиллы да Стеньки Разины иной раз в подметки не годились... По крайней мере, — заключает Достоевский, —

от цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уже, наверное, хуже, гаже кровожаден, чем прежде»⁶³.

Итак, сила, насилие и связанное с ним страдание являются неизбежными спутниками человеческой жизни. Но то «страдание», которое человеку приходится испытывать от государства, неизмеримо меньшее зло в сравнении с тем злом, которое выпало бы на его долю, не будь государства, не будь его сдерживающей зло силы, являющейся основой безопасности граждан.

Как образно заметил Н. Бердяев, *государство существует не для создания на земле рая, а для того, чтобы не дать ей превратиться в ад*. И мы видим на протяжении всей истории человека, что там, где государство по тем или иным причинам разрушалось или слабело, человек тут же становился беззащитным перед ничем не контролируемыи силами зла. Когда рука власти перестает держать бразды правления, становятся бессильными законность, суд, свободы, всё государственное управление исчезает бесследно и люди вынуждены искать защиты у сильных мира сего. Вследствие этого устанавливается *личная зависимость*, которую Руссо и рассматривал как подлинное рабство.

Как замечает Гегель, люди должны сперва оказаться в беззащитном положении, чтобы почувствовать необходимость государственности⁶⁴. И каждый раз в таких случаях им приходится начинать заново образование государства и проклинать тех, кто увлек их на путь мнимой свободы (той самой, что лучше несвободы), оборачивающейся на деле еще большим рабством. В этой связи позволю себе еще раз обратиться к Достоевскому, на сей раз к его знаменитой и мудрой, как сама Библия, «Легенде о Великом Инквизиторе».

Что толку, говорит Великий Инквизитор Христу, что человек повсеместно бунтует против власти и гордится, что он бунтует? — «Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие, боящиеся собственной же свободы и готовые отдать ее всякому, кто накормит и защитит их»⁶⁵.

Здесь важно отметить, что, когда мы определяем государство, оперуя понятиями власти, силы и насилия, речь идет о легитимном на-

силлии, то есть насилии, обусловленном правом и законом. Его антиподом является насилие нелегитимное, то есть насилие произвола, насилие анархии, насилие того «естественного состояния», в котором, по определению Гоббса, жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, звероподобна и коротка. Спасаясь именно от этого состояния, человек и создал Государство. Вот, в частности, почему у Гегеля были веские основания для утверждения, что *на Земле нет ничего выше государства*. Ту же самую мысль находим и у Спинозы:

«С уничтожением государственной власти ничто хорошее не может устоять, но всё подвергается опасности и только ярость и беззаконие господствуют, наводя величайший страх на всех...»⁶⁶.

Всё сказанное подводит нас к признанию справедливости приведенного выше афоризма Троцкого, что всякое государство основано на насилии. Это и так, и не так. Не так потому, что из данной формулы как бы само собой следует, что государство есть нечто, навязанное человеку извне, с чем он должен либо смириться, поскольку без него ему будет еще хуже, либо постоянно бунтовать против него в желании создать некую ненасильственную ассоциацию людей. Однако ошибочно и первое, и второе «либо», поскольку оба покоятся на изначально неверной посылке, что государство есть по отношению к индивиду извне навязанная необходимость, внешнее зло.

Такой взгляд не только далек от истины, но и служит источником нескончаемых недоразумений и неверных выводов. На самом деле *государство есть полное воплощение природы человека как существа общественно-политического*. Авторитет и влияние государства на жизнь общества, сила, разнообразие и масштабы используемых им форм принуждения суть *эманация силы коллективного сознания* каждой данной ассоциации индивидов, производное от нее. Вот почему тип государственного устройства, особенности форм и функций принуждения более или менее точно соответствуют уровню развития общего сознания и духу народа.

Государство, как целостная органическая система, многократно превосходит индивида во времени, пространстве и силе. В то же время оно само есть воплощение общего сознания и силы, развивающихся во времени и пространстве. Вот почему оно навязывает индивиду типы действий и мышления, которые как бы концентрированно запечатлены в его истории, в его мифах, народных преданиях, религиозных воззрениях, верованиях, предрассудках, нормах пове-

дения и т.д. И наиболее адекватным инструментом такого навязывания является государство. Оно служит целям самосохранения общества как исторической индивидуальности, а потому имеет как бы вечный мандат от общества на легитимное применение насилия против отдельных его членов ради сохранения целого.

В то же время было бы глубоко ошибочно рассматривать государство только как принуждение: оно и в самом деле являет собой целый космос.

Государство — воплощение духовной идеи

Функция государства, связанная с силой и насилием, во все времена вызывала у многих внутренний протест, нежелание даже мысленно мириться с возможностью насилия над собой, пусть даже легитимного. Во все времена она питала диссидентские, антиэтатистские чувства, настроения и движения. Часто это мешало видеть, что государство есть полное выражение сущности человека, его природы, в которой неразрывно переплелись добро и зло, высокое и низкое, сила и бессилие, свобода и рабство, рай и ад, бог и дьявол. Разумеется, в истории были и есть государства, держащиеся главным образом на насилии, но не о них речь, вернее, не о такого рода особенных государствах; речь тут идет о государстве как особой и одновременно высшей форме организации общества. Но если даже взять самое дурное государство, то и оно, как отмечал Гегель, содержит в себе существенные моменты своего бытия.

«Государство — не произведение искусства, оно находится в мире, тем самым в сфере произвола, случайности и заблуждения; дурное поведение может внести искажения во множество его сторон». Однако, замечает Гегель, ведь и самый «безобразный человек, преступник, больной, калека — всё еще живой человек, “утвердительное”; жизнь же существует, несмотря на недостатки, а это утвердительное и представляет как раз наибольший интерес»⁶⁷.

Вот это «утвердительное» и содержит в себе отнюдь не только силу и насилие. Как многогранен по своей природе человек, так многогранно и государство; оно олицетворяет собой целый космос, особенно государство современное. Если говорить о культуре в веберовском смысле, то государство есть полное ее воплощение и отражение.

Современный немецкий историк Мейнеке сравнивал государство с «раковиной», внутри которой происходит вся высшая жизнь нации. И если эту раковину разбить, холодные порывы внешних мировых ветров могут заморозить и убить сохраняемую в ней жизнь⁶⁸.

Любое государство представляет собой индивидуальную структуру со своей собственной характеристикой жизненного пути. Законы, общие всем политическим союзам, в каждом из государств модифицируются конкретными особенностями и конкретным содержанием. Мало того, государство образует единую субстанцию, единый дух с религией, искусством и философией народа, с его представлениями и мыслями, его культурой вообще, не говоря уже о внешних факторах, таких как географическое положение, климат, природа, положение в мире и т.д.

Государство есть нерасторжимое *Целое*; из него нельзя вычленить какую-то одну отдельную, хотя и в высшей степени важную сторону, будь то государственное устройство, экономика, право, система нравственности или сила, и рассматривать ее вне связи с другими, сводить всё к ней. Если взять государственное устройство любого народа, то обнаруживается, что оно не только находится в самом тесном и неразрывном единстве с другими духовными и материальными факторами и зависит от них, но что оно есть результат исторического развития всего этого целого, развития духа народа. Не случайно Гегель определяет государство как духовную идею, проявляющуюся в форме человеческой воли и ее свободы, вследствие чего исторический процесс по существу дела совершается при посредстве государства⁶⁹.

Итак, чье бы определение государства мы ни взяли — Аристотеля ли, Руссо, Спинозы, Маркса или Вебера, не говоря уже о Гегеле, — каждое из них содержит ту же мысль. Даже марксистские определения типа: «Государство есть инструмент в руках господствующего класса» несут в себе аналогичное содержание, а именно, что государство есть духовная идея.

Из сказанного, думается, должно быть ясно, что культура любого народа, общества, рассматриваемая как совокупность традиций, поведенческих норм, взглядов, идей, мировоззрений — отнюдь не порождение «базиса». Тут скорее наоборот: всякий экономический базис (а у каждого народа он, кстати, свой собственный) сам есть порождение и воплощение всей культуры данного народа и его неотъемлемая часть. О государстве же, воплощающем эту культуру, нечего и говорить. Никто же не станет утверждать, что организованные сообщества, встречаемые в животном мире (муравьи, термиты, пче-

лы и т.д.), и все их «надстроечные» элементы в виде распределения обязанностей, устройства жилищ, обеспечения безопасности и т.д. суть порождения материальной, экономической необходимости. Все они являются результатом действия природных сил и вековых инстинктов, начало которых нам неизвестно.

В отличие от сообществ животных, государство есть не только порождение инстинкта, но и человеческого разума. Если бы человек, подобно упомянутому насекомым, обладал только природными инстинктами, то образованное им сообщество было бы столь же совершенно, как у пчел или муравьев или как в утопических схемах известных теоретиков социализма. Но человек, помимо инстинктов, обладает разумом и разнообразными аффектами, коих лишены (по крайней мере, в таких же формах) насекомые и о которых забыли, строя свои схемы, социалисты-утописты. Поэтому, если государство несовершенно, то оно обязано этим несовершенству человеческой природе. Человек имеет то государство, какое он способен создать; он не может обойтись без него, но ему плохо и в нем; он, не щадя жизни, защищает его, и он же, не щадя той же жизни, разрушает его.

«Всё можно сказать о всемирной истории, — пишет Достоевский, — всё, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, что — благоразумно. На первом слогe поперхнeтeсь». Да осыпьте человека «всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о прекращении всемирной истории, — так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой не экономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой, единственно для того, чтоб самому себе подтвердить..., что люди всё еще люди, а не фортепианные клавиши... Человек существо легкомысленное и неблагоприятное и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель. И, кто знает (поручиться нельзя), может быть, что вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой непрерывности процесса достижения, иначе сказать — в самой

жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то есть формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь..., а начало смерти»⁷⁰.

После этих строк можно лишь повторить еще раз ту истину, что человек есть удивительное сочетание рационального и иррационального, притом в пропорции, не поддающейся никакому измерению. Во всяком случае, любой подход к нему и к пониманию его природы, основывающийся на выделении какой-то одной стороны его бытия, пусть и очень важной самой по себе, и на ее абсолютизации, всегда окажется несостоятельным. Его результатом будет мертвая формула, «*дважды два четыре*», а вот с ней-то человек никогда не смирится. И это подтверждает вся долгая история человека.

Библейская история показывает, что даже «формула» Бога не смогла превратить человека в «фортепианную клавишу» — он и против нее непрерывно бунтовал. В этом смысле людская история выражает нескончаемый бунт человека против навязываемых ему идей «хрустального дворца» и одновременно — неизбежное желание выработать какую-то конечную «формулу счастья», то есть те же « $2 \times 2 = 4$ ». В этом, быть может, и заключена трагическая диалектика бытия человека, заставляющая его то возводить институты принуждения для обуздания собственных страстей, то разрушать их силой тех же страстей.

* * *

Особая первозданная природа государства никогда не согласовывалась с представлением, рассматривавшим его просто как способ организации людей для собственного их блага (договорные теории Гоббса, Руссо и других). Бесспорно, что общее благосостояние — важнейшая цель и задача каждого государства, вышедшего за пределы самых грубых этапов своего развития, связанных главным образом с обеспечением простого выживания и осуществлением с этой целью преимущественно насильственной, принудительной функции. В то же время было бы ошибкой рассматривать государство как простую сумму индивидов, объединившихся для решения какой-то задачи. Государство можно уподобить коллективной личности, коллективной индивидуальности, притом уникальной с точки зрения исторической, социальной, культурной.

Нельзя не отметить в этой связи неправомочность и неконструктивность всякого противопоставления государства и составля-

ющих его индивидов. Оно выражается, прежде всего, в риторическом и, в общем, лишенном смысла вопросе: *государство для людей или люди для государства?* Вопрос этот был бы еще правомерен в отношении конкретной власти или конкретных государственных учреждений, но не государства как такового. Оно не может быть ни отменено, ни создано по чьему-то капризу, поскольку имеет собственные сущностные основания, в том числе и духовные. Так, скажем, Леопольд Ранке, чье имя уже не раз упоминалось, рассматривал государства именно как духовные субстанции, как независимые друг от друга индивидуальности, живущие, развивающиеся в соответствии с собственной идеей и идеалом.

«Все государства, — писал он, — которые имеют авторитет в мире... побуждаются к деятельности особыми тенденциями, порождаемыми их собственной природой. ...Эти тенденции имеют духовное происхождение, и все жители государства детерминируются и формируются ими. Они, в свою очередь, повсеместно разнообразят формы конституций, порожденные общей потребностью. Всё в государстве зависит от верховной идеи. Именно она имеется в виду, когда мы говорим, что государства ведут свое происхождение от Бога, ибо идея государства имеет высшее происхождение. Каждое государство живет своей собственной, присущей только ему жизнью. Она имеет различные стадии своего развития и может погибнуть подобно всякой живой материи. Но пока государство живет, его идея пронизывает собой всю свою среду, которая идентична ей»⁷¹.

И в данном пункте нельзя пройти мимо взглядов на государство такого оригинального русского философа, как Константин Леонтьев. Его видение государства как бы вбирает в себя все аспекты, и оно выходит из его рук в законченной форме.

«Государство, — пишет он, — есть, с одной стороны, как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинаясь некоему таинственному... деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи. С другой стороны, оно есть машина, сделанная людьми полусознательно и содержащая людей как части, как колеса, рычаги, винты, атомы, и, наконец, машина, вырабатывающая, образующая людей. Человек в государстве есть в одно и то же время и механик, и колеса или винт, и продукт общественного организма».

Государственная форма у каждой нации, у каждого общества своя; она в главной своей основе неизменна «до гроба исторического»; вот

почему *разрушение органически возникшей государственной формы есть гибель нации*. Попытки же примерить, перенять для себя чужую государственную форму (как бы та ни была хороша на своей почве) ведут к тяжелейшей мутации, вырождению национальной общности»⁷² (курсив мой. — Э.П.).

Определение Леонтьева есть как бы синтез, сплав, вобравший в себя лучшее, что было сказано до него на сей счет многими мыслителями. Мы находим в нем идеи Аристотеля, Макиавелли, Гоббса, Спинозы, Гегеля, Ранке...

Но что же всё-таки лежит в глубинной основе индивидуальности и уникальности каждого государства? Среди ряда наиболее фундаментальных факторов многие приписывают первенство религии. Так, скажем, Тойнби классифицирует цивилизации на основании двух критериев: 1) происхождения религии и 2) первоначальной среды географического обитания⁷³. Но оба эти критерия относятся, по существу, и к государствам, поскольку каждая цивилизация предстает в своем законченном выражении только в форме политического, то есть государственного, образования.

Тот же Гегель отмечает, что если мы согласны, что государство основано на религии, то, по существу дела, это означает, что

«государство произошло из религии и теперь и всегда происходит из нее, т.е. принципы государства должны быть рассматриваемы как имеющие силу в себе и для себя, а это возможно лишь, поскольку они признаются определениями самой божественной природы. Поэтому природа государства и его конституции таковы же, как и природа религий. Государство действительно произошло из религии, и притом так, что афинское или римское государство было возможно лишь при специфической форме языческой религии этих народов так же, как католическому государству свойственны иной дух и иная конституция, чем протестантскому»⁷⁴.

Или, добавлю от себя, — чем православному. В каждом из них отражается особый дух, свойственный соответствующим народам. Он-то и значим в исторических судьбах народов, а отнюдь не различия в церковных догматах: последние при желании сравнительно легко устранимы, но не устранимы различия в духе народов, обусловивших появление различий в догматах.

Русский философ Василий Розанов в этой связи отмечает, что разница в догматах совпала с характером, с направлением и духом,

которые связаны исключительно с расовыми особенностями племен. И если бы этой разницы не было, можно быть уверенным, что народы германские и славянские всё равно неудержимо разошлись бы в понимании христианства с народами романскими, и потом разошлись бы еще между собой. Ведь и теперь каждая Церковь противится слиянию с какой-нибудь другой, и дело здесь не столько в догматах, сколько во всем своем внутреннем сложении, в каждой черте своего характера⁷⁵.

Ту же, по существу, мысль находим и у Л. Гумилева, считавшего, что непримиримость римского и греческого исповедания лежала не в сфере теологии, а в этнопсихологии⁷⁶.

Да ведь и сам подлинный, евангелический Христос — это еврейский Христос. Католическим Христом сделали его романские народы; Христом протестантским — германские и, наконец, Христом православным — народы славянские. Эти три разных Христа суть выражения и символы трех разных культур, трех разных цивилизаций, по каковой причине нет и не может быть в принципе единого Христа у всех народов. Вот, кстати, почему устоявшееся в литературе понятие «западноевропейская цивилизация», по сути дела, ошибочно, ибо она состоит, по меньшей мере, из двух цивилизаций: романской и германской, каждая из которых являет собой совершенно особый тип. И типы эти разительно отличаются один от другого, как отличаются друг от друга и созданные на их основе государства и отвечающие им религии.

Отличительная черта католической церкви — стремление к универсальности, протестантизма — стремление к индивидуальному, особенному и, наконец, православия — к духу соборности. Ни одна из этих черт сама по себе не вытекает из духа христианского учения как такового, все они — отличительные черты соответствующих народов и цивилизаций: романской, германской и славянской.

Конечно, когда речь идет о влиянии религии на те или иные жизненные явления, процессы, на культуру, было бы ошибочно видеть такое влияние в виде непосредственного преобразования или перехода религиозных догматов или религиозных чувств в те или иные государственные, общественные или экономические институты. Влияние это тоньше, опосредованнее, не всегда явно прослеживаемое, но оно есть, оно ощущается, хотя эти ощущения часто бывает трудно выразить в форме адекватных понятий и мысленных конструкций. Поэтому здесь приходится порой оперировать таким неопределенным термином, как «дух народа». Однако данный термин не столь уж неосязаем и неуловим, как может показаться. Он

ничуть не хуже и не лучше таких сплошь и рядом используемых слов и понятий, как «идея», «судьба», «предназначение», «счастье» и т.д., которые имеются в языке каждого народа, хорошо ощущаются внутренним видением, но не поддаются объяснению на языке понятий. Слова эти — не просто понятия, они суть символы.

Позволю привести тут взгляд Дюркгейма на этот предмет. Он дал, быть может, одну из наиболее развернутых его характеристик.

Коллективным или общим сознанием (или, что то же самое — духом народа) Дюркгейм называет совокупность верований и чувств, общих в среднем членам одного и того же общества, которая образует определенную систему со своей собственной жизнью. Дух этот имеет специфические черты: он не зависит от частных условий, в которых находятся индивиды — они приходят и уходят, дух же остается. Он один и тот же на севере и на юге, в больших городах и маленьких, в различных профессиях. Точно так же он не изменяется с каждым поколением, но, наоборот, связывает между собой их последовательную цепь. Он есть нечто совершенно иное, чем частное сознание, хотя и осуществляется только в индивидах. Он выражает психический тип общества, подобный индивидуальным типам, хотя и в другой форме, и имеющий свой способ развития, свои свойства, свои условия существования⁷⁷.

Особый психический тип свойствен как отдельным обществам, так и целым народам и расам. Свойствен он и славянским народам, а из них в наибольшей степени самому крупному из них — русскому, с присущим ему духом соборности. «Соборность» — явление, мало понятное западным и восточным народам. Она — отличительная черта многих славянских народов, прежде всего русского, и означает в самом общем смысле стремление жить и действовать сообща, общими силами, артельно, согласием. Эта черта определяет и наличие у этих народов сильного чувства государственности. Черта эта проходит красной нитью через всю историю русского народа: мы видим ее в Новгородском вече, во времена Смуты в Земских соборах и в деяниях Минина и Пожарского, в общинном землепользовании, в земствах и, наконец, в такой форме управления, как Советы Народных Депутатов.

Мы также видим, как на ее основе развивался цельный и противоречивый в этой цельности характер народа: его одновременные покорность и бунтарство против всего, что он считал несправедливым; его государственность, его мягкость и жесткость, его особые

вселенские представления и идеалы справедливости; его готовность положить голову «за други своя», приверженность мессианским идеологиям, мистичность и иррациональность, безразличие к рационально-технической стороне жизни...⁷⁸

Особые черты русского народа отмечали многие русские философы и писатели. Бердяев, к примеру, считал, что русскому народу свойственно удивительное сочетание безгосударственности и государственности, духа анархистской вольницы и рабской покорности. Он приходит даже к выводу, что анархизм есть специфическое явление именно русского духа, присущее, хотя и по-разному, и крайне левым и крайне правым, и славянофилам и западникам, и либералам и консерваторам. Анархизмом страдает, по Бердяеву, и вся российская интеллигенция. А в том факте, что самый, по его мнению, безгосударственный, анархический народ создал огромную и могущественную государственность и покорился ей, скрыта великая тайна⁷⁹.

С такой оценкой русского народа трудно, однако, согласиться. То, что было свойственно русской интеллигенции — этому порождению Петровских реформ, в частности анархизм, отнюдь не было свойственно всему русскому народу. Бердяев же переносит особенности во многих отношениях духовно большой части общества на все общество, на весь народ. Мы видим, как начиная с Олега, первых сказаний и первых летописей и кончая сегодняшним днем, сквозь всю российскую историю проходит одно доминирующее стремление — тяга к национальному и государственному единству⁸⁰. Об этом говорит даже легенда о первом акте создания российской государственности — приглашении варягов на княжение в Новгороде. После Ивана Грозного, когда Россия осталась без династии, фактически без власти, собранные в ополчение податные русские мужики реставрируют наследственную царскую власть. Самые страшные народные восстания — Разина и Пугачева — шли под знаменем монархии, притом монархии легитимной. Многочисленные партии Смутного времени выискивали самозванцев, лишь бы придать легитимность своим притязаниям, ибо в противном случае ни одна из них не нашла бы в массе никакой поддержки⁸¹.

Вернее было бы сказать, что русский народ удивительным образом сочетает в себе чувство государственности и аполитичность. Последняя проявляется в том, что он вполне равнодушен к межпартийной борьбе; он не знает, что делать с политическими свободами, когда те ему предоставляются; он остается, как правило, безучастным к самым бурным политическим событиям, если они происходят

не в его «округе», по принципу «моя хата с краю...». В массе своей он питает наивное доверие к власти, чем та обычно бессовестно пользуется.

Легенда об «анархизме» русского народа питает и другую легенду — о свойственном русскому народу «правовом нигилизме». В России действительно не было создано ничего, подобного «Духу законов» Монтескьё, «Общественному договору» Руссо или «Философии права» Гегеля. Но в России значительно раньше этих произведений был создан ряд правовых документов (Судебник 1550 года, Уложение Алексея Михайловича и другие), отразивших в достаточно полной мере правосознание русского народа, основанного на его природе и его понимании справедливости. Он действительно питал (и продолжает питать) органическое отвращение к праву, но к праву рациональному, позитивному, заимствованному у Европы и чуждому всему его духу. Он не верил в возможность справедливо устроить общественно-политическую жизнь на основе юридических норм. В основе правосознания русского народа лежала некая *правда* («правда-матка»), «справедливость для всех», она в значительной мере и определяла его отношение к позитивному праву. Закон для него хорош или плох не сам по себе, а по тому, как он применяется. Отсюда и поговорки: *«Закон что дышло — куда поворотись, туда и вышло»*; *«Закон что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет»*; *«Закон что столб: перепрыгнуть нельзя — обойти можно»* и т.д.

В свою очередь, правосознание русского народа является отражением его народного характера, склонного к поискам некой высшей правды. Всё это тесно взаимосвязано. Что бы ни говорили сегодня об Октябрьской революции 1917 года, но народный дух отразился и в ее особенностях, и в особенностях созданного после нее государства и того «социализма», который начал возводиться в стране после Октября. Россия была страной очень далекой от осуществления социализма в западно-марксистском его понимании, но, быть может, не было страны более подготовленной к религиозно-мистическому, мессианскому восприятию идеи социализма, чем Россия. И она была воспринята именно как идея всеобщей справедливости, уходящая своими корнями в древние пласты российских веков, в темные недра народного духа, изливавшегося время от времени бунтами. Это был *пугачевско-чевенгуровский* социализм с его стремлением к всеобщему равенству, и его идейные начала мы можем легко обнаружить во взглядах как Разина и Пугачева, так и Герцена, Чернышевского, Нечаева, Ткачева и Ленина... Все они, хотя и по-разному, выражали дух и глубинные религиозные основы наро-

да, все они его «герои», несмотря на разделяющие их временные, пространственные и социальные рубежи.

* * *

В первой главе книги приводились слова Достоевского о том, что не существует народа без религии, без своего бога, что всякий народ только до тех пор можно называть народом, пока он имеет *своего бога*, а значит, пока в основе его жизни лежит единая вера, единая религия. И эта религия, эта вера служит фундаментом его этического, правового и, во многом, политического сознания.

«В самом деле, — отмечал и Макиавелли, — ни у одного народа не было никогда учредителя чрезвычайных законов, который не прибежал бы к богу, ибо в противном случае законы их не были бы приняты; ибо много есть благ, познанных человеком рассудительным, которые сами по себе не столь очевидны, чтобы и все прочие люди могли сразу же оценить их достоинства. Вот почему мудрецы, желая устранить подобную трудность, прибегают к богам. Так поступал Солон, и так же поступали многие другие законодатели, преследовавшие те же самые цели, что были у Ликурга и у Солона»⁸².

Еще в большей мере это рассуждение относится к деяниям Моисея, все законы, установления и учреждения которого шли исключительно от имени бога. В то же время эти и многие другие примеры свидетельствуют и о другом: если религия (или идеология) не укоренилась в народе, если ее поддержание зависит только от авторитета одного человека, то с его смертью или гибелью народу также может грозить гибель. В этой связи великий флорентинец предупреждал:

«Подобно тому как соблюдение культа божества является причиной величия государств, точно так же пренебрежение этим культом является причиной их гибели. Ибо там, где отсутствует страх перед богом, неизбежно случается, что царство либо погибнет, либо страх перед государем восполняет в нем недостаток религии. Но поскольку жизнь государей коротка, то и случается, что такое царство существует лишь до тех пор, пока существует доблесть его царя. Вот почему царства, зависящие только от доблести одного человека, недолговечны, ибо доблесть эта исчезает с его смертью и весьма не часто воскресает в его наследниках...»⁸³

Правоту слов Макиавелли можно подтвердить многими примерами из истории. Ближайший к нам по времени пример — быстрое разрушение Советского государства после смерти Сталина, начиная с Хрущева и кончая Горбачевым и Ельциным.

Всем известен афоризм Вольтера, что если бы бога не было, то его следовало бы выдумать. В Новое время функция бога перешла главным образом к идеологиям — этим секуляризованным (светским) религиям. Именно по отношению к ним в большей степени справедливы приведенные выше слова Макиавелли. Продолжительность их существования и влияния на всю жизнь общества связана преимущественно с какой-то личностью: ее смерть или гибель ведет, как правило, и к разрушению идейных основ жизни народа и государства, и часто — к хаосу и анархии. Наше время дает тому особенно много примеров.

Какими бы, однако, ни были конкретные форма и содержание религий (или идеологий), степень их воздействия на государственное устройство того или иного народа, очевидно одно: «Не было создано ни одно Государство без того, чтобы религия не служила ему основой»⁸⁴, без того, чтобы та не одушевляла его в общих и даже частных делах и учреждениях. Религия служит и нравственной основой народа и государства. Не будь ее, считал Ранке, государство «подверглось бы опасности вырождения в авторитаризм и превращения в негибкую и одностороннюю ксенофобию»⁸⁵.

И, наконец, позволю себе закончить рассуждения об индивидуальной, религиозной природе государства словами Гегеля:

«Данная форма государственного устройства может существовать лишь при данной религии, точно так же как в данном государстве могут существовать лишь данная философия и данное искусство»⁸⁶.

Вот эти «данные» религия, философия, искусство, или, одним словом, *культура*, и формируют в совокупности индивидуальность государства. Можно сказать и так: государство — это разум народа; культура — его дух. Вместе они являют единство рационального и иррационального начал, заложенных в человеке и в каждом народе согласно природе. Их гармония свидетельствует о здоровье социального организма; перекос в ту или иную сторону — о болезни. Понятно поэтому, что попытки заменить «данные» религию, философию, искусство другими, заимствованными со стороны, ничего кроме деградации народа и государственности принести не могут. Мы это видим опять же на примере нынешней России.

Нет ничего удивительно, что великие мыслители прошлого — Платон, Аристотель, Спиноза, Руссо, Гегель — считали, что только в государстве индивидuum обладает свободой и делается существом нравственным. Эта мысль — вне постижения тех, чей взгляд на государство примитивен, невежествен и не выходит за пределы отождествления его с ближайшим полицейским участком.

«Естественная ли склонность заставила людей соединиться в общество, или те были вынуждены к этому своими взаимными потребностями, несомненно одно, что именно из этого общества, — отмечает Руссо, — родились их добродетели и пороки, да и всё их моральное естество. Там, где нет общества, не может быть ни справедливости, ни милосердия, ни человеколюбия, ни великодушия, ни скромности, ни, главное, заслуги обладания всеми этими добродетелями...»⁸⁷.

Еще более определенно на сей счет суждение Гегеля:

«Мы признали государство нравственным целым и реальностью свободы, как и объективным единством этих двух моментов. ...Государство есть наличная, действительно нравственная жизнь. Ведь оно есть единство всеобщего, существенного и субъективного хотения, а это и есть нравственность»⁸⁸.

Для антиэтатизма во всех его видах и проявлениях все эти суждения, скорее всего, малоубедительны. Не станем тут вдаваться в дискуссию — вся данная работа, собственно, есть как бы обобщенный аргумент против него. Приведу лишь мнение на этот счет советского философа В.С. Нерсеянца — знатока гегелевской философии.

«Именно тоталитаризм, — пишет он, — а не этатизм, как нередко ошибочно считают, является радикальным отрицанием прав и свобод личности, независимости и самостоятельности гражданского общества, которое в условиях тоталитаризма полностью политизируется и идеологизируется, лишается самостоятельности, разрушается и “поглощается” тоталитарной системой»⁸⁹.

Данное суждение, думается, можно принять в качестве аргумента против плоского антиэтатизма, но отнюдь не как выражение гегелевского представления о сущности государства. Ведь и тоталитаризм, если тот не случайное и кратковременное состояние общества

и государства, есть также отражение индивидуальности народа, его духа и той степени его сознания, свободы (или несвободы) и нравственности, которой он достиг в своем развитии. В этом, в частности, глубокий смысл гегелевского афоризма: «Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно»⁹⁰.

Если отказать в индивидуальности тоталитарной системе там, где она имеет свои основания в бытующей системе ценностей, в представлениях и правосознании соответствующего народа, то с тем же правом мы должны отказать в индивидуальности любому другому типу государственного устройства, а тем самым разрушить всю теорию государства, созданную великими предшественниками. Думается, тут больше прав русский философ С.Л. Франк, утверждавший, что

«всякий строй и всякое движение, как бы нелепы и бессмысленны те кому-то ни казались, сколько бы ни соучаствовало в них насилия, принуждения и сознательной корысти и обмана, в конечном счете всегда опираются на искреннюю и непосредственную веру, являясь обнаружением истинных или ложных по содержанию, но всегда объективных, сверхличных и потому бескорыстных духовных сил»⁹¹.

Мы это видим даже в таких крайних тоталитарных формах, какие представляли собой фашистские режимы. И тут еще раз напомним слова Нибура, что отнюдь не одни лишь возвышенные, но и самые низкие формы человеческих деяний также имеют духовную основу.

Итак, государство как объективная действительность в каждом отдельном случае глубоко индивидуально. Это означает, что оно в своей жизнедеятельности руководствуется своими особыми принципами и не подчиняется никаким внешним по отношению к нему соображениям в осуществлении своих политических интересов. Эти особые принципы есть как бы концентрированный результат всей истории народа, в них выражен характер нации и эпохи, вследствие чего они обретают свое истинное значение, а тем самым и свое историческое оправдание⁹².

Положение о том, что в законах государства отражаются национальный характер данного народа, ступень его исторического развития, естественные условия его жизни, впервые наиболее четко было сформулировано Монтескье в его «Духе законов».

Политические и гражданские законы «должны находиться в таком тесном соответствии со свойствами народа, для которого они установлены, что только в чрезвычайно редких случаях законы одного народа могут оказаться пригодными и для другого народа»⁹³.

Вслед за Монтескьё Руссо также утверждал, что

«кроме правил, общих для всех, каждый народ в себе самом заключает некое начало, которое располагает их особым образом и делает его законы пригодными для него одного»⁹⁴.

Думаю, понятно, что индивидуальность государства выражается не в одних только законах: она формирует и определяет характер всех государственных и общественных учреждений. Отсюда, при формальном сходстве их форм и функций в различных государствах, в каждом из них они имеют свое особое содержание. Вот, кстати, почему заимствование различных учреждений и институтов из других государств и попытка укоренения их на чужой для них почве не только никогда не приносят желаемого результата, но и ведут, как правило, к деградации жизни народа.

«Нам часто советуют взять то или иное учреждение из другой страны, — замечал по этому поводу Ранке. — Но кто может дать гарантию, что у нас оно не превратится в нечто совсем иное? Французы пожелали перенять немецкую систему образования. Эта система, однако, настолько крепко укоренена в потребностях, идеях и развитии немецкой протестантской церкви, она настолько сильно пропитана ее духом, настолько глубоко погружена в него, что, скорее всего, могут быть воспроизведены только общие ее очертания, только бледная копия оригинала».

Да, продолжает он, «можно трансплантировать внешние формы, но тот элемент, в котором содержится их источник, не только их исторические корни, но и тот дух, связывающий прошлое и настоящее и должный одушевить будущее, скопировать невозможно»⁹⁵.

С этим суждением неплохо было бы ознакомиться нынешним российским реформаторам, оголтело подгоняющим всю систему российского образования под западные образцы.

Давно уже стало общим местом утверждение, что каждый народ имеет то государственное устройство, которое в наибольшей мере ему соответствует и подходит. Еще Гегель отмечал, что государственный строй не есть нечто созданное: он представляет собой работу многих веков, идею и сознание разумного в той мере, в какой оно развито в данном народе. Каждое государственное устройство есть продукт и манифестация собственного духа данного народа и ступени развития его сознания. Это развитие требует поступательного движения, в котором ни одна ступень не может быть пропущена. Народ должен чувствовать и понимать, что его государственное устройство соответствует его праву и его сознанию, в противном случае оно хотя и может быть внешне наличным, но не будет иметь ни значения, ни ценности. Да, у отдельного человека может возникнуть потребность в лучшем государственном устройстве и стремление к таковому, но проникнутость всей народной массы подобным представлением есть нечто совершенно иное. Вот почему Гегель называет *нелепостью* попытки навязывать народу учреждения, к которым он не пришел в своем собственном развитии. И наоборот:

«То, что своевременно во внутреннем духе, — отмечает он, — происходит безусловно и необходимо. Государственный строй — дело состояния этого внутреннего духа. Он служит почвой; ни на земле, ни на небесах нет силы, которая могла бы противостоять праву духа»⁹⁶.

И будто вторя Гегелю, ту же мысль, но уже применительно к России, продолжает И.А. Ильин:

«Государственный строй не есть пустая и мертвая “форма”: он связан с жизнью народа, с его природою, климатом, с размерами страны, с ее историческими судьбами и — еще глубже с его характером, с его религиозною верою, с укладом его чувства и воли, с его правосознанием, — словом, с тем, что составляет и определяет его “национальный акт”. Государственный строй есть живой порядок, вырастающий из всех этих данных, по-своему выражающий и отражающий их, приспособленный к ним и неотрывный от них. Это не “одежда”, которую народ может в любой момент сбросить, чтобы надеть другую; это есть скорее органически-прирожденное ему “строение тела”, это его костяк, который несет его мускулы, его органы, его кровообращение и его кожу»⁹⁷.

Только политические верхогляды могут воображать, будто народам можно навязать любое государственное устройство, будто существует единая государственная форма, «лучшая для всех времен и народов». Однако нет ничего опаснее и нелепее стремления навязывать народу государственную форму, не соответствующую его историческому бытию. И тут совершенно бесполезны попытки обмануть природу. Если духовный уклад народа, его нравственные ценности и правосознание, его социальное строение, традиции и история не отвечают тому или иному политическому строю, то вводить его — значит губить этот народ. Нелепо было бы, скажем, предлагать монархический строй Швейцарии или Соединенным Штатам. Но столь же нелепо предлагать, а тем более навязывать демократический строй народу, вся долгая история которого строилась на совершенно иных, даже противоположных основаниях. В этом случае, вне всякого сомнения, демократия выродится или в охлократию (анархическое господство неуправляемой толпы), или в ту или иную форму деспотии.

Коли речь зашла о демократии, следует напомнить, что всякая демократия зиждется на совершенно определенных основаниях. Одно из главных — это чувство государственной ответственности, осознание того, что от политической позиции и поведения каждого человека зависит судьба страны и судьба каждого. Демократия невозможна без свободной приверженности существующим в обществе установлениям и без элементарной дисциплины и честности. Народ, не научившийся уважать закон и добровольно соблюдать его, неспособен уважать ни своего государственного устройства, ни им же самим выработанных законов. Демократия предполагает также наличие у народа государственно-политического кругозора, соответствующего национальным интересам государства, а также известных знаний своей истории, географии, народного хозяйства и самостоятельного суждения о них. Без всего этого народ будет обманут первой же шайкой политических демагогов, под чью власть немедленно и попадет⁹⁸.

Нельзя в этой связи не отметить, что политическое прожектерство, стремление «обмануть природу» и опередить время свойственно, к сожалению, многим государственным деятелям России. Начиная с Петра I и кончая сегодняшним днем, не оставляются попытки навязывать народу чуждые ему в принципе европейские учреждения, чем усугубляется и без того нелегкая его судьба. Примечательную в этом смысле оценку деяниям Петра дает Руссо: она заметно отличается от некоторых оценок отечественных историков, которые часто либо излишне хвалебные, либо излишне критические.

Талант Петра был подражательным, замечает Руссо. «Кое-что из сделанного им было хорошо, большая часть была не к месту. Он понимал, что его народ был диким, но совершенно не понял, что он еще не созрел для уставов гражданского общества. Он хотел сразу просветить и благоустроить свой народ, в то время как его надо было еще приучать к трудностям этого. Он хотел сначала создать немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы создавать русских»⁹⁹.

Руссо, конечно, простительно было не знать, что русские уже «создали» самих себя задолго до Петра всей предшествующей многовековой созидательной работой, и назвать русский народ «диким» можно было только с позиции «*жюневского отшельника*», имевшего самое поверхностное представление об истории русского народа. Но Руссо прав в том отношении, что Петр задался совершенно фантастической идеей сделать из русского человека немца и англичанина. В какой-то мере его деяния прощает то, что он искренне стремился сделать Россию великой и посвятил этой идее всю свою жизнь. Но мы хорошо знаем, как часто государственные мужи исходят в своей деятельности из высоких помыслов и как столь же часто они заканчиваются небывалыми бедствиями для народов и возглавляемых ими государств. Петр ко многому стремился и многое сделал для Российского государства; но своей «реформаторской» деятельностью он в то же время надолго покалечил народное сознание и разобшил единое до него русское гражданское общество, внося в него те семена раздора, которые дали свои конечные плоды в 1917 году и в наши дни.

Как уже отмечалось, действительные политические и экономические формы государства создаются не логическим, а историческим путем. Это же означает, что каждый народ сам, собственным развитием должен прийти к ним. И если этого нет, то не поможет никакое насилие — народ будет так или иначе отторгать от себя эти формы.

История дает нам на сей счет предостаточно убедительных свидетельств. Так, Наполеон, завоевав Испанию, хотел навязать ей новые и, как он считал, более совершенные формы и учреждения государственного устройства. Из его затеи ничего не вышло — народ отверг их сразу же, как только перестало действовать внешнее принуждение. Несмотря на все старания российских реформаторов, не приживаются «заморские» учреждения и на нашей почве: в лучшем случае сохраняется лишь внешняя, «европейская» оболочка учреждений, но

содержание их настолько российское, что нелепость и противостественность такого соединения становится еще более очевидной. В этом смысле глубоко прав Н.Я. Данилевский:

«Величайшие усилия правительства не приводили ровно ни к чему там, где цели его были противны народному убеждению или даже где народ относился к его целям совершенно равнодушно... Пример множества учреждений, реформ, нововведений, оставшихся мертвою буквою, пустою формою без содержания, хотя против них не только не было активного, но даже и пассивного сопротивления, а было только совершенное равнодушие, безучастное к ним отношение, достаточно доказывает это»¹⁰⁰.

Правоту суждения Данилевского подтверждает опять же нынешняя ситуация в России.

* * *

Итак, государство есть имманентная, то есть по природе присущая человеку, форма его общественного бытия. Чтобы нормально существовать, общество должно иметь какую-то форму своей организации. Такой формой изначально является государство.

В то же время всякое конкретное государство уникально. Если между государствами и существует сходство, то оно сугубо формальное. Каждому государству присущи свои особенности, которые делают его не подразрядом общих категорий, а *индивидуальностью*, уникальной самостью. Государства в этом отношении подобны людям. Как представителям определенного биологического вида (*Homo sapiens*), им присущи многие общие черты. Однако характер, особенности отдельного индивида создают бесчисленное число модификаций. Вот почему знание общих форм, общих черт не дает знания индивидуальных особенностей как отдельных людей, так и государств — каждый из них есть неповторимая индивидуальность.

Как индивидуальность, государство представляет собой единство материи и духа, единство силы и идеи. Государство без силы — это нонсенс, это *contradictio in adjecto**; в определенном смысле оба эти понятия синонимичны. Силу, однако, не следует здесь понимать как голое принуждение: она понимается как выражение, как концентрация силы коллективного сознания.

* Противоречие в определении (*лат.*).

Государство без некоей общей, высшей идеи — лишь некоторое множество людей и институтов, не имеющее органического единства и держащееся только голой силой. Без такой идеи нет народа, нет нации, а есть, говоря словами Г.П. Федотова, человеческое месиво, глина, из которой можно лепить всё, что угодно¹⁰¹.

«Если принципы правления разложились, — отмечал и Монтескьё, — самые лучшие законы становятся дурными и обращаются против государства; когда же принципы здравы, то и дурные законы производят такие же последствия, как и хорошие; сила принципа всё себе покоряет»¹⁰².

В этом единстве идеи и силы приоритет принадлежит идее; сила всегда, в конечном счете, есть лишь средство ее реализации.

Наконец, государство и без силы, и без идеи — вообще не государство, а «война всех против всех», перманентная гражданская война... И это самое страшное, что может постигнуть народ, страну, государство.

Примечания

¹ *Даль Вл.* Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1956. Т. III. С. 261.

² *Аристотель.* Политика. Кн. первая, I (1) // Аристотель. Соч. В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 376.

³ Аристотель косвенно утверждает это и в своей «Никомаховой этике».

«Наука о государстве, — пишет он, — пользуется остальными науками как средствами.., ее цель включает, видимо, цели других наук, а, следовательно, эта цель и будет высшим благом для людей...» (*Аристотель.* Никомахова этика. Кн. первая, I (II) // Там же. С. 55).

⁴ См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 1. С. 360.

⁵ *Вебер М.* Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избр. произв. М., 1990. С. 646.

⁶ *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 33. С. 340.

⁷ См.: *Дюркгейм Э.* Метод социологии // Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С. 412–421.

⁸ Алексис де Токвиль следующим образом изображает отличие публично принудительной силы политики в современных демократиях по сравнению с прошлыми деспотиями. Деспотии, желая поразить душу, истязали тело, но душа ускользала от этих мучений и торжествовала над телом. Тирания же демократических республик действует иначе. Ее не интересует тело, она обращается прямо к душе. Повелитель не говорит больше: «Ты будешь думать, как я, или умрешь». Он говорит:

«Ты можешь не разделять моих мыслей, ты сохранишь свою жизнь и имущество, но отныне ты — чужак среди нас. За тобой останутся гражданские права, но они станут для тебя бесполезными. Если ты захочешь быть избранным своими согражданами, они тебе в этом откажут; если ты будешь добиваться их уважения, они сделают вид, что ты его не заслуживаешь. Ты останешься среди людей, но потеряешь право общаться с ними. И когда ты захочешь сблизиться с себе подобными, они будут избегать тебя как нечистого существа. Даже те, кто верит в твою невиновность, даже они отвернутся от тебя, так как в противном случае их постигла бы та же участь. Иди с миром, я сохраняю тебе жизнь, но она будет мучительнее, чем смерть» (Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. С. 200).

⁹ Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 91–94, 161–162.

¹⁰ Цит. по: *Meinecke F. Machiavellism. The Doctrine of Raison d'Etat and Its Place in Modern History.* Westview Press, Boulder, 1984. P. 166.

¹¹ Аристотель. Политика. Кн. первая, I (9) // Аристотель. Соч. Т. 4. С. 378–379.

¹² Гегель. Философия права. М., 1990. С. 70–71.

¹³ См.: там же. С. 71–72.

¹⁴ Аристотель. Политика. Кн. первая, I (8) // Аристотель. Соч. Т. 4. С. 378.

¹⁵ Спиноза Б. Политический трактат // Спиноза Б. Избр. произв. В 2 т. М., 1957. Т. 2. С. 290, 296, 298.

¹⁶ Идея образования государства на основе общественного договора, то есть на взаимном согласии людей, была широко распространена уже в античности у досократиков — атомистов и софистов. В платоновском «Государстве» Сократ, кстати, ссылается на нее (см.: Платон. Государство. Кн. вторая).

¹⁷ Гоббс Т. Левиафан. М., 1936. С. 115.

¹⁸ Монтескьё Ш. О духе законов // Монтескьё Ш. Избр. произв. М., 1955. С. 166–167. Аналогичную точку зрения см.: Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении неравенства // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 71–72, 81, 99–104.

¹⁹ Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Там же. С. 160.

²⁰ Там же.

²¹ См.: там же. С. 152.

²² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 169–170.

²³ См.: там же. С. 173.

²⁴ Карсавин Л.П. Государство и кризис демократии // Новый мир. 1990. № 1. С. 185.

²⁵ См.: Hayes Carlton J.H. The Historical Evolution of Modern Nationalism. N.Y., 1931. P. 90–91.

²⁶ Гегель. Философия истории // Гегель. Соч. М.-Л., 1935. Т. VIII. С. 39–40.

²⁷ Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С. 191.

²⁸ См.: там же. С. 495.

²⁹ Эту мысль находим и у Аристотеля в его «Политике». Он пишет: «Только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т.п. А совокупность всего этого и создает основу семьи и государства» (Аристотель. Политика. Кн. первая, I (11) // Аристотель. Соч. Т. 4. С. 379).

³⁰ Спиноза Б. Политический трактат // Спиноза Б. Избр. произв. Т. 2. С. 297, 299.

³¹ Гоббс Т. Левиафан. С. 116.

³² См.: Карсавин Л.П. Жозеф де Местр // Вопросы философии. 1989. № 2. С. 109.

³³ Гегель. Философия права. С. 278.

³⁴ *Аристотель*. Политика. Кн. первая, I (12) // Аристотель. Соч. Т. 4. С. 379.

³⁵ *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда. С. 261.

³⁶ *Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 167–168.

³⁷ См.: *Osgood R.* Ideals and Self-Interest in America's Foreign Relations. Chicago, 1953. P.11.

³⁸ См.: *ibidem*.

³⁹ *Руссо Ж.-Ж.* Трактаты. С. 635.

⁴⁰ *Гегель*. Философия истории. С. 50, 24.

⁴¹ См.: *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда. С. 186.

⁴² Цит. по: *Meinecke F.* Machiavellism. P. 59.

⁴³ *Гегель*. Философия права. С. 316.

⁴⁴ Там же. С. 317.

⁴⁵ *Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре. С. 171, 173.

⁴⁶ Там же. С. 164.

⁴⁷ *Гегель*. Политические произведения. М., 1978. С. 152.

⁴⁸ Там же С. 153.

⁴⁹ См.: *Meinecke F.* Machiavellism. P. 380.

⁵⁰ *Гегель*. Политические произведения. С. 152

⁵¹ Там же. С. 75, 76.

⁵² Там же. С. 72.

⁵³ Там же. С. 176.

⁵⁴ *Макиавелли Н.* Государь // Макиавелли Н. Избр. произв. М., 1982. С. 316–317.

⁵⁵ *Вебер М.* Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избр. произв. С. 645.

⁵⁶ *Вебер М.* Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избр. произв. С. 318–319. Ближкое к веберовскому определению находим у одного из современных американских политологов Кеннета Уолтца. «Эффективное правительство, — пишет он, — обладает монополией на легитимное применение силы; и термин «легитимное» означает здесь то, что государственные исполнительные органы должны предотвращать частное применение силы. Поэтому гражданам не нужно готовиться к собственной защите — этим занимается государство» (см.: *Neorealism and Its Critics* / Ed. by Robert O. Keohane. Columbia Univ. Press, N.Y., 1986. P. 100).

⁵⁷ *Столыпин П.А.* Нам нужна великая Россия. Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном Совете. М., 1991. С. 74–75.

⁵⁸ Цит. по: *Meinecke F.* Machiavellism. P. 385.

⁵⁹ См.: *Вебер М.* Политика как произведение и профессия // Вебер М. Избр. произв. С. 645.

⁶⁰ *Руссо Ж.-Ж.* Суждение о вечном Мире // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 150.

⁶¹ *Спиноза Б.* Богословско-политический трактат // Спиноза Б. Избр. произв. Т. 2. С. 79.

⁶² Цит. по: *Holmes R.* On War and Morality. Princeton, N.J., 1989. P. 27.

⁶³ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 111–112.

⁶⁴ См.: *Гегель*. Философия истории. С. 348.

⁶⁵ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 14. С. 232.

⁶⁶ *Спиноза Б.* Богословско-политический трактат. С. 250.

⁶⁷ *Гегель*. Философия права. С. 284–285.

⁶⁸ См.: *Meinecke F.* Machiavellism. P. XXXII.

- ⁶⁹ См.: *Гегель*. Философия истории. С. 45.
- ⁷⁰ *Достоевский Ф.М.* Записки из подполья // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 116–117, 188–119.
- ⁷¹ *Ranke L. von.* The Theory and Practice of History. P. 118–199.
- ⁷² *Леонтьев К.* Цветущая сложность (избранные статьи). М., 1992. С. 77, 81.
- ⁷³ См.: *Toynbee Arnold J.A* Study of History. Vol. I. P.183.
- ⁷⁴ *Гегель*. Философия истории. С. 49.
- ⁷⁵ См.: *Розанов В.* О легенде «Великий Инквизитор» Ф.М. Достоевского. Спб., 1906. С. 195–196.
- ⁷⁶ См.: *Гумилев Л.Н.* Древняя Русь и Великая степь. М., 1992. С. 553.
- ⁷⁷ См.: *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда. С. 80.
- ⁷⁸ Если русскому человеку дать наставления Бенджамина Франклина, приводимые Вебером в его работе «Протестантская этика и дух капитализма» как образец расчетливой бережливости, тот, скорее всего, усмотрел бы в них «немецкое» крохоборство. Зато ему близок и понятен русский купец, способный швырнуть «миллион» в огонь или раздать его нищим, если его «припекло».
- Приведу в этой связи суждение Л. Гумилева: «Этика, базировавшаяся на капиталистических общественных отношениях, — пишет он, — была несимпатична ни русским, ни татарам, ни византийским грекам. Экономические интересы, господствовавшие в условиях зародившейся в романо-германской Западной Европе формации, были им непонятны, проявления их вызывали отвращение» (*Гумилев Л.Н.* Древняя Русь и Великая степь. С. 576–577).
- ⁷⁹ См.: *Бердяев Н.* Судьба России. М., 1990. С. 11–14.
- ⁸⁰ См.: *Солоневич И.Л.* Народная монархия. М., 1991. С. 310.
- ⁸¹ См.: там же. С. 192.
- ⁸² *Макиавелли Н.* Государь // Макиавелли Н. Избр. произв. С. 406.
- ⁸³ Там же. С. 407.
- ⁸⁴ *Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре. С. 250.
- ⁸⁵ Цит. по: *Meinecke F.* Machiavellism. P. 389–390.
- ⁸⁶ *Гегель*. Философия истории. С. 51.
- ⁸⁷ *Руссо Ж.-Ж.* Фрагменты и наброски // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 443.
- ⁸⁸ *Гегель*. Философия истории. С. 37, 74; а также: *Гегель*. Философия права. С. 286, 291 и др.
- ⁸⁹ *Нерсесянц В.С.* «Философия права»: история и современность // Гегель. Философия права. С. 31.
- ⁹⁰ *Гегель*. Философия права. С. 53.
- ⁹¹ *Франк С.Л.* Из размышлений о русской революции // Новый мир. 1990. № 4. С. 218.
- ⁹² См.: *Гегель*. Философия права. С. 62.
- ⁹³ *Монтескье Ш.* О духе законов. С. 168
- ⁹⁴ *Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре. С. 189.
- ⁹⁵ *Ranke L. von.* The Theory and Practice of History. P. 110, 111.
- ⁹⁶ *Гегель*. Философия права. С. 315, 383, 469.
- ⁹⁷ *Ильин И.А.* Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. В 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 194.
- ⁹⁸ См.: там же. С. 138–139.
- ⁹⁹ *Руссо Ж.Ж.* Об общественном договоре. С. 183.
- ¹⁰⁰ *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. С. 195.

¹⁰¹ Федотов Г.П. О национальном покаянии // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2 т. СПб., 1991. Т. 1. С. 43.

¹⁰² Монтескьё Ш. О духе законов. С. 260.

Глава III

ПОЛИТИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ

О критериях нравственности политики

Важность данной темы для более глубокого понимания феномена политики не вызывает сомнений; недостаточная ее разработанность, в общем, тоже. В отечественной литературе, насколько мне известно, пока нет серьезных работ на эту тему. В зарубежной, особенно американской, политологической литературе связи политики и морали* отводится большее место; но и там мы видим отсутствие четких концептуальных положений или того, что Вебер называл «идеальным типом». Встречаются отдельные, порой глубокие и обоснованные суждения — и к ним я буду неоднократно апеллировать, — но целостного, обобщенного видения проблемы нет и там. Многие рассуждения на эту тему склоняются к морализированию по поводу политики, на которое особенно падки американские исследователи школы «политического идеализма».

Между тем раздаются бесконечные заклинания, притом со стороны самых ответственных политических и государственных деятелей, что политика должна быть нравственной. Можно побиться об заклад, что, если спросить любого такого «заклинателя» и горячего сторонника моральности политики, что означает словосочетание «нравственная политика» и каковы те принципы, коих она должна держаться, чтобы быть моральной, вряд ли мы получим вразумительный ответ. Сошлутся непременно на общечеловеческие ценности,

* В данном контексте понятия «нравственность» и «мораль» используются как взаимозаменяемые, хотя они имеют несколько разное содержание: под нравственностью понимается главным образом нравственность общественная, под моралью — преимущественно индивидуальная, которые далеко не всегда совпадают. Для наших целей, однако, эта тонкость в различии терминов не имеет принципиального значения. Каким бы из них ни пользоваться, в поле основного внимания автора — нравственность общественная, имеющая самое прямое отношение к политике.

не без труда припомнят две-три из десяти заповедей, вроде: не убий, не укради, не прелюбодействуй, к политике, как мы увидим, в общем-то, не имеющих прямого отношения, и это, наверное, всё.

Когда мне доводилось читать лекцию на данную тему, обычно я предлагал аудитории для размышления три тезиса: (1) политика и нравственность несовместимы; (2) политика может быть нравственной или не нравственной в зависимости от обстоятельств; и, наконец, (3) политика нравственна всегда.

Легко догадаться, что большинство склонялось к «золотой середине», то есть ко второму тезису. Некоторые, исходя, вероятно, из ходячего выражения: «Политика — дело грязное», придерживались первого тезиса; третий тезис оставался неизменно сиротой.

Дело, однако, и в самом деле не так просто, как может показаться на первый взгляд, и «золотая середина» не всегда выручает. Впрочем, аналогичное распределение симпатий можно встретить отнюдь не только в студенческой среде, но и среди достаточно маститых ученых. Как-то уже давно, в одном из номеров журнала «Коммунист» за 1990 год, я обнаружил материалы дискуссии прямо по теме: «Мораль и политика». В этих материалах распределение симпатий было близко к описанному выше. Приведу лишь одно весьма типичное суждение:

«Мораль и политика, — утверждал один из участников дискуссии, — отталкивают друг друга, сколько бы мы их ни смешивали, они несовместимы как вода и масло»¹.

Другая крайность в трактовке связи политики и нравственности находит выражение в полном отождествлении нравственности с политическими требованиями и целями того или иного класса или социальной группы. Так, Троцкий в одной из своих статей писал:

Дозволено, а значит, нравственно, всё то, «что действительно ведет к освобождению человечества». «Так как достигнуть этой цели можно только революционным путем, — продолжает он, — то освободительная мораль пролетариата имеет, по необходимости, революционный характер». Мораль эта, по Троцкому, выводит правила поведения из законов развития общества, прежде всего, из классово-вой борьбы, — этого, как отмечает он, «закона всех законов»².

В данном случае мы имеем дело с типичной претензией на абсолютное понимание нравственности, с каковой во все времена высту-

пали крупные религии и идеологии. Однако, чтобы по возможности придерживаться научного подхода, а не просто веры в истинность тех или иных систем нравственности, необходим, как очевидно, некий критерий, позволяющий оценивать нравственные качества политики.

Как минимум, нужно более или менее ясно представлять себе, *какие именно* нормы нравственности следует брать на вооружение для оценки того, нравственна политика или нет. Тут-то и начинаются трудности. Опыт показывает, что не только люди далекие от политики и политической науки, но и весьма искушенные в ней обычно применяют к оценке ее нравственности либо критерии абсолютной нравственности, либо критерии, используемые при оценке нравственного поведения индивидов. Вот на основании такого рода критериев и делаются выводы о нравственности или не нравственности политики. Приведенное выше суждение о несовместности политики и нравственности весьма типично в этом отношении.

Можно назвать немало видных теоретиков и государственных деятелей, вполне искренне считающих, что судить о государстве и политике следует на основе принципов индивидуальной морали. Наиболее полно взгляд этот нашел свое выражение в ставших почти хрестоматийными словах президента США Вудро Вильсона, произнесенных им в 1917 году в обращении к Конгрессу по поводу объявления войны.

«Мы находимся в начале той эпохи, — говорил он, — когда настоятельной становится потребность в том, чтобы те же нормы поведения и ответственности за причиненное зло, которыми руководствуются отдельные граждане цивилизованных государств, были взяты на вооружение государствами и их правительствами»³.

Справедливости ради надо заметить, что Вильсон был отнюдь не первым, кто придерживался такого взгляда, и что за пятьдесят лет до него аналогичная мысль была высказана Марксом в «Учредительном Манифесте Международного Товарищества Рабочих», ставившего одной из своих задач «добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами»⁴.

Близкие взгляды (по крайней мере, по своему духу и направленности) можно найти у известного русского философа Владимира Соловьева. В своей работе «Национальный вопрос в России» он считал

недопустимым отделение политики от нравственности, поскольку, по его мнению, это мешает прилагать к ней высшие требования личной жизни. Нравственный же закон, по Соловьеву, один для всех — и для индивидуума, и для народа в целом.

«Здравая политика, — пишет он, — есть лишь искусство наилучшим образом осуществлять нравственные цели в делах народных и международных. Поэтому руководящим мотивом политики должны быть не корысть и не самолюбие национальное, а долг и обязанность»⁵.

Суть этих нравственных политических целей видится им в следующем:

«С точки зрения национального эгоизма, донныне господствующего в политике, каждый народ есть особое, довлеющее себе целое, и свой интерес есть для него высший закон. Нравственный долг требует от народа, прежде всего, чтобы он *отрекся* от этого национального эгоизма, преодолел свою природную ограниченность, вышел из своего обособления. Народ должен признать себя тем, чем он есть поистине, то есть лишь частью вселенского целого; он должен признать свою солидарность со всеми другими живыми частями этого целого — солидарность в высших человеческих интересах — и служить не себе, а этим интересам в меру своих национальных сил и сообразно своим национальным качествам»⁶.

И, наконец, обращаясь к России, он как бы замыкает на ней высказанные выше мысли:

«Высшие нравственные соображения и идеал русского народа, как и ближайшие нужды нашей политики, побуждают нас *отказаться от народного обособления и эгоизма, совершить акт национального самоотречения*». Россия обладает великими и самобытными духовными силами, но для проявления их ей, во всяком случае, нужно принять и детально усвоить те *общечеловеческие формы жизни и знания, которые выработаны Западной Европой*. Наша внеевропейская или противоевропейская преднамеренная и искусственная самобытность всегда была и есть лишь пустая претензия; отречься от нее есть первое и необходимое условие всякого успеха». А потому, по мнению Соловьева, «достойное существование России невозможно, пока та пребывает в языческом обособлении и замкнутости, пока

она не считает себя частью единого человечества, пока она находится вне всемирно-исторической судьбы»⁷ (курсив мой. — Э.П.).

Ничего не скажешь: в наше время Соловьеву с его суждениями и выводами цены бы не было, особенно среди нынешних либералов. В этом отрывке мы видим своего рода позитивно-нормативное продолжение того негативизма по отношению к роли и месту России в мире, начала которого были заложены еще Чаадаевым. Тут можно найти всё: и необходимость прилагать к международным отношениям индивидуальные нравственные нормы, и приоритет общечеловеческих ценностей над национальными, и призывы к самоотречению России, и требование отбросить «ложную», «искусственную» самобытность и «стать» Европой...

О неосновательности, иллюзорности и, более того, вредности идеи национального самоотречения и европеизации России еще будет сказано. Замечу в этой связи одно: Соловьеву, думается, явно изменило его философское, политическое и гражданское чувство, что не замедлило сказаться на всей логике его рассуждений и на том противоречии, в какое он вошел с самим же собой. Признание им России как единой, независимой и великой державы явно противоречит тезису о пребывании ее в языческом обособлении, тем более, что та находится вне «всемирно-исторической судьбы». Никакая великая держава уже по определению не может быть *вне* всемирно-исторической судьбы. Всемирно-историческая судьба, если уж применять это понятие, не есть нечто трансцендентное, выходящее за пределы материального мира. Так же совершенно ошибочно было бы сводить ее к судьбе западнористовской модели цивилизации. Она строится из судеб отдельных цивилизаций, народов и государств, каждое из которых уникально и индивидуально. Те же Франция, Англия или Германия суть неотъемлемые компоненты этой «всемирно-исторической судьбы» только потому, что они именно *Франция, Англия, Германия*, то есть «язычески обособленны», или, иными словами, самобытны, индивидуальны и через эту самобытность — общечеловечны.

Но то же относится и к России. И если говорить о ее нравственном долге, то он состоит в том, чтобы остаться Россией, а не превратиться в нечто подражательное, расплывчато неопределенное, лишенное индивидуальных особенностей, а тем самым зависимое от кого-то или чего-то.

Нигде и ни в какие времена не считался нравственным отказ от своей почвы, от своих корней, своей природы, шла ли речь об от-

дельном человеке или о государстве, но совершенно наоборот. Тут мы согласимся не с Соловьевым, а с Дюркгеймом.

«Каждый народ имеет свою нравственность, определяемую условиями, в которых он живет, — отмечал он. — Невозможно поэтому навязывать ему другую нравственность — как бы высока та ни была, — не дезорганизуя его...»⁸

В этих словах уже отчасти заложен тот критерий, который мы ищем, — критерий, позволяющий судить о нравственности политики. Мы сталкиваемся с ним и в следующем утверждении Ницше:

«Народ идет к гибели, — писал тот, — если он смешивает свой долг с понятием долга вообще. Ничто не разрушает так глубоко, так захватывающе, как всякий “безличный” долг, всякая жертва молоху абстракции»⁹.

Вот это смешение своего долга, своего интереса с обезличенным, отвлеченным долгом и интересом вообще нашло свое полное выражение в понятии так называемых «общечеловеческих ценностей», ради которых Россия и должна, по Соловьеву, отказаться от самой себя.

Троцкий в общем был прав, называя общечеловеческий здравый смысл, включающий, разумеется, и какие-то «общечеловеческие» нравственные нормы, «низшей формой интеллекта» и нравственного сознания, основной капитал которого состоит из элементарных выводов общечеловеческого опыта: не класть пальцы в огонь, не дразнить злых собак, не наступать на грабли, не плевать в колодец и т.д. и который, по его словам, достаточен, чтобы торговать, писать статьи, руководить профессиональным союзом, голосовать в парламенте, заводить семью, рожать детей...

Но когда тот же «общечеловеческий» здравый смысл пытаются перенести в сферу политической борьбы, тот сразу же обнаруживает себя лишь как сгусток предрассудков определенного класса, определенных государств, определенных личностей и определенной эпохи¹⁰.

Тут естественно возникает простой и в то же время принципиальный вопрос: правомерно ли вообще распространять «простые законы нравственности и справедливости», которыми руководствуются индивиды, на государства, на их интересы, взаимоотношения между ними, а тем самым и на политику?

Не получив на него более или менее вразумительного ответа, вряд ли мы сумеем продвинуться и в решении всей затронутой проблемы.

Начнем с того, что когда речь идет о соотношении политики и нравственности, то под политикой имеется в виду не политика в ее обыденно-житейском понимании, а политика в понимании научном, как она определена Аристотелем и другими мыслителями. В обыденно-житейском смысле политика уже как бы по определению есть нечто несовместное с нравственностью, если и не прямо, то, по крайней мере, косвенно. В большинстве случаев, когда идет речь о соотношении политики и нравственности, когда политику призывают (обычно тщетно) быть нравственной, то имеется в виду нравственность именно в ее банальном житейском значении и понимании. Тут проблем нет, тут всегда прав «учитель гимназии», для которого деятельность Цезаря, Ришельё, Наполеона, Бисмарка, Ленина, Сталина и других выдающихся государственных и политических деятелей безнравственна по одной лишь той причине, что та связана с насилием, принуждением и т.д.

Уже из самой постановки вопроса о том, что политика государств должна следовать «простым законам нравственности и справедливости», естественно предположить, что существуют некие универсальные моральные нормы, которыми руководствуются в своих взаимоотношениях частные лица, но не руководствуются государства. Задача, стало быть, состоит в том, чтобы побудить также и государства следовать тем же общепринятым нормам и законам, и тем самым сделать их деятельность нравственной.

Попробуем прежде ответить на вопрос: а существуют ли в самом деле такие *общепринятые* простые нравственные законы? Послушаем для начала, что думает по этому поводу М. Вебер, уделивший немало внимания проблеме отношения этики и политики.

«Разве есть правда в том, — спрашивает он, — что хоть какой-нибудь этикой в мире могли быть выдвинуты содержательно тождественные заповеди применительно к эротическим и деловым, семейным и служебным отношениям, отношениям к жене, женщине, сыну, конкурентам, другу, подсудимым?» Тем более к политике, которая «оперирует при помощи весьма специфического средства — власти, за которой стоит насилие?»¹¹

Не требуется, видимо, специальных изысканий, чтобы получить ответ на поставленный вопрос. Он вполне очевиден: *такой общей, универсальной этики нет и быть не может*. Вот что, к примеру, пишет по этому поводу Ф. Энгельс в своей работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»:

«Каждый класс и даже каждая профессия имеет *собственную мораль*, которую они притом же нарушают всякий раз, когда могут сделать это безнаказанно»¹².

Но и это еще не всё: если нет оснований говорить об универсальной этике в рамках даже одного общества, то тем более их нет при сравнении этических систем разных обществ — каждая из них уникальна, и в основе каждой лежит своя особая культура со своими нравственными нормами. Вот почему можно еще раз сказать, что *всякая нравственность истинна (а следовательно, и общезначима) только в собственном социо-культурном ареале и ложна (не обязательна) за его пределами*.

В приведенных мнениях нет, собственно, ничего нового и оригинального, чего не было бы известно во все времена. Но странная вещь: как только речь заходит о политике, немедленно всплывают некие универсальные этические нормы, коим политика должна якобы непременно следовать, чтобы быть нравственной. Но если те и в самом деле существуют, то каковы же они?

Впрочем, напрасно было бы ожидать вразумительного ответа на этот вопрос. Обычно в таких случаях охотно сошлются на ветхозаветные десять заповедей или поучения Нагорной проповеди, содержащие будто бы эти самые универсальные и общезначимые моральные нормы. Делается это, однако, чаще всего по незнанию тех и других. Не поленимся кратко перечислить десять ветхозаветных заповедей, чтобы не заставлять читателя лишний раз лезть в Библию. Вот они:

Служи одному лишь Господу Богу, не сотвори себе кумира, не произноси имя Господа всуе, соблюдай день субботний, почитай отца и мать своих, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не желай жены и дома ближнего своего.

Десять заповедей — это практические предписания *еврейскому народу*, притом в тот сложный для него период его истории, когда стоял вопрос о физическом его выживании и когда лишь системой жестких норм поведения и наказаний за их нарушение можно было сохранить народ как единое целое, как историческую индивидуальность. В узком историческом смысле и в соответствующем социокультурном ареале они были глубоко нравственны, но абсурдно расценивать их как общечеловеческие нормы, годные всем временам и народам. Ведь даже такое предписание, как «*не убий*»,

относилось *исключительно* к ближнему, то есть к еврею, но уже не распространялось на чужих, и вся библейская история ярко это подтверждает.

Иное дело Нагорная проповедь, с ней дело обстоит сложнее. Она представляет уже в некотором роде абсолютную этику, либо претендует на таковую.

Механически переносить ее нормы на практическую политику, по меньшей мере, несерьезно, если не сказать резко. Ее общий смысл таков: всё или ничего. *«Не клянись вовсе»*, наставляет она, *«любите врагов ваших»*, *«не противься злumu»*, *«кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду»* и т.д.

Моральные заповеди Нагорной проповеди требуют от человека почти полного отвлечения от собственной личности. Но, как отмечает М. Вебер,

«следует быть святым во всем, хотя бы по намерениям, следует жить как Иисус, апостолы, святой Франциск и ему подобные, тогда данная этика имеет смысл, тогда она является выражением некоего достоинства. В противном случае — нет»¹³.

Пока мы живем в мире, весьма далеком от совершенства; и в этом мире,

«когда бьют по одной щеке (ведь бьют же!), подставлять другую — значит придерживаться “этики отсутствия достоинства”, чего, как известно, никто не позволяет в сфере житейской, ну а в сфере политики — тем более»¹⁴.

Как бы то ни было, неизбежное стремление человеческого разума к абсолютам во все времена подвигало его (хотя и тщетно!) к выработке некой универсальной, а значит, абсолютной этической нормы, пригодной для всех.

В этике известно так называемое *«золотое правило»*. В устах Христа оно звучит следующим образом: *«И так, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки»* (Евангелие от Матфея, 7:12). То же этическое требование, только в иных словах выражено в «категорическом императиве» Канта:

«Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом».

Или в другом варианте:

«Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству»¹⁵.

Реальная жизнь, однако, не согласуется ни с одной абсолютной этической нормой, из чьих бы уст она ни исходила. Прав был Шопенгауэр, квалифицируя такие этические правила, как

«по большей части недосказанные, произвольно взятые утверждения и вместе с тем, как искусственные изощрения, требующие тончайших различений и основанные на самых абстрактных понятиях, трудные комбинации, эвристические правила, положения, балансирующие на острие, и ходульные мысли, с высоты которых нельзя уже более видеть действительной жизни с ее суетолокой»¹⁶.

Мало того, за всеми рассуждениями о существовании неких универсальных этических норм обычно скрывается притязание различных моральных систем на общезначимость. В наибольшей степени это присуще западноевропейской этике, изначально стремившейся к единообразию в понимании нравственности и силой навязывавшей ее другим.

«В этическом начале Запада, — пишет по этому поводу Шпенглер, — всё сводится к притязанию на власть, намеренному воздействию на расстоянии. В этом пункте полностью сходятся Лютер и Ницше, папы и дарвинисты, социалисты и иезуиты. Их мораль выступает с претензией на всеобщее и вечное значение»¹⁷.

Взять ту же кантовскую максиму: в ней как в капле воды отражена суть западноевропейского подхода ко всем социальным проблемам, а именно: то, что считается приемлемым для западноевропейца и его культуры, то должно быть приемлемо и для всех остальных культур. Можно подумать, что Канту в голову не приходила мысль, что на Земле существуют иные нравственные критерии, иные системы ценностей. Но даже применительно к западноевропейской

системе ценностей кантовский «категорический императив» представлял собой странный курьез, мало, если вообще согласующийся с реальной жизнью. В самом деле, в обществе, построенном на интересе, каждый, относясь к другому *как к цели*, тем самым неизбежно превращал бы *в средство* самого себя и наоборот. Однако в истории человеческих цивилизаций при всем желании нельзя обнаружить время, когда человек рассматривался бы как цель. С самого начала, если судить по существующим источникам, целью было общество в целом. Если бы это было не так, нам не пришлось бы заниматься сегодня проблемой политической нравственности. Человеческая же личность издревле служит средством и непрестанно приносится в жертву различным политическим, социальным, экономическим и прочим общим интересам, но всегда, разумеется, во имя и во благо той же личности (последнее иногда получалось, чаще же — нет). Если брать только физиологическую и рациональную природу человека, то, несмотря на все заклинания философов, политиков и моралистов, ничто не может помешать (и никогда не мешало!) использованию человека как средства.

Вот почему в любой рационально-материальной схеме человеческого счастья, будь то коммунизм или социализм, либеральная демократия или что-то другое в том же роде, несмотря на провозглашаемые лозунги типа: «Всё для человека, всё во имя человека!», человек всегда служит средством. В качестве же цели остаются государственные и общественные учреждения и институты, промышленность, наука и техника и всё, что угодно, но только не отдельная человеческая личность. Та всегда — средство, и остается средством во всех попытках политического «освобождения человечества». Как правило, их следствием было — и мы это хорошо знаем из всей прошлой и настоящей истории — еще большее закабаление личности (если не политическое, то экономическое, если не последнее, то первое).

В политической экономии личность также исчезает: там она — рабочая сила, ее можно купить как товар. В праве, если подходить строго, личность тоже не более чем фикция. Право чаще всего закрепляет существующие в обществе неравенство и несправедливость. Но коли всё это так, то возможно ли в принципе, по самой сути вещей, чтобы человек был не средством, а целью?

Я отвечаю на этот вопрос отрицательно: *нет, невозможно*. Невозможно хотя бы по той причине, что человек по природе своей есть существо общественное, и всегда благо общества, как бы оно ни трактовалось, будет оставаться приоритетной целью, человек же — средством ее реализации.

Всякая же попытка выработать универсальные, общечеловеческие нравственные принципы равнозначна попытке определить, что есть добро и что есть зло для всех людей, для всех народов и на все времена. «Мораль есть продукт общественного развития», — утверждал марксист Троцкий, и с этим трудно спорить¹⁸. Тем более таким продуктом является мораль общественная. В ней же нет ничего неизменного, вечного и общезначимого: она служит общественным интересам, а те в глубинной своей основе имеют ценностный характер. Общественные ценности, как мы хорошо знаем, периодически подвергаются изменениям, порой даже коренным.

Американский философ Джон Дьюи верно отмечал, что добро вообще, как и зло вообще, — это абстракции. Однако то и другое всегда конкретно, а потому решение этических проблем имеет по необходимости *конкретно-ситуационный характер*, то есть зависит от конкретных обстоятельств, от конкретно-ценностного понимания добра и зла и форм их выражения в конкретном времени и пространстве. Точка зрения Дьюи может показаться излишне релятивистской, но мы видим, как в жизни добро постоянно соседствует со злом и происходит нескончаемый круговорот и переход одного в другое, когда порой невозможно отделить добро от зла.

«Если с помощью жестоких мер, — замечает американский политолог Кеннет Уолтц, — возводятся и содержатся в порядке защитные дамбы и насыпи, то жестокость есть великое благо; если же действием добродетели они разрушаются, то тогда добродетель делается величайшим злом»¹⁹.

По аналогии можно добавить: когда в государстве жесткими мерами поддерживается порядок и безопасность граждан, эти меры — благо; когда же делами добродетели в государстве развивается анархия или ставится под угрозу безопасность граждан, то добродетель есть несомненное зло, и с ней нужно бороться всеми доступными средствами, как и с любым другим злом.

В приведенных мнениях выражено неприятие всякой этической абсолютизации, ибо таковая всегда стоит в противоречии с жизнью, и это с присущей ему прямоотой отмечал Ницше.

«Перед моралью (в особенности христианской, т.е. безусловной моралью), — писал он, — жизнь постоянно и неизбежно должна оставаться неправой, так как жизнь по своей сущности есть нечто неморальное...»²⁰

Всякая жизнь покоится на иллюзии, искусстве, обмане, интересе, заблуждениях. Но то же относится и к политике как важнейшей и неотъемлемой части этой жизни. Она также всегда и неизменно должна оставаться «неморальной», «безнравственной» перед судом абсолютной этики. Ведь та исходит из того, каким человек и мир, включая и политику, должны были бы быть на основе признания неких высших идеалов. Однако общественная, то есть земная, нравственность рождается в муках и боли из той конкретной, утопанной, оплеванной и политой кровью почвы, по которой ходит конкретный человек со всеми своими пороками. Пороки же, как отмечал Спиноза, «будут, доколе будут люди». И практический опыт обуздания этих пороков не очень-то согласуется с религией и ее нравственными требованиями, предполагающими, что государственные дела, то есть политика, должны вестись в согласии с теми же правилами морали, коих придерживаются частные люди²¹.

Индивидуум вполне может следовать этическому принципу непротивления злу насилием и подставлять левую щеку, когда бьют по правой. Но может ли, имеет ли право тому же принципу следовать ответственная политика? Для политика имеет силу, считает М. Вебер, прямо противоположное: он должен *насилъственно* противостоять злу, иначе за то, что зло возьмет верх, ответствен он. Касаясь в этой связи отношения к войне Вебер продолжает:

«Пацифист, действующий в соответствии с Евангелием, отвергнет или отринет оружие... по велению этического долга: чтобы положить конец данной войне и тем самым всякой войне. Политик же скажет: единственно надежным средством дискредитировать войну на весь обозримый период — это мир на основании статус-кво».

Что касается долга правдивости, который безусловен для абсолютной этики, Вебер замечает, что, исходя из него, необходимо было бы публиковать все документы и прежде всего документы, изобличающие собственную страну (вспомним в этой связи беспардонное и ничем не оправданное обнародование многих наших государственных секретов в 90-е годы прошлого столетия, принесшее непоправимый моральный и материальный ущерб стране).

«Политик же, — продолжает он, — обнаружит в данном случае, что в результате истина не раскрывается, но, наоборот, надежно затемняется злоупотреблением и разжиганием страстей; что плоды могло бы принести только всестороннее планомерное исследование

проблемы незаинтересованными сторонами; любой другой подход мог бы иметь для нации, которая его использует, последствия, непоправимые в течение десятилетий. Но абсолютная этика именно о «последствиях-то» и не спрашивает»²².

На последнюю фразу обращаю особое внимание, и к ней мы еще вернемся.

Итак, что же мы имеем в результате? Человеческая практика показывает, что не существует единых, общезначимых норм нравственности; всякая мораль есть продукт специфического общественного развития. По крайней мере до сих пор никому еще не удалось из многообразия особенных нравственных норм «выкристаллизовать» нечто такое, что было бы приемлемо для всех людей, для всех народов и для всех времён.

В первой главе приводились суждения Шпенглера, Дюркгейма, М. Вебера и других социологов о том, что существует столько систем нравственности, сколько имеется цивилизаций, что в этой сфере никто не имеет свободного выбора и что не существует такой вещи, как универсальная человеческая этика, годная для всех и на все времена. Нормы абсолютной нравственности, насколько мы можем о них судить по кантовским императивам или по евангельской этике, несовместимы с жизнью, какая она есть. Они не могут служить бесспорным практическим руководством даже для людей, что же касается государств, то они могут оказаться для них попросту губительными. Неуклонно следовать им на деле могут разве что святые или чудаки; попытки же навязать их массам неизменно оборачиваются небывалым насилием над ними, ибо за такими нормами всегда скрывается религиозный или идеологический фанатизм и дух нетерпимости.

Таким образом, тезис, что политика должна быть нравственной, по крайней мере в житейском смысле этого слова, оказывается иллюзорным. Более того, те самые «простые законы нравственности и справедливости», которыми, по мнению некоторых политиков и моралистов, руководствуются в жизни люди, но не руководствуются государства, оказываются не столь уж простыми. Просты и понятны они для народа, который сам их выработал в процессе исторической своей жизни, но они не только не просты, но часто и вовсе не приемлемы для других народов.

Прежде чем двинуться дальше и с целью избежать ненужных нареканий или недопонимания позиции автора, выступлю с краткой апологией абсолютных нравственных ценностей. Для меня лично

нет никаких сомнений в том, что само стремление людей к неким абсолютным нравственным нормам и критериям не является какой-то блажью отдельных «чудаков» или идеалистов. Это стремление как бы заложено или, иными словами, встроено в бытие и сознание человека. Оно было бы совершенно излишне, если бы это бытие было обустроенным и если бы оно соответствовало представлениям человека о себе самом и о том, каким должно быть его бытие. Но такого соответствия никогда не было и, увы, вряд ли будет. Но даже если человек осознает эту горькую истину, — а, быть может, именно по этой причине, — он никогда не перестанет стремиться к чему-то высокому, выводящему его за пределы грубой прозы жизни, и будет продолжать верить в существование этого высокого. С заменой веры в абсолютное *Добро* верой в земные относительные ценности — богатство, славу, высокое социальное положение и т.п. — всё остальное также начинает принимать относительный характер, в том числе и сам человек. Да, человек во все времена служил средством, но в глубине души своей он верит, что его назначение не в этом, что он сам есть цель в себе. Эта вера связана с верой в некий нравственный Абсолют. И она держит человека на плаву, она есть последняя нравственная черта, за которой человек, при всех своих пороках и недостатках, перестает быть человеком. Вот тогда всё дозволено. *«Если Бог умер — всё дозволено»*, говорил Достоевский.

«Абсолютная этика о последствиях не спрашивает», — писал Вебер. Это так и есть; но верно и то, что человек, верящий в абсолютные нравственные ценности, не может не думать о последствиях своих действий. Здесь, однако, мы несколько отклонились от предмета, незаметно перейдя весьма зыбкую и не всегда распознаваемую границу между общественной и индивидуальной нравственностью.

Нравственность, свобода воли, политика

Существует широко распространенное убеждение, особенно в обществах и государствах, клонящихся к упадку или переживающих переходные этапы в своей истории, что без нравственности нельзя возродить общество, нельзя построить на новых основах экономику, нельзя создать справедливое и демократическое общественное устройство.

Допустим, всё это так и что надо начинать с нравственности. Но тогда не может не возникнуть вопрос: откуда берется эта нравственность, кто должен создавать ее и каким образом? Почему общество,

еще вчера считавшееся нравственным, сегодня делается безнравственным?

Начнем с тривиального утверждения, что хотя народы и люди в своей массе не следуют нормам абсолютной морали, они в то же время не живут вообще без каких-то нравственных принципов и начал. Даже самые развращенные народы и те придерживаются некоторого минимума нравственных норм, чтобы не распасться окончательно и не впасть в полную анархию и одичание.

Тут возникают, по меньшей мере, три вопроса: а) откуда берутся нравственные нормы; б) каковы основания политической нравственности и в) следует ли человек нравственным принципам и нормам сам, по доброй воле, или же он принуждается к этому?

Последний вопрос можно поставить несколько иначе: может ли человек перед лицом выбора между добром и злом, следуя притом свободной своей воле, склоняться не к злу, а к добру, не к безнравственному, а к нравственному, или же для этого надобна какая-то форма принуждения?²³

Это, между прочим, один из коренных вопросов человеческого бытия, и он имеет прямой выход на политику, как внутреннюю, так и внешнюю.

Что касается первого вопроса, то на него в общей форме ответ был дан выше: нравственные нормы суть продукт общественного развития, и каждое общество исторически вырабатывает свою собственную систему нравственных ценностей. Даже если речь идет об абсолютных нормах нравственности, то у каждого народа свой «Абсолют», олицетворенный в соответствующей религии и законах. Ответу на второй вопрос посвящена, собственно, вся данная глава. Третий же вопрос прямо подводит нас к проблеме связи нравственности с политикой и свободой человека.

Свободен человек или нет, имеет ли он свободу нравственного выбора в своих действиях, в том числе в действиях политических, может ли человек быть нравственным, будучи несвободным? — этими и подобными вопросами задавался человек издревле, но нет на эти вопросы исчерпывающего ответа и поныне. Отчасти проблема эта затрагивалась во втором разделе книги при определении самого понятия политики. Напомним, что специфическим свойством политики называлась ее публично принудительная сила, которая по определению уже налагает существенные ограничения на «свободную волю» человека, в том числе на его нравственные принципы и решения. Однако для понимания проблемы знания этого свойства еще недостаточно.

Известно немало философских систем и учений, прямо связывающих нравственность человека с его свободой. Несвободный человек не может быть нравственным — таков их безапелляционный приговор.

«Насилие, принуждение — обычные средства достижения политических целей, — писал, к примеру, Н. Бердяев. — Но свобода, эта основа нравственности, не осуществляется через насилие, как и братство — через ненависть, или мир через кровавый раздор»²⁴.

«Нравственное дело должно и совершаться нравственным путем, без помощи внешней, принудительной силы», — как бы вторил ему К. Аксаков²⁵.

Еще один русский философ, С.Л. Франк, отвечал на тот же вопрос так:

«...Основная проблематика заключена здесь в вопросе: можно ли и дозволительно ли, с точки зрения христианского сознания, добиваться справедливого братского отношения к ближним с помощью принуждения? Может ли христианская заповедь любви к ближнему превращена в принудительную норму права? Ответ на этот вопрос, думается, совершенно очевиден: он состоит в том, что это и фактически невозможно, и морально и религиозно недопустимо. Это невозможно, потому что любовь к ближнему, как, впрочем, и всякое моральное унастроение, не может быть вынужденна, а может только свободно истекать из глубин человеческого духа... Всякая попытка вынудить какую-нибудь христианскую добродетель (идет ли речь о физическом принуждении, как в норме права, или даже только о моральном принуждении) означала бы сама измену христианскому унастроению — измену религии, благодати и свободы — и впадение в фарисейство, в религию законничества и внешних дел»²⁶.

Из всей логики рассуждений цитируемых авторов следует вывод, что политика и нравственность несовместны, поскольку политика оперирует средствами насилия, абсолютная же нравственность в принципе не приемлет никакого насилия и принуждения. Такой взгляд естествен для религиозно-христианской философии. Однако нельзя тут еще раз не отметить то, на что я обращал внимание выше, а именно: и ветхозаветные десять заповедей, и Нагорная проповедь Христа с ее этическими нормами излагаются отнюдь не в рекомендательной, но в *императивной*, то есть *повелительной*, форме.

Те и другие предполагают к тому же санкции — одни на земле, другие на небе. Так что и тут дело обстоит не совсем уж без принуждения. Но в то же время мы знаем, что сам Христос отверг три искушения дьявола: ему нужен был человек, который пошел бы за ним и принял его нравственное учение не из-за «хлебов», не из-за чуда, не из-за принуждения, а по своей доброй воле, свободно.

В упоминавшейся «Легенде о Великом Инквизиторе» Достоевский обращает внимание на то, что в трех вопросах, поставленных могучим и умным Духом перед Христом, как бы соединена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человечества. В них представлены три образа, и в них сошлись все неразрешенные и, быть может, вообще неразрешимые противоречия человеческой природы, в том числе и противоречие между свободой человека и нравственностью.

В интерпретации Достоевского, первый вопрос дьявола Христу звучит так:

«Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они [люди. — Э.Л.] в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, — ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою и прекратятся хлебы твои».

Христос не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил он, если послушание куплено «хлебами»? Он возразил знаменитым: *«не хлебом единым жив человек...»*.

Но мудрый Инквизитор по собственному опыту хорошо знает, что свобода и «хлебы» — вещи несовместные: когда перед человеком встанет выбор между одним и другим, он без всякого колебания выберет «хлебы»:

«Накорми, тогда и спрашивай с нас добродетели!» — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой... Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут: «Лучше поработите нас, но

накормите нас”. Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немислимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики.

Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? И если за тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станет с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебрегать хлебом земным для небесного? Или тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные как песок морской слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. ...Ты знал, ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, — знамя хлеба земного ты отверг во имя свободы и хлеба небесного...»²⁷

Итак, Великий инквизитор противопоставляет власть земную и небесную, хлебы земные и хлебы небесные, Царствие земное и Царствие Божие, реальность и идеалы, наконец, политику и абсолютные нравственные ценности. Он показывает их принципиальную несомвместность, отдавая свое личное предпочтение всему земному, которое он и считает подлинно нравственным...

Да и весь монолог Инквизитора — это поистине гимн Политике, служащей не избранному меньшинству, а подавляющему большинству слабых и жаждущих хлеба земного людей. Три великих вопроса дьявола — это три основных принципа политики: «хлебы», власть, авторитет. Христос их отвергает. В то же время Церковь, носящая его имя, принимает их все, превращаясь тем самым в *политическую организацию*, наиболее полным и ярким воплощением которой стал католицизм.

В то же время в акте искушения Христа кроется некая загадка. Ее видит Инквизитор. Он прав: как Сын Божий, Христос не мог не знать человеческой природы, коли уж та известна Инквизитору. Об этой природе повествует всё Священное Писание от начала до конца. Именно в полном соответствии с этой природой действовал сам Бог, ведя избранный им народ в Землю обетованную.

«*Жестоковыйный*» — вот определение, данное этому народу Богом. Чтобы преодолеть эту «жестоковыйность», то есть неизменную склонность к греху, бунту, низменным страстям, узкому эгоизму, Бог непрестанно пользовался всеми тремя средствами, отвергнутыми позже Христом, а именно: *хлебом, властью, авторитетом*, то есть чисто политическими средствами, присовокупляя к ним время от времени разного рода чудеса²⁸.

Но поразительная вещь: отвергнув три искушения дьявола в пустыне, Христос сам вынужден был в ходе своей миссионерской деятельности постоянно прибегать всё к тем же испытанным временем средствам воздействия: и к хлебу, и к чуду, и к авторитету. Что же касается библейского Бога, то, если судить по Писанию, меньше всего его интересовала свобода пасомых им «овец». Похоже, это было последнее, чего он желал дать своему народу, если желал вообще, ибо видел каждый миг, куда заводит народ даже малейшая свобода, понимаемая им только в одном смысле: как *произвол*.

В вопросах нравственности, как свидетельствует та же Библия, Бог вовсе не полагался на то, что она появится сама собой, а тем более благодаря некой свободе. Передавая иудеям заповеди, в том числе и те *Десять заповедей*, на которые сегодня так охотно ссылаются любители нравственной политики, Моисей отнюдь не поучает и не морализирует, подобно учителю или проповеднику. Нет, он *приказывает* соблюдать их, *приказывает* как законодатель и повелитель. Он не утруждает себя и разъяснениями, но присоединяет к приказаниям тщательно разработанную и продуманную во всех деталях систему наказаний, назначает судей и исполнителей наказаний. Когда же он видит неподчинение законам и заповедям, то ни на секунду не задумывается, чтобы покарать ослушавшийся народ, как это было, скажем, в случае сотворения израильянами золотого тельца, когда по приказу Моисея было убито три тысячи человек²⁹.

Такие сцены, а их в Пятикнижии немало, должны были бы, казалось, потрясать нас своей жестокостью, но этого не происходит, потому, возможно, что мы чувствуем, что за ними стоит некая высшая справедливость, и не признать ее невозможно. Это различие между простодушным насилием древнего человека и холодно-рациональным насилием человека современного точно передал Достоевский: древний человек, писал он, видел в кровопролитии справедливость и потому «со спокойной совестью истреблял кого следовало»; современный же, развращенный цивилизацией человек хотя и считает насилие и кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимается, да еще больше, чем прежде³⁰.

Справедливость слов писателя сегодня подтверждается буквально на каждом шагу.

* * *

Мы не сможем, однако, понять до конца проблему, не выяснив предварительно, что понимается под свободой вообще. Тут, как и во многих других случаях, царит изрядная разногласия и путаница. Слово «свобода» к тому же донельзя затрепано и опошлено политическими демагогами, превращаясь часто в ни к чему не обязывающую тему для лживых посул.

Прав был Г. Федотов, считая, что строгое определение свободы сталкивается с большими философскими трудностями. Однако, по его мнению, здесь существенно не содержание свободы, а *вера* в нее, или *пафос* свободы, поскольку именно эти вера и пафос движут человеком, а вовсе не метафизическое понимание «свободы»³¹.

С этим нельзя не согласиться, но беда в том, что вера и пафос свободы сплошь и рядом заводят человека в еще большее рабство. Пафос, вера — всё это иррациональные стороны человеческой деятельности. Нисколько не отрицая их роли, было бы ошибочно ограничиваться только этим признанием.

Для лучшего прояснения вопроса рассмотрим понятие свободы в трех аспектах: правовом, философском и житейско-бытовом.

Правовое ее значение в принципе раскрывает одна из самых радикальных конституций в истории человечества — «Декларация прав человека и гражданина» 1793 года. Ее 6-я статья гласила: «Свобода есть принадлежащее человеку право делать всё то, что не наносит ущерба правам другого».

Здесь сразу же возникает вопрос: кто или что определяет те границы, в пределах которых каждый может двигаться без ущерба правам другого? — Границы же эти определяются *законом*, то есть *государством*. Коли это так, — а это действительно так, — то свободу уместнее определить как поведение человека, лимитированное нормами общественного бытия. Свобода человека (как социальный феномен) выражает, таким образом, отнюдь не вседозволенность, а *ограничение* действий человека, притом в довольно узком правовом пространстве.

Кстати, если обратиться к другому фундаментальному праву человека — равенству, которое считается, подобно свободе, основой нравственности, то мы видим, что и оно определяется исключительно через закон. «Равенство, — говорится в ст. 3 Конституции

Французской республики 1795 года, — *состоит в том, что закон для всех одинаков, — защищает ли он или же карает*».

Природа создала людей неравными — неравными по способностям, по физическим особенностям, по психическим и ментальным характеристикам. *Равными* же делает их *только закон*, уравнивающий всех если и не в способностях, то в правах.

Философский же смысл понятия свободы выражен в известной формуле «*Свобода есть осознанная необходимость*». Ее истоки находим уже в философии стоиков, затем она воскресает с новой силой в период Возрождения и Реформации, позже — в этике Гоббса, Спинозы, Юма, в немецкой классической философии и марксизме. Каково бы ни было конкретное понимание необходимости — Бог ли, абсолютная идея или экономический базис, — ее осознание в каждом случае, выражая свободу человека, служит одновременно внутренним ее ограничителем. Философ И. Ильин ту же мысль изложил так:

«Свобода вообще состоит не в ежеминутном торжестве личного произволения, а в добровольном принятии правовых границ своей жизни. ...Достоинство человека состоит не в том, чтобы никому и ничему не подчиняться, но в том, чтобы добровольно подчиняться свободно признанному правовому авторитету»³².

Ведь и та свобода выбора, которую ожидал от своих последователей Христос, подразумевала весьма жесткие рамки поведения человека, и даже среди истово верующих далеко не все были способны ограничить ими свое поведение и образ жизни, настолько те были подчас невыносимы. Вспомним хотя бы «тройное предательство» Христа Петром — его самым первым и верным учеником.

Как бы то ни было, всякая вера способна держаться только на основе определенной системы запретов и разрешений. Свободный выбор тут ограничен до предела. Здесь уже, вне всякого сомнения, приоритетным становится принцип: «*Ты должен*». И эта система образует то мироощущение или ту «*кору привычек*», которая со временем воспринимается как нечто естественное, само собой разумеющееся, не требующее каждый раз своего подтверждения.

Итак, есть все основания утверждать, что во все времена свобода была неотделима от необходимости, ибо соответствующее ей самоограничение, связывание свободы во имя какого-нибудь идеала есть высшее торжество самопознания, а тем самым и торжество нравственности.

Что касается бытовой свободы — это те достаточно широкие пределы человеческого поведения, которые находятся вне строгих рамок лимитирования со стороны позитивного права. Та определяется народными традициями, привычками, сложившимся бытом, характером народа, нравами и т.д. Эта свобода сохраняется даже при самых жестких режимах, и она, на мой взгляд, представляет собой наиболее ценное в свободе вообще, ибо служит неиссякаемым ее источником, не зависимым ни от каких рациональных построений. Она же служит и основой нравственности народа; или, если хотите, наоборот: народная нравственность определяет пределы бытовой свободы.

И наконец, можно определить свободу как состояние души, как духовное неприятие какого бы то ни было насилия и принуждения. Иной человек скорее согласится умереть, нежели терпеть зависимость от какого бы то ни было рабства (хотя имеется сколько угодно противоположных случаев). Именно это имел в виду Аристотель, когда писал в своей «Политике»:

«одни люди повсюду рабы, другие нигде таковыми не бывают»³³.

Обобщая, можно утверждать, что свобода играет гораздо большую роль в личной жизни, нежели в общественной. Это и понятно, памятуя о публично принудительной силе политики. Для гражданско-государственного состояния характерны отношения власти и подчинения, а не свобода. Свобода тут ограничивается существующими в обществе законами и порядком. В личной же жизни свобода есть символ и основа индивидуальной нравственности, хотя, повторю еще раз, и здесь она тоже ограничена обществом и государством, что служит нескончаемым поводом для конфликта между личностью и его социальным окружением.

Уже из сказанного, думается, вполне ясно, что определять нравственность через свободу совершенно ошибочно; она, скорее, — в сознательном ограничении этой свободы. Нравственность, замечает Дюркгейм,

«не только не служит освобождению индивида, выделению его из окружающей среды, но, наоборот, имеет существенной функцией сделать из него неотъемлемую часть целого и, следовательно, отнять у него кое-что из свободы его действий»³⁴.

Здесь логически напрашивается вывод, что не нравственность определяется через свободу, как это считали, скажем, Бердяев или

Франк, а наоборот, *свобода определяется через нравственность*. Свобода, не имеющая в своем основании нравственность, превращается в произвол, в анархию; в свою очередь, подлинная нравственность всегда содержит в себе глубокое осознание необходимости, а потому служит основой и подлинной свободы. Свобода выбора, отмечал Лев Гумилев, —

«отнюдь не право на безответственность. Наоборот, это тяжелый моральный груз, ибо, находясь в социуме, человек отвечает не только за себя и свое еще не родившееся потомство, но и за свой коллектив, своих друзей, соплеменников, наследие предков, благополучие потомков и, наконец, за идеи, формирующие его культуру и даже идеалы, ради которых стоит жить и не жаль умереть»³⁵.

Напомню в этой связи и суждение Гегеля о том, что свободе присущи *право и нравственность*; без них свобода превращается в произвол, характерный для так называемого «естественного состояния» со свойственным тому «законом желания».

В этих положениях, думается, лежит ключ и к решению давнего спора о свободе воли человека. Быть может, наиболее яркое свое выражение он нашел в знаменитой дискуссии между двумя выдающимися мыслителями эпохи Реформации — Эразмом Роттердамским и Мартином Лютером. Сам этот спор явился, собственно, отражением столкновения различных точек зрения на изначальную нравственную природу человека. На это счет существовали (и продолжают существовать) две точки зрения: одна из них исходит из того, что человек по природе своей добр и что недобрым делает его лимитированное нормами общественного бытия социальное окружение, в котором он живет. Другая, наоборот, считает, что природе человека свойственно зло и что лишь общественная жизнь умеряет его дурные наклонности. Соответственно, первые утверждают, что человек, предоставленный своей собственной воле, естественным образом склоняется к добру, вторые же — что тот будет склоняться к злу.

Такой подход сам по себе представляется и несостоятельным, и не плодотворным, прежде всего методологически. В самом деле, можно привести достаточно аргументов в пользу как первой, так и второй точки зрения, не сумев доказать ни той, ни другой. Они из разряда кантовских антиномий. Тем не менее, подход этот раскрывает некоторые содержательные стороны проблемы, и на них полезно остановиться.

Эразм в числе прочего утверждал, что, несмотря на свою греховность, человек все же обладает свободой воли; ее усилиями он может не только противиться злу, но и склоняться к добру.

Противоположной точки зрения придерживался Лютер.

«Без Божией благодати, — считал он, — свободная воля не только не свободна, но и неизменно оказывается пленницей и рабыней зла, потому что сама по себе она не может обратиться к добру», — таков приговор Лютера.

У человека нет свободы воли по отношению к тому, что выше его, а есть только по отношению к тому, что ниже. Свободная воля ни на что не способна, более того, она всегда подвигает человека к чему-то губельному, и одного этого достаточно для доказательства того, что никакой свободной воли нет, что от сотворения мира до самого его конца невозможно приметить никакого ее следа³⁶.

Для подкрепления своей точки зрения Лютер обращается к такому авторитету, как блаженный Августин. Тот считал, что свободная воля ведет человека только вниз по наклонной плоскости:

«Сама свободная воля способна творить только зло, добро же она может совершать не своими собственными силами, а с чужой помощью». Августин называет ее скорее рабской, нежели свободной³⁷.

Близкой точки зрения придерживались и многие другие мыслители: Платон, Гоббс, Спиноза, Макиавелли и даже Руссо, чье мнение на этот счет уже приводилось во второй главе. У Платона находим:

«Как ни учи, из дурных добрых людей не создашь... Нет добродетели ни от природы, ни от учения, и если она кому достается, то лишь по божественному уделу, помимо разума»³⁸.

У Макиавелли многократно в его «Истории Флоренции», в «Государе» и «В рассуждении на первую декаду Тита Ливия» рефреном проходит мысль: *люди всегда гораздо более склонны к злу, чем к добру*. В «Рассуждениях...» он прямо пишет:

«Люди поступают хорошо лишь по необходимости, когда же у них имеется большая свобода выбора и появляется возможность вести себя как им заблагорассудится, то сразу же возникают вели-

чайшие смуты и беспорядки. Вот почему говорят, что голод и нужда делают людей изобретательными, а законы — добрыми»³⁹.

И Лютер, и Августин, и многие другие выдающиеся теологи и светские мыслители считали, что человек не способен склоняться к добру по своей свободной воле — он может это сделать лишь с чужой помощью, то есть по принуждению. В рамках христианской религии такая помощь могла прийти в виде божией благодати: тот, кто ее не удостоился, может, образно говоря, из кожи вон вылезти и, тем не менее, не приобщиться ни к добру, ни к истине.

Но если согласиться с этим, то не может вновь не возникнуть вопрос, поставленный Великим Инквизитором перед Христом: если нет высшей благодати, а вместе с ней и нравственного совершенства, и спасения удостоиваются лишь немногие, то как быть тем сотням миллионов людей, которые не удостоились таковых? Что же им — погибать в невежестве и разврате? Инквизитор на этот вопрос ответил: «Мы придем им на помощь, мы возьмем их под свою защиту».

«Мы» — это, собственно, и есть либо организованная в соответствии с политическими принципами церковь, либо государство, «выше которого на Земле нет ничего».

Говоря словами Руссо и Канта, государство *«понуждает»* человека быть свободным и нравственным. Вот оно и есть земной вариант «божией благодати». Благодаря законам люди получают если и не абсолютные, то относительные свободу и нравственность, позволяющие им сосуществовать совместно в соответствии со своей далекой от совершенства природой. Они понуждают их также следовать общественным и индивидуальным нравственным нормам. Отсюда более понятным делается определение нравственности у Дюркгейма:

«Область этики не так неопределенна; она охватывает все правила, которым подчинено поведение и с которыми связана санкция, но не более того»⁴⁰.

С такой формулировкой, надо думать, согласятся далеко не все, особенно те, кто привык связывать понятие нравственности с некими возвышенными идеалами. Но зато она точно отражает ее общественно-консолидирующую и поведенчески-ограничительную роль, и эту роль хорошо понимали во все времена и во всех обществах.

В древнекитайском философско-политическом трактате, относящемся к IV веку до н.э., «Книге правителя области Шан» находим такие слова: *«Добродетель ведет свое происхождение от наказа-*

ния», — мысль, ничем, в принципе, не отличающаяся от дюркгеймовской⁴¹.

Один же из современных авторов пояснил связь между свободой и необходимостью следующей метафорой: человека можно уподобить собаке, привязанной к телеге. Умная собака спокойно бежит за телегой и довольствуется этим. Если же собака упирается и скулит, телега все равно ее тащит.

Собственно, это парафраза известного афоризма Сенеки: *Ducunt fata volentem, nolentem trahunt* («Согласного судьба ведет, несогласного тащит»).

Различие же между более свободным человеком и человеком менее свободным в данном случае определяется мерой осознания этой необходимости. Однако познание необходимости — это длительный и трудный путь, и ни на одном его отрезке нельзя быть уверенным, что необходимость познана в достаточной мере. В этом выражается относительность человеческого знания о мире вообще и мире политики в особенности. Поскольку познание человеком необходимости относительно, то всегда относительны и его свобода, и его нравственность.

Здесь нужно отметить еще один момент. Он, по словам Шопенгауэра,

«заключается во вполне ясном и твердом чувстве *ответственности* за то, что мы делаем, *вменяемости* наших поступков, основанной на непоколебимой уверенности в том, что мы сами являемся *авторами наших* действий. В силу этого сознания никому, даже и тому, кто вполне убежден в... необходимости, с какой наступают наши поступки, никогда не придет в голову оправдывать этой необходимостью какой-либо свой поступок и сваливать вину с себя на мотивы...»⁴²

В этом отрывке, думается, наиболее полно представлена связь между свободой воли и пониманием ответственности за совершаемые действия. В политике это понимание должно быть особенно высоким.

Нравственность и государство

В «Книге Судей» (Суд. 21:25) находим такое примечательное место:

«В те дни не было царя у Израиля и каждый делал то, что ему казалось справедливым».

Иными словами, вне государства каждый следует собственным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Такое положение вещей равносильно полной анархии.

Если верно определение Аристотеля, что человек по природе своей есть «существо политическое», то тем самым тот одновременно является и существом нравственным. В самом деле: нравственность есть продукт общественно-политического бытия человека, а не врожденное природное его качество, и это отмечали многие выдающиеся мыслители прошлого и настоящего. Развернутое обоснование данного положения мы встречаем уже в «Государстве» Платона. В свою очередь, Спиноза на основе глубокого и всестороннего изучения Священного Писания приходит к важному выводу, недостаточно еще оцененному в политической литературе. В своем «Богословско-политическом трактате» он отмечает, что мораль сама по себе

«никакой особой власти над людьми не имеет иначе, как *только через власть государства*... Справедливость и абсолютно все правила истинного разума, а следовательно, любовь к ближнему получают силу права и заповеди *только от государственного права*»⁴³ (курсив мой. — Э.П.).

Близок к спинозовской точке зрения и Кант.

«Не от моральности следует ожидать хорошего государственно-го устройства, — считает он, — но, скорее, наоборот, от последнего — хорошего морального воспитания народа...»⁴⁴

Ту же мысль находим у Руссо.

«Всякая справедливость от Бога... но если бы мы умели получать ее с такой высоты, мы бы не нуждались ни в правительстве, ни в законах... Если рассматривать вещи с человеческой точки зрения, то при отсутствии естественной санкции нормы справедливости бессильны между людьми; они приносят благо лишь бесчестному и несчастье праведному... Необходимы, следовательно, соглашения и законы, чтобы объединить права и обязанности и вернуть справедливость к ее предмету»⁴⁵.

Господствующим законом в природе является верховенство насилия вместо права, притом не только в мире животных, где это есте-

ственно, но и среди людей. Для предотвращения его губительных последствий, отмечает Шопенгауэр, у цивилизованных народов и существует государственный порядок. Но как только порядок этот каким-либо образом перестает действовать или может быть обойден, упомянутый закон природы тотчас же появляется на сцене снова⁴⁶. И мы время от времени можем наблюдать это воочию даже в цивилизованных странах.

Непонимание, а то и просто пренебрежение специфической связи между нравственностью и государством, представленной тут суждениями Спинозы, Канта, Руссо и Шопенгауэра, уже в наше время отмечал Ганс Моргентхау.

«Существует глубокая и нередко игнорируемая истина, — пишет он, — скрытая в афоризме Гоббса, что государство создает мораль точно так же, как оно создает закон, и что *нет ни морали, ни закона вне государства...*»⁴⁷ (курсив мой. — Э.П.).

Индивидуум, следовательно, не в состоянии породить только из самого себя ни справедливости, ни добра, ни чувства ответственности за свои поступки. Всё это, равно как и свою свободу, он обретает *исключительно в политическом общении*, то есть в обществе, в государстве, через посредство существующих в них норм обычного и позитивного права.

Конечно, отдельные «избранные» могут достигать нравственно-го совершенства с помощью ниспосылаемой на них «божией благодати». Но это совершенство сугубо индивидуальное, а потому оно само может вступать в противоречие и в конфликт с признанной в обществе нравственностью, и нам это хорошо известно на примерах древних и нынешних пророков. Подавляющее же большинство человечества обретает если и не высшее нравственное совершенство, то те начала добродетели, которые позволяют ему нормально жить во взаимном общении, *исключительно с помощью государства и в государстве*.

Примечательны в этом смысле рассуждения Канта в его трактате «К вечному миру». *Только от хорошей организации государства*, отмечает он, зависит так направить дурные склонности людей, чтобы каждая из них или сдерживала разрушительное действие другой, или уничтожала его. Так что, с точки зрения практической, результат получается такой же, как если бы этих склонностей не было вовсе, и «тем самым человек *принуждался бы быть если не морально хорошим человеком, то все же хорошим гражданином*».

Кант считал, что если бы народ состоял из одних только «дьяволов», то и в этом случае проблема нравственного поведения могла бы быть решена хорошим устройством государства⁴⁸. В свою очередь Гегель, подчеркивая неразрывную связь нравственности и государства, приводит в «Философии права» древний афоризм:

«На вопрос отца, каков лучший способ нравственно воспитать сына, пифагореец ответил: сделай его гражданином государства, в котором действуют хорошие законы»⁴⁹.

Хорошее государство — это государство с хорошими законами, где существует определенное сопряжение всеобщей и субъективной воли, единство государства и индивидов. Это единство и образует ту социальную солидарность, выражением которой выступает общественная нравственность. Отсюда понятно утверждение Гегеля, что государство есть *нравственный универсум* и что вся ценность человека, вся его духовная действительность существует только благодаря государству⁵⁰.

Здесь могут возразить, что общество, гражданский закон, государство способны, самое большее, побудить к справедливости, но такие чувства, как любовь, сострадание и им подобные, не могут быть привиты человеку принуждением. Существует также мнение, что нравственность имеет свои истоки в религии и что обе они предназначены быть дополнением к неизбежной недостаточности государственного порядка и законодательства. Но мы уже выяснили, что в основе самого государства, а значит, и его установлений тоже лежит религия. Поэтому отсылка к религии вопроса не решает. К тому же в нашу задачу не входит поиск оснований индивидуальной морали — ее решением занимались (хотя нельзя сказать, что успешно) многие философы; и тех, кто интересуется этой проблемой, отсылаю к одному из наиболее интересных трудов в данной области — сочинению Шопенгауэра «Две основные проблемы этики».

Наша же задача ограничивается исследованием проблемы соотношения политики и нравственности, и тут первостепенное значение имеет выяснение основы общественной нравственности, а не индивидуальной.

* * *

Суждение о том, что государство есть основа не только общественной, но и личной морали, добродетелей и свободы человека, всегда

имело как сторонников, так и противников. Для многих и по сию пору остается неприемлемым тот факт, что нравственность является порождением общественно-политического бытия людей. Однако в его пользу говорит не только теория, но и вся человеческая практика. Вне такого бытия само понятие нравственности превращается в пустой, бессодержательный звук. Она зарождается в общении людей, растет и развивается вместе с ним. Тут нет и быть не может никакого временного опережения, как нет его в становлении и развитии общества, семьи, государства, нации, культуры. Поэтому, когда мы говорим о государстве и обществе как основании нравственности, то тем самым имеем в виду только одно: *без таковых и вне таковых нет не только нравственности как социального факта, но и самого понятия нравственности.*

Я подчеркиваю этот момент и потому, что сегодня всё большую силу набирает идущая с Запада либеральная точка зрения, в основе которой лежит суждение, что приоритет имеет человеческая личность, а уже потом государство, общество; что права человека выше прав государства; что свобода лучше, чем несвобода, и прочие благоглупости. Этот взгляд отчасти основан на невежестве, отчасти на модном анти-этатистском поветрии последних десятилетий, захватившем и нашу страну. Корень ошибочности этого взгляда — в непонимании того, что *сам человек становится личностью только в государстве*; вне его — он либо животное, лишенное каких-либо нравственных понятий и руководствующееся «естественным правом» силы и законами борьбы за существование, либо, как замечал Аристотель, сверхчеловек, презирающий общество.

Что касается прав человека (не говоря уже о правах гражданина), то и они идут от государства. Другого не может и быть: ведь будучи формой организации общества, государство организует и оформляет также и права, и обязанности человека.

Познать государство как нечто разумное и нравственное в себе — одна из задач разума. Ведь если не все, то большинство великих философских и религиозных учений так или иначе сходило в том, что свобода есть *осознанная необходимость* (Бхагавад-Гита, Библия, учения стоиков, блаженный Августин, Лютер, Гегель и другие). Только познав нормы нравственности в качестве необходимости, человек становится подлинно свободным. В противном случае он остается рабом предрассудков, собственного произвола и всякого рода аффектов.

С позиций сказанного легче, думается, решить и поставленный в начале данного раздела вопрос о применимости или неприменимости норм индивидуальной морали к государству.

Издавна уже проводилось различие между моралью индивида и моралью государства, между этикой индивидуального поведения и этикой поведения социальных групп. Неоценимый вклад в разработку этой проблемы внесли такие политические мыслители прошлого и настоящего, как Аристотель, Макиавелли, Гоббс, Спиноза, Гегель, Ранке, Трейчке, Р. Нибур, Моргентау. Преобладающим среди них мнением было то, что *государство само есть воплощение и проявление нравственной идеи*.

Действительно, каждое государство как конкретная историческая общность людей руководствуется в своей деятельности особыми этическими принципами. Оно не подчиняется внешним по отношению к нему моральным принципам и не следует слепо абстрактным представлениям о неких общих человеческих правах при реализации своих государственных интересов, особенно в области международных отношений.

Государство — и об этом уже отчасти говорилось выше — есть основа и средоточие всех сторон народной жизни: экономики, права, нравов, религии, искусства, науки... Государство не только находится в теснейшей связи с упомянутыми духовными и материальными сферами и от них зависит, но и образует с ними единую субстанцию, единый дух. Естественно поэтому, что многие мыслители не признавали наличие конфликта между политикой, с одной стороны, и моралью и справедливостью — с другой, равно как и права судить о действиях государства с позиций индивидуальной этики.

Известный немецкий историк XIX века Генрих фон Трейчке подчеркивал, что о государстве, а тем самым и о политике нельзя судить на основании тех норм, которые относятся к индивидам:

«Суждение о нем должно соответствовать принципам, которые определяют его собственной природой и его конечными целями»⁵¹.

Трейчке, подобно многим мыслителям, рассматривает природу государства как нравственную и дающую основу для более высокого типа морали. Аналогичной точки зрения придерживались и многие выдающиеся политики-практики. Так, скажем, Черчилль говорил:

«Нагорная проповедь есть последнее слово христианской этики... Но министры основывают свою ответственность за управление государством не на ней»⁵².

В самом деле, при сравнении индивидуальной и общественной нравственности нельзя не видеть между ними очевидного различия: то, что, скажем, расценивается как предосудительное в поведении индивида, может считаться нормальным в действиях государства, и наоборот. Индивид может позволить себе быть альтруистом, может жертвовать собой ради идеи, подставлять левую щеку, когда бьют по правой, и т.д. Ничего подобного не может позволить себе ответственная политика.

На сей счет представляет интерес и суждения наших далеких предков-политиков. В частности, речь идет о таком незаурядном политике, как Иван Грозный. В полемике с князем Курбским, отстаивая идею верховенства царской власти, он одновременно резко выступал против того, чтобы мерить одной меркой обязанности царя и частного человека. Проводя между ними четкую грань, он писал:

«Иное дело свою душу спасать, иное же о многих душах и телах пешихся». Жизнь для личного спасения — это «постническое житье», когда человек ни о чем материальном не заботится и может быть кроток, как агнец. Но в общественной жизни это уже невозможно. «Царское правление (требует) страха, запрещения и обуздания, и конечного запрещения» ввиду «злейшего безумия человекoв лукавых»⁵³.

«Лукавых человекoв» с тех далеких времен не только не убавилось, но, наоборот, значительно прибавилось, тогда как, вследствие всеобщего демократического поветрия, меры их обуздания пропорционально сократились.

Отрицал применимость универсальных и индивидуальных моральных принципов к оценке поведения государств и Моргентау. Он отмечал, что индивидуум вполне может положить в основу своего действия известный принцип «*Fiat justitia, pereat mundus*»*, но государство не имеет морального права этого делать во имя своих же подданных, равно как и не имеет права позволять, чтобы его собственные моральные оценки поведения других государств перерастали

* «Пусть восторжествует справедливость, если даже погибнет весь мир» (лат.).

в практические политические действия, ставящие под угрозу чужую и собственную безопасность.

«Абстрактная этика, — отмечал Моргентау, — судит действия на основе их соответствия неким общим законам морали; политическая же этика в основу своих суждений кладет возможные политические последствия этих действий»⁵⁴.

Данное суждение Моргентау имеет принципиальное значение. Мы были свидетелями того, как российская власть в 90-е годы прошлого столетия и в начале уже нынешнего столетия позорно занималась «политическим стриптизом», обнажаясь и раскрывая перед всем миром один за другим государственные секреты и унижительно терпя плевки в адрес страны от ее недругов.

В приведенных суждениях известных ученых и политических деятелей бросается в глаза одна характерная особенность, в большей или меньшей мере присущая и другим теоретикам и практикам в их оценке соотношения политики и нравственности. За редким исключением политическая этика (или этика государства) сравнивается не с индивидуальной нравственностью, а с некой абсолютной нравственностью, главным образом с этикой Нагорной проповеди, являющейся, по сути дела, недостижимым идеалом даже для индивидуума, не говоря о государстве. Но такое сравнение — и это было показано выше, — в принципе неправомерно и ведет, как правило, к неразрешимым противоречиям.

Конечно, расхождение между нормами индивидуальной и общественной нравственности имеет место в любом обществе и в любом государстве: человек везде человек, и везде он противится унификации и единообразию, если даже унификация сулит ему великие блага. Но в массовом масштабе резкое расхождение между ними происходит лишь в критические периоды жизни общества, в периоды революций и глубоких социальных перемен.

Различие между индивидуальной нравственностью и нравственностью социальных групп было достаточно глубоко исследовано американским теологом и теоретиком международных отношений Рейнольдом Нибуром. Отдельные люди, считал он, могут быть нравственными в том смысле, что при определении своей линии поведения они способны принимать во внимание чужие интересы, и могут в каких-то случаях даже отдавать предпочтение интересам других. Однако для человеческих сообществ и социальных групп такое поведение не только затруднительно, но, можно сказать, и

невозможно. В человеческих ассоциациях имеется значительно меньше оснований и возможностей для контролирования импульсов, меньше возможностей для самоконтроля, для понимания нужд других и в то же время — больше эгоизма, чем у составляющих группу индивидов в их личных отношениях. Делать различие между групповым эгоизмом и эгоизмом индивидуальным необходимо и потому, что власть и требования коллективного эгоизма преобладают над властью и требованиями эгоизма индивидуального. Группа более целеустремленна, более сконцентрирована на себе и более безжалостна в достижении своих целей, нежели индивидуум.

Нибур считает, что эгоизм расовых, национальных и социально-экономических групп наиболее последовательно выражен в государстве, прежде всего в государстве современном, представляющем наиболее прочно связанную социальную группу с сильной центральной властью. В основе группового эгоизма лежит стремление к обеспечению выживания группы перед лицом явного или скрытого соперничества со стороны других организованных социальных групп.

«Вот почему отношения между группами, — полагает Нибур, — не могут не быть по преимуществу политическими, а не этическими; иными словами, они должны определяться той силой, которой каждая группа обладает...»⁵⁵

В отличие от индивидов с их моральными принципами, которые определяются той или иной религиозно-этической системой, в основе нравственности государства всегда лежит высший интерес (и он же долг), именно — *интерес обеспечения безопасности, самосохранения, выживания народа, нации как целостной культурно-исторической общности.*

На примере государства и его первейшего интереса очевидна справедливость утверждения Ницше, что всякая мораль есть, в конечном счете, функция инстинкта сохранения рода и средство для этого. Но интерес «сохранения рода», обеспечение его выживания выходит за пределы так называемых «простых норм нравственности и справедливости» и входит уже в сферу политики с ее особыми законами. Но вот уже в этой сфере ответственные и благоразумные суждения и оценки не могут не иметь приоритета над простыми моральными вердиктами, даже если эти суждения полностью расходятся с последними.

Политика, напомню, охватывает сферу взаимоотношений больших социальных групп, и те составляют ее субстрат. То, что расце-

нивается как безнравственное на индивидуальном уровне, на уровне социальных групп может, наоборот, иметь нравственный характер. Тойнби однажды высказал такую «крамольную» мысль:

«Я полагаю, — писал он, — что человечество согласится скорее на жесткую диктатуру ленинского типа как на меньшее зло, нежели на самоуничтожение или нескончаемую анархию... Если большинство, пусть даже против желания, примет на этом основании диктатуру, я думаю, оно сделает правильный выбор, так как это даст возможность человеческому роду выжить»⁵⁶.

Жесткая диктатура ленинского типа, с точки зрения социально-групповой нравственности, может оказаться, таким образом, не только гораздо меньшим злом, нежели анархия или самоуничтожение страны, но и благом. На этом примере хорошо видно принципиальное различие между индивидуальной и групповой нравственностью: для первой диктатура любого типа может представлять абсолютное зло, для второй же, наоборот, диктатура есть зло относительное, а при определенных обстоятельствах — даже благо, если та предотвращает гибель общества.

Итак, когда речь идет о государстве и государственном интересе как олицетворении идеи самосохранения народа, политика и нравственность, по сути своей, сливаются, делаются тождественными, неразъединимыми. С утверждения этой тождественности политики и этики Аристотель начинает свою «Большую этику»:

«Собираясь говорить о вопросах этики, — пишет он, — мы должны, прежде всего, выяснить, частью чего является этическое. Всего короче будет сказать, что этическое есть, по-видимому, — составная часть политики. ...Итак, этика... входит в политику как ее часть и начало... и вообще... этот предмет по праву может называться не этикой, а политикой»⁵⁷.

Определяя государство как нравственный универсум, Гегель выражал, по сути дела, тот же взгляд на вещи.

Памятуя определение государства у Аристотеля, такой взгляд представляется вполне естественным, и в принципе он остается верным и сегодня. Все нравственные добродетели у Аристотеля — это не диктуемые извне нормы, а необходимая и имманентно присущая каждому обществу основа индивидуальной и общесоциальной практики. Важно отметить здесь, что такой взаимозависимостью

Аристотель связывает политику только с этикой, но не с военным искусством, не с экономикой или риторикой; три последние подчинены политике, они — ее средства, тогда как этика фактически тождественна ей.

Разумеется, обращаясь к наследию Аристотеля, не нужно забывать, что он творил в эпоху, когда государство и личность не были разобщены, благо государства почиталось высшим благом, и ему было подчинено благо отдельной личности. Противопоставление нравственности государства и личности начинается вместе с развитием частной собственности, буржуазного гражданского общества и гражданских свобод с их акцентом на индивидуальное часто в ущерб общественному. Но даже применительно к современному государству есть достаточные основания утверждать, что если такое противопоставление и существует, то отнюдь не на сущностном уровне. Когда дело касается выживания государства, его самосохранения, истинное тождество этики и политики сразу же обнаруживает себя в полную силу. И где этого тождества нет, там нет общества, там нет государства, а есть лишь их видимость.

Из сказанного сам собой напрашивается вывод: *политика нравственна не сама по себе, в отрыве от соответствующих общественных отношений, а тем самым и от общественной нравственности — она нравственна как наиболее полное их выражение и воплощение.*

Вот почему политика и нравственность данного народа, данного периода в своем развитии в принципе не могут расходиться друг с другом. Обратное допущение имело бы силу только в случае общественного катаклизма, переживаемого народом, или в случае гражданской войны и гибели государства.

Но это в принципе. В действительности же тут имеется достаточно широкая амплитуда колебания между сутью и конкретной формой ее выражения, обуславливающая столь же широкий диапазон суждений относительно нравственности политики. Напомню в этой связи слова Гегеля о том, что государство — не произведение искусства, что оно живет и действует в мире, а тем самым в сфере произвола, случайности и заблуждений, вносящих серьезные искажения в его жизнь. Потому-то, говоря словами Маркса, государство «всюду впадает в противоречие между своим идеальным назначением и своими реальными предпосылками»⁵⁸.

Во многом по этой причине провозглашаемые законом свобода и равенство нередко выливаются в привилегии, в господство одних над другими. Как результат, мы видим повсюду постоянный конфликт между общим и частным интересом, между политическим

государством и гражданским обществом, а тем самым — между политикой и общественной нравственностью. Здесь нужно учитывать и то обстоятельство, что гражданское общество как царство анархии и индивидуализма постоянно порождает в своих недрах различные виды индивидуальной морали, входящие в противоречие и конфликт с коллективным сознанием и соответствующей ей общественной нравственностью и политикой.

Политика, разумеется, может быть и безнравственной, когда ведет к разрушению государства, способствует анархии, когда пытается навязать народу государственное устройство и учреждения либо переставшие отвечать духу народа, либо в принципе ему чуждые, когда, наконец, люди в массе своей перестают доверять ей и когда тем самым рушится единство общего и индивидуального.

История знает немало политиков и партий, проводивших преступную политику, нисколько не заботясь и даже не помышляя об истинных целях и задачах государства, о благе народа в целом, о судьбах нации и родины и руководствуясь главным образом стремлением к власти, желанием править и повелевать, рассматривая государственную власть как средство достижения своих корыстных личных или партийных интересов. Такого рода «политика» безусловно безнравственна.

* * *

До сего момента, говоря о критериях нравственности политики, мы рассматривали ее как социальный феномен вообще. Свои особенности в этом смысле имеет и политика, *взятая как действие* и, соответственно, оценка этого действия. Здесь тоже имеются свои специфические этико-политические отношения, и суть их достаточно полно раскрыта М. Вебером в упоминавшейся работе «Политика как призвание и профессия».

«Мы должны уяснить себе, — пишет он, — что всякое этически ориентированное действие может подчиняться двум фундаментально различным, непримиримо противоположным принципам: оно может быть ориентировано либо на «этику убеждения», либо на «этику ответственности». Не в том смысле, что этика убеждения оказалась бы тождественной безответственности, а этика ответственности тождественной беспринципности. Но глубиннейшая противоположность существует между тем, действуют ли согласно

этики убеждения... или же в соответствии с этикой ответственности...»⁵⁹

Исповедующий этику убеждения чувствует себя ответственным лишь за то, *чтобы не гасло пламя чистого убеждения*, будь то пламя протеста против социальной несправедливости или пламя борьбы за права человека, за демократию или что-то иное в том же роде. Разжигать его снова и снова — вот цель его совершенно иррациональных с точки зрения возможного успеха постулатов.

И наоборот: кто исповедует этику ответственности, всегда принимает в расчет человеческие недостатки. Он, как верно подметил Фихте, не имеет никакого права предполагать в людях доброту и совершенство, он не вправе и сваливать на других последствия своих поступков, коль скоро мог их предвидеть. Такой человек скажет: *«Эти следствия суть результат моей деятельности»*⁶⁰.

Можно, следовательно, утверждать, что этика ответственности и есть, по сути дела, выражение *политической этики*, тогда как этика убеждения — выражение частной или некоей абсолютной морали. Самое худшее случается в том случае, когда политическая этика (или этика ответственности) подменяется этикой частной, этикой убеждения. Не нужно далеко ходить за примерами, иллюстрирующими случаи такого рода подмены: они перед нашими глазами. Особенно их много в нынешней России, где этика убеждения часто берет верх над этикой ответственности.

Соглашаясь с Вебером в принципе, вряд ли можно согласиться с его категорическим утверждением, что между «этикой ответственности» и «этикой убеждения» существует глубокая противоположность. Та и другая, думается, вполне совместимы. Ведь политик, действующий на основе этики ответственности, тоже не лишен убеждений, страстей, чувств: всё дело здесь в распределении меры и акцентов. Да и сам Вебер признает, что для политика решающими являются три качества: страсть, чувство ответственности и глазомер. Естественно, что одной страсти (или убеждения), сколь бы искренней та ни была, еще недостаточно.

«Она не сделает вас политиком, — резюмирует он, — если, являясь служением “делу”, не сделает ответственность именно перед этим делом главной путеводной звездой вашей деятельности... Политика “делается” головой, — добавляет он, — а не какими-нибудь другими частями тела или души»⁶¹.

Прибавлю всё же от себя: и головой, и одновременно какими-то «струнами» души.

К сказанному следует добавить и то, что этика ответственности, поскольку речь идет о ней, всегда строится на реальном учете конкретно-исторических обстоятельств и соотношении сил. Каждый политический деятель связан определенными обязательствами, вытекающими из его программы, обещаний и личных убеждений. Однако такого рода обязательства и обещания далеко не всегда соответствуют сложившимся объективным условиям. В этом случае нередко возникает «ситуация моральных ножниц». Суть ее в следующем: в жизни бывают такие обстоятельства, когда то, что политический деятель *должен* делать, исходя из обещаний и личных убеждений, *невыполнимо* из-за отсутствия для этого условий; а то, что он реально *может* делать в данных условиях, *противоречит* всем его обещаниям, интересам и принципам.

Ответственный политик ищет выход из этих «ножниц» путем разумной корректировки целей и средств, если нужно, то и временного отступления, не пытаясь обманывать ни себя, ни тех, чьи интересы он представляет. Тот же, кто действует на основе одной лишь «этики убеждения», идет обычно напролом, не считаясь с реальными условиями жизни. Те служат для него предлогом для безудержной демагогии, выпячивания собственной персоны, игры в показную героика и т.п. Сегодня нам слишком хорошо известны эти, как говорил Зиммель, «стерильно возбужденные» политические дилетанты, эти фигляры на политической арене, озабоченные главным образом производимым на публику эффектом, наслаждающиеся властью как таковой, вне содержательной цели и готовые ради удовлетворения собственного тщеславия разжечь, подобно Нерону, пожар в собственном отечестве.

Средства политики и нравственность

Проблема соотношения политики и нравственности, как бы та ни затуманивалась, на деле сводится, в конечном счете, к имманентно присущим политике средствам насилия и принуждения. Именно в них, в конечном счете, упираются все рассуждения о нравственности политики, и они дают основание любому дюжинному моралисту произносить в адрес политики свои приговоры. Даже Ницше, глубоко презиравший всякое морализирование, не смог удержаться от этой слабости.

«Все средства, — писал он, — которые до сих пор должны были сделать человечество нравственным, были совершенно безнравственны»⁶².

Если следовать суждению Ницше, то выходит, что цели, которые человечество ставит перед собой, в общем и целом нравственны; средства же, используемые для их реализации, безнравственны; и результат такого сочетания, естественно, не может быть позитивным. Но если это так, то нельзя не прийти к печальному выводу, что либо человечество чудовищно глупо и порочно, либо над ним тяготеет какой-то рок, понуждающий его помимо воли в выборе между добром и злом постоянно выбирать зло.

Есть, правда, еще одно «либо», а именно: политические цели и средства оцениваются не теми мерками, не теми критериями. Дело в том, что люди часто ставят перед собой возвышенные, идеальные цели, являющиеся плодом чистого, так сказать, разума. Средства же, наоборот, всегда глубоко материальны, заземлены — отсюда глубокий и неустрашимый разрыв между теми и другими. И вот с таким тяжким бременем несоответствия между целями и средствами их реализации человечество движется всю свою историю, попрекаемое моралистами. Стоя как бы в стороне от общего движения, те обвиняют движущихся в неморальности способа их движения.

Гёте, которого никто не заподозрит в неморальности, принадлежит глубокая мысль:

*«Совесть является добродетелью сторонних наблюдателей, а не участников действия»*⁶³.

Возвращаясь к суждению Ницше, замечу, что в нем имеется еще одна принципиальная ошибка, которая допускается довольно часто. Ницше говорит о *«безнравственных средствах»*; но всё дело в том, что средства не могут быть ни нравственными, ни безнравственными — они сами по себе нравственно нейтральны. Одно и то же средство может быть использовано и в дурных, и в добрых целях. Нравственны или безнравственны *не средства, а цели, намерения и действия людей*. Но и это не всё: цели, намерения, действия тоже нравственны или безнравственны *не сами по себе, а лишь в соответствующей системе нравственных координат, то есть в системе определенных ценностных установок и суждений*. То, что считается нравственным сегодня, в данном месте, у данного народа, в данной социальной среде, может расцениваться как безнравственное в иное время, в ином месте, у дру-

ного народа, в другой социальной среде. Тут нет ничего абсолютного, тут всё относительно.

Нельзя не заметить, что за всю долгую историю политической мысли лишь немногим удалось в своих суждениях благополучно проплыть между Сциллой «нравственных» целей и Харибдой «ненравственных» средств, не соскользнув при этом в бездну пустого морализирования. Среди тех, кому это определенно удалось, можно назвать имена Макиавелли, Гегеля и, быть может, еще Дюркгейма и М. Вебера, если брать в расчет только теоретиков. У практиков в этом смысле дело всегда обстояло гораздо проще: большинство из них в применении тех или иных средств руководствовалось, прежде всего «государственными соображениями», а не моральными сентенциями. Впрочем, многие теоретики в данном вопросе также близко держались почвы. Для Макиавелли, скажем, высшей политической целью являются интересы Государства, а потому для их защиты нравственно оправданны любые средства.

«Когда вопрос стоит о спасении Отечества, — писал он, — нельзя останавливаться даже на миг для размышления, является ли какое-то средство законным или незаконным, мягким или жестким, похвальным или постыдным, но, отбросив в сторону все другие соображения, следовать до конца, каким бы при этом ни было то средство, которое спасет жизнь Государства и сохранит его свободу»⁶⁴.

По мнению того же Макиавелли, достоин порицания не тот, кто использует средства насилия для решения великих и благородных задач самосохранения народа или государства, а тот, кто совершает насилие с целью их разрушения. Приписываемый Макиавелли принцип: «*цель оправдывает средства*» понимался им на самом деле иначе: «*цель определяет выбор средств*», и нравственность выбора определяется нравственностью самой цели. Иными словами, нравственная оправданность применяемых средств должна соответствовать нравственной оправданности цели. Цель же, поскольку речь идет о политике, оправданна и, следовательно, нравственна тогда, когда она вытекает из естественного хода исторического развития, из высших интересов государства, обеспечения его безопасности и блага его народа, когда она соответствует духу этого народа и реальным его потребностям. Ведь иначе можно объявить высоко нравственной любую абстрактную идею и использовать для ее реализации любые средства.

Если оценивать Макиавелли с этих позиций, то его можно назвать кем угодно, только не идеалистом. Он сам в «Государе» заявляет о своем кредо:

«Я предпочел следовать правде не воображаемой, а действительной — в отличие от тех многих, кто изобразил республики и государства, каких в действительности никто не знал и не видывал. Ибо расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру»⁶⁵.

Давая свои якобы аморальные советы, Макиавелли точно знает, каким целям те служат и каковы должны быть их последствия для его отечества. Не случайно он был так высоко оценен такими выдающимися мыслителями, как Спиноза и Гегель. Гегель не только воздал должное гениальности его произведений, но и решительно выступил против отрицательного, ханжески-негативного отношения общественного мнения к Макиавелли и его главному труду — «Государь».

«Творение Макиавелли, — замечает Гегель, — останется в истории важным показанием, которым он засвидетельствовал перед своим временем и своей собственной волей, что судьба народа, стремительно приближающегося к политическому упадку, может быть предотвращена только гением»⁶⁶.

Вся история свидетельствует, что могущественные государства обязаны своим возвышением великим людям, поскольку именно они наиболее полно выражают назревшую потребность и волю народа. Даже если при этом возникает тирания, то и она, по мнению того же Гегеля, необходима и справедлива, коль скоро она конституирует и сохраняет государство. Именно в таком высоком духе и написан «Государь» Макиавелли, отечество которого было растоптано чужестранцами, опустошено, лишено самостоятельности, раздроблено. Единственным средством спасти государство и его целостность было уничтожение этих отдельных суверенитетов.

«Государственная власть, которая знает, что она есть, — резюмирует Гегель, — должна иметь мужество в каждом необходимом слу-

чае, где компрометируется существование целого, действовать *совершенно тиранически*»⁶⁷.

Сам Гегель был достаточно мужествен, чтобы, в противовес господствовавшей точке зрения о наличии конфликта между политической и справедливостью, утверждать, что такого конфликта не существует. Невозможно, считал он, чтобы политика — эта важнейшая сфера человеческой деятельности — была в конфликте с правами и обязанностями или с нравственностью.

Высший нравственный долг государства, по Гегелю, — защищать себя всеми доступными средствами от внешних и внутренних разрушительных сил. И в этом отношении, он был последовательным продолжателем линии Аристотеля и Макиавелли.

Обращаясь к взглядам Макиавелли и Гегеля, оценивая их, нужно во избежание поспешного суда над ними всегда иметь в виду историческую ситуацию, в которой эти взгляды вырабатывались. Самые «крайние» советы того и другого давались в то время, когда, соответственно, Италия и Германия находились в состоянии хаоса и анархии и когда только сильная и ответственная государственная власть могла вывести их из бедственного положения.

В этом смысле читателю можно порекомендовать также «Артхашастру, или Науку политики» и упоминавшуюся выше «Книгу правителя области Шан» — замечательные документы философско-политической мысли Древней Индии и Древнего Китая⁶⁸. По сравнению с ними «Государь» Макиавелли покажется вполне невинным сочинением. Так, скажем, в качестве средств политики «Артхашастра» называет помимо мирных переговоров и такие, как подкуп, шантаж, сеяние раздора, открытое нападение. Недовольство среди поданных советуется устранять путем уничтожения вожаков недовольных и т.д.⁶⁹ Тут, как и в Библии, за внешне жестокими советами и действиями скрывалась некая высшая справедливость и высшие нравственные побуждения, помогавшие народам выживать в нелегких условиях своего времени. Но даже если взять все «аморальные» советы «Артхашастры» или Макиавелли в их, так сказать, чистом виде, то надо признать, что многие средства, применявшиеся в далеком прошлом, применяются и поныне, притом самыми демократическими и цивилизованными государствами. Делается это, правда, не столь откровенно и, конечно, всегда под прикрытием завесы из приличествующих случаю моральных сентенций.

Самообман и лицемерие являются неизменными элементами жизни человека; в еще большей степени они присущи социальным

группам как выразителям концентрированного эгоизма. Государству мало того, что оно выполняет нравственную уже по самой своей природе задачу обеспечения безопасности и выживания соответствующего народа; оно к тому же постоянно претендует на то, чтобы быть носителем и неких высших моральных ценностей. Вот почему есть немалая доля истины в словах Нибура, что наиболее существенной чертой государства является лицемерие⁷⁰.

То же самое, кстати, отмечал и Маркс в рассуждениях о религиозном государстве, применимое, однако, к любому государству, сознательно провозглашающему в качестве основы своего бытия какую-то особую систему нравственности. Такое государство, по словам Маркса, попадает в мучительное и непреодолимое с точки зрения религиозно-нравственного сознания положение, когда от него требуют выполнения им же провозглашенных норм морального поведения, которым государство «не только не следует, но даже и не может следовать, если не хочет своего полного распада в качестве государства»⁷¹.

В самом деле, реализация самых «нравственных» целей сопряжено, как правило, с необходимостью использования нравственно сомнительных средств, тем более что главным, «специфическим» средством политики в любом случае остается всё же та или иная форма насилия. Вот почему политике постоянно и неизбежно приходится сталкиваться с разного рода этическими парадоксами. Один из них содержится в следующем афоризме Моргентау:

«Политическая этика есть этика совершения зла»⁷².

Вебер также считал, что

«невозможно натянуть один колпак на этику убеждения и этику ответственности или этически декретировать, какая цель должна освящать какое средство»⁷³.

Тот, кто связывает себя с политикой, то есть с властью и насилием как ее средством, заключает пакт с дьявольскими силами, и здесь не то истинно, что из доброго может следовать только доброе, а из злого лишь злое, но зачастую, наоборот: из доброго — злое, а из злого — доброе. В замечательном «политическом» романе Уорена «Вся королевская рать» есть в этом отношении примечательная сценка. Герой романа губернатор Вилли Старк наставляет Адама Стентона перед его вступлением на пост директора больницы такими словами: «Ты

должен делать добро. И должен делать его из зла. Знаешь почему? Потому что его больше не из чего сделать».

«Кто не видит этого, — считал Вебер, — тот в политическом отношении действительно ребенок»⁷⁴.

И тут вряд ли можно обнаружить точки соприкосновения между политической этикой и абсолютной нравственностью:

«Кто ищет спасения своей души и других душ, тот ищет его *не на пути политики*, которая имеет совершенно иные задачи — такие, которые можно разрешить только при помощи насилия ...ибо всё, достигнутое политическим действием, которое использует насильственные средства и работает в русле этики ответственности, угрожает “спасению души”»⁷⁵.

Тут уж поистине: «Кесарю — кесарево, богу — богово». И когда одно сознательно подменяется другим, вряд ли можно ожидать чего-то доброго. Здесь, скорее, открывается простор лицемерию и фарисейству. Но всё дело в том, что стремление к такой подмене неистребимо, оно уже вошло в плоть и кровь всей жизни человека, смущает его ум, не дает ему возможности разобраться и в без того сложной проблеме. В самом деле: «кесарево» не желает быть только «кесаревым»: оно повсюду и всегда стремится освятить свои, отнюдь не боговы деяния, «боговой» фразеологией. Вот почему «*морализирующая политика*» стала обычным явлением жизни; да и сама жизнь перестала быть естественной, и тоже превратилась в «*морализирующую жизнь*».

* * *

Выше было показано, что *политика, отвечающая глубинным национальным интересам, нравственна уже по сути своей*, более того, в этом случае есть основание отождествить политику и нравственность. Из этого, казалось бы, логически должно следовать, что нравственны и применяемые политикой средства, в том числе и средства насилия. Но тут-то и загвоздка: человек, исходя из абсолютных моральных принципов, не хочет признавать нравственными те цели, которые требуют для своей реализации применения насилия, хотя при этом твердо знает, что насилие было и остается мощным двигателем истории и что ни одно великое деяние не со-

вершалось без насилия. Морализирующий человек не желает признавать простого факта, а именно: если применение насилия аморально, то аморальна вся история человечества. Но тем самым вся проблема соотношения политики и нравственности безнадежно запутывается. Мыслители прошлого, не отягощенные бременем современной цивилизации со всем ее лицемерием и ханжеством, были в этом смысле более искренними и честными в своих суждениях, а потому и ближе к истине.

Следуя великим учителям прошлых эпох, скажем: неверна сама постановка проблемы, что политика *должна быть нравственной*, что она должна взять на вооружение те или иные нормы нравственности. В такой постановке политика выглядит как нечто изначально не нравственное, лишь должно стать нравственным благодаря усилиям то ли мудрых политиков (а, как известно, самый мудрый тот, кто правит в данный момент), то ли бог знает кого еще. На самом же деле степень нравственности политики определяется *не оценкой* мудрецов или моралистов, а *степенью нравственности общества*, которому та служит, и нравственностью целей, которые оно ставит перед собой и решает.

Утверждения, что политика *должна* стать нравственной, возникают только в случае подмены реальной политической этики, какая она есть в жизни, этикой абсолютной, или — подмены кесарева боговым. Нередко это делается и в сугубо спекулятивных, демагогических целях, для завоевания дешевой популярности, обмана народа, приобретения политического капитала — в общем, для элементарного надувательства. Но это уже иная сфера, и она выходит за рамки обозначенной темы.

В заключение скажу, что, независимо от наших суждений, в каждом «кесаре» всегда имманентно содержится какая-то часть «богова», как и наоборот: каждое «богово» непременно несет в себе частицу «кесарева». Конкретное же соотношение того и другого определяется самой жизнью. Если бы это было не так, мы были бы свидетелями четкого деления мира на темное и светлое царства, на Царство Божие и царство дьявола. Мир, однако, в этом смысле хорошо и добротнo перемешан так, что никому из смертных не дано знать наверное, что есть добро, а что — зло. В этом, быть может, одна из его прелестей.

Нравственность и международная политика

Чтобы было яснее, как обстоит дело с проблемой соотношения политики и нравственности в сфере международных отношений, полезно для начала отметить некоторые моменты, касающиеся различия между внутренней и внешней политикой, прежде всего различие тех систем отношений, в которых та и другая реализуются.

Начну с утверждения, что существует принципиальное отличие внутрисоциальной среды от среды внешнеполитической. Государство обладает монополией политической власти *только в пределах собственных национальных границ*. Вне их оно является одним из многих, формально равноправных, политически независимых государств, отношения между которыми практически складываются не на основе каких-то моральных принципов, а главным образом на основе интересов и баланса сил.

Выше говорилось о монополии на легитимное насилие как основной характеристике сущности государства. Если по отношению к внутреннему миру данное положение в принципе не вызывает сомнений, то по отношению к миру внешнему возникает двусмысленность. В самом деле: применение силы вовне может быть оправданно с позиции безусловного права государства прибегать к силе в случае угрозы, и в то же время оно может быть нелегитимно с точки зрения международного права даже при всей неопределенности последнего. Несоответствие этих двух систем права нередко создает неразрешимые политические и этические проблемы. И дело во все не в успехе или неуспехе применения насилия вовне: оно может быть успешным, не будучи легитимным. Как верно отмечал тот же М. Вебер, этот успех зависит, в конечном счете, от соотношения сил, а не от этического «права», даже если можно было бы выявить его объективные критерии⁷⁶.

В данной связи отметим еще одну важную особенность международных отношений в сравнении с отношениями внутрисоциальными. Дело в том, что отдельные лица, находящиеся между собой в частных отношениях, могут жить совместно как свободные граждане не иначе как под общими нормами права, определяющими и гарантирующими их свободу. Эти нормы носят публично правовой характер, или, другими словами, имеют целью подчинить частную (анархическую) волю общим интересам общества. Свобода человека в обществе — это отнюдь не право делать всё, что душе угодно. Человек имеет право заниматься всем, к чему лежит его душа,

но *только при одном непременном условии*, а именно, что это не наносит ущерба правам других.

Однако, как показывает весь мировой исторический опыт, сам человек не в состоянии определить границу между своим правом и правами других. Граница эта определяется *законом*. Соответствующие ему нормы устанавливаются публичной властью, не зависящей от частного произвола, то есть властью, представляющей общество как единое целое и выступающей по отношению к нему как *внешняя необходимость*.

Без подчинения разрозненных, частных интересов и воле единому общественному интересу и воле нет благоустроенного общества, где свобода одних не входила бы в противоречие со свободой других. Человек как индивидуум имеет свои особые эгоистические интересы и устремления, он нередко действует в ущерб другим. Вот почему мирное, безопасное сожительство людей невозможно там, где этим частным устремлениям предоставляется полный простор, где каждый может безнаказанно вторгаться в область чужих интересов. Отсюда необходимость общественной силы, подчиняющей себе силы частные. Эта сила (или власть) составляет, как уже говорилось, первый и необходимый элемент всякого общественного устройства, его нормального функционирования и развития. Сила эта дает обществу реальное бытие, и без нее нет подлинного единства, нет целого, а есть лишь разрозненные элементы, действующие на основе законов борьбы за существование и прочих «естественных» законов. То же касается и морали: все этические нормы и принципы, как мы уже выяснили выше, получают силу права от государства, то есть благодаря определенной системе принуждения.

В отношениях же межгосударственных нет высшего органа, который выносил бы свои безоговорочные приговоры о правомерности тех или иных действий государств. Нет, следовательно, и соответствующего гаранта их мирного сосуществования и безопасности, гаранта их «нравственного» поведения. Судьей своих действий и требований остаются, по сути дела, сами государства, и в отношениях между ними отсутствует основа публично правового состояния, аналогичного внутригосударственному.

«Государство, имеющее возможность не подчиняться никаким внешним законам, — писал Кант, — не будет ставить в зависимость от суда других государств тот способ, каким оно отстаивает по отношению к ним свои права...». Вот почему, продолжает он, все варианты

теории международного права расплываются, как правило, в бессодержательные, невыполнимые идеалы⁷⁷.

Конечно, со времени Канта ситуация изменилась, и сегодня государства так или иначе вынуждены соотносить свои действия на мировой арене с судом других государств, с Уставом ООН, но все же не до такой степени, чтобы можно было уравнивать силу воздействия внутренних норм права и норм международного права. Последние продолжают во многом сохранять факультативный характер в противовес лицемерному суждению, что международное право имеет приоритет над правом внутригосударственным. Практика межгосударственных отношений не дает оснований рассматривать существующее международное право в качестве надежного гаранта безопасности и мирного сосуществования государств. Более того, оно не только не может служить таким гарантом, но и само часто нуждается в гарантиях. Международное право покоится на договорах, содержащих уже в самом акте их заключения предлог для своего нарушения⁷⁸. Ведь сама идея международного права предполагает и исходит из существования и противоборства многих не зависимых друг от друга государств. Такое же положение если и не есть состояние войны, то, по крайней мере, его постоянная предпосылка.

В самом деле, центральным международно-правовым принципом, призванным, казалось бы, обеспечить мир и безопасность, является отказ от применения силы в международных отношениях, юридически зафиксированный еще в 1928 году в пакте Бриана–Келлога и затем многократно подтвержденный в различных международно-правовых документах, включая Устав ООН. Этот принцип, однако, не соблюдается и не соблюдается на практике повсеместно не из-за формального несогласия государств с ним (наоборот, на словах все выступают его поборниками), а из-за отсутствия реальных предпосылок для его осуществления. К ним добавим и отсутствие некоей всемирной исполнительной власти со строго обязывающими полномочиями, аналогичной той, которая в рамках государства гарантирует своим гражданам мир и безопасность.

Вследствие этого международно-правовой порядок зависит фактически от доброй воли самих государств. «Доброй» же она бывает далеко не всегда, а потому одним из главных, если не единственным инструментом обеспечения безопасности государств (пусть даже инструментом во многом иллюзорным и ненадежным) остается механизм поддержания между ними относительного равновесия сил.

Еще Гоббс утверждал, что мораль в общепринятом смысле этого слова *не действует* в отношениях между государствами, поскольку нравственные нормы предполагают существование непрекаемого авторитета; суверенные же государства не имеют над собой более высокой власти и более высокого авторитета, чем они сами. Поэтому там, где главным, если не единственным принципом поведения служит принцип самосохранения, царит, по существу, «естественное состояние» и идет то скрытая, то явная «война всех против всех».

С большими или меньшими оговорками данный факт признается большинством исследователей международных отношений. И не удивительно: ведь основные начала отношений между государствами, выражающиеся в особых интересах каждого из них, в опоре на силу, в стремлении к преобладанию, не претерпела, да и не могла претерпеть существенных изменений со времен Фукидида — первого, кто дал систематическое их описание на примере отношений между греческими городами-государствами в период Пелопонесской войны (V в. до н.э.).

Анархичность — вот наиболее часто встречаемая оценка состояния, присущего международным отношениям. Но если это так, то какие, спрашивается, нормы морали или этические принципы действительны в таком состоянии? Записные моралисты отвечают: общечеловеческие нормы нравственности. Выше уже говорилось о ценности и сути такого рода суждений, поэтому не стану повторяться. Приведу на сей счет мнение Данилевского.

Тот считал, что применение правил христианской этики к отношениям между государствами есть не что иное, как странное смешение понятий, доказывающее лишь непонимание тех оснований, на которых зиждутся эти высшие нравственные требования. Требование нравственного образа действий есть, по его мнению, не что иное, как требование самопожертвования. Самопожертвование есть высший нравственный закон. Для всякого же разряда существ и явлений имеется свой особый закон.

«Что касается внешней политики и отношений между государствами, то здесь действует принцип “око за око, зуб за зуб”, бентамовский принцип утилитарности, то есть здраво понятой пользы. Тут нет места закону любви и самопожертвования. Не к месту примененный, этот высший нравственный закон принимает здесь вид мистицизма и сентиментальности»⁷⁹.

И это было сказано более ста лет назад. «Око за око, зуб за зуб», или так называемые законы талиона*. И если не закрывать глаза на правду, вот они-то фактически и должны быть признаны в качестве истинной подоплеки «нравственности» в международных делах. Ведь и сегодня мы видим, как в отношениях между самыми демократическими и цивилизованными государствами эти законы срабатывают порой с комичной автоматичностью, как они срабатывали и сотни лет назад. Одно государство, скажем, высылает из страны N-е количество сотрудников посольства другого государства; это «другое государство» незамедлительно высылает точно такое же число сотрудников первого; одно государство вводит таможенные пошлины на товары другого государства, последнее немедленно отвечает тем же; и т.д. и т.п.

Если уж и говорить о существовании общечеловеческих нравственных ценностей, то они заключены именно в законах талиона, в законах кровной мести, в библейском законе «око за око, зуб за зуб». Весь парадокс развития человечества в том, что этот нравственный закон наиболее естествен, наиболее понятен всем, он в полном смысле общечеловеческий. И как раз для обуздания такого рода естественно-нравственных норм понадобилось создание позитивного права государства, равно как и международного права в отношениях между государствами, хотя последнее по изложенным причинам далеко не столь эффективно, как первое.

Несмотря на всё это, ни в какой другой области нет таких претензий на то, чтобы политика отвечала моральным принципам, как в международных отношениях. Некоторые политические и государственные деятели буквально из кожи вон лезут в бесконечных сентенциях и поучениях, в требованиях сообразовывать политику с нравственностью. Претензии эти порой приобретают вид какого-то недуга, который Троцкий удачно назвал «*потением моралью*». Официальные моралисты, буквально обливаясь «моральным потом», призывают всех соблюдать этические принципы и в международном общении. Однако всякий раз обнаруживается, что за этими «испарениями моралью» скрываются банальные интересы, и чем сильнее эти интересы затрагиваются, тем сильнее «потение». Мы видим это сегодня наиболее ярко на примере Соединенных Штатов, чья мощь вследствие развала Советского Союза оказалась несбалансированной, и те взяли на себя роль не только мирового

* *Законы талиона* предусматривают возмездие, равное нанесенному ущербу («око за око, зуб за зуб»).

надзирателя за порядком, но и мирового морального наставника, поучающего всех и вся, как нужно себя вести внутри и вовне, грозящего непослушным, а то и попросту наказывающего тех, кто вышел из повиновения, как это, скажем, было в случае с Югославией, Ираком, Ливией, а сейчас с Сирией и Афганистаном.

Все это лишний раз убеждает в правоте тезиса, что *работающий* мировой порядок может основываться *только на балансе сил*. Несбалансированная мощь одной державы столь же пагубна для международных отношений, сколь пагубна анархия внутри государства. В этих случаях начинает действовать одна мораль — мораль сильного, а этика международных отношений (если можно о такой говорить вообще) превращается в гегемонию одной этики, внешняя же политика мощной державы — в мессианский интервенционизм.

Поучительны в этом смысле рассуждения известного американского ученого-международника Осгуда, взявшего на себя нелегкий труд примирить непримиримое — национальные интересы Соединенных Штатов и высшие нравственные идеалы. Осгуд считает, что из всех американских президентов лучше всего это удалось сделать Теодору Рузвельту (1858–1919). С одной стороны, как президент, а значит, лицо официальное, тот придерживался мнения, что пока люди остаются лояльными по отношению к своему государству, любые общие идеалы и чувства с необходимостью подчинены национальному интересу. Лишь ограниченные люди, по его мнению, могут игнорировать этот факт и проповедовать альтруизм и необходимость разоружения. Делать это позволительно, по Рузвельту, только до того момента, покуда их озабоченность судьбой человечества совместима с национальным интересом США. Когда же интересы других государств начинают входить в конфликт с американскими интересами, тогда для Рузвельта не было никаких сомнений в том, что единственным средством его решения делаются не какие-то абстрактные общечеловеческие интересы, а военная мощь Америки.

В то же время, признавая приоритет национального интереса, Рузвельт пытался совместить их с разделяемыми американским народом общими либерально-демократическими и христианскими идеалами. В одном из своих посланий Конгрессу он заявлял:

«Когда утверждают, что внешнеполитическое поведение правительства основывается и всегда должно основываться на простом эгоизме и что применение этических критериев к такому поведению есть

признак лицемерия, такое суждение не только ошибочно, но и грубо цинично. Это столь же неверно в отношении поведения правительств, сколь и в отношении поведения индивидов... Для государства было бы не только глупо и ошибочно пренебрегать своими интересами, но глупо и даже безнравственно думать, что и другие государства способны пренебречь своими. Для государства ориентироваться лишь на собственные интересы было бы безнравственно; но в то же время было бы глупостью считать, что единственным мотивом поведения всякого другого государства является только забота о его собственных интересах. Наша твердая цель — поднять этический стандарт своего национального поведения в той же мере, в какой мы стремимся поднять его и в индивидуальном поведении»⁸⁰.

Этот отрывок из заявления Рузвельта — яркий пример неизбывного желания всякого стоящего у кормила власти политика, говоря словами М. Вебера, «напялить один колпак» на идеальное желаемое и реальное действительное. Просто защищать свои интересы, отстаивать их современному политическому деятелю уже недостаточно. Отстаивая свой сугубо эгоистический интерес, осуществляя свои корыстные цели и планы, тот еще желает, чтобы эти действия были освящены высокими нравственными идеалами, идеями спасения цивилизации, мира, демократии, защиты прав человека и т.д.

Когда тот же Рузвельт говорит о необходимости принимать в расчет и считаться с интересами других государств — в нем говорит этика ответственности и простой здравый смысл. Когда же тот начинает толковать об этических стандартах поведения государства, на поверку оказывающихся выражением евангельской этики, заведомо неприменимой в отношениях между государствами, тут уже вступает в действие даже не этика убеждения, а типичное политическое лицемерие.

Не только Рузвельт, но и многие другие американские политические деятели проходят мимо простого, в общем, вопроса: на каком, собственно, основании и почему Соединенные Штаты в отношениях с другими государствами присваивают себе право руководствоваться своей, пусть даже самой, на их взгляд, высокой, но в масштабе всего человечества всё же частной этикой? Представим себе на минуту, что в системе государств, состоящей из многих независимых членов, придерживающихся к тому же разных религиозно-этических систем, каждое из них начнет руководствоваться своими этическими принципами, например, магометанской или буддийской, и, соответственно, не только отвергать нормы других этических систем, но и вводить

санкции против тех, кто их придерживается? Думается, каждому ясно, что в этом случае мир будет охвачен не гипотетической, а реальной «войной всех против всех». Мир уже не раз был свидетелем, как даже частичное отражение во внешней политике некоторых стран Ближнего и Среднего Востока мусульманского фундаментализма тут же вносило в межгосударственные отношения напряженность, конфликтность, иррациональность и полную непредсказуемость. И совершенно ясно, что всё это нельзя устранить не чем иным, как только отказом государств от стремления руководствоваться в международном общении частными этическими или религиозными принципами. Но в равной мере это отосится и к так называемым либерально-демократическим идеалам, которые Соединенные Штаты и некоторые другие страны Запада всё время пытаются навязать в качестве единственного образца всему миру. Тут совершенно неуместен принцип: «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку». И когда из уст того же Теодора Рузвельта раздавались такие слова:

«...Когда мир и справедливость вступают в конфликт, то великий и честный народ никогда ни на минуту не заколеблется, чтобы следовать путем, ведущим к справедливости, даже если этот путь ведет к войне»⁸¹,

— любому грамотному человеку понятно, что слово «справедливость» несет в данном случае чисто американскую нагрузку, а весь этот пассаж отражает присущий и по сию пору американской внешней политике дух «мессианского интервенционизма». Собственно, иной по своей сути и не может быть внешняя политика всякой мощной державы, желающей руководствоваться во внешних делах собственной системой нравственных ценностей.

Более взвешенными представляются взгляды Ганса Моргентау. Тот рассматривал благоразумие, сдержанность и учет возможных последствий политических действий как высшее нравственное достоинство внешней политики и отрицал применимость к ней универсальных моральных принципов. Он неоднократно напоминал о том, как часто государственные деятели, исходя из идеальных намерений, желали улучшить мир, и как часто они кончали тем, что еще больше его ухудшали⁸².

К той же категории реалистически мыслящих ученых отнесем и Шлезинджера (мл.). Хотя и не без некоторой доли колебаний он выступает против того, чтобы отвлеченные моральные нормы определяли и направляли внешнюю политику.

«Нравственность государств, — считает он, — имеет принципиальное отличие от нравственности индивидуумов. Быть безгрешным могут позволить себе святые, но государственные деятели должны быть *ответственными*. Они должны защищать интересы тех, кто вверил им свою судьбу, и идти, если надо, на компромиссы с принципами. Поэтому политика есть та сфера, где практическое и благо разумное суждение должно иметь приоритет над моральными приговорами»⁸³.

Тот же, кто, по его мнению, превращает конфликт политических интересов в конфликт между добром и злом, неизбежно ставит себя в положение нравственного превосходства. Отсюда же рукой подать до желания навязывать другим (если понадобится и силой) свои нравственные представления. Вот почему нет ничего более вредного для международной политики, заключает он, чем чрезмерная добродетельность⁸⁴.

Шлезинджер иллюстрирует справедливость своих выводов примером интервенции Соединенных Штатов во Вьетнам. Он считает, что Индокитай и события в нем не имели никакого отношения к американским национальным интересам. Главным мотивом вмешательства в дела этого региона был мотив идейно-нравственный, следствие веры американских политических деятелей в то, что определять их внешнеполитические решения в этом районе мира должны моральные принципы. Выразилось это, считает он, в склонности расценивать гражданскую войну во Вьетнаме прежде всего как моральную проблему.

«Это же вело руководство Соединенных Штатов к формулированию сугубо политических вопросов в понятиях этики, чисто локальных вопросов — в глобальных терминах и вопросов относительных — в абсолютных категориях»⁸⁵.

Общий вывод Шлезинджера, как и всех остальных, кто смотрит на политику как внутреннюю, так и внешнюю не замутненными морализирующей пеленой глазами, прост и естествен:

«Самая разумная и безопасная основа для внешнеполитических решений лежит не в выискивании того, что в поведении других государств морально, а что неморально, но в верном понимании соотношения собственных национальных интересов и национальных интересов других государств и существующего в системе государств баланса сил».

В этом смысле классический подход к оценке собственных национальных интересов, подход, свободный от всяких абстрактных идейно-этических оценок, демонстрирует нам такой авторитет в области политики, как Черчилль.

«На протяжении четырех столетий, — писал он, — внешняя политика Англии заключалась в том, чтобы противостоять наиболее сильной, наиболее агрессивной, наиболее доминирующей державе на континенте... Для политики Англии не имеет значения, что представляет собой государство, стремящееся к господству в Европе. Для нее не имеет значения, является ли им Испания или французская монархия, французская или германская империи, гитлеровская Германия или кто-то еще. Не имеет в этом случае никакого значения и то, кто возглавляет эти государства и какие народы их населяют. Речь идет о любом могущественном и стремящемся к господству государстве. Поэтому нас не пугают обвинения в том, что мы проводим профранцузскую или антигерманскую политику. Если обстоятельства изменятся, мы будем с таким же успехом проводить прогерманскую или антифранцузскую политику. Мы следуем *законам политики*, а не простой выгоде, диктуемой случайными обстоятельствами, симпатиями, антипатиями или иными подобными эмоциями»⁸⁶.

Пока существуют государства, имеющие свои, отличающиеся от других государств системы этических ценностей, свои интересы — другой «нравственной» основы, кроме выраженной Черчиллем применительно к специфическим интересам Англии, но в общей форме имеющей значимость и для других государств, нет и, в принципе, быть не может.

Кстати, это прекрасно понимал еще Кант в своих рассуждениях на тему о возможности вечного мира. При существующем положении вещей, считал он, не только невозможен вечный мир, но и простой мир готов каждый миг соскользнуть в состояние войны. В качестве хотя бы первой предпосылки к нему должна быть создана какая-то форма организации государств, способная направить их эгоистические наклонности по такому руслу, чтобы интересы одних не входили в конфликт с интересами других. Тем самым государства (аналогично людям в рамках общества) принуждались бы стать если и не моральными сами по себе, то, по меньшей мере, хорошими членами мирового сообщества. Такой формой он считал федерализм и «всеобщее правовое гражданское общество». Под ним он подразумевал сообщество, в котором его членам предоставляется свобода,

но свобода совместимая со свободой других, что возможно только в сочетании с законом, то есть с известным принуждением. Кант также считал, что нет и не может быть никакого другого способа выйти из состояния постоянной войны, кроме как отречься, подобно отдельным людям, от своей *дикой свободы* (не основанной на законе), приспособиться к публичным принудительным законам и образовать таким путем постоянно расширяющееся «государство народов», которое, в конце концов, охватит все народы земли, превратившись во всемирную федерацию⁸⁷.

С точки зрения логики схему Канта можно признать безупречной. Но, как хорошо известно, далеко не всё логически возможное возможно также исторически. Сегодняшний мир не дает нам никаких оснований для надежды на реализацию плана всеобщей федерации государств, как не давал ее, собственно, и тот мир, в котором жил Кант. Что же касается отдаленного будущего, то не наша задача строить на этот счет догадки.

* * *

Итак, краткое резюме из сказанного можно свести к следующему. В межгосударственном общении нормы индивидуальной морали *не действуют*, поскольку они строятся на иных принципах отношений. За всеми декларациями о необходимости следовать универсальным, «общечеловеческим» нормам морали обычно скрывается либо наивный политический дилетантизм, либо претензии на гегемонию какой-либо одной, особенной системы нравственных ценностей. Государственная (политическая) этика в международных отношениях должна основываться на принципах национального интереса (с учетом соответствующих интересов других государств), на соотношении и балансе сил в системе государств, на благоразумии, чувстве ответственности за судьбу своего народа и системы в целом, ответственности за последствия принимаемых решений и своих действий. Эти требования можно назвать банальными, но других просто не существует.

Примечания

¹ Коммунист. 1990. № 8. С. 109.

² *Троцкий Л.* Их мораль и наша // Вопросы философии. 1990. № 5. С. 123–124.

³ Цит. по: *Ethics and World Politics: Four Perspectives* / Ed. by Ernest W. Lefever. Baltimore & London, 1972. P. 22.

⁴ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 16. С. 11.

⁵ *Соловьев В.С.* Национальный вопрос в России // Соловьев В.С. Соч. В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 260.

⁶ Там же. С. 260–261.

⁷ Там же. С. 261–262, 263.

⁸ *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда // Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С. 222–223.

⁹ *Ницше Ф.* Антихрист // Ницше Ф. Соч. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 639.

¹⁰ См.: *Троцкий Л.* Их мораль и наша. С. 111.

¹¹ *Вебер М.* Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избр. произв. М., 1990. С. 694.

¹² *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 21. С. 298–299.

¹³ *Вебер М.* Политика как призвание и профессия. С. 695.

¹⁴ Там же.

¹⁵ *Кант И.* Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. В 6 т. М., 1965. Т. 4. Ч. 1. С. 260, 270.

¹⁶ *Шопенгауэр А.* Две основные проблемы этики // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М., 1992. С. 188.

¹⁷ *Шпенглер О.* Закат Европы. Т. 1. М., 1993. С. 524–525.

¹⁸ *Троцкий Л.* Их мораль и наша. С. 109.

¹⁹ *Waltz K.* Man, the State and War. N.Y., 1959. P. 216.

²⁰ *Ницше Ф.* Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Соч. Т. 1. С. 53, 54.

²¹ См.: *Спиноза Б.* Политический трактат // Спиноза Б. Избр. произв. В 2 т. М., 1957. Т. 2. С. 288.

²² *Вебер М.* Политика как призвание и профессия. С. 695–696.

²³ Тут берутся в расчет не какие-то отдельные выдающиеся личности, а средний человек.

²⁴ *Бердяев Н.* Судьба России. М., 1990. С. 273.

²⁵ См.: Вопросы философии. 1990. № 1. С. 102.

²⁶ *Франк С.Л.* Из размышлений о русской революции // Новый мир. 1990. № 4. С. 238.

²⁷ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 14. С. 230–231, 232.

²⁸ Одна из теологических версий объясняет противоречие между библейским богом и Христом тем, что первый был не всеобщим богом — Богом-Отцом, а лишь этническим богом евреев Яхве.

²⁹ См.: Исх. 32, 25–28.

³⁰ См.: *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 112.

³¹ См.: *Федотов Г.П.* Социальный вопрос и свобода // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2 т. СПб., 1991. Т. 1. С. 289.

³² *Ильин И.А.* О монархии и республике // Вопросы философии. 1991. № 5. С. 107.

³³ *Аристотель.* Политика. Кн. первая, II (18) // Аристотель Соч. В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 385.

³⁴ *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда. С. 369.

³⁵ *Гумилев Л.Н.* Древняя Русь и Великая степь. М., 1992. С. 600.

- ³⁶ См.: Лютер М. О рабстве воли // Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986. С. 333–334, 336, 349.
- ³⁷ Там же. С. 368, 369.
- ³⁸ Платон. Менон, 96 а, 99 е // Платон. Соч. В 4 т. М., 1994. Т. 1. С. 607, 612.
- ³⁹ См.: Макиавелли Н. Избр. произв. С. 388, 399.
- ⁴⁰ Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. С. 55.
- ⁴¹ Книга правителя области Шан («Шан цзюнь шу»). М., 1993. С. 165.
- ⁴² Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики. С. 116.
- ⁴³ Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Спиноза Б. Избр. произв. Т. 2. С. 248.
- ⁴⁴ Кант И. К вечному миру // Кант И. Трактаты о вечном мире. М., 1963. С. 170.
- ⁴⁵ Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М. 1969. С. 176.
- ⁴⁶ См.: Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики. С. 168
- ⁴⁷ Morgenthau Hans J. In Defense of the National Interest. N.Y., 1951. P. 34.
- ⁴⁸ См.: Кант И. К вечному миру. С. 169–170.
- ⁴⁹ Гегель. Философия права. М., 1990. С. 207.
- ⁵⁰ См.: Гегель. Философия истории // Гегель. Соч. М.-Л., 1935. Т. VIII. С. 38.
- ⁵¹ Цит. по: Holmes Robert L. On War and Morality. Princeton, N.J., 1989. P. 55.
- ⁵² Цит. по: Ethics and World Politics. P. 24.
- ⁵³ Цит. по: Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб., 1992. С. 245–246.
- ⁵⁴ Morgenthau Hans J. Politics Among Nations. P. 10.
- ⁵⁵ См.: Reinhold Niebuhr on Politics / Ed. by H.R. Davis and R.C. Good. N.Y., 1960. P. 84, 86–87.
- ⁵⁶ Toynbee Arnold J. Surviving the Future. Lnd., 1971. P. 113–114.
- ⁵⁷ Аристотель. Большая этика. Кн. первая, 1 // Аристотель. Соч. Т. 4. С. 296.
- ⁵⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 380.
- ⁵⁹ Вебер М. Избр. произв. С. 696–697.
- ⁶⁰ Там же. С. 697.
- ⁶¹ Там же. С. 690.
- ⁶² Ницше Ф. Сумерки идолов. Т. 2. С. 588.
- ⁶³ Цит. по: Reinhold Niebuhr on Politics. P. 324.
- ⁶⁴ Цит. по: Meinecke F. Machiavellism. Lnd., 1984. P.44.
- ⁶⁵ Макиавелли Н. Государь. С.345.
- ⁶⁶ Гегель. Политические произведения. М., 1978. С. 152.
- ⁶⁷ См.: Гегель. Иенская реальная философия // Гегель. Работы разных лет. В 2 т. М., 1970. Т. I. С. 357–359.
- ⁶⁸ См.: Артюхашастра, или Наука политики. М.-Л., 1959.
- ⁶⁹ См.: там же. С.79, 309 и др.
- ⁷⁰ Reinhold Niebuhr on Politics. P. 88.
- ⁷¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 396.
- ⁷² Morgenthau Hans J. Scientific Man VS Power Politics. N.Y., 1953. P. 202.
- ⁷³ Вебер М. Политика как призвание и профессия. С. 699.
- ⁷⁴ Там же.
- ⁷⁵ Там же. С. 703–704.
- ⁷⁶ Там же. С. 319.
- ⁷⁷ Кант И. К вечному миру. С. 175–176.

⁷⁸ См.: там же. С. 182.

⁷⁹ Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М. 1991. С. 33, 34.

⁸⁰ Цит. по: Osgood R.E. *Ideals and Self-Interest in America's Foreign Relations*. Chicago, 1953. P. 89.

⁸¹ Ibidem.

⁸² См.: Morgenthau Hans J. *Politics Among Nations*. P. 6–10.

⁸³ Schlesinger Arthur (Jr.). *National Interest and Moral Absolutes* // *Ethics and World Politics*. P. 24.

В связи с рассматриваемой проблемой см. известную работу Карра, написанную в 1939 г. В ней Карр довольно подробно останавливается на вопросе, почему государства не могут следовать тем же самым моральным нормам, что и индивиды (*Carr E.H. The Twenty Year's Crisis* // *Contemporary Theory in International Relations* / Ed. by Stanley Hoffman. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1960. P. 260–272).

⁸⁴ Schlesinger Arthur (Jr.). *National Interest and Moral Absolutes*. P. 27.

⁸⁵ Ibid. P. 37.

⁸⁶ Churchill W.S. *The Gathering Storm*. V. 1. *The Second World War*. Boston, 1949. P. 186, 187.

⁸⁷ См.: Кант И. К вечному миру // Кант И. Соч. В 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 274–275.

Глава IV

ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЯ

Понятие идеологии

Всякая общественная борьба, будь то между классами, сословиями, партиями или государствами, имевшая место в истории до сих пор, всегда велась и ведется вокруг идей. Именно через них и выражают себя многообразные интересы различных социальных сил. Даже рядовой солдат идет в бой, воодушевленный какой-то идеей. В этом и состоит суть человека: слово, мысль, идея всегда, везде и во всем предшествуют практическому действию человека и сопровождают его свершения.

Мы не всегда в состоянии до конца понять и познать подлинные причины крупных социальных движений и перемен. Они могут быть экономическими или политическими, религиозными или национально-этническими. Какими бы, однако, те ни были, они всегда выражаются в форме идей, объединяющих, сплачивающих и побуждающих к действию большие массы людей.

Само государство есть тоже воплощение двух начал: идеи и силы. Пока государство живет, ему явно или скрыто сопутствует некая общая идея, которая пронизывает все стороны его бытия и жизнедеятельности. Ведь и государственный (национальный) интерес также всегда выступает в форме господствующей центральной идеи, отражающей интересы и потребности данного государства в данный момент его развития и подкрепленной имеющейся в его распоряжении силой.

Но идея — это еще не идеология, хотя, как очевидно, та и другая неразрывно связаны. В советском прошлом под идеологией понималась единая система взглядов и идей: политических, правовых, нравственных, эстетических, религиозных, философских. Она рассматривалась как часть надстройки, отражающей, в конечном счете, экономические отношения, интересы соответствующих социальных групп и классов¹.

Однако данное определение вряд ли можно признать удовлетворительным. Начать с того, что идеология рассматривается в нем как часть надстройки. Об узости и односторонности такого подхода говорилось выше, и не стану повторяться. Помимо того, простое перечисление различных взглядов и идей не раскрывает специфического содержания рассматриваемого явления, глубинную его суть, по крайней мере в современном понимании.

Ближе к истине, думается, другой подход, рассматривающий идеологию как *целостную систему идей и представлений об окружающем мире*, с помощью которых формируется коллективное сознание, общественное согласие, мобилизуется общественная воля и утверждаются основные ценностные установки поведения. Как таковая, она служит созданию и закреплению в сознании людей общего представления о существующем в обществе порядке вещей и принятых в нем эталонов поведения².

После всего сказанного в предыдущих разделах излишне доказывать, что идеология не только неотрывна от ценностных установок социальных групп и индивидов, но и является главной формой их выражения. Понятие «идеология» близко по смыслу к понятию «мировоззрение», хотя они и не совпадают полностью. Мировоззрение, как и идеология, есть система представлений о мире, о месте человека в нем и о его отношении к окружающей его действительности. То и другое лежит в основании ценностных ориентаций и жизненных установок индивидов. Основное различие между ними видится в том, что идеология в большей мере, нежели мировоззрение, содержит *нормативный* элемент: она непосредственно служит закреплению или изменению существующих общественных отношений, формированию коллективного сознания. В отличие от мировоззрения, идеология (кстати, как и политика) имеет публично-принудительный характер; ее субстрат и цель не индивидум, а социальная группа в целом.

Идеология в той или иной форме присуща любой человеческой ассоциации, и в первую голову, конечно, государству. Можно сказать, что государство создает идеологию аналогично тому, как оно создает законы и формирует общественную нравственность. На этом уровне система различных взглядов и идей, обретая силовое подкрепление со стороны государства, превращается в идеологию как таковую, и та начинает формировать идейно-нравственную жизнь общества в соответствующем направлении. Тут происходит, в принципе, то же самое, что и с общественными нравственными нормами: та или иная норма сама по себе особой власти над людьми не имеет — одному она

по душе, другому нет. Подлинные свои роль и влияние она получает, будучи соответствующим образом подкрепленной правовыми нормами. Тогда, говоря словами Маркса, овладев массами, она становится материальной силой. Благодаря этому процессу необязывающая совокупность идей превращается в идеологию, то есть в систему обязывающих идей по отношению к данной социальной группе или данному обществу, даже если она и не закреплена в праве.

Гносеологические и исторические корни идеологии

Нет нужды доказывать здесь ту простую истину, что идеология, как и нравственность, есть продукт общественного бытия человека. Однако ограничиться лишь этим утверждением значило бы остаться в рамках тривиальной истины. Идеология — не просто продукт общественного развития; она родилась из глубинных потребностей человека как *Homo sapiens* аналогично тому, как из тех же потребностей родилась и религия — ближайшая и старшая ее родственница. Вот почему существует такое разительное сходство между той и другой — сходство, делающее подчас весьма затруднительным четкое различие между ними. Потребность эта — стремление к некоему идеалу, к конечной истине, к органичному и непротиворечивому мировоззрению, которое давало бы людям ясное представление о будущем, понимание добра и зла, справедливого и несправедливого и наполняло бы жизнь смыслом.

В то же время между религией и идеологией, при всем внешнем функциональном их сходстве, имеется и важное различие. Рассуждая о религии, Гегель пишет:

«Религия имеет своим содержанием абсолютную истину, и тем самым к области религии относятся высшие убеждения. В качестве созерцания чувства, представляющего познания, имеющего своим предметом Бога как неограниченную основу и причину, от которой всё зависит, религия содержит в себе требование, чтобы всё постигалось в этом аспекте и находило в нем свое подтверждение, оправдание, достоверность»³.

Содержанием религии является абсолютная истина в лице Бога и соответствующие ей высшие нравственные убеждения, то есть истина, не поддающаяся проверке земным опытом. Содержанием же

идеологии является истина относительная, доступная проверке человеческим опытом. Поэтому и покоящиеся на идеологии нравственные ценности также относительны, недолговечны и отмирают вместе с соответствующей идеологией. По сравнению с религиями срок жизни идеологий неизмеримо короче: первый измеряется столетиями и даже тысячелетиями, второй — десятилетиями. Этого срока бывает, как правило, вполне достаточно, чтобы простой человеческий опыт выявил всю тщету притязаний на создание «царствия божиего» на Земле.

В то же время всякая идеология тоже претендует на истину в последней инстанции, на некие высшие убеждения. У немецкого философа К. Ясперса находим такие рассуждения:

«Идеологией называется система идей или представлений, которая служит мыслящему субъекту в качестве абсолютной истины, на основе которой он строит свою концепцию мира и своего положения в нем, причем таким образом, что этим он осуществляет самообман, необходимый для своего оправдания, для маскировки своих подлинных интересов, для того, чтобы тем или иным способом уклониться от требуемых решений к своей выгоде в данной ситуации. Поэтому квалификация мышления как идеологии означает выявление заблуждения и разоблачение зла»⁴.

Весьма, надо сказать, примечательная формулировка в духе Вольтера — этого непримиримого изобличителя религии. Тут, правда, для полноты недостает вольтеровского: «*Если бы идеологии не было, ее следовало бы выдумать*».

Негативно-эмоциональный пафос критического отношения Ясперса к идеологии понять можно, но не станем принимать его в качестве научного аргумента. К тому же Ясперс явно уходит от признания того очевидного факта, что ни одна цивилизация, ни одно общество, ни одно государство не существовали, не существуют и вряд ли смогут существовать без той или иной формы идеологии, закрепляющей и оправдывающей существующий порядок вещей.

Начать с того, что всякая идеология есть неизбежный спутник религии; она представляет собой своего рода мирской ее суррогат, ее политическое инобытие. Там, где религиозная вера дает слабину, где она начинает терять свое влияние и свои позиции, тут же в образовавшиеся в ней лакуны и трещины начинает проникать светская идеология. Та составляют основу нравственных ценностей для многих миллионов людей, утративших веру в высшие идеалы или никогда

в них не веровавших. В то же время там, где религиозная вера институционализируется, — а это рано или поздно происходит со всякой религией, — она сама начинает трансформироваться сначала в идеологию религиозную, а затем в разнообразные светские идеологии.

Хотя идеологии не столь долговечны, как религии, зато более лабильны; они рождаются конкретными жизненными обстоятельствами и сравнительно легко приспосабливаются к меняющейся социальной ситуации. Тем самым они отвечают конкретным повседневным потребностям людей в конкретных обществах и в конкретные периоды их развития, чего не делают религии с их идеалами, часто далекими от непосредственных нужд человека. Но по отношению и к той, и к другой можно сказать: как не был выдуман бог и религия, так и не была выдумана идеология. Здесь с полным правом можно еще раз повторить самоочевидную вещь — религия и идеология родились из глубинных потребностей человека как существа мыслящего и как таковые являются неотъемлемой частью его физической и общественной природы.

Главным образом по этой причине есть основание рассматривать как недостаточно обоснованный взгляд К. Манхейма — признанного на Западе авторитета в области изучения идеологии. Тот относил идеологию к представлениям трансцендентным, то есть *не адекватным* бытию. К сожалению, он не уточняет, что понимается им под представлениями, «адекватными бытию». Похоже, Манхейм признает в качестве таковых лишь ту часть представлений, которая основывается на так называемом житейском здравом смысле. Идеи же и представления, мало-мальски выходящие за его пределы, должны, стало быть, отнесены к идеологиям. Но в таком случае вне идеологий мало что остается, и рассуждения Манхейма во многом лишаются своего смысла. Правда, он и сам признает, что в ходе истории люди чаще ориентировались на трансцендентные явления, чем на явления имманентные (реальные)⁵.

Дело, однако, не только в этом. Если под бытием понимать *социальное бытие* человека, — а в данном контексте иное нас не интересует, — то, как было показано в первой главе, оно само есть мир «овеществленных», материализованных идей и представлений человека. Вот почему идеи и представления, включая идеологию и религию, в той мере, в какой коллективный человек руководствуется ими, по своей природе адекватны социальному бытию, даже если кому-то они кажутся ложными, утопическими, нереальными.

Есть еще одна существенная сторона человеческого духовного бытия, делающая столь схожими религию и идеологию. Сторона эта —

насуточная потребность человека верить во что-то, что наполняло бы смыслом и содержанием его существование. Или, другими словами, потребность в том самом «*магическом кристалле*», который давал бы человеку такое восприятие окружающего мир, которое адекватно принятой им системе ценностей. Потребность эта как бы «встроена» в разум и психику человека, являясь частью его архетипа. Она как бы постоянно стимулирует его неизбежное стремление познать, что есть добро и что есть зло в их абсолютном значении. Но, увы, человеку доступно лишь относительное знание о них. Потому-то с самого начала в душе его не проходит смятение, страдание, мучительная жажда поиска некоего Абсолюта, а тем самым и смысла жизни. Ведь самое страшное для человека с того самого момента, как он стал им и по сию пору, — это осознание бессмысленности собственного существования. От него он бежал пуще, чем от всякой другой напасти, ибо нет ничего для человека более губительного и разрушительного. Религии и идеологии как раз и призваны дать ему этот смысл.

Заостряя в обычной своей манере данную тему, Ницше подчеркивал, что человек *как животное* не имеет никакого смысла. Его существование на земле лишено цели; «*К чему вообще человек?*» — предстает вопросом, на который нет ответа. Вот почему за каждой человеческой судьбой рефреном отзывалось: «*Всё напрасно!*» Именно этим, согласно Ницше, объясняется и оправдывается такой феномен, как аскетический идеал, свойственный лишь человеку, притом как в индивидуальном, так и социально-групповом воплощении. Идеал этот был порожден неким чудовищным «пробелом» в бытии человека. В самом деле, мучительной его заботой было объяснить, оправдать и утвердить самого себя, и во все времена он страдал проблемой смысла своей жизни.

Причем не само страдание мучило его, а отсутствие ответа на вопиющий вопрос: «*К чему страдать?*» Человек как наиболее отважное и наиболее выносливое животное не отрицает страдания как такового: он желает его, даже ищет его, но при условии, что ему укажут на какой-либо смысл его жизни, на нечто такое, *ради чего стоит страдать*. Бессмысленность страдания, а не само страдание, — вот проклятье, тяготящее по сию пору над человечеством⁶.

Мысли эти будто эхом отзываются и у Достоевского:

«Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, *для чего жить*. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его были все хлебы»⁷.

Вот это неизбывное желание познать смысл жизни, загадку страдания человеческого, бессмысленность чисто мирского самоусовершенствования и есть то томление, которым «томится» человек и которое таится в глубинах духовного его бытия, готовое каждый миг выплеснуться наружу. Ведь по сию пору человек не перестает биться над ответом на извечные вопросы, почему *«не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение»* (Екклесиаст). И эта извечная несправедливость постоянно толкала человека к переустройству своего бытия на новых, как ему казалось каждый раз, более справедливых началах; толкала к революциям, реформам, перестройкам...

Тот же Екклесиаст указывал на тщету всех этих усилий, ибо, по его словам,

«человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого; и если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть *этого*». Вот потому «всё — суета и томление духа!»⁸

Екклесиаст видит спасение от суетности жизни, от ее земной бессмысленности в Боге, в строгом соблюдении его заповедей, в любви к нему. Но непосредственного общения с Богом, прямого получения от него благодати удаиваются лишь немногие избранные. Остальному же большинству, чтобы наполнить жизнь хотя бы каким-нибудь смыслом, требуется помощь мирская. Вот эту помощь и дают религия и идеология. Каждая по-своему, они выполняют великую миссию придания смысла человеческому существованию. Они дают возможность человеку возвыситься над суетностью обыденной жизни, над заботой лишь о хлебе насущном, сделать свою жизнь значимой и полезной. Религия и идеология служат удовлетворению одной из важнейших потребностей человека — потребности в служении чему-то высшему, что выходит за рамки его обыденных повседневных забот. Если эта потребность не удовлетворена, человеческая жизнь становится пустой, бесцветной и бесцельной.

Как мы уже знаем, смысл миру человека придает та или иная система ценностей, которую тот разделяет. В ее формировании существенную роль играет либо религия, либо соответствующая идеология. В свою очередь, происходящие в социальном мире изменения рано или поздно оказывают свое воздействие на систему ценностей

человека, а через нее — на новое видение им мира. Американский социолог Лодж в своей книге «Новая американская идеология» в этой связи верно замечает:

«Когда изменения реального мира... не находят адекватного отражения в идеологии, жизненные ценности проявляют тенденцию к утрате своего смысла»⁹.

Справедливость этого суждения подтверждает ситуация в нынешней России, где происшедшие за последние два десятилетия крутые социальные перемены не нашли адекватного отражения в идеологии. Вследствие этого стали быстро терять свой смысл основные жизненные ценности.

Религия и идеология — две родственные сферы духовной деятельности, имеющие в принципе одну функцию, хотя и различающиеся предметом веры. Предмет веры идеологии — та или иная рационально-утилитарная (мирская) идея создания царства справедливости, равенства и братства на земле мирскими же способами, неважно, идет ли речь о той или иной разновидности социализма, коммунизма, либеральной демократии или о чем-нибудь еще.

Предмет же религиозной веры — иррационально-космическая утопия «Царствия Божиего на Небе», то есть идея бессмертия души человека, идея свободы, равенства и братства в Боге. Идея бессмертия души человека — главное в любой религии. Если бессмертия нет, то, как отмечал Бердяев, прав был Великий Инквизитор, отринувший Христа и принявший все три его искушения. Без идеи бессмертия человек низводится до положения червя земного, а вся философия его жизни — до философии голого потребительства, сполна выраженного в лозунге «Хлеба и зрелищ!».

Явное или скрытое соперничество идеологии и религии, «соревнование» между Царствием Божиим и царством земным, между «хлебом небесным» и «хлебом земным» пронизывает всю историю человечества. Тем не менее, несмотря на свою кажущуюся противоположность, идеология и религия неразделимы и неразлучны: рост силы одной всегда связан с ослаблением другой, но никогда не уживались они мирно. Замечено, что как только идея создания «Царствия Божиего» на земле начинает рушиться (а это неизменно и периодически с ней происходит вследствие принципиальной невозможности создания такового), тут же начинает проявляться повышенный интерес к религии и исповедуемому ею Царствию Божию со стороны уставших, обманутых и разочарованных в оче-

редной раз социальными переустройствами жизни людей. Но и это до поры до времени, пока какая-нибудь новая земная идея справедливости не захватит их в свои сети, чтобы вновь начать разрушать храмы, ниспровергать богов и заливать землю кровью...

Если взглянуть на историю человечества под углом зрения соперничества идеологий и религий, то нельзя не видеть, что идеологии неуклонно одерживали верх благодаря их близости к земному, к плотскому. Но ведь и человек в массе своей ближе к земному, нежели к небесному — последнее он держит как бы про запас, прибегая к нему всякий раз, когда идея создания рая на Земле терпит очередное поражение. Можно сказать, что идеология — это религия большинства. Она экзотерична, тогда как религия более эзотерична, элитарна. Религия предъявляет человеку более строгие требования, она адресует к глубинным нравственным чувствам человека, к его совести. Идеология же, наоборот, менее строга; ее требования вполне доступны для каждого, и что, быть может, самое главное, она нередко освобождает человека от совести, то есть от того, что более всего его тяготит. Как говорит Достоевский устами своего Инквизитора:

«Овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть»¹⁰.

Одной из функций идеологии, в отличие от религии, и является такое «успокоение совести». Религия говорит устами Христа:

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их»¹¹.

Идеология же, наоборот, призывает идти «широкими вратами», теми, которыми идет большинство. Тех же, кто идет «узкими вратами», она считает социально опасными диссидентами. И тут идеология, по существу, сливается с политикой.

Ту же мысль находим и у Руссо в его «Общественном договоре», где он рассуждает о так называемой *гражданской религии*, которая и есть, по сути дела, то, что на современном языке мы называем идеологией. По отношению к обществу религия, по мнению Руссо, может разделяться на два вида: «религию человека» и «религию гражданина». «Религия человека» — без храмов, без алтарей, без обрядов, ограниченная чисто внутренней верой в Бога и вечными обязанностями

морали, — это чистая и простая религия. «*Религия гражданина*» (идеология), вводимая в какой-то одной стране, дает ей своих богов, своих собственных покровителей. У нее свои особые догматы, свои обряды, свой внешний культ, предписываемый законами. Все остальные нации для нее есть нечто чуждое, варварское; и она распространяет обязанности и права человека не далее своих алтарей.

Гражданская религия хороша тем, считает Руссо, что соединяет в себе веру в божество и любовь к законам в одно целое, а также тем, что, делая отечество предметом почитания для граждан, учит их, что служить Государству — значит одновременно служить Богу-покровителю. Это некая разновидность теократии (сегодня мы бы сказали: идеократии), при которой вообще не должно быть иного первосвященника, кроме главы Государства, иных священнослужителей, кроме государственных чиновников. Умереть за свою страну — значит принять мученичество; нарушить же законы — значит стать нечестивцем¹².

Аналогичную оценку встречаем и у Спинозы. Говоря о теократии, он отмечает, что в теократическом государстве гражданское право и религия, по существу, совпадают. Догматы идеологии из простых поучений превращаются в строгие права и обязанности, благочестие приравнивается к справедливости, нечестие же оценивается как преступление и несправедливость. Тот, кто отпадает от идеологии, перестает быть гражданином и в силу лишь этого считается врагом; а кто умирает за нее, тот рассматривается как погибший за отечество, и т.д.¹³ Тут, как мы видим, идеология и политика, по сути дела, сливаются, делаются неразличимыми.

Отмечая отрицательные стороны «гражданской религии» (идеологии), Руссо пишет, что та плоха тем, что, будучи основанной «на заблуждении и лжи, обманывает людей, делая их легковерными, суеверными и топит подлинную веру в Божество в пустой обрядности»¹⁴.

Но, как было показано в предыдущей главе, обычная, повседневная жизнь не выдерживает сравнения с абсолютной верой и нравственностью ни в одном из своих аспектов. И то, чего не поняли философы и мыслители, с самого начала поняли и почувствовали служители культа. Для многих религий давно уже не характерен ригоризм первоначальных догм. Если бы они строго следовали им, то давно бы растеряли большую часть своей паствы. Вот почему они естественным образом сменили «тесные врата» на «врата» более широкие, подстраиваясь под большинство, а тем самым трансформируясь из религии-веры в религию-идеологию.

Метаморфоза христианской *веры* в христианскую *идеологию* гениально показана в уже не раз цитировавшейся «Легенде о Великом инквизиторе». Приняв отвергнутые Христом три искушения — «хлебы», власть (авторитет) и чудо, Церковь тем самым превратила веру в *религиозную идеологию*, себя же — в религиозно-идеологический, политический институт со всеми присущими любому политико-идеологическому институту чертами: иерархией, чинами, ритуалами, окладами, привилегиями и т.д.

Из этой религиозной идеологии постепенно выделялись, отпочковывались разного рода мирские идеологии, политизированные изначально. Да ведь и материнская их ветвь была связана с политической самыми тесными узами. Достоевский устами князя Мышкина так характеризует идеологию католицизма:

«...Католичество римское даже хуже самого атеизма... Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле... Римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи, и в нем всё подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор всё так и идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самими святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа, всё променяли за деньги, за низкую земную власть... Как же было не выйти от них атеизму? Атеизм от них вышел, из самого римского католичества! Атеизм прежде всего с них самих начался; могли ли они верить себе сами? Он укрепился из отвращения к ним; он порождение их лжи и бессилия духовного! ...Ведь и социализм — порождение католичества и католической сущности! Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству в смысле нравственном, чтобы заменить собой потерянную нравственную власть религии, чтобы утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насильем! Это тоже свобода через насилье, это тоже объединение через меч и кровь!..»¹⁵

Замена религиозной веры идеологией выражает, по сути дела, еще одну тщетную попытку спасти мир от зла, но только средствами насилия; дать ему «свободу» через меч и кровь, то есть через вполне земные политические средства. Вследствие такой трансформации христианской веры в христианскую идеологию последняя сравнительно легко стала постепенно вытесняться полурелигиозными, а то и чисто светскими, атеистическими идеологиями.

Применительно к нашему времени Рейнольд Нибур характеризует эту трансформацию следующим образом:

«Мы можем, — пишет он, — суммировать духовную ситуацию в западном мире довольно просто: большинство так называемых христианских наций давно уже перестали руководствоваться в своем сознании и действии христианскими нормами и императивами. Вакуум, оставленный упадком христианской веры, был заполнен разнообразными формами трех различных верований: (1) либеральной верой, которая стоит на том, что общество прогрессивно развивается в направлении к всеобщему сообществу и свободной от противоречий гармонии социальной жизни с помощью сил, присущих самой истории. (2) марксистской верой — та придерживается в принципе тех же взглядов, но руководствуется скорее катастрофической, а не эволюционной идеей ее социальной реализации. (3) фашизмом — от первых двух его отличает крайний национализм, партикуляризм и откровенный цинизм. Открытый отказ от этического универсализма, лежащего в основе двух других политических религий, придает ему открытый «антихристианский» характер, тогда как две другие формы политической веры суть еретические формы христианской религии. Но общее у фашизма с либерально-демократической и социалистической верой то, что все они сводят на деле человеческое существование к чисто социальным, политическим и историческим реалиям»¹⁶.

В целом соглашаясь с Нибуrom, в одном согласиться с ним трудно. Он считает, что упадок христианской веры создал вакуум, который был заполнен тремя секулярными верованиями. Думается, что картина тут несколько иная: три названные им секулярные веры — либерализм, марксизм и фашизм — вышли не просто из христианской веры: они вышли из двух *западных* ее ветвей: прежде всего из католицизма и отчасти из протестантства. Недаром те несли общие им родовые черты: нетерпимость, максимализм целей и средств, фанатическую веру в собственное кредо, непримиримую вражду к другим идеологиям. Даже идея либерализма, самая «мягкая» из всех идеологий, не лишена этих черт. Более того, сегодня, когда фашизм и коммунизм по разным причинам сошли со сцены как массовые идеологии, уже либерализм стал быстро обретать черты *мессианского интервенционизма*.

Католицизм к тому же — христианская религия лишь по форме, по сути же своей та есть *католическая идеология*. Католицизм развивался именно как политическая идеология со своими ересями,

отклонениями, контридеологиями, борьбой, войнами и т.д. Политика стояла у его истоков и политика пронизывает всю его историю вплоть до нашего времени. В католицизме чисто религиозные задачи быстро сменились профессиональными интересами клира. Клир сменял королей и даже императоров, командовал армиями и вел войны, организовывал крестовые походы, истреблял еретиков и давил собою всё несогласное с ним. Уже поэтому борьба против клерикализма была неизбежной. Из этой борьбы родились протестантство (со всеми его разветвлениями), гуманизм, основные европейские философские школы, французское Просвещение и, наконец, социализм.

Бурный расцвет идеологий начинается в XVIII веке, в эпоху Просвещения и Великой французской революции, и длится весь XIX век, давший миру идеологию социального прогресса и идеологию социализма. Отпочковавшиеся от католицизма «духовные дети» как бы генно несли в себе худшие черты родителя: насилие, политиканство, ложь и лицемерие. Все эти черты в полную силу проявились в XX веке, который стал веком небывалой и жестокой политической схватки между различными идеологиями. Эта борьба охватила весь мир и отодвинула на второй план остальные противоречия.

Идеология — это своего рода результат «смерти Бога». Человек не может жить без веры. Вытесняемая просветителями, философами и революционерами всех мастей вера в бога оставляла в душах людей ценностную пустоту. Природа, как известно, не терпит пустоты, и та всегда чем-то заполняется. В данном случае этим «чем-то» и стала идеология в различных ее видах и ипостасях: социально-политическая, экономическая, научно-техническая и т.д. Каждая из них сопровождалась к тому же соответствующими суевериями — этими суррогатами веры. Монизм веры в Бога заменился плюрализмом идеологий, претендующих на единственное обладание истиной и смертельно враждующих между собой. Одна универсальная *истина*, которая, согласно религиозным воззрениям, принадлежала Богу, была заменена на множество частных «истин»: партийных, классовых, групповых, корпоративных...

Психологически идеология действительно близка религиозной вере, и в сознании атеистически настроенных людей вполне заменяет подлинную религию. Тут-то и обнаруживается, что идеология, формально отвергая всякую религию и метафизику, на деле сама превращается в подобие некой социальной атеистической религии, основанной на вере в самодостаточность человека. Вот в этом пункте

идеология неизменно вступает в противоречие с собственными основаниями. Если мир и в самом деле зол и несправедлив, если тот не отвечает идеалам добра, свободы и справедливости, если он управляется материальными, эгоистическими в основе своей интересами, то можно ли надеяться, что несовершенный и слабый человек, сам же и являющийся архитектором этого мира, способен собственными силами привести его к царству разума, свободы и справедливости?

Идеология уходит от ответа на подобные вопросы. Если бы она заострялась на присущих ей противоречиях и несообразностях, то ее существование стало бы невозможным. Вот почему она так свято верит в идею самодостаточности человека и в прогресс. Говоря словами Лютера, *на том она стоит, и не может иначе.*

Идеология и социально-политический прогресс

Основным догматом, присущим в той или иной мере всем идеологиям, является, как уже отмечалось, вера в самодостаточность человека, в его способность собственными усилиями утвердить на земле царство справедливости. Отсюда — вера в бесконечный прогресс, осуществляемый его же силами. Вслед за Руссо, всё зло стали объяснять внешним неустройством человеческого общежития; личная же вина и личная ответственность человека за это неустройство отрицалась. Задача общественного устройства виделась в преодолении этих *внешних* неустройств, в улучшении *внешней* социальной среды *внешними* же реформами и методами — другими словами, средствами политики. Это был своего рода светский вариант теологической идеи предопределенности. Но как показывает весь человеческий опыт, политика, подобно другим лекарственным средствам, «одно лечит — другое калечит», и нет из этого состояния никакого разумного выхода.

В идее прогресса первоначально был заложен большой заряд социального и политического оптимизма: многие верили (и продолжают верить), что мир развивается исключительно по линии прогресса, от низшего к высшему, неуклонно поднимаясь вверх по ступеням от менее развитых к более развитым социальным и политическим формам. Главным орудием этого прогресса рассматривалась (и продолжает рассматриваться) демократия, передовая наука и технология, способные якобы решить все социальные и политические проблемы, всех одеть и накормить, установить справедливость и дать то самое бентамовское «*наибольшее счастье для наибольшего числа людей*».

Будучи полностью порождением западной мысли, идея прогресса получила свое наиболее законченное выражение в идеологии марксизма, видевшей его критерий в развитии производительных сил, в подчинении человеком природы. Как писал Плеханов,

видоизменение естественной среды «совершается тем энергичнее и тем быстрее, чем могущественнее те орудия труда, которые находятся в распоряжении человека, то есть чем больше его производительные силы... Следовательно, — заключает он, — эти силы могут считаться объективным мерилом прогресса»¹⁷.

Начала идеи прогресса были заложены еще в гуманизме с его акцентом на самодостаточность человека и веру в беспредельность его творческих сил и возможностей. Подлинный же свой расцвет она получила в XIX веке — веке великих надежд и веры в ничем не ограниченное поступательное развитие общества, подкрепленных бурным развитием науки и техники, развитием демократических институтов...

Кровавая и жестокая бойня Первой мировой войны положила конец многим либерально-демократическим иллюзиям. Наметились серьезные сдвиги в системе идеологических приоритетов. Лейтмотивом этих сдвигов становится мысль об иррациональности истории, о несостоятельности рационалистической модели развития. Разум, объявленный гуманистами и просветителями гарантом человеческого счастья и прогресса, привел на деле к созданию изощренных средств уничтожения человека, к поверхностному и самоубийственному господству человека над природой и к разрушению духовно-нравственных основ его жизни. Над человечеством нависла реальная угроза глобальных катастроф военного, экономического, экологического и демографического характера, для предотвращения которых оно так и не сумело найти надлежащих средств. И кризис этот по всем признакам углубляется, всё сильнее захватывая социальную, экономическую, политическую и культурно-нравственную сферы. Не миновал он и западные либеральные демократии с их вырождающимся парламентаризмом, зловещим ростом преступности и повсеместным падением нравов. Социалистические общества, долго рассматривавшиеся как символ социального прогресса, тоже оказались в глубоком кризисе и, отрекаясь одно за другим от своего прошлого, бросались, будто в омут, в неведомое и темное будущее.

Так что же — идея прогресса и в самом деле оказалась ложной? Или она была одним из тех мифов, которые человек создал в утеше-

ние себе и в которые сам же и поверил? Отчасти это так и есть. Идея прогресса несомненно привлекательна для человеческого ума хотя бы потому, что отвечает никогда не оставляющим его надеждам на лучшее и дает ему перспективу жизни. И здесь человек готов скорее сколь угодно заблуждаться, нежели отказаться от этих надежд.

Однако вся история человечества опровергает представление о поступательном, прогрессивном его развитии. Примером тому может служить ход развития в научно-технической сфере. Мы видим, как создание несомненных материальных благ сопровождается массой негативных, регрессивных явлений в жизни общества и в его природном окружении. Проницательные умы давно заметили, что наука, как рациональное познание действительности, и ее детище — техника, не только не заключают в себе сдерживающих нравственных начал, но, наоборот, способствуют быстрой их деградации. Возводя с их помощью здание человеческой цивилизации, человек вместе с определенными материальными благами одновременно создает чудовищные, преступные средства, служащие прямому или косвенному уничтожению как его самого, так и окружающей его среды. Это стало особенно заметно в наши дни, когда масштабное загрязнение среды обитания человека отходами современного производства наряду с созданием средств массового уничтожения людей со всей остротой поставили вопрос о выживании самого человеческого рода.

Человек в той же мере творит обстоятельства, в какой обстоятельства творят его, — эта истина известна давно. Но ведь не кто иной, как он сам, создал те обстоятельства жизни, в плену которых он сегодня оказался. Даже при самом снисходительном к ним отношении вряд ли можно признать, что они знаменуют собой прогресс. Стремясь вырваться из них, человек с каждым последующим шагом по пути пресловутого «прогресса» еще сильнее приковывает себя к сотворенному им же самим Молоху, требующему от него все новых и новых жертв. До сих пор, несмотря на неоднократно предпринимавшиеся усилия, человеку не удалось вырваться из его пут. Более того, все великие освободительные, прогрессивные идеи и движения прошлого и настоящего каким-то непостижимым образом превращались в свою противоположность. Даже Маркс, этот последовательный сторонник идеи прогресса, не избежал сомнений:

«В наше время, — писал он, — всё как бы чревато своей противоположностью. Мы видим, что машины, обладающие чудесной силой

сокращать и делать плодотворнее человеческий труд, приносят людям голод и изнурение. Новые, до сих пор неизвестные источники богатства благодаря каким-то странным, непонятным чарам превращаются в источники нищеты. Победа техники как бы куплена ценой моральной деградации. Кажется, что по мере того, как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей либо же рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет науки не может, по-видимому, сиять иначе, как только на мрачном фоне невежества. Все наши открытия и весь наш прогресс как бы приводят к тому, что материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы»¹⁸.

Не только Маркс, но и многие другие выдающиеся мыслители выражали обеспокоенность тем, что, вопреки всем оптимистическим представлениям о прогрессивном развитии человечества, оно идет иными путями, внушающими серьезные опасения за его будущее. Тревога эта особенно усилилась в XX столетии, начавшемся с невиданных доселе по своей жестокости и масштабности войн и революций. Тойнби, Шпенглер, М. Вебер, Нибуэр, Бердяев, Франк — это лишь малая часть историков, социологов и философов, ставивших под серьезное сомнение саму идею прогресса.

Основное противоречие, лежащее в учении о прогрессе, считал тот же Бердяев, заключается в смещенном взгляде на проблему времени — на прошлое, настоящее, будущее и на их взаимосвязь. Учение о прогрессе есть, прежде всего, совершенно ложное, не оправданное ни с научной, ни с философской, ни с моральной точки зрения обоготворение будущего за счет настоящего и прошлого. Оно представляет собой религиозное исповедание, верование, потому что обосновать научно-позитивное учение о прогрессе нельзя¹⁹. Внутренне неприемлемое и недопустимое в идее прогресса то, что она рассматривает все прошлые и существующие поколения людей лишь как средство и орудия для создания счастья неким грядущим поколениям. Сами же они не имеют никакой самостоятельной ценности, играя лишь роль «исторического навоза», должного удобрить прекрасные всходы будущего.

Близкую точку зрения развивал и другой русский философ — С. Франк, считавший, что идея прогресса с присущим ей социальным оптимизмом, опирается на механико-рационалистическую теорию счастья. Проблема человеческого счастья с этой точки зрения

есть проблема лишь внешнего устройства общества; поскольку же счастье обеспечивается материальными благами, то это, в конечном счете, есть проблема распределения. Стоит отнять эти блага у несправедливо владеющего ими меньшинства и навсегда лишить его возможности вновь овладеть ими, и можно обеспечить человеческое благополучие — таков несложный, но могущественный в своей простоте ход мысли, который соединяет нигилистический морализм с кажущейся легкостью решения сложных социальных проблем. Простота идеи быстрого осчастливливания человечества легко захватывает непросвещенные массы и нередко делает их орудием в руках тех политических демагогов, которые играют на этом лозунге²⁰.

Отрицал возможность установления объективного критерия исторического прогресса и Тойнби. По его мнению, всякое суждение о прогрессе внутренне и неискоренимо субъективно. Нельзя, конечно, отрицать прогресс в тех или иных, главным образом материально-технических, сферах человеческой жизни, но каждая из них ограничена во времени и пространстве. Если же смотреть на прогресс в человеческих делах в плане научно-техническом, социальном, духовно-нравственном и т.д., то в каждом из них существуют различные, притом не только не совпадающие, но и противоположные критерии.

В своем знаменитом труде «Исследование истории» Тойнби как бы в подтверждение своих мыслей приводит мнение президента британской ассоциации поощрения развития науки Альфреда Эвинга. В устах человека, занимавшего такой пост, оно тем более казалось примечательным и весомым.

Затронув вопрос о так называемом техническом прогрессе, Эвинг показывает постепенное изменение отношения к нему: первоначальное восхищение сменяется критикой; благодушие и самодовольство уступает место сомнению; сомнение переходит в тревогу. Возникает чувство фрустрации и тревоги, аналогичное тому, какое возникает у человека, прошедшего долгий и трудный путь и внезапно обнаружившего, что свернул не на ту дорогу: возвращаться назад уже поздно, идти вперед бессмысленно. И в этой ситуации не могут не возникнуть вопросы: *куда* ведет весь этот беспрецедентный процесс научно-технического развития? *Какова*, в конце концов, его цель и есть ли она вообще? *Каково* его реальное воздействие на будущее человеческого рода?

Вне всякого сомнения, многие из открытий и изобретений несут пользу человеку, делают его жизнь богаче, удобнее. Но эти технические блага могут быть использованы (и-таки используются!) во зло;

некоторые же из них потенциально чреватые трагедией, а некоторые уже вызвали ее. Этически человек не готов ко многим техническим щедротам, нарастающим к тому же лавинообразно. В своей более медленной нравственной эволюции он не подготовлен к огромной ответственности, которую они влекут за собой. Общий же вывод Эвинга таков: *господство человека над природой оказалось в его руках значительно раньше, нежели тот научился господствовать над самим собой*²¹.

XX век сполна подтвердил правоту этих выводов, начало же XXI века еще больше усугубило ситуацию.

Перечень убедительных суждений выдающихся мыслителей относительно как научно-технического, так и социального прогресса и его последствий для человечества можно было бы продолжить и дальше, но в этом нет необходимости — проблема в целом очерчена достаточно. Можно лишь отметить еще раз очевидную связь идеи прогресса со всеми современными идеологиями, а через них — с политикой, служащей главным средством реализации этой идеи. В то же время нельзя не отметить, что в приводившихся оценках столь отличных друг от друга мыслителей нигде, по сути дела, не ставится вопрос о причинах того, почему люди в своей деятельности исходят преимущественно из благих побуждений и целей, а результат их деятельности не только не соответствует им, но и получается весьма далеким, а то и просто противоположным первоначальному замыслу. Это несоответствие носит поистине трагический характер, оно обескураживает, лишает будущее ясной перспективы. Историческое его содержание с драматическим напряжением попытался передать Бердяев.

Если смотреть на исторический процесс с точки зрения решения задач, которые в ходе его ставятся, решения их внутри потока времени, то, по его мнению, нельзя не прийти к самым пессимистическим, безнадежным результатам, потому что, с этой точки зрения, все попытки, притом во все периоды, должны быть признаны *сплошной неудачей*. В исторической судьбе человека, в сущности, всё не удалось, и есть основания думать, что никогда и не будет удаваться — к такому выводу приходит философ. Не удался ни один замысел, поставленный внутри исторического процесса. Никогда не удалось осуществить то, что ставилось задачей и целью какой-либо исторической эпохи, что преподносилось как идея, которая должна быть так или иначе осуществлена.

Не удался Ренессанс, констатирует Бердяев. Такая же неудача постигла и Реформацию, поставившую себе великую цель утверж-

дения религиозной свободы и приведшую к фактическому крушению христианской религии. То же относится и к Французской революции, создавшей вместо общества свободы, равенства и братства буржуазное общество XIX века со всеми его пороками и новыми формами неравенства и ненависти людей друг к другу. Революция обнаружила такие противоречия, которые, постепенно раскрываясь на протяжении всего XIX века, изобличили ложность основных ее лозунгов. Бердяев пророчески утверждал, что не удастся и социализм, что в ходе своего осуществления тот окажется совсем не тем, к чему социалисты стремятся, что он неизбежно вскроет новые внутренние противоречия человеческой жизни, которые сделают невозможным осуществление задач, выдвинутых социалистическим движением. Не сумеет он реализовать и равенство, а создаст вместо него лишь новую вражду между людьми, новую разобщенность и новые формы гнета. Так, собственно, и получилось, о чем свидетельствует драматический финал социализма в Советском Союзе и других государствах.

Бердяев идет в своих рассуждениях еще дальше, пессимистически оценивая и христианство — это величайшее событие всемирной истории, составляющее как бы его сердцевину и открывшее новую эру в мировом развитии. История христианства, по его мнению, также есть сплошная великая неудача²².

Вот такой весьма далекий от оптимизма обзор исторических достижений человека на пути его «прогрессивного» развития дает русский философ, объясняя все неудачи постоянными «срывами» с пути свободы на путь принуждения и необходимости — срывами, обусловленными, в свою очередь, разного рода «соблазнами», начиная от соблазнов принудительной католической или византийской теократии до соблазнов принудительного социализма и «свободного» капитализма²³.

Еще один русский философ, К. Леонтьев, считал прогресс «исполнительской толчеей, всех и всё толкущей в одной ступе псевдогуманной пошлости и прозы». И всё это ради того, чтобы выработать усредненного человека по образцу европейского буржуа, самодовольного и комфортабельно-спокойного. Иными словами, прогресс — это процесс всеобщей подгонки, уравнивания многоликого человечества под какую-то чудовищно-всемирную однообразную прокрустову мерку.

Все эти «срывы» с пути прогресса и навязываемой человеку «свободы» происходят и в значительной степени по той причине, что человек, говоря словами Достоевского, не желает быть «фортепьянной

клавишей», на которой некие мудрые устроители его жизни будут наигрывать свои мелодии. Он восстает против всего, в том числе и против попыток навязать ему казарменное уравнивание ради отвлеченного и безликого «прогресса». Для объяснения этого «упрямства» человека вовсе не нужно обращаться к помощи каких-то внешних по отношению к нему причин — те в нем самом, в его природе как *Homo sapiens*, в его психической и ментальной раздвоенности, непрестанном колебании в выборе между добром и злом, подлинную сущность которых никому из смертных так и не удалось разгадать. Парадоксальность этой фатальной раздвоенности хорошо передает древний афоризм, приписываемый Овидию: «*Вижу и одобряю лучшее, избираю худшее*».

Другая причина, некими таинственными путями связанная с первой, — это несоответствие между *высокими целями*, которые ставит перед собой человек, и не меняющимися из века в век *низкими средствами их реализации*. Основными из них до сих пор остаются средства насилия и принуждения, что всякий раз ведет к коррозии и деформации самих целей и, соответственно, к деформации самой идеи прогресса.

Главное же здесь, думается, в логической и содержательной ошибочности самого допущения возможности социального развития лишь по прогрессивной прямой. Даже критики идеи прогресса часто исходят из такой же посылки. «Срывы» же, о которых говорит Бердяев, это отнюдь не досадные аномалии — они имманентно присущи процессу развития. В самом деле, критикуя идею прогресса, Бердяев сам обеими ногами опирается на нее. Видите ли, жалуется Бердяев: не получился Ренессанс, не получилась Реформация, Просвещение и даже Христианство. Но спросим: а почему, собственно, они должны были «*получиться*»? Уже в этом «*не получилась*» заложена вся идея социального прогресса, ибо она предполагает некие всеобщие рациональные цели, которые человечество якобы ставит перед собой и которые должны непременно реализовываться в какой-то точке «прогрессивной прямой». Но человечество как таковое никаких целей перед собой не ставит и, более того, не может ставить.

Шпенглер отмечал, что у «человечества» нет и не может быть какой-то цели, идеи, плана, как нет цели, скажем, у вида бабочек или орхидей. И вообще, «*человечество*», по его мнению, — это, скорее, зоологическое понятие либо просто пустое слово. Достаточно устранить этот фантом из круга проблем исторических форм, считает он, и глазу тотчас же предстанет поразительное богатство действитель-

ных форм. Обнаружатся необъятная полнота, глубина и подвижность живого. Вместо безрадостной картины однолинейной всемирной истории, принять которую можно, лишь закрывая глаза на море фактов, мы увидим подлинный карнавал множества мощных культур. «Цеховой же историк, — заключает Шпенглер, — видит их в подобии ленточного глиста, неустанно откладывающего эпоху за эпохой»²⁴.

Тут невольно на память приходят формационная теория Маркса и сработанная на Западе картина Всемировой истории согласно бессодержательной схеме: «*Первобытное общество — Древний мир — Средние века — Новое время — Новейшее время*». Схема эта годна, и то не без больших оговорок, исключительно применительно к Западной Европе и совершенно неприемлема для мира в целом.

Если история и развивается по каким-то законам, то по тем, познать которые нам не дано. А то, что мы называем «социальными» или «историческими» законами, захватывает лишь поверхностную «рябь» мирового человеческого океана, не проникая в его глубь. Само же историческое движение человечества, как отмечал К. Леонтьев, происходит по дороге, имеющей, как и все нормальные дороги, две колеи. В истории человека одна из них — это движение по линии прогресса, другая — по линии регресса. Странники же идеи прогресса признают только одну колею — прогрессивную. Сами же участники исторического движения никогда не знают, по какой из них они в тот или иной момент движутся: по колее «прогресса» или же колее «регресса».

Но и это еще не всё: историческое движение, ко всему прочему, происходит отнюдь не по бесконечной прямой, как это ошибочно считается до сих пор, а кругами (циклами). Идею цикличности социального движения развивала еще пифагорейская школа, ее придерживался Полибий, разделяли многие другие древние авторы, пока, начиная с эпохи гуманизма и особенно эпохи Просвещения, не стала постепенно утверждаться идея примитивно-прямолинейного (линейного) прогрессивного развития человечества.

И в данном пункте есть необходимость указать на один важный факт, который обычно упускают гуманитарии. Дело в том, что *прямолинейного движения в природе не существует вообще*. Оно существует только в геометрии Евклида, на листе бумаги или в очень ограниченном пространстве какого-нибудь строительного участка. В природе же всё движется кругами, по «кривой», о чем свидетельствует сама Вселенная. Вот почему всякое представление о прямолинейном, тем более прямолинейно-прогрессивном движении есть не более чем

наивность западноевропейского рационализма, у истоков которого стояли такие мыслители с технократическим образом мышления, как Лейбниц, Декарт, Спиноза и, конечно, Кант.

Кризис, в котором оказалось «человечество» в целом и, прежде всего, либерально-демократические общества Запада с их холодным рационализмом, формальным гуманизмом, фарисействующим морализмом, механистичным взглядом на природу и человека, заставил искать новые пути объяснения движения человеческих обществ. Разум, вознесенный до небес греческими философами, деятелями эпох Гуманизма и Просвещения, оказался на поверку совершенно неспособным справиться с реальными социальными проблемами, порожденными кризисом общества. Начертанный же ими путь прогресса вылился в «срывы» человечества в такие бездны дикости и варварства, которых дотоле не видывала история. Самые выдающиеся гуманистические социальные теории, работанные такими умами, как Руссо, Гегель, Маркс, завели руководствовавшиеся ими народы в кровавые разборки. На духовном уровне следствием всего этого стали болезненный скептицизм, нигилизм и пессимизм, парализующие нравственную жизнь общества.

Кризис привел, с другой стороны, к переоценке теорий прогрессивного развития человеческого общества, к возвращению к идее цикличности его движения. Значительный вклад в эту переоценку внесли, в частности, Данилевский, Шпенглер, Тойнби. Разработанные ими теории развития культур, цивилизаций, культурно-исторических типов дают возможность взглянуть на многие явления как прошлой, так и современной истории иными глазами. По крайней мере, переоценка марксистского формационного подхода как олицетворения идеи прогрессивного социального развития человечества происходит не без сильного влияния их взглядов.

В этой связи нельзя не отметить социальных идей замечательно русского ученого, социолога, врача А. Богданова и, в частности, разработанного им «*закона наименьших*», имеющего прямое отношение к рассматриваемой проблеме²⁵. Закон этот служит как бы обоснованием мысли Леонтьева о «двухколейном» движении человечества. Остановимся кратко на нем.

Общий смысл «закона наименьших» сводится к следующему: структурная устойчивость *всякой системы* как целостного образования определяется *наименьшей относительной устойчивостью его частей*. Этот закон действует в любой системе, будь то физическая, биологическая или социальная. Если, скажем, имеется цепь, состоящая из звеньев различной прочности, то прочность цепи *в целом*

определяется прочностью самого слабого ее звена. Скорость эскадры, состоящей из кораблей с различной скоростью, определяется скоростью самого тихоходного корабля. Аналогично общая производительность труда ряда производственно взаимосвязанных предприятий определяется предприятием с самой низкой производительностью труда. Общество, предоставленное действию стихийных сил, движется в сторону «естественного состояния», то есть анархии, и т.п.

Итак, всякая функционирующая система, под действием неконтролируемых «естественных» сил и не имея притока внешней энергии, движется по пути *наименьшего сопротивления* в направлении наиболее устойчивых природных связей и структур и, в конечном счете, если им не будет поставлена преграда, либо стабилизируется на этом уровне (состояние гомеостаза), либо погибнет. Путь движения всякой системы под воздействием «закона наименьших» — это, в общем, путь естественного *самотека*, путь «регресса», если под «прогрессом» понимать развитие или движение всякой системы с помощью притока свободной энергии (у Гумилева, к примеру, этот приток социальной энергии выступает в форме взрыва пассивности).

И, наоборот, движение по *восходящей* линии, то есть по пути прогресса, требует непрерывных усилий, духовных и материальных затрат многих поколений людей — иными словами, *непрерывного приложения энергии*. Это — путь наибольшего сопротивления, на котором человеку приходится преодолевать не только собственные косность и инерционность, но и косность окружения. Но вот чтобы разрушить приобретенное на этом пути, усилий почти не требуется — тут всё идет самотеком, по линии наименьшего сопротивления.

В этих положениях в форме «закона» выражена, по существу, сказанная прежде мысль, что человек, предоставленный самому себе, склоняется к злу или точнее — к освобождению от нравственных ограничений и следованию природным законам и инстинктам.

«Закон наименьших» распространяется как на индивидуального человека, так и человека коллективного, то есть на общество. Однако особенность исторического движения человека состоит в том, что естественное движение по пути наименьшего сопротивления сосуществует с силами и устремлениями, влекущими его в противоположном направлении — в направлении реализации каких-то возвышенных идеалов, способных вывести его из «естественного состояния». Человек как *животное* подчинен естественным законам, в том числе

и «закону наименьших»; тот же человек, но уже как *Homo sapiens*, подчинен законам Разума, противоположным большинству природных. Вот таким он создан природой, и свой тяжелый «крест» несет через всю свою историю, наполняя ее как низкими и подлыми, так одновременно — прекрасными и возвышенными деяниями. В этом смысле можно присоединиться к оценке В. Розанова:

«Кто смеет, — писал он, — взяв минуты человеческого падения, даже если бы они тянулись века., кто может, видя падение и низость своего века и негодование возводя в право, сказать клевету на всю человеческую историю и отвергнуть, что в целом своем она есть чудное и высокое проявление если не человеческой мудрости (в чем можно сомневаться), то бескорыстного стремления к истине и бес- сильного желания осуществить какую-то правду?»²⁶.

Да ведь и сама идея прогресса, если и ложна, то ложна, так сказать, бескорыстно, как выражение неизбежного стремления человека к идеалу, к истине, которые он бессилён осуществить по своей же вине.

Хотя «закон наименьших» и важен для понимания многих социальных явлений, он еще не раскрывает многих их особенностей. Он нуждается, на мой взгляд, в дополнении другим «законом». По аналогии с первым его можно назвать «*законом наибольших*». Суть его состоит в том, что всякая система, какие бы усилия та ни прилагала для преодоления внутреннего и внешнего сопротивления, имеет определенный предел развития (прогресса). По его достижении она начинает стагнировать, а затем движется регрессивно. Действие данного «закона» легко видеть на примере развития умственных и физических возможностей человека. Для каждого индивидуума пределы такого развития, конечно, разные, но при нормальном его ходе, достигая их, человек начинает после этого стагнировать, а затем регрессировать. Аналогично свои пределы развития (свой «энергетический порог») имеет всякая общественная система. Достигнув этих пределов (то есть исчерпав свой «энергетический» потенциал), общество переходит в стадию стагнации, а затем и регресса.

«Всё, что возникает и развивается, имеет, подобно луговым травам, свой особый срок — годовой, столетний, тысячелетний, — писал известный английский историк и эссеист Томас Карлейль. — Благодаря этому закону всё, что рождается, через какое-то время умирает. Не составляют исключения из этого закона и явления духовного порядка»²⁷.

Действие «закона наименьших» и «закона наибольших» в развитии различных систем, в том числе социальных, можно выразить и через понятие «энтропия»*. В самом деле, всякая органическая система, развиваясь регрессивно или прогрессивно, повышает одновременно свою энтропию. Достижение системой своего нижнего или верхнего равновесного состояния (нижнего или верхнего «энергетического порога») совпадает с достижением максимума энтропии. Разница между двумя этими состояниями в том, что нижнее состояние стабильно, верхнее — нестабильно. Но в любом из этих случаев энергетические превращения, а значит, и энергия движения, сводятся в системе к минимуму, и наступает период стагнации. Если в системе не произойдет каких-то коренных перемен или притока внешней энергии, рано или поздно стагнация переходит в гибель системы.

Схожие идеи можно обнаружить и в трудах некоторых историков и социологов. К примеру, американский историк и теоретик Брукс Адамс в своем известном труде «Закон цивилизации и упадка» (1895) писал об этом так:

«Факты... подводят к заключению, что когда высокоцентрализованное общество дезинтегрируется под давлением экономического соперничества, то происходит это потому, что энергия народа истощилась. В результате у оставшихся членов такого общества отсутствует сила, необходимая для новой концентрации, и они должны, по всей вероятности, оставаться инертными до тех пор, пока не получат свежий энергетический заряд путем вливания варварской крови»²⁸.

В целом же, тремя этими состояниями — прогрессом, стагнацией и регрессом — можно, собственно, определить полный цикл развития любого общества. Правда, Тойнби полный цикл развития каждой цивилизации делит на четыре стадии: 1) генезис (*Genesis*) — период зарождения цивилизации; 2) рост (*Growth*) — период поступательного развития цивилизации; 3) надлом (*Breakdown*) — период, с которого начинается упадок цивилизации и, наконец, 4) дезинтеграция (*Desintegration*) — период разложения цивилизации, заканчивающийся ее гибелью²⁹. Но это уже нюансы, не имеющие для данной проблемы принципиального значения.

* От греч. *entropia* — поворот, превращение. Понятие энтропии означает в термодинамике меру *необратимого рассеяния энергии*.

Ту же, в принципе, мысль находим и у Бердяева:

«Если взять судьбы народов, судьбы обществ, судьбы культур человеческих в истории, то мы видим, что все культуры, все общества и все народы переживают в судьбе своей разные периоды — период зарождения, детства, возмужалости, высшего расцвета и, наконец, период старости, дряхлости, отцветания и смерти»³⁰.

Цикл этот прошли все великие цивилизации и культуры: шумеро-вавилонская, египетская, древнегреческая и многие другие; одни оставили после себя знаки своего великого прошлого, другие исчезли без следа.

В наше время полный цикл жизни цивилизации можно видеть на примере *советской цивилизации*. В течение трех поколений она прошла путь от начала своего генезиса в начале XX века до дезинтеграции в последнее десятилетие того же века, свидетельствуя всей своей величественной и трагической историей несостоятельность идеи социального прогресса. Эта история могла бы служить также наглядной иллюстрацией и к так называемому «*эффекту третьего поколения*», подмеченному итальянским ученым Карло Чиполлой.

«В каждой хорошей семье, — замечает он, — есть поколение, создающее богатство; поколение, его хранящее и развивающее, и поколение, разбазаривающее его. В этом отношении общества мало чем отличаются от индивидов. С какой бы симпатией ни относиться к последнему “третьему поколению”, объективным фактом остается то, что у него отсутствуют характерные черты тех поколений, кто строил, создавал и хранил. Старые легенды и мифы, помогавшие “первому поколению” выносить лишения и тяготы, прогрессивно изнашиваются и над ними начинают подсмеиваться. Более того, по мере того, как старые мифы теряют свою ценность, а жизненные условия улучшаются, всё большее число людей начинает думать в понятиях “прав”, а не “обязанностей”, в понятиях “удовольствий”, а не “труда”»³¹.

Такого рода эволюция имеет свои естественные причины. В самом деле, «третье поколение» получает готовыми условия жизни и разного рода блага, которые оно не создавало своими руками, а тем самым, не находится в органической связи с его жизнью. С колыбели, без всяких личных заслуг, приложения труда и усилий оно уже обладает достатком и привилегиями, и это неизбежно деформирует его психику и все его отношение к жизни, внося в него явно потре-

бительский момент. Если этот достаток высок, «третье поколение» беспечно проедает его, не заботясь о создании адекватного достатка и соответствующих жизненных условий для последующих поколений. Если же этот достаток скромн, то, проклиная своих «неповоротных» и «незадачливых» предков, не сумевших оставить им приличного наследства, оно растраниживает последнее и, как бы в отместку, разрушает ту основу, на которой могли бы быть созданы новые блага. Сегодня в нашей стране такое «третье поколение», разбазаривающее труды первых двух поколений и насмехающееся над ними, — *это мы*.

Но и либерально-демократическая идея, являющаяся для таких ее апологетов, как Фукуяма, венцом истории, ее концом, исчерпавшим все идейное развитие человечества, всем своим существованием говорит лишь о затянувшемся периоде стагнации, за которым неизбежно следует разложение и гибель. Об этом говорят и мучительные поиски новых идеологических парадигм, способных вдохнуть новую жизнь в дряхлеющее тело западного либерализма. Не случайно участвовавшее появление взглядов, возвращающих к некоторым институтам Средневековья, главным образом, к идее корпоративного представительства и цеховой общности. Многие считают, что именно в ее рамках мог бы найти себя современный атомизированный человек, и корпоративный принцип смог бы, если и не устранить вовсе, то хотя бы сузить растущую трагическую пропасть между индивидуальным и общественным бытием человека.

Что касается идеи прогресса в целом, то, помимо всего прочего, она выражает никогда не покидающую человека надежду на лучшее. Она — замена отсутствующего у него дара предвидения будущего. Отсюда неизбежное стремление человека выдать желаемое за действительное, свойственное всем идеологиям. Так, скажем, первая стадия развития цивилизации (период поступательного движения) абсолютизируется и выдается за генеральную линию развития не только отдельной цивилизации, но и всего человечества. Возможность же стагнации и регресса либо вообще исключается, либо намеренно замалчивается.

Поразительно во всем этом одно, а именно: вопреки тому, что история человечества всем своим ходом опровергает идею прямолинейного прогресса, человек продолжает упорно держаться за нее и верить (вопреки всем прошлым провалам и срывам), что сумеет, в конце концов, преодолеть все трудности и выйти на тот путь, который ведет к окончательной справедливости и всеобщему счастью.

Се человек! Для многих лишиться веры в социальный прогресс — всё равно, что лишиться смысла жизни вообще. Дело ведь не в конкретном содержании той или иной идеологии (и религии тоже), а в ее социально-политической функции — она-то как раз и значима. Для современной же политики отказ от веры в социальный прогресс и от его идеологии равносителен самоубийству.

Связь идеологии и политики

Из сказанного, думается, достаточно хорошо прослеживается принципиальная связь политики и идеологии. Если даже ограничиться Новым временем, то и на этом историческом отрезке видна эволюция той и другой, их постепенное отпочкование от церкви и религии. В отрицательной форме религию как веру стала вытеснять религия как идеология. В позитивной же форме ее полностью вытеснила политика. Государство же прочно заняло место церкви, политика — место религии, и светская идеология — место идеологии религиозной. *Политика же стала новой религией человека; идеология, в свою очередь, заменила теологию.*

Соответственно стали меняться место и функция нравственности и морали. Если прежде они связывались главным образом с религией и церковью, с верой в Бога, а политика как сфера мирская — с безнравственностью, то, начиная с Нового времени, эти соотношения постепенно менялись местами. Политика, государство сделались воплощением нравственности, а идеология — теоретическим ее обоснованием. Религия же если и не становилась безнравственной сама по себе, то выставлялась философами, учеными, публицистами и прочими «попами» идеологии как сфера обмана и суеверия, или, в лучшем случае, как сфера сугубо личных верований в рамках принципа свободы совести.

В свою очередь, политика, как религия Нового времени, институционализировалась в свою собственную «Церковь» — *Государство*, тем самым связав идеологию и нравственность в единый духовный узел. Религиозной морали было оставлено лишь небольшое пространство на индивидуальном уровне; на уровне же политики она использовалась как средство политической демагогии в случаях, когда требовалось оправдать наиболее сомнительные в нравственном отношении деяния, либо привлечь на свою сторону массы верующих.

Таким образом, Государство, как воплощенная всеобщность, как выражение национального духа и его стремления к самосохране-

нию, стало также и воплощением высшей морали. Именно оно и является в наше время мерилom моральности поведения всех социальных групп и индивидов. Лояльность человека по отношению к государству делается главным мерилom его «нравственности», нелояльность — соответственно мерилom «безнравственности». Вот, кстати, почему идейные диссиденты для государства более опасны и безнравственны, чем уголовники, поскольку подрывают основы коллективного сознания, основы общественной солидарности и воплощающих их государственно-властных структур. И это положение распространяется отнюдь не только на тирании и деспотии, оно в равной мере приложимо и к так называемым демократиям. Демократии в этом смысле отличаются главным образом лишь большим лицемерием и ханжеством: наказывая своих диссидентов, они делают это во имя «свободы», в остальном — всё то же самое.

Всем государствам, как особого типа ассоциациям, присущи свои законы, и если говорить в указанном смысле о различиях между, скажем, деспотиями и либеральными демократиями, то это различие лишь в степени, в мере, но отнюдь не в принципе. Как в первых, так и во вторых идеологии играют роль средства в руках политики для обоснования или оправдания тех или иных своих действий. В критические же моменты сама политика начинает играть роль средства в руках воинствующей идеологии.

Утилитарно-политическую роль религий (как своего рода идеологий) и их прямую связь с политикой достаточно полно раскрыл еще Гоббс. Семена религий, писал он, культивировались людьми двоякого рода. Одни — это те, кто выращивал их согласно собственным взглядам, другие же — те, кто делал это согласно божественным наставлениям. Тем не менее, и одни и другие делали это с намерением превратить доверяющих им людей в наиболее приспособленных к повиновению, к подчинению законам и гражданскому обществу. Религия первого рода является, по Гоббсу, частью человеческой политики, указывающей на те обязанности, исполнения которых земные правители требуют от своих подданных. Религия же второго рода является божественной политикой и содержит правила для тех, кто объявил себя подданным Царствия Божиего. К первому роду относятся все языческие основатели государств и законодатели; ко второму — Авраам, Моисей, Христос³².

Из этих рассуждений понятно, что, несмотря на различия, и тот и другой род религий неотрывен от политики. Чем более сильно и могущественно государство, тем в большей степени господствующая в нем идеология принимает миссионерский, а тем самым и политиче-

ский характер. Здесь всё то же самое, как и в случаях с сильными религиями, которые также не могут существовать, не выполняя миссионерской функции. Это сходство дало основание известному идеологу американского экспансионизма и империализма Мэхэну сказать, что *государства, подобно религиям, разрушаются, если пренебрегают своим миссионерским предназначением*. Недаром для Мэхэна американская внешняя экспансия представляла собой нечто большее, нежели простую национальную целесообразность: для него она была моральным долгом. Мэхэн был убежден, что расширение американского влияния в мире просветило бы отсталые народы и принесло им христианское благословение и англо-саксонский политический гений³³.

Хотя американская официальная политика всегда стыдливо сторижилась откровений Мэхэна, практически она следовала им с поразительным буквализмом вплоть до самого последнего времени, включая ее «героические» деяния в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане и т.д. Факт этот свидетельствует, разумеется, не столько о влиянии Мэхэна на политику, сколько о том, что самому Мэхэну удалось достаточно точно выразить подлинный дух американской политики и идеологии, присущий ему мессианский интервенционизм, замешанный на лицемерном христианском морализме.

* * *

Подводя общий итог рассуждениям о соотношении политики и идеологии, можно сказать, что в зависимости от природы общества и государства, от уровня их развития, от обстоятельств места и времени это соотношение выступает в трех формах: 1) идеология как средство политики, 2) политика как средство идеологии; 3) идеология как идейно-теоретическое обоснование и оправдание практической политики.

Разумеется, такое деление вполне условно, так как все эти функции могут постоянно меняться, переходить одна в другую, сочетаться... В зависимости от обстоятельств бóльший акцент может делаться то на одну, то на другую функцию идеологии в ее связи с политикой. Практика же в целом показывает, что идеология и политика постоянно меняются местами как причина и следствие, как цель и средство. Такое тесное переплетение той и другой особенно характерно там, где идеология принимает форму идеологии государственной, а тем самым тотальной, вследствие чего грань между политикой в лице государства и государственной же идеологией

вообще размывается, и государство превращается в «идеократию». Символом нашего времени является именно государство идеократическое.

Тесная связь и воздействие идеологии на политику объясняется главным образом тем, что, будучи прямой наследницей религии, ее, так сказать, светским вариантом, идеология с самого начала своего зарождения имела тенденцию к тому, чтобы рассматривать себя как общественно-философское мировоззрение, призванное дать ответ на все основные вопросы жизни и соединить теорию с практикой. Поскольку каждая конкретная идеология рождалась на почве определенного религиозного сознания, лежащего в духовной основе тех или иных цивилизаций, народов, наций, государств, то эти конкретные идеологии различались в той же мере, в какой различались между собой религии. Притом каждое общественное мировоззрение при всей его претензии на всеобщность было всегда мировоззрением специфическим, национально ограниченным, и в этом качестве оказывало свое воздействие на соответствующую политику.

В идею можно сказать, что идеологическая борьба, присущая сегодняшнему миру, есть продолжение в другой форме религиозной борьбы, свойственной миру испокон века. Каждый народ во все времена чтил только своих богов, считал их выше, могущественнее и мудрее богов других народов, боролся за них, и если те гибли, вместе с ними погибал и дух народа. Народы, которые по тем или иным причинам теряли своих богов, утрачивали тем самым ценностные ориентиры и целостное видение мира. В этом случае терялся смысл существования народа, и он переставал существовать в качестве такового, превращаясь, говоря словами Данилевского, в «*этнографический материал*».

В этой связи нельзя согласиться с утверждением Ясперса, что «признаком политической свободы является отделение политики от мировоззрения»³⁴. Это не так: они неразделимы. Политика, «освобожденная» от мировоззрения, превращается в политиканство, в антиполитику, оторванную от своих социальных корней, от всей духовной жизни общества, отражением которой является, в частности, идеология.

Поэтому, когда говорят о необходимости «деидеологизации» политики, к словам этим нужно относиться с большой осторожностью и видеть, что за ними на самом деле скрывается: политический ли трюк, опасная ли наивность, смена ли идеологических парадигм или же преступное пренебрежение духовными ценностями народа.

Как бы то ни было, идеология (равно как и религия) — это, как любил повторять Макс Вебер, не «фиакр», который можно остановить в любой момент, войти и выйти из него где и когда вздумается³⁵. Сам народ, как воплощение и носитель высшей нравственности, может отказаться в какие-то поворотные моменты своей истории от господствующей в его среде *Идеи*, но нельзя его лишить ее насильственно, как нельзя насильственно навязать ему какую-либо взятую напрокат со стороны идеологию, не погубив тем самым и сам народ, отняв у него смысл его существования.

По тем же причинам и для политики идеология — не только и не просто средство реализации ее целей, но и средство ее существования, ее духовный и нравственный фундамент, тот источник, из коего она черпает глубинный смысл своих целей и задач.

Во второй главе говорилось, что всякое политическое действие сводится в итоге к занятию определенной ценностной позиции. Вот идеология и служит формулированию и теоретико-философскому обоснованию этих ценностей, их защите от иных, чуждых ценностей. Лишаясь идеологической основы, политика лишается и одухотворяющей ее идеи, превращается, как уже говорилось, в пустое политиканство, в политическую игру, в «искусство ради искусства» и, в конце концов, в политический авантюризм.

Такое случается с политикой в периоды духовного кризиса общества, сопровождающегося разрывом органических связей между государством и гражданским обществом, между политикой и нравственностью, между Идеей и Силой. Можно сказать, что в здоровом общественном организме политика, идеология (не важно, религиозная или светская) и нравственность составляют единый неразрывный узел его духовного бытия. И там, где этот узел начинает распадаться на отдельные составляющие его части, там общество больно, там наступают его сумерки, начинается его переход в стадию стагнации, упадка и гибели.

Примечания

¹ См.: *Философский словарь*. М., 1963. С. 160.

² См.: *Lodge G. The New American Ideology*. N.Y., 1976. P. 7; а также: *Полицук М.Л.* В преддверии натиска «третьей волны». М., 1989. С. 73.

³ *Гегель*. Философия права. М., 1990. С. 295.

⁴ *Ясперс К.* Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 146.

- ⁵ См.: Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 164.
- ⁶ Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч. в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 524.
- ⁷ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1976. Т. 14. С. 232.
- ⁸ Еккл. 8:17, 1:14.
- ⁹ Lodge G. The New American Ideology. P. 21.
- ¹⁰ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 232.
- ¹¹ Мф. 7:13, 14.
- ¹² См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 250, 251.
- ¹³ См.: Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Спиноза Б. Избр. произв. В 2 т. М., 1957. Т. 2. С. 222.
- ¹⁴ Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. С. 251.
- ¹⁵ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 450–451.
- ¹⁶ Reinhold Niebuhr on Politics / Ed. by H.R. Davis and R.C. Good. N.Y., 1960. P. 11.
- ¹⁷ Плеханов Г.В. Очерки по истории материализма // Плеханов Г.В. Избр. филос. произв. В 5 т. М., 1956. Т. 2. С. 75.
- ¹⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 12. С. 4.
- ¹⁹ См.: Бердяев Н. Смысл истории. М., 1990. С. 146.
- ²⁰ См.: Франк С.Л. Этика нигилизма // Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990. С. 168.
- ²¹ См.: Тойнbee А.Дж. A Study of History. V. III. Lnd., 1934. P. 211.
- ²² Бердяев Н. Смысл истории. С. 154–156.
- ²³ Там же. С. 158–159.
- ²⁴ Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993. С. 151.
- ²⁵ «Закон наименьших» впервые сформулирован и подробно рассмотрен А. Богдановым в рамках теории организации в книге «Всеобщая организационная наука (тектология)» (см.: 3-е изд. Ч. II. Л.-М., 1927).
- ²⁶ Розанов В. О легенде «Великий Инквизитор» Ф.М. Достоевского. Спб., 1906. С. 170.
- ²⁷ Карлейль Т. Французская революция. История. М., 1991. С. 26.
- ²⁸ Adams V. The Law of Civilization and Decay. An Essay on History. N.Y., 1943. P. 61.
- ²⁹ См.: Тойнbee А.Дж. A Study of History. Vol. I–III.
- ³⁰ Бердяев Н. Смысл истории. С. 151.
- ³¹ Carlo M. Cipolla (ed.). The Economic Decline of Empires. Lnd., 1970. P. 12.
- ³² См.: Гоббс Т. Левиафан. М., 1936. С. 58.
- ³³ См.: Osgood R.E. Ideals and Self-Interest in America's Foreign Relations. Chicago, 1953. P. 35.
- ³⁴ Ясперс К. Истоки истории и ее цель. С. 39.
- ³⁵ См.: Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избр. произв. М., 1990. С. 695.

Глава V

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Политика versus экономика

Политика и экономика... Всякий раз, когда о них заходит речь, по введённой уже привычке они рассматриваются не иначе как две составляющие «диалектической пары», притом непременно в известном соподчинении. Что определяет что? — Политика экономику или экономика политику? — вот вопрос, над которым до сих пор не перестают биться умы. При таком подходе уже априорно предполагается, что политика и экономика — две разные, хотя и неразрывно взаимосвязанные сферы общественных отношений, и задача исследования состоит в том, чтобы определить «правильное» соотношение между ними.

Разведение и одновременно достаточно жесткое соподчинение экономики и политики (базис VS надстройка) достигло своего крайнего выражения в марксистском учении. Марксизм, как известно, понимает под экономикой совокупность производственных отношений. В этом смысле основу экономики составляют отношения собственности на средства производства. Определяющий фактор развития экономики — это производительные силы; изменения в них влекут за собой, в конечном счете, изменение производственных отношений и всей политико-юридической надстройки. Экономика, или экономический базис, образует тем самым основу всех других общественных отношений.

«Совокупность... *производственных отношений* составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания»¹.

Вот в такой четкой, литой форме Маркс определил соотношение политики и экономики, и она долгое время оставалась незыблемой.

Политика в конечном счете определяется экономикой — это первое фундаментальное положение марксизма. С другой стороны, по Ленину, политика, будучи концентрированным выражением экономики, не может не иметь первенства над экономикой — это второе, не менее фундаментальное положение того же марксизма.

Здесь мы сталкиваемся с очевидной двусмысленностью. Как ни стараться, ее невозможно избежать, когда абсолютизируется роль и значимость какой-то одной стороны общественных отношений, которые на деле представляют собой целостную органическую систему. Как таковая она не терпит абсолютизации любой из своих сторон в принципе. Ведь если взять само понятие «производственные отношения» (экономический базис общества), то оно настолько многогранно и широко, что покрывает, по сути дела, всю социально-политическую, а тем самым и всю культурную жизнь общества, практически не оставляя места каким-то иным, «непроизводственным», отношениям.

Классики марксизма видели данную слабость своей концепции и не раз выступали с разъяснениями, пытаясь как-то смягчить жесткость ее конструкции. Наиболее показательным в этом смысле известное письмо Энгельса Блоху. В нем говорится, в частности:

«Согласно материалистическому пониманию истории, в историческом процессе определяющим моментом *в конечном счете* является производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если же кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что экономический момент является будто единственно определяющим моментом, то он превращает это утверждение в ничего не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу. Экономическое положение — это базис, но на ход исторической борьбы также оказывают влияние и во многих случаях определяют преимущественно форму ее различные моменты надстройки: политические формы классовой борьбы и ее результаты — государственный строй, установленный победившим классом после выигранного сражения, и т.п., правовые формы и даже отражение всех этих действительных битв в мозгу участников, политические, юридические, философские теории, религиозные воззрения и их дальнейшее развитие в систему догм.

Существует взаимодействие всех этих моментов, в котором экономическое движение как необходимое, *в конечном счете* прокладывает себе дорогу сквозь бесконечное множество случайностей... В противном случае применять теорию к любому историческому

периоду было бы легче, чем решать простое уравнение первой степени»².

Это замечательное во многих отношениях письмо, однако, само есть свидетельство того, что социальная жизнь рассматривалась классиками как своего рода «уравнение первой степени». Незыблемым оставался всё тот же «базис», тогда как *остальное* продолжало расцениваться как нечто второстепенное, что лишь «*также*» оказывает влияние и во многих случаях определяет опять же лишь «форму» исторической борьбы. А ведь это «*остальное*» — не более и не менее как вся совокупность сторон духовной жизни человека, то есть то, без чего человек уже не человек, без чего бессмысленно вообще говорить об экономике, технике и прочих подобных вещах.

В общем и целом разъяснения не получилось. Однако авторитет вождей Интернационала был настолько высок, потребность в ясном, доступном объяснении истории, как и в радикальном средстве решения социальных проблем, были настолько велики, что марксистская формула в основе своей была воспринята великом. Раздававшаяся время от времени критика в ее адрес каких-либо заметных последствий не имела. В этой формуле в концентрированном виде был как бы сосредоточен весь рационализм западноевропейской мысли, нашедший свое воплощение в эпохе Просвещения, руссоизме с его идеей переустройства общества, позитивизме и механистических утопиях казарменного социализма Кампанеллы, Томаса Мора, Фурье, Оуэна и других.

В экономизме Маркса выражено жестко детерминистское, по сути, фаталистическое представление о движущих силах исторического процесса. Его экономическая теория, будучи по характеру своему типичным веберовским «*идеальным типом*» с несомненными эвристическими достоинствами, сделавшись стараниями ее последователей «единственно верным» объяснением процесса общественного развития, в конце концов рухнула под тяжестью своих же абсолютных выводов. Один из ее больших недостатков — это вольное или невольное принижение роли человеческого фактора, роли рациональных и иррациональных его начал в их неразрывном единстве.

Последний момент, надо сказать, вообще присущ марксизму, как и любому другому учению, озабоченному поисками некой абсолютной рациональной схемы достижения счастья «всего человечества», и особенно той части марксизма, которая получила название *исторический материализм*. В принципе он ничем не отличается

от любой метафизической концепции, с той лишь разницей, что в его основе лежит не идеальный, а материальный абсолют.

Этот момент роднит его и с гегелевской историософией, что, впрочем, не удивительно, поскольку Маркс вышел из Гегеля. По Гегелю, история представляет собой безличный или, точнее, сверхличный процесс. В ней реализуется то, что он называл «*лукавством разума*». Оно проявляется в том, что люди уверены, будто действуют, исходя из своих собственных интересов и целей, тогда как на самом деле через их посредство осуществляются намерения и цели Мирового Духа. Люди же служат лишь средством реализации его сверхличностных целей.

В историческом материализме таким «лукавством» обладает уже не дух, а материя, или экономический фактор, как бы исподволь, через «настройку», через индивидуальные материальные интересы человека реализующий свои сверхличностные цели и задачи.

Насколько марксова экономическая теория глубоко въелась в наше сознание, видно из того, что даже начатая в нашей стране «перестройка» и последующие реформы общественных отношений развертывались все по той же жестко детерминистской марксистской схеме, а именно: «экономика определяет политику и все прочие надстроечные отношения», а потому нужно начинать с экономики, ее ломки и переустройства на новых, теперь уже капиталистических основаниях.

Обвальное крушение не только экономических, но и всех социальных, культурных, духовно-нравственных основ и структур нашего общества и государства, притом в поражающе короткий срок, лишний раз свидетельствует о глубинной ошибочности этой схемы. На самом деле общественная жизнь определяется иными факторами: в ее основе лежит *культура общества* во всей совокупности составляющих ее элементов — политических (связанных прежде всего с государством), социально-экономических, духовно-нравственных, эстетических, которые в своей неразрывной совокупности образуют каркас общества и определяют соответствующий ему тип господствующих экономических отношений. Об этом говорит хотя бы то, что совершенно непродуманные, фактически стихийные перестроечные реформы конца 80-х — начала 90-х годов, начавшиеся сверху, то есть из сферы *настройки*, из сферы *идей*, до изумления легко и быстро расправились с экономическим базисом социализма, который представлялся могучим и незыблемым, и ввергли страну в состояние полного хаоса.

В чем же причина этого явления?

Начнем с того, что политика есть такая же область культуры общества, какой является и экономика — та и другая неразрывно взаимосвязаны через категории интереса, цели и средств. Та и другая суть *формы общественных отношений*, которые неразделимы. Последнее необходимо отметить особо, поскольку по сию пору мы являемся свидетелями постоянной путаницы в данном вопросе, выражающейся в том, что под экономикой нередко понимаются не общественные отношения, а сфера производства как таковая, или сфера реализации товаров (внутренняя или внешняя, неважно). В исследованиях, особенно у политологов (хотя и у экономистов тоже), из такого понимания экономики проистекает совершенно превратное толкование соотношения экономики и политики. По сию пору можно встретить утверждения, что экономика, взятая как непосредственное производство или как сфера реализации, и есть тот самый «базис», который якобы определяет политику, направляет ее, изменяет ее. И это выдается за марксизм. Нет ничего более далекого от него и нет ничего другого, что вносило бы такую чудовищную путаницу в вопрос о соотношении политики и экономики.

* * *

Ленин в своей рецензии на «Краткий курс экономической науки» А. Богданова отмечал в качестве главного достоинства книги именно то, что в ней с самого начала дается ясное и точное определение политической экономии как «науки, изучающей *общественные отношения* производства и распределения в их развитии».

Автор курса, пишет Ленин, «нигде не отступает от такого взгляда, нередко весьма плохо понимаемого учеными профессорами политической экономии, сбивающимися с «*общественных отношений производства*» на *производство вообще*»³.

Итак, согласно марксистскому учению, экономика в политэкономическом смысле (а в ином незначем ее и рассматривать) — это отнюдь *не производство, не сфера распределения*, а именно **общественные отношения**, складывающиеся в процессе производства, то есть отношения людей, классов, партий, профсоюзов и прочих человеческих ассоциаций, *возникающие в ходе производства и распределения*. И когда экономика берется в этом, *политэкономическом* ее значении, то становится особенно очевидной ошибочность противопоставле-

ния, противопологания экономики и политики. Политика ведь тоже есть сфера *общественных отношений* людей, классов, партий, профсоюзов и других человеческих ассоциаций — отношений в процессе воспроизводства социальной жизни во всех ее аспектах, в том числе и производственном.

Вот почему не иначе как схоластикой можно назвать попытки выделения некой *чистой* политики, равно как и *чистой* экономики. Как отношения *общественные*, та и другая неразделимы, переплетены, взаимозависимы, и всякое их разделение искусственно и оправданно разве что в каких-то узкопедантических академических целях. В зависимости от обстоятельств, от переживаемого обществом момента, от стоящих перед ним задач значимость экономического или политического аспектов общественных отношений постоянно меняется, но *никогда и ни при каких обстоятельствах* их нельзя оторвать одну от другой, разьединить в качестве отдельных, а тем более противостоящих друг другу сущностей.

Политика и экономика в равной мере обусловлены той естественной социальной средой, на которой и из которой они рождаются, интегральной частью которой являются. Эта социальная среда включает духовные и материальные основы общества, действующие в нем обычаи, традиции, установившиеся в нем государственные и общественные институты и учреждения, система права и всё остальное, являющееся продуктом всей его истории. Вот почему глубоко ошибочно выделять, а тем более изолировать экономические явления от всех остальных сторон жизни общества и рассматривать их в этой изоляции. Такие понятия, как производственные отношения, способ производства, собственность и т.д., — лишь *частично* экономические; в существенной же своей основе они являются понятиями юридическими и политическими, а в целом — культурологическими. Поэтому не только не продуктивно, но и попросту бессмысленно рассматривать экономику отдельно от политики, от права, от культуры данного общества в целом.

Данные положения еще более справедливы применительно к взаимосвязи политики и экономики в международных отношениях. Главными субъектами международных отношений, в том числе так называемых отношений экономических, выступают государства — организации не только сами политические, но и политизирующие все виды отношений, в которые они вступают.

То, что называется мировой экономикой, по сути, представляет собой *сферу реализации* продукции национальных экономик, то есть, другими словами, сферу мировой торговли, мирового рынка. Вот по-

чему нет никаких оснований говорить о каких-то «производственных отношениях» применительно к данной сфере, по крайней мере, в том смысле, в каком это понятие используется к внутренним экономическим отношениям. Что же касается внешней торговли (мировой торговли), то она, по словам того же Маркса,

«только замечает туземные изделия... изделиями другой потребительской или натуральной формы». Берется ли при этом одна страна или комплекс стран, сущность процесса реализации от этого насколько не изменяется⁴.

Вот почему детски наивными представляются мнения тех политологов (а такие имеются и сегодня), которые рассматривают международные экономические отношения в качестве «базиса» международных политических отношений. Мало того, что само противопоставление экономического «базиса» и политической «надстройки», как уже говорилось выше, не выдерживает критики, но принимать за «базис» внешнеполитических отношений сферу реализации, сферу торговли, пусть даже мировой, можно разве что с вульгарно-житейской, потребительской, товарно-фетишистской точки зрения, но отнюдь не с научной.

Из сказанного самым, быть может, важным является оценка экономики как сферы *общественных отношений, отношений между людьми в процессе производства*. Но ведь и политика тоже является сферой отношений между людьми, в том числе и отношений в процессе производства. В основе политики лежат интересы, но и в основе того, что мы называем экономическими общественными отношениями, тоже лежат интересы — интересы экономические, производственные, но также и те интересы, которые можно определить как политические.

Где же тогда проходит грань между политикой и экономикой, и существует ли вообще таковая, если экономику понимать в ее политико-экономическом, а не в бытовом или узкопроизводственном смысле? На этот вопрос мы вряд ли сумеем ответить, оставаясь в рамках вульгарно-марксистского понимания соотношения между политикой и экономикой как соотношения между «базисом» и «надстройкой». Для этого нужно вообще отойти от какого бы то ни было противопоставления политики и экономики, отказаться от рассмотрения их в качестве неких «независимых» сфер деятельности. И здесь споры о том, экономика ли определяет политику или политика — экономику, столь же схоластично бессмысленны, как и споры о первичности материи или сознания. В этих спорах, тянущихся уже столетия, обе

стороны, отталкиваясь от причинно-следственного взгляда на вещи, одинаково «убедительно» доказывают как свою правоту, так и слепоту своих противников, не видящих или не желающих видеть подлинной взаимосвязи вещей. Такого рода «научные» дискуссии, несколько не проясняя истины, обычно заканчиваются шельмованием друг друга как недалеких и абсурдно мыслящих людей.

Если не принимать во внимание отдельные малозначимые вопросы, то в каждом случае, когда речь заходит об основополагающих вещах, проблемы экономики и политики поднимаются до уровня общих вопросов культуры, затрагивающих основные общественные ценности.

«Подобно тому, как нет такой вещи, как “homo oeconomicus”, — пишет известный экономист Карло Чиполла, — так нет и экономической деятельности, отделенной от других форм деятельности. Когда мы ведем наши дела, мы всегда действуем определенным образом, и этот образ действия отражает нашу индивидуальность в самом широком понимании этого слова. Тот способ, которым мы ведем дела, связан с тем, как мы любим и ненавидим, как мы едим и как отдыхаем, как мы думаем и как вообще смотрим на вещи. Изменение нашего стиля работы и ведения дел подразумевает более общие изменения в привычках, отношениях, мотивациях и системах ценностей, составляющих наше культурное наследие»⁵.

В данной связи можно вспомнить и приведенные в первой главе рассуждения Карлейля о «коре привычек» и ее значении в жизни общества. Читатель, думается, без труда обнаружит в рассуждениях как Чиполлы, так и Карлейля параллель с культурологическими идеями Шпенглера, Тойнби, Данилевского, М. Вебера и других мыслителей, к коим я уже не раз адресовался.

Здесь мы подходим к фундаментальному положению Вебера, вытекающему из самой сущности культурологического, ценностного подхода к изучению социальных явлений, в том числе и экономических.

Качество явления, позволяющее считать его политическим или экономическим, считает Вебер, «не есть нечто присущее ему как таковому “объективно”»: оно обусловлено *направленностью* нашего познавательного интереса, ибо каждое явление, в зависимости от наших целей, может рассматриваться и как “политическое”, и как “экономическое” — грань тут чисто условна»⁶ (курсив мой. — Э.П.).

Данное положение Вебер распространяет даже на учреждения, нармерно созданные или используемые для каких-либо «экономических» целей, например, биржи или банки. И те и другие могут с одинаковым основанием рассматриваться как организации и политические, и экономические — всё зависит от задачи исследования.

К примеру, Ленин в своих «Тетрадах по империализму» выделяет тот момент, что вывоз капитала — эта, по сути дела, экономическая акция, — в то же время «является средством для целей внешней политики, а его успехи зависят, в свою очередь, от внешней политики». Англия и Франция — крупнейшие мировые державы-кредиторы — «являются политическими банкирами», а «государство и банковый мир выступают здесь как одно лицо»⁷ (курсив мой. — Э.П.).

Тем самым Ленин, вольно или невольно, солидаризируется с приведенным выше суждением Вебера (с трудами которого, кстати, он был знаком) об условности границы между явлениями «политическими» и «экономическими».

И с такой условностью мы сталкиваемся на каждом шагу, даже у классиков марксизма, наиболее последовательно «разведших» экономику и политику. Энгельс, к примеру, утверждал, что *насилие (то есть государственная власть) — это тоже экономическая сила*. Но насилие есть одновременно и главная политическая сила, основное средство политики. Поэтому рассматривать ли насилие как политическое или как экономическое явление, зависит от целей исследования, от его направленности, от «точки зрения», от того, *какая* грань социально-экономической жизни нас в данном случае интересует. И это, кстати, относится не только к соотношению экономики и политики, но также и к соотношению экономики с этикой, эстетикой, религией и т.д. Ведь при желании можно легко показать экономическую подоплеку создания того или иного произведения искусства или тех или иных этических норм. Вот почему сведение всего к одним экономическим причинам или выведение всего из них ошибочно не только применительно к области культуры, но и к сфере непосредственно «хозяйственной».

«...Экономическое объяснение, — пишет тот же Вебер, — носит в принципе ничуть не более исчерпывающий характер, чем выведение капитализма из тех или иных преобразований религиозного сознания, игравших определенную роль в генезисе капиталистического духа, или выведение какого-либо политического образования из географических условий среды. Во *всех* этих случаях, — подчеркивает Вебер, — решающим для степени значимости, которую следует при-

давать экономическим условиям, является то, к какому типу причин *следует сводить* те специфические элементы данного явления, которым мы в отдельном случае придаем значение, считаем для нас важным»⁸.

В этой связи весьма поучительны попытки многих политологов (в частности, американских) найти критерий, который позволял бы отличать, скажем, международные *политические* акции от акций *экономических*. Розенау, к примеру, критикуя состояние дел в американской науке о международных отношениях и отмечая царящую в ней неразбериху в основных понятиях, задается вопросом: чем отличается международный *политический* акт от тех актов, которые таковыми не являются?

«Является ли каждый акт правительства политическим актом? — спрашивает он. — Является ли продажа сырья за границу правительством международным политическим актом и является ли аналогичная акция частной компании только экономическим актом? Или же, если продажа правительством сырья является одновременно и политическим, и экономическим актом, то какой из аспектов относится к первому и какой — ко второму?»⁹.

Я привел эту тираду потому лишь, что она вполне типична для отмеченной Розенау «неразберихи» в головах многих политологов и экономистов (включая и голову самого Розенау) относительно соотношения экономики и политики, вытекающего из традиционно установившегося стремления рассматривать их непременно отдельно, как разные, но в то же время сосуществующие сущности; из наивного желания непременно ткнуть пальцем и сказать: «это политический акт», а вот это — «акт экономический». Поставленные Розенау вопросы свидетельствует о непонимании того, что сам критерий такого деления находится не в «объективной реальности», а *в суверенной голове исследователя* и зависит только от одного: от его намерений, от исследовательской задачи, от того типа причин, к которому он сводит рассматриваемое явление. В зависимости от этого ту же «акцию частной компании» можно рассматривать и как политическую, и как экономическую. То же самое относится не только к акциям правительства, но и акциям фирм, корпораций (как национальных, так и транснациональных — тут разницы никакой нет).

Если же кому-то непременно требуется «объективный» критерий для разделения политического международного акта и акта

неполитического, то отсылаю читателя ко второй главе данной книги, где об этом критерии говорится достаточно подробно. Напомню лишь кратко, что в качестве главного критерия отнесения того или иного факта к разряду политических там называлась его *публично принудительная природа*.

Разумеется, в международных отношениях этот критерий имеет свою специфику. Если речь идет, скажем, о так называемых экономических актах, то политическими мы назовем те из них, которые воздействуют тем или иным образом на экономическую или иную политику государства, вынуждая его в ответ на те или иные «экономические» акции других государств предпринимать соответствующие политические действия.

Явления и процессы, так или иначе относящиеся к «экономике», сам Вебер делит на три разряда. К первому он относит объекты, которые можно в узком смысле назвать *собственно* экономическими процессами и институтами. Это главным образом объекты, *специально созданные* или используемые для экономических целей, например, биржи, банки и т.п. Ко второму он относит так называемые «*экономически релевантные явления*», то есть явления, так или иначе связанные с экономикой. Хотя они и не интересуют нас под углом зрения их экономического значения, но в определенных обстоятельствах они могут обрести таковое, поскольку способны оказывать воздействие и с экономической точки зрения. К ним относятся, например, события религиозной жизни. И, наконец, в третий разряд он включает «*экономически обусловленные явления*», то есть те явления, экономическое воздействие которых вообще не представляет для нас интереса или представляет в весьма незначительной степени, например, направленность художественного вкуса какой-нибудь эпохи¹⁰.

Веберовское деление, несомненно, обладает определенной эвристической ценностью. Однако вряд ли его можно брать за какую-то окончательную схему распределения явлений по их экономической значимости: для этого определяемые им границы между тремя группами явлений слишком расплывчаты, условны и, в конечном счете, сводятся всё к той же «точке зрения» исследователя, к стоящей перед ним цели и к тому, что тот считает для себя в данном случае важным.

Но всё же при всей условности деления явлений социальной жизни на «политические» и «экономические», и если мы желаем быть последовательными в своих суждениях, нельзя не прийти к выводу, что, в конечном счете, политика, рассматриваемая как ценностно

обусловленное единство интересов, целей и средств, в центре которого стоит проблема власти, *не может не иметь первенства над экономикой (в любом значении данного понятия)*.

И наиболее полным воплощением этого политического начала является государство. Поскольку в ходе исторического развития государство постоянно стремится взять на себя всё возрастающую ответственность за организацию дел всего общества, оно не могло не брать на себя одновременно выполнение функций, традиционно рассматриваемых как «экономические». Поэтому и без того условное деление «экономики» и «политики» постепенно всё более теряло свой смысл, становясь прибежищем педантов от науки, не мыслящих ее без разложения всего и вся по полочкам, по элементам, по атомам.

Однако, и это надо еще раз подчеркнуть, в этом педантизме, быть может, самым труднопреодолимым предрассудком является сохраняющаяся и по сию пору вера в определяющую роль «экономики», вера в ее некий «объективный» характер и «объективность» ее законов, действующих будто бы с железной необходимостью.

Нет на свете ничего более субъективного, нежели эта точка зрения, и ее негативное действие мы испытываем на себе по сию пору. Та выступает в виде то «железных» экономических законов социализма, то не менее «железных» законов переустройства общества на новых экономических началах. Глубоко въелось в сознание убеждение, что если *изменить* «экономiku», то за этим чуть ли не автоматически последует изменение в желаемом направлении и всей «надстройки». При этом, однако, постоянно упускается из виду, что это «*изменение*» осуществляется посредством *политической* воли, в каких-то *политических* целях и с помощью *политических* средств. Хорошо, когда этот политический набор оказывается в руках здравомыслящих людей. Если же нет, то изменение «экономики» в отрыве от всех остальных социальных сфер, от культуры общества в целом ведет, как правило, лишь к полной дезорганизации и хаосу, подрывая тем самым глубинные основы и самой «экономической» жизни. И нынешняя «постперестроечная» Россия — лучший тому пример.

Если экономика и «объективна», то ничуть не в большей степени, нежели политика. «Объективность» же последней, отмечу еще раз, заключается в ее *публично принудительной силе* и в самой непосредственной связи с государственной властью. Глубоко прав был Ленин, утверждая, что *политика не может не иметь первенства над экономикой*. Дело в том, что экономика как таковая по самой

природе вещей стихийна и необузданна. Она подавляет свободу человека со всей беспощадностью слепых природных сил. Вот ее обузданию и служат политическая воля и разум, воплощенные в государстве. Не будь их, люди оказались бы совершенно беспомощны перед экономической стихией. Полная же свобода экономических сил ведет только к одному результату — рабству одних (большинства) и господству других (меньшинства).

Исходя из сказанного, я беру на себя смелость поправить ленинское положение следующим образом: *политика должна иметь первенство над экономикой*. Там, где такого первенства нет, там господствуют анархия и власть сильного над слабым, как это имеет место в мире природы. И мы видим, что повсюду, где человеческие общества были организованы на основе государственности, политика всегда занималась регулированием, обузданием экономических сил во имя сохранения общества как целостности, базирующейся на тех или иных принципах социальной справедливости. В этом смысле в высшей степени поучительны такие древние документы человеческой истории, как Библия (Ветхий Завет), «Артхашастра», «Книга Шан Яна» и другие.

В данной связи нельзя не сказать несколько слов о весьма примечательном во многих отношениях факте, который часто опускается в нашей социально-политической литературе. Дело в том, что «экономический детерминизм», или концепция, согласно которой единственным определяющим фактором в социально-экономическом развитии общества является экономика, стал господствующим именно в западной социально-экономической мысли и уже от нее перешел к нам. Концепция эта находится в полном соответствии с западноевропейским холодным рационализмом, с неизбывным стремлением обнаружить некие конечные, определяющие причины и законы, с желанием всё свести к рациональным схемам, к « $2 \times 2 = 4$ ». Эта особенность западноевропейской цивилизации, включая и науку, достаточно подробно рассматривалась в первой и второй главах, и ее всегда надо иметь в виду. Марксизм в этом смысле — одно из наиболее ярких и типичных ее выражений. Но парадокс состоит в том, что вчерашние и нынешние западные антимарксисты идут дальше самого Маркса в историческом материализме, доводя его фактически до абсурда, а именно — до экономического детерминизма.

В качестве иллюстрации назову два наиболее известных и почитаемых на Западе сочинения, которые разделяет между собой столетие: это — книга Брукса Адамса «Закон цивилизации и упадка»

(1895) и книга Пола Кеннеди «Взлеты и падения великих держав» (1988)¹¹. Оба автора задались целью выяснить главную причину подъема и упадка цивилизаций и великих держав, и оба, будто стоворившись, априорно выдвигают в качестве таковой всё тот же «экономический фактор». То, что лишь подлежит доказательству, а именно, обусловленность процесса социального развития экономикой, определено ими уже наперед и служит им главной методологической основой и предпосылкой. В конечном счете, оба объемистых труда подтверждают, возможно, вопреки желанию самих авторов, веберовское положение о том, что экономическая обусловленность того или иного явления не есть нечто присущее ему как таковому «объективно», а зависит от *направленности* познавательного интереса исследователя, от *той цели*, которую тот перед собой ставит. Только в таком ключе можно толковать в полном смысле «марксистское» утверждение Брукса Адамса, что «Реформация в целом была в высшей степени экономическим феноменом»¹².

Экономика и политика в международных отношениях

Всё сказанное выше по вопросу о соотношении экономики и политики в еще большей мере распространяется на сферу международных отношений. Здесь это соотношение приобретает еще более выпуклый характер в силу ее специфики. В самом деле, государство как политический институт выступает в международных отношениях во всей, так сказать, чистоте и полноте своей *политической* сути, не затененной никакими «примесями», идущими во внутриполитической его жизни от гражданского общества. Присущие последнему социальные противоречия, антагонизмы, столкновения интересов, постоянно возникающие «экономические» проблемы и трудности часто мешают разглядеть многогранное лицо государства как особого политического института.

Другое дело международные отношения: тут государство выступает во всем своем политическом величии и осознании своих уникальных суверенных прерогатив. Тут оно — одно из многих формально равноправных субъектов отношений. На мировой арене государство является единственным выразителем суверенных прав нации. Как таковое оно выступает в качестве самостоятельного субъекта во всех без исключения сферах международных отношений, в том числе и мирохозяйственных (экономических) связях.

По отношению к внешнему миру государство олицетворяет к тому же суверенного, верховного собственника национальных богатств. Ведь одна из главных особенностей государства состоит в том, что, в какой бы сфере оно ни выступало, всегда и везде оно действует как *политический* субъект, что присуще самой его природе как политической организации. И все виды этой деятельности, на какую бы область они ни распространялись, политизируются, обретая политический смысл и окраску.

Надо здесь заметить, что в нашей литературе издавна сложился стереотип, согласно которому международные отношения рассматриваются просто как некая *совокупность* политических, экономических, военных, правовых, идеологических, классовых и прочих связей¹³. При таком, можно сказать, упрощенном подходе, свойственном начальному этапу концептуального осмысления международных отношений, чаще всего и проявляет себя упоминавшийся выше научный педантизм и формализм с присущим им стремлением всё разложить по отдельным полочкам и элементам, простая совокупность которых и принималась за исследуемый объект. Каждый из означенных видов связей существует тут как бы вполне самостоятельно: экономические отдельно и рядом с политическими, «военные» тоже отдельно от политических, и даже идеологические отдельно от политических. Сами же политические связи выступают вообще неизвестно в какой форме.

Не стану распространяться относительно ценности подобного взгляда на вещи. Тот обязан своим происхождением нескольким причинам: прежде всего, несистемному пониманию социальных, в том числе и международных отношений. Затем — некритически упрощенному взгляду на природу экономических отношений между государствами по аналогии с «экономическими» отношениями внутри них, базировавшемуся на устаревшей вере в безусловное первенство экономики над политикой. И все это является следствием узкого и догматического понимания экономики как сферы производства или реализации, а не как сферы общественных отношений и тем более — не как культурологического феномена, основанного на определенной системе ценностей.

Взять, к примеру, хотя бы то, что принято называть *внешнеэкономическими* отношениями между государствами. Фактически они представляют собой отношения товарообменные, притом неважно, в какой конкретной форме они совершаются: в форме ли движения капитала, товаров или услуг. В своей совокупности они образуют некоторую систему международных *обменных связей*, устанавливаемых

государствами друг с другом в целях поощрения развития тех или иных отраслей производства, защиты от внешней конкуренции, обеспечения рынков сбыта или сырья, установления взаимовыгодного торгового сотрудничества с другими государствами и т.д. Какими бы, однако, эти цели ни были по своему конкретному содержанию, по сути своей они *всегда* — *цели политические*, и реализует их государство с помощью своей *внешнеэкономической политики*, используя для этого весь арсенал средств, в том числе и торговлю.

Разумеется, эти международно-экономические отношения можно рассматривать и под иным, так сказать, «экономическим» углом зрения. Вследствие реализации государствами своей внешнеторговой политики, а также в результате деятельности на международной арене различных компаний, фирм и корпораций возникает определенная структура внешних торговых и иных связей. Иными словами, образуется некоторая система мирохозяйственных связей, олицетворяющая общую картину мирового импорта и экспорта: виды товаров, услуг, капиталовложений, экономической помощи, распределение их по странам и регионам, их основные направления и потоки и т.д. Как некая результирующая внешнеэкономической деятельности государств, а также частных компаний и фирм за некоторый период времени эта структура мирохозяйственных связей «объективна» по отношению к внешнеэкономической политике государств и как таковая в известной мере противостоит ей. Иными словами, то, что мы обычно называем системой мирохозяйственных связей, есть на деле «*овеществленная*» *экономическая политика* и деятельность государств и торгово-экономических организаций вне национальных границ.

Соотношение этих двух аспектов — внешнеэкономической *политики* государств и складывающейся в каждый момент развития *структуры* мирохозяйственных связей — вполне отвечает природе соотношения «субъективного» (деятельного начала) и «объективного» (совокупного результата деятельности). Другими словами, это есть соотношение между *процессом* внешнеэкономической деятельности государств и материализовавшимся *результатом* этого процесса.

В свою очередь, структура мирохозяйственных связей, рассматриваемая как результат внешнеэкономической политики государств за какой-то период времени, уже сама воздействует тем или иным образом на их внешнеэкономические интересы и побуждает к выработке соответствующей внешнеэкономической политики. Вот в таком непрерывном процессе взаимодействия и взаимообус-

ловленности и находятся на практике внешнеэкономическая политика государств и структура мирохозяйственных связей. В зависимости от конкретных обстоятельств, от складывающейся конъюнктуры роль той и другой по отношению друг к другу постоянно меняется.

При каких-то конкретных условиях внешнеполитическая деятельность государств может оказывать большее воздействие на изменения в системе мирохозяйственных связей; при других, наоборот, система мирохозяйственных связей — на изменения во внешнеэкономической политике государств. В последнем случае, однако, это воздействие, как правило, ограничено и относится главным образом к *внешнеэкономической политике*, но отнюдь не ко всей политике государства на мировой арене. Та в основе своей определяется совершенно иными процессами и факторами. Их характер, масштаб, содержание зависят от более важных, более существенных, более значимых для государства *политических* отношений на мировой арене и, прежде всего, от отношений, затрагивающих его безопасность, политическую или экономическую независимость, традиционные место и роль в системе отношений между государствами, то есть от жизненно важных для него интересов. И это подтверждается не только теорией, но и всей практикой межгосударственных отношений.

В самом деле, в зависимости от состояния внешней безопасности, от условий, складывающихся в системе межгосударственных отношений, характера отношений с другими государствами, государство может либо широко разворачивать торгово-экономические отношения с ними, либо сводить их к минимуму. Производный, подчиненный характер этих торгово-экономических отношений хорошо видно на известных в международной практике случаях, когда отдельные государства, руководствуясь интересами безопасности или защиты своей политической или экономической независимости, вообще свертывают свои внешние экономические связи и отношения. И эти отношения сравнительно легко вновь налаживаются или восстанавливаются после изменения международной или внутренней обстановки. Частным случаем такой экономической политики государств является автаркия.

Итак, *каждая внешнеэкономическая или внешнеторговая акция государства в зависимости от «угла зрения» и намерений исследователя может рассматриваться и как политическая, и как экономическая (точнее, как «экономически релевантная», пользуясь терминологией М. Вебера)*. В то же время было бы, конечно, упрощением рассматривать каждую такую акцию государства только как поли-

тическую, придавая тем самым ей то значение, которого она, возможно, не имеет. Ведь многие такие акции осуществляются обычно в русле уже согласованных между государствами внешнеэкономических отношений. В их рамках отдельные внешнеторговые или внешнеэкономические акции, как правило, не носят политического характера, а являются, так сказать, «техническими» внешнеэкономическими или внешнеторговыми операциями. Вот почему здесь всякий раз нужно различать между *политической* стороной внешнеэкономической акции государства как средства реализации его внешнеэкономической политики, и стороной «*технической*». Такое различие присуще и всем другим сторонам внешнеполитической деятельности государства.

По аналогии можно утверждать, что и всякая дипломатическая акция имеет свою политическую сторону и сторону «техническую», выраженную в процедуре и правилах дипломатического протокола, в определенной процедуре ведения переговоров и т.п. Также и в случае применения военных средств: их использование в межгосударственных отношениях есть в принципе акция политическая; но вот уже непосредственная реализация этих средств носит чисто военный, «технический» характер.

«Экономический» аспект всякой конкретной внешнеэкономической акции содержится, в общем, в том средстве, с помощью которого та реализуется — им может быть импорт или экспорт товаров или услуг, ввоз или вывоз капитала, экономическая помощь и прочее. Но ведь и выбор средств политики также обусловлен в каждом конкретном случае сложившимися внутренними и внешними обстоятельствами и интересами государства. Ими, как известно, могут быть средства военные, экономические, дипломатические, идеологические. В определенных ситуациях в качестве средства той же самой внешнеэкономической политики может выступать, скажем, военная сила, и в этом случае «чисто» экономический подход к внешнеэкономической политике государства может привести к абсурдным выводам.

Вот почему было бы ошибкой за «технической» стороной реализации государством тех или иных внешних «экономических» акций не видеть политики. Там и тогда, где и когда затрагиваются какие-то интересы государства, *любая его акция*, даже, казалось бы, внешне и не носящая политического характера, тотчас же политизируется. Органическую связь отдельных, казалось бы, «чисто» внешнеэкономических или внешнеторговых акций государства с политикой легко видеть на примере тех случаев в практике межгосударственных

отношений, когда эти акции подвергаются одной из сторон дискриминации. Тут же обнаруживается их политическая подоплека, их неразрывная связь с политикой государства. Сами они при этом нередко служат поводом для энергичного внешнеполитического демарша. Официальный протест, ответные дискриминационные меры, приостановка или прекращение тех или иных связей и отношений, возбуждение общественного мнения и т.д. — вот далеко не полный перечень чисто политических средств и мер, к которым прибегает государство, когда затрагиваются его даже сравнительно частные экономические интересы, не говоря уже об интересах более важных.

Многообразные интересы государства на мировой арене реализуются с помощью политических целей и соответствующих им средств, служащих осуществлению этих целей. Какими бы эти средства ни были — военными, экономическими, дипломатическими и т.д., они всегда суть *средства* в руках государства для достижения им своих политических целей. Средства и цели неразделимы, и одно без другого теряет реальный смысл. Иное дело, что они не всегда соответствуют друг другу: политические цели могут, скажем, реализовываться негодными, неадекватными средствами, но это уже другой вопрос. В любом, однако, случае по отношению к политической цели средства всегда остаются средствами и уже по одной этой причине не могут не зависеть от нее.

Хотя нельзя здесь не признать, что в повседневном их взаимодействии однозначной зависимости средств от политики может и не быть. Средства порой как бы выходят из-под контроля политики и начинают в известной степени воздействовать на нее. Более того, сами средства, их развитие и совершенствование нередко становятся одной из главных целей политики. В этом случае влияние средств на политику возрастает. Наиболее заметно оно в сфере взаимодействия практической политики с военными средствами, особенно с современным ракетно-ядерным оружием, оказывающим на политику весьма ощутимое обратное воздействие. В большей или меньшей степени такой характер взаимодействия присущ соотношению политики и с другими средствами, включая экономические.

На этой почве может возникать своего рода «оптический обман»: могущество используемых государством средств как бы затмевает стоящую за ними политику, вследствие чего она начинает представляться чем-то зыбким, двусмысленным, несущественным, тогда как средства, наоборот, обретают преувеличенные масштабы и значимость. Подобный «оптический обман» ведет к искаженным

оценкам действительности, ее неверному осмыслению; в практической же политике — к опасному самообольщению могуществом средств (особенно это касается современных военных средств).

Однако, повторю еще раз, каким бы значимым ни было временами воздействие средств на политику, те все же подчинены ей. Если бы это было не так, следовало бы навеки расстаться с надеждой не только на сокращение ядерного оружия, но даже на ограничение обычных вооружений. В самом деле, ракеты и иное оружие не создаются сами по себе, лишь вследствие простой «логики» развития военной технологии; как и не размещаются они сами по себе в различных точках земного шара. И то, и другое — результат политики государств, которая сама в значительной мере определяется сложившимися между ними политическими взаимоотношениями. Тот или иной уровень вооружений — это прямое следствие соответствующей политики государств и политических взаимоотношений между ними. Чтобы устранить следствие, нужно начать с устранения причин, вызвавших это следствие. Причины же эти всегда политические и иными быть не могут. Ничто так наглядно не подтверждает данного тезиса, как отношения между Советским Союзом (а затем Россией) и Соединенными Штатами в вопросах сокращения ракетно-ядерных вооружений.

Что касается экономики и представлений о ее самодовлеющем и чуть ли не определяющем по отношению к политике характере, то такой взгляд был отчасти связан (помимо влияния идей «экономического детерминизма») и с тем, что в политике государств на международной арене всё большее место начинают занимать проблемы внешнеэкономических отношений, равно как и использование государствами экономических средств защиты, давления, экспансии и т.п. Это обстоятельство вольно или невольно стало выдвигать «экономический» момент в отношениях между государствами на первый план и способствовать в определенной мере его абсолютизации. В то же время заслонялся тот факт, что внешнеэкономические цели — это те же политические цели, что используемые при этом государством средства, — не что иное, как средства реализации политических целей.

Взять, к примеру, те же «таможенные», «торговые» и прочие внешнеэкономические «войны», ставшие в наше время обычным явлением в межгосударственных отношениях. Хотя они и ведутся под экономическими лозунгами, на деле, по природе своей они являются «войнами» политическими. Они не что иное, как продолжение внешней политики государств, реализуемой только не дипломатическими, не военными, а преимущественно торгово-экономическими средствами.

Разумеется, каждый исследователь имеет полное право выделять и анализировать *чисто* экономическую сторону рассматриваемых явлений; однако ошибочно сводить всё к ней, абсолютизировать ее, полагать, что эта сторона является определяющей по отношению к другим, и т.п.

Условность деления явлений и процессов в международных отношениях на политические и экономические ни в чем так явно не проявляется, как в международных интеграционных процессах. Здесь тесно переплетаются все три группы явлений, имеющих отношение к экономике (по Веберу): непосредственно экономические (производственно-хозяйственные), «экономически релевантные» и «экономически обусловленные». В то же время все они политически обусловлены, то есть неотрывны от политических целей и намерений соответствующих государств.

Нельзя здесь упускать и тот момент, что потребности развития современного сложного производства порождают необходимость расширения производственных связей за пределы национальных границ, то есть их интернационализации. Эти потребности, будучи осознанными, находят свое выражение в виде специфических политических интересов того или иного государства (в рассматриваемом случае — интересов внешнеэкономических). Последние, в свою очередь, определяют его внешнеполитическую деятельность в данном конкретном направлении. Причем эта деятельность выражает производственно-экономические потребности отнюдь не однозначно: те видоизменяются и корректируются различными условиями системы межгосударственных отношений: соотношением сил в ней, накалом и остротой противоречий между государствами, действием личностно-субъективного фактора и т.д. В итоге внешнеполитическая деятельность государств в направлении «экономической интеграции» на каких-то этапах может не только не соответствовать потребности в интернационализации производственных отношений, но и противоречить ей. История создания Европейского экономического сообщества — прекрасная тому иллюстрация.

«Интеграционная политика» может, конечно, рано или поздно, с большим или меньшим успехом реализоваться в разного рода союзах или группировках государств. Они часто именуется «экономической интеграцией», однако такие союзы и группировки можно называть «экономическими» лишь весьма условно. Экономический аспект находит в них свое выражение главным образом в том, что политическая деятельность входящих в союзы государств направлена преимущественно и непосредственно на внешнеполити-

ческое регулирование определенного комплекса *внешнеэкономических* интересов, связанных с интеграцией тех или иных отраслей экономики, а не интересов, скажем, военно-стратегических.

Вот почему то же Европейское экономическое сообщество, несмотря на свою экономическую «вывеску», на деле представляло собой *в чистом виде политический союз* государств, имеющий целью развитие интеграции определенных отраслей экономики и регулирование всего комплекса взаимных хозяйственно-экономических связей.

Нынешний Европейский союз — это *чистый феномен системы межгосударственных отношений, следствие «интеграционной политики»* западноевропейских государств и одновременно объект их внешнеполитической деятельности. Созданный первоначально как союз государств с ограниченной политической целью содействовать интеграции хозяйственно-экономических отношений и их регулированию, он стал развиваться дальше уже в направлении расширения и углубления политических задач и функций вплоть до согласования внешнеполитической деятельности входящих в союз государств по ряду важных международных проблем. Это развитие, однако, происходило уже на собственной политической основе. Прямая же зависимость интеграционных западноевропейских процессов от политики особенно наглядно проявилась в 1991–1992 годах в связи с развалом Советского Союза и политико-экономических структур в Восточной Европе.

В этой связи нельзя не заметить, что развал этот с самого начала поставил большой знак вопроса на перспективе существовании Европейского союза. Судя по всем признакам, в нем уже начались дезинтеграционные процессы. В нашем взаимосвязанном и взаимозависимом мире такой разворот событий более чем возможен. В самом деле, ведь взаимозависимость разных явлений предполагает тесную связь и причинно-следственную их обусловленность не только в направлении так называемого прогрессивного развития, но и развития регрессивного, не только интеграционного, но и дезинтеграционного. И то, что происходит в Европейском союзе в настоящее время, дает все основания считать, что он практически исчерпал тот ресурс, который имел в годы противостояния двух политических систем, и дни его практически сочтены. К тому же слишком разны и подчас несовместимы национальные, культурные, экономические, исторические, географические и прочие показатели входящих в Союз государств. Но это к слову.

Что касается особенностей становления ЕС, то в его ходе, помимо общеполитических, шли и те процессы, которые можно условно

назвать «чисто» экономическими, а именно: производственная интеграция, постепенное снятие таможенных барьеров, стандартизация производства и многое другое в рамках производственно-хозяйственных связей и отношений. Но когда на этом основании делался (и делается по сию пору!) упрощенный вывод, что все эти явления служат «базисом» для происходящей политической интеграции, то такой взгляд на вещи нельзя даже назвать «экономическим детерминизмом», рассматривающим экономику в качестве самостоятельного субъекта истории и как единственную основополагающую причину исторического развития. В этом случае мы сталкиваемся с элементарным непониманием не только того, что происходит в ЕС, но и того, что на самом деле представляют собой политика и экономика и каково их реальное соотношение.

Такое непонимание, кстати, встречается сплошь и рядом. Общим местом стало, скажем, положение о том, что сотрудничество в экономической области ведет чуть ли не автоматически к развитию политических отношений и наоборот: сотрудничество в области политической в свою очередь способствует развитию экономических связей. Притом в качестве аргумента приводится тезис, что экономические связи между государствами порождают взаимозависимость между ними, а эта взаимозависимость находит отражение и при решении политических проблем и т.п. в том же духе.

Это типичный пример вульгарного экономизма, усиленного ложной трактовкой международных «экономических отношений» как «базиса», а отношений международно-политических — как «надстройки» над ними. Выше уже была показана несостоятельность такого подхода. То, что мы называем в международных отношениях «экономикой», — это, повторю, либо рутинная внешнеэкономическая деятельность государств или иных субъектов (импорт, экспорт, инвестиции, помощь и т.д.), либо деятельность с целью достижения каких-то конкретных политических результатов, но с использованием экономических средств: тех же импорта, экспорта, инвестиций, помощи, таможенной политики и т.д. Но в каком бы виде экономический аспект ни выступал, *его подчиненная роль по отношению к проводимой государством политике на мировой арене несомненна.*

Пока мир был жестко биполярным, пока был разделен на два противоположных военно-политических блока, пока в нем господствовала непримиримая идеологическая конфронтация, торгово-экономическим связям суждено было оставаться на задворках отношений между блоками, занимая в общем их объеме самое скромное место. Стоило только благодаря известным политическим событиям в Со-

ветском Союзе измениться сложившимся в течение десятилетий конфронтационным отношениям, а тем самым — и всей проблеме международной безопасности, как тут же торгово-экономические связи стали быстро выдвигаться на передний план.

Такова реальная связь в сфере международных отношений: *впереди* всегда проблема безопасности, *за ней* — всё остальное, в том числе и так называемая экономика.

* * *

Итак, экономика — это отнюдь не производство, не торговля, а *общественные отношения людей* в процессе производства и торговли. Общественные отношения людей, в свою очередь, — это всегда *интересы*; общественные интересы — это всегда *политика*. Ведь любые социальные интересы, в том числе и «экономические», не реализуются сами по себе. Их реализация осуществляется *только* через целенаправленную человеческую деятельность, или, иными словами, *через политику*. В этом процессе политика не может не подчинять себе эти интересы; она видоизменяет их, деформирует и даже искажает в соответствии с конкретными историческими условиями, потребностями дня, с политической и экономической конъюнктурой, с узкими интересами различных социальных слоев и групп людей и даже отдельных личностей. В итоге они могут не только не соответствовать коренным интересам той или иной социальной группы, но и противоречить им. И такую картину можно наблюдать сплошь и рядом.

Что же касается марксистской формулы: «экономика определяет политику», то она слишком глубоко ввелась в сознание многих людей, притом не только там, где марксизм исповедовался в качестве господствующей идеологии, но и там, где к нему относились критически. Это лишний раз доказывает привлекательность простых и в то же время универсальных положений, доступных пониманию каждого и освобождающих от более глубокого, всестороннего, культурологического взгляда на вещи.

Пока мы не откажемся от этой жесткой формулы, а вместе с ней и от разграничения политики и экономики как двух качественно разных сфер общественных отношений, якобы «объективно» существующих и оказывающих лишь «влияние» друг на друга, мы будем оставаться в сфере метафизики, пусть даже метафизики материалистической.

Выше было показано, что явления, события, процессы, многообразные факты реальной жизни не являются сами по себе ни политическими, ни экономическими. Это «качество» придает им наблю-

датель в зависимости от его «угла зрения», от его исследовательского интереса, от того, что для него в данный момент представляется важным. *Всякое явление*, пока и поскольку оно так или иначе связано с материальным миром или с необходимостью применения внешних средств, уже становится в силу этого экономически обусловленным и потому может быть рассматриваемо с «экономической» точки зрения. И *то же самое явление*, пока и поскольку оно связано с социальной или государственной жизнью, становится в силу этого уже политически обусловленным и может потому рассматриваться как явление сугубо «политическое».

Короче говоря, каждое явление есть одновременно и политическое, и экономическое (равно как и юридически-правовое, этическое, эстетическое и т.д.). Какую из этих сторон предпочтет тот или иной исследователь или наблюдатель — дело его личного выбора, конкретной научной целесообразности или общественной потребности. Ошибочным здесь может быть только одно — превращение частного предпочтения того или иного человека в абсолютную истину и стремление подогнать под него живую реальность.

Суммируя сказанное, подчеркну еще раз научную несостоятельность попыток разъединить, а тем более противопоставить политику и экономику или же рассматривать экономику как некую самостоятельную сферу общественной жизни, которую позволительно не только изучать изолированно от других общественных явлений, но и проводить над ней эксперименты вне зависимости от последних и, в первую очередь, от политики.

Так называемые экономические явления (само уже понятие это в высшей степени условно и относительно) суть имманентная часть общественной жизни, в которой переплетены тесным и неразрывным узлом экономические, политико-правовые и национально-культурные моменты. Даже такие «экономические» понятия, как собственность, производительные силы или производственные отношения — не столько экономические, сколько политико-юридические и культурно-исторические. Вот почему пустое и бесплодное занятие изучать «экономику» отдельно от права и политики каждого данного общества: они существуют в неразрывном единстве, в постоянном взаимодействии, взаимовлиянии и взаимно переходят одна в другую. Самостоятельность, независимость каждой из них условна, относительна. Абсолютно лишь их единство в рамках общей для них культурно-цивилизационной среды.

И, наконец, о связи экономики и государства. Государство как высшая форма выражения политики, как высшая форма организации

всего общества имеет *несомненный приоритет над всеми частными сторонами жизни последнего, в том числе и над экономикой. Вовсе не от экономики зависит состояние государства, а от состояния государства — экономика.* Состояние же самого государства — это уже чистая политика. Как и в случае с распадом семейных отношений, распад экономики идет вслед за распадом государства — иными словами, его причины всегда политические. И наоборот, экономика процветает там, где за ней стоит сильное государство.

Итак, если быть до конца последовательным в вопросе о соотношении экономики и политики, то более верным, более точным и более отвечающим действительности является взгляд, что *экономика, рассматриваемая как область общественных отношений (а не как совокупность материальных ценностей), есть та же политика, только относящаяся к сфере регулирования производства, распределения и потребления.*

Примечания

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 6–7.

² Там же. Т. 37. С. 394–395.

³ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 35.

⁴ Цит. по: там же. С. 79, 80.

⁵ Cipolla Carlo M. (ed.). The Economic Decline of Empires. Lnd., 1970. P. 11.

⁶ Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избр. произв. М., 1990. С. 359–360.

⁷ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 28. С. 42.

⁸ Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания. С. 368.

⁹ Rosenau J.N. The Scientific Study of Foreign Policy. N.Y., 1972. P. 202.

¹⁰ См.: Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания. С. 360–361.

¹¹ См.: Adams B. The Law of Civilization and Decay. N.Y., 1943; Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers. Fontana Press, 1988.

¹² Adams B. The Law of Civilization and Decay. P. 41.

¹³ См.: Международные отношения после второй мировой войны. В 3 т. М., 1962. Т. I. С. XXVI.

Глава VI

НАЦИЯ, НАЦИОНАЛИЗМ, ПОЛИТИКА

Сегодняшний мир подобен бурлящему котлу — всё кипит, всё в сумбурном движении и переменах. Уходят в небытие вчера еще полные силы и, казалось бы, вечные государства, державы, нации. В крови, обоюдной ненависти и борьбе возникают новые национально-государственные образования, бок о бок идут процессы национального распада и национального объединения. И во всех этих процессах как преобладающая черта выступает воинствующий национализм. Проявления национализма наблюдаются сегодня повсеместно: ни один континент, ни одна страна не обойдены рецидивами этой, как ее порой называют, «застарелой болезни» человеческой цивилизации. Развал Советского Союза и системы социализма придал ему новый импульс, и, не встречая преград, он свободно разливается по огромным просторам Евразии, начинает выплескиваться за ее пределы, поражая всё новые и новые страны и народы.

В чем причина такой устойчивости национализма и быстрого его распространения в последнее время? Или в самом деле «болезнь» эта присуща человеку по природе и ему суждено вечно жить с ней? В этом случае борьба с национализмом, к которой призывают многие мыслители и политики, заранее обречена на провал. Или он все же относится к качествам благоприобретенным, временным, и при соответствующих условиях его можно преодолеть?

Ответы на поставленные вопросы прибережем на конец. Сейчас же обращу внимание на следующее обстоятельство: кто и как бы ни оценивал национализм с моральных позиций, большинство всё же признает его огромную историческую роль в становлении многих народов и государств. Многие исследователи указывают на тот факт, что только на протяжении последних полутора-двух столетий именно благодаря ему были консолидирована Франция, объединены Италия и Германия, восстановлена политическая независимость Польши, Финляндии, Чехословакии, Греции, Балканских государств, завоева-

на независимость многими народами Азии, Африки и Латинской Америки, а сейчас речь идет уже о доброй дюжине бывших советских республик.

Считается, что именно национализм подорвал и стер с карты мира такие великие империи, как Османская, Австро-Венгерская, Российская, Британская, Французская. Мало того, многие относят выдающиеся успехи в развитии науки и техники, литературы и искусства в значительной мере на счет национализма. Даже великие религиозные учения — христианское, мусульманское, буддийское, как и великие идейные и философские системы — гегелевская, марксистская, позитивистская и другие — хотя и были по идее интернациональными, на деле же, как считает немалое число исследователей, служили если и не прямо националистическим, то, по меньшей мере, национальным целям.

Загадку жизнестойкости национализма пытались разрешить многие умы. Проблеме национализма, поискам его корней и истоков, раскрытию природы и содержания этого феномена посвящены сотни книг (к некоторым из них я буду не раз адресоваться в ходе изложения), и, тем не менее, нельзя утверждать, что загадка данного феномена решена, а проблема должным образом раскрыта. Мы, как и пятьдесят, и сто лет назад стоим перед ней и задаем себе всё те же вопросы, которыми задавались наши предшественники.

Один из наиболее известных и почитаемых исследователей национализма, американский ученый Карлтон Хейс, отвечая на вопрос о причинах небывалого распространения национализма в начале XX столетия, с обезоруживающей откровенностью признает:

«Мы и в самом деле не знаем этого. Жаль, конечно, что мы не знаем, так как если бы знали, то сумели бы сформулировать некоторые достаточно правдоподобные предположения относительно будущего национализма. Пока же мы вынуждены довольствоваться гипотезами и догадками»¹.

Гипотез и догадок и в самом деле предостаточно, но они не дают нам чувства удовлетворения, и мы вновь стоим перед теми же вопросами и проблемами с той, быть может, разницей, что сегодня они обрели еще большую актуальность и остроту.

Выше было упомянуто о великой консолидирующей силе национализма. Не станем, однако, упускать из виду, что «сила национализма», коли уж употреблять это понятие, действовала в двух направле-

ниях: как в направлении консолидации, так и дезинтеграции. Оба они тесно взаимосвязаны, не существуют порознь, и повсюду, где мы сталкиваемся с ростом национализма, одновременно наблюдаются процессы дезинтеграции каких-то крупных политических ассоциаций — империй, государств, федераций. Это — одна из причин, почему консолидирующая сила национализма проявляла себя отнюдь не мирным путем. Чтобы реализовать себя в Новое время, ей понадобилось минимум полтора столетия почти непрерывных кровопролитных войн, и всё это сопровождалось перекройкой политической карты не только Европы, но и других континентов.

Конечно, я далек от мысли, что прояснение «тумана» и устранение расплывчатости в понятиях повлияет каким-то благотворным образом на практическую политику, питаемую национализмом. Но понимание этого не может служить препятствием для очередной попытки решить эту задачу, ибо в любом случае большая ясность предпочтительнее ясности меньшей. В этом смысле можно присоединиться к словам одного из «апостолов» современной теории национализма Ганса Кона.

«В наше время смятения и путаницы в умах и словах, — пишет он, — когда общие политические понятия настолько переполнены эмоциями, что стали еще больше запутывать и без того достаточно запутанную реальность, мы должны начать переосмысление многих концепций в их историческом контексте и в их конкретном приложении. Одна из главных концепций, которой это переосмысление должно коснуться прежде всего в интересах человеческой свободы, культурного сотрудничества и победы общего разума, — это концепция национализма»².

Если вынести за скобки набившие уже оскомину высокие слова об интересах человеческой свободы, о победе разума и прочем (национализм ведь тоже черпает слова и понятия из того же арсенала!), то призыв Кона вполне современен и своевременен.

Представляется, что начинать прямо с национализма, с раскрытия истоков, природы и содержания данного феномена было бы не совсем рационально. Пришлось бы постоянно обращаться к таким близким к нему понятиям, как нация, народ, этнос, национальность, с которыми национализм самым тесным образом связан, и это затруднило бы как изложение материала, так и его понимание читателем. Поэтому, думается, более целесообразно начать с раскрытия понятий нация, народ, этнос и выяснения соотношения между ними,

учитывая к тому же то обстоятельство, что и тут отсутствуют ясность и согласие в суждениях и оценках.

О понятии «нация»

Многие исследователи выводят национализм из существования наций. Об этом, собственно, говорит и прямое семантическое родство обоих понятий. Правомерно и обоснованно ли такое сопряжение? Это один из вопросов, на который нам предстоит ответить. С этой целью обратимся к понятию «нация» и рассмотрим, как его трактуют различные школы социально-политической мысли.

Попытки найти определение нации в современном значении этого слова в целом вряд ли можно признать успешными: об этом свидетельствуют не стихающие и поныне дискуссии по данному вопросу. Провести критический анализ даже части таких определений — задача тоже в общем непосильная, да и ненужная в нашем контексте. Сосредоточим поэтому внимание на определениях наиболее типичных и тех, которые, как представляется, наиболее полно раскрывают сущность феномена нации.

Начнем с понимания нации марксистской школой социально-политической мысли, имеющей в этой области богатые традиции и серьезные наработки. Сами классики марксизма (К. Маркс и Ф. Энгельс) не оставили нам сколь-нибудь определенных суждений на сей счет, но их последователи в разных странах, и прежде всего в Советском Союзе, исходя из практических политико-идеологических потребностей, исследовали данную проблему достаточно основательно. При несомненных достижениях этих исследований общим и наиболее очевидным их недостатком является то, что они прямо и открыто были поставлены на службу определенной идеологии и политике. Тем не менее, они тоже содержат частицу той «истины», поисками коей были озабочены многие ученые прошлого и настоящего.

В рамках марксистской мысли одно из наиболее известных определений нации принадлежит И.В. Сталину. Сейчас оно уже многими забыто; если его порой и вспоминают, то чаще всего как пример догматичного идеологического мышления. Однако напомним его сегодняшнему читателю и одновременно посмотрим, так ли уж далеко ушла современная социальная мысль в своих изысканиях в данной сфере.

В некогда знаменитой работе «Марксизм и национальный вопрос» Сталин дал по существу подробное изложение и теоретическое обоснование выработанной В.И. Лениным программы РСДРП по на-

циональному вопросу с одновременной критикой точки зрения австромарксизма по этой проблеме. Определение нации сформулировано в ней следующим образом:

«Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психологического склада, проявляющегося в общности культуры».

Сталин уточняет далее:

«...достаточно отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы нация перестала быть нацией... только наличие всех признаков вместе взятых, дает нам нацию»³.

Нация, по Сталину, «не расовая и не племенная, а исторически сложившаяся общность людей»⁴.

Сталинское определение нации уже после его смерти стало объектом многочисленной, хотя и не всегда объективной и обоснованной критики. Главный порок определения виделся в том, что оно не учитывает сложности возникновения и развития наций и в недостаточной степени отражает ее социальное содержание и социальную функцию⁵.

Коллективная марксистская мысль выработала новую формулу нации, которую один из известных в свое время специалистов в этой области Альфред Козинг (ГДР) назвал наиболее удачной из всех. Формула эта такова:

«Нация — это устойчивая историческая общность людей, представляющая собой форму общественного развития, сложившуюся на базе общности экономической жизни в сочетании с общностью языка, территории, особенностями культуры, сознания и психологии»⁶.

Данную формулу от сталинской отличает лишь то, что общность экономической жизни вынесена на первый план, чем подчеркивается в духе марксистского учения, что определяющим признаком становления и развития нации является классово-социальный момент. Что же касается всего остального, то, как легко убедиться, оно осталось без каких-либо серьезных изменений или дополнений.

Сталинское определение и в самом деле имеет изъяны, но не те, которые приписывает ему критика, стоящая в принципе на тех же

методологических позициях. Общий недостаток приведенных определений видится, прежде всего, в попытке объяснить такой сложный социальный феномен, как нация, через простое перечисление некоторых признаков, совокупность каких-то и должна будто бы дать полное представление о нации (особенно категорично это выражено у Сталина).

Однако современная научная мысль давно отказалась от метода, когда сложные социальные явления пытаются объяснить путем перечисления или суммирования каких-то их отдельных признаков или черт. Простой «суммативный» подход, свойственный начальному этапу развития общественных наук, в наше время постепенно вытесняется подходом системным, в основе которого лежит не рассмотрение отдельных сторон явления, а раскрытие его сущности, его необходимой формы и внутренней логики в единстве всех его сторон и на этой основе — определение интегрального его качества.

Представленные выше формулировки не дают такого качества, и потому понятие нации остается, по сути дела, нераскрытым. Под эти определения вполне подходят и такие человеческие общности, как племя, народность, этнос, также являющиеся устойчивыми историческими общностями и тоже имеющие в своей основе общность экономической жизни, языка, территории, культуры, сознания и т.д.

Вот как, к примеру, определяет этнос Л.Н. Гумилев:

Этнос — это «естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения коллектив людей, существующий как система, которая противопоставляет себя другим подобным системам, исходя из ощущения комплиментарности»⁷.

Но практически то же самое можно сказать и о нации как некой определенной органической системе, поскольку нация тоже не простая совокупность индивидов, но культурная целостность.

Что касается стереотипа поведения коллектива людей, тот может образоваться только на основе общности совместного существования, а значит, общности языка, культуры, территории, материальной и духовной жизни, то есть всего того, что включается во многие определения нации как ее неперменные компоненты. Но тогда возникает вопрос: чем же нация отличается от этноса или народности?

В надежде найти ответ на этот вопрос обратимся к иным, немарксистским, представлениям и суждениям об интересующем нас феномене. Определений нации имеется достаточно много, однако

ограничимся лишь некоторыми, наиболее, быть может, известными и теми, которые способны приблизить нас к искомому ответу.

Чаще всего в работах по данной проблеме цитируется определение Эрнеста Ренана — известного французского писателя, историка христианства.

«Нация, — писал тот, — есть... великая солидарность, в ее основании лежат священные чувства к принесенным жертвам в прошлом и жертвам, которые еще будут принесены в будущем. Нация предполагает героическое прошлое, единую волю в настоящем и общую программу действий в будущем... Жизнь нации... — это ежедневный плебисцит» («un plebiscite de tous les jours»)⁸.

Данное определение можно отнести скорее к разряду эмоциональных, нежели научных. В то же время оно содержит один важный момент, и на него хотелось бы обратить внимание — это афористичная по форме фраза: «*Жизнь нации есть ежедневный плебисцит*».

Фраза эта важна тем, что как бы выводит понятие нации за пределы сухого перечня неких статичных элементов, сумма которых будто бы и определяет нацию. Она придает понятию динамику, жизнь, устремленность, неотрывные от существования любой нации, заслуживающей этого слова. В самом деле, нации — это отнюдь не застывшие, статичные совокупности каких-то компонентов, а живые организмы. Как и последние, они не вечны, они зарождаются, развиваются, клонятся к упадку и умирают. Но пока они живы, эта жизнь поддерживается за счет постоянного и полнокровного участия в ней всего народа. Вот этот момент участия как раз и выражает формула Ренана.

Но пойдем дальше. Известный английский социолог и экономист XIX века Джон Стюарт Милль характеризовал нацию следующим образом.

Часть человечества образует нацию тогда, когда «входящие в нее люди объединены общими чувствами, каковых нет между ними и другими людьми, причем это чувство может быть вызвано различными причинами: иногда всё дело в тождестве расы или происхождения. Этому могут значительно содействовать общность языка и общность религии, равно как и общие географические границы. Но наиболее важной причиной является *общность политической судьбы, общая национальная история* и основанная на этом общность воспоминаний, общие гордость и унижение, радость и страдание, связанные с общими переживаниями» (курсив мой. — Э.П.)⁹.

Оставим за скобками те характеристики нации, которые так или иначе присутствуют во всех без исключения определениях, и обратим внимание на выделенное место в рассуждениях Милля. Забегая вперед, скажу, что этот пункт есть одна из путеводных нитей, способных привести нас к цели. Пока мы возвращаемся в круге таких определителей, как язык, территория, психика, культура, совместная экономическая жизнь и прочее, мы не выйдем за пределы понятий, которым соответствуют также и такие реалии, как этнос, народность, народ и подобные им. В каком бы сочетании их ни брать, сами по себе они не содержат достаточных и необходимых признаков, дающих нам критерий отличия нации от перечисленных выше общностей. Этот критерий — за рамками означенных определителей, и намек на него как раз и содержится в приведенном отрывке из сочинения Милля.

Значительный толчок развитию представлений о нации, ее природе и содержании дала Первая мировая война и последовавшие за ней события, прежде всего в Восточной Европе, в России, отчасти в Азии, связанные с развалом двух крупнейших империй — Османской и Австро-Венгерской, революционными преобразованиями в России и ослаблением ряда великих европейских держав. Им сопутствовали повсеместный подъем национализма и образование новых национальных государств.

В этих условиях одним из тех, кто пытался по-новому осмыслить понятие нации, был немецкий социолог и философ Макс Вебер. Связь понятия нации с политикой и государством, которая у Милля была едва обозначена, у Вебера приобретает уже самостоятельный концептуальный аспект, хотя, к сожалению, и не получивший полного развития.

Вебер рассматривает нацию как по сути своей *политическую* категорию. По его мнению, она может быть определена только по отношению к государству, хотя и не идентична ему. Нация есть «*сообщество чувств*», которое может найти свое адекватное выражение только *в собственном, независимом государстве*. Здесь Вебер генетически, то есть по времени происхождения, ставит нацию впереди государства. Нация существует там, где люди сами верят в то, что они составляют таковую, или где им присуще чувство принадлежности к сообществу, стремящемуся к самовоплощению в автономном государстве. Существование нации предполагает, что «определенная группа людей выражает специфическое чувство солидарности перед лицом других групп». Это чувство солидарности не является, по Веберу, полностью субъективным. Его корни лежат и в объективных факто-

рах — в единой расе, языке, религии, привычках или политическом опыте, каждый из которых может породить национальное чувство.

Вебер считает, что ни один из этих факторов в отдельности не может служить основополагающим моментом для определения нации. Даже язык, как наиболее общая объективная основа, не является, по его мнению, универсальной чертой, свойственной всем нациям (например, население Канады, Швейцарии говорит на нескольких языках). Но и народы, говорящие на одном языке, могут разделяться другими, более важными факторами, как, например, ирландцы отделены от англичан религией. В то же время уже отмечено, что формировать нацию могут народы, не имеющие общего языка: швейцарцы, канадцы или французские эльзасцы, говорящие на немецком языке.

В веберовской концепции можно, таким образом, выделить три формирующих нацию элемента. Нация существует, во-первых, там, где имеется некоторый объективный общий фактор, связывающий различных людей и отличающий их от других; во-вторых, где этот фактор рассматривается как источник единых ценностей, что создает чувство солидарности по отношению к аутсайдерам; в-третьих, где эта солидарность находит свое выражение в автономных политических институтах.

По Веберу, сообщество людей можно считать нацией только тогда, когда оно либо уже объединено, либо стремится к объединению в собственном автономном государстве. Именно стремление к политической независимости, считает он, сделало венгров, чехов, греков и другие народности нациями. Суть же веберовской концепции национального государства в том, что, хотя нация и государство принадлежат к различным категориям, они эквивалентны. Государство может существовать до тех лишь пор, пока оно способно в качестве своей опоры использовать солидарные чувства национального сообщества. Нация, в свою очередь, может сохранить свою идентичность, свою «культуру» только в рамках собственного государства. Вебер считает, что чувство национальной идентичности служит существенной опорой для современного государства. В самом деле, ведь то, чего может достичь государство одними силовыми средствами, без активной, добровольной поддержки населения, весьма ограниченно и неустойчиво, особенно во время войны¹⁰.

Итак, у Вебера государство и нация, хотя и тесно связаны, принадлежат всё же к различным сущностям. Он проводит определенное различие между государственными вопросами, относящимися главным образом к проблемам власти и обеспечения целостности

государства, и вопросами национальными, касающимися сферы культуры и развития национальной индивидуальности.

Веберовская концепция не может не оставлять чувства некоторой неудовлетворенности своей двусмысленностью. Создается впечатление, будто Вебер пытается балансировать на очень узком пространстве между понятиями «нация» и «государство», клонясь то туда, то сюда, не зная, которому из них отдать приоритет.

Такая позиция, впрочем, имела свое оправдание. Дело в том, что после объединения Германии в 1871 году между некоторыми европейскими историками и социологами, главным образом французскими и немецкими, развернулась дискуссия относительно содержания понятия «нация». Результаты этой дискуссии, отражавшей принципиально разные подходы по обе стороны Рейна, были обобщены известным немецким историком Фридрихом Мейнеке в концепциях «государство-нация» и «нация-государство».

В соответствии с концепцией «*государство-нация*» нация развивается в рамках суверенного государства. Оно создает общие институты, и возникающее новое чувство нации устраняет существовавшие до той поры культурные различия между входящими в государство этносами. «Государство-нация» представляет, таким образом, культурный синтез, *стоящий над этническими различиями*; национальная же принадлежность входящих в него граждан рассматривается в этом случае как дело личного выбора. В политическом смысле эта концепция нашла выражение в идее народного суверенитета. Развитие национальных государств многих стран Западной Европы шло, по мнению Мейнеке, именно по такому пути.

Кстати, в полном согласии с этим вариантом создавалась и развивалась «*советская нация*». Некоторые полубразованные социологи и политологи по сию пору позволяют себе хихикать над этим понятием. А напрасно! Это понятие не менее (если не более!) обоснованно, чем, скажем, такие понятия, как «французская нация», «американская нация», «бразильская», «аргентинская», «индийская» и прочие современные нации, объединяющие в себе самый разнообразный этнический материал.

Развитию наций в странах Восточной и Центральной Европы, по мнению того же Мейнеке, больше соответствовала концепция «*нация-государство*», согласно которой нация может вырасти только в рамках своеобразной культуры. Поэтому нация определялась им скорее как культурная, нежели политическая общность. Но затем рост национального самосознания порождал необходимость создания независимого «национального государства».

Мейнеке считал, что Германия в своем движении к национальному единству создала «гибридный тип», соединивший политический момент первой концепции с культурным — второй.

Возвращаясь в этой связи к сталинскому определению нации, упомяну такой факт: когда в Советском Союзе в 1929 году в ходе дискуссии по национальному вопросу было выдвинуто предложение включить в определение нации существование собственного государства, Сталин высказался против этого. В этом случае, считал он, «все угнетенные нации, лишенные самостоятельной государственности, пришлось бы вычеркнуть из разряда наций»¹¹.

Суждение Сталина понятно: оно выражало не мнение академического исследователя, которого мало интересуют последствия его суждений, а точку зрения практического политика, более того, главы многонационального государства, ясно осознающего возможный политический эффект своих высказываний по такому тонкому вопросу, как нация, притом применительно к полиэтнической России.

Сталинская позиция — отнюдь не какое-то исключение. Она со всей полнотой выражена в знаменитом лозунге *права наций на самоопределение*. В нем совершенно ясно и недвусмысленно государство как бы исключается из признаков наций: оно выступает тут как конечная и вожденная *цель* окончательного самоопределения нации.

В целом же нельзя не заметить изрядной доли неопределенности, которая обычно сопровождает рассуждения о соотношении нации и государства в рамках марксистской школы. Вот что, к примеру, находим у цитировавшегося выше Козинга. Государство и нация, отмечает он, представляют собой, как правило, взаимосвязанные, но вместе с тем существенно отличающиеся друг от друга социально-исторические явления. В полном соответствии с марксистской позицией Козинг считает, что государство есть «инструмент власти господствующего класса». Напротив, «нация, как социальное объединение, охватывающее все классы и слои, действует в качестве формы развития общества и *не связана непосредственно с государством*. В марксистской литературе нация рассматривается в большинстве случаев именно в таком варианте. Однако в реальном процессе общественной жизни между государством и нацией всегда существует взаимосвязь и взаимодействие»¹².

Вот на таком «общепримиряющем» выводе и завершает Козинг свои рассуждения о соотношении двух важнейших форм человеческого коллективного бытия. В таком расплывчатом контексте несколько неожиданно выглядит следующее его умозаключение:

«Нация конституируется политически в государстве, которое является выражением ее независимости и самоопределения»¹³.

Тут мы видим, как «взаимосвязь и взаимодействие нации и государства» начинают облекаться реальной политической плотью, и остается, казалось бы, сделать еще один шаг до полной ясности и определенности в вопросе об их соотношении, но, увы, Козинг его не делает. Остается лишь гадать: если нация конституируется политически только в государстве, то в какой форме она существует до его образования? Что именно служит в этом случае свидетельством того, что данная общность есть нация, а, скажем, не этнос или народность?

Впрочем, неясность в данном вопросе характерна не только для марксистской школы; она присуща большинству современных определений нации. У одного из видных западных авторитетов по национальной проблеме Бойда Шейфера находим такое определение:

«Слово “нация” служит характеристикой группы людей (любой величины), объединенной (1) совместным проживанием на общей земле; (2) общим культурным наследием; (3) общими интересами в настоящем и общими надеждами продолжать совместную жизнь в будущем и (4) общим желанием иметь и развивать свое собственное национальное государство. ...Нации могут и не иметь автономного или независимого правления или государства....»¹⁴.

Тут мы вновь видим, что нация и государство берутся как разные сущности; притом государство выступает лишь как вожденная мечта и цель со стороны первой. Само же определение нации не содержит того самого *differentia specifica**, который отделял бы ее от этноса или народности.

Выше говорилось о двух концепциях развития и становления наций, выдвинутых Ф. Мейнеке. Одна из них, концепция «государство-нация», отдает приоритет в этом процессе государству. Концепция же «нация-государство» предполагает обратное движение — от нации к государству. Большинство существующих определений нации основывается на второй концепции. Главный их изъян состоит, думается, в том, что они а) не содержат четкого критерия отличия нации от этноса и народности и б) не могут объяснить, в какой форме существует нация до образования собственного государства.

* Специфический отличительный признак (*лат.*).

Более плодотворным и близким к истинному положению вещей представляется подход, берущий именно государство в качестве главной и определяющей движущей силы в процессе образования нации. М. Вебер был близок к нему. Однако наиболее убедительную его разработку мы находим у американского социолога Карла Дейча и испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета.

Дейч в своей так называемой функциональной теории нации прямо утверждает, что народ становится нацией только тогда, когда в процессе социальной и политической мобилизации создает свое государство и получает тем самым контроль над институтами общественного насилия.

«Нация, — пишет он, — это народ, объединенный в одном государством». Когда значительная часть людей, входящих в народ, еще только стремится добиться политической власти для своей этнической группы, она может быть квалифицирована как народность. *«Когда же эта власть завоевана — обычно посредством овладения государственным аппаратом — мы уже имеем право определить ее как нацию»*¹⁵ (курсив мой. — Э.П.).

Еще более радикально высказывается по этому поводу Ортега-и-Гассет. Вопреки некоторым историкам, ведущим «биографию» европейских государств с Тридцатилетней войны и полагающим, что задолго до образования Франции, Италии, Германии или Испании как национальных государств уже существовали «французы», «итальянцы», «немцы» и «испанцы», он считает, что глубинной причиной образования современных наций, было отнюдь не кровное родство и не общность языка.

«Какая реальная сила, — спрашивает он, — объединила под единой верховной общественной властью миллионы людей, которых мы сейчас называем французами, испанцами, итальянцами, немцами? ...Отнюдь не кровное родство, так как в этих коллективных организациях течет различная кровь. И не единство языка: народы, соединенные в одном государстве, говорят или говорили на разных языках. Относительное однообразие расы и языка, которого они сейчас достигли (если это можно считать достижением), есть следствие предыдущего *политического объединения*.

Таким образом, отнюдь не кровь и не язык составляют основу национального государства; наоборот, *именно государство* сглаживает первичные различия кровяных шариков и членораздельных звуков.

Так было всегда. Границы государства почти никогда не совпадали с границами племенного или языкового расселения. Испания является национальным государством не потому, что там говорят по-испански. Каталония и Арагония не потому были национальными государствами, что в какой-то определенный день их границы совпадали с границами распространения каталонского или арагонского языка. Мы будем, во всяком случае, ближе к истине, если скажем: *каждое языковое единство, которое охватывает известную область, почти всегда бывает результатом предшествующего политического единства...*

Вовсе не природная общность расы и языка создавала нацию, наоборот: *национальное государство в своей тяге к объединению должно было бороться с множеством “рас” и “языков”. Лишь после того, как эти препятствия энергично устранили, создалось относительное однообразие расы и языка, которые теперь со своей стороны укрепляли чувство единства.*

Итак, — заключает Ортега-и-Гассет, — нам не остается ничего иного, как исправить традиционное искажение идеи национального государства и свыкнуться с мыслью, что как раз те три основы, на которых оно якобы покоится, были главными препятствиями его развитию. ...Секрет успеха национального государства надо искать в его *специфически государственной деятельности... словом, в политике, а не в посторонних областях, биологии или географии*¹⁶ (курсив мой. — Э.П.).

И в самом деле, мы видим правоту суждений Ортеги-и-Гассета на примере становления всех крупных европейских наций. Взять ту же Францию. В Средние века никакой французской нации не было и в помине. Франция представляла собой в то время конгломерат разных народностей и этносов, из которых южнофранцузская народность — провансалцы — была наиболее близка к сообществу, которое мы сегодня определяем как нацию. Она первая из всех народов Нового времени выработала собственный литературный язык. Ее поэзия служила тогда недостижимым образцом не только для романских народов, но и для немцев и англичан. В промышленности и торговле она несколько не уступала итальянцам. И, несмотря на все это, территория Прованса была сначала поделена между Северной Францией и Англией, а позднее покорена французами-северянами. Начиная с Альбигойских войн (1209–1229) и до Людовика XI (годы правления 1461–1483) северяне вели беспрерывные порабощительные войны против южан, что привело в итоге к покорению всей их страны. Их прекрасная культура была низведена до провинциального уровня, а язык — до местного диалекта. Наконец, железный кулак

революционного Конвента окончательно уничтожил остатки независимости провинции и сделал провансальцев французами¹⁷.

Не менее разительный пример роли политического фактора и государства в становлении французской нации представляет судьба Эльзаса и Лотарингии, большинство населения которых составляют этнические немцы. Эльзасцы и лотарингцы перешли во французскую нацию по своей доброй воле в ходе Французской революции, руководствуясь политическими соображениями; и с той поры они составляют неотъемлемую ее часть.

Можно и дальше продолжить перечень подобных примеров, беря их из истории образования английской, немецкой (германской), итальянской и других наций. Ни одна из них в нынешнем виде не моноэтнична. Наоборот, каждая включает самые разнообразные по этнокультуре, религии, языку, происхождению этносы и народности, образующие, тем не менее, единую нацию.

В свете сказанного, как представляется, уже не выглядит убедительным и основательным один из главных тезисов марксистского учения о нации, а именно, что последняя возникает лишь там и тогда, где и когда развивается общественно-экономическая формация капитализма и ее ведущий класс — буржуазия. Этот постулат берет свое начало с «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, в котором утверждалось, что именно буржуазия, централизовав средства производства, создав единый национальный рынок, создала тем самым нацию и национальное государство. Как и в случае с языком и кровным родством, всё наоборот. Есть гораздо больше оснований утверждать, что именно государство, ломая местнические экономические интересы, разрушая внутренние таможенные барьеры, объединяя различные регионы, преодолевая сепаратизм, партикуляризм, борясь с квазигосударственными структурами внутри, постепенно создавало единое централизованное государство, а тем самым и единую нацию с единым языком, с единой властью и единым рынком.

В «Манифесте» читаем:

Буржуазия «сгустила население, централизовав средства производства, сконцентрировала собственность в руках немногих. Необходимым следствием этого была политическая централизация. Независимые, связанные почти только союзными отношениями области с различными интересами, законами, правительствами и таможенными пошлинами, оказались сплоченными в одну нацию, с одним правительством, с одним законодательством, с одним национальным классовым интересом, с одной таможенной границей»¹⁸.

Всё, что в этом отрывке оценивается как заслуга буржуазии, в действительности было во многом делом рук государства, которое задолго до появления буржуазии как класса уже проделало большую часть этой черновой работы. Разумеется, роль Промышленной революции и ее двигателя — буржуазии — в создании единого национального экономического и торгового пространства несомненна, но эту роль та могла выполнить *только в рамках единого централизованного государства*, создавшего нужную для того почву, которую осталось только разрыхлить, что буржуазия, собственно, и сделала.

Нельзя, однако, упускать из виду, что буржуазия как главная сила гражданского общества XVII–XIX веков во многих европейских странах боролась в то же время за свои частные, эгоистические, местные интересы, притом очень часто против общего государственного интереса. Ее идеалом был принцип *laissez faire, laissez passer** — принцип по сути своей анархический, воплощенный в лозунге крайнего утилитариста Бентама: «*Оставьте нас в покое!*».

Буржуазия боролась не за централизацию, а, наоборот, за децентрализацию и свободу от государственного регулирования. Правда, она охотно прибегала к помощи государства, когда ущемлялись ее интересы вовне и когда требовалось, чтобы государство оградил ее от внешней конкуренции системой протекционистских тарифов. Окрепнув же и встав на ноги, она стала требовать от того же государства свободы торговли, отмены пошлин и всего того, что требовалось экономическому либерализму. Соответственно, на интеллектуальном уровне меркантилистские концепции сменялись идеями свободы торговли, последние уступали место неомеркантилизму, и так вплоть до сегодняшнего дня. Упорная борьба между буржуазным гражданским обществом и государством, переходившая временами в открытую войну, шла в большинстве европейских стран на протяжении XVIII–XIX веков и завершилась некоторым временным и неустойчивым *modus vivendi*** только в XX веке.

Сказанное подводит нас к выводу: если не теория, то практика достаточно убедительно свидетельствует, что большинство наций формировалось при *определяющей роли государства*. Вне государства можно говорить об этносе, о народности, *но не о нации*. То, что нация есть специфическая форма общности, — факт бесспорный. Но в то же время очевидно, что каждая нация внутри себя разделе-

* Принцип неограниченной свободы предпринимательства (против государственного вмешательства в экономику) (*фр.*).

** Фактическое состояние отношений, признаваемое заинтересованными сторонами (*лат.*).

на по многим признакам: политическим, идеологическим, экономическим, национально-этническим, религиозным, профессиональным и т.д. Однако, как бы ни расходились и ни различались интересы разных социальных групп, все они, коли уж они образуют общность, имеют и вполне определенные общие интересы, или интересы общенациональные. Вот этот момент общности нации, а тем самым и общий ее интерес, находит свое выражение в государстве, представляющем собой *политическую форму организации общества, а тем самым и нации*.

Далее, нация может нормально существовать в том только случае, если между государством и индивидами существует некоторый слой промежуточных групп и организаций, прямо не совпадающих с государственными органами и вместе с тем достаточно близких к индивидам. Этот «слой» индивидов и всевозможных общественных организаций в совокупности образует то, что принято называть *«гражданским обществом»*. Создаваемые в его рамках различные организации, вовлекая граждан в сферу своего действия, тем самым включают их в общий поток социальной жизни. Отсюда прямо следует, что одним из главных признаков нации является наличие неразделимого двуединства государства и гражданского общества.

Для полноты характеристики нации воспользуемся также введенным Э. Дюркгеймом понятием *динамической плотности* той или иной человеческой ассоциации. Под нею Дюркгейм понимал духовно-нравственную сплоченность, или органическое *духовное* единство социума, отсутствие в нем сегментарности и противоборствующих взглядов и интересов, так свойственных сфере экономических отношений. Ведь люди могут обмениваться услугами и товарами, конкурировать друг с другом, не участвуя в то же время в коллективной жизни и оставаясь чужыми друг другу. Вот почему, считал Дюркгейм, серьезной ошибкой было бы судить о духовно-нравственной концентрации общества лишь на основании его материальной концентрации¹⁹.

Основываясь на этом критерии, можно определить нацию как общность с высокой динамической плотностью; и чем эта плотность выше (а тем самым — чем меньше социальная сегментарность общества), тем ближе та или иная общность к состоянию, характеризующемуся понятием нации.

В рамках единой нации государство есть выражение общности, тогда как гражданское общество, наоборот, является выразителем частного, эгоистического интереса. Там, где *частный интерес* граждан органически соединяется с *интересом общим* (государственным) и

один находит свое удовлетворение и осуществление в другом, там мы имеем дело с нацией.

Этот принцип в высшей степени важен, хотя для его победы нужна самодисциплина общества и борьба против превращения частного интереса в доминанту. Но когда это достигается, наступает, по словам Гегеля, «период процветания государства, его доблести, его силы и его счастья»²⁰, период наиболее полного выражения государством общего национального интереса, период тождества государственного и национального интереса, период, когда нация осознает себя единой.

Гражданское общество и государство как две главные составляющие нации находятся, таким образом, в состоянии противоречивого единства, взаимодействия и взаимовлияния. Характер этого взаимодействия во многом зависит от степени развития гражданского общества и его институтов, стадии его развития (находится ли оно на подъеме или клонится к упадку), его способности оказывать воздействие на политические институты и государственные структуры. Именно во всем этом и проявляется жизнь нации как «ежедневного плебисцита», находит свое выражение уровень гражданственности общества и осознание им своей принадлежности к единой нации.

Воспользовавшись языком арифметики, можно сказать так: сумма двух составляющих нации — *государства и гражданского общества* — условно равна единице. Но в разные периоды времени и по разным обстоятельствам слагаемые могут иметь разную значимость. Если «величина» государства приближается к единице, нации грозит та или иная форма безраздельного его господства над всей жизнью общества. Если, наоборот, близкой к единице становится «величина» гражданского общества — дело идет к анархии. Иными словами, *некомпенсированное усиление одного из составляющих нации происходит главным образом за счет ослабления другого. Деспотия и анархия — два экстремальных состояния нации. По достижении любого из них, нация перестает существовать как таковая.*

Итак, нация существует там и тогда, где и когда имеются в наличии два ее необходимых компонента — государство и гражданское общество в их нерасторжимом единстве. Одно государство без развитого гражданского общества еще не выражает нации; гражданское общество без государства существовать вообще не может. *Таким образом, государство и гражданское общество в своем единстве составляют то, что можно назвать нацией.*

Но возникает вопрос: достаточно ли этого? А как же быть с религией, культурой, языком — этими общепризнанными компонентами нации? В этой связи русский философ Г.П. Федотов пишет:

«Нация, разумеется, не расовая и даже не этнографическая категория. Это категория прежде всего культурная, а во вторую очередь политическая. Мы можем определить ее как совпадение государства и культуры. Там, где весь или почти весь круг данной культуры охвачен одной политической организацией и где, внутри нее, есть место для одной господствующей культуры, там образуется то, что мы называем нацией».

И дальше: «Не народ (нация) создает историю, а история создает народ. Английская нация создалась лишь в XIV веке, французская в XI веке, *после многих веков государственной жизни*»²¹ (курсив мой. — Э.П.).

Выделенные мной слова цитаты как бы сами собой опровергают утверждение ее автора о том, что нация есть прежде всего категория культурная, а лишь потом политическая. Тут всё обстоит наоборот.

Это первое. Далее, представляется неубедительным и в принципе малопродуктивным отделение культуры от политики и государства, а это, увы, делается сплошь и рядом. Политика ведь тоже есть часть культуры народа, общества, нации. Государство же — это та «политическая оболочка», в пределах которой и происходит вся культурная жизнь общества. Предложенная дихотомия «государство — гражданское общество» как условие существования нации сполна раскрывает природу связи нации и культуры, поскольку гражданское общество и есть, собственно, то, что включает в себя в качестве неотъемлемых компонентов и общий язык, и единую социально-экономическую и политическую жизнь, искусство и литературу, философию, короче, всё, что обнимает собой понятие культуры.

В то же время мы допустили бы ошибку, если стали бы отождествлять культуру той или иной *нации* с культурой *народа* как определенной этноисторической общности. В самом деле, культура, скажем, современной итальянской или греческой нации имеет мало общего (если имеет вообще) с культурой Древнего Рима и Древней Греции; культура нынешней французской нации — с культурой Франции эпохи Просвещения; культура современной Германии — с культурой Германии эпохи романтизма, Германии Бисмарка или Германии Гитлера; культура сегодняшней России — с культурой Московской Руси, России XIX века или советской России...

Каждая нация проходит в своем развитии через глубокие социальные и духовные кризисы и преобразования, подчас настолько радикально меняющие ее лицо, что есть все основания говорить всякий раз о появлении новой нации на месте старой. И каждая такая новая нация в процессе своего зарождения и становления вырабатывает свою особую, оригинальную культуру, которая отнюдь не является простым повторением или продолжением культуры прежней. Таким образом, один и тот же народ как этноисторическая общность может в процессе своего развития порождать *разные нации* с соответствующей им национальной культурой. В этом смысле совершенно очевидно различие, скажем, между дореволюционной Россией и Россией советской; между нею и нынешней Россией и т.д.

Разумеется, какие-то общие, главным образом «материальные» компоненты — «кровяные шарики», язык, территория, некоторые черты так называемого национального характера — сохраняются (хотя тоже не без изменений) и переходят из поколения в поколение. Однако в «бродильном котле» зарождения новой нации они обретают как бы иные свойства, проявляют новые, ранее скрытые или неизвестные стороны. Хрестоматийный пример — рождение новой французской нации в ходе революции 1789 года, явившей миру вместе с новой общностью и новую национальную культуру. То же скажем о России после 1917 года, о Соединенных Штатах после 1789 года и о других нациях.

Кстати, еще раз о формуле Ренана (нация есть «ежедневный плебисцит»): она как раз и означает, что все компоненты нации — государство, гражданское общество, культура — находятся в живом и плодотворном взаимодействии и взаимозависимости, постоянная нацеленность которых в будущее и образует общность под названием «нация». Если останавливается в развитии или приходит в упадок один из ее компонентов — это верный признак упадка нации в целом. Ее «динамическая плотность» падает, из органической общности нация превращается в сегментарную и, наконец, распадается на свои этнические элементы, давая жизнь разного рода «национализмам». Именно такое произошло с Советским Союзом и ее народом, который в результате перестройки и последующих реформ фактически рассыпался на свои составляющие части, простая сумма которых отнюдь не представляет собой единой нации. Можно сказать, что сегодня есть государство под названием «Россия», но нет нации под тем же названием.

Если подходить к определению нации с предложенной выше мерой, то есть судить о ее существовании на основе наличия единства государства, развитого гражданского общества, культуры и определенной степени динамической социальной плотности, то тогда нам

следует признать существование наций и в древних Афинах, в Спарте, в Древнем Египте и т.д., которые обладали и своей государственно-стью, и своим гражданским обществом, и своей самобытной культурой, и достаточно высокой степенью нравственной сплоченности.

В их оценке мы нередко являемся жертвами сложившихся стереотипов: отсчет нациям мы привыкли вести с Французской революции, впервые провозгласившей Францию единой нацией. Но введение в активный политический или научный оборот того или иного понятия вовсе не означает, что те реалии, более или менее адекватным выражением которых оно стало, до него не существовали. Если та или иная человеческая ассоциация отвечает предложенным критериям, то нет оснований отказывать ей в праве называться нацией, независимо от времени и места ее существования. Говорит же Гумилев о «средневековых нациях».

Невольно напрашивается вопрос: является ли единой нацией Россия? Вопрос этот не так прост. Многие русские мыслители не признавали Россию в качестве нации, рассматривая ее как некое сверх- или наднациональное образование, выходящее за привычные рамки того, что принято понимать под нацией. В этом, конечно, есть своя доля истины. Ведь суждения о нации как единстве государства и гражданского общества обычно связываются с европейским государством. Но здесь, как и во многих других отношениях, западные мерки не подходят к России. История становления в ней общества и государства принципиально не похожа на историю Западной Европы. Помимо того, принципиально несхожи и различные периоды в становлении российского общества и государства: оценки, применимые к одному периоду, совершенно неприменимы к другому. Западная Европа, какой мы ее знаем сегодня, в общем и целом появилась на свет в результате завоевания германскими племенами Римской империи. На ее развалинах возник феодализм с его принципом партикуляризма и «войны всех против всех». Начиная с IV–V веков н.э., Европа шла от прежнего единства Римской империи к феодальной разобщенности и раздробленности. Всё это порождало типично европейские явления — абсолютизм, клерикализм, религиозные войны, борьбу партий, которых никогда не было в России.

Россия развивалась на иной почве, иные принципы легли в основу становления ее государственности и гражданского общества. В силу особого своего положения, находясь во враждебном окружении, подвергаясь нескончаемому напору внешних враждебных сил, она, наоборот, медленно и верно шла от первоначального разобщения к единству. Процесс этот мог идти только при явном преобла-

дании государственных интересов над интересами партикулярными, что придало всей истории России своеобразный характер. Как бы то ни было, одновременно со становлением государства шло и становление великорусской нации.

Это, кстати, отмечает в своем «Курсе русской истории» В.О. Ключевский. Рассматривая правление Ивана III Васильевича, он подчеркивает, что примерно к тому времени в московском обществе стала пробуждаться идея национального государства, стремление к политическому единству на народной основе. И общий вывод историка таков: «Завершение территориального сбирания северо-восточной Руси Москвой превратило Московское княжество в национальное великорусское государство»²².

В тот же период шло и становление своеобразного российского гражданского общества. В Московской Руси за 150 лет до английского *Habeas corpus** был введен русский «габеас корпус». По «Судебнику» 1550 года (принятому, кстати, при Иване Грозном) власть не имела права арестовать человека, не предъявив его представителям местного самоуправления, иначе последние по требованию родственников могли освободить арестованного и «взыскать» с представителя администрации соответствующую пеню «за бесчестье». Та «азиатская деспотия», в виде которой представляли Московскую Русь некоторые историки, имела не только свой «габеас корпус», но и свой суд присяжных, своё земское самоуправление, иными словами, своеобразное гражданское общество с особой жизнью, культурой, сравнительно независимое от государства, хотя и тесно с ним связанное.

Итак, мы вправе говорить о становлении российской нации в пределах истории Московского Государства, когда и в самом деле существовало определенное единство государства и гражданского российского общества. Единство это стало нарушаться, а затем и вовсе разрушаться, начиная главным образом с эпохи правления Петра Первого, одновременно с образованием на месте Московской Руси Петербургской России-Империи, вызвавшей раскол русского общества на «дворянское царство» и «царство мужицкое». В этих условиях уже не мог существовать общий национальный интерес в значении интереса государства и общества в их единстве, оставался главным образом интерес государственный, державный.

* *Habeas corpus act* — закон о неприкосновенности личности, обязывающий судебные власти или выдать арестованного по требованию его родственников, или получить санкцию суда на возбуждение судебного преследования. Принят английским парламентом в 1672 году.

Что касается советского периода, то, не вдаваясь в глубины этой сложной проблемы, выражу лишь собственную точку зрения на предмет. На мой взгляд, в течение семидесятилетнего промежутка времени шло энергичное и во многих отношениях успешное становление новой общности, которую можно определить как «советская нация». Ее системообразующие компоненты (как бы к ним ни относиться) были налицо: советское государство, советское гражданское общество, советская культура, единая идеология, единый язык общения, советский психический тип человека, высокая динамическая плотность вместе с ярко выраженной устремленностью в будущее.

Но зато в нынешнюю эпоху (1993–2014) в стране практически нет в наличии *ни одного* основополагающего признака существования нации, хотя продолжают сохраняться обций государственный язык, общая территория, какое ни есть государство, какие-то элементы общей культуры. Нет главного: нет единой и разделяемой основной массой народа цели, нет объединяющей всех идеи, а значит, нет будущего, ради которого стоило бы жить, творить и бороться. Если же нет общей цели, если отсутствует близкая и понятная всем идея, то нет и нации. К этому следует добавить также и быстро растущую сегментарность социума, резкое падение его нравственной сплоченности (динамической плотности).

Нынешняя Россия, конечно, — случай особый, и если его брать в качестве примера, то лишь как пример вполне сознательного и намеренного разрушения существовавшей политической и человеческой общности.

В то же время в прошлой и современной истории известны государства, которые, на мой взгляд, можно отнести к разряду «исключений» из сформулированного выше общего правила. В прошлом таким исключением была, к примеру, Византия. Ее население нельзя было назвать народом, если под ним понимать некую самобытную общность. Тем более нельзя было назвать ее нацией. Это был город-государство, образовавшийся из механического смешения самых разнообразных племенных элементов с разными богами, разными системами ценностей и разными культурными началами. Византия имела лишь одно объединяющее начало — государственный механизм с сильной и разветвленной бюрократией²³. В этом были истоки слабости Византии, ее внутренней неорганичности; и если она так долго держалась, то благодаря не столько своей силе, сколько слабости и разобщенности своих многочисленных врагов.

В Новое время очевидный интерес с точки зрения процесса образования нации представляют Соединенные Штаты. Этот процесс

происходил в совершенно отличных от средневропейского типа условиях. Не стану тут обращаться к истории вопроса — она достаточно известна. Для нас представляет интерес другое — общая тенденция в развитии этой нации. Расцвет американской нации, пик ее динамики и устремленности можно, видимо, отнести на вторую половину XIX — середину XX столетия. Но волна подъема уже явно сошла на нет, и обнаруживаются видимые следы усталости и спада. Многие признаки говорят, что Соединенные Штаты уже вступили, пользуясь терминологией Л. Гумилева, в *инерционную стадию*, за которой неизбежно следует стадия *обскурации*, то есть упадок и разложение. Основные задачи давно решены, цели достигнуты, но одновременно с этим и с естественным угасанием одушевлявшей общество идеи неизбежно угасала и устремленность в будущее — осталась главным образом «материя» без «души». Вот тут-то, на мой взгляд, сказалось существенное отличие Соединенных Штатов от старых европейских наций. То, что на этапе становления и подъема нации было несомненным преимуществом — постоянный прилив «молодой свежей крови», отсутствие консервативных традиций, свобода от политических и иных предрассудков и т.д., — на стадии упадка стало, наоборот, играть отрицательную, разлагающую роль.

Подобно Византии, Соединенные Штаты представляют собой ныне смешение разнообразных племен и народов (*melting pot**, по выражению самих же американцев), притом племен, оторванных от своей родной почвы, родной культуры и религии. Именно в этом принципиальное отличие американской полинациональности от полинациональности таких многонациональных государств, как Россия, Китай, Англия и др., в которых населяющие их этносы или народности автохтонны, то есть имеют свою историческую территорию, культуру, религию, традиции и обычаи, а потому даже при самых больших социальных потрясениях способны сохранять свою самобытность.

Иное дело Соединенные Штаты: они имеют мощное государство, политически оформленное и развитое гражданское общество, но в основе того и другого нет объединяющих весь народ глубоких традиций, общего прошлого, общей этнонациональной культуры. Отсюда — определенная механистичность самого государства, большая чем где бы то ни было внутренняя разъединенность и разобщенность гражданского общества (низкая степень динамической плотности при высокой степени материальной концентрации), отсутствие того, что можно было бы назвать «национальной душой». Отсюда — техно-

* Плавильный котел (*англ.*).

логический характер произрастающей там общей культуры, получившей название «массовой», то есть культуры в основе своей безликой, безнациональной, бездуховной.

Этот процесс можно назвать деградацией культуры в цивилизацию, которая в отличие от первой уже не национальна, а *космополитична*. Вот как характеризует Шпенглер различие между культурой и цивилизацией на примере древних Афин и Рима:

«...Римляне были варварами, но варварами, не предшествующими великому подъему, а замыкающими его. Бездушные, далекие от философии, лишённые искусства, с расовыми инстинктами, доходящими до зверства, бесцеремонно считающиеся лишь с реальными успехами... Их направленность только на практическое... представляет собою черту характера, которая вообще не встречается в Афинах. Греческая душа и римский интеллект — вот что это такое. Так различаются культура и цивилизация. И это можно сказать не только об античности»²⁴.

Отталкиваясь от шпенглеровского различения культуры и цивилизации, можно было бы назвать нынешние Соединенные Штаты полным воплощением цивилизации как завершения, как конца, как декаданса былой, оригинальной культуры нации. Но вместе с такой метаморфозой культуры происходит и соответствующая метаморфоза нации в «Новый Вавилон», *в котором есть жители, но нет граждан, есть многочисленные и разнообразные общественные организации и институты, но нет самого общества*.

Впрочем, то же самое или почти то же самое можно сказать и о нынешних ведущих европейских нациях, а теперь и о России. Здесь также идет процесс перерождения оригинальных культур в однотипные цивилизации, а вместе с ним — превращения немцев, англичан, французов, итальянцев, греков, россиян и т.д. в усредненных евро-американцев.

Кстати, одним из важных признаков умирания европейских наций является вся деятельность по созданию Европейского сообщества. В рассматриваемом нами аспекте оно есть не что иное, как попытка через обновленную *политическую форму* сохранить дряхлеющее национальное содержание, уже неспособное сохранить себя собственными силами. Старые европейские нации в том виде, в каком они были созданы и какими мы их знали на протяжении XIX и XX столетий, явно умирают. Гражданские общества застыли в своей рутинной повседневности «без божества, без вдохновенья», угасли высокие гражданские чувства, сникла устремленность в будущее,

исчезла общественная потребность в высокохудожественных произведениях искусства и литературы, потерял интерес к философии... Даже объединение Германии не вызвало адекватного подъема общегражданских чувств в стране, не пробудило высоких помыслов и устремлений, и в короткий срок обратилось в тягостное и безрадостное материальное поглощение одной частью Германии другой.

Можно сказать, что в Европе осталось лишь героическое прошлое и сегодняшнее сытое и расслабляющее «технологическое» благополучие — а ведь это уже верные признаки умирания наций. Так умирал Древний Рим, становясь постепенно добычей более динамичных народов. Если не произойдет чего-то экстраординарного, такой финал неминуем и для европейских наций, даже если они и сольются в каком-то «общеевропействе» (что еще весьма проблематично). Хотя ведь и само это «общеевропейство» есть самое верное знамение ухода европейских наций с исторической сцены. Сдерживать этот процесс и не дать впасть в общеевропейскую «рационалистическую пошлость» (К. Леонтьев) смогут разве что сохраняющиеся еще у некоторых народов национальные традиции, какие-то элементы культуры, почва и корни прошлого, способные пробудить чувство самосохранения.

Похоже, мы и впрямь являемся свидетелями медленного умирания старых наций. Что заменит их? Об этом можно только гадать. Зато мы видим быстрый и энергичный рост новых наций в Азии, Африке и Латинской Америке, а ныне и на территории бывшего Советского Союза. Это и естественно: социальная энергия, как и энергия физическая, не исчезает бесследно — покидая одни формы, она воплощается в других.

Итак, для верного понимания процесса становления нации, следует, на мой взгляд, отказаться, во-первых, от механистичного подхода к ней как к простой *совокупности* каких-то материально-физических признаков и компонентов и, во-вторых, от концепции жесткого исторического предшествования согласно схеме: вначале нация (или единый рынок), а потом на ее основе единое государство; или наоборот, вначале единое государство, а потом нация (или единый рынок).

Если Маркс утверждал, что семья и гражданское общество сами себя превращают в государство, то Гегель считал наоборот, что государство есть то подлинное основание, внутри которого семья развивается в гражданское общество. Сколько бы ни спорить и ни доказывать правоту одного или другого, в плоскости такого рода противопоставлений проблемы не решить, и не только потому, что подход Маркса

в данном случае исторический, а Гегеля логико-теоретический — дело в сути. Проблема же в том, что в процессе исторического становления нации ни государство не предшествовало нации, ни нация — государству: они *шли вместе, развивались вместе*. Порог их развитие попросту было бы невозможно.

Данный вывод в общей форме содержится в концепциях Вебера, Ортеги-и-Гассета и Федотова, хотя не везде он выражен с достаточной четкостью, а именно: нация и государство представляют собой нерасторжимое единство, поскольку нация вообще немислима вне государства. Государство есть единственное, притом конституированное, то есть организационно оформленное, выражение единства нации (вспомним: государство есть политическая форма организации общества), и в этом качестве оно есть воплощенная всеобщность.

Коли это так (а это и в самом деле так!), то нельзя не признать как неточное с политико-правовой точки зрения требование *права наций* на самоопределение, поскольку нация *уже есть самоопределившаяся в самостоятельное государство общность*, и вне государства, повторю еще раз, нация есть понятие бессодержательное. Вне государства правомерно говорить об этносе, народности, национальности, *но не о нации*. Если и применять формулу «право наций на самоопределение», то ближе к истине будет «право *народностей* на самоопределение». Хотя нельзя здесь не заметить, что в любом виде она несет в себе заряд огромной социально разрушительной силы. Сегодня это познали на себе Россия, Югославия и некоторые другие государства. Завтра вполне могут познать и самые, казалось бы, благополучные в национальном отношении общества и государства.

* * *

Краткое резюме изложенного можно сформулировать так: *нация есть неразрывное и прочное единство государства и гражданского общества*. Не этнические факторы лежат в основе любой нации, а главным образом и прежде всего *факторы социально-политические*, среди которых в качестве стержневой, движущей, формирующей и скрепляющей силы выступает *государство*, воплощающее собой общенациональную идею. Оно может делать это лучше или хуже — это уже другой вопрос. В свою очередь, гражданское общество, как составная часть нации, выражает ее этническую пестроту, разнообразие экономических, политических и прочих целей, интересов и взглядов составляющих его индивидов. Вместе же они составляют достаточно прочное диалектическое и материальное единство, имя которому — *нация*.

Что понимается под национализмом? Национализм и политика

Здесь уместно, как представляется, начать с соотношения двух понятий — «нации» и «национализма». Какова связь между ними? Имеются достаточные основания (о них говорилось выше) для утверждения, что нация уже по определению, так сказать, националистична. Национализм неотъемлем от понятия нации не только семантически, но и по существу. Ведь весь процесс становления и развития каждой нации от ее зарождения и до упадка проходит в борьбе с различными силами (как внутренними, так и внешними), противодействующими ее самоутверждению. А что, как не борьба с врагами, является лучшей питательной почвой для обострения национально-го чувства и общенационального сплочения?

В то же время нация отнюдь не является единственным источником национализма. Здесь всё гораздо сложнее, и чтобы разобраться в этой сложности, целесообразно, думается, начать с существующих в научной литературе определений национализма и их критического рассмотрения. Вполне сознаю, что, возможно, это и не лучший способ изучения проблемы. Тут нельзя не согласиться с Освальдом Шпенглером, утверждавшим, что тот, кто занят дефинициями, не ведает судьбы, а ведь национализм — это поистине судьба человечества. Поиски же дефиниций мешают открытому взгляду на мир. Но поскольку такому взгляду мешают и слишком большие залежи часто противоречивых и противоречащих друг другу дефиниций, придется уделить какое-то место их разбору.

Охватить, не говоря уже все, но даже часть существующих определений национализма, конечно, невозможно, да и не нужно. Разная внешне, они обычно по существу повторяют друг друга. В то же время в массе многочисленных дефиниций можно, на мой взгляд, выделить две большие группы, принципиально различающиеся по своему подходу. Одна из них (ее представляют главным образом западные исследователи) делает упор на чувственно-эмоциональной стороне национализма, расценивая ее как выражение существа данного явления. Другая, привыкающая преимущественно к марксистской школе, рассматривает национализм как идеологию и политику соответствующих классов, прежде всего буржуазии.

Какой из этих подходов ближе к истине, будет, надеюсь, видно после более подробного ознакомления с определениями обеих групп. Начнем с первой группы. Здесь ограничимся четырьмя наиболее

типичными ее представителями: Гансом Коном, Карлтоном Хейсом, Луисом Снайдером и Бойдом Шейфером.

Ганс Кон определял национализм как «*состояние ума*», «акт сознания» преобладающего большинства какого-либо народа, признающего «национальное государство в качестве лучшей формы организации народа, источника всей творческой культуры, энергии и экономического благосостояния». Для него национализм включает также убежденность, что человек должен проявлять «высшую преданность» своему народу²⁵.

Хейс, — «отец» американских академических исследований национализма, рассматривал его как «современный эмоциональный сплав двух очень старых явлений — национальной принадлежности и патриотизма»²⁶.

Дефиниция Луиса Снайдера если и отличается от двух предыдущих, то разве что большей детализацией. В остальном он также считал, что национализм есть

*«состояние ума, чувство или восприятие группы людей, живущей в четко ограниченном географическом пространстве, говорящей на одном языке, имеющей свою литературу, в которой выражены чаяния нации, общие традиции и привычки, почитающей общих героев и в отдельных случаях поклоняющейся общим богам»*²⁷ (курсив мой. — Э.П.).

Что касается Бойда Шейфера, то, отмечая очевидное сходство взглядов своих предшественников в понимании ими феномена национализма, он в то же время выражает свою неудовлетворенность ими. Главный их недостаток видится им в том, что те «не принимают в расчет бесчисленного множества вариаций национализма и не учитывают меняющиеся реальности и мифы, которые национализм включает»²⁸.

Приведенные выше определения и в самом деле страдают недостатками, заслуживающими серьезной критики. Но как бы ни относиться к ним, упрек, который бросает в их адрес Шейфер, вряд ли можно признать основательным. Ни одна дефиниция не может (да и не должна) принимать в расчет многочисленные конкретные модификации рассматриваемого явления. Ее цель — выявить главное, существенное, типичное в нем, и если это сделано, то задачу дефиниции можно считать выполненной; если же нет, то никакое загромождение ее деталями не поможет делу.

Что же предлагает взамен Шейфер? Его критика дефиниций коллег давала надежду на то, что сам он предложит более полное и адек-

ватное определение. Но, увы, Шейфер вообще отказывается давать определение национализма и вместо него выдвигает десять положений, которые, по его мнению, описывают базовые атрибуты национализма (реальные и мифические). Положения эти следующие:

1. Наличие определенной территории, населенной каким-либо народом.

2. Общая культура и способность к свободному общению.

3. Наличие некоторых доминантных социальных, религиозных и экономических институтов.

4. Общее независимое государство или, как исключение, стремление иметь таковое.

5. Разделяемая всеми вера в общее происхождение.

6. Предпочтительное и более уважительное отношение к соотечественникам, нежели к иностранцам.

7. Присущее всем чувство гордости за прошлые и настоящие достижения, равно как и разделяемая всеми скорбь по бедам и несчастьям.

8. Безразличное или враждебное чувство к другим народам.

9. Преданность ассоциации, называемой нацией.

10. Разделяемая всеми надежда на будущее процветание нации²⁹.

«Десять заповедей» Шейфера, как легко видеть, представляют собой какую-то странную смесь, составленную из некоторых определений нации и национализма, заимствованных у критикуемых им же авторов. В результате мы не получили ни определения нации, ни определения национализма.

Понимая, видимо, зыбкость и неопределенность своей позиции, Шейфер спешит успокоить читателя заявлением, что в исследовании национализма ясным и определенным можно назвать лишь одно, а именно, что «национализм есть сложное и динамически развивающееся чувство, и по мере того как оно меняется, должны меняться также его дефиниции и характеристики»³⁰. Не удивительно, что он решительно выступает против определения национализма как явления, которое было бы верно и годно для всех времен и народов.

В итоге, после многословных и путаных рассуждений Шейфер, как те же Кон, Хейс и Снайдер, приходит к выводу, что национализм — это *чувство*, точнее, *национальное чувство*. Рассмотрим, насколько правомерно такое отождествление.

Национальное чувство, уж коли речь зашла о нем, можно без преувеличения назвать шестым чувством человека. «Человек есть существо общественное», — говорил Аристотель. Эта формула хотя и верна, но слишком общая. На практике, в реальной жизни человек за редким исключением, которое вполне можно отнести к разряду

патологических, «общественен» не по отношению ко всему миру, а селективно, лишь по отношению к определенной группе людей. Ею может быть группа профессиональная, конфессиональная, локально социальная (семья, круг друзей) и т.д. Но за всеми ними, как фон, стоят иные группы, которые не только во многом определяют отношение человека к вышеперечисленным объединениям, но и лепят в целом характер его поведения. Эти группы мы и называем народом, народностью, нацией, этносом.

Каждый народ имеет особую культуру, обусловленную принадлежностью к соответствующей цивилизации и лежащей в ее основе религии. Культура эта выражена не только в специфических учреждениях народа, но и в свойственных только ему искусстве, литературе, обычаях, традициях, привычках и в типе мышления. Этот особый для каждого народа тип мышления есть то, что так разительно отличает представителей одного народа от другого в оценке ими одних и тех же событий и фактов. Это ярко выразил один из идеологов французского национализма М. Баррес.

«Если бы даже я стал натурализованным китайцем и скрупулезно следовал догматам китайской жизни и китайским законам, — писал он, — я бы не перестал мыслить как француз и выражать свои мысли так, как это свойственно французу»³¹.

Но, как очевидно, то же самое, только применительно к собственной этнической или национальной принадлежности мог бы сказать о себе и китаец, и русский, и англичанин, и немец, и представитель любого другого народа.

И в самом деле, мы видим разительное несходство типов мышления у разных народов, что позволило Шпенглеру сказать:

«Русскому мышлению столь же чужды категории западного мышления, как последнему — категории китайского или греческого. Действительное и безостаточное понимание античных первоглаголов столь же для нас невозможно, как понимание русских и индийских, а для современного китаец и араба с их совершенно иначе устроенным интеллектом философия от Бэкона до Канта — не больше чем курьез»³².

Это несходство служит постоянным источником, питающим национальное чувство и препятствующим любым попыткам унификации различных народов, сведения их к какому-то общему знаменателю.

Понятно, что национальное чувство неотделимо от культуры предков и культура почвы. Вспомним пушкинское: «*любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам*». Вот эта любовь вместе с другими аналогичными чувствами составляет неотъемлемую часть понятий родина, отечество, страна. Можно ли назвать какой-либо народ или народность в прошлом и настоящем, которому, как бы он ни был мал или велик, не было присуще национальное чувство, любовь к родине, преданность ей, патриотизм? Мы обнаруживаем высокое национальное чувство и патриотизм у героев «Илиады» Гомера, у персонажей Ветхого Завета, у героев «Слова о полку Игореве» и у действующих лиц всех без исключения народных эпических произведений. Все известные нам великие подвиги у разных народов совершались во имя любви к родине, к своему народу. Вспомним спартанского царя Леонида и его подвиг при Фермопилах, подвиги Муция Сцеволы, Жанны д'Арк, Ивана Сусанина и многих других героев разных народов, ставших хрестоматийными примерами любви и преданности отечеству.

Можем ли мы, имеем ли достаточные основания, чтобы занести все эти чувства в разряд национализма? Можем ли мы также в этом случае определить как националистов перечисленных выше лиц: царя Леонида, Муция Сцеволу, Жанну д'Арк, Ивана Сусанина?.. Нелепость такого предположения, как представляется, самоочевидна. Но ведь именно к его правомерности подталкивают нас выводы именитых авторов, чьи суждения были приведены выше. Если национализм тождествен патриотизму и национальному чувству, то в этом случае он присущ *всем* временам и народам, а тем самым свойствен человеку по природе подобно другим пяти его чувствам, и бороться с ним или осуждать его было бы равносильно «борьбе» с обонянием или осуждению осязания.

Вот во многом по этой причине взгляд, отождествляющий национализм с чувством патриотизма, любви к родине, к своему народу и государству, представляется не только наивно сентиментальным, но, что хуже, — стремлением вольно или невольно свести такой ярко выраженный социальный феномен, как национализм, к явлению сугубо психологическому. Но давно уже доказано, что социальные явления происходят от социальных же причин, но отнюдь не от психологических, хотя, разумеется, они могут проявляться (и часто проявляются) весьма эмоционально.

Надо заметить, что большая часть западных исследователей, включая и поименованных, хотя и с оговорками, все же признает, что «национализм» был в той или иной форме присущ всем челове-

ческим обществам, начиная с первобытного³³. Понимая, видимо, двусмысленность такого рода позиции и не умея более или менее основательно объяснить ее и устранить возникающие противоречия, некоторые западные исследователи (те же Хейс и Снайдер) идут по пути поиска различий между «старым» и «новым» национализмом (Снайдер) или создания довольно сложной классификации различных видов национализма (Хейс). Попытки эти, однако, несколько не спасают положения.

В самом суждении, что национализм был присущ всем временам и народам, нет, собственно, никакого научного «криминала». Забегая вперед, скажу, что я, как автор, придерживаюсь подобного же взгляда, но... на принципиально иных основаниях. Коренная ошибка в подходе к феномену национализма у представленной выше группы исследователей видится в фактическом *отождествлении национализма с национальным чувством*. Она завела их в тупик, в коем те пребывают и поныне.

Национальное чувство и в самом деле есть неотъемлемая черта каждого народа, данная ему от природы. Но вот *национализм* есть уже особый социальный феномен, притом феномен не постоянного действия: он «поражает» народ в определенные периоды его развития в связи с какими-то особыми событиями или поворотами в его жизни. Национализм хотя и связан с национальным чувством того или иного народа, но отнюдь не тождествен ему. Если бы они были тождественны, то было бы необъяснимым, почему у тех или иных народов эти чувства десятилетиями, а то и столетиями «молчат», пребывают в латентной форме, не дают о себе знать, а то вдруг вспыхивают с неимоверной силой, сея кругом вражду, ненависть и разрушение. Почему, скажем, более ста населявших Советский Союз народов, народностей, этносов жили на протяжении семидесяти лет тихо и мирно и национальные чувства одних народов не входили в конфликт с таковыми же других? То, что эти чувства существовали, не может вызывать сомнения, но не было признаков их агрессивного проявления, что наблюдается сегодня почти по всему пространству бывшего Советского Союза, притом нередко в крайне агрессивной форме (один из ярких примеров тому — события в Украине в конце 2013 — начале 2014 годов).

Аналогичную картину мы видим в бывшей Югославии и в других местах былой «системы социализма». Скажут, что национализм существовал, но его проявления *подавлялись силой*. Ну что ж, в таком суждении есть немалая доля правды, но для ее полноты и объективности я бы предпочел употребить в данном случае вместо слова «по-

давлились» — «сдерживались». Нельзя здесь забывать, что *сила, принуждение* — это специфические средства политики организованных социальных групп, т.е. государств. С их помощью сдерживаются (а если надо, то и подавляются) негативные явления, служащие разрушению общества и государства. В таком негативном качестве может выступать и национализм. Слабеет сила — слабеют и социальные сдерживающие механизмы, а в результате открывается простор для дезинтеграционных и анархических процессов.

Ортега-и-Гассет, рассматривая последствия ослабления сдерживающей силы государства в Европе, образно описывает это следующим образом:

«Современный мир ведет себя по-ребячески. В школе, когда учитель выйдет на минуту из класса, мальчишки срываются с цепи. Каждый спешит сбросить гнет, вызванный присутствием учителя, освободиться от ярма предписаний, встать на голову, ощутить себя хозяином своей судьбы. Но когда предписания, регулирующие занятия и обязанности, отменены, оказывается, что юной ватаге нечего делать: у нее нет ни серьезной работы, ни осмысленной задачи, ни постоянной цели; предоставленный самому себе, мальчишка может только одно — скакать козлом.

Именно такую безотрадную картину представляют собою теперь небольшие нации. Раз уж наступает “закат Европы” и править Европа не будет, народы и народишки скачут козлами, кривляются, паясничают или надуваются, пыжатыся, притворяясь взрослыми, которые сами правят своей судьбой. Отсюда и “национализмы”, которые возникают повсюду»³⁴.

Картина, что и говорить, малопримечательная, для кого-то даже обидная, но нельзя сказать, что несправедливая. Разве не то же самое произошло в Советском Союзе, когда стараниями известных нам политических сил и лидеров сдерживающая сила государства была подорвана в корне и всё и вся пошло «скакать козлами»? (Скачут, между прочим, до сих пор.)

Для кого-то, быть может, Советский Союз — пример нетипичный. Обратимся тогда к таким цивилизованным странам, как Бельгия или Канада, где нет-нет, да и дают о себе знать местные «национализмы». Да ведь не только к ним: возьмем любую «благополучную» в национальном отношении страну, те же Францию, Англию или Германию — не имеет значения. Нет никаких сомнений в том, что если там хотя бы ненадолго ослабить силу центральной государственной

власти, то вполне можно получить то же самое, что произошло в бывшем теперь Советском Союзе или в бывшей Югославии (а может, и того хуже), и тогда число «бывших» грозит сильно увеличиться. В пользу такого вывода говорит не только теория, но и вся человеческая практика, особенно практика современных государств, ни одно из них не является моноэтническим, а значит, застрахованным от вспышек «национализмов», коли для этого будут созданы соответствующие условия. Одно из таких условий — ослабление или распад империй, крупных держав и наций.

Итак, прежде чем продвигаться дальше, подведем краткое резюме: *(1) национализм не тождествен национальному чувству; (2) национализм можно квалифицировать как резкую вспышку, как обострение национального чувства вследствие причин, имеющих уже социально-политический характер.*

* * *

Перейдем теперь к другому подходу к явлению национализма, на сей раз — «марксистскому». Это слово поставлено в кавычки не случайно: оно обозначает не оригинальные взгляды на этот предмет классиков марксизма, а подходы различных исследователей в рамках марксистского учения и главным образом — его советской ветви. Взгляды же самих классиков марксизма на данный предмет не имеют строгого концептуального оформления; на сей счет те высказывались чаще всего по случаю, главным образом в связи с какими-то конкретными политическими событиями.

В целом «марксистские» взгляды на проблему национализма (как, собственно, и на иные социальные проблемы) круто замешаны на классовом подходе, на классовой борьбе, служащей, согласно марксистскому учению, главной движущей силой общественного развития. Самый серьезный недостаток такого подхода видится в зауженности взгляда на сложные социальные явления, в том числе национализм, которые сводятся к одному знаменателю. Во многом именно по этой причине из поля зрения вольно или невольно выпадают многие факторы, отражающие существенные стороны рассматриваемых явлений.

В то же время сильная сторона данного подхода — в конкретности и определенности, отсутствием каковых грешит подавляющее большинство известных нам представителей современных западных школ. Для иллюстрации обратимся к двум вполне типичным определениям национализма в рамках рассматриваемой школы. Одно из них принадлежит А. Козингу (ГДР).

«Национализм, — пишет тот, — как буржуазная идеология и политика в сфере национальных и интернациональных отношений возникает из классовых интересов буржуазии, которые коренятся в капиталистических производственных отношениях...»³⁵

Другую формулировку позаимствуем из «Философского энциклопедического словаря» 1989 года. Она выглядит следующим образом:

«Национализм — идеология и политика в национальном вопросе, для которых *характерны* идеи национального *превосходства и национальной исключительности*. Национализм трактует нацию как высшую внеисторическую и надклассовую форму общественного единства, как гармоническое целое с тождественными основными интересами всех составляющих ее социальных слоев... Широкое распространение национализма связано с зарождением и утверждением капиталистических общественных отношений...»³⁶ (курсив мой. — Э.П.).

В обеих приведенных формулировках национализм рассматривается как идеология и политика класса буржуазии в сфере национальных отношений, обе связывают национализм главным образом с развитием капиталистических производственных отношений. И в рамках данного подхода это вполне естественно. Вспомним в этой связи приведенный выше отрывок из «Манифеста Коммунистической партии», где в качестве творца нации рассматривается буржуазия. Именно она, по Марксу и Энгельсу, есть носитель национального духа, тогда как пролетариат по самой своей природе интернационален — тезис, многократно опровергавшийся жизнью и, тем не менее, упорно сохранявшийся в арсенале основных марксистских догматов вплоть до последнего времени.

Другой существенный недостаток и, я бы даже сказал, *ошибочность* приведенного определения видится в том, что приписываемая национализму идея национального превосходства и национальной исключительности сводит национализм к одной, притом крайней форме его выражения типа фашистской идеи нацизма. Однако подавляющее большинство исторических форм национализма как в прошлом, так и настоящем вовсе не связано с идеей национальной исключительности и превосходства. Последняя больше присуща расизму. Первым же скорее свойственны чувство и идея национальной ущемленности, стремление к освобождению от гнета или дискриминации со стороны других народов или наций, к образованию собственного независимого государства и т.п.

В таком проявлении и выражении «национализм» известен во все исторические эпохи задолго до появления и развития класса буржуазии. Ни один народ, ни одна нация не обошлись без него в процессе своего становления, поскольку становление это всегда шло в борьбе как с внешними, так и внутренними врагами. Объединить же всякий народ в такой борьбе могла лишь общая национальная идея. Убедиться в этом легко: стоит лишь прочесть историю любого государства или народа или ознакомиться с национальными историческими музеями, где они есть. Те и другие перенасыщены национальной символикой, знаками национальной воинской доблести и славы, именами выдающихся национальных героев, перечнем народных подвигов и достижений...

* * *

Итак, мы рассмотрели в общих чертах две основные концепции национализма вместе с их основными недостатками.

Первая — «либерально-западная» — грешит двусмысленностью и неопределенностью и ограничивает национализм чувствами и состоянием ума, иными словами, страдает «психологизмом».

Вторая — «марксистская», — верно определяя национализм как идеологию и политику, неправомерно ограничивает ту и другую во времени и пространстве, связывая их лишь с классом буржуазии и эпохой развития капиталистических производственных отношений.

Представляется, что мы будем ближе к истине, если попытаемся соединить обе эти концепции в едином сплаве, взяв из каждой верное и отбросив ошибочное. Такой синтез видится в следующем виде: *национализм есть идеология и политика государств, партий и иных политических союзов, которые в качестве главного средства для достижения своих целей широко используют как национальные, так и патриотические чувства того или иного народа.*

Цели национализма как единства идеологии и политики, а также используемые им средства могут быть самыми разнообразными. Ими могут быть борьба против реального или предполагаемого национального угнетения со стороны других наций или народов; консолидация народа или этноса с целью его конституирования в самостоятельное государство; мобилизация общества против реальной или предполагаемой внешней угрозы (военной, политической, экономической и прочей) и т.д.

В указанном смысле нет никакого различия между национализмом афинским или спартанским периода Пелопонесской войны,

французским — периода Столетней или Франко-германской войны (1871), нынешним украинским, грузинским, абхазским, армянским, азербайджанским, американским, советским, японским, эстонским или любым другим национализмом. Во всех случаях он представляет собой нерасторжимый «сплав» политики и идеологии, использующий в качестве одного из главных своих средств национальные, национально-этнические или просто патриотические чувства. Это и есть то общее, что позволяет рассматривать национализм как социально-политический феномен независимо от специфических форм его проявления в той или иной стране, у того или иного народа.

Во избежание недоразумений здесь следует сделать оговорку. Дело в том, что любая политика и идеология политических союзов, начиная с государства и кончая партиями, ставящими своей целью национальное самоопределение того или иного народа или самоутверждение перед лицом других народов и государств, в их истинном значении *всегда националистичны*. И не следует заблуждаться: современная политика жесткого протекционизма, проводимая, скажем, такими цивилизованными и демократическими государствами, как США или Япония, есть тоже проявление национализма (если это может кого-то утешить, добавим — экономического). Политика *любого государства* националистична в той мере и постольку, в какой мере и постольку она защищает национальные интересы.

И если кто-то не понимает этого, одна из причин тому та, что люди нередко становятся жертвами своего рода иллюзии. Когда, к примеру, человек дышит обычным нормальным воздухом, он не замечает этого. Беспокойство у него начинают вызывать лишь какие-то отклонения от нормы: дым, гарь, запахи и прочее. Так и с национализмом: привычные, обыденные его проявления в политике и идеологии всех государств и народов, как правило, не замечаются. В самом деле, когда все поражены одним «недугом», тот выглядит нормой. Начинаем мы замечать национализм только тогда, когда его проявление заметно отклоняется от нормы и признаваемых форм. Вот тогда мы поднимаем ужасный крик, шум, беремся за перья и начинаем рефлексировать. Полагая, что в это время мы осуждаем национализм, мы заблуждаемся: на самом деле мы осуждаем не национализм, а отклонения от привычных его форм и проявлений либо те его формы, которые по тем или иным политическим или нравственным мотивам неприемлемы для нас. Такие отклонения возникают лишь в определенные периоды развития народов, наций и государств, и тогда свойственная всем «болезнь» становится

заметной и, естественно, подвергается осуждению со стороны остальных, кого она не захватила.

«Болезнь» эта, кстати, поражает даже самые высокие и светлые умы человечества. Напомню в данной связи, что классики марксизма, имевшие репутацию принципиальных интернационалистов, питали, к примеру, далеко не самые лучшие чувства в отношении славян. И в этой антипатии проявлялось отнюдь не их классовое чувство, а обычная, свойственная многим представителям нации, к которой они принадлежали, неприязнь к славянским народам. Имея в виду чехов, моравов, словаков, хорватов, Ф. Энгельс писал, в частности:

«Народы, которые никогда не имели своей собственной истории, которые с момента достижения ими первой, самой низшей ступени цивилизации уже подпали под чужеземную власть или лишь при помощи чужеземного ярма были насильственно подняты на первую ступень цивилизации, *нежизнеспособны и никогда не смогут обрести какую-либо самостоятельность*»³⁷ (курсив мой. — Э.П.).

Разумеется, подняли эти народы на первую ступень цивилизации не кто иные, как немцы; и в том, что это было сделано насильственно, Энгельс даже усматривает особую заслугу последних.

А вот еще один образец рассуждений Ф. Энгельса, под которым подписался бы, не задумываясь, самый яркий немецкий националист любой эпохи.

«Словенцы и хорваты, — пишет Энгельс, — отрезают Германию и Венгрию от Адриатического моря, а Германия и Венгрия не могут дать отрезать себя от Адриатического моря по “географическим и коммерческим соображениям”, которые... представляют для Германии и Венгрии такой же жизненный вопрос, как, например, для Польши берег Балтийского моря от Данцига до Риги»³⁸.

Здесь мы сталкиваемся с одним из многих идеологических проявлений устойчивого и напористого германского национализма, коим были поражены даже самые светлые умы. Его столь же напористое политическое воплощение мы видим на протяжении XIX–XXI веков во внешней политике почти всех германских правительств, начиная от монархиста Бисмарка, через нациста Гитлера и кончая демократами Колем и нынешнем ее канцлером Меркель и возглавляемым ими Христианско-демократическим союзом.

Как идеология национализм формирует коллективное сознание в заданном направлении, мобилизует общественную волю на выполнение выдвигаемых политикой национальных (государственных) требований, утверждает в обществе националистические ценностные установки, возбуждает общественные эмоции против мнимых или реальных препятствий и врагов, стоящих на пути реализации «чаяний народа», нации, государства.

Если любая идеология предполагает наличие противника (когда его нет, он создается искусственно), то национализм как идеология без такового просто не может существовать. Наличие противника, врага наряду с национальными чувствами составляет питательную почву национализма. Замечу, кстати, что место идеологии в рассматриваемом случае может вполне занимать и религия. Роль последней в формировании националистических ценностных установок, в возбуждении и мобилизации национальных чувств хорошо известна не только в прошлом, но и в настоящем. В наше время в данном отношении беспрецедентна роль ислама: он идет рука об руку с политикой, то используя политику в своих целях, то служа ее средством в осуществлении единой задачи — становления и укрепления национальных государств на Ближнем и Среднем Востоке, а теперь и в Средней Азии, Азербайджане и в других регионах бывшего Советского Союза.

Выступая в роли практической политики и опираясь на соответствующую идеологию, национализм стремится добиться конституирования и политического самоутверждения народа, защитить так называемые национальные интересы. Здесь он использует весь арсенал средств, имеющихся в распоряжении всякой политики, плюс такие специфические, как игра на национально-патриотических чувствах своего народа, образование и политическое оформление ирредентизма, разжигание конфликтов на чисто национальной почве, использование в этих целях диаспор и т.д.

Где и когда бы национализм ни проявлял себя, делает он это всегда в форме соответствующей идеологии и политики. Уберите ту и другую, и вы получите в общем достаточно безобидное чувство привязанности к своему народу, всё ту же «любовь к родному пепелищу», преданность родине и прочее. Сами по себе они не представляют социальной движущей силы. Но добавьте к ним идеологию и политику, и вы получите вместо сих добрых чувств воинствующий национализм, сеющий вокруг вражду, ненависть и конфликты.

Когда и по каким причинам национальное чувство обретает форму национализма — зависит от многих и разнообразных обсто-

ятельств. К ним, в частности, отнесем обстоятельства, связанные с борьбой против внешнего угнетения (политического или экономического), с дискриминацией (как политической, так и экономической), со стремлением к созданию собственного независимого национального государства и аналогичные им.

Однако существуют и причины, которые, по крайней мере внешне, выглядят как иррациональные. Это когда национализм возникает, казалось бы, без видимых и поддающихся разумному объяснению причин, как неожиданная вспышка ненависти и вражды к другим народам. Такого рода случаи и дают основание некоторым исследователям характеризовать национализм как «болезнь», «поветрие». Однако и тогда за этим скрываются те же политика и идеология определенных социальных групп, но политика и идеология не столь ясно выраженные, как в первом случае.

* * *

Из сочинения в сочинение западных авторов переходит типология национализма, данная Хейсом, которую многие принимают за классический образец. Хейс выделяет следующие типы «национализмов»: якобинский, традиционный, либеральный, интегральный и экономический³⁹.

Однако иная, чем у Снайдера, классификация не меняет сути дела: она также ничего не объясняет и служит лишь косвенным подтверждением того, что национализм на деле есть политика и идеология, использующие национальные чувства, спекулирующие на них, добивающиеся с их помощью своих целей.

Но политика и соответствующая ей идеология всегда и везде занимались этим делом. Возьмем нынешнюю политику тех же Соединенных Штатов. В этом смысле она представляет собой чистой воды национализм, притом национализм великодержавный. В нем воплощены все без исключения хейсовские типы, и какой из них в тот или иной момент становится приоритетным, зависит от конкретных обстоятельств. Соединенные Штаты, конечно, не исключение, но они являют собой как наиболее мощная держава концентрацию всех «типов национализма», которые у других вследствие их меньшего калибра соответственно представлены меньше.

Если и прибегать к какой-либо классификации национализма, то можно условно выделить три его вида: национализм *бытовой*, *этнический* и национализм *державно-государственный*.

Бытовой национализм — это проявление националистических чувств на уровне личности и малых социальных групп. Обычно он выражается в ксенофобии, враждебном отношении к инородцам и представителям других этнических групп. Его связь с идеологией и политикой не всегда носит прямой и открытый характер, но, тем не менее, она существует. Бытовой национализм — важное средство в руках этнического и державно-государственного «национализма», к нему прибегают для реализации определенных целей, на него опираются и в случае нужды умело разжигают. Его вспышки редко бывают спонтанными — как правило, за ними стоят соответствующие идеология и политика.

Национализм этнический — это национализм угнетенного или поработанного народа, борющегося за свое национальное освобождение; это национализм народа, стремящегося к обретению собственной государственности. Ему соответствуют и свои особенные политика и идеология.

Национализм державно-государственный — это уже национализм государственно оформленных народов (наций), напористо стремящихся к проведению в жизнь своих национально-государственных интересов. Политика и идеология таких наций получила в политической литературе название «великодержавной». Этот вид национализма обычно входит в конфликт с национализмом этническим. В то же время великодержавный национализм нередко использует его в качестве средства своей политики, особенно при реализации известного принципа «разделяй и властвуй».

* * *

В завершение обратимся к одному суждению о «странностях» национализма. Речь идет о так называемом «парадоксе А-В-С» известного американского теоретика международных отношений Ганса Моргентау.

Многие западные авторы любят в своих рассуждениях обращаться к этому «парадоксу», хотя, похоже, не все понимают его смысл. Суть же «парадокса» в следующем:

Некий народ «В» выдвигает националистические требования к народу «А», но одновременно препятствует реализации аналогичных требований со стороны народа «С».

В этом многие усматривают один из больших курьезов национализма и одно из многих его противоречий. Однако тут, скорее, мы сталкиваемся с противоречием в рассуждениях и концептуальных

подходах тех, для кого национализм есть самостоятельно существующее явление, возникающее и исчезающее само по себе и по неизвестным причинам. Если же оценивать национализм как политику и идеологию, то никакого парадокса и связанного с ним курьеза или противоречия попросту не существует. Скажем, та же Германия утверждает свой национализм, но отказывает в праве на таковой у других народов (вспомним приводившиеся выше рассуждения Энгельса) не из-за каких-то неведомых «странностей» или противоречий, свойственных будто бы национализму как явлению вообще, а по причине своих *коренных политических интересов*. Точно так же поступает Грузия в отношении Абхазии и Южной Осетии, такая же позиция у Молдовы в отношении Приднестровья и гагаузов, то же самое делают все остальные, кто оказывается в подобной позиции, и нет числа подобным примерам в прошлом и настоящем. Не исчезнет их перечень и в будущем, ибо в основе этих ситуаций лежит не «умственный парадокс», а всегда вполне реальные политические, экономические и прочие интересы.

Моргентау можно, конечно, упрекнуть в том, что он поддался общему поветрию и стал относиться к национализму как к некоему вполне независимому явлению, что и выразилось, в частности, в его «парадоксе». Но этому ученому трезвость и основательность не позволили, в отличие от других, опуститься до неопределенных и двусмысленных рассуждений, о чем свидетельствуют следующие его слова:

«Процесс национального освобождения должен, конечно, остановиться в какой-то точке, и эта точка будет определяться не логикой самого национализма, а распределением интересов и силы между управляемыми и управляющими и между соперничающими друг с другом государствами»⁴⁰.

Итак, есть основания утверждать, что все черты и свойства национализма не являются какими-то атрибутами, присущими ему как некоему самостоятельному и независимому социальному феномену: они суть проявления и практическое воплощение соответствующей политики и идеологии, и сам национализм есть не что иное, как эти политика и идеология в их неразрывном единстве. В отрыве от той и другой, вне связи с ними национализм либо теряет всякий свой смысл, делается пустой абстракцией, либо превращается в некий фантом, как бы живущий собственной жизнью.

Особенности «русского национализма»

В конце 20-х годов прошлого столетия русский историк и публицист Г.П. Федотов писал:

«Поразительно: среди стольких шумных крикливых голосов один великоросс не подает признаков жизни. Он жалуется на всё: на голод, бесправие, тьму, только одного не ведает, к одному глух — к опасности, угрожающей его национальному бытию»⁴¹.

Сегодня таких «шумных крикливых» голосов разного рода «национализмов» сильно прибавилось, и опять только один голос не слышен — голос великоросса. Что это — случайность, связанная со специфическими обстоятельствами, или за этим фактом лежит нечто более серьезное, нечто такое, что, так сказать, имманентно присуще русскому народу? Свидетельствует ли это об отсутствии или очень слабой выраженности у него национального чувства — этой основы всякого национализма?

В желании ответить на эти вопросы невольно обращаешься к истории. И в самом деле, где, как не в ней, можно найти если и не окончательные ответы, то, по крайней мере, корни и основания фактов, которые мы взялись рассматривать?

Перелистывая страницы истории русского народа, становления и эволюции Российского государства, трудно обнаружить в ней те, которые живописали бы картины подъема и активизации русского национального чувства до той черты, за которой их можно было бы квалифицировать как «*русский национализм*», то есть как единство националистической идеологии и политики.

В этой истории есть много страниц, повествующих об эпохах великого взлета русского патриотизма, о небывалых проявлениях любви к родине, чудесах героизма, самопожертвования, терпения народа в перенесении всяческих невзгод во благо отечества. Но мы не отыщем в ней тех, где бы говорилось о ненависти или неприязни русского народа к другим народам на основании расовых или национальных признаков. Нет в ней и строк, которые могли бы поведать об открытом выражении им чувства национального или расового превосходства над другими народами или о его заботах о сохранении чистоты своей крови.

В этом пункте уместно еще раз повторить, что национальные чувства — патриотизм, любовь к родине и к своему народу и т.д. —

ни в какой мере не тождественны национализму. Эти чувства имеются у каждого народа, что отнюдь не свидетельствует о господстве в его среде национализма. В отношении же русского народа здесь важно подчеркнуть тот во многих отношениях примечательный факт, что его национальные чувства в основе своей никогда не имели, не имеют и теперь узкоэтнического характера. Они обладают иным качеством, выработанным всей его историей и историей Российского государства. Национальные чувства и национальное самосознание русского народа правильное и точнее, на мой взгляд, было бы назвать *патриотическим*, а не националистическим. Как таковые они по преимуществу имели державно-государственный характер и не были выражением чисто русского *этнического* сознания. Чисто этнический (расовый) момент если и представлен в нем, то крайне незначительно, главным образом на бытовом уровне, что позволяет вполне им пренебречь как в теоретических суждениях, так и в практических расчетах.

Отсутствие четко выраженной националистической психологии у русского народа обнаруживается, кстати, и в его теоретико-философском сознании, всегда так или иначе выражающем ее. По крайней мере лично мне неизвестны достойные упоминания и внимания исследования, в которых отстаивалась бы необходимость поддержания чистоты русской расы, доказывалось бы ее превосходство над другими расами или национальностями. Трудно даже вообразить, чтобы такого рода сочинения могли вообще родиться на русской почве, а если бы и родились, то вряд ли смогли бы привлечь к себе широкое внимание. За малыми исключениями, появляющимися на свет в специфических условиях, а потому и не характерными и не делающими погоды (в виде, главным образом, организаций националистического толка типа пресловутой «черной сотни»), не известны проявления русского этнического национализма, заслуживающие внимания или беспокойства.

В словах Федотова хотя и не явно, но все же заметно просматривается некоторое сожаление по поводу отсутствия у народа крепкого национально-этнического самосознания, которое было бы под стать таковому же у других населяющих Россию народов. Понять его вполне можно, особенно сейчас, когда русский народ оказался почти безоружным и беззащитным перед лицом некоторых агрессивных местных «национализмов», когда он, более того, проявил очевидное безучастие и неспособность защитить самого себя, возлагая в этом деле, как и во многих других, надежду на власть, «начальство», должное его оградить и спасти.

Причин тому немало, но остановимся лишь на двух, которые представляются наиболее значимыми.

Первая связана, собственно, со всей историей становления Русского государства и народа и с особенностями этого становления. Начать с того, что оно диктовалось, прежде всего, необходимостью собирания государства, его организации и обеспечения надежной его безопасности перед лицом многочисленных врагов, притом в очень специфических геополитических условиях. Мы видим, как практически сквозь всю историю России проходит одно доминирующее стремление — тяга к государственному единству. Оно могло быть реализовано только на основе единства многочисленных этносов и народов, населяющих территорию России и смежные земли. Здесь во многом кроется причина своеобразия становления Российского государства и развития национального самосознания русского народа, никогда не отделявшего себя от других народов и этносов России.

Для сравнения обратимся еще раз к картине становления наций в Европе, какой ее рисует Ортега-и-Гассет: *«Национальное государство в своей тяге к объединению должно было бороться с множеством “рас” и “языков”»,* — отмечал он (курсив мой. — Э.П.). Лишь после того, как эти препятствия энергично устранили, создалось относительное единообразие расы и языка, ставшее основой единой нации.

Ничего подобного не знала история России: тут не только не было «энергичного» устранения языков и рас, но даже и намерения это делать. Россия по мере своего собирания и становления как государства не устраняла, а как бы *вбирала в себя*, в свое «державное тело» различные языки и расы. Всё это не могло не вести к выработке каких-то адекватных форм не только сосуществования разнородных национально-этнических, религиозных, культурных общностей на едином поле державной ойкумены, но и активного их смешения, взаимопроникновения, ассимиляции. Причем последнее более всего коснулось именно русского этнического элемента, который по мере освоения и колонизации новых земель расселялся (когда добровольно, когда по принуждению) и оседал по всему российскому пространству, перемешиваясь с местным населением.

Россия росла и развивалась, следовательно, как многосложный и единый в этой многосложности этнокультурный, политический, хозяйственный и административный государственный организм. Она изначально строилась как единое многонациональное государство, в котором не только мирно уживались многие народы и этносы, но и

отсутствовало деление на народы «высшие» и «низшие», «господствующие» и «подчиненные», как это имело место, скажем, в рамках Британской, Французской, Османской или Австро-Венгерской империй. Разумеется, было бы при этом неверно отрицать особую роль русского народа как основного элемента в развитии российской государственности и культуры. И здесь, конечно, как и в любом живом историческом процессе, не могло обойтись без ошибок, без крайностей, без перегибов.

«Русский “империализм”, — отмечал историк И. Солоневич, — наделал достаточное количество ошибок. Но общий стиль, средняя линия, правило, заключалось в том, что человек, включенный в общую государственность, получал все права этой государственности. Министры поляки (Чарторыйский), министры армяне (Лорис-Меликов), министры немцы (Бунге) — в Англии невозможны никак. О министре индусе в Англии и говорить нечего. В Англии было много свобод, но только для англичан. В России их было меньше, — но они были для всех»⁴².

Вот эти уживчивость, как бы врожденный интернационализм, отсутствие у русского народа синдрома ксенофобии, чувства национального превосходства перед другими народами — отличительный признак национального его самосознания, плохо и с трудом поддающегося какой бы то ни было идеологии национализма, независимо от ее истоков.

Вторая причина, тесно связанная с первой, — пространственные масштабы страны и численность ее населения. Давно было замечено, что большие нации и народы менее подвержены влиянию идеологии национализма (по крайней мере, в форме национализма этнического), нежели нации и народы малые. И это естественно: большие нации практически никогда не бывают моноэтническими, поэтому если им и случается быть подверженными национализму, то главным образом в форме национализма державно-государственного. У русского народа данное обстоятельство подкреплялось к тому же огромными просторами страны, большими физико-географическими, климатическими, демографическими и, соответственно, социально-экономическими и просто бытовыми различиями между отдельными ее частями. Всё это вместе в значительной степени определяло слабую социальную сцепленность населения не только в масштабах страны, но и в пределах ее частей. Последнее обстоятельство, в свою очередь, исторически вырабатывало определенную психологию

социально-политической инертности, выразившейся в безучастности к тому, что происходило за пределами места проживания. «Моя хата с краю...» — вот квинтэссенция этой психологии. И такое отношение было характерно применительно как к сравнительно локальным, местным проблемам и событиям, так и к самым крупным, относящимся к судьбам всей страны. Требовалось необычайное сочетание многих из ряда вон выходящих обстоятельств, чтобы вывести из инерции если и не весь, то большую часть народа и подвигнуть его на общее дело по собственному почину.

В таких условиях ни одна националистическая русская партия просто не может рассчитывать на успех не только в масштабах страны, но даже в какой-то ее части.

Этнонационалистическая идеология поэтому была и остается ныне чисто поверхностным идейным течением, которого преимущественно придерживается некоторая часть полуобразованной, мещанской публики. У этой идеологии никогда не было прежде, нет и сейчас более или менее широкой социальной базы. Она может еще иметь кратковременное и локально ограниченное влияние в каких-то кризисных состояниях общества и, главным образом, в городах, где имеется определенная социальная почва для узкоэтнического русского национализма в виде мещанской, мелкобуржуазной части населения — не более того. Можно тут отметить, что этот узкоэтнический национализм всегда соседствует, перемежается и подпитывается национализмом бытовым, проявляющимся обычно либо в примитивном антисемитизме, либо во враждебных чувствах к рыночным торговцам из южных районов, а теперь и к так называемым «гастарбайтерам» из среднеазиатских государств. Кстати, эти чувства нередко возникают отнюдь не на пустом месте.

Итак, на мой взгляд, есть достаточные основания утверждать, что в России в целом практически отсутствует объективная социальная почва для этнического русского национализма — его не смогли пробудить даже все гонения и дискриминация русского населения в некоторых бывших республиках Советского Союза.

Но если рассматривать национализм в ином плане, национализм как общероссийскую идеологию и политику определенных социальных и политических сил, то на этом уровне картина складывается несколько иная. Здесь видится довольно четкое различие между тем, что можно было бы назвать «российской национальной идеологией», и тем, что можно было бы назвать «российской национальной политикой». Ни та, ни другая — и это нужно отметить сразу — не имеют отношения к этническому русскому национализму: россий-

ская национальная идеология носит скорее общий культурологический характер, тогда как российская национальная политика — характер державно-государственный.

Как известно, носителем националистической идеологии является наиболее образованная часть каждого народа, или интеллигенция. Она же ее формирует и теоретически обосновывает. Не является тут исключением и Россия, но, как и во всем, со своими особенностями. Они связаны главным образом с особенностями самой русской интеллигенции, в ряде важных отношений отличающимися от того, что понимается под этим словом в других, прежде всего западных странах. Там интеллигенция — это все те, кто занят умственным трудом: писатели, ученые, профессура, учителя, инженеры и т.д.

Иное дело — интеллигенция русская. В ней совершенно четко различаются два крыла, или две части, которые условно назовем «почвенной» и «беспочвенной». «Почвенная» ее часть — это, по сути, то же, что понимается под интеллигенцией на Западе, то есть работники умственного труда. Зато другая ее часть — «беспочвенная» — есть во многом явление чисто русское. Имея в виду именно ее, тот же Федотов писал:

«Говоря простым языком, русская интеллигенция “идейна” и “беспочвенна”. Это ее исчерпывающие определения».

Или в другом месте:

«Русская интеллигенция есть группа, движение и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей»⁴³.

Ее идейность представляет собой особый вид морально «окрашенного» рационализма. Чаще всего она исходит из готовой, заимствованной обычно со стороны системы «истин» и на ней строит идеал личного и общественного поведения. «Беспочвенность» же, тесно связанная с такого рода идейностью и естественно вытекающая из нее, проявляется в большем или меньшем отрыве от народного быта, от национальной культуры, от национальной религии, от государства, от всех органически выросших социальных и духовных основ общества.

Такая интеллигенция по большей части оторвана от народа, в его среде она задыхается как рыба, выброшенная из воды. Как следствие — убеждение, что всё свое, отечественное ни на что не годно, что его нужно заменить путем заимствования всего лучшего извне,

прежде всего, разумеется, из Европы. Не имеющая духовной связи с народом, она смотрит на него как на материал для проведения своих социальных экспериментов, а на его обработку — как на чисто техническую задачу. К этому направлению отнесем «западников» всех оттенков и, конечно, идеологов «перестройки» — этих зачинателей губительных социально-экономических и политических экспериментов над нашим обществом и государством. Все они, при всей предположительной искренности своих устремлений и возвышенности идеалов, исходили из идеи-схемы, чаще всего западного производства, все они желали переустройства русского общества на новых, преимущественно западноевропейских началах, все они смотрели на народ как на подлежащий обработке и переделке материал и жаждали *осчастливить* его. Это и есть то общее, что связывало все направления идейной русской интеллигенции при существенном различии в конкретном содержании самих идей.

Более «национальными» в этом смысле были славянофилы, пытавшиеся найти пути будущего развития России в древних пластах ее истории, ее самобытной культуры и религии. В определенном смысле их можно назвать русскими последователями лозунга Руссо: «Назад к природе!».

«Западничество» как идейное направление отличается своей агрессивной космополитичностью. Его зарождение обычно связывается с эпохой Петра I, хотя видимые следы этого «поветрия», как считал Л. Гумилев, обнаруживаются уже в X веке. Один из главных пунктов западнической идеи — убеждение, что Россия сама по себе ничего не стоит и что без вдувания в нее европейского (а ныне просто «западного») духа из нее не выйдет ничего путного.

Убеждение это питалось и продолжает питаться ныне не столько самой русской действительностью, сколько увлечением западной политической литературой, поверхностными впечатлениями от заграничных поездок при полном незнании реальностей западной жизни, восторгами перед «чудесами» западной цивилизации, сочетающимися с поразительным неумением связать почерпнутые на стороне идеи с движущими силами российской жизни.

Характерная особенность русского западничества состоит и в том, что рано или поздно, но с какой-то неумолимостью оно подводило своих наиболее последовательных сторонников к антинациональной черте. Раз сойдя со своей почвы, трудно затем на нее вернуться, и как итог — всё, что имеет отношение к государственной мощи России, к ее героическому прошлому, ее мировым задачам, подвергается не только сомнению, но осуждению, шельмованию, неприятию. Объект не-

приязни при этом незаметно смещается с Российской державы (империи) к неприятию самой России и всего русского, национального. Такую метаморфозу можно легко проследить у русских западников в прошлом и настоящем.

Говоря о «беспочвенной» части русской интеллигенции, нельзя не упомянуть один момент, во многом, казалось бы, загадочный и даже в какой-то мере парадоксальный. Дело в том, что в истории русской интеллигенции именно эта «беспочвенная» ее часть всегда рассматривалась как передовой, прогрессивный, революционный отряд русской интеллигенции. Именно ее традиционно считали наиболее полным и последовательным выразителем народных чаяний и интересов. Разгадка данного феномена видится в том, что сама эта история писалась по преимуществу представителями как раз данной части интеллигенции, что и нашло свое отражение в соответствующих оценках. Но даже и они в период острого общественного кризиса в России, наступившего после поражения революции 1905 года, не удержались от горького саморазоблачения и попытки дать более приближенную к действительности оценку собственной незавидной роли в русской общественной жизни (см., например, сборник статей о русской интеллигенции «Вехи» 1909 года).

Но в России всегда жила и другая часть русской интеллигенции — часть «почвенная», неотрывная от своего народа. Именно она была и остается носителем подлинно национальной русской идеи. В своих идейных и творческих исканиях она не озиралась по сторонам в поисках истины и не заглядывала в глубокую замшелую древность. Она искала и находила свой идеал в живой русской действительности. К этой части интеллигенции без всякого сомнения относятся А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, М.И. Глинка, И.Е. Репин и многие, многие другие писатели и поэты, художники и композиторы, философы и историки, ученые и работники народного образования, с именами которых ассоциируется всё, что связано с русской национальной культурой в самом широком смысле этого слова.

К ним отнесем и большой отряд русской гражданской и военной интеллигенции, не за страх, а за совесть работавшей на благо России, во имя ее процветания и могущества, отдававшей служению российским национальным интересам свои силы и жизни. Эту «почвенную» интеллигенцию можно смело назвать истинно интернациональной, выражающей не узкоэтническую русскую идею, а идею *общерусскую, российскую* и уже вследствие одного этого — *общечеловеческую*. Этим, кстати, ее общечеловеческое содержание

отличалось всегда от «общечеловеческих» идеалов нашей прозападной интеллигенции, которые, были по преимуществу космополитическими.

Если теперь обратиться к практической российской политике, то, за редкими исключениями, она всегда была национальной, или державно-государственной. Она последовательно отстаивала национально-государственные интересы, какими они понимались в каждый конкретный исторический период. В этой деятельности, в зависимости от обстоятельств, она могла быть и «прозападной», и «провосточной». Если она и была прозападной, то, в отличие от идейного западничества интеллигенции, — *утилитарно* прозападной. Это, в частности, нашло свое выражение в известных словах Петра Первого:

«Европа нужна нам еще несколько десятков лет, а потом мы можем повернуться к ней задом»⁴⁴.

Что касается внутренней направленности политики, то если рассматривать ее в ракурсе «национальном», она всегда носила великодержавный характер и иной, собственно, не могла и быть. Здесь надо иметь в виду тот факт, что, в принципе, великодержавна политика всякой большой нации, всякого крупного государства. Так, великодержавна была политика России, политика Советского Союза, Англии и Франции как метрополий; великодержавна политика и Соединенных Штатов. Эта великодержавность не имеет никакого отношения к этническому национализму, тем более к этнической принадлежности руководителей таких государств. Политика России была великодержавной не потому, что у руля ее стояли русские Иван Грозный, Петр Великий, Николай I и т.д. Ведь еще более великодержавную политику проводили нерусские Екатерина II, Нессельроде, Бенкендорф, Сталин... Великодержавность — это неотъемлемое свойство политики больших наций и государств, а не каприз или прихоть их правителей. И менее всего при ее оценке уместны моральные категории.

В то же время в ней, как и в любом другом социальном явлении, нужно видеть разные стороны. Никто же не станет отрицать, что великодержавная политика России во многих случаях играла конструктивную и благотворную роль. И такая политика особенно востребована в нынешних условиях. Там, скажем, где, как на Кавказе, живут десятки племен и народностей, раздираемых взаимной враждой, только рука беспристрастного и сильного арбитра способна предотвратить кровавую междоусобицу. Таким арбитром Россия была в прошлом, таким должна остаться и впредь, тем более что

междоусобица вспыхнула в этом регионе с новой, и судя по всему, еще более ожесточенной силой.

Однако в настоящее время условия многонационального бытия России существенно изменились, что не может не вносить определенных коррективов в ее политику. Нынче к самостоятельной национальной жизни пробудились многие населяющие ее народы; их молодое национальное самолюбие чрезвычайно ранимо и восприимчиво к любым проявлениям великодержавности. Победа курса на грубооткровенный великодержавный национализм в политике России могла бы поэтому привести к самым трагическим последствиям, свидетельством чего являются события в Чечне в недавнем прошлом.

В самом деле, не может же Россия позволить себе, говоря словами Г.П. Федотова, жить в состоянии войны с 45% своего населения. В новых условиях России, надо полагать, предстоит найти новые пути и средства для выработки нового типа мирного и свободного сотрудничества и единения народов, найти гибкие и в то же время прочные формы их связи, которые обеспечили бы каждому народу свободу национального развития в рамках единой российской государственности.

Есть ли будущее у национализма?

Читатель, ознакомившийся с предшествующими рассуждениями автора, не затруднится ответить на поставленный в заголовке вопрос. Впрочем, его можно для большей ясности сопроводить и другими столь же «содержательными» вопросами: а есть ли будущее у политики, есть ли будущее у идеологии, изжили ли себя чувства национальной или этнической принадлежности?

Если те изжили себя, если нет будущего у политики и идеологии, значит, изжил себя и человек — этот носитель и воплоитель всего перечисленного. Так что оснований для беспокойств по этому поводу никаких не имеется: ни один даже самый маленький штрих в современном человеческом бытии не дает свидетельств в пользу отрицательного ответа на поставленные вопросы, несмотря на обилие тяжких обвинений в адрес национализма, призывов к беспощадной борьбе с ним, намерений покончить с ним раз и навсегда, чтобы не переносить его в новый XXI век и прочие благоглупости.

Обвинения в адрес национализма, которые нередко раздаются из уст вполне уважаемых политических и общественных деятелей, поражают порой своим наивным простодушием, беспомощностью и отсутствием видимых признаков понимания предмета. Хотя — и это

случается тоже часто — наивность и простота являют собой лишь внешнюю видимость, вводящую в заблуждение простаков; за ней же скрываются идеология и политика, расцвеченные в определенные националистические тона. Как образец такого рода обвинений приведу оценку национализма у известного польского общественного деятеля Адама Михника. В статье под красноречивым названием «Национализм: чудовище пробуждается» он писал:

«Стремление к возрождению национальных ценностей, защита национальной культуры, борьба за национальную государственность — всё это не является национализмом.

Национализм — это не борьба за свои национальные права, а пренебрежение чужим правом на сохранение национального и человеческого достоинства. Национализм — это определенная концепция мира, согласно которой народы являются конкурентами в борьбе за выживание. Национализм — это форма естественной потребности каждого народа иметь свое национальное государство. Национализм означает нетерпимость: он отказывает другому человеку в праве на национальную жизнь. Национализм — это последняя фаза коммунизма. Это последняя попытка устаревшей идеологии найти в обществе поддержку для диктатуры», и т.д. в том же духе⁴⁵.

Нельзя тут не отметить, что Михник в качестве наибольшей опасности, грозящей многим народам (в том числе, конечно, и польскому), усматривает проявления «русского национализма» и в то же время, как говорится, в упор не видит куда более очевидных и более опасных проявлений других «национализмов», в том числе и польского, — вещь весьма характерная для всякого борца с национализмом (чужим, разумеется).

В целом же в этом насыщенном эмоциями и весьма путаном пассаже мы видим так часто встречающееся в жизни желание провести разграничительную линию между «хорошим» и «плохим» национализмом, между национализмом «прогрессивным» и «реакционным», «агрессивным» и «просвещенным»... Сам же национализм представляется или в виде некоего фантома («чудовище пробуждается»), или инфекционной болезни, наподобие холеры или чумы, внезапно и по неизвестным причинам поражающей людей и овладевающей целыми народами.

Иные рассматривают национализм как политический абсурд, трети — как ставшее «беспольным» в наши дни чувство. Известный английский социолог Гарольд Ласки, к примеру, оценивал национализм

как *стойкий и упорный вирус*, инфицировавший политический организм человечества⁴⁶.

Подобного рода взглядам, оценкам и суждениям несть числа. За всеми ними скрывается странное непонимание того, что если национализм — болезнь, то болезнь эта прочно укоренена в человечестве изначально (тогда придется признать, что сама коллективная жизнь людей — тоже форма болезни). Если он вирус, то человек инфицирован им одновременно с вкушением его прародителями плода от Древа познания. Если он чувство, то столь же имманентно присущее человеку, как и остальные пять чувств. Если, наконец, национализм есть особого рода политика и идеология, то и в этом случае он неотъемлем от человека, ибо, как объяснил нам еще Аристотель, тот *«по природе своей есть существо политическое»*.

Поэтому нам не остается ничего иного, как в итоге повторить еще раз главную мысль: «хорош» или «дурен» национализм, «прогрессивен» или «реакционен», «созидателен» или «разрушитель» — все эти свойства присущи не национализму как некоей особой независимой сущности (таковой, как мы выяснили, он не является). Присущи же все эти качества *политике* и *идеологии* различных человеческих ассоциаций и, в первую голову, государствам: именно они идейно обосновывают и практически реализуют соответствующие национальные цели и устремления.

*«Hic Rhodus, hic salta!»**

Примечания

¹ Hayes Carlton, J.H. The Historical Evolution of Modern Nationalism. N.Y., 1931. P. 302.

² Цит. по: Snyder Louis L. The New Nationalism. N.Y., 1968. P. 355.

³ Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос. М., 1959. С. 10.

⁴ Там же. С. 7.

⁵ См.: Козинг А. Нация в истории и современности. М., 1978. С. 49.

⁶ Ленинизм и национальный вопрос в современных условиях. М., 1974. С. 23.

⁷ Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 1992. С. 332. (Комплиментарность, по Гумилеву, — это «подсознательное ощущение взаимной симпатии и общности людей, определяющих деление на “своих” и “чужих”» (там же. С. 330).)

⁸ Renan E. Qu'est-ce qu'une Nation? // Discours et conferences. P., 1887. P. 306.

⁹ Милль Дж. Стюарт. Представительное правление. Спб., 1907. С. 275.

¹⁰ См.: Veetham D. Max Weber and the Theory of Modern Politics. Lnd., 1974. P. 128–129.

* Тут Родос, тут и прыгай! (лат.).

- ¹¹ *Сталин И.В.* Соч. Т. 11. С. 334.
- ¹² *Козинг А.* Нация в истории и современности. С. 202.
- ¹³ Там же. С. 205.
- ¹⁴ *Shafer Boyd C.* Faces of Nationalism. New Realities and Old Myths. N.Y., 1972. P. 15–16.
- ¹⁵ *Deutsch Karl W.* Nationalism and Social Communication. Cambr., 1966. P. 96–97.
- ¹⁶ *Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 4. С. 143–145.
- ¹⁷ См. об этом: *Энгельс Ф.* Дебаты по польскому вопросу во Франкфурте // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 5. С. 377–378.
- ¹⁸ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 4. С. 428.
- ¹⁹ См.: *Дюркгейм Э.* Метод социологии // Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С. 501–502.
- ²⁰ См.: *Гегель.* Философия права. М., 1990. С. 278.
- ²¹ *Федотов Г.П.* Новое отечество // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2 т. СПб., 1992. Т. 2. С. 245.
- ²² См.: *Ключевский В.О.* Курс русской истории // Соч. В 9 т. М. 1987. Т. 2. С. 107–109.
- ²³ См. об этом: *Тихомиров Л.А.* Монархическая государственность. СПб., 1992. С. 165–166, 171–175.
- ²⁴ *Шпенглер О.* Закат Европы. Т. 1. М., 1993. С. 164.
- ²⁵ *Kohn H.* The Idea of Nationalism: A Study of Its Origins and Background. N.Y., 1944. P. 10, 16.
- ²⁶ *Hayes Carlton.* Essays on Nationalism. N.Y., 1926. P. 6.
- ²⁷ *Snyder L.* The Meaning of Nationalism. New Brunswick, N.J., 1954. P. 196–197.
- ²⁸ *Shafer Boyd C.* Faces of Nationalism. P. 4.
- ²⁹ См.: *ibid.* P. 22.
- ³⁰ *Ibidem.*
- ³¹ Цит. по: *Hayes C.* The Historical Evolution of Modern Nationalism. P. 190.
- ³² *Шпенглер О.* Закат Европы. Т. 1. С. 153.
- ³³ См.: *Hayes C.* The Historical Evolution of Modern Nationalism. P. 1–2.
- ³⁴ *Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс. С. 130.
- ³⁵ *Козинг А.* Нация в истории и современности. С. 221.
- ³⁶ Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 402.
- ³⁷ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 6. С. 294.
- ³⁸ Там же. С. 295.
- ³⁹ См.: *Snyder L.* The Meaning of Nationalism. P. 48.
- ⁴⁰ *Morgenthau Hans J.* The Paradoxes of Nationalism // Yale Review. XLVI (June, 1957). P. 485. См. также: *Snyder L.* Op. cit. P. 17–19.
- ⁴¹ *Федотов Г.П.* Будет ли существовать Россия? // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2 т. СПб., 1991. Т. 1. С. 174.
- ⁴² *Солоневич И.А.* Народная монархия. М., 1991. С. 126.
- ⁴³ *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 1. С. 70, 71–72.
- ⁴⁴ Цит. по: *Ключевский В.О.* Курс русской истории // Ключевский В.О. Соч. В 9 т. М., 1990. Т. 8. С. 397.
- ⁴⁵ Век XX и мир. 1990. № 10. С. 13–15.
- ⁴⁶ См.: *Laski H.* Nationalism and the Future of Civilization. Lnd., 1932. P. 43 and others.

Глава VII

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

«Ни одному государству нельзя доверять сверх того,
что лежит за пределами его национальных интересов».

Джордж Вашингтон

Национальный интерес — одно из базовых понятий в теории и практике политической деятельности государств и межгосударственных отношений. Оно стало широко использоваться в дипломатическом языке, начиная с XVII века — времени образования национальных государств в Европе. Большие и малые войны, аннексии, вооруженные экспедиции, вмешательство в дела других государств, захват колоний, гонка вооружений, разрыв или установление дипломатических отношений, торговые экспансии — всё это совершалось (и совершается по сию пору) во имя защиты или обеспечения национальных интересов (или, как выражались в прежние времена, *raison d'Etat**).

Казалось бы, что с вопросом о национальном интересе всё давно ясно. Однако споры о том, что он собой представляет, каково его содержание и функции, не стихают и поныне. Одни политологи отвергают это понятие вообще, считая его научно неопределимым (будто бы в сфере политических исследований и впрямь что-то может быть определено строго научно). Другие, наоборот, относят его к фундаментальным понятиям, дающим ту реальную зацепку, с помощью которой только и можно объяснить политику государств.

Противники данного понятия исходят из того, что национальный интерес имел значение лишь в период действия классического «баланса сил» в системе европейских государств XVII–XIX веков и что

* Государственные интересы (*фр.*).

он перестал играть сколь-нибудь серьезную роль в эру глобальной взаимозависимости государств, развития политической и экономической интеграции, в рамках которой государства руководствуются уже не столько узко национальными, сколько общими интересами¹.

Надо заметить, что понятие «национальный интерес» применяется в современной политической литературе главным образом для характеристики внешней политики государств, что, думается, не совсем верно. Национальный интерес имеет два аспекта: внутренний и внешний, одинаково существенные для жизнедеятельности государства. Критика не оставила без внимания не только внешнюю, но и внутреннюю сторону концепции национального интереса. В ней видят желание утвердить не существующее, по мнению критиков, единство между политическим государством и гражданским обществом. Основанием для этого служит мнение, что, вопреки претензиям государства на выражение общего национального интереса, современные общества глубоко разделены внутри себя по многим линиям. Государство способно в лучшем случае посредничать между сталкивающимися интересами внутри общества, но не служить центром единения или выразителем единого национального интереса.

Помимо того, как считают критики, благополучие и сохранение государственного механизма, а вместе с ним и доминантных политических, экономических и идеологических интересов государства не совпадает с благополучием и выживанием гражданского общества. Выражением этого противоречия, по их мнению, является повсеместный рост антиэтатистских движений и настроений, отрицающих законность притязаний государства на роль главного выразителя суверенитета народа и обязательность для общества провозглашаемых им ценностей.

Нельзя не признать справедливости некоторых положений критики. Однако она не может отрицать очевидного факта существования государств как основных субъектов международных отношений, а следовательно, и соответствующей им атрибутики в форме суверенитета, защиты определенных национальных интересов, предполагающих, как минимум, обеспечение безопасности и самосохранения того или иного сообщества, поддержание баланса сил в межгосударственных отношениях и т.д.

Критика по-своему отразила определенные изменения в развитии современного мира и современных обществ; в этой части она, несомненно, верна. Разумеется, было бы неразумно сбрасывать со счетов элементы нового в сегодняшней действительности, но столь же неразумно пренебрегать традиционными основами существующих

отношений между государствами. К ним в первую очередь отнесем национальный интерес, и ничто в нынешнем мире не свидетельствует, что он потерял своё значение.

Национальный интерес неотделим от государства. И в данной работе национальный интерес и государственный интерес рассматриваются, по сути дела, как понятия тождественные — это, собственно, логически следует из рассмотренного выше соотношения нации и государства. Их тождественность особенно очевидна в сфере внешнеполитических отношений государств. Во внутривнутриполитических отношениях она не проявляется столь же явно, но присуща им тоже.

Не без сожаления приходится признать, что современная отечественная политическая мысль долгое время оставляла данную категорию вне поля своего внимания, а если в редких случаях и обращалась к ней, то главным образом с целью традиционной критики буржуазных теорий и концепций международных отношений, не внося от себя позитивного вклада в ее разработку. События последнего десятилетия XX века, связанные прежде всего с распадом системы социализма и Советского Союза, объединением Германии, резкой вспышкой национализма в восточноевропейских государствах и в республиках бывшего Советского Союза, вновь придали остроту проблеме национального интереса и привлекли к ней внимание политологов. Но даже безотносительно к любой конъюнктуре понятие национального интереса представляет несомненный интерес и значимость для всех, кто так или иначе связан со сферой межгосударственных отношений. В самом деле, ведь понятие это, по сути дела, охватывает все аспекты жизнедеятельности государства.

Национальный интерес соединяет в себе такие противоречивые и в то же время неразделимые стороны и отношения живой действительности, как государство и нация, политика и нравственность, политика и экономика, внутренняя и внешняя политика, и в ходе дальнейшего изложения попытаемся постепенно раскрыть их содержание.

Понятие национального интереса

Прежде чем вести речь о национальном интересе, думается, целесообразно кратко остановиться на том, что понимается под интересом вообще.

Начнем с банального утверждения, что в основе целенаправленной человеческой деятельности, и прежде всего деятельности, связанной с государством и политикой, лежат интересы, и сама эта деятель-

ность служит средством удовлетворения этих интересов. В процессе своей реализации интересы различных людей, социальных и политических сил сталкиваются, переплетаются, вступают в противоречие, образуя сложный клубок взаимодействия и взаимозависимости социальной жизни.

В мире человека ничто не осуществляется без интереса. Но интерес сам по себе есть лишь нечто отвлеченное. Даже если он осознан, первоначально он является чем-то внутренним, содержащимся в сознании, в намерениях и желаниях. В таком виде он представляет собой только возможность, еще не реализованную в действительность. Для того чтобы перевести интерес из сферы сознания в действительность, к нему должен быть присоединен момент воли и деятельности человека, подкрепленный соответствующими средствами. Именно благодаря воле, деятельности и ее средствам осуществляется на практике и сам интерес. В политике же все эти элементы соединены воедино.

Связь между интересами и политикой можно, таким образом, определить следующим образом: *политика есть важнейшая форма выражения разнообразных интересов социальных групп, партий, государств. Политическая борьба ведется ради удовлетворения этих интересов.*

Интересы, в свою очередь, не могут быть реализованы, если им не придана форма конкретных *целей*, подкрепленных соответствующими *средствами* и практической *политической деятельностью*. Не случайно такой авторитет в области изучения внешней политики и международных отношений, как Моргентау, не просто ставит интерес во главу угла реалистического понимания политики, но и связывает его неразрывно с *силой* как средством его реализации.

«Главным пунктом, помогающим политическому реализму найти путь в дебрях международной политики, — пишет он, — является концепция интереса, определенного в силовых измерениях».

«Государственные деятели, — продолжает он, — думают и действуют в категориях интереса, обеспеченного силой, и вся история подтверждает это»².

И, тем не менее, понятие «интерес», даже без прилагательного «национальный», представляет собой одну из наиболее спорных концепций в политических и социологических исследованиях. Не вдаваясь здесь в глубины разночтений — это увело бы нас слишком далеко от основной темы, — остановимся лишь на некоторых моментах, каса-

ющихся самого понятия и могущих оказаться полезными для понимания проблемы.

Когда говорят, что та или иная политика или просто практическая деятельность человека осуществляется на основе интересов, под этим обычно подразумевается, что индивиды или социальные группы получают или ожидают от своей деятельности какую-то выгоду или удовлетворение своих потребностей. В этом смысле интересы могут рассматриваться как выражение и осознание потребностей и тем самым как самая общая мотивация деятельности человека. Но ограничиться лишь такой оценкой интереса — значит ограничиться одной его стороной, стороной преимущественно материальной, вещественной, присущей в общем виде и животному миру.

Поскольку человеку как *Homo sapiens* свойственен рассудочно-оценочный подход ко всем сторонам жизни и деятельности, интерес есть не просто выражение потребностей человека, но прежде всего и главным образом ценностная оценка им этих потребностей. Если смысл окружающему нас миру придает некая разделяемая человеком система ценностей, то, значит, и его побуждения, интересы и обусловленная ими практическая деятельность также определяются той же системой ценностей. Вот почему интересы нередко имеют необъяснимый с рациональной точки зрения характер, часто причудливый и порой, казалось бы, противоречащий собственной выгоде человека. Иррациональную непостижимость, прихотливость человеческих интересов, нежелание людей соотносываться порой с какими-либо разумными и научно выработанными взглядами на жизнь блестяще описал Достоевский в своих «Записках из подполья».

«Кто это первый объявил, — спрашивает Достоевский устами героя, — кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов; а что если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным...»

Да когда же бывало, восклицает он, «во все эти тысячелетия, чтоб человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, как люди зазнамо, то есть вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а, как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть не в потемках».

Да и что такое интерес, выгода? Кто возьмет на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? Ведь весь реестр человеческих интересов и выгод, рассуждает герой Достоевского, взят средним числом из статистических цифр и научно-экономических формул. Выгоды эти — благоденствие, богатство, свобода, покой и так далее; и тот человек, который пошел бы против этого реестра, был бы признан обскурантом или сумасшедшим.

«Но ведь вот что удивительно, — продолжает писатель свою мысль, — отчего это так происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают? Даже и в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать, а от этого и весь расчет зависит».

Что же это за выгода? На взгляд Достоевского, это —

«свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту». И такой свой собственный интерес «может быть выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, — потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность»³.

В этом отрывке Достоевский раскрыл, собственно, тот очевидный факт, что руководящим принципом деятельности человека является прежде всего его *личный интерес* и что его формирование есть не только рационально-рассудочный процесс, но и процесс во многом иррациональный, или, иными словами, по преимуществу субъективный. И мы сталкиваемся с этим удивительным явлением не только в частной жизни человека, но и в жизни общественной, в политике отдельных лиц, партий и даже государств. Вот почему тщетно было бы пытаться понять категорию интереса вне ценностного подхода к нему, вне преломления его через индивидуальность человека, вне сложного переплетения в нем личного и общественно-го. Джордж Вашингтон писал по этому поводу:

«Мотивы общественной добродетели могут на какое-то время или в отдельных случаях побуждать людей к альтруистическим действиям, но сами по себе они недостаточны для того, чтобы вызвать устойчивую приверженность к выполнению высоких общественных обязанностей и требований. Немногие люди способны в течение длительного времени жертвовать личными интересами и привилегиями ради общего блага. Попусту жаловаться на этот порок человеческой природы; факт есть факт, и опыт всех времен и народов подтверждает его. Потребуется коренным образом изменить природу человека, прежде чем можно будет надеяться, что он сможет поступать иначе. Любое учреждение, действующее вопреки этой истине, вряд ли сможет преуспеть»⁴.

Можно было бы, пользуясь случаем, выразить заведомо тщетное сожаление по поводу такого положения вещей и еще более тщетную надежду на возможность изменения природы человека к лучшему, но не станем делать этого. Ведь то, что Джордж Вашингтон называет пороком, есть имманентная часть человеческой природы, а посему вряд ли стоит рассчитывать всерьез на коренные перемены в ней. И никакие ламентации тут не помогут.

Поскольку на осознание интересов всегда влияют разделяемые субъектом ценности, предпочтения, желания, страхи, потребности, симпатии и антипатии, привычки, посылку, преломляясь через сознание и эмоции политиков, интерес обрастает всякого рода предрассудками, предубеждениями, искажается господствующими в обществе стереотипами и ценностными установками.

Государства также исходят из веры (и даже убежденности), что действуют в интересах всего общества. Именно такие интересы и являются реальными, истинными интересами, пока и поскольку служат реальным побудителем деятельности человека или политических союзов. Как они оцениваются сторонним наблюдателем, не имеет при этом никакого значения.

На сей счет до сих пор существует немало весьма противоречивых взглядов. Некоторые социологи и политологи считают, что интерес объективен только в случае своей *истинности*, в случае же ложности, несоответствия подлинным потребностям субъекта он перестает быть таковым. С такой постановкой вопроса можно было бы согласиться, если бы существовал некий абсолютный критерий *истинности* или *ложности* интереса, которым руководствуется в своей деятельности тот или иной субъект. Но такого критерия нет и быть не может в принципе, и субъект исходит в своей деятельно-

сти из интересов, как они понимаются им в каждый данный момент времени и в конкретных обстоятельствах. Они-то и являются для него истинными.

Яркой тому иллюстрацией может служить внешнеполитическая деятельность любого государства. Вводя, к примеру, в 1979 году войска в Афганистан, советское руководство исходило из определенно понятых на тот момент интересов Советского Союза. Сегодня они видятся в ином свете, представляются ошибочными, не соответствовавшими действительным нуждам нашего государства, более того — противоречившими им. Но, как бы то ни было, именно они определяли внешнеполитическую деятельность государства в данном регионе на протяжении многих лет. Тот же факт, что вся эта кампания закончилась неудачей, ничего в этом смысле не меняет. Ведь даже если люди или государства в своей деятельности руководствуются своими *истинными интересами*, это вовсе не служит гарантией успеха при их реализации.

Формирование внутри- и внешнеполитических интересов представляет собой нелегкий процесс осознания потребностей государства. Осознание это никогда не может сразу охватить и отразить их во всей многогранности, сложности и глубине. Поэтому *интерес* никогда не может выступать в некой «объективной» своей истинности — он отражает потребности лишь частично, относительно и всегда через ценностное видение субъекта. Последнее, собственно, и служит единственным критерием для суждения об истинности интереса.

Подытоживая краткий экскурс в сложную область социального интереса, можно сказать, что интересы, на основании которых субъекты действуют, определяются как их социальной, экономической или политической природой, их местом в социальной структуре (внутренней или внешней), так и всей совокупностью культурно-ценностных, мировоззренческих позиций субъектов. Они не являются фиксированными, постоянными величинами; интересы меняются в зависимости от изменений в самом субъекте, в окружающей его социальной среде и в его ценностях.

Все отмеченные выше черты в полной мере присущи и такой разновидности интересов, каким является *национальный интерес*. Однако он имеет свои особенности. Начать с того, что *национальный государственный интерес есть фундаментальный принцип, главный закон жизнедеятельности государства, служащий целям сохранения силы государства и здоровья нации*.

Государство, как уже говорилось, представляет собой органическую и уникальную индивидуальность, чья полная сила может быть

сохранена и приумножена, если для нее открыта перспектива роста. Государственный интерес и выражает как путь, так и цель такого роста. Они не выбираются случайно, наугад, наобум; каждому государству присущ собственный жизненный путь, имеющий свое внутреннее и внешнее основание и выражение. Разум государства, выраженный в его Интересе, состоит в верном понимании как собственной сущности и природы, так и окружающего мира, в выработке на этом основании принципов, служащих руководством к действию. В нем выражена жизненная потребность нации или народа в самосохранении, самоутверждении и обеспечении своей безопасности. Отнюдь не случайно Спиноза называл обеспечение безопасности *добродетелью государства*⁵. Руссо же заботу о его самосохранении считал самой важной из забот⁶.

Итак, государственный интерес есть живая конкретность; он подвижен, лабилен, легко приспосабливается к меняющимся внутренним и внешним условиям, оставаясь в то же время на удивление постоянным в глубинной, фундаментальной своей сущности, пока и поскольку продолжает существовать данное государство, дух, характер и природу которых тот и олицетворяет.

Для каждого государства в каждый конкретный период времени существует, строго говоря, единственный оптимальный путь действия, диктуемый всем его прошлым, настоящим и перспективами на будущее. Гений государственного деятеля и определяется верным пониманием государственного интереса в каждый исторический период и, соответственно выбором должных средств для его реализации. Ошибочный выбор грозит гибелью и самому государственному деятелю, и возглавляемому им государству. Если в этой связи обратиться к истории, то легко убедиться, что величие государственных деятелей во все времена было прямо связано с их способностью верно определить государственный интерес, средства его реализации и с решимостью неуклонно ему следовать. В этой связи достаточно назвать имена таких великих государственных деятелей, как кардинал Ришельё, чьими неустанными усилиями как внутри, так и вовне была создана сильная централизованная Франция; как Бисмарк, сумевший в борьбе с внутренними и внешними своими противниками создать единую и сильную Германскую империю; как Иван III Васильевич (XV в.), объединивший вокруг Москвы русские княжества и заложивший основы Московского царства; как Сталин, жесткими мерами сумевший в кратчайший исторический срок превратить отсталую, разоренную Гражданской войной страну в передовую индустриальную державу, сумевшую одолеть нацистскую Германию в жестокой войне.

Нередко выбора вообще не существует, и государство принуждено идти одним-единственным путем. Государственный интерес приобретает в этом случае характер глубокой национальной необходимости. Но каковы бы ни были обстоятельства, дело управления государством всегда осуществляется в соответствии с принципом государственного интереса. Его реализации могут мешать различные реальные или воображаемые препятствия, но он всегда остается определяющим мотивом государственного управления внутри и вовне.

И здесь важно отметить, что государственный интерес не может стать руководящим принципом до той поры, пока государство не достигнет определенной стадии развития, а именно, пока оно не станет достаточно сильным, чтобы преодолеть стоящие перед ним препятствия и утвердить своё собственное безоговорочное право на существование перед лицом других, порой враждебных ему сил.

Внутренний аспект национального интереса

Напомню еще раз: то, что обычно принято называть национальными интересами, есть, в принципе, *интересы государственные*. Но принципы и жизнь согласуются далеко не всегда. Государство живет и действует в живом мире, полном противоречий, эгоизма и заблуждений. Одно из главных противоречий заложено уже в самом факте существования дихотомии «государство—гражданское общество». Когда противоречия между ними принимают открыто конфликтный характер — а это бывает обычно в случае революционных ситуаций, резкой и глубокой социальной дифференциации общества (как в послепетровской или в нынешней России), серьезных социальных волнений, ведущейся государством непопулярной войны (к примеру, война США во Вьетнаме) и т.д., — тогда появляются основания говорить о расхождении государственных и национальных интересов.

Государство, как и всякая иная организация, конституировавшись, стремится к самостоятельности и независимости от породивших его сил. Эта самостоятельность в иные моменты развития может абсолютизироваться, и тогда наступает момент разлада и противоречия между институциональными, или корпоративно-эгоистически, интересами и интересами общими.

Наивню, конечно, было бы принимать за расхождение общественных и государственных интересов обычные случаи недовольства действиями власти. Та, как правило, всегда дурна, ибо в него входят

люди со всеми их слабостями, недостатками и пороками, как бы тщательно их ни подбирать. Но другой крайностью было бы считать, что входящие в правительство люди имеют чуть ли не главным своим намерением нанести ущерб обществу и составляющим его индивидам. Они всегда, хорошо или плохо, в большей или меньшей степени, отражают дух своего народа, общества, их интересы и потребности, ибо являются их представителями, их частицей, притом обычно не самой худшей. Лишь в каких-то патологически редких случаях этого не происходит.

Ранке в своем «Диалоге о политике» не без юмора замечает по этому поводу, что на правительство часто смотрят так, будто в него проникла орда чужеземцев.

«Но позвольте спросить, — восклицает он, — кто те люди, которые управляют и администрируют? Не поднялись ли они прямо из глин самой нации?»⁷.

Порой, и это надо признать, власть и в самом деле действует в отношении собственного народа и государства хуже всякой орды чужеземцев. Самый яркий пример тому — события 90-х годов прошлого столетия в России. В обычных же условиях одни выполняют свои обязанности лучше, другие хуже; одни честные, другие склонны к коррупции и т.д. При всем том было бы величайшей наивностью считать, что одной лишь сменой правительства можно решить коренные вопросы жизни общества, а тем более — его переустройства. Ведь сколько бы раз ни менять правительство, каждый раз в него будут входить люди, плоть от плоти, кровь от крови своего народа со всеми его предрассудками, привычками и представлениями, и даже самые радикальные из них несут частицу народного духа, видения народа о том, как должно всё быть.

Если же к власти приходят политические фантазеры, обаянные желанием опередить время либо свернуть народ с естественного его пути или ставящие перед ним задачи, к решению которых тот не подошел в своем внутреннем развитии, то рано или поздно, но всегда неизбежно они оказываются банкротами.

Выше уже говорилось, что главный национальный интерес всякого государства состоит в обеспечении безопасности нации, народа. Данное положение распространяется в равной мере не только на внешний аспект национального интереса, но и на аспект внутренних. Многие западные концепции национального интереса делают акцент главным образом на его внешнеполитической стороне и сво-

дят его к обеспечению внешней безопасности государства. Но такой подход есть явное сужение смысла и содержания данного понятия.

В самом деле, совместная жизнь людей и деятельность в обществе невозможны без известного порядка в нем, без стабильности социальных, политических, экономических и иных отношений и учреждений. И обязанность поддерживать правопорядок, стабильность в обществе, как и безопасность граждан, возложена именно на государство и его соответствующие институты. Положение, что государство есть политическое устройство общества, олицетворение общности, будучи простой в общем истинной, имеет, тем не менее, важное значение для понимания природы соотношения национальных и государственных интересов. Оно не противоречит ни одной из известных теорий государства (исключая разве что анархистскую), в том числе марксистской, рассматривающей государство в качестве политической организации господствующего класса. Ведь каким бы ни было по своей классовой природе государство, каким бы оно ни было по форме государственного устройства, по форме правления — от демократии до тоталитарной деспотии, за ним неизменно сохраняется функция обеспечения общих интересов народа.

Правящий класс, отмечал Ф. Энгельс,

«уже в силу того, что он является правящим, несет ответственность за положение всей нации и обязан заботиться об общих интересах»⁸.

Эти «общие интересы» есть, конечно, понятие достаточно туманное, неопределенное. Тем не менее, из всего человеческого опыта следует вывод, что под ними понималась, прежде всего, безопасность всего общества.

«Мудрая республика, — считал Монтескье, — не должна отваживаться на такие предприятия, исход которых зависит от превратностей судьбы. Единственное благо, к которому она должна стремиться, — это устойчивость государства»⁹.

«Наилучшее состояние каждой формы верховной власти, — как бы вторит ему и Спиноза, — легко познается из цели *гражданского состояния*: она есть не что иное, как мир и безопасность жизни. И потому та верховная власть является наилучшей, при которой люди проводят жизнь в согласии и когда ее права блюдутся нерушимо».

«Ибо, несомненно, — продолжал он, — что восстания, войны, презрение или нарушение законов следует приписывать не столько злобности подданных, сколько дурному состоянию верховной влас-

ти. *Ибо люди не рождаются гражданами, но становятся*» (курсив мой. — Э.П.).

И отсюда он делает естественный вывод:

«Подобно тому как пороки, чрезмерное своеволие и упорство граждан следует приписывать государству, так же и, наоборот, их добродетель и постоянство в соблюдении законов должны быть приписаны, главным образом, добродетели и абсолютному праву государства...»¹⁰.

* * *

Забота об устойчивости и безопасности государства в качестве главного его интереса вытекает уже из концепции государства, какой она была изложена выше. Дополнительно отметим здесь лишь некоторые моменты, касающиеся вопросов *переустройства* общества и государства на каких-то новых началах и связанных с этим опасностей.

Такого рода проблемы возникали и продолжают возникать перед каждым государством в ходе его естественного исторического развития. Процесс и способ их решения никогда и ни для кого не был ни легким, ни безболезненным, и без крайней нужды ни один народ, ни одна власть не отваживались на столь многотрудное и во всех отношениях опасное предприятие. История в этом плане накопила немалый опыт; и хотя, по мнению мудрых людей, народы и правительств ничему не научались из этого опыта, знать его хотя бы с познавательной точки зрения вовсе не лишне, особенно тем, кто готовит себя к политической деятельности.

Первым правилом было здесь остерегаться поспешных шагов. Житейская мудрость: *«семь раз отмерь — раз отрежь»* нигде не имеет такого значения, как в деле переустройства государства. Тот же Боден настойчиво предостерегал против ломки хорошо зарекомендовавших себя фундаментальных оснований государства ради мнимого успеха и сомнительных выгод. Если, считал он,

«существует опасность, что предпринятые реформы Государства ускорят его падение и гибель, то *лучше сохранить худшую из всех мыслимых форм Государства, чем не иметь его вообще*. Когда человек серьезно болен, — резюмирует он, — разумнее сохранить ему жизнь посредством соответствующего режима, нежели пытаться лечить не-

излечимую болезнь лекарством, способным лишь погубить его жизнь»¹¹ (курсив мой. — Э.П.).

Таким же в принципе было мнение известного русского реформатора XIX века М.М. Сперанского, полагавшего, что государство, коли уж оно требует «ремонта», должно претерпевать постепенные изменения. Особенно это касается России. По его глубокому убеждению, здесь следует всячески избегать такого подхода, когда стремятся снести то колоссальное здание, каковым является Россия, и заменить его другим. И всё это за год-другой. Это невозможно сделать «без резких изменений и разрушений». Реформатору, считал он, следует так проводить свои перемены, чтобы «незаметно и даже обычному глазу невидимо новое здание, основанное на столпах разума и законности, воздвигалось за завесой существующего правления»¹².

Жаль, что наши «реформаторы» 90-х годов прошлого столетия (Горбачев, Ельцин и др.) не были знакомы с трудами Бодена и Сперанского, тогда, возможно, всё шло бы иначе. Хотя, как знать?..

Тот же Сперанский неоднократно подчеркивал, что история нации, ее традиции являются одним из определяющих факторов жизнедеятельности государства. В них ясно и отчетливо выражено состояние моральных и религиозных представлений народа. Они «являются наиболее полным отражением органической его эволюции». Новая политическая система должна вводиться только в том случае, *если в обществе радикально поменялись духовные запросы*. Но даже в подобной ситуации, считал Сперанский, лучше попытаться приспособить действующие институты и законы к новым условиям, создав соответствующую преемственность поколений.

Однако, считал он, без новых законов не обойтись, когда: а) необходимой нормы не существует или она не отвечает создавшимся условиям; б) обычай забыт или извращен; в) неприменима иностранная норма¹³.

Суждения эти основаны не только на знании условий собственной страны, ее традиций и обычаев, духа его народа, но и знании классического учения о государстве, начиная от самых древних представлений и кончая современными. Платон, Аристотель, Макиавелли, Гегель предупреждали против иллюзии легкости переустройства государства, отмечая, что улучшить государственный строй — задача не только не менее, но еще более сложная, чем создать его с самого начала¹⁴. И здесь совершенно недостаточно просто поменять существующие законы на новые.

«Закон бессилён принудить к повиновению вопреки существующим обычаям, — писал Аристотель, — это осуществляется лишь с течением времени. Поспешно менять существующие законы на другие, новые — значит ослаблять силу закона»¹⁵.

Аналогичного мнения придерживался и Макиавелли. Основываясь на многовековом опыте, он пришел к заключению, что простое изменение старых законов и введение вместо них новых еще не меняет устоев и порядков в обществе. Новые, пусть самые хорошие законы будут постоянно упираться в нерушимость существующих порядков, к которым привыкли. Менять же сами порядки — дело небезопасное¹⁶.

«Когда обычаи уже установились и предрассудки укоренились, — вторил ему и Руссо, — опасно и бесполезно было бы пытаться их преобразовывать; народ даже не терпит, когда касаются его недугов, желая их излечить»¹⁷.

Тот же Аристотель считал, что

«законы следует издавать... применяясь к данному государственно-му строю, а не наоборот, подгонять государственное устройство к законам»¹⁸.

В основе всех приведенных мнений, советов и рекомендаций политических мыслителей и философов лежала забота о сохранении внутренней устойчивости государства, его целостности как особой социальной индивидуальности, его безопасности. Она вытекала из всего человеческого опыта, свидетельствующего, что только на внутренней и внешней стабильности можно строить *благо народа*, коли уж применять это понятие.

В том же ключе выдержаны и взгляды на существование в обществе различных партий. Современные партии в так называемых демократических государствах есть феномен эпохи после развала Римской империи. Он родился вместе с феодализмом, становлением и развитием гражданских обществ в ряде западноевропейских государств. В таком виде они не были известны Древнему миру, что отнюдь не означало отсутствия в нем социальной дифференциации, противоречивых интересов и борьбы между ними. Наоборот, столкновение различных интересов достигало тогда порой более высокой степени накала, нежели в наши дни, переходя нередко в открытые

вооруженные столкновения противоборствующих сторон, но всегда, в конечном счете, побеждало общее начало.

Однако, начиная со Средневековья, интересы частные, партикулярные, удельные начинают постепенно брать верх над интересом общим. Особенно яростно межпартийная борьба происходила в городах средневековой Европы, наиболее драматичным проявлением ее стало длительное и кровавое противоборство двух партий в XII–XV веков — *гвельфов* и *гибеллинов* (соответственно, папистской и императорской). Этой борьбе, принявшей наиболее ожесточенный характер в итальянских княжествах, мир обязан Италии тем, что она дала ему Данте и Макиавелли. Их произведения звучат как предостережения будущим поколениям. Во многом по этой причине суждения Макиавелли по вопросам политики остаются актуальными и в наши дни. Среди них мы находим и его взгляды на политические партии и их роль в обеспечении гражданского мира. В своей «Истории Флоренции» Макиавелли, в частности, пишет:

«...Насколько ошибаются люди, полагающие, что в республике можно достичь единения. Верно, разумеется, что имеются разногласия, вредящие республике, но имеются и благоприятствующие ее существованию. Вредоносны же для нее те, — отмечает Макиавелли, — которые приводят к возникновению враждующих между собой партий и групп; благоприятны те, которые без них обходятся. Поэтому, если основатель республики не может воспрепятствовать появлению в ней раздоров, он обязан во всяком случае не допустить образования партий»¹⁹.

На это место, кстати, ссылается Руссо в своем «Общественном договоре», рассматривая вопрос о суверенитете. Руссо замечает, что для выработки общей воли важно, чтобы в государстве не было ни одного частного сообщества (ассоциации или партии) и чтобы каждый гражданин высказывал исключительно собственное свое мнение. Партийная воля — это частная воля в сравнении с волей государства и по отношению к этой воле²⁰. Ведь любая партия, стремясь к власти, пытается тем самым сделать свою *частную волю* общей волей всех, свой *частный интерес* общим интересом всех. Именно из такого сугубо партийного подхода позже выросли кровавые диктатуры всех поголовно революций — от диктатуры якобинской до диктатуры пролетариата.

Хотя Руссо и был идейным предтечей Французской революции, в своем «Общественном договоре» он выступал против преобладания

частного партийного интереса и воли в ущерб воле и интересам общим.

Вернемся, однако, к рассуждениям Макиавелли, тем более что многие из них созвучны переживаемому нами времени.

«Во Флоренции, — продолжает он, — несогласия неизменно сопровождались появлением всяческих партий, поэтому они всегда бывали пагубны, да и победоносная партия сохраняла единство лишь до тех пор, пока партия побежденная не была окончательно раздавлена. Когда же та оказывалась уничтоженной, победители, не сдерживаемые никаким страхом и не обуздываемые каким-либо внутренним порядком, тотчас же начинали враждовать между собой»²¹.

Особенно пагубно, продолжает Макиавелли, сказывается многопартийность на жизнь общества при переходном его состоянии от одной формы государственного устройства к другой, от несвободы к свободе, когда не выработаны еще устойчивые общественные и государственные институты.

«Ведь политические партии помышляют о благе всех лишь на словах, а на деле — о своих интересах и о нанесении поражения противной партии. Они бдительно следят друг за другом, и во взаимной неприязни и вражде чинят препятствия всем государственным начинаниям, вследствие чего народное единение постепенно исчезает. Законы, даже самые лучшие, бессильны в этих условиях воспрепятствовать разложению общества, ибо их губит либо дурное их применение, либо полное к ним пренебрежение.

Безнаказанность зла порождает во всех стремление разделяться на партии: злонамеренные объединяются в них из честолюбия или корысти, а достойные — уже по необходимости. Самое же плохое во всем этом — то искусство, с которым деятели и главы партий прикрывают самыми благородными словами свои далеко не самые благородные замыслы и цели: являясь неизменно врагами свободы, они попирают ее под всякими предлогами. Победа нужна им не для славы родины, а для удовлетворения собственного честолюбия тем, что они одолели своих противников и захватили власть. Когда же власть эта, наконец, в их руках — нет такой несправедливости, такой жестокости, такого хищения, каких они не осмелились бы совершить. Борьба партий ведет к тому, что законы, установления, гражданский порядок вырабатываются не исходя из начал, на которых зиждется свободное государство, а всегда исключительно ради выгоды победившей партии. Ведь

если государство держится не общими для всех законами, а соперничеством клик, то едва только одна клика остается без соперника, как в ней тотчас же зарождается борьба, и так до бесконечности»²².

То, что в этом смысле ровным счетом ничего не изменилось со времени Макиавелли, убедительно свидетельствует опыт нынешней России и других государств, что, кстати, говорит, помимо всего прочего, о похвальном постоянстве человеческой природы.

Запад в течение долгой, упорной и кровавой борьбы выработал для себя где-то на рубеже XIX–XX веков некоторые «правила игры» межпартийного соперничества, превратив его лишь к середине XX века в респектабельный «турнир» сражающихся деревянными мечами и копьями с мягкими наконечниками двух (как правило) партий, — республиканцев и демократов в США, лейбористов и консерваторов в Англии, ХДС/ХСС и социал-демократов в Германии и т.д. Всем уже давно ясно и понятно, что это только «шоу»: никто никому не верит и ничем не обольщается, но все при этом делают вид, что это и есть «подлинная демократия».

Однако современные демократии ни в одном своем аспекте не отвечают (да и в принципе не могут отвечать) тому, что издавна было принято понимать под демократией, то есть народовластием. Начать с того, что современная демократия — это демократия представительная. Но именно благодаря своему представительному характеру она перестает быть подлинной демократией и делается «партократией», то есть господством профессиональных политиков (политиканов), сделавших из политики выгодное ремесло. Самый существенный порок представительной демократии — безграничное господство партий. Межпартийная борьба ведет к тому, что государственный или общенациональный интерес подменяется интересом партийным. Интересы же многообразных социальных групп общества сводятся к простому арифметическому большинству на выборах. Места в высшем законодательном органе также распределяются в соответствии с общим числом голосов, поданных за представителей той или иной партии. Однако их арифметическая сумма отнюдь не является выражением общенационального интереса.

Другим пороком современной представительной демократии является демократический деспотизм или всевластие большинства. Всякий, кто не примыкает к общему течению, становится, по существу, изгоем. За внешне привлекательным фасадом нынешней представительной демократии обычно скрывается изощренная система преследования независимости мышления — всё подгоняется

под «мнение большинства», которое фабрикуется наиболее могущественными партиями.

Данное обстоятельство на примере американской демократии отмечал еще в XIX столетии такой доброжелательный ее исследователь, как Токвиль.

«Всесилие большинства в Соединенных Штатах, — пишет он в своей известной книге “Демократия в Америке”, — приводит как к деспотизму законодателей, так и к произволу государственных служащих... Я не знаю ни одной страны, где в целом свобода духа и свобода слова были бы так ограничены, как в Америке...

Если когда-либо Америка потеряет свободу, — резюмирует он, — то винить за это надо будет всевластие большинства...»²³

Что касается всесилия политиканов, особенно в тех же Соединенных Штатах, то оно стало уже притчей во языцех. Ему посвящены не только специальные исследования, подобные работам Токвиля или Джеймса Брайса, но и произведения художественные. К одному из лучших среди них, несомненно, принадлежит роман Уоррена «Вся королевская рать». Его герой Вилли Старк, подлинный «хозяин» штата, в полном объеме воплощает собой «блеск и нищету» современной американской демократии, выдаваемой ее апологетами за вершину социально-политического развития человечества.

Ущербность представительной демократии обусловлена не только собственной ее природой: она порождается и природой современных государств и обществ. Вразрез с ней идет современное государственное устройство любого общества, вразрез с ней идет современное сложное, высокоавтоматизированное и механизированное промышленное и сельскохозяйственное производство. Никакого отношения к демократии не имеют и не могут иметь такие важнейшие институты государства, как армия, полиция, органы безопасности. Современная организованная и централизованная наука изначально недемократична; искусство также стало управляемым и манипулируемым. Несовместима с демократическим принципом даже частная собственность, признаваемая чуть ли не всеми ее защитниками в качестве «оплота» демократии, ибо та, как ничто другое, вносит непримиримый раскол в общество.

То, что принято называть сегодня «демократиями», в лучшем случае представляет собой разновидности аристократического полуавторитарного правления. Макс Вебер дал ей совершенно четкое и недвусмысленное определение в своей работе «Политика как

призвание и профессия», назвав ее «*плебисцитарной диктатурой*», которая посредством хорошо отлаженной политической «машины» держит в узде массы.

Для этой диктатуры любой парламентарий есть не кто иной, как политический вассал, получающий определенные привилегии за исполнение обязанностей, связанных с занимаемой им должностью, и она ничуть не менее тиранична, чем диктатура отдельного лица: быть может, даже более тиранична. Японцы показали себя очень практичными людьми, поставив кое-где у себя при входе в учреждения чучело хозяина и палку, чтобы бить по нему. Механизм западной «демократии», в принципе, то же «чучело»; роль же «палки» выполняют проводимые время от времени «свободные» выборы. С помощью такого нехитрого приспособления выпускаются избытки накапливающегося в обществе «социального пара», и в этом его несомненная позитивная роль как инструмента поддержания относительной социальной стабильности. Бог бы с ним, плохо только, когда этот «механизм выпуска пара» начинает выдаваться или рассматриваться в качестве универсального средства не только годного, но даже обязательного для всех народов. И не вызывает сомнения, что за агрессивным упорством, с каким Запад навязывает его всему миру, лежит не менее агрессивное стремление подчинить его не только материально, но и идейно.

Каждый народ имеет, однако, свой, основанный на его культуре регулирующий социальный механизм, действующий во многих случаях эффективнее западного. Всякое же навязывание всегда будет наталкиваться на социальную несовместимость учреждений и институтов разных народов и государств. Ведь они могут быть несовместимыми даже в одном государстве при разных формах его государственного устройства и правления.

Монтескье в своем исследовании «О духе законов» отметил как один из моментов такой несовместимости случаи, когда государство, по сути своей деспотическое, заимствует некоторые республиканские учреждения и законы. Несовместимость того и другого дает обычно уродливые результаты. В республиканском Риме, к примеру, гражданину дозволялось свободно и открыто обвинять любого другого гражданина. Это было установление в духе республики, где от каждого гражданина требовалось рвение к общественному благу и где предполагалось, что гражданин обладает всеми правами своего отечества. Когда же и при императорах продолжали следовать данному республиканскому правилу, это тотчас же вызвало появление гнусной породы людей — своры доносчиков²⁴.

Приведенный пример — один из частных случаев общего правила, не допускающего механического переноса учреждений, законов и конституций из одного типа государственного устройства в другой. Об этом особенно уместно помнить сегодня, когда мы видим, как многие традиционные общества — общества, принадлежащие к своеобразным типам цивилизации, пытаются механически перенести на свою почву институты и учреждения западноевропейской цивилизации, в частности многопартийную демократию, видя в ней чуть ли не панацею от всех своих бед. Однако смешение начал разных цивилизаций неизбежно ведет к уродливым результатам, к еще большему обострению имеющихся противоречий, к образованию порочного круга нескончаемых бедствий.

Некоторые невежественные государственные деятели не понимают, что государства и народы такие же живые организмы, как животные и растения, каждое со своим особым «генным кодом», и что здесь также нельзя бесцеремонно вторгаться в живую материю в целях выведения искусственным путем «новых социальных видов» — они будут в той же мере уродливы и нежизнеспособны. Сегодняшние непрекращающиеся волнения, беспорядки, социальная нестабильность в ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки во многом — прямое следствие таких попыток искусственного создания цивилизационных «мутантов» путем «скрещивания» (нередко принудительного) местных цивилизаций с началами западноевропейской цивилизации.

Похоже, что и наша страна с ее традиционным духом соборности, приоритета общего блага над частным тоже вверглась в пучину взрывоопасной смеси разных цивилизационных начал и, похоже, с тем же примерно результатом. По крайней мере, первые плоды развития у нас «демократии» всё по тому же западноевропейскому образцу и при полном забвении (или игнорировании) своих традиционных демократических институтов не оставляют на этот счет никаких сомнений. На нашем примере хорошо видно, к чему приводит стремление перенести в страну чужие социальные институты, в короткий срок перестроить такой огромный государственно-хозяйственный механизм, каким был Советский Союз, и, наконец, попытки опередить время, перескочить через естественные фазы исторического развития общества.

Еще Бисмарк, этот выдающийся политик-практик, предостерегал против существующего у многих людей заблуждения, будто, переводя вперед стрелки своих часов, они могут ускорить этим ход времени.

«Мы не ускорим созревания плодов тем, что поставим под них лампу: а если мы будем срывать их незрелыми, то помешаем их росту и только испортим их»²⁵.

Сам Бисмарк, как известно, сорвал свой «плод» точно вовремя. Мы же все время пытаемся сорвать его незрелым.

В 1906 году после первой русской революции Макс Вебер, тщательно изучив русский опыт, пришел к выводу, что для буржуазной либеральной демократии в России нет шансов и перспектив²⁶. Спустя 30 лет к такому же выводу пришел и русский философ Николай Бердяев.

«В России, — писал он, — не коммунистическая революция оказалась утопией, а либеральная, буржуазная революция оказалась утопией»²⁷.

Глубокий смысл этих выводов у нас еще не до конца осознан, если судить по далеко идущим планам переустройства нашего общества по западноевропейским стандартам. С той отдаленной поры, когда Вебер и Бердяев пришли к своим выводам, в стране не произошло таких принципиальных изменений, которые сделали бы их устаревшими: ни тогда, ни сегодня в ней не существуют основы для либерально-демократического пути развития. Либеральный демократизм европейского толка с его партийным плюрализмом не имел тогда, не имеет и сейчас *естественной* социальной опоры в России; и тогда, и сейчас он представляет собой здесь чисто верхушечное идейное движение. Задолго и до Вебера, и до Бердяева к такому же заключению пришел Н.Я. Данилевский.

«Не интерес, — писал он, — составляет главную пружину, главную двигательную силу русского народа, а внутреннее нравственное сознание, медленно подготовляющееся в его духовном организме, но всецело обхватывающее его, когда настает время для его внешнего практического обнаружения и осуществления. А так как интерес составляет настоящую основу того, что мы называем партиями, то во всей исторической жизни России нет ничего, что бы соответствовало этому, по преимуществу западноевропейскому... явлению. Все, что можно назвать у нас партиями, зависит от вторжения в русскую жизнь иностранных и инородческих влияний; поэтому, когда говорят у нас об аристократической или демократической

партии, о консервативной или прогрессивной, все очень хорошо знают, что это одни пустые слова, за которыми не скрывается никакого содержания»²⁸.

Эту характеристику можно без всяких изменений наложить на многочисленные нынешние партии, также не имеющие равным счетом никакого социально оправданного содержания, не опирающиеся на какую-либо социальную базу и представляющие главным образом верхушечные идейные течения. Одна из важных причин тому — и об этом уже говорилось — отсутствие в стране гражданского общества западноевропейского типа, где господствует частный, партикулярный интерес, для выражения которого на Западе и создавались политические партии.

Другая не менее, а возможно, и более важная причина — огромные масштабы России, делающие саму идею установления в ней демократии в западноевропейском ее понимании блефом. Вот что думал в данной связи на примере Древнего Рима один из замечательных русских дореволюционных политических мыслителей Лев Тихомиров.

Пока Рим ограничивался пределами самого города, замечает он, в нем господствующей и естественной формой правления была демократия. Но по мере превращения его во всемирное государство, включавшее множество различных народов, демократия становилась не только не эффективной, но и губительной для него, поскольку постепенно трансформировалась в анархию, сопровождавшуюся всевозможными узурпациями власти. Формально народ имел все права: выбирал, сменял, контролировал все власти. Но это было пустым звуком. Громадному населению римских граждан, рассеянных по всей Италии и далеко за ее пределами, невозможно было уже собраться в одну толпу, на одном месте.

«Это был владыка слепой, глухой и даже немой. Все избранные им люди делали, что хотели, и обманывали его, он ни за чем не мог уследить — обычное положение всякой демократии, взявшей на себя верховную власть в великом по объему государстве...

Ввиду невозможности прежнего строя, невозможности непосредственного правления народа, — заключает Тихомиров, — *явилось искание единоличной власти. И та была выдвинута последовательным рядом узурпаций, и сознание народное поняло, наконец, ее необходимость как законной основы порядка»²⁹ (курсив мой. — Э.П.).*

Аналогичную эволюцию можно проследить и на примере развития российской государственности. Сегодня мы являемся свидетелями еще одной судорожной и беспорядочной попытки ввести в огромной по масштабу и национальной пестроте населения стране «демократию». Возьму на себя смелость утверждать, что и эта попытка, подобно прежним, закончится после некоторого периода анархии и узурпаций установлением сильной авторитарной власти, и можно лишь уповать на то, чтобы она не оказалась тиранической.

Несколько слов в связи с рассматриваемым вопросом сто́ит сказать о соотношении рынка, гражданского общества, демократии и государства. Отчасти по той причине, что сегодня в ряде стран, включая и Россию, эта проблема становится все более актуальной.

Начнем с того, что рыночная экономика, по крайней мере в начальных стадиях своего развития, — это всегда анархия. На Западе свободные рыночные отношения, то есть свободное гражданское общество, веками развивалось в рамках сильных централизованных государств, служивших необходимым противовесом первых. И это было отнюдь не мирное сосуществование: в борьбе государственной власти с анархией гражданского общества было принесено немало жертв, и чем слабее были государства, тем больше было жертв. Кстати, западные экономисты, начиная с XVIII столетия, были преимущественно сторонниками сильной государственной власти, их мало заботили проблемы политических свобод. Объясняется это просто: поддержание в стране порядка и социального мира издавна считалось главным и необходимым условием всякого экономического прогресса и процветания. Но такой мир и порядок способна обеспечить только сильная власть.

Ведь это сегодня Запад достиг состояния зыбкого и неустойчивого равновесия между государством и гражданским обществом, не требующим столь частого, как прежде, вмешательства со стороны первого, а потому и создающим порой иллюзию неуклонного падения его роли и даже его ненужности. В реальности же гражданское общество со всеми его рыночными и прочими отношениями без наличия сильного государства — такой же нонсенс, как и государство без власти. Если даже в западном мире с его тягой к либерализму государство, тем не менее, всегда шло впереди экономики, то у нас оно в силу уже российской специфики *должно* идти еще на несколько шагов впереди.

И еще об одной особенности, относящейся к проблеме развития рынка и перспектив частнособственнического производства. С развитием частной собственности связываются обычно ожидания быстрого становления, развития и закрепления демократических свобод.

Послушаем, что говорит по этому поводу Макс Вебер, посвятивший несколько серьезных и глубоких исследований сущности и отличительным чертам западного капитализма.

«Стремление к предпринимательству», — пишет он, — «стремление к наживе», к денежной выгоде, к наибольшей денежной выгоде само по себе *ничего общего не имеет с капитализмом*. Это стремление наблюдалось и наблюдается у официантов, врачей, кучеров, художников, кокотов, чиновников-взяточников, солдат, разбойников, крестоносцев, посетителей игорных домов и нищих — можно с полным правом сказать, что оно свойственно *all sorts and conditions of men** всех эпох и стран мира, повсюду, где для этого существовала или существует какая-либо объективная возможность.

Подобные наивные представления о сущности капитализма принадлежат к тем истинам, от которых раз и навсегда следовало бы отказаться еще на заре изучения истории культуры. *Безудержная алчность в делах наживы ни в какой мере не тождественна капитализму и еще менее того его «духу»*. Капитализм может быть идентичным обузданию этого иррационального стремления, во всяком случае, его рациональному регламентированию. Капитализм безусловно тождествен стремлению к наживе, но лишь *в рамках непрерывно действующего рационального капиталистического предприятия, к непрерывно возрождающейся прибыли, к рентабельности*³⁰ (курсив мой. — Э.П.).

Такому *рациональному* капитализму Запада Вебер противопоставляет алчный, дикий, авантюристический, специфически-торговый и политически обусловленный капитализм всевозможных видов, существовавший или существующий в других частях мира.

Российский капитализм, насколько можно о нем судить по прошлому и по народившимся его элементам сегодня, безусловно, относится к разряду капитализма «дикого».

Будем, однако, к нему справедливы: он вполне соответствует природе и духу народа, которому не свойствен рационализм, как и не свойствен ему, по оценке Бердяева, дух «буржуазного мещанства» и предпринимательства. Рассчитывать, что этот развившийся нынче алчный и дикий частнособственнический сектор, будь то в городе или деревне, накормит и оденет всех нас, представляется весьма проблематичным, если не сказать больше. К тому же для полнокровного развития страны это еще далеко не всё, что требуется.

* Людям всех типов и сословий (англ.).

Что же касается связи капиталистического экономического развития с ростом свободы, то опять сошлемся на Вебера, убедительно показавшего, что само по себе экономическое развитие даже в зрелом капиталистическом обществе ни в коем случае *не гарантирует индивидуальной свободы*. Логика материальных интересов ведет общество в прямо противоположном направлении, а именно — к возникновению новых каст, «новых авторитетов», «новой аристократии»³¹, гнет которых может оказаться не только тяжелее, но и хуже, гаже, унизительнее, чем гнет со стороны государства.

В этом смысле русская литература дала нам образцы «новой аристократии» в лице Тит Титьчей, Фома Фомичей и других мироедов, дающие представление о том, что ждет общество, вступающее на путь иррационального, «дикого» капитализма.

Столь же наивны самообольщения и относительно рентабельного, рационального капитализма с его пресловутой экономической и социальной свободой.

«Современный капиталистический хозяйственный строй, — замечает тот же Вебер, — это чудовищный космос, в который каждый отдельный человек ввергнут с момента своего рождения и границы которого остаются, во всяком случае, для него как отдельного индивида раз и навсегда данными и неизменными. Индивид в той мере, в какой он входит в сложное переплетение различных отношений, вынужден подчиняться нормам капиталистического хозяйственного поведения; фабрикант, в течение долгого времени нарушающий эти нормы, экономически устраняется столь же неизбежно, как и рабочий, которого просто выбрасывают на улицу, если тот не сумел или не захотел приспособиться к ним.

Таким образом, капитализм, достигший господства в современной хозяйственной жизни, воспитывает и создает необходимых ему хозяйственных субъектов — предпринимателей и рабочих — посредством экономического отбора»³².

Если этот жесткий и безжалостный детерминизм и есть свобода, тогда нужно определить, что понимается под закрепощением.

Данилевский, кстати, был ближе к оценке Вебера, чем многие экономисты и либеральные политики, оценивая капитализм как «экономический феодализм»³³. Собственно, таковым тот и является даже по происхождению, поскольку вырос на почве феодализма.

Изложенное затрагивает, разумеется, лишь малую часть многочисленных граней *внутреннего* аспекта национального интереса. Но, думается, и она дает достаточное представление о многообразии деятельности государства по обеспечению высшего интереса в рамках своих границ, который соответствовал бы духу и традициям его народа и потребностям времени. Высший же государственный интерес состоит в создании гармоничного единства частного интереса граждан с общей целью государства на основе самобытной природы и духа его народа. От крепости этого соединения существенным образом зависят устойчивость и безопасность общества и государства, взятых во внутреннем их измерении.

Но не только от «степени». Сама эта «степень» имеет и качественную сторону, связанную с цивилизационной (культурной) составляющей каждого общества, каждого государства. Мудрость и гений государственных деятелей состоит в том, чтобы в каждый исторический период с максимальной приближенностью к реальным жизненным потребностям общества определить эту степень и формулировать в соответствии с ней тот государственный (национальный) интерес, которому в данной ситуации нет альтернативы.

Внешний аспект национального интереса

По отношению к внешнему миру роль государственного (национального) интереса в принципе та же — сохранение нации, обеспечение безопасности государства. При всем желании, просто невозможно внести в эту оценку что-то новое, оригинальное, да и не в том задача.

«Основой всех видов национального интереса, — пишет в этой связи американский политолог Осгуд, — является выживание или самосохранение, так как именно от национального выживания зависит достижение всех других интересов и основанных на них целей»³⁴.

Сюда порой добавляют защиту территориальной целостности государства, его суверенитета и т.д., но это уже детали, хотя и важные сами по себе, но не меняющие существа общего подхода. С вариациями приведенной формулировки каждый может столкнуться в любой книге, посвященной анализу внешней политики и международных отношений. В целом такое понимание проблемы присуще всей школе «политического реализма», хотя оно отнюдь не чуж-

до и представителям «идеализма». Разница между теми и другими состоит главным образом в том, что последние, как это свойственно моралистам всех времен и народов, ясную, в общем, вещь окутывают густым туманом моральных сентенций и нравоучений.

Если и говорить о различии подходов к концепции национального интереса в американской политической мысли, то оно, скорее, в оценке значимости национального интереса в определении внешнеполитического поведения государства. Веер таких оценок тоже весьма широк.

«Ни одно государство, пренебрегающее своим национальным интересом как движущей силой политики, не может выжить», — утверждает, к примеру, видный политолог Шлезинджер (мл.)³⁵.

Впрочем, такие государства, которые бы вовсе пренебрегали своим национальным интересом, найти крайне трудно. К ним, правда, с полным основанием можно отнести «ельцинскую» Россию на рубеже XX–XXI веков. Из этого откровенного и безапелляционного пренебрежения национальными интересами стране придется еще долго и тяжело выкарабкиваться.

В американской политологии существуют и более сдержанные оценки значимости национального интереса. Среди них суждение известного американского политолога Стенли Хоффмана, всю свою долгую научную карьеру сумевшего успешно просидеть меж двух стульев — «политическим реализмом» и «идеализмом». Эту полюбившуюся ему позицию он сохранил и в своем труде «Янус и Минаерва»³⁶, на который я уже ссылался выше.

«В условиях взаимного страха и технологического беспорядка, — писал он в одной из своих более ранних работ, — *толкования* национального интереса становятся почти totally субъективными, и сравнительный вес “объективных” факторов, которые влияют на возможности государства, а тем самым и на его политику, почти невозможно оценить»³⁷.

Относительно этого пассажа, — а он весьма характерен для Хоффмана, — можно добавить: *толкование* (по *англ.* interpretation) чего-либо всегда «totality субъективно», если даже мы толкуем объективные факторы. *Не субъективного* толкования в природе не существует. Впрочем, это естественно следует из ценностного подхода, но не только из него, а из любой теории познания.

Не станем, однако, углубляться в дебри расхождений американских школ по проблеме национального интереса — это увело бы нас слишком далеко от темы, да эти «дебри» и не представляют большой познавательной ценности. С точки же зрения познавательной, и лишь в той мере, в какой данный труд может служить целям «кликбеза», приведу некоторые образцы классификации национальных интересов на примере подхода Ганса Моргентау.

В своих многочисленных работах, рассматривая концепцию национального интереса, Моргентау применяет понятие «интерес» в самом разнообразном наборе: главный и второстепенный интерес, общий интерес, конфликтующие интересы, идентичные и взаимодополняющие интересы, жизненные интересы, необходимые, постоянные и переменные интересы и т.д.³⁸

Главные интересы, согласно Моргентау, означают защиту физической, политической и культурной целостности государства. Главные интересы не могут быть объектом компромисса или политического торга. Все государства имеют идентичные главные интересы и должны защищать их любой ценой.

Переменные интересы — это интересы всех сталкивающихся интересов: интересов индивидуумов, общественного мнения, партийной политики, общественной морали и другие³⁹.

Концепция Моргентау легла в основу понимания национального интереса у большинства представителей школы «*политического реализма*». В ней обычно различают фиксированное и переменное содержание интереса. Фиксированная (неизменная) часть национального интереса включает задачу сохранения государства как независимой политической единицы. Переменное содержание рассматривается как функция множества факторов — национальных традиций или некоторой совокупности идеалов, разделяемых большинством населения страны; личностных характеристик руководства; политической философии соперничающих политических партий; международных условий, современных тенденций в общественном мнении, в развитии науки и техники и т.д.⁴⁰

Полезно, думается, при анализе национального интереса различать в нем и такие моменты: мотивировочную (политико-идеологическую) сторону и его практически-политическое содержание. Мотивировочный аспект служит обычно целям оправдания тех или иных предполагаемых или уже предпринятых внешнеполитических акций государства под предлогом защиты национальных интересов страны. Возможно, отталкиваясь именно от мотивировочной стороны национального интереса, — а та, естественно, всегда на виду, —

многие, и прежде всего американские политологи, склонны придавать ему произвольно-субъективный характер. Мотивировочная сторона национального интереса, как должно быть понятно, не остается данной раз и навсегда: она меняется довольно часто на протяжении сравнительно коротких исторических периодов, тогда как сами интересы государства, по крайней мере те, которые принято называть главными, жизненно важными и т.п., сохраняются в течение долгого времени неизменными.

Разумеется, анализ национальных интересов непременно должен учитывать мотивировочную их часть в той же мере, в какой при анализе политики вообще должно приниматься во внимание ее идеологическое обоснование. Но было бы ошибочно сводить всё к этому. В основе оценки национального интереса лежат и вполне определенные объективные основания. Интерес, как мы помним, можно определить как *осознанную потребность*. Вот эта потребность и составляет, так сказать, экзистенциальную («объективную») почву любого интереса. Данный аспект национального интереса основывается на реальных материальных и политических потребностях в развитии того или иного государства, на его геополитическом положении в мире. В практической же внешнеполитической деятельности государства это выражено в его целях, намерениях и в средствах, с помощью которых они реализуются. Меняются времена, меняются и потребности, меняются, соответственно, определенные интересы, а вместе с ними — цели и средства внешней политики. Но, как и в других сферах человеческой деятельности, нужно и тут отделять слова от дел, мотивировку деятельности от самой деятельности, политически-пропагандистскую сторону национального интереса — от его бытийной основы.

Возвращаясь вновь к вопросу о классификации национальных интересов и отдавая должное работе, проделанной Моргентау и другими американскими политологами, представляется предпочтительней все же более простая схема. В соответствии с ней можно выделить два самых общих уровня внешнеполитических (национальных) интересов государства, а именно: а) уровень *главных* внешнеполитических интересов и б) уровень *специфических* внешнеполитических интересов.

Первый уровень включает внешнеполитические интересы государства, связанные с обеспечением его безопасности и целостности как определенной социально-экономической, политической, национально-исторической и культурной общности, с защитой экономической и политической независимости государства. Эти главные

интересы определяются исторически сложившимся местом государства в системе международных отношений (его геополитическим положением) и социальной его природой. Свои главные интересы государство должно обеспечивать и защищать всеми имеющимися у него средствами: военными, экономическими, дипломатическими и идеологическими.

Второй уровень — уровень специфических интересов. Он охватывает отдельные, относительно частные по сравнению с главными, хотя и важные сами по себе интересы государства в сфере международных отношений. Сюда могут быть отнесены внешнеполитические интересы, связанные с конкретными процессами жизнедеятельности системы межгосударственных отношений: с конфликтными ситуациями, непосредственно не угрожающими безопасности государства, с различными международными проблемами, решение которых требует участия государства, и т.п. К этому уровню близки также внешнеполитические интересы, порожденные внешнеэкономическими, внешнеторговыми отношениями государств, их отношениями в области внешней помощи, в области культурного, научного и прочего сотрудничества.

Специфические внешнеполитические интересы находятся, в конечном счете, в зависимости от главных и лимитируются ими. В то же время они относительно автономны; они определяют содержание внешнеполитической деятельности государства на отдельных ее направлениях и служат ему руководством к практическим внешнеполитическим действиям в соответствующих сферах международных отношений.

Первый уровень, уровень главных интересов, отражает, так сказать, высшую сферу внешнеполитической деятельности государства и взаимоотношений государств. *Пока государство существует как определенная социально-экономическая и политическая общность, главные его интересы, по сути своей, остаются неизменными, независимо от смены режимов или политического руководства.*

В соответствии с меняющимися объективными обстоятельствами в мире может меняться и конкретное содержание внешнеполитической деятельности государства, направленной на обеспечение главных его интересов, форма их выражения, средства их реализации, но сами интересы обеспечения целостности и независимости государства, а тем самым и нации, обеспечения их безопасности сохраняются во все времена.

Главные интересы государства непосредственным образом связаны с «объективными» аспектами национального интереса, прежде

всего с его *геополитическим положением* и соответствующими условиями его внешнеполитического окружения. В истории дипломатии и международных отношений сплошь и рядом можно встретить примеры необыкновенной устойчивости главных внешнеполитических интересов государства, связанных именно с геополитическим положением государств, с его исторически сложившимися местом и ролью в системе. Перед ними часто бессильны даже самые радикальные внутренние перевороты. В самом деле, ведь в главных внешнеполитических интересах отражены как социально-политическая природа государства, так и наиболее важные для него системно-структурные условия. Поэтому государства менее всего склонны идти здесь на какие-либо серьезные компромиссы, торги или уступки.

Испытывать «терпение» государства на международной арене допустимо, следовательно, до границ его главных интересов; за ними оно перестает быть сговорчивым и готово пойти на любые меры, чтобы оградить свои главные интересы, какими их понимает в данный момент политическое руководство государства.

Внешнеполитические интересы второго уровня более лабильны и изменчивы, нежели интересы первого уровня: они легче поддаются воздействию со стороны постоянно меняющихся внутренних и внешних обстоятельств, здесь больше простора для внешнеполитического компромисса. В различные исторические периоды специфические интересы государства могут быть разными. Потребности же меняются в связи с исчезновением одних потребностей государства и появлением других. Они меняются вместе с социально-экономическим развитием государства, со сменой исторических состояний системы и общим ходом исторического процесса. Очевидно, к примеру, различие между внешнеэкономическими интересами государств в нынешнем взаимозависимом мире и в XIX веке.

В случае необходимости специфические интересы с большими или меньшими потерями для государства могут быть принесены в жертву интересам главным, жизненно важным для его безопасности, что, кстати, нередко имеет место в практике межгосударственных отношений. Государство, исходя из военно-стратегических или внешнеполитических обстоятельств, диктуемых его местом и ролью в системе, или из необходимости обеспечения своей безопасности, может сводить на нет те или иные связи с другими государствами, определяемые интересами второго уровня (экономическими, торговыми, культурными и т.д.).

Нельзя в то же время не отметить, что граница между главными и специфическими интересами государства на деле весьма условна

и подвижна, особенно в случаях, когда затрагиваются такие вещи, как «престиж» государства. Условность и зыбкость этой границы часто усугубляется целенаправленной деятельностью государств. Межгосударственные отношения знают немало случаев, когда область специфических интересов объявляется тем или иным государством сферой его жизненно важных интересов. Подобные действия нередко служат поводом для обострения межгосударственных отношений, для конфликтов и даже войн.

В прежние, не столь отдаленные времена концепция национального интереса ограничивалась преимущественно учетом собственных интересов. В сегодняшнем взаимозависимом мире, начиненном к тому же ракетно-ядерным оружием, такое ограничение уже чрезвычайно опасно. Исходя из реалий современности, государство не может не принимать в расчет, как минимум, три группы взаимосвязанных интересов: собственные жизненно важные интересы; жизненно важные интересы других государств (как союзников, так и предполагаемых противников) и, наконец, жизненно важные интересы системы межгосударственных отношений в целом.

Национальные интересы государства могут, следовательно, быть достаточно верно определены только на основе учета, синтеза этих трех групп интересов, поскольку игнорирование или нарушение одним государством жизненно важных интересов других государств или системы отношений между ними в целом ставит под угрозу и его собственные интересы. Как отмечает в этой связи Моргантау,

«...национальный интерес государства, которое озабочено не только собственными интересами, но также интересами других государств, должен быть определен в понятиях, совместимых с последними. В мире, состоящем из многих государств, это требование политической морали; в эпоху угрозы тотальной войны оно уже есть одно из условий выживания»⁴¹.

На учете интересов безопасности предполагаемого противника основывается, кстати, и так называемая «концепция кризисной стабильности». Характеризуя ее применительно к политике США, Роберт Макнамара пишет:

«Исходя именно из собственных интересов, Соединенные Штаты должны добиваться того, чтобы противник чувствовал себя в большей безопасности»⁴².

Эту на первый взгляд парадоксальную мысль Макнамара объясняет тем, что в эпоху ядерных вооружений, когда одна страна, можно сказать, держит судьбу другой в своих руках, старые правила уже неприемлемы. В соответствии же с правилами ядерной эпохи нельзя, как минимум, загонять противника в угол, из которого для него может оказаться один только выход — ядерный удар.

Здесь, однако, могут возникнуть серьезные коллизии. К примеру, задача предотвращения мировой термоядерной войны при каких-то обстоятельствах может войти в серьезное противоречие с интересами обеспечения собственной безопасности того или иного государства; или собственные жизненно важные интересы — в прямую коллизию с такими же интересами других держав. Отсюда возникает реальная дилемма: каким интересам отдать предпочтение в ситуации, в которой, например, желание обуздать агрессора будет вступать в противоречие с желанием избежать действий, увеличивающих опасность всеобщего ядерного катаклизма. С морально-политической точки зрения, ответ на эту дилемму мог бы свестись к тому, что во всех случаях приоритет должен быть за общечеловеческими интересами, за интересами выживания человечества. Но этот совет хорош лишь в том случае, если ему следуют все; но даже одного исключения достаточно, чтобы сделать его недействительным. К сожалению, человечество в целом и в его отдельных частях пока не дошло до таких высот осознания ответственности за судьбы мира.

Если же абстрагироваться от моральных оценок, то до настоящего времени ответ на эту политическую дилемму основывался *на учете баланса сил* как важнейшего фактора, служащего определению, каким из противоречивых групп интересов отдать предпочтение и чем, соответственно, рисковать. И если говорить по большому счету, то в мире не произошло ничего такого, что могло бы заставить отойти от учета данного фактора, даже принимая во внимание все те изменения, о которых было сказано.

* * *

При всей кажущейся неопределенности, «субъективности» и даже иррациональности понятия национального интереса, он так или иначе выражает внутренний национальный или общественный консенсус, объединяющий в единое целое совершенно разных во всех иных отношениях людей. Если бы не существовало такого консенсуса, вряд ли было бы возможным существование народов, наций, государств как неких единых образований. Вот почему тот факт, что

на мировой арене государство выступает как представитель всей нации, как олицетворение национального суверенитета, как выразитель интересов общества в целом, имеет реальные основания. Можно признать условность такого «представительства», подчас даже прямую его фальсификацию или узурпацию государством, однако оно существует и играет свою роль. Если в оценке собственного государства нация часто разобщена, то по отношению к внешнему миру, к другим государствам она, как правило, выступает как единое с ним целое. Соответственно, и национальный интерес приобретает значение интереса всей нации в целом.

Отнюдь не случайно даже социально антагонистические силы внутри общества часто приходят к согласию и единению, когда речь заходит о внешнеполитических вопросах, о защите «национальных интересов» вовне при одновременной полярности позиций и интересов в вопросах внутривнутриполитических. Было бы поэтому большой ошибкой при оценке отношения населения того или иного государства к его внешней политике делать акцент на факторе социально-классового или политического расслоения в нем и не учитывать в то же время, что им движут и такие чувства, как чувство патриотизма, чувство связи со своей нацией, чувство родины и, наконец, государственное чувство, или осознание того, что от силы и значимости собственного государства в мире, от его экономической и политической мощи зависят жизнь и благополучие каждого.

Эти чувства особенно обостряются во время войны или острых международных конфликтов. Их игнорирование приводило и приводит к серьезным ошибкам и просчетам в оценках тех или иных внутренних и внешних ситуаций. Напомню здесь, как в канун Первой мировой войны в среде социал-демократии существовало глубокое убеждение, что пролетариат больших наций в силу присущего ему интернационализма является естественным союзником друг другу, что в его среде нет места национализму («пролетариат не имеет отечества»), что в случае войны он объединится против мировой буржуазии. Однако война привела к полному краху всех этих иллюзий: пролетариат оказался не менее «национален» и «националистичен», не менее (если не более) предан отечеству, чем буржуазия.

Национальное чувство всегда было и остается специфическим средством политики и в этом качестве — предметом спекуляций политических демагогов всех мастей, особенно в делах внешнеполитических. Здесь обычно пускается в ход весь арсенал политической демагогии: игра на национальных чувствах, национальной гордости, патриотизме, разжигание ура-патриотизма, шовинизма, вражды к другим

народам... И нельзя не признать, что все эти средства оказывают, как правило, должное воздействие, поскольку всегда падают на благоприятную почву легко воспламеняющегося национального самосознания. Можно в этой связи напомнить «гренадскую» акцию США, «фолклендскую битву» Англии, поддержанные в обоих случаях большинством населения этих демократических государств независимо от социальной принадлежности. О том же говорит и поддержка многими слоями населения с различными политическими убеждениями политики милитаризации и ядерного вооружения в США, Англии, Франции, Советском Союзе. Нельзя здесь не учитывать и того, что производство современного оружия требует труда и усилий не только огромной армии ученых, инженеров, техников, рабочих, политических и государственных деятелей, но и работников искусства, публицистов, литераторов... И если все они сообща выполняют эту чудовищную, казалось бы, задачу, то не значит ли это, что их всех объединяет нечто общее — тот самый мистический, иррациональный консенсус, одним из результатов которого являются вполне зримые материальные ракеты, ядерные боеголовки и т.д.

* * *

Наша задача была бы выполнена не до конца, если были бы обойдены вниманием *общие интересы* государств. В сегодняшнем мире они приобретают возрастающую значимость. Политическая и экономическая взаимозависимость государств, углубляющаяся интернационализация производства, наряду с ядерной и экологической угрозой выживанию человечества ведут к всё большему сближению интересов, увеличению точек соприкосновения государств по различным вопросам современной жизни, объективно порождают общность их интересов в определенных сферах жизни. Государства всё чаще вынуждены обращаться к проблемам, так или иначе затрагивающим если и не все, то многие страны, отчего они неправоммерно были названы «общечеловеческими».

Определенная общность интересов вообще есть важнейшая предпосылка развития сотрудничества государств. Везде, где есть взаимодействие между ними, имеется и определенная степень общности. Однако общность хотя и необходимое, но еще недостаточное условие для развития полнокровных отношений между государствами. Внешняя политика реалистична в той мере, в какой учитывает не только собственные интересы, но и интересы других сторон. Без такого учета вряд ли можно прийти к согласию даже в сфере

общих интересов, а оно, в свою очередь, предполагает необходимость поиска компромиссов. Разумный же компромисс в политике (а именно о таком компромиссе идет речь) — это поиски и нахождение общего в различном⁴³. Без такого компромисса все стремления к достижению согласия между государствами, к какой бы сфере отношений они ни относились, мало перспективны.

Национальный интерес и Россия

Суждение о нации как неразрывном единстве государства и гражданского общества чаще всего связывается с европейскими государствами. В данном отношении свою, притом немалую специфику имеют государства многонациональные и традиционные, под которыми здесь разумеются многие государства Азии, Африки, Латинской Америки, где нет гражданских обществ западноевропейского типа. Однако это вовсе не значит, что они не имеют национальных интересов. Каждая культура и относящиеся к ней народы и государства имеют в этом смысле свои особенности. Такие особенности имеет и Россия. История развития в ней общества и государства, становления в ней своих особенных национальных интересов принципиально не похожа на историю Западной Европы. Хотя об этом было уже немало сказано в предыдущих главах, на некоторых вопросах есть необходимость задержаться еще раз.

Прежде всего нельзя не отметить, что, вопреки непрестанной многовековой борьбе за физическое выживание, русский народ, живший в неизмеримо более тяжелых условиях, чем какой бы то ни было другой, создал не только сильную и жизнеспособную государственность, но и уникальное самобытное сообщество, которое с полным правом можно назвать российским гражданским обществом. Многие поколения русских людей воспитывались в убеждении, что в России всё плохо, что она одна из самых отсталых и темных стран мира, «страна рабов, страна господ» и что, естественно, она должна брать пример с передовых стран Запада, заимствовать у них социально-политические, экономические и гражданские институты.

Однако любая общественная сила, будь то народная или государственная, как сила живая, действует в соответствии с законами своей собственной природы. Эта природа, эти законы определяют *Судьбу* государства и народа, они формируют превалирующие тенденции их развития, формы и содержание всех государственных и обществен-

ных учреждений. Они же формируют для каждого государства и свой особый национальный интерес, являющийся законом его жизнедеятельности. Мы это хорошо видим на примере истории России. Российское государство строилось в условиях непрерывной борьбы за существование, за выживание. Открытая всем ветрам и бурям, всем нашествиям, она сумела не только выжить, но и построить беспримерное и органическое государственное тело.

И здесь (забегая несколько вперед*) отмечу уникальность *геополитического положения* России, расположившейся между двумя великими цивилизациями мира — восточной и западной — и как бы поддерживающей между ними равновесие. Именно в специфике этого положения лежат ответы если не на все, то на многие вопросы, связанные с особенностями России, ее историей, ролью в мире, ее особыми национальными интересами. В самом деле, мы видим, как Россия на протяжении многих веков упорно и настойчиво собирала и укрепляла державу, масштабы, целостность и единство которой росли вместе с организацией внешнего мира и с соответствующим возрастанием роли и значимости страны в поддержании мирового баланса сил. Как в этой связи замечает Ф.М. Достоевский, русские, пока Европа изобретала науку и прочее,

«проявляли не менее изумляющую деятельность: они создавали царство и сознательно создали его единство. Они отбивались всю тысячу лет от жестоких врагов, которые без них низринулись бы и на Европу. Русские колонизировали дальнейшие края своей бесконечной родины, русские отстаивали и укрепляли за собой свои окраины, да так укрепляли, как теперь мы, культурные люди, и не укрепим, а напротив, пожалуй, еще их распахтаем»⁴⁴.

Последняя фраза, если судить по нынешнему состоянию России, и впрямь оказалась пророческой. Как бы то ни было, история становления Российского государства поразительна: его расширение и укрепление осуществлялось не ради экономической экспансии, а ради иного, не всегда, быть может, осознаваемого рационально, но всегда интуитивно ощущаемого в качестве непреложной необходимости. Эта необходимость, а тем самым и глубочайший национальный интерес России заключались в собирании государства, его организации и обеспечении надежной безопасности от напавших со всех сторон врагов.

* Общим проблемам геополитики посвящена последняя, 10-я глава книги.

Проблема обеспечения безопасности во все времена была напрямую связана с особым геополитическим положением страны. Оно во многом определяло также характер ее социально-политического и экономического развития, характер взаимоотношений с внешним миром. Особенность этого положения в том, что с севера она зажата Северным Ледовитым океаном, с юга — горными цепями и пустынями, выходы к открытым морям ограничены; основные реки текут либо в Ледовитый океан, либо в Каспийский «тупик»; главные минеральные богатства расположены в суровых и малообжитых местах, в отдалении от центральных районов и друг от друга; земли в основе своей малоплодородные, климат суровый... Евразийцы называли всё это «*географической обездоленностью*» России.

Как отмечал в этой связи русский историк И. Солоневич, естественные богатства России, как и ее реки, расположены, так сказать, «*издевательски*»: в центре страны нет вообще ничего. Там, где есть уголь, — нет руды и где есть руда — нет угля. 48% территории России находится в области вечной мерзлоты. Нефть, уголь и руда разбросаны по окраинам⁴⁵. Любой регион в обособленности сразу начинает задыхаться от нехватки многих ресурсов, товаров, продуктов. Взять их неоткуда, кроме как из прилегающих, сопредельных земель; извне тут никто не поможет.

Всё это детерминировала экстенсивный характер территориального и социально-экономического развития России и необходимость собирания вокруг себя земель, так чтобы одни части могли компенсировать свою ограниченность в ресурсах другими частями. Геополитически каждая часть дополняла другие, а все вместе составляли обусловленное природой и пространством единое государственное тело. Условно говоря, юг России снабжал страну хлебом, Урал и Казахстан — углем и металлом, Татарстан — нефтью, Москва и Петербург — современными машинами и приборами, Иваново, Вологда — ситцем, Сибирь — лесом, золотом, Средняя Азия — хлопком и т.д. Эта создававшаяся столетиями система хозяйственных и политических связей получила свое наиболее полное развитие в Советском Союзе. Однако она была намеренно и преступно разрушена в период правления Горбачева и Ельцина. В результате Россия оказалась отброшенной далеко на Север и Восток. Все ее бывшие союзные республики по южному периметру в своей совокупности образовали то, что в геополитическом смысле можно назвать уязвимым «*мягким подбрюшьем*» России.

В результате для страны сразу же возникла небывалая прежде проблема военной, экономической, сырьевой и прочей безопасности.

В геополитике же, как ни в какой иной сфере, «свято место пусто не бывает», и мы видим, как энергично США вместе со своими союзниками стремятся заполнить образовывавшийся геополитический вакуум. Это «заполнение», начиная с Туниса, Ливии, Ирака, Египта, Сирии, а теперь уже и Украины (далее на очереди Иран), тянется в Среднюю Азию, обкладывая Россию по всему юго-западному периметру.

В 1993 году вследствие антинациональной политики руководства страны Россия фактически оголила свои южные рубежи, сделала их уязвимыми для внешнего проникновения (беспрецедентный в истории случай откровенного пренебрежения коренными национальными интересами страны!). Для страны возникла совершенно новая геополитическая ситуация, серьезно ослабившая ее безопасность. Дело в том, что по всему южному ее периметру образовалась сплошная полоса из нестабильных в политическом и экономическом отношении государств. В этой связи всё, что происходит на Ближнем Востоке (в Сирии, Иране и т.д.), в Украине, имеет для нее не тактическое, а важнейшее стратегическое значение. В самом деле, если, скажем, падут нынешние режимы в Дамаске и Тегеране, если Украина попадет под полное влияние Запада, то сплошная зона «управляемого хаоса» грозит распространиться от Туниса и Ливии до Киргизии и Кашмира, что создаст уже прямую угрозу безопасности России.

В этой связи приобретает всё большее значение то обстоятельство, что по всем прогнозам грядет мировой сырьевой кризис. Это резко повысит значение контроля над ресурсами. В условиях общего кризиса наиболее обеспеченной ресурсами зоной (по крайней мере, на ближайшее столетие) будет главным образом Россия. Многие недруги России, в частности Збигнев Бжезинский, Мадлен Олбрайт и иже с ними, неоднократно подчеркивали, что обладание Россией такими ресурсами явно несправедливо. По мнению той же Олбрайт, российскими запасами должна распоряжаться не одна страна, а всё человечество, разумеется, под присмотром США... И это не просто личное ее мнение — это отголосок происходящих перемен в мире (как в политическом, так и в физическом). Всё более очевидным становится тот факт, что минеральные ресурсы планеты не безграничны: они быстро истощаются одновременно с прогрессивным развитием промышленности и ростом населения планеты. Прежде всего, это касается воды и энергоресурсов: уже сейчас многие регионы мира ощущают острую в них нехватку, и это только начало... Россия, обладающая значительными запасами того

и другого, в этих условиях не может не становиться объектом возрастающих геополитических притязаний и в первую очередь со стороны тех государств, которые испытывают в них дефицит. Кстати, непосредственный сосед России Китай — страна богатая населением и бедная природными ресурсами.

* * *

К проблеме российского национального (или государственного) интереса непосредственно примыкает и проблема отношений России и Европы. Она впитывает в себя весь комплекс поставленных выше политических вопросов и, прежде всего, вопрос о национальных интересах страны в постоянно меняющихся геополитических условиях.

Тема эта вот уже несколько столетий будоражит умы по обе стороны зыбкой, меняющейся из века в век, то наползающей на Восток, то снова отползающей на Запад границы между двумя этими связанными нерасторжимыми узами и попеременно то сотрудничающими, то противоборствующими частями огромного евразийского материка. Немало сломано копий и перьев, исписано чернил и бумаги, затрачено ума и чувств, пролито, наконец, крови, чтобы доказать как неразделимость их судьбы, так и их несоединимость. И в наши дни, будто позади и вовсе не было словесных споров и сражений на полях битв, снова встает та же давняя проблема: *Россия и Европа*.

На всевозможных симпозиумах и конференциях нередко вполне серьезно обсуждается вопрос о присоединении России к Европейскому союзу. Была даже выдвинута и подхвачена маниловская идея «общеевропейского дома», призванная будто бы объединить все европейские народы, включая и Россию, в единое сообщество и т.д. Весь этот интеллектуальный бред свидетельствует, к сожалению, что Россия, выйдя из советского периода, вступила не в фазу подъема, а в фазу «обскурации», в фазу национального и государственного упадка, деградации с непредсказуемым будущим.

Ставя вопрос о взаимоотношении России и Европы, мы обычно применяем понятие «Европа» в самом широком, а потому и неопределенном смысле, как нечто само собой разумеющееся и не требующее пояснения. Под Европой подразумевается пространство суши от Атлантики до Урала — с запада на восток и от северных морей до Средиземноморья, Черного и Каспийского морей — с севера на юг. Этот географический аспект понятия «Европа» нашел свое

концентрированное выражение в деголлевском афоризме: «Европа — от Атлантики до Урала».

В этой связи нельзя не заметить, что ни одна из других частей света не имеет столь произвольно очерченных границ, как Европа. Границы эти совершенно условны и не содержат в себе того, что зримо отличало бы ее, скажем, от пространства, расположенного за Уральским хребтом, которое формально относится уже к Азии. Но даже и в этом условном географическом смысле Россия не принадлежит к Европе: бóльшая ее часть находится все же в азиатском регионе.

Однако, когда речь заходит о принадлежности (или непринадлежности) России к Европе, география не имеет значения. Здесь понятие «Европа» приобретает совершенно иной смысл, а именно смысл геополитический, социально-экономический, культурно-исторический, или, иными словами, цивилизационный. В этом аспекте Европа понимается как средоточие и олицетворение Западно-европейской цивилизации в целом. Вот почему вопрос о принадлежности России к Европе сводится к вопросу о ее принадлежности (или непринадлежности) к Западно-европейской цивилизации. Ответив на этот вопрос, мы тем самым ответим и на вопрос о том, может ли Россия «присоединиться» к Европе или нет.

Проблема взаимоотношения России и Европы особенно остро заявила о себе с Петровских времен, с момента втягивания России в европейскую систему межгосударственных отношений с ее системой баланса сил. Вместе с этим обострилась старая, возникшая еще в X–XI веках болезнь «европеизма», «западничества», которой с той далекой поры и по сей день не перестает маяться значительная часть нашего образованного общества. Болезнь эта питалась и продолжает питаться отчасти самой российской действительностью, отчасти непрекращающимися, начиная с X века, попытками католического Запада навязать России (в том числе и силой) свою веру. К тому же она всегда подпитывалась впечатлениями от зарубежных поездок, поверхностными восторгами перед «чудесами» европейской цивилизации при полном неумении связать почерпнутые на стороне идеи с движущими силами российской жизни. Суть и формы этой болезни хорошо описаны К. Леонтьевым.

«Интеллигенция русская, — пишет он, — стала слишком либеральна, т.е. пуста, отрицательна, беспринципна. Сверх того, она мало национальна именно там, где следует быть национальной. Творчества своего у нее нет ни в чем; она только всё учится спокон веку

у всех и никого ничему своему не учит и научить не может, ибо у нее нет своей мысли, своего стиля, своего быта и окраски. Русская интеллигенция так создана, что она чем дальше, тем бесцветнее; чем дальше, тем сходнее с любой европейской интеллигенцией; она без разбора, как огромный и простодушный страус, глотает все камни, стекла побитые, обломки медных замков (лишь бы эти стекла и замки были западной фабрики). Страус не может понять, что стекло режет желудок и что медь, окислившись, отравит его»⁴⁶.

Западническое содержание идеалов русской левой и либеральной интеллигенции не могло, в свою очередь, не вести к негативной оценке российской жизни. Всё, что было связано с государственной мощью России, ее героическим военным прошлым, ее мировыми задачами, зачастую подвергалось не только сомнению, но осуждению и отвержению. При таком отношении объект неприязни незаметно, но закономерно смещался, переходя от России как государства к неприязню самой России и русской нации. По крайней мере такое явление, как пораженческие настроения среди русской леволиберальной интеллигенции, проявившиеся в Русско-японской войне и Первой мировой войне, — явление, трудно даже вообразимое для интеллигенции западноевропейских государств, которую первая всегда держала за образец. Я уже не говорю о восторгах значительной части российской интеллигенции по поводу сознательного, целеустремленного развала Советского Союза — этого прямого преемника Российской империи.

Однако, вопреки всем желаниям и стремлениям европеизировать Россию, растворить ее в Западном мире, лишить самобытности, вся история страны свидетельствует о том, что она не может «присоединиться» к Западноевропейской цивилизации, прежде всего, вследствие того очевидного факта, что принадлежит к совершенно другому типу цивилизации, к другому религиозно-культурному типу. Благодаря данному обстоятельству Россия уже давно является полноправным членом мирового сообщества наций, и ей незачем попусту суетиться по этому поводу. Выше на сей счет уже было сказано немало слов, но все же повторю еще раз, что у России своя судьба, обусловленная всем ходом ее становления как исторической индивидуальности.

Индивидуальность же всякого государства, не исключая и России, выражается во многих вещах и прежде всего в особенностях государственного устройства, в учреждениях и традициях. В них именно воплощен дух народа, его история, его самобытность. Попытки

приобщить и даже втянуть ее (временами насильно) в западную цивилизацию предпринимались в истории неоднократно. Как замечает в этой связи Л. Гумилев, вся история русско-европейских контактов за 1000 лет сводится к агрессивному проникновению западной «цивилизации» в русскую «культуру».

«В политическом аспекте это было стремление к территориальным захватам, отбитое русскими, а в идеологическом — распространение идей, воззрений, оценок, вкусов, короче говоря, ментальности. Отражение его проходило не всегда удачно, ибо наступление Запада шло неуклонно, планомерно и бескомпромиссно»⁴⁷.

Изнутри же они выражались в постоянном стремлении определенных кругов безоглядно заимствовать плоды западной цивилизации. Все это, однако, сводилось к чисто внешним приобретениям, обманчивым поверхностным переменам, бесполезной роскоши верхов и общему падению нравов. Заимствуя готовые плоды западной цивилизации, западной демократии, забывали всякий раз, что эти плоды выращены на западноевропейской почве, качественно отличающейся от российской. Вот почему вместо ожидаемой пользы те чаще приносили вред и, не способствуя укреплению российского общественного и государственного организма, вели лишь к его расшатыванию, к бесплодным иллюзиям, развращению нравов, пока инстинкт самосохранения не вынуждал вновь обратиться к родным истокам.

Петровская попытка европеизации России, пройдя после его смерти через полосу безвременья, через вакханалию временщиков, растаскивавших Россию, завершилась через 50 лет пугачевским бунтом — этим российским *ressentiment*, или, если хотите, озлобленным восстанием масс, воочию показавшим глубину пропасти между европеизированными верхами и народными низами. Запоздалые реформы Александра II, несшие в себе к тому же большой «европейский» заряд и первой жертвой которых пал он сам, вылились в десятилетия революционного брожения с их левым и правым террором, социальной нестабильностью, нарастающим озлоблением обделенного народа и завершились через те же 50 лет грандиозной революцией, которая смела и готовившую ее «европеизированную» интеллигенцию, и ненавидимое ею самодержавие, и православие и всё прочее.

Предпринимаемая уже в наши дни попытка теснее привязать Россию к Европе имеет, однако, свои особенности, принципиально

отличающие ее от прежних. Никогда раньше западничество не выступало в такой откровенно агрессивной форме, в таком отвержении всего российского, самобытного. Петровские и иные реформы XVIII и XIX веков тоже проходили не без влияния Европы, но все-таки за ними совершенно четко стояли Российские государственные интересы, понимание необходимости укрепления государства, державы, чтобы хотя бы в военном отношении она могла стоять на уровне передовых западноевропейских стран и была бы способна защищать свои интересы.

Горбачевско-ельцинские реформы как по своим замыслам, так и по практической реализации были в основе своей откровенно прозападническими и в этом смысле — антироссийскими, а потому в короткий срок привели к ослаблению государственности во всех ее важнейших аспектах и направлениях. В их основе, хотели того или нет инициаторы этих «реформ», лежали идеи, заложенные еще в пресловутом «плане Даллеса» (план уничтожения Советского Союза изнутри действиями «пятой колонны»).

Похоже, вполне зримо реализуется вековая мечта Запада: отбросить Россию в Азию, свести ее великую роль до роли второстепенной державы, поставить в зависимость от Запада. И если Россия, говоря словами князя А.М. Горчакова, не «сосредоточится», не придет в себя после потрясений последних двух десятилетий, не опомнится, то это неминуемо произойдет.

Утверждение, что Россия не принадлежит к Европе, что ее «вхождение» в Западноевропейскую цивилизацию невозможно, отнюдь не означает, что между той и другой существует непроходимая пропасть, что между ними не должно быть взаимодействия и общения. Один лишь тот факт, что Россию и Западную Европу соединяет многовековая история самых тесных связей и отношений, история, в которой были свои взлеты и падения, не позволяет им абстрагироваться, отдалиться друг от друга, если бы даже они того захотели.

Но в то же время нельзя не видеть и другого: если Россия хочет сохранить свою великую будущность, она должна остаться Россией. Ей незачем ставить перед собой цель стать Европой или присоединиться к ней. Цель эта столь же абсурдна, как если бы она вздумала «присоединиться» к Китаю, Индии или Японии. Россия — не Европа, не Азия и даже не Евразия; она просто Россия. Как таковая она представляет собой историческую индивидуальность ничуть не в меньшей степени, чем, скажем, те же Англия, Германия, Франция, Китай, Япония и т.д., от которых никто не ожидает присоединения к иным цивилизациям.

Тысячелетнее собрание России — собрание, над которым трудились веками многие поколения лучших людей России, — не простая случайность, не чья-то прихоть, не ничтожный исторический факт, с которым можно обращаться как угодно, принижать ради чуждых России ценностей и интересов. Собрание это было исторической *Необходимостью* и потому наполнено глубочайшим смыслом.

Державная Россия — один из краеугольных камней не только в фундаменте нашей общественной жизни, но и всего земного мироздания, без которого оно если и не рухнет, то окажется в «аварийном» состоянии. У государств, как и у отдельных людей, свои индивидуальные судьбы; и никто не может поменяться своей судьбой с другими или взяться за выполнение исторической миссии, предназначенной другому государству. Каждый несет свой «крест», хорош тот или плох, легок или тяжел. И нести его, не пытаясь переложить тяжесть на других или вовсе сбросить его с себя, — это жизненный долг каждого. Что же касается государств, то это их высший нравственный и священный долг. Как сказано в Бхагавад-Гите,

«лучше изведать неудачи, исполняя свой собственный долг, нежели выполнять чужой, ибо следовать по чужому пути опасно».

Если этот совет хорош для всех людей и государств, то для России он, думается, носит характер императива.

Внутренняя и внешняя политика: соотношение

Рост взаимозависимости, усиление интернационализации многих сторон жизни обществ и государств по-новому ставят вопрос о феномене внешней политики, об оценке ее возможностей, ее месте в системе общей взаимосвязи современных процессов. Сегодняшний опыт показывает, насколько труднее становится приводить внешнюю политику государства в соответствии с быстро меняющейся обстановкой в мире, вырабатывать адекватное представление о собственных национальных интересах, их корреляции. Ведь ни одно государство, каким бы могущественным оно ни было, не может действовать на международной арене, принимая в расчет лишь собственные национальные интересы, не сообразуясь с интересами других государств. Но даже то, что оно может делать, обходится ему всё дороже. Любое отдельное государство все меньше

способно изменять международные отношения в желаемом для себя направлении, равно как и предотвращать негативные изменения, действуя лишь по собственному разумению.

Выработка реалистического взгляда на внешнюю политику, ее приоритеты, способность воздействовать на развитие международных отношений и предвидеть возможные последствия односторонних действий во все времена имела большое значение для государства, требуя постоянной корректировки существующих понятий и представлений о сфере внешней политики и международных отношений в целом. Это, по существу, относится ко всем ее основным категориям и понятиям: к пониманию самого феномена внешней политики, ее соотношению с политикой внутренней, к природе и характеру факторов, воздействующих на формирование и осуществление внешней политики; к оценке и выбору средств внешней политики.

Это предвещающее замечание вызвано тем, что в нашей политической науке и практике по сию пору господствующим является мнение, будто внешняя политика играет по отношению к внутренней подчиненную роль, будто она определяется последней, является даже ее продолжением. Такое суждение можно отнести к курьезному заблуждению, превратившемуся в силу ряда обстоятельств в устойчивый стереотип. Не освободившись от него, нельзя правильно решать многие важные для исследования внешней политики вопросы, прежде всего касающиеся различных факторов, воздействующих на ее формирование.

В самом деле, если исходить из формулы, что внешняя политика определяется внутренней, является, так сказать, ее продолжением, то не надо озабочиваться поисками этих факторов — всё становится ясно и без того. Коли известны суть и содержание внутренней политики, то путем простой ее экстраполяции вовне мы получаем содержание внешней политики. Однако с таким умозаключением вряд ли согласятся даже самые рьяные приверженцы приведенной выше формулы.

Проиллюстрируем эту мысль примером. Как известно, в 1960–1970-е годы Советский Союз активно участвовал в гонке ядерных вооружений, добиваясь стратегического паритета с США. Эта гонка, основательно измотавшая ее экономически, диктовалась, если следовать вышеприведенной логике, политикой внутренней, была, так сказать, ее продолжением. Наивность, если не сказать абсурдность, такого вывода очевидна. Тут уж, скорее, всё наоборот: приоритетной являлась политика внешняя. Статус Советского Союза

как сверхдержавы, реальные и мнимые опасности биполярного мира заставляли его, порой перенапрягая свои возможности, поддерживать на должном уровне соответствующие отрасли промышленности и стратегические ракетно-ядерные силы. Это привело к тому, что основное внимание вынужденно уделялось военным сферам производства, армии и вооружениям в ущерб гражданскому производству, в ущерб внутренним социальным, культурным и иным программам развития страны. Мало того, что внешняя политика существовала как бы сама по себе, она при этом часто оказывала неблагоприятное воздействие на политику внутреннюю.

Как бы ко всему этому ни относиться, такого рода вещи суть реальные издержки статуса великой державы в мире. Сам же этот статус есть следствие определенного хода истории и складывающихся обстоятельств, которые никто не в состоянии ни обойти, ни отменить, ни изменить по своей воле.

Утверждение, что внешняя политика есть продолжение внутренней, что она определяется ею, столь же бессмысленно или, вернее, имеет такой же точно смысл, как и обратное утверждение, а именно, что внутренняя политика есть продолжение внешней и определяется ею. По крайней мере, для последнего утверждения имеются не менее, если не более сильные аргументы, чем для утверждения первого. В самом деле, скажем, для XVIII–XIX веков и начала XX века положение о приоритете внешней политики над внутренней было никем не оспариваемым трюизмом⁴⁸. Так, Ранке в одной из своих работ в качестве одной из главных причин Французской революции называет губительную для страны внешнюю политику Людовика XVI⁴⁹. Ту же, в принципе, мысль находим и у В.О. Ключевского в его «Курсе русской истории». Едва ли в истории какой-либо другой страны, замечает он, влияние международного положения государства на его внутренний строй было более могущественно, чем в России⁵⁰.

Выше уже отмечалось, что российская государственность создавалась в течение многих веков в условиях непрерывной и жестокой борьбы с внешними врагами. Вполне естественно, что в таких условиях народные силы в значительной мере тратились на эту борьбу, к ней же приспособлялась и политическая организация общества, его учреждения и порядки в нем. Как отмечает тот же Ключевский,

«Московское государство зарождалось в XIV в. под гнетом внешне-го ига, строилось и расширялось в XV и XVI вв. среди упорной борьбы за свое существование на западе, юге и юго-востоке. Эта внешняя

борьба и сдерживала внутренние вражды. Внутренние, домашние соперники мирились ввиду общих внешних врагов, политические и социальные несогласия умолкали при встрече с национальными и религиозными опасностями» и всё подчинялось «высшему интересу — обороне государства от внешних врагов»⁵¹ (курсив мой. — Э.П.).

И в этом смысле Россия вовсе не исключение — для нее определяющее воздействие внешнеполитических факторов на внутреннюю жизнь было лишь наиболее зримо.

Взгляд на соотношение внутренней и внешней политики стал меняться в XX веке, отчасти в результате возрастающего воздействия факторов внутреннего развития государств на их внешнеполитическое поведение. Особенно выпукло это, кстати, нашло отражение в политической концепции Гитлера. С самого начала своей политической деятельности он подчеркивал тезис о примате внутренней политики и решительно отвергал доктрины буржуазных правителей (Штресемана, Брюнинга и других), утверждавших, что судьба Германии зависит главным образом от ее внешнеполитических связей. В противовес им Гитлер настаивал на том, что внешняя политика определяется внутренним состоянием любого народа, степенью его консолидации и поддержки проводимого государством внешнеполитического курса.

Смена акцентов была отчасти обязана растущему влиянию марксистского учения с его упором на внутренние, социально-экономические, классовые аспекты развития государств. Из них, по существу, дедуцировались все остальные стороны социальной жизни (что касается Советского Союза, то это бесспорно). Немалую роль сыграла и гегелевская методология. Гегель у нас воспринимался подчас буквалистски, механистически, и это, как представляется, нашло свое отражение и в трактовке соотношения внутренней и внешней политики. На эту мысль наводит одно место из «Феноменологии духа», где Гегель пишет:

«Под внутренним приблизительно подразумевается понятие цели, а под внешним — действительность; и их соотношением порождается закон, гласящий, что *внешнее есть выражение внутреннего*»⁵² (курсив мой. — Э.П.).

Вот этот «закон» и был, похоже, взят на вооружение при определении связи между внутренней и внешней политикой. Каковы, од-

нако, ни были причины такого взгляда, остается лишь удивляться тому, как долго держалось (и продолжает держаться) предубеждение, что внешняя политика есть не только выражение, но и *прямое продолжение* политики внутренней.

В своем изложении я не без умысла предпослал определение национального интереса, его внутреннего и внешнего аспектов рассуждениям о соотношении внутренней и внешней политики. Для тех, кто внимательно ознакомился с предшествующим материалом, не составит труда прийти к правильному пониманию сути и роли внутренней и внешней политики и их связи с национальным интересом. Оно, кратко, в том, что внутренняя и внешняя политика суть *два инструмента* в руках государства для реализации, соответственно, внутреннего и внешнего аспектов своего государственного (национального) интереса. В той мере, в какой эти аспекты совпадают (или, наоборот, не совпадают), в той же совпадают (или не совпадают) задачи и цели внутренней и внешней политики.

Как бы то ни было, каждая из них имеет свою специфическую функцию, свой, так сказать, ареал действия, свое содержание, свои цели, свои средства, свой аппарат — и всё это определяется соответствующими потребностями государства и его интересами (внутренними и внешними). Вот почему всякие рассуждения о том, *какая* из них определяет *какую*, *какая* есть продолжение *какой* — не что иное, как схоластика и пустой вздор, достойный внимания разве что на «ученых» диспутах «остроконечников» и «тупоконечников» в стране Лилипутии.

Сказанное можно изложить и другими словами. Политика государства, выраженная в категории его государственного (национального) интереса, *в принципе едина и неделима*. Главная ее функция — обеспечить интегральную целостность, единство, безопасность и благополучие своих граждан и страны в целом. На практике она выражается в многообразной политической деятельности государства, с помощью которой эти интересы формируются, реализуются, защищаются. Двумя наиболее общими видами политической деятельности государства по реализации его национального интереса являются деятельность *внутриполитическая* и *внешнеполитическая*. Они не только не связаны отношениями фиксированной и жестко односторонней соподчиненности, но представляют *две разные функции государства*, два типа его политической деятельности.

Разумеется, они взаимодополняют друг друга в реализации интересов государства внутри и вовне страны, но в то же время остаются по отношению друг к другу относительно независимыми и автономными.

Внешнеполитическая деятельность государства (равно как и его внешнеполитические интересы) в общем и целом определяется тремя следующими группами факторов:

— природой и характером внешней среды, где государство действует и где реализует свою политику. Эта среда — система межгосударственных отношений с ее сложной структурой отношений, закономерностями функционирования и развития;

— экономическими, социальными, политическими и иными потребностями государства и основанными на них интересами и, наконец,

— характером и природой политической власти.

На особенности внутриполитической деятельности государства преимущественное воздействие оказывают такие группы факторов, как:

— природа и характер внутренней среды (сюда относятся социально-классовый состав населения, особенности взаимоотношения между классами и другими социальными группами, расстановка и соотношение политических сил в стране, степень развития демократических институтов общества, характер межнациональных отношений и т.д.);

— потребности внутреннего социально-экономического и политического развития общества и основанные на них интересы;

— характер и сущность политической власти.

При константной для обоих случаев природе государства и власти главным фактором, определяющим различие между внутренней и внешней политикой государства, является *коренное различие сред и условий*, в которых осуществляется та и другая, и вытекающее из него различие задач, целей и средств их реализации.

В самом деле, если бросить даже самый общий взгляд на обе среды (внутреннюю и внешнюю), то очевидно, что они принципиально различны: каждая имеет особую социальную природу, особые, отличные от другой закономерности функционирования и развития. Соответственно, принципиально различно и отношение государства к той и другой. Государство обладает монополией политической власти *исключительно в пределах собственных национальных границ*. Вне их оно не только не обладает таковой, но и является одним из множества в принципе равноправных государств, отношения между которыми складываются не на основе подчинения, а на основе либо сотрудничества, либо противоборства, столкновения различных интересов и поисков компромиссов и т.д. Даже только эти обстоятельства не могут не вносить принципиальных

различий во внутри- и внешнеполитическое поведение государства. Те выражаются в разных по содержанию интересах, целях и задачах, стоящих перед ним внутри и вне его, в различных средствах их обеспечения. Что касается последних, то они наиболее наглядно свидетельствуют о различии внутренней и внешней функции государства. Ни одному даже самому безумному политику не придет в голову для решения внутренних задач и проблем держать огромные армии, оснащенные ракетно-ядерным, химическим и бактериологическим оружием. Однако никого не удивляет, что такое оружие содержится в готовности для обеспечения внешнеполитической функции.

При сравнении внутри- и внешнеполитической деятельности государства важно учитывать и такой момент, вносящий порой некоторую путаницу в оценку той и другой. Дело в том, что внутриполитическая деятельность государства более, так сказать, обнаженно выражает подлинную суть режима политической власти, нежели его деятельность внешнеполитическая. Последней в значительно большей мере приходится примеряться к мировому общественному мнению, к условиям внешней среды, к вопросам военной и экономической безопасности, зависящим во многом не от отдельного государства, а от внешних системных обстоятельств. Над ними же оно не властно. Вот почему государство в зависимости от обстоятельств вынуждено облекать свою внешнеполитическую деятельность в более respectable форму, которая может быть не свойственна ему по его социальной природе.

Сказанное, думается, еще раз подчеркивает бессодержательность и, можно сказать, политическую наивность взгляда на соотношение внутренней и внешней политики, согласно которому последняя является будто бы продолжением первой. Утверждать это — значит не видеть разницы между внутренней и внешней средами жизнедеятельности государства, значит отождествлять то, что неотожествимо в принципе.

Политическая деятельность государства (как внутренняя, так и внешняя) не есть, конечно, нечто сугубо утилитарно-практическое. Всякая социальная деятельность целенаправленна, поэтому она предполагает не только практические действия субъекта, но и относящуюся к ней совокупность политических и идеологических взглядов в форме концепций, доктрин, принципов и т.д., выражающих желаемое содержание и направленность политической деятельности. Этот дуализм был подмечен в свое время Марксом.

«В правительственной власти, — писал он, — мы всегда имеем два момента: действительную деятельность и политическую мотивировку этой деятельности, выступающую в виде другого действительного сознания...»⁵³

Выше при характеристике национального интереса этот момент уже упоминался. В данной связи отметим то немаловажное обстоятельство, что весьма часто политическая мотивировка деятельности принимается или выдается за политику как таковую (внутреннюю или внешнюю). Хотя о государствах (как и о людях) судят не по словам, а по делам, в конкретных обстоятельствах именно мотивировка действий (а не сами действия) выступает порой чуть ли не единственным критерием в оценке политики того или иного государства. Чаще всего такой критерий прилагается к собственной политике, тогда как политика других, особенно недружественных, государств оценивается преимущественно по делам их. Конечно, на уровне мотивировки допустимо любое манипулирование понятием «политика». Скорее всего, именно на этом уровне и родилось курьезное умозаключение, что внешняя политика является продолжением политики внутренней.

* * *

В связи с рассматриваемой проблемой отметим еще один принципиально важный момент. Дело в том, что за всеми рассуждениями о соотношении внутренней и внешней политики на самом деле лежит иное, а именно: проблема взаимодействия и взаимовлияния внутренних и внешних факторов (а не внутренней и внешней политики!), их воздействия на политику государства и на его положение в мире. Однако это — совершенно иная проблема. Именно здесь правомерно говорить о воздействии внутренних факторов развития государства на его внешнее положение (равно как и на его внешнюю политику); как и, наоборот, о воздействии внешних факторов на внутреннее положение государства (равно как и на его внутреннюю политику).

В такой постановке вопроса нет ничего нового: во все времена она привлекала внимание политических мыслителей и во все времена она решалась принципиально одинаково. Обратимся для иллюстрации к одному любопытному документу. Речь идет о книге, появившейся во Франции незадолго до того, как кардинал Ришельё стал первым министром (1624). Ее авторство приписывают отцу

Жозефу — «серому преосвященству», как его называли⁵⁴. Чья бы, однако, рука ни написала книгу, ее содержание во многих отношениях примечательно.

«Лучший совет, который можно дать в государственных делах, — говорится в начале книги, — основывается на специальном знании самого Государства.

Каждый должен знать, что представляет собой Государство и каково его отношение к другим Государствам; как оно управляется, каковы отношения между правителем и подданными и как оно ведет себя по отношению к другим странам. Ибо *существует... необходимая и неизбежная связь между внутренними и внешними делами, как хорошими, так и дурными; и самый малейший беспорядок внутри Государства тут же оказывает свое воздействие на отношение к нему со стороны иностранных держав; в то же время каждый внутренний выигрыш в силе тотчас ведет к устранению ущерба, имевшего место во внешнем положении Государства во время его внутренних потрясений и слабости*. Поскольку все Государства в мире руководствуются только своими собственными интересами, и мотивы их поведения определяются удачами или неудачами соседей, нет сомнений в том, что суверен, если он сам слаб и не имеет уважения со стороны собственных подданных, будет рассматриваться своими соседями и союзниками как фигура менее значимая, чем правитель, пользующийся в своей собственной стране силой и авторитетом»⁵⁵ (курсив мой. — Э.П.).

Как мы видим, речь здесь идет не о том, что внешняя политика есть продолжение внутренней, а о том, что *внутриполитическое положение* того или иного государства так или иначе оказывает воздействие на отношение к нему со стороны других государств, а тем самым и на его внешнюю политику. Это же совсем другое дело.

В целом же, книга эта представляет собой не только замечательный образец политической мысли, но и целую школу в ее развитии. И действительно, мы видим ее продолжение в трудах Бодена и Макиавелли, затем Гегеля, Ранке и других мыслителей.

«Престиж Государства всегда соответствует силе его внутреннего развития», — утверждает Ранке. «Положение Государства в мире, — развивает он ту же мысль в другом месте, — зависит от достигнутой им степени независимости. Оно поэтому обязано организовать все свои внутренние ресурсы в целях самосохранения. Это — высший закон Государства».

И, наконец:

«Мир разделился. Чтобы значить в нем что-то, нужно подняться собственными своими усилиями, нужно достичь подлинной независимости. Ваших прав в мире никто не уступит вам добровольно: за них нужно уметь бороться»⁵⁶.

Можно продолжить перечень суждений на этот счет различных политических мыслителей и деятелей, но, думается, основная мысль ясна и без того: государство, слабое внутри, не может рассчитывать на должное уважение, место и престиж в сообществе других государств, какие бы политические маневры ни предпринимались с этой целью его руководителями. Все они окажутся в этом случае пустыми хлопотами, либо изображением хорошей мины при плохой игре.

И сегодня эта проблема остается столь же актуальной, какой она была при Фукидиде, Макиавелли, Ранке, Гегеле и т.д., поскольку соотношение между степенью устойчивости внутреннего положения государства и его ролью в системе государств нисколько не изменилось, несмотря ни на растущую взаимозависимость, ни на увеличение роли общих интересов в политике государств, ни на что другое. В этом смысле изменилось разве лишь то, что в условиях возросшей взаимозависимости внутренне слабому государству легче и быстрее попасть в зависимость от других более сильных государств, нежели это могло бы произойти в прежние времена с меньшей степенью взаимозависимости.

Примечания

¹ См., например: *Hoffman S.* (ed.). *Contemporary Theory in International Relations*. N.Y., 1960. P. 32–33.

² *Morgenthau Hans J.* *Politics Among Nations*. 4-th edn. N.Y., 1967. P. 5.

³ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1973. Т. 5. С. 110–111, 113, 115.

⁴ Цит. по: *Morgenthau H.* *Politics Among Nations*. P. 8.

⁵ См.: *Спиноза Б.* Политический трактат // Спиноза Б. Избр. произв. В 2 т. М., 1957. Т. 2. С. 290.

⁶ См.: *Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 171.

⁷ *Ranke L. von.* *The Theory and Practice of History*. N.Y., 1983. P. 126.

⁸ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 2. С. 355.

- ⁹ *Монтескьё Ш.* О духе законов // Монтескьё Ш. Избр. произв. М., 1955. С. 86.
- ¹⁰ *Спиноза Б.* Политический трактат. Т. 2. С. 311–312.
- ¹¹ Цит. по: *Meinecke F.* Machiavellism. Lnd., 1984. P. 60.
- ¹² *Чибирьев С.А.* Великий русский реформатор. Жизнь, деятельность, политические взгляды М.М. Сперанского. М. 1989. С. 37–38.
- ¹³ См.: там же. С. 47.
- ¹⁴ См.: *Аристотель.* Политика. Кн. четвертая, I (2) // Аристотель. Соч. В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 487.
- ¹⁵ *Аристотель.* Политика. Кн. вторая, V(14). С. 427.
- ¹⁶ См.: *Макиавелли Н.* Рассуждение на первую декаду Тита Ливия // Макиавелли Н. Избр. соч. Гл. XVIII.
- ¹⁷ *Руссо Ж.-Ж.* Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 33.
- ¹⁸ *Аристотель.* Политика. Кн. четвертая, I(5). С. 488.
- ¹⁹ *Макьявелли Н.* История Флоренции. М., 1987. С. 268.
- ²⁰ См.: *Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре. С. 170, 171.
- ²¹ *Макьявелли Н.* История Флоренции. С. 269.
- ²² Там же. С. 107–109.
- ²³ *Токвиль А. де.* Демократия в Америке. М., 1992. С. 199, 203.
- ²⁴ См.: *Монтескьё Ш.* О духе законов. С. 230.
- ²⁵ Цит. по: *Плеханов Г.В.* К вопросу о роли личности в истории // Плеханов Г.В. Избр. филос. произв. В 5 т. М., 1956. Т. 2. С. 312.
- ²⁶ См.: Вопросы философии. 1990. № 8. С. 120.
- ²⁷ *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 60.
- ²⁸ *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. М., 1990. С. 195–196.
- ²⁹ *Тихомиров Л.А.* Монархическая государственность. СПб., 1992. С. 111–112.
- ³⁰ *Вебер М.* Предварительные замечания // Вебер М. Избр. произв. М., 1990. С. 47–48.
- ³¹ См.: Вопросы философии. 1990. № 8. С. 127.
- ³² *Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избр. произв. С. 76–77.
- ³³ См.: *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. С. 478.
- ³⁴ *Osgood Robert E.* Ideals and Self-Interest in America's Foreign Policy. Chicago, 1953. P. 5.
- ³⁵ *Schlesinger A. (Jr.)*. National Interest and Moral Absolutes // Ethics and World Politics: Four Perspectives / Ed. by Ernest W. Lefever. Baltimore and London, 1972. P. 29.
- ³⁶ См.: *Hoffman S.* Janus and Minerva. Essays in the Theory and Practice of International Politics. Westview Press, 1987. P. 8.
- ³⁷ *Hoffman S.* (ed.). Contemporary Theory in International Relations. P. 33.
- ³⁸ См.: *Morgenthau H.J.* The Impasse of American Foreign Policy. Chicago, 1962. P. 173, 191; *idem.* Dilemmas of Politics. Chicago, 1958. P. 66, 274; *idem.* In Defence of the National Interest. Chicago, 1950. P. 50, 51.
- ³⁹ См.: *Morgenthau H.J.* Dilemmas of Politics. P. 50, 51, 65, 66, 178.
- ⁴⁰ *Dougherty J., Pfaltzgraff R.* Contending Theories of International Relations. Philadelphia-New York-Toronto, 197. P. 31.
- ⁴¹ *Morgenthau H.J.* Another «Great Debate»: The National Interest of the United State // *Hoffmann St.* (ed.). Contemporary Theory in International Relations. P. 78.
- ⁴² *Макнамара П.* Путем ошибок — к катастрофе. М., 1988. С. 51.

⁴³ У Руссо в этой связи находим: «...Согласие всех интересов возникает вследствие противоположности их интересу каждого. Не будь различны интересы, едва ли можно было бы понять, что такое интерес общий, который тогда не встречал бы никакого противодействия; всё шло бы само собой и политика не была бы более искусством» (*Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре. С. 170).

⁴⁴ *Достоевский Ф.М.* Об искусстве. М., 1973. С. 268–269.

Достоевский не избежал здесь точки зрения, господствовавшей в русской исторической науке XIX века, будто Русь прикрывала Европу от нашествия «степных варваров». Такой задачи она никогда не ставила перед собой, да и не могла ставить ввиду постоянной враждебности католического Запада к православной России. Гумилев пишет по этому поводу: «Зачем было русским людям XIII–XIV вв., ради каких общих интересов защищать немецких феодалов, ганзейских бюргеров, итальянских прелатов и французских рыцарей, которые неуклонно наступали на Русь, либо истребляя, либо закабалия “схизматиков греческого обряда”, которых они не считали за подлинных христиан? Поистине, теория спасения Русью Европы была непонятным ослеплением, к сожалению не изжитым до сих пор» (*Гумилев Л.Н.* Древняя Русь и Великая степь. М., 1992. С. 603).

⁴⁵ См.: *Солоневич И.* Народная монархия. М., 1991. С.126.

⁴⁶ *Леонтьев К.* Избранные статьи. М., 1992. С.168.

⁴⁷ *Гумилев Л.Н.* Древняя Русь и Великая степь. С. 357.

⁴⁸ См., например: *Meinecke F.* Machiavelism. P. 170.

⁴⁹ См.: *Ranke L. von.* The Theory and Practice of History. P. 91.

⁵⁰ См.: *Ключевский В.О.* Курс русской истории // Ключевский В.О. Соч. В 9 т. М., 1988. Т. III. С. 12–13.

⁵¹ Там же. Т. II. С. 372.

⁵² *Гегель.* Феноменология духа // Гегель. Соч. Т. IV. М., 1959. С. 142.

⁵³ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. I. С. 359

⁵⁴ Полное название книги: «Discours des Princes et Etats de la Chrestiente plus considerable a la France, selon leurs diverses qualitez et conditions».

⁵⁵ Цит. по: *Meinecke F.* Machiavelism. P. 155–156.

⁵⁶ *Ranke L. von.* The Theory and Practice of History. P. 100, 117–118.

Глава VIII

ПОЛИТИКА И ВОЙНА

О причинах войны

Война сопровождает человечество всю его историю. Однако ни в одном столетии не было столько войн, сколько их произошло в XX веке, — и по количеству, и по масштабности, и по жестокости. И ни в одном другом столетии не было написано столько книг и статей, не было сказано столько слов, осуждающих войну и призывающих покончить с ней раз и навсегда.

Нет слов: мир, конечно, большая ценность. Но наивысшая ли? Если наивысшая, то почему люди, народы, государства всю свою долгую историю вели войны, странным образом пренебрегая этой ценностью? Было бы наивно и глубоко ошибочно полагать, что велись они лишь ради корыстных интересов, ради захватов, аннексий, экономических выгод или иных материальных и низменных побуждений. Нельзя, разумеется, отрицать роль таких побуждений, но неверно и сводить всё к ним. В человеческом словаре есть и такие понятия, как честь, достоинство, независимость, свобода... В их защиту люди выступали во все времена, жертвуя собственными жизнями, вели долгие и кровопролитные войны, руководствуясь при этом самыми высокими помыслами и побуждениями.

Тут далеко не всё так просто, как представляется плоским пацифистам, поверхностным наблюдателям или обремененным мелкими житейскими проблемами обывателям, кредо которых сводится к формуле: *«Всё, что угодно, лишь бы не война»*. А ведь война, как правило, поднимает дух народа и его сознание собственного достоинства. Война равняет людей всех социальных слоев в самом высшем проявлении человеческого достоинства — в жертве жизнью за общее дело, за отечество... Но это уже особая тема, и оставим ее публицистам.

Что касается причин войны, то тут разве что ленивый не способен отличиться: их выявлено столько по количеству и разнообразию, что

хватит еще на несколько столетий вперед для ученых диссертаций и трактатов. В одном труде читаем:

«Чтобы объяснить, каким образом можно обеспечить мир, требуется понять *причины войны*»¹.

Поиски причин войны ведутся уже многие столетия. Особенно энергично они стали вестись, начиная с эпохи Просвещения, породившей веру в то, что человеческий разум, проникнув в сущность вещей, способен переделать мир. Отсюда родилось наивное представление, что, познав причины войны, можно покончить и с самой войной как явлением. Кабы это и в самом деле было так, с ней покончили бы уже давно...

Причины войн комментаторы пытались прежде, пытаются и ныне объяснить то «первородным грехом», то свойственным человеку «агрессивным инстинктом», то комплексом различных противоречий между государствами. Некоторые исходят из положения, что война есть один из моментов в развитии мировой политики, которая представляет собой силовую борьбу за власть и преобладание. В этой борьбе вооруженное насилие рассматривается как *ultima ratio**. Другие видят подлинную проблему не в том, *почему*, по каким причинам люди воюют вообще, а в том, *какие* жизненные обстоятельства понуждают государства и народы прибегать к силе при разрешении существующих между ними противоречий. Однако и такая постановка проблемы — лишь иная версия всё того же стремления объяснить войну некой совокупностью сталкивающихся материальных и духовных причин.

Одним из немногих усомнившихся в плодотворности причинного подхода к объяснению войны был Лев Толстой. В этом смысле его роман «Война и мир» можно назвать одним сплошным сомнением. Пытаясь найти объяснение войне 1812 года и тому, что ей предшествовало, Толстой в эпилоге романа как бы еще раз прокручивает цепь событий, приведших французские войска в Москву, а затем русские — в Париж. Он хочет понять, что, собственно, побудило многие народы к этому немислимому по масштабам и сопряженному с невероятными трудностями и жертвами походу на Восток.

«Что такое всё это значит? — задается вопросом Толстой. — Отчего произошло это? Что заставляло всех этих людей сжигать дома

* Последний, решающий довод (*лат.*).

и убивать себе подобных? Какие были причины этих событий? Какая сила заставила людей поступать таким образом? — Вот невольные, простодушные и самые законные вопросы, которые предлагает себе человек, натываясь на памятники и предания прошедшего периода движения»².

Такие же «простодушные и самые законные вопросы» каждый вправе задать относительно любой войны, включая и две мировые войны XX века. Толстой, отмечая неспособность исторической науки ответить на эти вопросы, с иронией рисует «логическую» цепь аргументов, к которой та обычно прибегает для объяснения причин войны. «Цепь» эта сводится, как правило, к чертам характера стоящих у кормила власти личностей, к их намерениям и желаниям, неверным оценкам происходящих событий и принимаемым ими решениям, к существующим между ними противоречиям и т.п.

Неспособность, да и невозможность с помощью этих причин объяснить ту или иную войну усугубляется разноречивыми суждениями историков, трактующих события со своих личных или национальных точек зрения. Тут уж ценностный подход проявляет себя в полную силу, и нет на всей Земле критерия, чтобы как-то соединить царящую в этом вопросе разногласию в более или менее стройный хор.

С той поры, как Толстой написал свой роман, в этом смысле практически ничего не изменилось: по-прежнему историки ищут причины возникновения войн главным образом в действиях отдельных людей, прежде всего, конечно, политиков и государственных деятелей. Если речь идет, скажем, о Первой мировой войне, тут непременно всплывают имена Пуанкаре, Грея, Вильгельма II, Франца Иосифа или эрцгерцога Франца-Фердинанда, Николая II и т.д., чьи ответственными или, наоборот, безответственными действиями была подготовлена война. Если мы пытаемся выяснить причины Второй мировой войны, то здесь к нашим услугам Гитлер, Муссолини, Чемберлен, Даладьё, Сталин, Бенеш, каждый из которых внес свой вклад в подготовку войны.

Современный образованный историк уже не следует устаревшему подходу, в соответствии с которым история творится «героями». Он знает, что существуют иные ее движители, а потому на место причин, прежде ограниченных главным образом действиями выдающихся личностей, на сцену выходят уже причины «объективные». На более высоком уровне обобщения в качестве причин войны называются уже разного рода *противоречия* между государствами. Накануне Первой мировой войны ими были англо-германские, франко-

германские, англо-французские, русско-австрийские, русско-германские и т.д. Именно они, по мнению многих историков и социологов, были повинны в развязывании войны. Если идти еще выше, то мы вступаем в область таких понятий, как капитализм, империализм — этих безликих монстров и демонов, вызывающих войны между народами. Еще выше — международные отношения в целом, как бы самопроизвольно порождающие войны и конфликты. Известный французский политолог Раймон Арон так и писал:

«Сама сфера международных отношений несет в себе войну, как туча несет грозу»³.

Против такого рода соображений в природе не существует контраргументов: они неоспоримы и величественны, как гранитный монумент.

Хотя с помощью этих двусмысленных понятий достаточно удобно строить разного рода теории, объясняющие причины войн, тем не менее, ни одна из них не способна объяснить, почему произошла, скажем, Первая или Вторая мировые войны. Можно охотно соглашаться с тем, что были такие-то и такие противоречия, был империализм, были действия таких-то и таких людей, одни из которых желали мира, другие — войны... Но нам в то же время хорошо известно, что противоречия существовали и до и после войны, что империализм как был, так и остался, что во все времена одни люди желали мира, другие — войны. Единственно, чего мы не знаем, это — почему в 1914 года началась Первая мировая война, а в 1939 году — Вторая; почему в 1812 году Наполеон двинул свои войска на Россию, с которой он менее всего намеревался воевать.

Еще раз в этой связи обратимся к рассуждениям Толстого.

«Наполеон приказал собрать войска и идти на войну, — замечает он. — Представление это до такой степени нам привычно, до такой степени мы сжились с этим взглядом, что вопрос о том, почему шестьсот тысяч человек идут на войну, когда Наполеон сказал такие-то слова, кажется нам бессмысленным. Он имел власть, и потому было исполнено то, что он велел»⁴.

Но ответ этот может быть признан удовлетворительным только при условии, если мы верим в божественное происхождение власти. Если же мы не верим, то не можем принять простое распоряжения стоящих у власти людей за главную причину событий. История

сплошь и рядом дает нам примеры того, как выражения воли исторических лиц не производили никакого действия, как приказания их часто не только не исполнялись, но нередко происходило нечто обратное тому, что они приказывали. К тому же, ни одно приказание не появляется самопроизвольно и не включает в себя последовательного ряда событий — каждое приказание вытекает из другого и всегда относится только к одному моменту события. Поэтому, когда говорят, что Наполеон отдал распоряжение начать войну против России, вольно или невольно в одной этой фразе соединяется ряд последовательных приказаний, зависевших друг от друга. Вот почему, считает Толстой, Наполеон не мог приказать наступления на Россию и никогда не приказывал того. Вместо этого были тысячи приказов и распоряжений по различным ведомствам, армии, флоту, дипломатические депеши и т.д., из которых составилась ряд приказаний, соответствующих ряду событий, приведших в итоге французские войска в Россию.

В самом деле, если следовать рациональной логике, то Наполеону следовало бы начать войну против Англии, его злейшего врага, на подготовку которой он потратил огромные усилия и время. Но за всё время своего правления он ни разу не пытается исполнить своего намерения, а совершает поход на Россию, и это при том, что, по собственным же его словам и убеждению, считал выгодным быть с ней в союзе.

Происходит же всё это, по мнению Толстого, оттого, что первые приказания не соответствовали, а вторые соответствовали ходу событий. Иными словами, события ведут человека, а не человек управляет событиями, даже если тот облечен высшей властью. *«Человек предполагает, а бог располагает»* — вот, собственно, вся премудрость, премудрость не только житейская, но, как показывает весь человеческий опыт, и политическая.

В самом деле, отдавая приказание или изъявляя то или иное желание, может ли человек быть уверен в их осуществимости? Такой уверенности нет и не может быть даже в простых житейских делах, когда на пути желаний оказываются десятки препятствий, о существовании коих человек даже не подозревает. Что же тогда говорить о таком предприятии, как военный поход Наполеона на Россию, в котором принимали участие многие государства, миллионы людей, сотни различных служб, не считая всех сопутствующих обстоятельств? Возможно ли всё это поднять, двинуть, направить приказом одного человека, то есть определенным сочетанием простых слов? Для Толстого это невозможно.

«Исторические лица и их приказания находятся в зависимости от событий», считает он, а потому «к явлению, которое мы рассматриваем, понятие причины неприменимо». «Почему происходит война или революция? — Мы не знаем; мы знаем только, что для совершения того или другого действия люди складываются в известное соединение и участвуют все; и мы говорим, что такова природа людей, что это закон»⁵.

Отвергая причинное объяснение исторических событий, в том числе войны, Толстой на его место ставит законы соотношения свободы и необходимости.

«Всё, что мы знаем о жизни людей, — резюмирует он, — есть только известное отношение свободы к необходимости»⁶.

Уловить и определить эти законы и составляет, по его мнению, задачу истории. И мы видим, как во всех рассуждениях Толстого о войне то прямо, то скрыто проходит идея *Судьбы*, предопределяющей неведомым для нас образом наши действия.

В самом деле, если свобода даже обычного человека ограничена массой обстоятельств, то свобода действий государственного деятеля зажата в рамки, граничащие с полной несвободой. Тот факт, что Наполеон не напал на Англию, как он того желал первоначально, а оказался со своей армией на безбрежных российских просторах, и было как раз той необходимостью, которая «тащила» его вопреки собственным его намерениям и предпочтениям. Наполеон на каком-то этапе осознал, надо думать, что Англию завоевать обычными средствами нельзя, ибо Англия — это не просто сравнительно небольшой остров, а огромная империя. Завоевание острова отнюдь не означало бы поражения Англии. Чтобы нанести ей поражение или, как минимум, вывести ее из игры, нужно было разделиться с ее основными континентальными союзниками — Австрией, Пруссией и, конечно, Россией.

Вообще надо заметить, что в сфере политики, а тем более в действиях, связанных с войной, принимающие судьбоносные решения лица еще более или менее свободны в выборе *первого* своего шага; но после того, как тот сделан, они теряют и эту малую свободу и попадают в плен массы обстоятельств, хотя и порожденных этим первым шагом, но над которыми они уже не властны.

Кстати, перед аналогичной проблемой встал и Гитлер. Известно, что он очень внимательно изучал опыт французского императора и,

тем не менее, попал в схожую ситуацию, к которой подвели все предыдущие его действия: захват Чехословакии, аншлюс Австрии, нападение на Польшу. Как и Наполеон, Гитлер не мог осуществить свои дальнейшие экспансионистские планы, находясь в состоянии войны с Англией. Чтобы заставить ее сдаться или заключить мир, у Гитлера не оставалось иного выхода, как только удалить «русскую фигуру» с европейской «шахматной доски». Начало осуществления этой задачи с еще большей необходимостью и вопреки всем намерениям, желаниям и опасениям самого Гитлера привело его к войне с Соединенными Штатами. В этом акте он был еще менее свободен, нежели в решении о нападении на Советский Союз. Так потревоженная им же самим *Необходимость*, или, если хотите, *Судьба*, шаг за шагом, медленно, но верно вела его самого и возглавляемое им государство к неминуемой гибели.

Между прочим, любопытный факт: как Наполеон, так и Гитлер, остро чувствовали предзаданность, predeterminedность своих действий; оба были уверены в том, что их направляет сама Судьба. В начале русского похода Наполеон произнес такие слова:

«Я ощущаю себя гонимым к какой-то цели, мне неведомой. Как только я ее достигну, как только стану больше не нужным, достаточно будет и атома, чтобы раздавить меня. До этого же момента ни одна человеческая сила не способна сделать со мной что-либо»⁷.

Тут нельзя пройти мимо удивительного совпадения взглядов на этот предмет Наполеона и Гёте — двух выдающихся людей той далекой героической эпохи. Гёте в одной из бесед с Эккерманом выразил ту же мысль следующим образом:

«Каждый выдающийся человек призван выполнить известную миссию. Раз он ее выполнил, то в этом виде он на Земле более не нужен, и провидение предназначает его для чего-то другого. Но так как здесь на Земле всё идет своим естественным путем, то демоны подставляют ему одну подножку за другой, пока он, наконец, не погибает. Такова судьба Наполеона и многих других. Моцарт умер на тридцать шестом году своей жизни. Рафаэль почти в том же возрасте. Байрон лишь немногим старше. Но все они до конца выполнили свою миссию...»⁸

К этим именам можно было бы присовокупить и многие другие: Пушкина, Лермонтова, Ленина... И надо заметить, всем перечислен-

ным лицам «демоны» не замедлили подставить свои подножки, как только их предназначение было признано кем-то «свыше» выполненным.

* * *

Но вернемся к причинному анализу войны. Наиболее часто встречающийся его вид — это факторный анализ. Берется несколько групп факторов — социальных, экономических, политических, психологических и т.д. — и каждый из них рассматривается отдельно как одна из причин войны. Прибегающие к нему исследователи путем тщательного подбора и описания различных обстоятельств объясняют, что вследствие таких-то и таких факторов (они же являются и причинами) возникают войны. Типичным примером такого подхода можно назвать подход известного американского социолога начала XX века Барнеса. Остановимся на нем несколько подробнее как по причине его «типичности», так и потому, что во всех подобного рода факторных классификациях содержится один момент, который проходит мимо внимания их авторов, но в то же время заключает в себе суть дела.

В своей книге «Мировая политика в современной цивилизации» Барнес по полочкам раскладывает и объясняет различные факторные причины войны.

«Любая система международных отношений, порождающая войну, — пишет он, — не могла бы существовать, если бы не было некоторых более глубоких причин, которые делают войну обычным методом решения международных споров. Надежд на прекращение войн *нет и не может* быть, пока мы глубоко не поймем базовые и комплексные силы, побуждающие человечество к применению этого *дикого и архаичного* метода ведения дел между государствами. Войны прекратятся не благодаря малозначимым и спорадическим лечением ее симптомов, а только *благодаря пониманию и непрерывному наступлению на материальные условия и склад мышления, вызывающие в современном обществе войны*»⁹ (курсив мой. — Э.П.).

Собственно, перед нами более пространное и эмоциональное выражение всё той же мысли о необходимости знания причин войны для того, чтобы покончить с этим «диким и архаичным» методом ведения дел между государствами», который, между прочим, существует с незапамятных времен и отнюдь не устарел.

Согласно же Барнесу, всё очень просто: стоит лишь познать причины войны, как человечество будет навсегда избавлено от нее. Последуем же и мы за ним в надежде получить ответ на вопрос, как положить конец войнам.

Барнес выделяет причины биологические, психологические, социальные, экономические и политические. Наиболее важную, биологическую, причину войны он связывает с известной мальтузианской концепцией опережающего роста населения по сравнению с производством продуктов. Хотя нет оснований утверждать с уверенностью, что именно рост населения был непосредственной причиной Первой мировой войны, Барнес не сомневается, что данный фактор внес в ее развязывание свой вклад.

Другой важный фактор (на сей раз биологический) он выводит из того, что человек в течение значительной части своего существования на планете приобретал часть жизненных средств главным образом путем войны. Иными словами, он отличался от других животных тем, что был «воюющим животным» («a fighting animal»). Война и физическая борьба, по Барнесу, несомненно играли наиболее важную селективную роль в биологической истории человека, и они оставили свой след как в его инстинктах, так и в особенностях психологических процессов.

Уже в этом пункте мы спотыкаемся о вопрос: является ли война биологическим или социальным феноменом? Тут, похоже, Барнес явно путает войну с простой борьбой одного человека с другим. Всякая схема мира, считает он, которая игнорирует человеческую способность к слепой ярости и иным агрессивным чувствам по отношению к жителям других государств, с большой долей вероятности рухнет, столкнувшись с реальностью, ведущей к войне. Примером тому, считает он, может служить поведение членов Социалистического интернационала в различных европейских странах, которые перед Первой мировой войной клялись в вечном братстве и в международной солидарности рабочих, но затем летом 1914 года объединились под военными знаменами своих отечеств с энтузиазмом, далеко превосходившем в ряде случаев энтузиазм монархистов и капиталистов.

Для социолога масштаба Барнеса непростительно, конечно, объяснять поведение членов Социалистического интернационала «слепой яростью» и прочими биологизмами. Если бы это было так, то такое явление, как национализм, нужно было бы полностью отнести к ведению биологической науки. Но это к слову.

Среди биологических причин войны Барнес упоминает и бытующий взгляд, согласно которому война есть социальный аналог био-

логической борьбы за существование, происходящей в сфере органической эволюции. Доктрину эту порой называют «социал-дарвинизмом», хотя сам Дарвин не имеет к ней прямого отношения. Тем не менее ряд биологов и социологов разделяли точку зрения, что главным фактором в социальном и культурном прогрессе были войны между людьми, начиная со стычек между племенами и кончая мировыми войнами, ведущимися современными обществами.

Сам Барнес не разделяет этого взгляда, считая, что борьба за существование в животном мире редко случается между представителями одного и того же вида. Человек — практически единственное животное, которое нападает на представителей своего собственного вида, и делает он это отнюдь не из-за присущей ему биологической необходимости, но главным образом по причинам социально-экономическим и культурным, заставляющим его смотреть на войну как эффективный и вполне достойный метод решения своих проблем¹⁰.

Среди психологических причин войны Барнес называет причину близкую, по его мнению, к социальному дарвинизму. Это так называемый культ войны, прославляющий службу в армии как наиболее благородную сферу деятельности человека и возносящий военные sloи на положение самой влиятельной социальной и психологической силы. К этому добавляется то, что война вызывает среди людей самые высокие и свободные от эгоизма чувства, героическое чувство преданности своей стране. Великие герои нации или народа — те, кто приносит им наибольшую славу и победу именно во время войны.

Чувство, близкое культу войны, — это патриотизм. Но не тот его вид, который, по Барнесу, выражает благородное чувство преданности своему сообществу или отечеству, а тот, который олицетворяет групповую агрессию и эгоизм. Патриотизм, считает Барнес, стал представлять опасность для всего мира главным образом с того времени, когда научная и промышленная революция подвела под него технологическую базу.

Эти и другие психологические причины войны Барнес рассматривает как чрезвычайно важные, поскольку все остальные факторы — биологические, социальные, экономические и политические — становятся активными и значимыми только вследствие их психологического выражения.

Почти все психологические причины войны, считает он, возникают на практике в прямой связи с национализмом как формой их проявления. Поэтому национализм представляет, по его мнению, самую опасную угрозу международному миру, и *борьба с национализмом (!)* — наиболее обещающий путь для устранения войн. Не иг-

норируя и не преуменьшая экономические факторы войны, Барнес утверждает, что современные экономические процессы порождают войны или создают их угрозу не сами по себе, а во многом потому, что тесно переплетены с национализмом. Из социальных причин войны для него наиболее важной является тенденция различных групп порождать конфликтные интересы и бороться за их реализацию с помощью силы¹¹.

К наиболее могучим источникам войны Барнес, подобно многим другим социологам, относит причины экономические. Промышленная революция вызвала мощный рост производства товаров. Прежние местные рынки оказались уже недостаточными для постоянного возрастающего товарного потока. Возникла естественная необходимость в поисках новых рынков сбыта за рубежом. Это привело к современному экономическому империализму с его борьбой за рынки, сырье и сферы приложения капитала. Самые же опасные из экономических причин войны, по Барнесу, — это те, *которые имеют отношение к деятельности различных фирм, вовлеченных в производство оружия, взрывчатых веществ и других типов вооружений**. Такие организации субсидируют милитаристскую пропаганду, подпитывают патриотические общества и с энтузиазмом поддерживают тех политиков и те периодические издания, которые укрепляют в стране культ войны¹².

Завершая свой обзор экономических причин войны, Барнес приходит к выводу, совпадающему во многом со взглядами сегодняшних теоретиков, строящих свои оптимистические прогнозы на основании роста экономической взаимозависимости.

* Эта мысль Барнеса невольно вызывает в памяти деятельность Альфреда Нобеля — изобретателя, производителя и торговца динамитом и многими видами бездымного пороха. Продукция заводов Нобеля быстро завоевала международный рынок и принесла ему колоссальные доходы. Видимо, чтобы как-то оправдать свою отнюдь не гуманную деятельность, Нобель выступил в роли пацифиста: *«Мои открытия, — заявил он, — скорее прекратят все войны, чем все ваши мирные конгрессы. Когда враждующие стороны обнаружат, что они в один миг могут уничтожить друг друга, люди откажутся от этих ужасов и от ведения войн»*.

Целый век, прошедший со времени смерти Нобеля, подтвердил не правоту его лицемерных слов, а то, что человек скорее откажется от хлеба, чем от динамита и пороха. И Нобель, надо думать, прекрасно это знал. Он завещал почти всё свое состояние фонду, должному ежегодно отчислять определенные суммы на премии для лиц, принесших человечеству *наибольшую пользу*. Прекрасное посмертное размещение капитала, не только оправдывающее его далекую от гуманизма деятельность, но и делающее честь его предпринимательской жилке! Что касается лауреатов его премии, то лично я не припомню ни одного из них, кто бы принес человечеству такую пользу... Разве что Горбачев или президент США Обама?

«Хотя экономические причины войны продолжают существовать, для многих проникательных экономистов давно очевидно, что современное экономическое общество становится всё в большей степени мировым сообществом в очень важном смысле. Современные средства коммуникации и транспорта имеют тенденцию сделать мир как никогда прежде экономически единым, которому присущи взаимозависимость и необходимость в сотрудничестве... Никакая война сегодня не может быть выгодной даже для победителей»¹³.

Если учесть, что этот вывод Барнеса был сделан за 9 лет до начала Второй мировой войны, опрокинувшей все прекраснодушные предположения либеральных экономистов и политиков относительно будущего развития мира, то делается очевидной печальная несостоятельность человеческого ума определить причины войн с помощью банальной калькуляции нескольких лежащих на поверхности причин и явлений.

Наконец, среди наиболее важных политических причин войны Барнес называет современную национальную государственную систему. Начало ей, считает он, было положено Вестфальским договором 1648 года, признавшим государство в качестве единственного субъекта международных отношений и международного права. Как следствие родилась опасная тенденция: стремление малых народов к политической автономии и суверенитету, что, в свою очередь, способствовало образованию большого числа маленьких национальных государств, быстро ставших источниками всевозможных поводов для войны. И они, считает Барнес, не исчезнут до той поры, пока эти государства не будут организованы в рамках какой-либо мировой организации или европейской федерации. Помимо фанатического патриотизма, присущего малым и этнически однородным государствам, главная причина, почему национальное государство является постоянной угрозой миру и мировому порядку, заключается, по Барнесу, в том, что сам национализм неотрывен от идеи полного политического суверенитета.

Подход Барнеса — типичный пример либерального взгляда на проблемы войны; и если я остановился на нем больше, чем он того заслуживает, то по той причине, что в основных своих чертах он не изменился до сегодняшнего дня, несмотря на все происшедшие с той поры драматические события и перемены в мире.

К причинам войны, изложенным Барнесом, можно добавить еще немало не менее «основательных», раскрытых, к примеру, марксистской наукой. Однако, сколько бы мы их ни добавляли и как бы ни

классифицировали, они не продвигают нас к пониманию происхождения войн и возможности их устранения из жизни человека. Оно — за пределами простого причинно-факторного объяснения.

На примере Барнеса лишний раз убеждаешься в правоте Толстого и многих других мыслителей, негативно оценивающих причинное объяснение социальных явлений и, прежде всего, войны. Среди них назовем Шпенглера. Он ставил вопрос так:

«Правомерно ли выставлять какую-либо группу фактов социального, религиозного, физиологического, этического свойства в качестве “причины” какой-либо иной группы?»

Рационалистическая историография, больше того, вся нынешняя социология не знают, по сути, ничего другого. Это и значит для них понимать историю, углублять ее “познание”. Дело тут доходит до комичности: свобода в выборе основополагающих причин имеет следствием то, что один предпочитает в качестве *prima causa* какую-то одну группу, другой — иную (неиссякаемый источник взаимной полемики), и все наполняют свои труды мнимыми объяснениями хода истории “в стиле естественных взаимосвязей”¹⁴.

Сказанное вполне относится и к Барнесу. Скажу больше: то, что он и другие либеральные социологи рассматривают как причины войны, является по большей части следствием каких-то других, более важных явлений, которые они либо не видят, либо не желают видеть.

Для полноты картины задержим ненадолго внимание еще на одной концепции — концепции упоминавшегося выше Уолтца, почитаемого в западной науке как большой авторитет в данной области.

Уолтца отличает от Барнеса главным образом иная группировка всё тех же причин войны. Вместо перечисления и объяснения отдельных факторов-причин, как это делает Барнес, он объединяет их в три группы или «образа» (*images*). Первая группа — это всё, что связано с человеком, с его биолого-психическими особенностями; вторая группа — всё, что относится к государству: его политико-экономической сущности, форме государственного устройства и прочее, и, наконец, третья группа — всё, что касается системы международных отношений.

Такая группировка причин имеет свои несомненные преимущества: она более наглядно, более убедительно, более сфокусированно дает картину причин, вызывающих войны. Вследствие этого тот самый существенный момент выявляется здесь четче.

Замечу, что сам Уолтц занимает по отношению ко всем этим причинам позицию некоего стороннего наблюдателя, своего рода «визитора»: он бесстрастно рассекает, раскладывает на части, делит по группам «трупы» различных концепций и теорий, не присоединяясь ни к одной из них и ограничиваясь по возможности нейтральным, в крайнем случае, остроумным комментарием и малообязывающим обобщением. Такой подход позволяет ему, не задевая никого в особенности, блеснуть эрудицией, привлечь целый каскад блистательных имен из прошлого и настоящего и в то же время дать каждому изучающему международные отношения достаточно полную картину существующих взглядов на причины, вызывающие войны.

У нас же задача иная; поэтому, не вникая во все красочные и богатые оттенками детали книги Уолтца, выделим главное.

1-я группа причин: война как выражение природы человека.

Согласно данному взгляду на международные отношения, важнейшие причины войны содержатся в природе и поведении самого человека. Войны проистекают из эгоизма, из агрессивных импульсов и врожденной глупости человека. Другие же причины по сравнению с данной носят второстепенный характер и должны быть интерпретированы в свете указанных свойств. Если признать в качестве главных именно эти причины войны, то ее устранение может осуществиться только путем психически-нравственного перевоспитания и просвещения человека или благодаря его психически-социальной переориентации¹⁵.

В самом деле, полагать, что человек, воюя, действует как бы вовсе вопреки своей природе, было бы, мягко говоря, не совсем логично. События мировой истории нельзя отделить от людей, которые творят ее. Но значимость человеческой природы как фактора в причинном анализе социальных событий уменьшается тем, что одна и та же природа должна объяснить бесконечное разнообразие социальных деяний: не только дурных, но и хороших; не только злых, но и добрых. Сказать, что войны происходят потому, что люди глупы или дурны, — это гипотеза, принять или отвергнуть которую зависит от личных взглядов исследователя. Ни одно свидетельство не может ни подтвердить, ни опровергнуть такого взгляда или, наоборот, любое свидетельство может одновременно и подтвердить, и отвергнуть его, поскольку то, что мы принимаем за свидетельство, зависит от теории, которой мы придерживаемся. Дюркгейм вполне справедливо считал, что психологический фактор слишком общ, чтобы раскрыть социальные явления. Поскольку он не дает предпочтения одной социальной форме перед другой, он не может объяснить ни одну

из них. Уолтц, в свою очередь, считает, с должным на то основанием, что пытаться объяснить социальные формы на основе психологических факторов — значит совершать известную ошибку психологизма: некритически переносить анализ индивидуального поведения на объяснение групповых феноменов¹⁶.

Всё это так, и к критическому комментарию Уолтца добавим лишь одно: война есть явление социальное, а не индивидуальное — это главное, что делает необидительными любые попытки вывести войны из биолого-психических особенностей человека. На биолого-психическом уровне человек мало чем отличается от животного; они тоже эгоистичны, по-своему агрессивны, трусливы, пугливы, глупы или умны, но они не воюют, они дерутся, нападают друг на друга, даже поедают друг друга. На индивидуальном уровне человеку тоже присуща драчливость, но выводить из этого факта причинное объяснение войны — по меньшей мере наивно. Драка — это иррациональный импульс. Войну же, с известной долей осторожности, условно и сугубо предварительно, можно было бы назвать рационализированным и институционализированным явлением, неотделимым от «группового разума», а тем самым от рационального расчета, планирования, организации сотен и тысяч людей, их вооружения и направления для выполнения единой цели, которая может быть весьма далекой от целей и намерений отдельных индивидов. Такое характерно только для человеческого общества. Что бы там ни говорили гуманисты, в обществе человек не есть цель в себе и для себя, но главным образом — *средство* для достижения иных, групповых, социальных целей.

У Руссо в его «Общественном договоре» есть одно примечательное место.

«Войну, — пишет он, — вызывают не отношения между людьми, а *отношения вещей*... Война — это отношение отнюдь не человека к человеку, но Государства к Государству, когда частные лица становятся врагами совершенно случайно и совсем не как люди и даже не как граждане, но как солдаты...»¹⁷ (курсив мой. — Э.П.).

В солдате положение человека в обществе *в качестве средства* выражено особенно полно и явно, а вместе с ним — и вся суть вещных отношений людей в обществе, когда сам человек становится в известном смысле *вещью*. В этом качестве его индивидуальные психологические черты, его желания, намерения и взгляды не имеют никакого значения и никого не волнуют. Отдельный человек

может быть злым или добрым, агрессивным или миролюбивым, пацифистом или милитаристом, грешником или святым... Но независимо от этого готовят материальную, психологическую и духовную базу войны и участвуют в войне активно или пассивно, по сути дела, все. Если взглянуть на современное общество, то не может не создаться впечатление, что оно только тем и занято, что готовится к войне — готовится материально, психологически, нравственно, будто в этом и состоит весь смысл его существования. И всё это при том, что войны не только никто не хочет, но и с единодушием, редким в отношении других вопросов, все осуждают.

2-я группа причин. Естественно поэтому, что усилия многих исследователей по выявлению причин войны обращаются к обществу и его устройству, то есть к государству и состоянию дел в нем. В качестве основной посылки обычно выдвигается тезис, что неустроенность и неурядицы внутри государств нередко служат и причиной войн между ними. Война в этом случае рассматривается как средство внутренней консолидации общества. Еще Боден считал:

«Лучший способ сохранить государство и гарантировать его от смут, восстаний и гражданских войн — это содействовать добрым отношениям среди подданных путем поиска внешнего врага и направления против него общих чувств»¹⁸.

Многим вполне обоснованным представляется вывод, что благодаря благотворным внутренним реформам в государствах войны могут быть постепенно устранены из жизни человека. Наиболее полно эта идея нашла выражение в учениях Руссо, Канта и Маркса. Но дело в том, что при совпадении точек зрения мыслителей на необходимость реформирования государств, они резко расходятся между собой относительно того, в каком конкретном направлении оно должно идти.

Кант, к примеру, считал, что для обеспечения мира на земле устройство каждого государства должно быть республиканским. Либералы уповали на ту или иную форму демократии, которая, по их мнению, есть, по сути своей, мирная форма государственного устройства. Марксизм исходил из того, что войну порождает капитализм; отсюда путь к устранению войн и миру виделся в уничтожении капитализма и утверждении социализма, которому война, по идее, чужда имманентно.

Однако система войны оказалась сильнее всех теорий и концепций и ни одна из них не подтвердилась на практике: войны вели

между собой и государства республиканские, и демократические, и даже те, которые рассматривались как социалистические. Воевали народы древние, античные, средневековые и современные...

Платон в своем «Государстве» приводит даже такой источник войны, который упускают многие современные исследователи. Источник этот состоит *в росте потребностей людей*, далеко превосходящих нормальные их нужды (Государство. Кн. вторая, 373). Та же мысль, собственно, содержится и в приведенном выше отрывке из сочинения Достоевского, в котором говорится, что цивилизация вырабатывает в человеке лишь *«многосторонность ощущений»* и, соответственно потребностей. Вот они-то и побуждают его к разного рода экспансиям, ни в какие времена не обходившимся без кровопролития. Однако нам известны государства (Спарта, Рим в начальную эпоху своего развития), суровый «спартанский» образ жизни которых вошел в поговорку, и, тем не менее, они вели бесконечные войны. Так что «сократовское» дополнение проблемы не решает.

Что касается группы причин, связанных с системой взаимодействия государств или с международными отношениями, то их основа заключается, по Уолтцу, в следующем:

«В системе, состоящей из многих суверенных государств и при отсутствии *обязывающих норм* права, когда каждое государство оценивает свои претензии и амбиции, исходя из собственного разумения и желания, конфликты, ведущие к войне, неизбежны»¹⁹.

Что же мы получаем в итоге? Те, кто придерживается мнения, что причина войн заложена в природе самого человека, приходят к выводу, что войны неизбежны, пока человек остается тем, кто он есть со всеми его пороками и недостатками. Те, кто видит причину войн в несовершенном устройстве государств (а единой идеи или образа совершенного государства не существует и существовать не может), естественно, полагают, что, пока не изменится природа государства, угроза войн будет постоянно сохраняться.

Что касается *3-й группы*, то и здесь мы видим то же самое: войны неизбежны, пока система состоит из суверенных государств, преследующих свои собственные интересы. Кардинальных же способов изменения природы человека, государства и системы государств никто предложить не может, да и не знает, а то, что в этом смысле предлагается, по большей своей части утопично.

При таком положении вещей, какие бы причины войны ни выдвигались, будь то причины частные или общие, индивидуальные

или социальные, внутренние или внешние, и какими бы основательными они ни были сами по себе, они не приближают нас ни на шаг к решению вопроса о происхождении войны, а тем самым и к возможным путям ее устранения. Прибавление к длинному ряду уже имеющихся причин еще одной или другой не может ничего изменить. Не случайно поэтому Уолтц, не успев даже приступить к анализу проблемы, спешит предупредить читателя:

«Все попытки устранения войны, какими бы благородными мотивами они ни были порождены и как бы старательно они ни проводились в жизнь, принесли в результате не более чем скоротечные моменты мира между государствами. Тут обнаруживается явная диспропорция между усилиями и результатами, между желаемым и действительным»²⁰.

Многие исследователи, в том числе Барнес и Уолтц, перечисляя самые разнообразные причины, начиная от биолого-психологических и кончая экономическими, проходят, однако, мимо еще одной кардинальной причины конфликтов и войн. Эта причина — существование в мире различных, часто несовместимых систем ценностей. Если верно, что мировая история совершается в духовной сфере, то это значит, что она совершается в сфере ценностного отношения к миру. Различие ценностных систем в свою очередь основывается на цивилизационных, а тем самым на религиозно-культурных различиях. Ведь социальные, политические, идеологические, экономические и даже психологические причины войн и конфликтов сами являются производными от ценностно-цивилизационных различий в мире. Человек и государство, которые рассматривает Уолтц, — это не просто абстрактный человек и абстрактное государство, но всегда *Человек* и *Государство* определенной цивилизации и, соответственно, определенной системы ценностей. И если уж тут искать выходы из конфликтов и войн, то проблема не в том, чтобы просто изменить природу человека или государства вообще, а в том, можно ли человека, принадлежащего к конкретной системе ценностей, превратить в человека *вообще*, в человека некоей всеобщей, универсальной системы ценностей. Или, иными словами, превратить живую личность в усредненную единицу, даже если эта единица слеплена по западно-европейским стандартам?

Аналогично: можно ли и государство, как особого рода самобытность и индивидуальность, превратить в государство вообще, в государство без своего лица, а значит, — в не-государство? Когда это

станет возможным (если станет вообще), тогда можно будет сказать, что человечество подошло к эпохе без войн и конфликтов. Но будет ли тогда это «человечество» человечеством?

И чтобы покончить с причинным подходом, отметим еще одно обстоятельство, обычно упускаемое его сторонниками. Дело в том, что все означенные выше причины играют двоякую роль: они порождаются социальным, коллективным бытием человека и в то же время сами формируют это бытие, притом в разных его аспектах — не только в военном, но и в мирном; они ведут не только к конфликтам, но и к сотрудничеству тоже. Иными словами, все группы причин, ведущих к войне, можно одновременно рассматривать и как причины, укрепляющие мир и сотрудничество между народами и государствами. Всё зависит от того, что требуется доказать.

Единственно, с чем нельзя тут согласиться, — это с тем, что перечисленные выше причины однозначно ведут *только* к войне. *Cela depend**, как говорят французы, то есть при одних обстоятельствах ведут, при других — нет.

Совершив, таким образом, путешествие по «царству причин», мы, увы, не обнаружили в нем ничего, что могло бы дать нам искомый ответ на поставленный вначале вопрос. Это побуждает вернуться к тому, к чему подвели нас рассуждения Толстого, а именно: к попытке найти ответ в соотношении свободы и необходимости, или, другими словами, в соотношении случайности и необходимости, поскольку свобода действий человека есть основной источник случайностей как в частной жизни, так и в историческом движении.

Война как случайность и как необходимость

Рассматривая причины войны, я обмолвился, что в них содержится некий существенный момент, являющийся общим для всех причин. Момент этот — объективная «*встроенность*» войны в систему человеческих отношений как таковых, делающих войну неотъемлемой частью человеческих отношений, а потому *в принципе* неизбежной.

В самом деле, перечисленные выше причины фактически целиком охватывают все самые существенные стороны человеческого бытия, от узко личностных до масштабных социальных, и все они так или иначе, с одной или с другой стороны подводят к признанию

* Смотря по обстоятельствам (*фр.*).

того, что война есть *неизбежный спутник человеческой жизни*. Современному цивилизованному человеку мысль эта явно претит, и он всячески избегает заострять на ней свое внимание. Прирученный издавна верить в могущество разума, он и сегодня, несмотря на весь горький опыт прошлого, продолжает полагаться на него как на инструмент устранения войны. И хотя силой того же разума созданы (и продолжают создаваться) чудовищные средства уничтожения, он продолжает уповать на него, теперь, правда, в надежде, что эти средства не будут пущены в ход.

Этим (хотя и не одним лишь этим) современный человек заметно отличается от человека древнего, для которого война была естественной стороной его бытия, даже в большей мере, чем мир. Возьмем ли мы Библию, «Илиаду» или «Одиссею» Гомера, «Бхагавад-Гиту», «Артхашастру» или иные известные памятники истории, везде мы обнаруживаем идею *«встроенности»* войны в человеческие отношения, ее органическую и неразрывную связь с системами ценностей разных народов и цивилизаций, ее естественность, а тем самым и неизбежность. Ни в одном из этих документов нельзя найти озабоченность вопросом о причинах войн, тем более поисков путей их предотвращения. Война — от бога. В Библии сам Господь Бог наставляет Моисея, с кем и как вести войну. В «Бхагавад-Гите» Кришна внушает засомневавшемуся Арджуне, что вступить в бой с неприятелем и одержать над ним победу — его священный долг. В «Илиаде» боги ревниво следят за действиями своих героев и помогают им в осуществлении их ратных подвигов. Добрую половину «Артхашастры» занимают советы и наставления, что нужно делать, чтобы одержать верх над противником и победить в войне. Да и вся человеческая история — это впечатляющая картина следующих одна за одной войн. Боевые колесницы древних египтян и хеттов, греческие боевые триеры, римские когорты и боевые слоны Ганнибала, орды вооруженных луками и стрелами варваров, закованные в латы рыцари Средневековья, полчища наемников, национальные армии, механизированные дивизии XX столетия, наконец, ракеты с ядерными боеголовками — всё это служило и служит одному: войне. И сегодня, несмотря на все заклинания проповедников мира, несмотря на все успехи цивилизации, распространение демократии, несмотря на миротворческую деятельность ООН, война вспыхивает то в одном, то в другом регионе мира, обильно поливая кровью то плодородные земли бывшей Югославии, то пустыни Ирака, то горы Афганистана и Кавказа...

Древний человек был во многих отношениях естественнее и мудрее современного: он больше полагался в своих действиях на здра-

вый смысл и интуицию и рассматривал войну либо как божью кару за грехи свои (в случае поражения в ней), либо как божью милость (в случае победы). Рациональный же человек современной эпохи, растеряв многое из того природного, чем обладали его предшественники, разуверившись и отринув прежних своих богов и сотворив вместо них земные кумиры, очень быстро зашел в тупики рационализма. И здесь на каждом шагу его ожидают неприятные сюрпризы в виде порождаемых разумом губительных вещей, с которыми он не знает, как совладать. В отчаянии человек взывает к собственному разуму как к последнему средству своего спасения; в ответ разум порождает новые чудовища в виде все более изощренных средств его уничтожения. Итак, рациональное объяснение мира также зашло в полный тупик, и это прекрасно увидел и почувствовал своим гением Лев Толстой.

В приведенных выше рассуждениях великого писателя есть много созвучного нашим дням. Мы сталкиваемся, по сути дела, с тем же феноменом, когда рациональные планы реформаторов сталкиваются со скрытыми от их взора глубинными процессами, и в итоге не планы и намерения отдельных лиц определяют события, а события каким-то невероятным и чудовищным образом меняют и искажают вопреки воле людей их планы и влекут их неизвестно в каком направлении, в том числе и навстречу войне. Как ни называть такие вещи: божим ли промыслом, провидением или необходимостью, они существуют и предопределяют неведомым для нас образом пути нашего движения.

И отнюдь не случайно, что для многих исследователей прошлого и настоящего причинное объяснение таких родственных явлений, как война и революция, потеряло свою убедительность. Многие подошли к выводу, что войны и революции возникают и развиваются по своим внутренним законам, не имеющим ничего общего с отвлеченными рациональными схемами и теориями. Эти теории, по словам де Местра (оказавшего, кстати, немалое влияние на мировоззрение Толстого), плавают на поверхности событий, а те, кто их сочиняет, — слепые орудия подспудно действующих законов необходимости²¹. Близки к такой точке зрения взгляды на войну и таких русских философов, как Бердяев и Франк. В качестве эпиграфа к любым рассуждениям о войне вполне можно взять слова Бердяева:

«Совершенно бесплодны рационалистические и моралистические суждения о революции, так же, как и о войне, которая во многом походит на революцию»²².

Внутренне осмыслить войну, считает Бердяев, можно лишь с мистической, а не дуалистической точки зрения, видя в ней символ того, что происходит в духовной действительности. Можно сказать, что *война происходит в небесах*, то есть в иных планах бытия, в глубинах духа; в материальной же сфере проявляются лишь внешние знаки того, что совершается в глубине.

Физическое насилие, завершающееся убийством, не есть что-то само по себе существующее как самостоятельная реальность — оно есть знак духовного насилия, совершившегося в духовной действительности зла. Природа войны как материального насилия чисто рефлексивная, знаковая, симптоматическая, не самостоятельная. Война не есть источник зла, *а лишь рефлекс на зло*, знак существования внутреннего зла и болезни и их внешнее проявление.

«Бывают болезни, — пишет Бердяев, — которые сопровождаются сыпью на лице. Сыпь эта есть лишь знак внутренней болезни. Внешнее устранение сыпи лишь вгоняет болезнь внутрь. От этого болезнь может даже ухудшиться. Нужно самую внутреннюю болезнь лечить. Зло войны есть знак внутренней болезни человечества. Материальные насилия и ужасы войны — лишь «сыпь» на теле человечества, от которой нельзя избавиться внешне и механически. Все мы виновны в той болезни человечества, которая высыпает войной»²³.

Оценивая с этой точки зрения Первую мировую войну, Бердяев отмечает, что война, начавшаяся в конце июля 1914 года, была лишь материальным знаком совершающейся в глубине духовной войны и тяжелого духовного недуга человечества. В этом духовном недуге и духовной войне есть круговая порука всех, и никто не в силах отклонить от себя последствия внутреннего зла, внутреннего убийства, в котором жили народы. *Война не создала зло, она лишь выявила его*²⁴.

Рассуждения Бердяева вполне применимы и к современности, также страдающей *«тяжелым духовным недугом человечества»*, выходом из которого может стать война, симптомы которой налицо. Да ведь, собственно, война скрыто или открыто уже идет на доброй половине земного шара.

К характеристике войны как необходимости можно вполне приложить и рассуждения Франка, касающиеся существа революций. Если иметь в виду рациональную осмысленность или целесообразность войны, считал он, то она не имеет никакого смысла, так как она есть чистое безумие. Но если заглянуть под слой глубоких стихийнотелеологических, как бы сверхчеловеческих, космических сил исто-

рии, внешними проявлениями и орудиями которых служат действия и оценки отдельных участников войны, то можно обнаружить, что эти действия имеют исторический смысл, служа выражением тех сил внутреннего напряжения, накопившихся ядов и социального зла, которые и вырываются наружу, ища себе выхода. Одним из них и является война. В этом смысле война аналогична таким проявлениям сил природы, как землетрясения, которые являют собой бурный выход наружу внутренних тектонических напряжений.

И здесь человек бессилён что-то изменить или предотвратить. В отличие от лишенных разума животных, которые чувствуют опасность прямо, непосредственно и стремятся убежать, покинуть район надвигающегося бедствия, наделенный разумом человек вместо того чтобы, подобно животным, бежать, начинает рефлексировать, создавать всевозможные теории, выдвигать идеи и лозунги, исходя из своего ограниченного социального опыта. Не понимая глубинной основы надвигающейся беды, он сводит свои ощущения в ложные конструкции разума, видя опасность не в объективных силах, а в ближайшем соседе, против которого и направляет ощущаемые им тревогу, страх и разряжает через конфликт или войну внутреннюю социальную напряженность.

Хотя это и крайне трудно, но чрезвычайно важно понять и выявить природу этих онтологических, витальных глубин войны или революции в их отличии от всей внешней пены и накипи, от суетной и болтливой политики, от всех официальных лозунгов, идей, принципов и целей войны, как правило, совершенно не отражающих глубинные причины ни войны, ни революции. Война, начинаемая даже по рациональным, казалось бы, соображениям (включая и то, что называется «преднамеренной агрессией»), имеет иррациональный характер как по своему содержанию, так и по своим результатам. Так называемые «рациональные соображения» — это лишь поверхностное, часто ошибочное выражение внутренних, надличностных процессов и причин. Вот, кстати, почему столь часты случаи полного несоответствия между рациональными замыслами и планами войны и реальными ее результатами. Если даже война рационально замышляется политиками, в любом случае ее цели реализуются большими массами людей, привносящими в нее (как и в революции) невидимые глазу настроения, ожидания, свои отношения и оценки. Сочетаясь с рациональными замыслами, они дают в результате причудливые их комбинации, которые приводят, в конечном счете, к совершенно непредсказуемому ходу развития войны и к таким же ее итогам. Лучшее тому свидетельство — обе мировые войны XX столетия и их последствия.

Война имеет свою органическую, внутреннюю причину, обусловленную болезненным перенапряжением жизненных сил, не находящих себе выхода в нормальном, здоровом развитии. Ее можно, конечно, в каком-то смысле назвать «болезнью», отклонением от нормального развития. Но тогда нужно определить, что следует понимать под нормальным развитием. Если война болезнь, то всякая историческая болезнь идет изнутри, она обусловлена органическими имманентными процессами и силами. Эта болезнь всегда есть вместе с тем болезнь духа и разума, проявление глубокого кризиса общества. Кризис этот обнаруживается в многочисленных и разнообразных признаках. Они хорошо известны и в то же время мало кто способен реально оценить их роль в подготовке войны. Среди них назовем, прежде всего, падение нравственных устоев общества, развал семьи, растущую бездетность, упадок искусства и культуры в целом, бегство из деревни, кризис парламентаризма, рост иррелигиозности и всякого рода суеверий, изменение к худшему отношения людей к государству, к институту брака, к общественным обязанностям...

Вот, кстати, почему лозунги, политические обоснования войны, официально возвещаемые ее цели и принципы практически никогда не совпадают с подлинным существом определяющих ее глубинных сил и по большей части резко с ними расходятся. Поэтому в результате войны, с одной стороны, всегда изобличается призрачность и несостоятельность ее официальных целей и, с другой — историческим результатом войны никогда не бывает чистый ноль или только отрицательная величина. После окончания войны остается не просто материальная и духовная разруха, но и поле, дающее ростки новой жизни, ничуть не похожей на замыслы войны, не похожей и на старую жизнь, сметенную войной²⁵.

О фатальной природе войны как особого явления говорит, кстати, и Стенли Хоффман. Что же касается конкретной войны, то она, по его мнению, начинается, как правило, вследствие ошибок в действиях тех или иных государственных деятелей или политиков²⁶.

Иными словами, можно утверждать, что *война как социальный феномен объективно встроена в жизнь человеческого общества; всякая же данная, конкретная война есть уже порождение цепи конкретных и порой даже случайных обстоятельств.*

Люди, исходя из своих побуждений, интересов, страстей, предпринимают какие-то действия. Но действуют они не в вакууме, а в определенной социальной среде, состоящей из множества других субъектов отношений, также стремящихся достичь своих целей, часто противоположных. Поэтому, как писал Гегель,

«во всемирной истории благодаря действиям людей вообще получается еще и несколько иные результаты, чем те, к которым они стремятся и которых они достигают, чем те результаты, о которых они непосредственно знают и которых желают. Они добиваются удовлетворения своих интересов, но благодаря этому осуществляется еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто содержится в них, но не осознавалось ими и не входило в их намерения»²⁷.

Этим «нечто» нередко бывает и война.

И вот эта капризная и неуловимая игра случая, свободной воли, намерений, предпринимаемых действий, особенно наглядно проявляется в войнах и связанной с ними человеческой деятельности. В истории не столь уж редки случаи, когда та или иная война возникает вопреки воле ее участников, но как неизбежное следствие многих их действий и противодействий, каждое из которых в отдельности не только не имело целью сознательное разжигание войны, но, наоборот, было направлено на ее предотвращение, и тем не менее...

В принципе прав был американский политолог Фредерик Шуман, утверждая, что политика государства, как правило, никогда не ориентирована специально на войну как таковую или на мир как таковой. Она обычно нацелена на достижение определенных целей, при реализации которых может произойти и вооруженный конфликт, если эта реализация вызовет сопротивление со стороны других государств²⁸.

Вот, к примеру, что писал такой знаток военных вопросов, как Ф. Энгельс по поводу Крымской войны:

«Возникновение войны объясняется просчетом со стороны императора Николая. Он никак не ожидал, что Франция и Англия объединятся, чтобы противодействовать его замыслам в отношении Турции; он рассчитывал на небольшую спокойную войну только с султаном... К несчастью, неожиданно и против своей воли Россия и западные державы, сами того не замечая, оказались втянутыми в связи с этим в войну; *пришлось воевать, хотя никто из них этого не хотел*»²⁹ (курсив мой. — Э.П.).

Обращают на себя внимание последние слова: *«пришлось воевать, хотя никто из них этого не хотел»*. Это весьма поучительный и далеко не единственный пример тесной взаимозависимости в межгосударственных отношениях, пример того, как внешнеполитические действия одних государств создают обстоятельства, подчас с роковой

неизбежностью затягивающие взаимосвязанные с ними государства в цепь событий, следствием которых становится война. Это, кстати, пример реальной взаимозависимости, какова она есть, а не какой ее хочется видеть некоторым либеральным идеалистам.

Таким образом, цепь случайностей сама образует в итоге неизбежность — такова одна из сторон диалектики случайного и необходимого.

Ситуация неизбежности войны часто возникает отнюдь не по причине преднамеренных действий государств, сознательно направленных на разжигание войны, а главным образом вследствие внешнеполитических действий государств, направленных на реализацию своих целей и намерений. Благодаря законам взаимозависимости и баланса сил могут создаться такие условия, при которых война становится неизбежной. Действительно, внешние системно-структурные обстоятельства могут складываться для того или иного государства таким образом, что война станет для него единственной альтернативой даже тогда, когда оно будет рассматривать эту войну как крайне нежелательную и пагубную для себя.

Оценивая, к примеру, ситуацию, сложившуюся в Европе в 1807 году, русский исследователь той эпохи Инсаров рисует такую картину:

В то время «никто не желал войны, тем не менее, она была неизбежна... Война фатально проистекала из тогдашних отношений». Каковы же были эти отношения, что не оставляли государствам иного выхода? Инсаров отмечает, что в судьбе поработенных Наполеоном Голландии, Италии, Пруссии и, наконец, Испании Австрия видела ожидавшую ее участь. Ей нужно было принять меры для самозащиты. Одно это уже должно было повести к войне. В свою очередь, поражение Австрии ставило бы под угрозу Россию, что вынуждало ее принять сторону Австрии, не говоря об Англии, для которой наполеоновская Франция представляла прямую угрозу с самого начала. Сам же Наполеон, выдвинутый войнами, мог, по мнению Инсарова, обеспечить свое положение только непрерывными войнами³⁰.

Переплетение различных обстоятельств создавало, таким образом, положение, выход из которого был *только через войну*, что снижала вопрос, желаемая она или нет.

Здесь мы вновь сталкиваемся всё с тем же мотивом *Судьбы*, неотделимым от феномена войны, выраженным лишь другими словами.

Подобная ситуация — не исключение в системе отношений между государствами, и она свидетельствует о тесной взаимозависимости различных системных факторов и внешнеполитической деятельности государств. Известный английский историк Тейлор, анализируя причины Первой мировой войны, придерживался мнения, что «ни одна из держав Тройственного соглашения не хотела общеевропейской войны...», которая, тем не менее, разразилась. Тейлор добавляет, правда, что ошибочно было бы считать, что европейская война была неизбежна.

«Никакая война, — замечает он, — не бывает неизбежной, пока она не разразится»³¹.

Последнее замечание скорее остроумно, нежели глубоко — оно не объясняет главного: почему же, в конце концов, войны начинаются, если того никто не желает. Не станем ставить Тейлору в вину, что он не отвечает на этот вопрос, — тот действительно не прост.

Таким образом, война, с одной стороны, неизбежность, с другой — случайность, возникающая вследствие рокового стечения обстоятельств, непредвидимых последствий принимаемых решений и предпринимаемых действий и т.д. Эту диалектику нужно всегда иметь в виду. Рассматривать войну только как случайность ошибочно, а ведь некоторые политологи так, собственно, и рассматривают ее. Известный американский исследователь международных отношений Рассет, анализируя общие причины, вызывающие войны, на примере Первой мировой войны пытается доказать, что возникновение войн аналогично, по его выражению, «автodorожному происшествию». Возникновение войны, по крайней мере в случае участия нескольких главных держав, считает он, «носит скорее случайный характер, нежели является результатом намеренного заговора агрессора». Тем самым, по его мнению, отвергается идея «виновника войны»³².

В своей аргументации данного тезиса Рассет ссылается на известный труд Сиднея Фея «Происхождение мировой войны». О работе Фея поговорим ниже, пока же продолжим мысль самого Рассета. Развивая ее, тот пишет:

«Как и в случае автodorожного происшествия, ни одна из держав не хотела общего конфликта — ведь водитель не направляет преднамеренно свою машину в дерево... Война, — резюмирует он свое сравнение, — как и в случае автodorожного происшествия, возника-

ет вследствие большого числа упущений и действий, возможные последствия которых нельзя предвидеть в должное время»³³.

Такая точка зрения далеко не единична. В известной книге Барбары Такман «Августовские пушки» автор поставила перед собой задачу проследить последовательную цепь случайностей, которая в итоге вылилась в мировую войну. Она умело и со знанием дела показывает, как народы Европы и их руководители через цепь ошибок, через нелепые, казалось бы, случайности неумолимо двигались навстречу войне. Каждый из предпринимавшихся правительствами шагов, мелких и незначительных самих по себе, вел, по мнению Такман, к возникновению одного из самых ужасных военных конфликтов в мировой истории. Замечу, кстати, что в 1962 году, в разгар Кубинского кризиса президент Кеннеди настоял на том, чтобы каждый член Совета национальной безопасности прочитал эту книгу — факт сам по себе примечательный.

Но вернемся к Рассету. В его внешне плоской аналогии войны и автодорожного происшествия заключена, по сути дела, идея соотношения необходимости и случайности. *Неизбежность* автодорожного происшествия содержится в простом факте существования автодорожного движения и, соответственно, в состоянии дорог, в погодных условиях, в условиях видимости и т.д. Фактор же случайности связан главным образом с поведением водителей, с их умением, благоразумностью и осторожностью или, наоборот, с отсутствием таковых. При всех прочих равных условиях, чем выше умение и чувство ответственности водителей, тем меньше вероятность автодорожного происшествия. Но *никогда и ни при каких обстоятельствах* она не может быть равна нулю, и это важно понимать. Даже при самом высоком мастерстве и чувстве ответственности обстоятельства могут сложиться таким образом, что автодорожное происшествие станет неотвратимым, ибо эти обстоятельства с необходимостью содержатся в самом автодорожном движении.

Но то же, в принципе, можно наблюдать и в отношениях между государствами. Неизбежность войны обусловлена многими сторонами социальной жизни и межгосударственных отношений. Эти стороны достаточно полно выявлены причинно-факторным анализом происхождения войн. В числе прочего тот включает наличие системы суверенных государств с присущими ей силовыми отношениями и балансом сил. Но вот возникновение той или иной конкретной войны зависит во многом от случайности, которая создается внешнеполитическими действиями государств. Необходимость же

и случайность неразрывно связаны и не существуют одна без другой. Случай всегда, в принципе, возникает на почве необходимости: он есть форма ее проявления. За случайностью в общественном развитии всегда скрывается необходимость, которая и определяет ход исторического развития. Случай же придает ему лишь неповторимую конкретно-историческую форму.

«Где на поверхности происходит игра случая, там сама эта случайность оказывается подчиненной внутренним, скрытым законам», — говорил Маркс³⁴.

Можно сказать и так: случай превращается в фактор исторического развития там и тогда, где и когда для этого созданы соответствующие условия, где и когда общественные отношения позволяют ему превратиться в этот фактор.

Такой подход к случайности в историческом процессе, по существу, исключает понятие «слепого случая» в истории. Если еще уместно говорить о роли «слепого случая» в судьбе отдельной личности, то вряд ли уместно делать это применительно к общественным отношениям, отношениям между государствами и особенно применительно к такому явлению, как война, которая во многом есть следствие этих отношений.

Конечно, «слепой случай» может служить и порой в самом деле служит *поводом* к войне, но только тогда, когда благодаря действиям тех или иных государств созданы соответствующие обстоятельства и накоплено столько «горючего материала», что не хватает ничтожного случая, чтобы разгорелся пожар. Так, скажем, «Сараевское убийство» — это и в самом деле «слепой случай», но последовавшие за ним события, втянувшие вопреки желанию все европейские державы в мировую войну, — уже необходимость, вытекавшая из всей системы политических отношений в Европе и мире в конце XIX — начале XX столетия.

Политические убийства, подобные сараевскому, — не редкость в истории; однако лишь в исключительных случаях они делались факторами войны. Случай же сараевского убийства превратился в фактор войны благодаря многим обстоятельствам европейской жизни начала XX века, притом как внутренним, так и внешним. В других условиях это убийство осталось бы малозначительным эпизодом, сохранившимся разве что в памяти немногих близких.

Приведенные рассуждения относятся отнюдь не только к межгосударственным войнам и конфликтам, но в еще большей мере к вой-

нам гражданским. Гражданскую войну можно даже назвать истинной войной, поскольку она есть наиболее полное выражение накопившихся в обществе социального зла, ненависти, противоречий, неспособных найти своего разрешения в рамках существующих общественных институтов и требующих для этого иных методов самоочищения. Но когда общество переполнено избытком горючих социально-взрывчатых материалов, когда взаимное непонимание, вражда, ненависть и нетерпимость терзают умы и сердца людей, для того, чтобы запылал пожар гражданской войны, достаточно порой самого ничтожного случая.

В системе межгосударственных отношений, то есть в среде, где реализуется внешнеполитическая деятельность государств, в процессе ее функционирования и развития также постоянно создаются и воспроизводятся различные обстоятельства (в том числе и случайные), способные послужить поводом к конфликтам и войнам. Воспользоваться ими или не воспользоваться, пойти на поводу у обстоятельств, у случая или же проявить выдержку и благоразумие, искать разумного компромисса или намеренно обострять обстановку — это уже во власти людей, осуществляющих внешнеполитическую деятельность государств. Здесь, правда, в отличие от автодорожного происшествия мера ответственности неизмеримо выше, как неизмеримо выше и «цена» инцидента, случая. Хотя, надо заметить, отнюдь не всегда так называемая разумная политика и желание компромисса способны предотвратить крайнее развитие событий. Увы, в сфере, где нередко верх одерживают эмоции, разум часто бессилён.

Теперь несколько слов о Фее, на которого ссылается в своей аргументации Рассет. Безотносительно к мнению Рассета точка зрения Фея интересна сама по себе. Фей в своем подходе к исследованию причин возникновения Первой мировой войны методологически ссылается на Фукидида. Описывая Пелопонесскую войну между Афинами и Спартой, тот проводил различие между более отдаленными и более глубокими причинами войны, с одной стороны, и ближайшими — с другой. Это различие — различие между постепенным накоплением горючего материала в течение долгого ряда лет и последней искрой, воспламеняющей пожар. Признавая такое различие верным, Фей считает возможным применить его и к анализу причин мировой войны.

«Игнорирование его, — пишет Фей, — приводило часто к путанице в вопросе об ответственности за войну, так как ответствен-

ность за отдаленные причины не всегда совпадает с ответственностью за причины ближайшие. Возможно, что какое-нибудь государство повинно во многих действиях, создавших общую ситуацию, опасную для мира, но именно это государство могло сравнительно мало способствовать окончательному взрыву, и наоборот»³⁵.

Здесь Фей поднимает вопрос о виновниках войны, который горячо дебатировался после Первой мировой войны. Не отрицая существования таковых, он в то же время настаивает на четкой дифференциации между теми, кто виновен в подготовке материальной основы войны, в концентрации массы горючего материала, и теми, кто «бросил спичку» в уже подготовленный «костер».

Но тут возникает вопрос: а кто, собственно, из активных участников международных отношений не может считаться виновным в подготовке материальной основы войны? Ведь всякое государство, участвующее в производстве и гонке вооружений, желает оно того или нет, уже создает материальную основу будущей войны, не говоря уже о том, что тем самым одновременно порождается атмосфера военной истерии. Возникающие при этом постоянные нарушения сложившегося равновесия и соотношения сил побуждают другие государства к соответствующим ответным действиям, вовлекая всё большее и большее число государств в эту гонку и образуя тот порочный круг, который трудно разорвать. И если в этих условиях вследствие просчетов или непродуманных действий с чьей-то стороны вспыхнет война, то можно, разумеется, считать, что она началась случайно, но для этого придется закрыть глаза на всё, что предшествовало войне и что ее готовило изподволь.

Сказанное дает достаточные основания для утверждения, что война вообще, война как социальный феномен естественным образом *встроена* в систему общественных, в том числе и межгосударственных, отношений. Она есть выражение природы человека как политического существа и государства как суверенной силы. Войну же *данную*, войну *конкретную* можно рассматривать уже как случайность, как результат переплетения и столкновения многих, не поддающихся учету и контролю факторов и событий как во внутренней жизни государств, так и в системе отношений между ними.

* * *

На войну нередко смотрят как на явление патологическое, как на отклонение от нормального состояния. В этой связи несомнен-

ный интерес представляют рассуждения Дюркгейма касательно такого социального явления, как преступление. Думается, они могут помочь разобраться и с оценкой войны как тоже социального феномена.

Выступая против ставшей привычной оценки преступления как явления социально патологического, Дюркгейм обращает внимание на тот очевидный и неоспоримый факт, что преступление характерно не только для большинства обществ того или иного типа, но *для обществ всех типов без всякого исключения*. Обществ, свободных от преступлений, не было, нет и, надо думать, не будет. Разумеется, преступления в зависимости от места и времени меняли свою форму, характер, тип, но само преступление как социальный феномен не исчезало никогда. Более того, по мере развития цивилизации преступность имеет тенденцию не к сокращению, а, наоборот, к увеличению.

«Нет, следовательно, явления с более несомненными симптомами нормальности, — резюмирует Дюркгейм, — поскольку оно тесно связано с условиями всякой коллективной жизни»³⁶.

Иными словами, преступность «встроена» в социальную жизнь, является ее неизбежным и необходимым спутником. Но такого же рода рассуждения вполне правомерно распространить и на войну, также порождаемую условиями коллективной жизни (политической, экономической и т.д.).

Известный американский теоретик-международник Спикмен примерно так и оценивал войну.

«Существует, — писал он, — тенденция смотреть на мир как на явление нормальное, а на войну — как ненормальное. Такой взгляд есть следствие путаницы, проистекающей из эмоционального отношения к войне. Нет слов, война не из приятных вещей, но она есть неотъемлемая часть системы государств, состоящей из суверенных независимых единиц. Игнорировать эту реальность лишь потому, что война нежелательна, значит накликивать на себя несчастье. Война была постоянным явлением в международных отношениях во все периоды истории»³⁷.

Войну порой сравнивают, и не без оснований, со стихийным явлением, например с землетрясением. В самом деле, землетрясение есть естественный продукт идущих в глубине земли тектонических

процессов, и в этом смысле оно вполне нормально. Его причины нам доподлинно неизвестны, но если бы мы даже знали их, это никак не предохранило бы нас от него. Человеку тут важнее знать другое: каким образом лучше всего защитить себя от губительных последствий землетрясений, коли уж те случаются, и, если возможно, создать систему раннего предупреждения о вероятном его приближении. Так и в случае с войной: никакое знание ее глубинных причин не даст нам, вопреки убеждению некоторых политологов, средства борьбы с этой стихией; в этом смысле она, повторю еще раз, встроена в социальные отношения, как встроены в нее преступления, как землетрясения встроены в тектонические процессы или как автодорожные происшествия встроены в систему автодорожного движения и т.п. Вот почему решение проблемы войны приходится поневоле искать не на уровне глубинных, главных причин, не на уровне необходимости, а на уровне причин более поверхностных, второстепенных, на уровне случайности, которые более доступны человеческому пониманию и более операбельны. Это, кстати, подметил Рейнольд Нибур.

«Не ожидайте от главных причин слишком многого, — предупреждал он. — Излишне большая озабоченность главными причинами конфликтов и войн может увести в сторону от реалистического анализа мировой политики. Базовая причина наименее операбельна из всех причин. Именно из правильного понимания второстепенных причин появляется реальный шанс для мира»³⁸.

Тут можно провести аналогию с медициной. Та не так уж часто утруждает себя поисками глубинных причин болезней человека как вследствие своей неспособности обнаружить их, так и в силу фактической невозможности это сделать. Поэтому она «лечит» главным образом симптомы болезней, и мы не должны предъявлять к ней из-за этого претензий: ее возможности тоже ограничены. Но если бы из-за незнания глубинных причин болезней медицина отказалась лечить их симптомы, вряд ли она была бы правильно понята, а ее действия — одобрены. Как замечает тот же Уолтц, врач выписывает, к примеру, пациенту очки, и тот ходит с ними, довольный, всю жизнь; при этом ни он, ни врач нисколько не озабочиваются глубинными причинами ухудшения зрения.

То же, в принципе, можно сказать и об автодорожных происшествиях: чтобы устранить их радикально, нужно прекратить производство транспортных средств, их продажу и автодвижение. Поскольку

это пожелание в духе Руссо невозможно, человечество энергично работает ради уменьшения числа несчастных случаев на уровне случайности, стремясь всевозможными техническими средствами сократить их. И это отчасти удастся. Что касается войны, то по аналогии, чтобы радикально ее устранить, надо прекратить воспроизводство человека и его социальной жизни. Поскольку кроме самого человека этого никто сделать не может, а сам он еще не дошел до такой грани, то он также вынужден вести поиски устранения войн на «техническом» уровне. И нельзя утверждать, что на этом пути ему сопутствуют одни лишь неудачи.

Если согласиться с таким подходом — а он, как представляется, содержит в себе здравый смысл, на котором держится реалистическая политика, — то надо признать, что на уровне второстепенных причин, являющихся наиболее операбельными, лучшей теории войны, чем теория Клаузевица, до сих пор не было создано. И недаром человеческая мысль, в принципе не терпящая никакой узды, вновь и вновь возвращается к взглядам Клаузевица в поисках ответов на волнующие ее вопросы.

Клаузевиц о войне и ее связи с политикой

Клаузевицу как всякому крупному и оригинальному мыслителю выпала завидная доля быть одновременно объектом почитания и объектом жесткой критики. Что касается критики, то нападки на Клаузевица и его концепцию войны порой носят настолько ожесточенный характер, что можно подумать, будто главной причиной войн является именно его теория, а в полном ее опровержении видится реальная возможность положить конец войнам.

Концепцию Клаузевица называют иногда «философией войны», что, в общем, не совсем точно. Клаузевиц пытался проникнуть главным образом в ближайшие причины и источники войны, определить ее место в системе политических отношений, не углубляясь в глубокие, иррациональные ее корни. И в решении этой задачи он был одним из очень немногих, кто преуспел. Всё, что было сказано по тому же поводу после него, было лишь перепевом, иногда с несущественными поправками и дополнениями, основных выводов Клаузевица. Это, кстати, делали даже те, кто отвергал его концепцию.

Взгляды Клаузевица сегодня порой воспринимаются как что-то безнадежно устаревшее. Парадокс, однако, в том, что попытки дать но-

вое рациональное определение войны обычно заканчиваются либо банальностями, либо кружением вокруг да около, либо возвращением к формуле Клаузевица, но только в подновленном «модном» обличье. По крайней мере, никто, кроме Клаузевица, не дал рационально приемлемого объяснения феномена войны и четкого его определения. Поэтому отрицание взглядов Клаузевица (а оно время от времени декларируется) должно, как минимум, начинаться с предложения нового определения войны, которое, принципиально отличаясь от определения Клаузевица, в то же время было бы адекватно ему по своей объяснительной силе. Однако такое определение миру пока не известно.

На некоторых критических замечаниях в адрес концепции Клаузевица, связанных главным образом с ее применимостью к оценке ядерной войны, остановимся ниже. Что же касается более общей критики, пытающейся показать ограниченность его теории на том основании, что, принимая в расчет только политику, она оставляла вне поля своего внимания социальные и культурные корни войны, то такого рода критика свидетельствует лишь о собственной ее ограниченности. В самом деле, ведь сама политика есть феномен культуры, ее неотъемлемая составная часть, всегда более или менее адекватно отражающая культуру того или иного общества³⁹.

Говоря об определении войны как специфического социального феномена, нужно с самого начала отделить его от вопроса о причинах войны и ее последствиях. Нередко все эти вещи сваливают в одну кучу, из чего, естественно, получается полная неразбериха. Причины войны, как это было показано выше, могут быть самыми разнообразными и многочисленными. Последствия войны могут также быть самыми различными: отрицательными или положительными (с точки зрения целей ее участников), умеренными или самыми разрушительными (с точки зрения материальных или людских потерь). Войны могут быть случайными, преднамеренными или неизбежно вытекающими из обстоятельств места и времени и т.д., ...но ни то, ни другое, ни третье не имеет никакого отношения к самому определению войны как политического феномена. Вот такое определение и дал Клаузевиц.

Начнем, так сказать, с «технического» определения войны.

«Война, — пишет тот, — это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю»⁴⁰.

Здесь, как мы видим, слово «политика» не присутствует вовсе, тем не менее всё определение пронизано ею. Войны ведут главным

образом государства — союзы по самой сути своей политические. Монопольное право на легитимное применение насилия — специфическая характеристика такого рода политических союзов. «*Война есть акт насилия с целью принудить противника вытолнить нашу волю*», — как очевидно из этого определения, уже сама цель носит исключительно политический характер, независимо от применяемых для этого средств. Ими, кстати, могут быть не только военные средства, но и средства экономические («экономическая война»), идеологические («идеологическая война»), их совокупность («холодная война»). Отсюда — война есть специфическое политическое отношение между, как минимум, двумя государствами. Захват, скажем, Ираком Кувейта в 1990 году был актом военного насилия с целью принудить его выполнить волю Ирака. Военная акция объединенных сил во главе с США против Ирака в 1991 году была актом насилия с целью принудить Ирак выполнить волю, выраженную в решениях ООН. Экономическое эмбарго, наложенное решением Совета Безопасности на Ливию вследствие отказа той выдать двух террористов, есть акт коллективного экономического насилия с целью принудить Ливию выполнить волю ООН и т.д. С точки зрения данного выше определения войны никакой разницы между первым, вторым и третьим актами нет и быть не может. Если разница и есть, то она лишь в применяемых средствах и целях.

Могут возразить, что легитимность применения государством насилия вне пределов его границ, по меньшей мере, сомнительна. Как бы то ни было, понятие *jus ad bellum* (право на войну) пока существует, и никто от него не отказывался. Не станем, однако, вдаваться тут в дебри этой сложной проблемы. Скажем лишь одно: всего потенциала человеческого гения до сих пор не хватило, чтобы дать приемлемые для всех определения агрессии или справедливой войны. Пока их нет, понятие *jus ad bellum* всегда может трактоваться вполне вольно⁴¹.

Политическое содержание любой войны Клаузевиц основательно раскрывает в двух главах своего обширного труда (в 1-й главе I-й части и в 6-й главе VIII части). Идея неразрывности войны и политики развивается в нескольких последовательных параграфах и, подобно главному мотиву в музыкальном произведении, вновь и вновь повторяется в различных вариациях.

Начинает Клаузевиц с отрицания тезиса, согласно которому война рассматривается как нечто самостоятельное, не зависимое от политических отношений.

«Все знают, конечно, — пишет он, — что война вызывается лишь политическими отношениями между правительствами и между народами; но обыкновенно представляют дело таким образом, будто с началом войны эти отношения прекращаются и наступает совершенно иное положение, подчиненное только своим особым законам».

В противовес этому утверждению, Клаузевиц настаивает на том, что *сама война есть не что иное, как продолжение политических отношений при вмешательстве иных средств*.

«При вмешательстве иных средств» означает лишь одно: эти политические отношения самой войной не прекращаются, не преобразуются в нечто совершенно другое, но по существу продолжают.

«Какую бы форму ни принимали средства, которыми пользуются участники войны, главные линии, по которым развиваются связанные с ними военные события, *начертаны политикой*, влияющей на войну вплоть до мира»⁴² (курсив мой. — Э.П.).

Война, следовательно, не может рассматриваться отдельно от политических отношений, и если это делается, то тем самым разрываются связующие нити и получается нечто бессмысленное и бесцельное. Без этого представления, убежден Клаузевиц, нельзя обойтись даже в том случае, если бы война была всецело войной, то есть всецело проявлением необузданной стихии вражды. В самом деле, все факторы, на которых война основана и которые определяют ее главное направление, а именно: собственные силы, силы противника, союзники обеих сторон, характер народов и правительств сторон и т.д., — все они обладают политической природой и связаны с политическими отношениями столь тесно, что их невозможно разделить. Это тем более так, если принять во внимание, что война вовсе не стремится к последней крайности, каковой должна была бы быть согласно своему понятию, но что в действительности она половинчатая, внутренне противоречива. Как таковая она не может следовать своим собственным законам, а должна рассматриваться как часть другого целого, и это целое — *политика*.

В приведенных положениях выражена, можно сказать, главная идея и главная тема труда Клаузевица, тот урок, который он желал преподать. Популярное мнение, связывающее его имя с известным афоризмом: «*Война есть продолжение политики иными средствами*», в принципе, верно. Но, как справедливо отмечает английский исследователь Майкл Говард, в этом мнении содержится в то же

время глубокое непонимание как значимости, которую Клаузевиц придавал этой мысли, так и всего его учения о войне в целом. Взятое вне контекста, положение «*война есть инструмент политики*» звучит резко, милитаристски, как намеренно хладнокровное обращение к войне как политическому средству⁴³.

Однако мы нигде не найдем у Клаузевица утверждения, что война есть цель политики. Но именно такую абсурдную мысль приписывают ему некоторые критики, не дав себе труда внимательно прочитать и вдуматься в то, что они критикуют. *Продолжение* политики и *цель* политики — это принципиально разные вещи. Клаузевиц показывает вовсе не то, что война есть *сознательно* выбираемое и необходимое средство политики для радикального решения своих целей, а то, что война не есть независимая вещь-в-себе, которая может быть рассмотрена отдельно от политических отношений. Ведь если взять войну в абсолютной ее форме, то она предстает как акт неограниченного насилия. Но на деле такого не бывает и отнюдь не благодаря каким-то правилам, ограничивающим войну. Это вытекает из социальной природы воюющих государств, насилие не принадлежит самой войне, а является лишь условием, в котором та происходит.

«Война исходит из... общественного состояния государств и их взаимоотношений, ими она обуславливается, ими она ограничивается и умеряется, — пишет Клаузевиц. — Но все это не относится к подлинной сути войны, а является привходящим извне». Поэтому, резюмирует он, «введение в философию войны принципа ограничения и умеренности представляет собой полнейший абсурд»⁴⁴.

Вполне очевидно, что данное положение справедливо и применительно к войнам с применением ядерного оружия. В условиях обладания государствами ядерным оружием было бы таким же абсурдом пытаться заранее ограничить возможные войны между ними исключительно применением обычного оружия. Об этом, кстати, пишет и такой непримиримый противник всяких войн, как Холмс.

Если современная война начнется, пишет он,

«было бы и в самом деле абсурдно полагать, что кто-то намеренно остановится на полпути к достижению цели, ибо воля к достижению цели есть в то же время и воля к применению необходимых средств к ее достижению. ...Тот факт, что эти средства являются ядерными, сам по себе не имеет значения. Более того, в условиях, когда им обладают

и когда национальное выживание, как предполагается, поставлено на карту, мало сомнений в том, что оно не будет применено. Немногие политические лидеры захотели бы председательствовать при уничтожении собственной страны, будучи убежденными, что использование ядерного оружия может его предотвратить»⁴⁵.

Ссылаясь на мнение древних, Макиавелли в своем «Государе» данную проблему формулирует так:

«Та война справедлива, которая необходима, и то оружие священо, на которое единственная надежда».

С той поры, как показывает весь опыт ведения войн, взгляды на войну и на допустимые для реализации ее целей средства в принципе мало, если вообще изменились, несмотря на всю сопровождаемую этот вопрос риторику.

Об этом же, другими лишь словами, говорит и Клаузевиц: мерилом как для цели, которая должна быть достигнута при помощи военных действий, так и для определения объема необходимых усилий, отмечает он, служит *политическая цель, являющаяся первоначальным мотивом войны*⁴⁶.

Можно, казалось бы, упрекнуть Клаузевица в излишне отвлеченном рационализме его рассуждений, однако он нигде не отрывается от реальности, и об этом свидетельствуют следующие его слова:

«Поскольку, — пишет он, — мы имеем дело с реальностью, а не с отвлеченными понятиями, политическую цель нельзя рассматривать абстрактно, саму в себе; она находится в зависимости от взаимоотношений обоих государств. Одна и та же политическая цель может оказывать различное воздействие не только на разные народы, но и на один и тот же народ в разные эпохи. Поэтому политическую цель можно принимать за мерило, лишь отчетливо представляя себе ее действие на народные массы, которые она должна всколыхнуть. Вот почему на войне необходимо считаться с природными свойствами этих масс»⁴⁷.

Война в человеческом обществе, отмечает Клаузевиц, — это война целых народов, притом народов цивилизованных, и причины ее лежат в сфере политики. Если бы она была ничем не стесняемым, абсолютным проявлением насилия, то с момента своего начала она прямо бы стала на место политики как нечто от нее

совершенно независимое. Война вытеснила бы политику и, следуя своим законам, не подчинилась бы никакому управлению и никакому руководству.

Показывая связь войны с политикой, Клаузевиц ни в малейшей степени не абсолютизирует роль первой: война в любом случае остается средством в руках последней. Однако из этого не следует, что политическая цель становится единственной определяющей силой: ей приходится считаться с природой средства, которым она пользуется, и в соответствии с этим подвергаться порой коренному изменению. Таким образом, политика проходит красной нитью через всю войну и оказывает на нее постоянное влияние. И как бы суммируя свои рассуждения, Клаузевиц в одной фразе представляет суть всей своей концепции.

«Итак, — пишет он, — мы видим, что война есть не только политический акт, но и *подлинное орудие политики, продолжение политических отношений, проведение их другими средствами*»⁴⁸ (курсив мой. — Э.П.).

«Продолжение политический отношений» — и это важно отметить — есть не просто продолжение политики (чьей-то отдельной), но совокупности *политических отношений*, которая возникает между государствами. Мысль эта, кстати, была точно подмечена Лениным — большим ценителем теории войны Клаузевица. В своей известной лекции «Война и революция» (май 1917 г.) Ленин отмечал как большую заслугу Клаузевица то, что он боролся против обыкательского и невежественного предрассудка, будто войну можно выделить из политики, будто ее можно рассматривать как простое нападение, нарушающее мир.

«Это грубый и невежественный взгляд, — пишет Ленин, — десятки лет назад опровергнутый и опровергаемый всяким сколько-нибудь внимательным анализом любой исторической эпохи».

Войну можно объяснить, лишь ставя ее в связь с предшествующей политикой данного государства, данной системы государств. Для понимания современной войны, продолжает Ленин, необходимо, прежде всего, бросить общий взгляд на политику европейских держав в целом. Надо брать при этом не отдельные примеры, а «всю политику всей системы европейских государств в их экономическом и политическом взаимоотношении, чтобы понять, каким обра-

зом из этой системы неуклонно и неизбежно вытекла данная война». И, наконец, утверждает он,

«если вы не изучили политики обеих групп воюющих держав в течение десятилетий, — чтобы не было случайностей, чтобы не выхватывали отдельных примеров, если вы не показали связь этой войны с предшествовавшей политикой, вы ничего в этой войне не поняли!»⁴⁹.

Близкую оценку войны мы можем найти у всех серьезных исследователей данного феномена, начиная с Фукидида и кончая Моргентау, Ароном и другими современными исследователями. Не согласна с ней разве что секта морализирующих пацифистов, но сектантство, к какой бы области то ни относилось, всегда остается сектантством.

Отметим, пожалуй, еще один немаловажный аспект концепции Клаузевица. Будучи сыном эпохи Просвещения с ее рационализмом, последователем Монтескье, он, тем не менее, ни на миг не терял из виду витальных основ всякой войны, тех ее причин, которые лежат в глубинной основе жизни народов (этот момент, кстати, упускается многими исследователями наследия Клаузевица). Война, замечает Клаузевиц, представляет собой «странную троицу», составленную из насилия как первоначального своего элемента, ненависти и вражды, которые следует рассматривать как слепой природный инстинкт; из игры вероятностей и случая, что делает ее свободной душевной деятельностью; из подчиненности ее политике, благодаря чему она подчиняется простому рассудку.

Первая из этих трех сторон обращена больше к народу, вторая больше к полководцу и его войску, а третья — к правительству. Страсти, разгорающиеся во время войны, должны существовать в народах еще до ее начала; размах, который приобретает игра храбрости и таланта, — в царстве вероятностей и случайностей и зависит от индивидуальных свойств полководца и особенностей армии; политические же цели войны принадлежат исключительно правительству.

Эти три тенденции, представляющие, по Клаузевицу, как бы три различных ряда законов, глубоко коренятся в природе самой войны и в то же время изменчивы по своей величине. Теория, которая захотела бы пренебречь одной из них или пыталась бы установить между ними произвольное соотношение, тотчас впала бы в такое резкое противоречие с действительностью, что поставила бы на себе крест⁵⁰.

Первая сторона захватывает глубинные иррациональные причины войны, уподобляющие ее землетрясениям, — они мало операбельны, даже если нам что-то о них известно. Вторая сторона относится к области военного искусства и, собственно, к причинам войны отношения не имеет. Третья же сторона — сторона связи войны с политикой — представляет наибольший интерес с точки зрения вопроса о возможности предотвращения войны. Она наиболее операбельна хотя бы потому, что, по словам Клаузевица, «подчиняется простому рассудку».

Только на этом уровне мы можем, вопреки утверждению Толстого, сказать, почему возникают войны. Это знание, конечно, неполно, поверхностно, оно почти не затрагивает глубин проблемы, но это единственное, чем мы более или менее твердо располагаем. Подобно тому как в автодорожном происшествии многое зависит от мастерства и умения водителя, от его способности быстро и правильно реагировать на окружающую обстановку, от его сдержанности и хладнокровия, так и в политических столкновениях если и не всё, то многое зависит от аналогичных качеств тех людей, кому вверены судьбы народов.

Jus ad bellum VS jus in bello

Эту латинскую фразу на русский язык можно перевести примерно так: «*противоречие между правом на войну (jus ad bellum) и правилами ведения войны (jus in bello)*».

Означенное противоречие возникло, по сути своей, в XX столетии вместе с появлением и развитием средств массового уничтожения и поражения людей. До этого времени правила ведения войны как бы целиком покрывались правом государства на войну. Война как физическое насилие было средством, а целью — стремление к преобладанию, к власти, к реализации каких-то интересов. До XX столетия цель эта не входила в противоречие с имевшимися в распоряжении государств средствами. Незначительные и, как замечает Клаузевиц, «едва достойные упоминания ограничения», которые насилие само на себя налагает в виде обычаев международного права, сопровождали насилие, не ослабляя в сущности его эффекта.

В наши дни ситуация существенным образом изменилась. Изменение это хорошо подмечено Хоффманом:

«Трагедия сегодня заключается в том, что новые средства войны лишили масштабную войну значительной части ее *исторической* функции, в то время как *социальные* функции войны продолжают сохраняться»⁵¹.

Иными словами, социальные причины войны остаются, а значит, сохраняется ее «встроенность» в систему общественных отношений; вследствие же создания чудовищных средств уничтожения, то есть уже «технических» средств ведения войны, ее прежняя функция мощного фактора двигателя истории и очищения общества от накопившихся ядов обретает иной, уже зловещий смысл.

Есть ли способ разрешения данного противоречия? Брать на себя смелость ответить на такой вопрос — все равно, что уподобиться богу: только ему ведомы пути судьбы. В то же время не станем уподобляться и таким пацифистским моралистам, как Холмс, который с детской непосредственностью в конце своего многостраничного исследования о войне делает следующий глубокомысленный вывод: *альтернатива войне — не вести войны вообще*⁵². Как говорится, просто и мило. На это умозаключение можно ответить не менее глубокомысленным: много чего не надо бы делать на нашей грешной земле из того, что делается; а из того, что делается, война, быть может, не худшее зло, ибо, как было сказано выше, *война есть следствие накопившегося зла, но отнюдь не его причина*.

Пытаться предугадать будущее — дело, в общем, пустое; однако уже в сегодняшнем мире можно видеть пути если и не разрешения указанного противоречия, то как бы инстинктивного ухода от жестоко альтернативного его варианта. Уход этот реализуется на практике как бы сам собой по двум направлениям: 1) путем смещения войн из центра системы межгосударственных отношений к ее периферии, где *jus ad bellum* и *jus in bello* не разошлись столь резко, как в центре, и 2) через разрядку возникающих социальных напряжений посредством гражданских войн, партизанских войн, через масштабный терроризм, достигающий порой масштаба и силы необъявленной войны. Во втором случае не действует ни *jus ad bellum*, ни *jus in bello*, вернее, то и другое из публичного права превращаются в право частное.

Сколько бы ни говорили и ни писали о том, что в наш цивилизованный век война делается абсурдной, что она перестает (или даже уже перестала) быть сколь-нибудь оправданным и разумным средством политики — войны не прекращаются ни на мгновение, и ни одно государство пока что не отказалось от права на войну.

Последнее же, как это ни покажется удивительным, не претерпело по существу изменений в своей трактовке за многие столетия. Еще Августин считал, что война оправдана в случаях нарушения прав и защиты от нападения. Монтескье также утверждал, что

«Государства имеют право вести войну в целях самосохранения... Что касается общества, то тут право естественной обороны иногда влечет за собой и необходимость нападения, в том, например, случае, когда народ видит, что более продолжительный мир дает другому государству возможность его уничтожить и что в данный момент нападение является для него единственным средством предотвратить это уничтожение... Право войны, — заключает он, — вытекает из необходимости и справедливости»⁵³.

В этих строгих, казалось бы, положениях заложена масса противоречий, и с ними не могут совладать до сих пор: тут и право на превентивную войну, и такие многозначные понятия, как самосохранение, необходимость, справедливость и т.д. Скажем, тот же Ирак, напав в 1990 году на Кувейт, исходил из своего представления о справедливости; выступившие же во главе с Соединенными Штатами объединенные силы действовали во имя восстановления нарушенной Ираком справедливости. Вследствие столкновения двух понятий о справедливости верх в конечном счете, как обычно и бывает в таких случаях, одержала сила — этот извечный критерий всякой справедливости. Это только один пример из тысяч других, свидетельствующих о том, что значит слово «справедливость» в таком «несправедливом» деле, как война.

Концепция Клаузевица, кстати, тем и отличается от многих других теорий войны, что в ней автор нигде не опускается до дешевого морализирования, нигде не уповаает на некую справедливость, нарушенные права, нравственность и прочее, понимая, видимо, бессодержательность и абстрактность всех этих понятий, реальный смысл которых наполняется только стоящими за ними интересами. То же касается и его отношения к средствам ведения войны и к правилам ее ведения (*jus in bello*).

Как уже упоминалось, он считал абсурдным априорное введение в войну принципа ограничения и умеренности, ибо ее масштабность, ярость ее ведения, готовность применить те или иные средства, включая самые крайние, зависят не от этих принципов, а совсем от иных вещей. И «цивилизованные народы могут воспылать взаимной ненавистью», — отмечал Клаузевиц⁵⁴.

И сегодня с этой «цивилизованной ненавистью» мир сталкивается на каждом шагу. Достаточно вспомнить события в Ливии, а теперь и в Сирии.

Кстати, нынешняя критика взглядов Клаузевица построена во многом на утверждении, что в эпоху ядерного оружия и других средств массового уничтожения формула «война есть продолжение политики иными средствами» становится абсурдной, ибо ведет к самоубийству. Тем самым *jus in bello* (правила ведения войны) как бы отвергают *jus ad bellum* (право на войну). Такой аргумент в основе своей не нов. Во все времена развитие технических средств ведения войны порождало пророческие утверждения о невозможности ведения войн ввиду беспрецедентной разрушительности новых средств. Ни одно из этих пророчеств не оправдалось и только по той причине, что война — проблема не техническая, и она поэтому не может быть решена техническими средствами — сокращением вооружений, ограничением или даже уничтожением каких-то их видов, запрещением применять какие-то средства и т.д.

Нельзя не отметить еще один момент: многие оппоненты Клаузевица рассматривают его концепцию преимущественно под тем углом, под которым сам Клаузевиц никогда ее не рассматривал, вследствие чего он, естественно, делается «легкой добычей» критики. Война видится ими как грубое средство насилия в руках неких, часто анонимных безрассудных сил, готовых, невзирая ни на что, пустить его в ход ради достижения своих узко политических целей.

То, что Клаузевиц был далек от такой трактовки войны, говорилось выше, и не станем повторяться. Критики уходят от ответа на главный вопрос: возможна ли сегодня война вообще? Если она возможна, а сомневаться в этом, когда она вспыхивает то тут, то там, было бы странным извращением мировидения. Вместо сомнений гораздо важнее дать ей максимально точное, объективное определение без морализирующих оценок. И здесь иного определения войны, кроме определения Клаузевица, мы не имеем. Если же война в современных условиях невозможна, нужно четко и аргументированно ответить на вопрос «Почему невозможна?», не сводя при этом весь ответ лишь к личному неприятию войны или к изъятию пожелания, чтобы таковой не было.

Нередко можно слышать и такой аргумент: в нашем ядерном, экологически напряженном и тесно взаимозависимом мире, по сути, исчезла проблема умышленной агрессии, по крайней мере во взаимоотношениях главных участников межгосударственных отношений. Зато в высшей степени возросла вероятность случайной ката-

строфы. Возникла как бы совершенно новая онтологическая ситуация, которую можно назвать ситуацией господства роковой случайности.

Один из современных военных специалистов, принципиальный противник применимости концепции Клаузевица к ядерной войне (не стану называть его имени) не без патетики вопрошает: «Можно ли считать технические ошибки, ложные тревоги, сбои компьютеров, психологические срывы, способные вызвать ядерную войну, политикой или ее продолжением?». Если бы, продолжает он в полной уверенности в неотразимости своих аргументов, ядерная война стала «продолжением» сбоя компьютеров, технических ошибок и прочих «абсурдных ситуаций», эта война явилась бы не продолжением политики, а продолжением абсурда.

По логике приведенных рассуждений выходит, что политика гонки ядерных вооружений, рост напряженности в международных делах, техническая и психологическая подготовка к ядерной войне и даже движение к ней — то есть всё то, что готовит материальную и идейную базу ядерной войны, — это не абсурд, а политика. Сама же ядерная война — это уже абсурд, а потому не политика и не ее продолжение. Когда, скажем, в тех же автодорожных происшествиях по случайным стечениям обстоятельств гибнут десятки, а то и сотни тысяч ни в чем не повинных, добропорядочных люди — это тоже абсурд. Но происходит он, тем не менее, с беспощадной статистической регулярностью, и этот «абсурд» имеет свои необходимые причины, о которых уже говорилось. Так и в случае войны: когда она подготовлена политически, психологически и материально, любая случайность может послужить поводом для ее начала, будь то сбой компьютеров или что-то иное. Если же такой подготовленности не существует, все компьютеры могут «взбеситься» одновременно — это никого не поколышет.

Данное обстоятельство лишний раз подтверждает давно уже высказанную истину, что случайность возникает на почве необходимости, она — форма ее проявления. Если абсурдный случай может послужить поводом для начала масштабной ядерной или обычной войны, это означает лишь одно: политика предвзвешенно хорошо поработала, чтобы превратить «абсурд» в фактор войны. Классический тому пример — сараевское убийство.

Нередко встречается еще один аргумент против применимости формулы Клаузевица к ядерной войне. Некоторые считают, что, поскольку последствия ядерной войны самоубийственны для всего человечества, она не может рассматриваться как продолжение поли-

тики иными средствами. В данном случае, как должно быть очевидно, последствия войны ставятся на место ее причин. Поскольку же эти последствия ужасны, то на этом основании с негодованием отвергаются и причины войны, какими бы те ни были. Иными словами, оснований для ядерной войны нет и не может быть, потому что ее последствия губительны, — вот такой вариант «детской» логики («этого не может быть, потому что не может быть никогда»).

Но смысл вопроса, который ставил и решал Клаузевиц совсем в другом, а именно: *какие причины обуславливают войны, что ведет к ним?* И тут Клаузевиц, как человек трезвомыслящий, заостряет свое внимание преимущественно на политических причинах войны, на ее связи с политикой, на корреляции той и другой, осознавая нереальность охвата всей причинной цепи явлений, ведущих к войне. И в этом отношении его подход близок к подходу Толстого.

Войны могут выигрываться и проигрываться, политические цели участников войны могут реализоваться и не реализоваться, средства ведения войны могут быть одними и другими — всё это ничуть не меняет главного, а именно: независимо от конкретных причин войн, от их исхода и от их последствий, даже если таковыми будет гибель всего человечества; независимо от используемых в ней средств, даже если ими будет ядерное оружие, *все войны по своему генезису, по месту в звене «политика — война» являются продолжением политики* и ничем другим быть не могут — вот главное, что показал Клаузевиц.

Именно отсюда вытекает направление деятельности для тех, кто более всего обеспокоен губительными последствиями ядерной войны. Этих последствий не будет, если не будет войны или, по крайней мере, подготовки ее материальной базы; той же не будет, если будут устранены политические причины, обуславливающие такую подготовку. Если же все мы, включая идеалистов и моралистов, с усердием, достойным лучшего применения, участвуем в материальной и психологической подготовке войны, а затем сердимся на Клаузевица за то, что тот почти 200 лет назад указал нам на нашу слепоту, значит, нам так и суждено остаться слепыми, и тут уж ничто не сможет помочь.

Что же касается *jus in bello* применительно к ядерной войне, то здесь можно сказать, что само ядерное оружие ставит пределы его применимости. Не моральные сентенции, не клятвы и заверения политиков не применять его, а страх перед ответным ударом — вот что будет служить определенной гарантией его неприменения.

Конечно, некоторым идеалистам хотелось бы верить, что отказ от применения оружия массового уничтожения обусловлен благо-

родством и возвышенностью намерений и идеалов, но позволительно не поверить им — зачем бы, спрашивается, его вообще создавать? Сдерживающий эффект ядерного оружия уже подтвердил себя как средство предотвращения войны между главными участниками международных отношений, и этот факт служит в известной мере гарантией того, что даже и в случае войны этот эффект продолжит действовать.

И тут мы подходим к одному из самых больших и, быть может, самых шокирующих парадоксов нашего достаточно безнравственного времени — к признанию того, что ядерное оружие и основанное на нем ядерное сдерживание имеют определенное нравственное содержание. В самом деле, всякая нравственная норма служит сдерживанию, ограничению подчас необузданных человеческих страстей, приучает человека соотносить свое поведение с принятыми в обществе правилами и считаться с окружающими его людьми. Потому-то правовые нормы, регулирующие жизнь внутри общества, несут в себе не только юридическое, но и нравственное содержание.

В международном сообществе ввиду отсутствия в нем обязывающих органов и, соответственно, публичных правовых норм и где государства руководствуются главным образом собственными интересами, даже такая форма сдерживания, как опасение возмездия, не может не иметь нравственного содержания.

Конечно, записным моралистам трудно такое признать, но, увы, даже им приходится это делать под неумолимым давлением реальной жизни, не устающей преподносить человеку свои сюрпризы⁵⁵. И было бы большой ошибкой игнорировать тот факт, что к этим «сюрпризам» все мы тоже имеем прямое отношение, ибо мы не только актеры-статисты, но часто и авторы великого и одновременно трагического спектакля под названием *Жизнь*.

Нравственна ли война?

Первым побуждением нашего изрядно развращенного дешевым пацифистским морализмом сознания было бы, надо думать, желание дать на поставленный в заголовке вопрос отрицательный ответ. Но тот, кто взял на себя труд внимательно ознакомиться с предшествующими главами книги, не станет торопиться с таким ответом, поскольку, смею надеяться, сказанное выше в какой-то мере убедило его в том, что слово «нравственность» применительно к политике, а тем

более к войне — это не расхожая монета, коей, не утруждаясь, можно расплачиваться направо и налево.

Чтобы, однако, тут не оставалось неясностей, зон двусмысленного полумрака, всяких там «с одной стороны — с другой стороны», пройдемся еще раз по понятию «война».

Война в самом широком ее понимании как выражение действия неких космических, надличностных, телеологических сил, как внешний выплеск накопившихся социальных напряжений, ядов и зла в общественном организме *нравственной оценке не подлежит вообще*. В этом смысле она подобна стихийным явлениям, и здесь можно поставить целую серию риторических вопросов, вроде: а нравственно ли землетрясение? Нравствен ли ураган, сметающий все на своем пути? Нравственна ли революция? И, наконец: нравственна ли война? На эти вопросы ответа никто, конечно, не ждет, но они уже сами содержат в себе и соответствующий ответ. В таком широком понимании войну можно уподобить *катарсису*, общественному очищению от накопившихся грехов и зла. И если о катарсисе можно сказать, что он нравствен, тогда то же самое можно сказать и о войне. Но в данном случае это будет нравственность, так сказать, от бога. Нибур писал в 1942 году, в разгар Второй мировой войны:

«Только наказанием очень долгой войной можно вызвать к жизни радикальное покаяние и заставить отойти от тех грехов демократического мира, которые помогли подготовить нацистский бунт против нашей цивилизации. Мы были слишком расслаблены и сыты, слишком пренебрежительны и безразличны к конечным проблемам жизни, чтобы измениться только через наказание короткой войной. Это не означает, что война, как таковая, является единственно возможным источником покаяния для наций. Мы должны думать не абстрактно, а исторически. Поскольку все мы несем вину за наши грехи, сделавшие возможным бунт против цивилизации, мы едва ли способны покаяться в этих грехах, пока горький опыт не просветит нас относительно того, каковы могут быть последствия этих грехов и какими жертвами и душевными переменами могут быть эти грехи преодолены»⁵⁶.

Возьмем теперь войну в том значении, какое придает ей Клаузевиц, то есть войну как продолжение политических отношений, только иными средствами. В IV главе данной книги вопрос о соотношении политики и нравственности был рассмотрен достаточно подробно, и нет нужды повторять всё сказанное там применительно и

к войне как политическому феномену. Война может рассматриваться как явление безнравственное только с позиций абсолютной морали, неких абстрактных нравственных принципов. Но, как уже говорилось, в таком случае не останется ничего другого, как признать безнравственной всю человеческую жизнь, всю историю человечества, его прошлое, настоящее и будущее без всяких изъятий.

То же в принципе можно сказать и об определении войны как акта насилия с целью принудить противника выполнить нашу волю. Насилие есть одно из главных средство в руках политики. Само по себе оно нравственно нейтрально; делает его нравственным или безнравственным преследуемые политикой цели. Насилие, разумеется, может носить и безнравственный характер, когда оно осуществляется ради насилия. И такого рода акты насилия содержит, по сути дела, любая война, которая, помимо высоких чувств, пробуждает также чувства и инстинкты самые низменные и жестокие. Но обо всем этом с достаточной полнотой было сказано в IV главе книги.

Есть еще одна нравственная сторона войны, а именно: война как выражение и проявление высоких индивидуальных и массовых нравственных чувств — патриотизма, преданности идеалам, своему народу и государству, личного мужества и героизма, готовности умереть «за други своя», помощь ближнему и т.д. Об этой стороне войны прекрасно сказано у М. Вебера.

«Война как реализованная угроза насилия именно в современных политических объединениях создает такой пафос и такое ощущение общности, такую готовность отдать свои силы и безусловную жертвенность сражающихся, а сверх того деятельность по облегчению страданий и переходящую все границы природных связей любовь к пострадавшему как массовое явление, которым религии в целом могут противопоставить разве что героические действия на основе братской этики. И помимо этого война создает нечто неповторимое по своей конкретной значимости: ощущение человеком смысла смерти и готовность к ней, свойственной только ему. Общность действующей армии ощущается в настоящее время подобно тому, как это было во времена вассальной верности, как общность вплоть до смерти, в своем роде величайшая общность». В отличие «от просто неизбежной смерти, смерть на поле брани отличается тем, что здесь, и как массовое явление только здесь, человек знает, “за что умирает”»⁵⁷.

Без этих индивидуальных нравственных чувств, привносимых в войну ее непосредственными участниками, всякая война превращалась бы в бойню, будь она трижды продолжением политики. Ведь каждая война есть, помимо всего прочего, и сгусток моральной энергии.

«Вряд ли кто сумеет назвать хотя бы одну-две войны, — писал и Ранке, — где нельзя было бы доказать, что конечная победа в них была достигнута благодаря подлинной моральной энергии»⁵⁸.

Не случайно поэтому так сильно братство людей, прошедших через войну. Мы это видим на примере ветеранских движений участников Отечественной войны и Афганской войны, аналогичных обществ, движений и товариществ в других странах. Несмотря на жестокость, ужасы и грязь каждой войны, она несет в себе нечто возвышающееся над этой грязью, то, чего нет в обычной жизни, а именно: высокое моральное чувство долга, товарищества, готовность к самопожертвованию, состояние напряженности лучших человеческих качеств, пренебрежение благами, ценимыми в обычной жизни, и т.п. Не случайно поэтому история каждого народа бережно хранит память о героических деяниях на поле брани и возводит в ранг национальных героев полководцев и простых солдат, отличившихся в войнах и битвах с врагами. Война вообще, война как особый жизненный феномен безнравственна разве что с позиций проповедников морализирующего пацифизма или нервических дам, занимающихся благодетельной деятельностью.

* * *

В связи с рассматриваемой проблемой нам осталось только коснуться вопроса: нравственна ли ядерная война?

Если по отношению к обычной войне мнения о ее нравственности или безнравственности еще как-то варьируются, то в том, что касается войны ядерной, явно преобладающим является взгляд, что она безнравственна. В чем причина этого?

Если подходить к войне формально, как к злу вообще, как к некоторому событию, когда убивают людей, то разницы между той и другой войной нет. А такой подход весьма распространен, особенно среди западных моралистов. Напомню, что упоминавшийся уже Холмс в своей книге так и пишет, что война безнравственна, потому что там убивают. В самом деле, ядерное оружие (как, собственно,

и другие виды оружия массового поражения) не делает человека более мертвым, чем попавшая в него стрела или пуля.

Тогда разница, может быть, в числе жертв ядерной и обычной войны, в наносимых материальных разрушениях? Но, как замечает всё тот же Холмс, многие планируемые ограниченные ядерные войны предусматривают меньшие потери, нежели большие конвенциональные войны XX века: «Вторая мировая война оставила более 50 миллионов убитых, что равно потерям не самой большой ядерной войны». Не ограничиваясь современностью, Холмс идет вглубь веков и напоминает, что Карфаген был разрушен римлянами в 3-й Пунической войне настолько основательно, что это может быть вполне сравнимо с тем, будто на него сбросили ядерную бомбу⁵⁹.

Дело, выходит, не в числе жертв и не в масштабности разрушений. Если уж продолжать примеры, то можно вспомнить Тридцатилетнюю войну (1618–1648), когда вся Центральная Европа, и прежде всего территория Германских княжеств, превратилась, по сути дела, в дикую обезлюдевшую пустыню, по которой рыскали волки и одичавшие люди в поисках пищи. Из всего населения княжеств две трети были убиты или умерли от ран, голода и болезней. А ведь никаких средств массового уничтожения тогда и в помине не было.

Формально-количественный подход к вопросу, таким образом, не решает его. Моралист Холмс, подходя к проблеме нравственности войны формально, с позиций абстрактной морали, сам себя ставит в неловкое положение, заявляя:

«Ядерная война сама по себе, с моральной точки зрения, ничуть не хуже обычной войны».

Почему же, спросим, не хуже?

«Потому, — важно отвечает Холмс, — что *смерть и разрушение присущи обеим*»⁶⁰ (курсив мой. — Э.П.).

Итак, согласно Холмсу, если смерть и разрушение присущи обоим видам войны (как обычной, так и ядерной), то с моральной точки зрения они дурны одинаково.

Как-то в одной из передач нашего радио довелось услышать поразительные цифры: в 1990 году только в СССР и только в автодорожных катастрофах погибло свыше 30 тыс. человек, то есть *за один лишь год* в два раза больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. В наше время в связи с резко возросшим автодвижением и столь же резко

снизившимися чувством ответственности и уровнем дисциплины, эта цифра значительно возросла. Если к этому прибавить число погибших и раненых в авиакатастрофах, в морских и речных катастрофах, если полученное суммировать с подобными же данными по всем другим странам мира, то итоговая цифра должна потрясать своими масштабами. Здесь мы видим те же смерть и разрушение, притом смерть, как и на войне, насильственную, гибель старых и молодых, взрослых и детей, виновных и вовсе безвинных... Но почему же в этом случае не слышится гневный глас всяких «холмсов» и иже с ними, клеймящий, как безнравственные, все виды современного транспортного движения на том основании, что там ежегодно гибнут сотни тысяч ни в чем не повинных людей? Почему не слышно их призывов к прекращению авто-, авиа- и морских движений, как радикальному средству положить конец бессмысленным смертям людей и материальным разрушениям?

Надо думать, по той простой причине, что такие призывы были бы глупы, а тех, кто выступит с ними, сочли бы за сумасшедших. Все знают, что автомашины, скоростные поезда, самолеты, морские лайнеры — всё это «великое» приобретение цивилизации, которым человечество гордится. Что же касается некоторых его печальных последствий, о которых бесстрастно свидетельствует нам статистика, то о них мы предпочитаем не очень распространяться — они «встроены» в жизнь современной цивилизации как неизбежные «издержки производства», и мы принимаем их как явление, хотя и достойное сожаления, но всё же должное.

Зато у тех, кто равнодушно проходит мимо этой скорбной стороны нашей жизни, тут же начинает гореть от благородного негодования лоб, как только речь заходит о войне. Тут уж они ничем не сдерживают своего «морального потения»; тут ведь можно отличиться и снискать лавры «борца за мир» и, глядишь, даже схлопотать Нобелевскую премию мира.

Моралист Холмс в излишнем рвении доказать зло войны не увидел главного различия между обычной войной и войной ядерной, различия, делающего именно последнюю безнравственной. И тут чутье большинства людей, выступающих против нее, не подвело их. Ядерная война (впрочем, как и война с применением других современных средств массового уничтожения, не уступающих, а то и превосходящих по своей разрушительной и убойной силе оружие ядерное) — это даже и не война, *это массовое убийство и разрушение*. В войне, о чем говорилось выше, проявляются многие высшие нравственные чувства и добродетели человека и целых народов; в этом

смысле война есть во многих своих отношениях героика. В ядерной же войне человек — ничто, он лишается в ней даже права умереть как человек, как воин. Издавна проводилось различие между солдатом и палачом, хотя тот и другой убивают; но солдат убивает в бою, где у него такие же шансы быть убитым противником. Палач же убивает беззащитного человека, человека, не могущего оказать сопротивления, — тут уже чистое убийство. Вот примерно такое же различие видится между обычной и ядерной войной. В последней какой-нибудь чиновник в военной форме, в личном плане, возможно, трус и подонок, простым нажатием кнопки насылает смерть на тысячи храбрых и мужественных людей, не способных даже элементарно защитить себя, не говоря уже о большем. Для человеческого разума и чувств человека такая мысль невыносима; и если человек восстает против ядерной войны как аморального по глубинной сути своей явления, он знает, по какой причине, и он никогда не смешает «божiego дара с яичницей», как это делает Холмс и ему подобные.

Но в то же время, как говорилось, в наличии ядерного оружия можно обнаружить и определенные признаки нравственного содержания, *но исключительно в качестве сдерживающего средства*, как средства предотвращения войны, если, конечно, предотвращение войны любым способом можно считать нравственным само по себе, безотносительно к реальным жизненным обстоятельствам. Ведь порой не война, а мир может быть более безнравственным. Трудно тут не согласиться с Данилевским, писавшим:

«Хотя война очень большое зло, однако же не самое большее, — есть нечто гораздо худшее войны, от чего война и может служить лекарством, ибо “не о хлебе едином жив человек”»⁶¹.

Что может быть хуже войны, уточняет и Лев Гумилев: *это — обращение в рабство, оскорбление чтимых святынь, разграбление имущества и, наконец, оскорбительное пренебрежение*⁶².

Примечания

¹ Тезис этот взят отнюдь не из плохой книги на данную тему. По крайней мере, такой тонкий ценитель интеллектуализма, как Стенли Хоффман, назвал ее, наряду с книгой Р. Арона «Мир и война между народами», единственно достойной внимания из современных сочинений на данную тему. Хотя это и явная переоценка, но переоценка

в верном, в общем, направлении. Речь идет о книге К. Уолтца «Человек, Государство и Война» (*Waltz Kenneth N. Man, the State and War. A Theoretical Analysis. N.Y., 1959. P. 2*).

² Толстой Л.Н. Собр. соч. В 14 т. М., 1951. Т. 7. С. 303–304.

³ Aron R. La societe industrielle et la guerre. Paris, 1959. P. 90.

⁴ Толстой Л.Н. Собр. соч. Т. 7. С. 313.

⁵ Там же. С. 328, 329.

⁶ Там же. С. 343, 345.

⁷ Цит. по: Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993. С. 304.

⁸ Эккерман И.-П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1986. (Запись от 11 марта 1828 г.)

⁹ Цит. по: Barnes Harry E. World Politics in Modern Civilization. N.Y., 1930. P. 295.

¹⁰ См.: ibid. P. 295–296.

¹¹ См.: ibid. P. 297–299.

¹² См.: ibid. P. 298–299.

¹³ Ibid. P. 302.

¹⁴ Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. С. 316.

¹⁵ См.: Waltz K. International Structure, National Force and the Balance of World Power // Rosenau J. (Ed.). International Politics and Foreign Policy. N.Y.-Lnd., 1969. P. 16.

¹⁶ См.: ibid. P. 28.

¹⁷ Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 157.

¹⁸ Цит. по: Waltz K. International Structure, National Force and the Balance of World Power. P. 81.

¹⁹ Ibid. P. 159.

²⁰ Ibid. P. 1.

²¹ См.: Вопросы философии. 1989. № 3. С. 99.

²² Цит. по: Литературная газета. 15 августа 1990. С. 13.

²³ Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 167.

²⁴ См.: там же. С. 167–168.

²⁵ См.: Франк С.Л. Из размышлений о русской революции // Новый мир. 1990. № 4. С. 208–209; а также: Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. С. 184, 264.

²⁶ См.: Hoffman S. Janus and Minerva. Essays in the Theory and Practice of International Politics. Westview Press, 1987. P. 439–440.

²⁷ Гегель. Философия истории // Гегель. Соч. М.-Л., 1935. Т. VIII. С. 27.

²⁸ См.: Schuman F. International Politics. N.Y., 1933. P. 642.

²⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 11. С. 617–618.

³⁰ См.: Инсаров Х.Г. Князь Меттерних. Его жизнь и политическая деятельность. СПб., 1905. С. 35.

³¹ Тейлор А.Дж.П. Борьба за господство в Европе. 1848–1918. М., 1958. С. 519–520.

³² Russett Bruce M. Power and Community in World Politics. San Francisco, 1974. P. 173.

³³ Ibid. P. 173.

³⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 306.

³⁵ Фей С. Происхождение мировой войны. В 2 т. М.-Л., 1934. Т. 1. С. 19.

³⁶ Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С. 463.

³⁷ Spykman Nicholas J. America's Strategy in World Politics. The United States and the Balance of Power. N.Y., 1942. P. 25.

³⁸ Цит. по: *Waltz K. International Structure, National Force and the Balance of World Power.* P. 34, 35.

³⁹ В книге Кена Бута «Стратегия и этноцентризм» находим, к примеру, следующее: война, пишет автор, «порой может быть чем угодно, но только не продолжением политики». Этим «чем угодно» оказывается религия и культура (*Booth K. Strategy and Ethnocentrism.* Lnd., 1979. P. 74). Это «глубокомысленное» утверждение можно прокомментировать лишь словами классика: «Всё смешалось в доме Облонских».

⁴⁰ *Клаузевиц.* О войне. Т. I. Изд. 4-е. М., 1937. С. 34.

⁴¹ Фихте, комментируя кантовский трактат «К вечному миру», разразился по поводу понятия «право войны» гневной тирадой. «Нет международного права, оправдывающего войну, — пишет он. — Право — это мир. Война вообще не является правовым состоянием, и, если бы это состояние было соблюдено, не было бы никакой войны... Вряд ли можно найти что-либо более несурзное, чем понятие “право войны”», — заключает он (Трактаты о вечном мире. М., 1963. С. 199).

⁴² *Клаузевиц.* О войне. Т. II. 3-е изд. М., 1936. С. 377, 378.

⁴³ См.: там же. Т. I. С. 35.

⁴⁴ *Holmes R. On War and Morality.* Princeton, N.J., 1989. P. 5.

⁴⁵ *Клаузевиц.* О войне. Т. I. С. 43.

⁴⁶ Там же. С. 43–44.

⁴⁷ Там же. С. 53.

⁴⁸ Там же. С. 54.

⁴⁹ *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 32. С. 79, 80, 82.

⁵⁰ *Клаузевиц.* О войне. Т. I. С. 34.

⁵¹ *Hoffman S. Janus and Minerva.* P. 44.

⁵² См.: *Holmes R. On War and Morality.* P. 268.

⁵³ *Монтескьё III.* О духе законов. Кн. X. Гл. 1 // Монтескьё III. Избр. произв. М., 1955. С. 275.

⁵⁴ *Клаузевиц.* О войне. Т. I. С. 35.

⁵⁵ См., например: *Holms R. On War and Morality.* P. 238–239.

⁵⁶ *Niebuhr R. Chastisement unto Repentance or Death // Niebuhr R. Love and Justice: Selections from the Shorter Writings of Reinhold Niebuhr / Ed. by D.B. Robertson.* Cleveland, 1967. P. 181.

⁵⁷ *Вебер М.* Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избр. произв. М., 1990. С. 319, 320.

⁵⁸ *Ranke L. von.* The Theory and Practice of History. N.Y., 1983. P. 117.

⁵⁹ *Holms R. On War and Morality.* P. 6, 7.

⁶⁰ *Ibid.* P. 7.

⁶¹ *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. М., 1991. С. 436.

⁶² См.: *Гумилев Л.Н.* Древняя Русь и Великая степь. М., 1992. С. 190.

Глава IX

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

В предыдущей главе среди важнейших причин, порождающих войны, назывались и те, которые связаны с отношениями между государствами или с системой отношений между ними. Уже этот факт говорит о ее важности и необходимости ее изучения. Собственно, эта система включает в себя все те явления и процессы, которые относятся к мировой политике. И в самом деле, какие бы ее аспекты ни рассматривать — социальные, экономические, военно-стратегические, культурные или религиозные, какие бы виды отношений ни брать, будь то между правительственными или неправительственными организациями, между фирмами и отдельными людьми, — все они так или иначе связаны с отношениями государств между собой, с их внешней политикой, внешнеполитическими интересами, целями и приоритетами. Вот эти отношения в своей совокупности и взаимосвязи и составляют сердцевину международного общения и основу мировой политики.

Этот в общем-то тривиальный факт служит тем исходным пунктом, от которого приходится отталкиваться всякий раз, когда возникает задача рассмотреть мировую политику или международные отношения в целом или в отдельных их частях и проявлениях. Основу мирового сообщества составляет совокупность государств. Они различаются по своему географическому положению, размерам, политическому строю, уровню экономического развития и, соответственно, по своей значимости и роли, которую они играют в международных отношениях. Взаимодействуя между собой, они определяют в каждую эпоху содержание и структуру того, что принято называть «системой международных отношений».

Не все, однако, разделяют такую точку зрения. Так, скажем, в одной из работ два теоретика — один английский, другой американского подданства — утверждают, что государства вообще не являются

«действующими лицами» («актерами»); действуют же индивидуумы и многообразные группы внутри и вовне государств¹.

Государство фактически низводится авторами до статуса семьи, племени, профессионального союза, политической партии или деловой корпорации². При этом упускается из виду тот факт, что все означенные группы существуют исключительно в рамках государства и вне его превращаются в ничего не значащие вещи. Впрочем, об этом было достаточно сказано во второй главе книги.

Надо заметить, что в наши дни вообще много пишут и говорят о снижении роли государства не только во внутривосточных отношениях, но и в отношениях международных. Некоторые считают, что в прежнем своем обличье и понимании оно переживает кризис, что меняется природа отношений между государствами, меняются их внешнеполитические цели в направлении от обеспечения безопасности к экономическому и гуманитарному сотрудничеству и, соответственно, меняются средства их достижения. В связи с этим падает якобы значение силы как эффективного инструмента внешней политики, и вообще национальное государство утрачивает свое былое значение.

В таких утверждениях содержится доля истины. Они и в самом деле отражают некоторые тенденции в развитии современного мира. Очевидно, что современные государства уже не могут ограничиться простым обеспечением безопасности. Новые содержание и форму обретает баланс сил; подвергаются изменениям средства политики, прежде всего средства военные и экономические; новые измерения получила проблема международной безопасности. Как следствие, понятийный аппарат традиционной дипломатии — независимость, суверенитет, невмешательство, баланс сил, агрессия и т.д. — потребовал определенной корректировки.

В то же время было бы, думается, не только ошибочно, но и опасно переоценивать происходящие перемены в том смысле, что государства как главные субъекты политики и международных отношений будто бы перестают играть свою прежнюю роль, что на их место всё в большей мере выдвигаются всевозможные наднациональные органы и организации, что на смену баланса сил приходит «баланс интересов», традиционная дипломатия уступает место дипломатии «народной» и прочее и прочее в том же духе неолиберального предрасудования.

Если в этой связи обратиться, скажем, к наднациональным организациям, создаваемым сегодня в различных регионах мира, то как их ни расценивать, в основе своей они продолжают опираться на го-

сударства, на их политическую волю, их заинтересованность в существовании таких организаций. Они служат интересам государств, но не наоборот. По крайней мере, ни один наднациональный орган еще не отменил ни суверенитета, ни границ, ни других важнейших политических атрибутов даже самого малого государства.

Еще более преждевременно сдавать в архив международных отношений такое понятие, как «баланс сил», вместе с сопутствующим ему понятием силы. Самым верным гарантом его сохранения и в нынешних условиях служит продолжающееся деление мирового сообщества на отдельные государства с их особыми и часто противоречащими друг другу интересами. И пока мир продолжает оставаться разделенным на государства с различным уровнем социально-экономического и политического развития, на государства «богатые» и «бедные», а значит, и государства с разными интересами, нет никаких оснований полагать, что в их отношениях возобладают интересы общие.

В такой ситуации не может не сохраняться и главная внешнеполитическая функция государств — обеспечение своей безопасности от внешней угрозы. Весь исторический опыт и вся практика внешней политики с древнейших времен и по настоящее время говорит о том, что международное сообщество не выработало для этого другого механизма, кроме механизма военно-политического баланса сил, равновесия сил, военно-стратегического паритета и т.п. Этот механизм, в свою очередь, неотделим от гонки вооружений, от образования союзов и коалиций государств, и одно обуславливает другое. Ведь и система международного права, рассматриваемая некоторыми идеалистами в качестве гаранта обеспечения мира и безопасности, сама в основе своей покоится на балансе сил и в значительной мере служит целям его поддержания.

В данной главе рассматриваются особенности отношений именно между государствами. В качестве отправного момента берется положение, что отношения между ними, несмотря на большие изменения в мире, в своей функциональной основе, в общих закономерностях своей жизнедеятельности остаются такими же, как и в прежние эпохи. Такой позиции придерживаются многие исследователи международных отношений. Более всего она присуща школе «политического реализма». Как отмечает, к примеру, один из известных американских политологов Роберт Гилпин,

«фундаментальная природа международных отношений сохранилась неизменной в течение тысячелетий. Международные отноше-

ния, как и прежде, продолжают оставаться борьбой за благосостояние и утверждение мощи среди независимых государств. Классическая история Фукидида остается таким же содержательным руководством для изучения поведения государств сегодня, как и тогда, когда она была написана в V веке до новой эры»³.

В этом находит свое выражение так называемый *инвариантный* аспект межгосударственных отношений, присущий всякой организационной системе, или, иными словами, способность системы сохранять свои существенные черты и параметры в процессе различных изменений и преобразований.

После таких предварительных замечаний приступим непосредственно к рассмотрению межгосударственных отношений, их природы как системы, закономерностей ее функционирования и развития. Эта задача, в свою очередь, побуждает остановиться на некоторых общих теоретических положениях, касающихся сферы международных отношений. И здесь мы сразу же сталкиваемся с немалыми трудностями. Дело в том, что многочисленные претензии на создание общей теории международных отношений, а вместе с этим и общезначимого понятийного аппарата (претензии, коими столь богата вторая половина XX столетия) завершились практически ничем. Более того, нынешним теоретическим представлениям о международных отношениях в большей мере присуще расхождение мнений, нежели согласие. Это относится, по существу, ко всем основным категориям и понятиям: к пониманию самого феномена международных и межгосударственных отношений, к природе и характеру факторов, воздействующих на функционирование системы межгосударственных отношений и на изменения в ней, к балансу сил и ко многому другому. Предлагаемый здесь взгляд на перечисленные понятия не претендует на всеобщность, хотя, разумеется, опирается на то лучшее, что уже сделано в этой области другими исследователями.

Мировая политика как система отношений между государствами

В качестве методологической основы исследования современных межгосударственных отношений автор берет *системный подход*. Основная посылка системного подхода состоит в том, что любой сложный и развивающийся объект — будь то отдельный организм, общество, государство, международные отношения и т.д. — представляет

собой относительно самостоятельную систему с присущими ей закономерностями. В этом смысле систему можно представить как некоторое множество входящих в нее элементов, сторон и отношений, неразрывно связанных между собой структурно, функционально и генетически, и действующую в соответствии с присущими ей закономерностями.

Система, таким образом, это не просто конгломерат или простая совокупность каких-то случайных элементов, а такое их соединение, такое органичное образование, которое создает новое качество. Вот эта интегральность является одной из важнейших характеристик всякой сложной системы. Применительно к межгосударственным отношениям данное положение означает прежде всего, что они рассматриваются не как анархическая совокупность различных связей и отношений, а как целостная система с присущими ей специфическими закономерностями функционирования и развития, с особыми связями между ее элементами-государствами.

В самом деле, любое государство существует, функционирует и развивается не само по себе, а в тесной связи с другими государствами, то есть в системе определенных отношений. Сегодня в условиях растущей многосторонней взаимозависимости государств тем более нельзя до конца понять многие явления и процессы, особенности их взаимодействия, включая и природу самой взаимозависимости, без знания и учета общесистемных закономерностей в сфере межгосударственных отношений. Для любого государства система межгосударственных отношений — та внешняя среда, под воздействием которой в значительной мере формируется не только его внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность, но и деятельность внутриполитическая. В этой среде государства взаимодействуют друг с другом, в ней непосредственно сталкиваются их интересы, осуществляется сотрудничество и решаются важнейшие проблемы, затрагивающие не только судьбы отдельных государств, но порой и судьбы всего мира.

Собственно, само существование внешнеполитической функции государств обязано существованию внешней среды, то есть системы государств, на которую данная функция и направлена. Осуществляя ее, государство вступает в политические отношения с другими государствами и тем самым становится одним из «элементов» системы межгосударственных отношений со всеми вытекающим отсюда последствиями. Государства, в свою очередь, также оказывают влияние на систему, испытывая одновременно воздействие с ее стороны. Находясь в постоянном взаимодействии и взаимосвязи друг

с другом, они образуют, таким образом, особую систему отношений, имеющую свою специфическую природу, свои особые свойства и закономерности, не сводимые к закономерностям жизнедеятельности входящих в нее государств. Подобно тому как система это отнюдь не простая совокупность государств, так и каждое государство в составе системы далеко не то же, что оно представляет собой как отдельно взятое образование. В рамках системы государство проявляет те свои свойства и качества, которые порождены исключительно самим фактом его вхождения в систему.

В основе системного взаимодействия, в свою очередь, лежит *взаимозависимость* государств. Она возникает из их потребности во взаимном общении, из существования общих и различающихся интересов и целей. Реализуя их, они неминуемо входят в соприкосновение, влияют друг на друга, взаимодействуют. Эти взаимозависимость и взаимодействие государств отнюдь не анархичны, а проявляются в определенной упорядоченности отношений, выражающейся в особой структуре их связей, в системе равновесия сил и союзов государств и т.д., то есть в явлениях, несущих в себе характерные признаки *системных* отношений.

Помимо того такие проблемы, как коллективная и индивидуальная безопасность, предотвращение войны, урегулирование конфликтов и другие — суть проблемы, порождаемые взаимодействием и взаимозависимостью государств, а потому проблемы системные, возникающие в ходе функционирования и развития либо всей системы, либо какой-то ее части (подсистемы).

В свою очередь, внешнеполитическая деятельность государств служит своего рода средством их адаптации к конкретным системным условиям. Эти условия не зависят от воли, желаний и намерений отдельных государств и далеко не всегда соответствуют их интересам и мотивировочным установкам. Поэтому государствам в процессе реализации своей внешнеполитической функции приходится постоянно сообразовывать свои потребности, цели и интересы, определяемые их внутренним развитием, с объективными условиями в системе. Внешнеполитическая деятельность практически и служит целям этой адаптации. Государства приспособливают свои интересы и цели к внешним условиям не пассивно: они используют соответствующие формы и методы внешнеполитической деятельности, стремясь воздействовать на происходящие в системе процессы в соответствии со своими интересами, меняя в ходе взаимодействия сами эти формы и методы.

Хотя в каждом конкретном случае выбор тех или иных методов и средств внешнеполитической деятельности ограничен системными

факторами, зависимость эта, разумеется, не носит жесткого характера. В системе межгосударственных отношений, как, собственно, и в любой иной социальной системе, не существует жесткой, однозначной детерминации поведения ее элементов, их функционирования и развития со стороны системы. Входящие в систему элементы всегда обладают определенным набором степеней свободы, отличаются вариативным поведением, вероятностным образом действия. Но в то же время было бы ошибочно абсолютизировать эти вариативность и свободу, поскольку и то и другое имеет место в определенных системно-структурных границах, которые ограничивают их и детерминируют соответствующее поведение государств.

В рамках взаимодействия системы межгосударственных отношений и внешнеполитической деятельности государств это означает, в общем, что в пределах исторически сложившихся системно-структурных условий и с учетом места государства в структуре пределы этой деятельности, равно как и выбор внешнеполитических средств имеют определенную «предзаданность». Государства не могут ее нарушить, не вызвав тем самым негативных последствий как для себя, так и для системы в целом. В этом выражается тесная взаимозависимость внешнеполитической деятельности государств (как субъективного момента) и системно-структурных отношений (как момента объективного).

И в самом деле, взаимозависимость элементов присуща только органической системе, в которой они связаны отношениями взаимодействия и взаимовлияния. Эта взаимозависимость служит в то же время самосохранению системы, которая как бы отторгает от себя «несистемные» действия государств, то есть те действия, которые грубо нарушают закономерности функционирования системы и, в первую очередь, сложившийся в ней баланс сил. Та же война, к примеру, какими бы причинами она ни вызывалась, служит, в конечном счете, *крайним* системным средством восстановления нарушенного равновесия.

Применяя системный подход в качестве средства исследования, нужно, разумеется, отдавать себе отчет в том, что его возможности достаточно ограничены и он не может служить панацеей при решении исследовательских задач в области мировой политики. «Система межгосударственных отношений», «законы» ее функционирования и развития, «баланс сил», «равновесие» и т.д. — всё это лишь те самые веберовские «идеальные типы», призванные служить средством лучшего понимания окружающего мира, в нашем случае — «мировой политики». Нет оснований их абсолютизировать,

но нет оснований и пренебрегать ими. Как научные средства, они, возможно, не лучше, но и не хуже остальных, находящихся в арсенале науки, изучающей отношения между государствами.

Структура системы межгосударственных отношений

В основе системной взаимосвязи государств, ее функционирования и развития, ее устойчивости лежит *структурная организация* системы, представляющая собой инвариантный* и определенным образом организованный способ связи ее элементов. Как сам способ связи, так и место каждого государства в структуре являются важнейшими детерминантами внешнеполитической деятельности государств.

В рамках предлагаемого подхода структура системы межгосударственных отношений в общем виде может быть представлена в виде трех иерархически взаимосвязанных уровней:

- уровня центросиловых отношений,
- уровня узлов противоречий,
- уровня системно-структурной «надстройки»⁴.

При всей условности такого деления положительная его сторона видится в том, что оно позволяет представить межгосударственные отношения в упорядоченном виде, а не как безбрежное анархическое и не поддающееся никакой разумной систематизации множество связей.

Центросиловые отношения представляют главный уровень структуры. Как таковой он присущ всем историческим состояниям системы и является закономерной, повторяющейся, то есть инвариантной, формой отношений между определенными государствами системы. В каждый период развития системы центросиловые отношения выражаются в конкретно-исторической форме отношений между государствами, получившими в дипломатической и внешнеполитической практике название «великих держав». Так, скажем, в системе послевоенных межгосударственных отношений (1945–1991) она была представлена *биполярной* структурой отношений между СССР и США.

Сразу же замечу, что структура биполярности вследствие известных событий в СССР в 90-е годы прошлого столетия была разру-

* *Инвариантность* — неизменность какой-либо величины (или системы отношений) при изменении физических или социальных условий.

шена и трансформировалась в новое состояние, основанное на полицентричной структуре. В то же время благодаря резкому нарушению биполярного системного равновесия господствующее положение в системе заняли Соединенные Штаты. В результате система была разбалансирована, и это фактически привело к ее анархичности, «неуправляемости».

Итак, центросиловые отношения определяются, в конечном счете, совокупным действием мировых социально-экономических и политических процессов, ведущих к тому, что в каждый исторический период особо важную роль в системе начинают играть отношения между относительно небольшой группой наиболее мощных и влиятельных государств. Именно центросиловые отношения определяют преобладающий тип структурных отношений, порождают на каждом этапе развития системы присущий только ему комплекс системно-структурных противоречий и существенно детерминируют внешнеполитическую деятельность государств не только на центросиловом, но и на других уровнях структуры.

Помимо центросиловых отношений как отношений общесистемных, или применительно к системе современных межгосударственных отношений — глобальных, существуют и другие, сравнительно локализованные отношения между государствами. Некоторые из них, играющие особо важную роль в функционировании всей системы, можно условно определить как *«узлы противоречий»*. С системно-структурной точки зрения узлы противоречий — это относительно ограниченные в пространственном отношении комплексы связей между государствами, характеризующиеся быстрой динамикой развития, обостренностью противоречий, взрывоопасным характером развития отношений, конфликтностью и нестабильностью.

Исторически они появляются обычно в местах подъема национально-освободительного движения, становления новой государственности, глубоких внутренних социально-экономических перемен в жизни обществ. Возникающие на этой почве отношения образуют, как правило, острый клубок противоречий, столкновений, борьбы как между непосредственными участниками «узловых» отношений по поводу границ, территории, населения, природных ресурсов и т.д., так и между внешними по отношению к ним силами.

Узел противоречий — это, в принципе, всегда *конфликтно-кризисный комплекс* отношений между государствами, и этим в значительной мере определяется его роль в системных отношениях. В системе современных международных отношений наиболее ярко выраженным «узлом противоречий» можно назвать Ближний Восток.

Уровень центросиловых отношений и уровень узлов противоречий тесно взаимосвязаны и в определенных границах детерминируют друг друга при общей доминантной роли в этом взаимодействии отношений центросиловых. Взаимодействие центросиловых и узловых структурных отношений порождает в каждый конкретно-исторический период развития системы сложный комплекс системных противоречий между государствами, принимающий многообразные формы союзов, коалиций, группировок.

Наконец, третий уровень связей структуры — это уровень структурной «*надстройки*». Центросиловые отношения и узлы противоречий как уровни прямого взаимодействия государств представляют в совокупности то, что можно назвать базовыми структурными отношениями государств. В процессе их взаимодействия, то есть функционирования и развития системы, возникают в то же время различные международно-политические органы и организации, учреждения, институты, система международно-правовых норм и т.д. Все они в совокупности образуют своеобразную «*надстройку*» над базовыми отношениями. Чем разветвленнее и сложнее базовые отношения, тем сложнее и «*надстройка*» над ними. Это хорошо видно на примере современных межгосударственных отношений с их сложной и широкой сетью «*надстроечных*» отношений, включающих ООН, различные международные правительственные и неправительственные организации и т.п.

В целом можно сказать, что место и роль отдельных государств в системе определяется их принадлежностью к тому или иному уровню структуры. Однако лишь весьма ограниченное число государств являются участниками центросиловых отношений; отнюдь не все из них входят и в те или иные узлы противоречий и не все играют сколь-нибудь заметную роль в отношениях «*надстроечных*». В этом случае их место и роль могут быть определены их принадлежностью к той или иной *подсистеме* системы межгосударственных отношений.

Понятие *подсистемы* неотрывно от понятия структуры системы межгосударственных отношений. Подсистема — это имманентно присущий системе компонент, причинно и структурно-функционально связанный с ней и с другими входящими в нее подсистемами. В то же время подсистема относительно независима. Каждую структурную подсистему правомерно рассматривать как относительно самостоятельное целостное образование в рамках системы с присущими ей специфическим типом жизнедеятельности, противоречиями, сотрудничеством. Классическим примером подсистемы является Западная Европа.

Такой подход дает возможность определить место каждой подсистемы в общесистемной структуре и ее роль в функционировании и развитии всей системы. Наиболее полно подсистемные отношения выражены в узле противоречий. Однако подсистема — не обязательно одновременно и узел противоречий. Здесь можно сказать так: каждый узел противоречий есть подсистема, но не каждая подсистема — узел противоречий. Так, скажем, различные межгосударственные организации, группировки, блоки и союзы государств не всегда являются узлами противоречий, хотя могут быть рассмотрены как подсистемы.

Подсистема как относительно независимый комплекс отношений имеет две стороны: *собственно подсистемную* с высокой степенью развития внутриподсистемных межгосударственных отношений (противоречий, конфликтности, сотрудничества и т.д.) и *общесистемную*, выражающуюся в тесной связи и переплетении подсистемных отношений с общесистемными.

Взаимосвязь и взаимозависимость обеих сторон часто достигают очень высокой степени, вследствие чего образуется нерасторжимый комплекс связей и отношений государств разных уровней, когда изменения на одном из них ведут к изменениям на другом. В качестве примера возьмем тот же ближневосточный узел противоречий. Этот узел — типичная подсистема с ярко выраженными подсистемными характеристиками. Ему свойствен специфический вид жизнедеятельности со своими подсистемными противоречиями, характеризующимися многолетним конфликтом между арабскими государствами и Израилем и в то же время — острыми противоречиями между самими арабскими государствами. Его отличает своя подсистемная структура, имеющая собственные центросиловые отношения, свои подсистемные узлы противоречий и свой подсистемный баланс сил. Ему также присущи относительная независимость подсистемных межгосударственных отношений от отношений центросиловых и одновременно — тесная взаимосвязь и взаимозависимость с ними.

Глубокая вовлеченность ряда великих держав в ближневосточный узел сделала его необходимым компонентом поддержания и общесистемного равновесия сил. Как результат, всякое серьезное нарушение баланса сил на Ближнем Востоке ставит под угрозу нарушения общесистемное равновесие и обычно вызывает активное вмешательство великих держав в ближневосточные дела. В свою очередь, это сопровождается нарушением общесистемного баланса сил. Такая тесная взаимозависимость подсистемного и общесистемного равновесия при общей нестабильности того и другого придает комплексу под-

системных отношений особо взрывоопасный характер. Превращение системы современных межгосударственных отношений в глобальную не только не ослабили, но и еще более усилили функциональную взаимозависимость подсистемных и общесистемных отношений.

Тенденция к усилению взаимозависимости государств носит объективный характер. Было бы, однако, наивностью рассматривать ее лишь в позитивном аспекте как нечто такое, что само по себе ведет к объединению интересов всех государств. Тенденция эта одновременно содержит в себе и постоянную угрозу стабильности системы. Сегодня эта угроза связана прежде всего с разрушением структуры биполярности, сопровождаемым центробежными явлениями, структурными преобразованиями, дезинтеграционными процессами, появлением новых узлов противоречий, новых конфликтных ситуаций, которые именно вследствие действия закона взаимозависимости практически не оставляют вне поля своего деструктивного влияния ни одно государство мира.

* * *

Системно-структурные отношения в каждый определенный период времени представляют, таким образом, ту объективную основу, в связи и во взаимодействии с которой осуществляется внешнеполитическая деятельность государств. Эта основа, как уже отмечалось, не зависит от воли, желаний, намерений, целей или интересов отдельных государств. Особенность ее в том, что сама она — результат всей предшествующей деятельности государств. Это важный момент в понимании соотношения структуры и внешней политики, объективного и субъективного, необходимости и свободы воли.

Внешнеполитическая деятельность государств, как деятельность целенаправленная, есть фактор субъективный. Структура же системы межгосударственных отношений в каждый рассматриваемый момент своего исторического развития представляет собой уже *объективный результат* предшествующей внешнеполитической деятельности государств. В этом качестве она в известной мере противостоит отдельным государствам и детерминирует в соответствующих пределах их внешнеполитическую деятельность, характер, цели и диапазон внешнеполитических выборов. Внешнеполитическая деятельность государств, в свою очередь, как момент «субъективный», направлена либо на изменение, либо на сохранение сложившихся структурных отношений в соответствии со своими постоянно меняющимися потребностями и интересами.

Это противоречивое взаимодействие между определенной *статичностью* структурных связей и *динамикой* меняющихся интересов государств есть, собственно, та движущая сила, которая, с одной стороны, ведет к изменениям форм и средств внешнеполитической деятельности государств, с другой — готовит исподволь структурные преобразования. Поэтому можно сказать, что структура в такой же мере «творит» формы и методы внешнеполитической деятельности государств, в какой государства своей внешнеполитической деятельностью «творят» структуру, воздействуя на изменения в ней.

Реальная структура отношений между государствами образуется, таким образом, как некий результат внешнеполитических действий и взаимодействий государств. Она не зависит от намерений государств, тем более от политической мотивации их действий. Зависит она от самих действий. Действенно же проявляют себя государства опять-таки в определенных структурных границах, предпосылках и условиях. Это сложный диалектический процесс, следствием которого является видоизменение как структуры, так и внешнеполитической деятельности государств.

На каком бы уровне структурной иерархии ни находилось то или иное государство, как бы могущественно ни было, оно вынуждено приспособлять свои интересы и цели к характеру сложившихся связей в системе межгосударственных отношений. Эти структурные отношения вносят подчас весьма существенные коррективы в цели и намерения государств. Тем самым внешнеполитическая свобода действий, вариативность внешнеполитического поведения, пределы проявления внешнеполитической «индивидуальности» — всё это, в принципе, имеет место в рамках сложившейся структуры и детерминируется ею. Попытки их нарушения могут быть чреваты самыми серьезными последствиями как для системы в целом, так и для одной из ее подсистем или отдельных государств.

Итак, внешнеполитическая деятельность государств отнюдь не анархична — она всегда *системно определена*. Другими словами, не существует и не может существовать абсолютно независимой внешнеполитической деятельности, деятельности вне системного воздействия на нее. Хотя у людей, принимающих внешнеполитические решения, всегда имеется некоторый диапазон свободного выбора, действительный выбор и действительно значимые решения всегда находятся в довольно четких границах, определяемых сложившимися системными отношениями. По этой причине в каждый данный период времени и в данной конкретно-исторической структуре межгосударственных отношений далеко не все логически возможные

действия государств оказываются в то же время возможными исторически.

* * *

Структура системы как закон связи государств олицетворяет устойчивость системы, ее стабильность. Однако в процессе взаимодействия государств, в процессе функционирования и развития системы возникают постоянные отклонения от этой стабильности, ведущие к ее нарушениям, неустойчивости. Структура выражает отношения государств как бы в статике, тогда как функционирование и развитие системы выражают динамику этих отношений.

Под *функционированием* в данном случае понимается движение, изменение системы в рамках определенной, то есть конкретно-исторической структуры (например, в рамках биполярной структуры). Само по себе оно не вызывает существенных преобразований в структуре и перехода системы в новое качественное состояние, хотя и готовит предпосылки и условия для такого перехода, для превращения частных изменений в изменения общие, системные.

Развитие системы — это уже процесс *качественных* преобразований в ней. Речь идет о существенных изменениях в сложившихся системно-структурных отношениях и в соответствующей им внешнеполитической деятельности государств, прежде всего на центросиловом уровне. Вследствие этого система переходит из одного качественного состояния в другое. Ближайший к нам по времени пример — переход системы биполярности в полицентрическую систему на рубеже XX–XXI столетий.

Оба эти процесса (функционирование и развитие) в то же время неразрывно связаны друг с другом, и функционирование служит основой исторического развития системы. Можно сказать так: функционируя, система развивается; развиваясь, она функционирует.

Основной и важнейшей закономерностью функционирования системы межгосударственных отношений является тенденция к поддержанию в ней состояния динамического равновесия, или баланса сил. Поддержание равновесия, сбалансированности между входящими в систему элементами — функциональный способ ее существования. Роль этой закономерности в жизнедеятельности системы и в детерминации внешнеполитической деятельности государств представляется настолько важной, что требует специального к себе внимания, и она подробно рассматривается в третьем

параграфе данной главы. Однако целесообразно предварительно дать некоторое общее представление о том, что понимается под силой в международных (межгосударственных) отношениях.

Понятие силы в мировой политике

По отношению к понятиям «сила» и «баланс сил» в политических отношениях у нас в недалеком прошлом существовал своеобразный дуализм. В то время как политическая практика Советского Союза базировалась по преимуществу на силовых принципах, подпиравшая ее политическая теория, отталкиваясь от господствующей идеологии, если и не отвергала вовсе, то по крайней мере критически относилась к таким понятиям, как «сила», «баланс сил» и т.п.

Сегодня дуализм странным образом продолжает сохраняться, но уже как бы в перевернутом виде. Освобожденная от идеологических оков, политическая теория начинает разрабатывать запретные прежде участки, тогда как внешнеполитическая практика, наоборот, становится в некотором смысле сентиментально-велеречивой, падкой на возвышенные слова и чувства, моральные сентенции и всё такое прочее, не имеющие в политике ровным счетом никакой значимости.

Политические идеалы и высокие моральные принципы, какими бы высокими они ни были, имеют малую ценность в жизни, если не поддержаны силой. Напомню тут слова Макиавелли, что все *вооруженные* пророки побеждали, а *невооруженные* гибли. Да ведь и само государство есть полное воплощение силы. Складывающаяся ситуация внутри государства или за его пределами может в любой момент потребовать от него применения силы. Положения эти, хотя и элементарные, тем не менее нередко стыдливо замалчиваются или вообще игнорируются. Однако помнить о них сейчас тем более необходимо перед лицом известных событий на изломе веков, создавших принципиально новую силовую ситуацию в Евразии, в Европе и мире в целом. Данное обстоятельство уже привело к смене мировой системы баланса сил, и, судя по всему, в ней назревают новые серьезные изменения, связанные с событиями в Европе, на Ближнем Востоке, в Украине и других регионах мира.

* * *

В своей речи при вступлении в 1862 году в министерство Бисмарк произнес ставшие известными всему миру слова:

«Великие государственные вопросы решаются не правом, а силой — сила всегда предшествует праву»⁵.

Комментируя это высказывание, Бакунин заметил:

«Бисмарк с обычной смелостью, свойственной ему циничностью и презрительной откровенностью высказал в этих словах всю суть политической истории народов, всю тайну государственной мудрости. Постоянное преобладание и торжество силы — вот настоящая суть; всё, что на политическом языке называется правом, есть только освящение факта, созданного силою»⁶.

Можно по-разному относиться к этим суждениям, но вряд ли кто станет отрицать роль силы в политике вообще и в международных отношениях в особенности.

«В политике существуют только две решающие силы: организованная сила государства, армия, и неорганизованная сила народных масс», — отмечал и Энгельс⁷.

Нас в данном случае интересует главным образом сила государства во всем многообразии ее проявлений. С древнейших времен и по настоящее время сила государства неизменно в центре внимания теоретиков и практиков внешней политики и международных отношений. «Баланс сил», «соотношение сил», «расстановка сил», «силовая политика», «политика с позиции силы» и прочие аналогичные выражения, широко используемые в политическом словаре и составляющие значительную часть понятийного аппарата внешнеполитических исследований, наглядно свидетельствуют о значимости категории силы государства. Она нашла полное свое отражение и в работах теоретиков-международников, неизменно подчеркивавших ее роль и значение как во внешней политике отдельных государств, так и в отношениях между ними.

Как бы выражая мнение многих из них, американский исследователь Спикмен подчеркивал, что, если внешняя политика государства желает быть реалистической, она должна формироваться не на основе некоего воображаемого мира, но в понятиях реальностей международных отношений, то есть в понятиях *силовой* политики, и рассчитывать оно должно в первую очередь на собственную *силу*⁸.

При всей распространенности и частоте использования понятия «сила государства» не существует, однако, общепризнанного ее

определения. Более того, далеко не столь уж ясно и содержание этого понятия: разные исследователи и разные политологические школы вкладывают в него свой собственный смысл. Как бы то ни было, но почти ни одна теоретическая концепция внешней политики или международных отношений не обходится без попытки определения силы вообще и силы государства в частности, как инструмента описания отношений между государствами или объяснения поведения государств и его результатов. Практически все согласны с тем, что сила служит средством достижения определенных целей и что изменения в ее параметрах — один из важных факторов, обуславливающих изменения в поведении государств.

С учетом всего многообразия значений силы государства можно сделать вывод, что в исследованиях межгосударственных отношений это понятие, по мнению многих, выражает, в общем и целом, способность одного государства навязывать свою волю другим с целью реализации своих интересов и целей. В этом смысле «сила» делается фактически синонимом понятия власти.

Что же касается различий в ее оценках, то здесь можно выделить два основных подхода. Один из них можно условно назвать подходом атрибутивным. Он рассматривает силу государства как нечто неотъемлемо присущее ему, *как его атрибут*, физическое свойство, которое можно измерить. Другой подход рассматривает силу под бихевиоральным (поведенческим) углом зрения, связывающим ее с поведением государств на международной арене и соотносящим ее с другими субъектами международных отношений. Принципиальное различие этих подходов дало начало существованию различных школ и направлений, каждое из которых основывается на своей системе доказательств в понимании феномена *силы* государства.

В целом же попытки найти критерии силы и способы ее измерения имеют давнюю историю. Наиболее близко по времени они связаны со школой «политического реализма» и ее признанным лидером Гансом Моргентау. По отношению к понятию «сила», или «мощь», школу «политического реализма» можно отнести к типично атрибутивному направлению в его оценке. В ее основе лежит предпосылка, что отношения между государствами представляют собой борьбу за доминирующее влияние. Силовое соперничество между ними, стремление к превосходству, борьба за него порождают с неизбежностью такой феномен, как *баланс сил*. Сами понятия «сила», «силовые отношения», «баланс сил» выступают фактически как категории однопорядковые, соизмеримые и взаимосвязанные. Когда и где бы ни возникали отношения между независимыми и суверен-

ными государствами, будь то в древнегреческих городах-государствах или в современной системе государств, силовые отношения между ними были и остаются поныне определяющими. Это положение Моргентау рассматривает как *«железный закон политики»*.

Предлагая различные формулировки и дефиниции силы, Моргентау одновременно выделяет и те, по его мнению, реальные компоненты, которые формируют силу государства. К ним он относит: географическое положение государства, его естественные ресурсы, промышленный потенциал, количество и качество вооруженных сил, людские ресурсы (демографический фактор), национальный характер, национальную мораль, качество дипломатии, уровень государственного руководства⁹.

К числу первых исследователей, предпринявших многофакторный анализ национальной мощи, можно отнести также Клауса Норра. В своей известной работе «Военный потенциал государств» (имеется перевод на русский язык) он проводит различие между реальной и потенциальной мощностью государства. Реальная мощь — это ресурсы, мобилизованные в конкретный момент времени; потенциальная мощь — ресурсы, которые руководство способно мобилизовать вообще. Под термином «военный потенциал» Норр имеет в виду «потенциальную военную мощь», понимаемую как «способность государства выставить требуемое количество вооруженных сил вместе с необходимым их обеспечением на случай войны»¹⁰.

Признавая, что точное измерение и сравнение силы и мощи различных государств невозможно на нынешнем уровне знаний, он в то же время обращает внимание исследователей и политических деятелей на необходимость разработки инструментария для обобщения требуемых данных с целью сужения «сферы неопределенности и ошибок» при оценке качественных детерминантов военного потенциала и создания его точных количественных показателей¹¹.

Хотя Норр настаивает на том, что при оценке мощи государства должна приниматься в расчет множественность факторов, сам он не сумел преодолеть основного камня преткновения атрибутивного подхода, а именно ответить на вопрос: как эти факторы должны сочетаться?

Вслед за Моргентау и Норром последующие поколения исследователей еще долгое время продолжали видеть свою главную задачу в том, чтобы выявлять и систематизировать различные группы «силовых» факторов. Однако на этом пути вопрос о том, каким образом эти факторы взаимодействуют для образования в результате того, что можно назвать совокупной силой государства, так и не был раз-

решен. Сложность сочетания в единой целостной концепции силы множества различных в качественном отношении факторов и компонентов вызвала у ряда исследователей стремление сократить число ее детерминантов до нескольких основных. Так, скажем, Органски, указав три таких детерминанта (величина населения, эффективность управления и уровень экономического развития), называет в качестве лучшего показателя *реально* существующей мощи государства — его национальный доход¹². В отличие от него Рассет за основу силы берет общее потребление страной топлива и электроэнергии¹³.

К концу прошлого столетия стало утверждаться мнение, что военная сила и традиционно понимаемое доминирование перестают быть надежными критериями в оценке силы и влияния государства на мировой арене. На свет появились концепции взаимозависимости. Их инициаторы и сторонники выступили против того, чтобы рассматривать силу как атрибутивную и ориентированную на военную мощь категорию и предприняли попытку поставить ее в зависимость от характера и природы широкого комплекса связей и отношений между государствами¹⁴.

В то же время многообразие теоретических подходов к оценке силы государства, неспособность создать адекватные ей модели, неудачи попыток измерить ее вызвали среди некоторых исследователей международных отношений и внешней политики скептическое, а то и прямо негативное отношение к самому понятию силы и возможности с его помощью объяснить отношения между государствами.

Так, неясной и двусмысленной считал концепцию силы Розенау.

«Многие компоненты силы, — писал он, — состоят из вещей неосязаемых, с трудом поддающихся учету и изучению, как, скажем, мораль. Еще более трудная, если вообще возможная задача — объединение “осязаемых” и “неосязаемых” компонентов в единое целое, именуемое мощью государства»¹⁵.

Такого же примерно мнения придерживался и другой теоретик — Маклелланд.

«Поскольку элементы силы воздействуют друг на друга, — пишет он, — то весьма трудно оценить результаты различных их комбинаций. Недостаток в естественных ресурсах может быть покрыт передовой наукой и техникой; руководство может быть ослаблено идеологией... Все элементы настолько перекрещиваются и вытекающая из этого сложность подсчета настолько велика, что некоторые

исследователи теряют всякую надежду оценить силу с какой-либо разумной точностью и достоверностью»¹⁶.

Но если нет способа измерить «силу», замечает Маклелланд, то фактически нет возможности и сказать, что представляет собой так называемый «силовой статус» государства и каким образом сила распределяется между различными государствами. Суммируя, Маклелланд отмечает, что

«за редким исключением все те, кто прибегает к силовому объяснению международной политики, имеют лишь самое смутное представление, о чем они толкуют»¹⁷.

Некоторые американские исследователи предлагали совсем исключить понятие «сила» из международно-политического лексикона. К примеру, Гарольд и Маргарет Спрут считали, что, если бы термин «сила» был вообще вычеркнут из словаря мировой политики, это способствовало бы более ясному пониманию отношений между государствами¹⁸.

* * *

Попытки найти некую универсальную концепцию силы и в самом деле порождают ряд сложных, подчас неразрешимых аналитических трудностей. Судя по существующим результатам, нельзя не прийти к выводу, что ни одна общая схема не дает возможности делать заключение о том, какие именно из составляющих ее переменных наилучшим образом определяют силу государства и объясняют суть силовых отношений. Одна из сохраняющихся до сих пор иллюзий относительно изучения силы государства — стремление измерить совокупную его мощь чуть ли не с математической точностью и представить ее в виде некоторой фиксированной величины, сопоставимой с аналогичными величинами, касающимися других государств. В конечном счете все подобные попытки неизбежно сводятся к вычислению не совокупной силы или мощи государства как таковой, а главным образом ее материального, вещного субстрата в соответствующих времени показателях военного и экономического потенциала. Хотя, надо сказать, и эта задача, особенно в наши дни, делается всё более сложной и всё менее разрешимой.

Даже если *силу* рассматривать как потенциальную способность государства, то и в этом случае ее превращение из возможности в дейст-

вительность зависит от конкретных условий места и времени. Недаром такой крупный знаток «силы», как Наполеон, не любил заранее предрекать исход сражений, а тем более кампаний, если даже имел при этом перевес в материальной силе, не говоря уже о тех случаях, когда перевес был на стороне противника. Нужно сначала ввязаться в хорошую драку, говаривал он, а там будет видно, то есть выяснить соотношение сил можно только путем *пробы силы*. Как выдающийся стратег Наполеон прекрасно понимал, что исход сражений зависит отнюдь не только и не столько от «*больших батальонов*», то есть от материальной силы, сколько от конкретных условий ее применения, от неожиданных поворотов событий, непредсказуемого развития ситуации и взаимодействующих процессов, способностей военачальников всех рангов и, наконец, от того трудно определимого, но всегда реально присутствующего — морально-психологического состояния войск. Другими словами, от всей совокупности взаимодействующих и взаимосвязанных факторов. Их же трудно, если вообще возможно, определить и учесть наперед, — они выявляются в процессе самого взаимодействия. Но именно они-то и превращают потенциальную способность армии или государства в реальную силу, либо, наоборот, в бессилие.

Совокупная «сила» государства, будь она даже исчислена, в любом случае не в состоянии дать ответ на многие важнейшие вопросы отношений между государствами. Не может она, к примеру, объяснить такой нередко встречающийся феномен, как сила сравнительно слабых в «абсолютном» силовом выражении государств и слабость мощных держав в реализации своих целей. В межгосударственных отношениях при определенных системно-структурных обстоятельствах даже самая могущественная держава может оказаться бессильной. Лучшие тому примеры из современных межгосударственных отношений — провал вьетнамской и афганской кампаний самых могущественных современных держав — Соединенных Штатов и Советского Союза.

Какое бы, однако, определение ни давать «силе» применительно к межгосударственным отношениям, она может рассматриваться не иначе как понятие сугубо условное и относительное. В свое время еще Энгельс отмечал односторонний метафизический смысл понятия «сила», выражающего, по его мнению, лишь недостаточность нашего знания о природе того или иного закона и способа его действия. Он считал неудачным само это понятие и в том смысле, что оно выражает все явления односторонним образом, тогда как процессы природы основываются на отношении, по меньшей мере, между двумя действующими составляющими — действием и противодействием. Существующие же представления о силе предполагают, что только одна со-

ставляющая активная, действующая, другая же — пассивная, воспринимающая, что практически исключает момент взаимодействия¹⁹.

Из сказанного как бы сам собой напрашивается вывод, что если и применять понятие силы в исследованиях системы межгосударственных отношений, то не как некую фиксированную величину, а как результат, итог взаимодействующих процессов в ней. Если брать за основу данное положение, то под силой государства следовало бы понимать в самой общей форме его способность защищать свои интересы и реализовывать свои цели на международной арене с помощью соответствующих средств. В качестве материального субстрата этой способности выступает военно-экономический и научно-технический потенциал государства. Однако свое подлинное значение, подлинное содержание сила обретает лишь в процессе взаимодействия государств в системе отношений между ними, вне которых она превращается в ничего не говорящую абстракцию.

Иными словами, «сила» есть *категория системных отношений*. Об этом, собственно, свидетельствуют и сами понятия «равновесие сил», «соотношение сил», «баланс сил», «расстановка сил» и т.п., выражающие не односторонние, а взаимодействующие системные процессы и явления.

Понимание относительного, сравнительного характера силы государства — отнюдь не приобретение нашего времени. Многие проницательные исследователи пришли к выводу о системной природе силы задолго до того, как слово «система» обрело современное содержание. Так, американский исследователь международных отношений Ф. Шуман еще в 30-х годах прошлого столетия отмечал:

«В системе государств, в которой суверенные единицы вовлечены в постоянную борьбу, сила во все времена была величиной относительной... Государство, существующее в полной изоляции от других государств, не может иметь “силовых интересов”, так как такие интересы *вырастают из контакта, соперничества и конфликта между государствами*. Понятие “силы” государства, взятое само по себе, лишено смысла; оно обретает таковой *только в сравнении с силой других государств*»²⁰ (курсив мой. — Э.П.).

Богатый опыт изучения международных отношений определенно показал не только ограниченность, но и бесплодность попыток с помощью физико-механических представлений о силе объяснить сущность отношений между государствами. Тщетными оказались также и попытки многих ученых определить точное значение понятия

силы государства. Попытки эти так и не вышли за пределы элементарно-суммативного подхода, то есть стремления путем простого суммирования различных факторов получить целостное понимание такого сложного феномена, как сила государства.

Бесплодность такого подхода объясняется просто: мало того, что «сила» в этом случае произвольно вырывается из системы связей и отношений, где она только и может получить свое разумное истолкование, но вдобавок приходится суммировать факторы и величины, относящиеся к качественно различным областям: экономической, социальной, политической, научно-технической, морально-психологической, организационно-управленческой и т.д. Они же либо несоизмеримы вовсе, либо могут «состыковаться» лишь с большой натяжкой.

* * *

Анализ понятия силы государства в системном контексте, то есть в контексте взаимодействия и взаимозависимости государств, предполагает в качестве необходимой предпосылки существование того, что на международно-политическом языке носит название *силовых отношений*. Международные отношения традиционно рассматриваются главным образом как отношения наиболее мощных держав. В таком подходе выражено разделяемое многими исследователями международной политики мнение, что отношения между государствами — не просто совокупность совершенно неупорядоченных действий, а иерархически структурированная система. В ней имеется небольшое число государств, обладающих сравнительно большой мощностью и влиянием («центры силы»). Вот отношения между ними и составляет как бы ядро всей мировой политики, вокруг которого вращается всё остальное.

Силовые отношения, в свою очередь, с неизбежностью и необходимостью порождают такой феномен межгосударственных отношений, как *баланс сил*. Именно в рамках присущего каждому периоду развития системы баланса сил и определяется относительная мощь (сила) каждого государства — участника данной системы. Вне действия конкретной системы баланса сил мощь (сила) государства — лишь некоторая абстракция.

Итак, как соотношение частных экономических, военных или иных показателей, характеризующих государства с каких-то отдельных сторон, так и соотношение политических сил в межгосударственных отношениях в целом выявляется не в статичных показателях, а в динамике изменения общесистемного баланса сил.

Сила государства, таким образом, взятая отдельно, в «атрибутивном» ее аспекте, мало что может объяснить в поведении государств на международной арене. Акцент на атрибутивности мощи является, кстати, одним из самых слабых мест школы «политического реализма», и это не осталось незамеченным. Одна из заслуг так называемого *бихевиорального* направления исследований международных отношений и состоит как раз в стремлении отойти от атрибутивного понимания силы и привязать ее к конкретным интересам, целям и поведению государства.

Многие из представителей данного направления придерживаются мнения, что мощь государства является лишь инструментом достижения его национальных интересов и целей и вне связи с ними теряет всякий разумный смысл. Как заметил один из умеренных критиков школы «политического реализма» Хоффман,

«опасно придавать ключевую значимость концепции, которая является не более чем инструментальной. Сила есть средство для реализации совокупности различных целей (включающих и саму силу). Количественные и качественные элементы силы, используемой людьми, определяются их намерениями... Теория “политического реализма” пренебрегает факторами, которые влияют на цели или их определяют... Вера и ценности, объединяющие в значительной мере цели государства, равно как и мотивы государственных деятелей, либо не принимаются ею во внимание, либо вообще отбрасываются»²¹.

В самом деле, в практической политике государства, отстаивающего свои интересы, нераздельно соединены два момента: момент цели и момент средств. Интересы государства на мировой арене реализуются с помощью политических целей и системы средств, служащих осуществлению этих целей. Между интересами и целями, с одной стороны, и средствами их реализации — с другой, существует тесная взаимозависимость. Сама потребность в тех или иных средствах определяется конкретными интересами и целями соответствующего государства. А интересы и цели, в свою очередь, в значительной мере обуславливаются его местом и ролью в системе межгосударственных отношений, характером взаимодействия между государствами. Количество же и качество требуемых средств определяется в целом потенциальными возможностями государства, уровнем его научно-технического и экономического развития, природой общественно-политического устройства.

Специального внимания в этой связи заслуживает современное ракетно-ядерное оружие как компонент силы государства. О его роли и влиянии на развитие военно-политических отношений в сегодняшнем мире написаны сотни книг и статей, что избавляет от необходимости останавливаться на этой проблеме подробно. Замечу лишь одно: порой некоторые авторы придают ракетно-ядерному оружию самодовлеющее значение, абсолютизируют его роль, отрывают от политики и политических отношений. В этом кроется большая и, более того, опасная ошибка, которую можно было бы назвать «ракетно-ядерным фетишизмом». Страх перед этим оружием легко переходит в противоположное чувство, а именно: в переоценку его роли и значимости и в неудержимое желание обладать им любой ценой как мощным средством политики. И те, кто стремится сегодня заполучить его, гораздо лучше, чем иные «теоретики», понимают его *политическую* сущность и значимость. Ведь как обычное оружие, так и оружие ракетно-ядерное не создаются сами по себе, лишь вследствие простой логики развития военной технологии (хотя, конечно, нельзя не признать, что она оказывает на этот процесс значительное влияние). Его создание — главным образом результат силовой политики государств и соответствующих взаимоотношений между ними, базирующихся на балансе сил.

Разумеется, свою специфику и своеобразие имеет также обратное воздействие современных систем оружия на политику государств. Ракетно-ядерное оружие создало совершенно новую военно-политическую ситуацию в мире. По крайней мере, большинство исследователей и политиков сходятся во мнении, что всеобщая война в нынешних условиях маловероятна, и это обстоятельство, если и не целиком, то в значительной мере обязано именно ядерному оружию.

Что же касается вопроса о том, имеет ли создание и накопление ракетно-ядерного оружия стабилизирующий или дестабилизирующий эффект, тут согласия, как и во многом другом, нет. Некоторые американские аналитики (например, Органски, Куглер) считают, что ядерное оружие не имеет ни отрезвляющего воздействия на своих обладателей, ни сдерживающего эффекта на их противников²². Хат и Рассет, в свою очередь, считают, что сдерживающее воздействие ядерного оружия имеет маргинальный характер, особенно если его сравнивать с действием других факторов²³. Гилпин же полагает, что появление ядерного и других видов оружия массового уничтожения имело и продолжает иметь глубокое влияние на поведение государств. Хотя его конечные последствия еще требуют выяснения, уже можно, по его мнению, утверждать, что оно оказало на международные отношения влияние в трех аспектах.

1. Главной целью военной силы в настоящее время стало *сдерживание* большой войны. Взаимное сдерживание противоборствующих ядерных держав накладывает ограничение на применение насилия и защищает международное сообщество в целом от всеобщей войны. Достижение успешного сдерживания является результатом использования силы в качестве балансира противостоящей силы, а не результатом устранения силы как таковой.

2. Ядерное оружие обеспечивает обладающее им государство «твердой гарантией независимости и физической целостности». Оно практически уравнивает все ядерные державы. Мощная держава трижды подумает, прежде чем напасть на малое государство, также обладающее ядерным оружием. Так что, по мнению некоторых аналитиков, распространение ядерного оружия может создать систему универсального сдерживания и мира.

3. Наиболее беспокоящий аспект состоит в том, что обладание ядерным оружием определяет в значительной степени ранг государства в иерархии международного престижа. Поскольку даже относительно отсталое общество способно экономически и технически создать ядерное оружие, существовавшая прежде идентификация промышленного потенциала государства с его военной мощью и престижем явно устарела.

Отсюда вывод: приобретение ядерного оружия становится заманчивой целью для возрастающего числа современных государств²⁴.

Иными словами, ядерное оружие как существенный элемент современной мощи государства, по мнению многих, не изменило природу силовых отношений между государствами — они продолжают действовать таким же образом, что и в доядерную эпоху. Его воздействие сказалось главным образом на сокращении числа проблем и вопросов, из-за которых государства, по прежним меркам, готовы были бы пойти на риск войны. Что же касается всего остального, то, как и прежде, отношения между государствами продолжают основываться на балансе сил, к рассмотрению которого и перейдем.

Понятие баланса сил

Принцип баланса сил как неписаное руководство к действию для государств на международной арене берет свое начало с самых древних времен. Где и когда бы государства ни были вовлечены в борьбу за власть и влияние, там и тогда отношения между ними строились на основе принципа баланса сил. В истории нам не известна ни одна

система государств, где бы он не действовал. Впрочем, данное утверждение излишне, потому что система государств без действия в ней закона равновесия, а значит, и баланса сил, попросту немислима.

Вообще-то всякое государство, будучи относительно независимой единицей, если оно не встречает перед собой никаких препятствий, естественно, стремится к расширению своей власти и влияния на такую большую территорию, какую способно захватить и какой способно действенно управлять. На практике, однако, препятствия возникают обязательно, главным образом в лице других государств, также стремящихся либо к расширению своего влияния, либо к сдерживанию в этом смысле других государств.

Следствием всего этого является столкновение различных интересов и устремлений государств, где решающую роль играет *сила*. Сама же сила государств меняется в зависимости от многих причин, к тому же неравномерно как во времени, так и в пространстве (*«закон неравномерного развития государств»*). Вследствие этого в каждой системе государств неизбежно возникают отношения в рамках баланса сил. Суть его кратко в следующем: когда и где бы государства ни вступали в контакт друг с другом, тут же появляются условия для действия баланса сил между ними, будь то сил военных, экономических или иных.

Предположим, что имеется система из трех государств «А», «В» и «С». Ясно, что увеличение силы любого из них будет иметь следствием относительное уменьшение силы двух других. Если, скажем, «А» завоевывает государство «В» или лишает его части территории, то эти действия окажут немедленное неблагоприятное воздействие на государство «С», так как «А» в этом случае увеличило свою мощь за счет «В» и тем самым имеет возможность навязать свою волю и «С». Если руководство государства «С» достаточно разумно, оно должно предвидеть такой результат и прийти на помощь «В» не потому, что испытывает к нему симпатию или заботится о его будущем, но ввиду собственного интереса не допустить опасного для себя усиления могущества «А». В сложившейся ситуации «В» и «С» имеют общий интерес в противодействии «А», поскольку каждое из них понимает, что всякое увеличение его мощи создает потенциальную угрозу собственному их существованию и независимости.

Говоря в общем, каждая единица в этой гипотетической системе государств будет стремиться бросить свой вес в пользу одной из двух других, которой угрожает опасность со стороны третьей. Если этот принцип последовательно соблюдается всеми тремя государствами, то ни одно из них не сможет нанести ущерб другому и все сохраняют свою независимость.

Итак, в своей элементарной форме принцип баланса сил служит не столько тому, чтобы сохранить мир или способствовать международному взаимопониманию, сколько сохранению независимости каждой единицы в системе государств путем недопущения увеличения мощи любого из них до таких пределов, когда она реально начинает угрожать остальным²⁵.

Издавна многие политические мыслители пытались выявить суть отношений между государствами, познать закономерности, лежащие в основе их развития, и благодаря этому определить возможности поддержания в системе государств, почти непрерывно потрясаемой войнами, сравнительно надежной безопасности. Все попытки и усилия дали в целом результат более чем скромный, а именно, признание того, что в мире, который состоит из суверенных государств, преследующих свои интересы, и где движущей силой является стремление к преобладанию, сохранить мир и надежную безопасность можно только с помощью двух способов. Один из них — поддержание баланса сил, второй — создание обязывающих международных органов, нечто вроде мирового правительства с теми же примерно правами, что и правительства внутри государств. Второй способ утопичен; первый, хотя и весьма ненадежен, остается пока единственным.

В этот более чем скромный вывод не смогли внести обнадеживающих элементов ни мощный всплеск теоретических исследований международных отношений, начавшийся после Второй мировой войны, ни привлечение к исследованиям новейших методов с использованием вычислительной техники. Мысль, высказанная в общей форме еще в V веке до н.э. греческим историком Фукидидом, что скрытой причиной войны является рост мощи одного из участников международных отношений, вызывающий нарушение сложившегося равновесия, остается истинной и поныне.

Роберт Гилпин в своей работе «Война и изменения в мировой политике» рефреном проводит мысль, что функциональная основа жизнедеятельности системы международных отношений существенно не изменилась на протяжении веков и что ей присуща преемственность базовых ее черт. «История» Фукидида, считает он, дает возможность понять суть действия механизма нынешних международных отношений с той же глубиной, с какой она раскрыла механизм отношений той далекой эпохи, когда была написана.

«Можно вполне допустить, — считает он, — что, если бы Фукидид чудом оказался среди нас, он (после недолгого ознакомления

с современной географией, экономикой и технологией) не встретил бы затруднений в понимании силовой борьбы нашего времени».

И затем Гилпин ставит два вопроса:

«Знает ли современный исследователь международных отношений нечто такое, чего бы не знали о поведении государств Фукидид и его соотечественники? Какой совет могли бы дать сегодняшние исследователи древним грекам, который помог бы им избежать великой войны, уничтожившей их цивилизацию?»²⁶.

Как ни покажется удивительным, но мы действительно не в состоянии ответить на поставленные вопросы, по крайней мере более исчерпывающим образом, чем на них отвечали сами древние греки. Это связано не только с тем, что наши познания о природе международных отношений существенно не обогатились с той поры, и не только с тем, что эти отношения мало изменились в своем функциональном выражении. Мы, к сожалению, в своей гордыне нередко игнорируем то ценное, что сумели понять наши предшественники. В полной мере это относится и к понятию баланса сил. Многие, не удосужившись даже элементарно вникнуть в суть этого понятия, легкомысленно отбрасывают его в сторону, пытаясь заменить его ничем не значащими словами вроде «баланс интересов», «приоритет общечеловеческих ценностей» и прочими безделушками, цена которым — грош.

И сегодня, как это ни печально, после тяжелого и кровавого опыта прошлых и современных войн, приходится повторять простейшие истины, к которым человечество пришло еще на заре своего существования и которые никак не может постичь нынешний морализирующий идеалист, чей политико-интеллектуальный багаж нередко заключается в нескольких тощих моральных сентенциях.

Вся практика межгосударственных отношений есть совокупное свидетельство того факта, что пренебрежение балансом сил ведет, как правило, к самым тяжелым последствиям вплоть до войны. Несбалансированная сила в социальных отношениях оказывает в принципе такое же разрушительное воздействие, как и в механике, только с неизмеримо большим числом человеческих жертв и большим материальным ущербом. По словам Кеннета Уолтца, она представляет опасность и для слабых, и для сильных государств.

«Несбалансированная сила, — пишет он, — питая амбиции некоторых государств относительно расширения своего влияния, может

побудить их к опасной и авантюристической политике. Из одного этого можно уже заключить, что *безопасность всех государств зависит от поддержания среди них баланса сил*²⁷ (курсив мой. — Э.П.).

И здесь нужно ясно и определенно отдавать себе отчет в том, что баланс сил — не изобретение хитроумных политиков с целью получения каких-то особых, односторонних выгод, а реальная, объективная основа системных политических отношений, в которых задействовано некоторое множество независимых субъектов.

Баланс сил «не имеет никакого отношения к тем или иным правителям или государствам», писал У. Черчилль. Он есть «*закон политики... а не простая целесообразность, диктуемая случайными обстоятельствами, симпатиями и антипатиями или иными подобными чувствами*»²⁸ (курсив мой. — Э.П.).

Не имеет он, соответственно, никакого отношения и к каким-либо моральным соображениям. Моргентау, для которого понятие баланса сил было одним из краеугольных камней всей его концепции, в этой связи отмечает:

«Стремление к доминированию и преобладанию со стороны нескольких государств, каждое из которых пытается либо сохранить, либо разрушить статус-кво, с необходимостью ведет к конфигурации, называемой “балансом сил”, и к политике, нацеленной на его сохранение».

Тут нередко приходится сталкиваться с главным недоразумением, мешающим понять международную политику и делающим многих жертвой иллюзий. Это недоразумение основано на мнении, будто бы люди имеют выбор между силовой политикой и ее необходимым следствием — балансом сил, с одной стороны, и каким-то другим, лучшим типом международных отношений и политики, с другой. Мнение это строится на убеждении, что внешняя политика, основанная на балансе сил, есть всего лишь один из возможных вариантов внешней политики и что якобы только ограниченные и злонамеренные люди выбирают первую и отвергают последнюю. Однако, вопреки этому довольно распространенному убеждению, тот же Моргентау показывает, что

«международный баланс сил есть лишь специфическое выражение общего социального принципа; именно ему все сообщества, состоя-

щие из какого-то числа независимых единиц, обязаны своей независимостью... Баланс сил и политика, нацеленная на его сохранение, не только неизбежны, но и являются существенным стабилизирующим фактором в сообществе суверенных наций... Нестабильность международного баланса сил обусловлена не какими-то пороками этого принципа, а конкретными условиями, при которых он действует в совокупности независимых государств»²⁹.

Без наличия в системе определенной сбалансированности между основными ее участниками и прежде всего между великими державами одни государства могли бы выдвигать претензии на господствующее положение в системе, вторгаться в права и интересы других государств, что, несомненно, вело бы к утверждению духа гегемонизма, нарушению общей безопасности и стабильности.

Как отмечает английский исследователь Баттерфилд, в наше время иногда забывают то, что хорошо знали в предшествующие столетия, а именно:

«Имеется только две альтернативы: либо сбалансированное распределение силы, либо подчинение всех одной всеохватной империи, подобной Древнему Риму»³⁰.

К приведенным авторитетным суждениям добавим еще и суждение Тойнби, не только уделившего балансу сил внимание как одному из факторов развития цивилизаций, но и сформулировавшего ряд «законов» баланса сил. Будучи историком и теоретиком истории (но не политологом), Тойнби дает определение баланса сил, близкое к определениям политологов и политиков-практиков.

«Баланс сил, — пишет он, — есть система политической динамики, которая вступает в действие повсюду, где общество разделено на ряд независимых локальных государств...»³¹

Всё сказанное — а к нему, при желании, можно добавить еще немало аналогичных оценок и суждений — служит лишним подтверждением значимости одного из основополагающих принципов нормального системного взаимодействия, имеющего универсальный характер, а именно: *принципа поддержания во всякой развивающейся и функционирующей системе динамического равновесия, а тем самым — баланса сил.*

Этот принцип имеет характер всеобщего функционального закона для всех целостных систем. Он действует как в природе, так и в обществе. Отмечая эту универсальность, Ф. Энгельс, в частности, писал в «Диалектике природы»:

«Равновесие неотделимо от движения... Всякое специально относительное движение... представляет собой стремление к установлению относительного покоя, равновесия», и в то же время, «всякое равновесие лишь относительно и временно»³².

Речь идет о противоречивом единстве устойчивости и изменчивости в движении всякой системы. Вот почему под социальным равновесием понимается не статическое, а *динамическое* равновесие, то есть равновесие относительное, подвижное, временное, меняющееся, постоянно подверженное нарушениям, характеризующее в целом процесс неравномерного развития всякой живой системы. Движению такой системы свойственно постоянное отклонение от абсолютного равновесия; притом отклонения в одном направлении вызывают отклонения в другом, в противоположном направлении, и система уравнивается не фактически, а лишь как суммарный результат отклонений за некоторый истекший период в ее развитии. В каждом же конкретном случае, в каждый отдельно взятый момент времени эти разнонаправленные отклонения не уравниваются друг друга, что и служит, по существу, основой постоянного колебания самого равновесия.

Здесь еще раз подчеркну, что во всякой живой, функционирующей и развивающейся системе (будь то биологической или социальной) речь может идти только о *динамическом равновесии*. По сути своей, оно даже не равновесие, а только *тенденция* к нему. Всякое же *абсолютное*, статическое равновесие — это смерть живой системы, это тот самый максимум энтропии, при котором прекращается движение, а тем самым и жизнь. Движение есть лишь там, где существует разность потенциалов (социальных, силовых, энергетических, духовных и т.д.).

Согласно Моргентау, в основе всякого социального равновесия лежат два принципа:

— уравниваемые «элементы» системы являются неотъемлемыми частями общества и каждый из них имеет равное право на существование;

— без состояния равновесия один элемент может получить власть над другими, вторгнуться в их интересы и права и, в конечном счете, подчинить или уничтожить их.

Отсюда понятно, что равновесие служит поддержанию стабильности системы, сохраняя при этом плюрализм составляющих ее элементов.

Однако, если бы функция равновесия заключалась только в поддержании стабильности, ее можно было бы достичь и в результате уничтожения одним элементом других или его преобладания над другими. Поскольку же дело не только в стабильности, но и в сохранении автономности элементов, равновесие служит препятствием тем, кто пожелал бы возвыситься и господствовать над другими³³.

В этом, кстати, основное различие функций баланса сил в системе внутренних социально-политических отношений и в системе отношений международных: в последних отсутствует центральная власть, а потому состояние стабильности и свобода образующих их государств в гораздо большей степени зависят от действия принципа баланса сил.

В целом же структурное равновесие системы межгосударственных отношений основывается на сбалансированности двух противоположных моментов: изменчивости ее отдельных элементов (государств) и относительной устойчивости связей между ними (структуры системы). Процессы развития постоянно ведут к нарушениям системного равновесия; и, наоборот, в ходе функционирования системы эти нарушения так или иначе компенсируются и относительное равновесие восстанавливается.

Система функционирует нормально, то есть находится в состоянии относительной устойчивости, когда действия одних государств, направленные на нарушение равновесия, «гасятся» противоположно направленными действиями других государств. Если же дестабилизирующие действия преобладают, а противоположно направленные действия не компенсируют их, то система впадает в состояние неустойчивости, кризиса, и он будет тем сильнее, чем сильнее эти дестабилизирующие действия.

Целям описания процессов, происходящих в системе взаимодействий государств, лучше, однако, служит понятие «*баланс сил*», а не «равновесие». Баланс сил выражает не столько равновесное состояние, сколько динамику непрерывных отклонений от него в ту или иную сторону, но так, что в результате система в своем движении сохраняет подвижное равновесие. В системе государств баланс сил отражает тем самым картину постоянно меняющегося экономического, военно-стратегического, а следовательно, и политического положения государств по отношению друг к другу. Вот почему баланс сил в межгосударственных отношениях, подобно балансу торговому

или финансовому, может быть в какие-то периоды времени и «небалансированным».

Во избежание недоразумений следует отметить и то обстоятельство, что действия государств на практике направлены отнюдь не на сознательное установление системного равновесия, а на обеспечение собственной безопасности. Последняя же реально возможна только при наличии в системе относительного равновесия сил. Ф. Шиллер в своей «Истории Тридцатилетней войны» справедливо замечает, что «безопасность, достигнутая посредством равновесия сил, может быть в будущем сохранена только этим же равновесием»³⁴.

Действительно, пока существуют государства с различными интересами, и между ними происходит внешнеполитическое взаимодействие, иной основы для их безопасности, кроме поддержания баланса сил, попросту нет.

В то же время в условиях неустойчивого равновесия, сопутствующего противоборству государств на различных структурных уровнях, в случае нарушения равновесия каким-либо государством путем обретения преимущества над другими государствами последние обычно стремятся не просто восстановить нарушенное равновесие, но, как минимум, пополнить при этом «запас прочности», чтобы гарантировать себя от каких-либо случайностей, а как максимум — изменить соотношение сил в свою пользу. Первого обычно бывает вполне достаточно, чтобы склонить «чашу весов» и без того неустойчивого равновесия в противоположную сторону. Новое нарушение равновесия понуждает другие государства принять ответные действия, что вызывает очередное нарушение равновесия и его восстановление уже на новом уровне, и так до бесконечности. Цитировавший-ся выше Спикмен следующим образом описывает этот процесс:

«Государства постоянно заняты тем, что ограничивают силу какого-то другого государства. Суть вопроса состоит в том, что государства заинтересованы в балансе лишь в свою пользу. Не равновесие, а существенное преимущество — вот их цель. В силовом равенстве с предполагаемым противником нет подлинной безопасности. Безопасность возникает только тогда, когда вы немного сильнее. Невозможно предпринять какое-либо действие, если ваша сила полностью уравновешивается. Возможность для проведения позитивной внешней политики появляется лишь с наличием определенного преимущества в силе, которое может быть свободно использовано. Независимо от выдвигаемых теорий и доводов практическая цель заключается в постоянном улучшении относительной силовой позиции

собственного государства. При этом обычно стремятся достичь такого баланса, который бы нейтрализовал другие государства и в то же время обеспечил свое государство возможностью быть решающей силой и иметь решающий голос в таком балансе»³⁵.

Такой порядок вещей трудно назвать идеальным, но тысячелетняя практика взаимоотношений государств не выработала иного, более отвечающего высоким идеалам мирного сотрудничества механизма поддержания приемлемого для всех *modus vivendi*. Вот почему вместо столь часто встречающихся lamentаций в адрес баланса сил лучше было бы, думается, максимально извлечь из него всё полезное, что он несомненно содержит, и строить на нем соответствующие отношения, не утруждая себя понапрасну созданием новых умозрительных и политически бесполезных трактатов о вечном мире, которыми и без того сверх меры устлан путь человечества.

* * *

Баланс сил, таким образом, есть *объективная основа* функционирования системы. Как таковой, он проявляет себя в соответствующих действиях государств как субъектов, а также в политическом сознании людей. Дело в том, что в литературе нередко можно встретить смешение различных значений понятия баланса сил, что нередко приводит к разночтениям и путанице. Поэтому для внесения большей ясности в понимание данного феномена, механизма его действия в системе и характера его взаимосвязи с внешнеполитической деятельностью государств разграничим различные его значения. Таких значений видится три.

1. Баланс сил как выражение функционального закона системы межгосударственных отношений, присущего всем ее историческим состояниям. В этом смысле баланс сил есть *результатирующая* различных перекрещивающихся, сталкивающихся и противоборствующих действий государств, направленных как на поддержание равновесия, так и на его нарушение, но так, что в итоге общая тенденция в движении системы ведет к установлению в ней состояния динамического равновесия.

Своего рода «гарантом» системного равновесия является структура системы как устойчивый способ связи элементов в его конкретно-историческом выражении. С одной стороны, закон неравномерного социально-экономического и политического развития государств вызывает в ней постоянные нарушения равновесия, с другой — структу-

ра оказывает сопротивление этому дестабилизирующему воздействию среды, и с помощью присущих ей компенсаторных связей нейтрализует его и способствует сохранению в системе состояния динамического равновесия.

2. Баланс сил как политика государств, направленная на поддержание или восстановление равновесия. Политика баланса сил — это, можно сказать, субъективный аспект «закона динамического равновесия». Подобно тому как закон равновесия присущ всем историческим состояниям системы, в такой же мере присуща им и политика баланса сил, являющаяся лишь конкретно-политическим выражением этого закона. Политика баланса сил — это, по сути дела, форма обеспечения безопасности государств в условиях децентрализованной, во многом анархичной системы отношений. Такая политика является, в свою очередь, реакцией одних государств на постоянно возникающие стремления к нарушению равновесия со стороны других государств.

Политика баланса сил имеет свои особенности и формы в разные исторические периоды и зависит от характера превалирующих системно-структурных отношений, от места и роли того или иного государства в этих отношениях и географического положения государств. Одно дело — традиционная политика баланса сил Англии в XVII–XX веках, когда она, пользуясь своим островным положением, играла роль «балансира» в европейском равновесии сил, бросая в случае необходимости свой «вес» то на одну, то на другую чашу европейских политических «весов». И другое дело — политика Франции, Австрии или Германии, находившихся в тот же период в самой гуще европейской системы межгосударственных отношений. Их внешнеполитическая деятельность проявлялась уже в форме «политики союзов», с помощью которых возросшая мощь одного государства компенсировалась совокупной мощью нескольких государств. Одни формы внешнеполитической деятельности государств, направленной на поддержание баланса сил, были в «мультиполярных» системах XVIII и XIX веков, совсем иные — в «биполярной» системе второй половины XX века. Однако независимо от времени и места, пока и поскольку в системе действует закон динамического равновесия, на уровне внешнеполитической деятельности государств ему с необходимостью отвечает соответствующая *политика баланса сил*.

3. Баланс сил как концептуальное отражение состояния системного равновесия в сознании теоретиков и практиков межгосударственных отношений в форме различных доктрин равновесия, концепций равновесия и т.п.

Показательна в этом смысле связь международного права с политикой баланса сил. Подобно тому как во внутриполитических системах право самым непосредственным образом связано с экономическими и политическими отношениями, так и в системе межгосударственных отношений международное право следует за объективными системно-структурными и внешнеполитическими процессами и закономерностями, закрепляя их состояние в своих нормах.

Одним из первых, кто ввел принцип баланса сил в международное право, был признанный авторитет в данной области швейцарский юрист Эмерик де Ваттель. В своем труде «Право Наций» он писал:

«Европа образует политическую систему. Населяющие эту часть мира нации связаны своими отношениями и разнообразными интересами в единое целое. Она больше не является, как это было в прежние времена, смешанной кучей разделенных частей, каждая из которых мало заботилась о судьбе других и редко беспокоилась о том, что непосредственно ее не касалось. Постоянное внимание суверенов к тому, что происходит в мире, обычаи дипломатических представителей, ведущиеся между государствами переговоры, делают современную Европу подобием республики. Хотя каждый ее член в отдельности независим, но все вместе они связаны общим интересом и объединены для поддержания порядка и сохранения свободы. Именно это дало рождение хорошо известному *принципу баланса сил*, под которым подразумевается такое устройство дел, когда ни одно государство не в состоянии иметь абсолютного господства и доминировать над другими»³⁶.

Ваттель показал также, что баланс сил есть гарантия свободы и независимости государств, поскольку реально им может угрожать только преобладающая и несбалансированная мощь какого-либо другого государства или группы государств.

Начиная же с Вестфальского договора, принцип равновесия в той или иной форме неизменно присутствует в качестве признанной нормы отношений между государствами во многих межгосударственных договорах, конвенциях и т.д. Возьмем ли мы Утрехтский договор 1713 года, Венские трактаты 1814–1815 годов, Версальский мирный договор 1919 года и т.д., везде явно или завуалированно, в той или иной форме мы находим всё тот же «принцип равновесия», отражающий так или иначе действующий в системе «закон» равновесия и основанные на нем формы внешнеполитического взаимодействия государств.

Если рассматривать историю международных отношений с точки зрения действия принципа баланса сил, то она представляет собой картину непрерывного столкновения двух тенденций в межгосударственных отношениях: тенденции к нарушению равновесия и тенденции к его поддержанию, восстановлению. Слабые государства объединялись против сильного, каждая сила находила контрсилу, каждая коалиция вела к созданию контркоалиции, и ни одному государству не удавалось полностью и безнаказанно преуспеть в навязывании своей воли и власти другим. И этот принцип действовал во все времена почти с математической закономерностью. Борьба между государствами шла с переменным успехом, сопровождаясь то периодами более или менее длительного мира, то полосами кровопролитных войн. Какой бы, однако, период истории мы ни рассматривали, начиная от Древнего мира и вплоть до наших дней, повсюду наблюдается главная особенность функциональных отношений между государствами: они, по сути дела, вращаются вокруг борьбы этих двух тенденций, и эта борьба в значительной мере определяла как конкретное содержание, так и форму внешнеполитической деятельности многих государств.

Как уже упоминалось, древнегреческий историк Фукидид был первый из историков, который, рассматривая причины Пелопонесской войны между Афинами и Спартой, одной из главных называл усиление мощи Афин, приведшее к нарушению сложившегося равновесия и войне между этими городами-государствами³⁷.

В Европе понятие баланса сил появляется вместе с образованием централизованных государств, начиная с XV–XVI веков, и сопровождается жестокой и непрерывной борьбой за преобладание. Многие историки отмечают важную роль баланса сил в становлении системы европейских межгосударственных политических отношений. Так, Грановский в своих «Лекциях по истории средневековья» указывает, в частности, на тот факт, что союз ряда итальянских княжеств, направленный против Франции (1495), «служил первым признаком истинных политических отношений, когда получило место понимание общей опасности и общих целей. Впервые Европа поняла, что опасность, угрожающая одному из народов, может быть опасностью общей...». И далее: «...Эти войны произвели великие перемены в отношениях государственных. В течение Средних веков народы европейские пришли в тесные связи между собой, и, как результат, образовалась система политического равновесия»³⁸.

Вестфальским договором, закрепившим итоги Тридцатилетней войны, суверенное государство было признано единственным субъектом международно-правовых отношений. Тем самым как бы юри-

дически была закреплена система равновесия. Сам же принцип равновесия, как уже отмечалось, получил свое международно-правовое подтверждение в Утрехтском мирном договоре, который подвел итоги войны за Испанское наследство (1701–1713).

XVIII век вообще называют «золотым веком» баланса сил в теории и практике. Известный английский политический и государственный деятель периода войны за Испанское наследство лорд Болингброк следующим образом характеризует внешнеполитические отношения между государствами в XVII — начале XVIII века.

«С того момента, — пишет он, — как образовались две великие державы Франция и Австрия — и, как следствие этого, между ними возникло соперничество, интересы их соседей заключались в том, чтобы бороться с сильнейшей и наиболее активной и заключать союз с другой, более слабой. Отсюда — концепция равновесия сил в Европе, на котором покоятся безопасность и спокойствие всех. В свою очередь, нарушить это равновесие было целью каждого из соперников»³⁹.

Боллингброк, кстати, был одним из первых английских министров иностранных дел, предпринявших попытку построить свою программу на основе целенаправленного стремления к поддержанию континентального равновесия.

Баланс сил в системе самым тесным образом связан с главными интересами государств, с интересами обеспечения их безопасности. В случае нарушения какими-либо государствами существующего баланса сил, угрожающего стабильности системы и вызывающего реальную угрозу безопасности других государств, последние предпринимают необходимые меры с целью противостоять этой угрозе и восстановить нарушенное равновесие. В этих действиях они объединяются независимо от разделяющих их специфических противоречий (экономических, политических, идеологических), независимо от симпатий или антипатий, прежних разногласий, какими бы серьезными те ни были. Вся история межгосударственных отношений может служить тому иллюстрацией. Приведу лишь несколько наиболее показательных примеров.

Те же Франция и Австрия, отношения между которыми в течение буквально столетий характеризовались соперничеством, враждой и бесконечными войнами, во время Семилетней войны (1756–1763) становятся союзниками — факт, получивший в истории дипломатии название «дипломатической революции». Причина этой внезапной «дружбы» — появление сильной Пруссии, которая в союзе с Англией

поставила под угрозу европейский баланс сил, а тем самым и безопасность Франции и Австрии, что и вынудило бывших непримиримых соперников объединиться в одном союзе. За всю историю Франции не было для нее союза менее популярного, притом среди всех слоев населения снизу доверху. Он принес ей войну, в результате которой она не только ничего не приобрела, но и лишилась Канады и Луизианы — своих американских колоний и перешла с роли руководящей европейской державы на положение второстепенного государства. Но всё это было позже. Перед лицом же непосредственной угрозы нарушения европейского баланса сил она, вразрез со своими специфическими интересами, вопреки давней антипатии и вражде к Австрии пошла на этот союз, чтобы уравновесить антифранцузскую коалицию Англия–Пруссия.

Французская буржуазная революция 1789 года и последовавшие за ней завоевательные войны Наполеона снова разрушили систему европейского равновесия второй половины XVIII века. Венский конгресс (1814–1815), подведший политический итог почти 25-летнему периоду непрерывных войн в Европе, вновь, подобно Утрехтскому мирному договору, имевшему место за 100 лет до него, в качестве принципа европейской политики утвердил «принцип равновесия». Гарантом этого равновесия должна была стать всемогущая «европейская пентархия», которая установилась с 1815 года (Россия, Англия, Австрия, Пруссия и Франция). Но когда Россия — один из членов этой «пентархии» — предприняла попытку нанести поражение Турции в 1853 году, никакие узы Священного союза не смогли спасти ее от коалиции европейских держав, а затем и от войны, имевшей целью воспрепятствовать опасному усилению позиций России и сохранить Османскую империю — этого «большого человека Европы», весьма далекого от европейских либеральных идей. Тем не менее, она рассматривалась западными державами как фактор «европейского равновесия», что и было зафиксировано в протоколе Венской конференции четырех держав — Англии, Франции, Австрии и Пруссии (апрель 1854 г.).

Любопытно отметить в этой связи, что Николай I, начиная войну против Турции, был уверен в невозможности союза Англии и Франции вследствие существовавших между этими державами непримиримых противоречий. Однако и в этом случае общий страх перед возможностью укрепления позиций России, а тем самым и перед нарушением европейского баланса сил оказался для них сильнее специфических противоречий, сильнее традиционного соперничества и противоборства.

История межгосударственных отношений знает примеры, когда роль своего рода «гарантов» равновесия специально отводилась отдельным государствам и эта роль закреплялась международно-правовыми нормами. Так, условиями того же Утрехтского мира (так называемые «барьерные трактаты») по инициативе Англии роль «барьера» против Франции, а тем самым и фактора европейского равновесия отводилась Голландии. После победы над Наполеоном четыре союзные державы опять же по настоянию Англии создали на северо-восточной границе Франции в виде королевства Нидерландов особое «государство равновесия» (*Etat d'équilibre*, как его называли дипломаты того времени). Нидерландское королевство, составленное из Голландии и Бельгии, должно было, по идее, служить одним из надежных оплотов европейского равновесия сил. Особая заинтересованность Англии в этом диктовалась главным образом обеспечением ее собственной безопасности. Принадлежность территории Голландии или Бельгии какой-либо одной из великих европейских держав, располагающей сильным военным флотом, представляла бы непосредственную опасность для Англии. С тех пор как Антверпен превратился, благодаря усилиям Наполеона, в первоклассную крепость, он стал, по собственному выражению Наполеона, «заряженным пистолетом, направленным в грудь Англии», и с той поры главной ее заботой стало, чтобы этот «пистолет» не оказался в руках тех, кто мог бы из него выстрелить.

После того как система *Etat d'équilibre* была разрушена в 1830 году в результате бельгийской революции, Англия предприняла все усилия, чтобы обеспечить независимость и нейтралитет Бельгии. Она вместе с Францией помогла Бельгии отстоять свою независимость от Голландии в 1831–1832 годах. Она же отстаивала ее от покушений Наполеона III в 1860-х годах; в 1870 году она же была готова для ее защиты вмешаться в войну между Францией и Германией, и, наконец, в 1914 году нарушение Германией нейтралитета Бельгии послужило для Англии прямым поводом для вступления в войну на стороне Франции и России. Роль *Etats d'équilibre*, кстати, долгое время играли и такие «буферные государства» Европы, как Португалия, Люксембург, Швейцария.

Эти примеры показывают, что государства, стремясь к поддержанию баланса сил, исходят не просто из абстрактного желания к сохранению системного равновесия как такового, но из реального соотношения сил, сложившегося в системе, и связанных с ним соображений относительно собственной безопасности. Объективно баланс сил в системе служит реальной основой безопасности государств

до тех пор, пока система состоит из государств с противоположными политическими и иными интересами. Субъективно же государства, исходя из своих целей, нередко идут на его нарушение, ставя тем самым систему на грань войны. Однако, какими бы ни были причины нарушения баланса сил, система в своем функциональном движении стремится восстановить его. В этом, собственно, и состоит действие принципа баланса сил, и как таковой он выражает *системную необходимость*.

Порой в политической литературе можно встретить мнение, что концепция баланса сил не применима к современным межгосударственным отношениям. При этом в качестве аргументов приводятся два довода: 1) концепция баланса сил действует лишь в системах с полицентристской структурой (аналогичной структурам европейских межгосударственных отношений XVI–XIX веков) и 2) принцип баланса сил перестает действовать в условиях наличия у основных субъектов межгосударственных отношений ядерного оружия.

Думается, однако, что эти доводы говорят лишь о специфике действия баланса сил в различных системах межгосударственных отношений, но отнюдь не отрицают самого этого действия. Послевоенная биполярная система была одновременно и специфической системой баланса сил (это в общем-то факт, и он, думается, не требует доказательств).

Что же касается ядерного оружия, то вся история гонки ядерных вооружений между СССР и США основывалась исключительно на концепции баланса сил. Здесь, правда, есть свои особенности, и касаются они ядерного паритета. Если рассматривать значение понятия баланса сил применительно к ядерному оружию, то ядерный паритет явно не соответствует ему, ибо паритет представляет собой особый вид баланса сил. Известный американский политический и общественный деятель Р. Макнамара определял его так:

«Паритет существует тогда, когда каждую сторону удерживает от нанесения первого стратегического удара осознание того, что за подобным нападением последует удар возмездия, который нанесет неприемлемый ущерб для нападающего».

По мнению Макнамары, такой паритет существовал уже в 1962 году во время Кубинского ракетного кризиса, хотя у Соединенных Штатов в то время было примерно пять тысяч стратегических боезарядов, а у Советского Союза — всего триста⁴⁰.

Данный факт подтверждает высказанную выше общую мысль, что баланс сил не тождествен полному равновесию; он есть лишь его *специфическое* выражение. Такая специфика выражается и в своеобразной форме ядерного паритета. В то же время признание паритета именно в этом смысле основывается на признании другого положения, согласно которому ядерное оружие *не является* военным средством в традиционном понимании. Его главное назначение политическое — *служить сдерживанию противника от использования этого оружия*. Такое сдерживание не требует абсолютного равенства (равновесия) ядерных сил. На признании этого базируется, собственно, и концепция разумной достаточности.

* * *

Итак, если и впрямь существуют социальные «законы», то к ним можно с полным основанием причислить и баланс сил. По крайней мере все серьезные исследователи международных отношений, с большими или меньшими оговорками, признают это. Тойнби предпринял даже попытку сформулировать ряд законов баланса сил. Рассмотрим их кратко.

При изучении истории цивилизаций Тойнби обратил внимание на один аспект в их развитии: он обнаружил, что во всех цивилизациях баланс сил со временем неудержимо смещается из центра политической системы к ее периферии. Тойнби принял это смещение в качестве закона и сформулировал его следующим образом:

«Если данное социальное образование политически разъединено на некоторое множество независимых локальных государств, вследствие чего в динамику политической структуры данного образования вводится баланс сил, и если это образование перерастает в цивилизацию, в результате чего оно распространяет свою культуру вовне и тем самым расширяет свой географический ареал, тогда государства, занимающие центр этой цивилизации, рано или поздно, уступают растущему доминирующему влиянию новой конфигурации великих держав... которые возникают по всей периферии расширяющейся системы»⁴¹.

Тойнби иллюстрирует действие этого правила примерами из древней и современной истории. Они, по его убеждению, подтверждают, что государства, занимающие в той или иной цивилизации центральное положение, рано или поздно останавливаются в своем развитии

и вытесняются новой конфигурацией «великих держав», неизбежно возникающей на ее периферии. В современной истории, особенно после Первой мировой войны, слабеющую позицию Европы в мировой политике можно объяснить, по мнению Тойнби, именно на основании этого правила.

Тут, естественно, сам собой напрашивается вопрос о возможности применимости данного «закона» к тем процессам, которые начались с распадом Советского Союза. При всей их специфике уже сейчас можно наблюдать действие центробежных тенденций и быстрое смещение силового влияния из центра к периферии. Образование многих суверенных республик-государств на месте унитарного государства рано или поздно, но неизбежно привносит в их взаимоотношения принципы баланса сил со всеми вытекающими из этого факта последствиями в виде силовых отношений, борьбы за преобладание, политики баланса сил, образования союзов.

Бесполезно пытаться предвидеть конкретный ход развития событий, но несомненно одно: если не случится каких-то существенных перемен в начавшемся процессе, он поведет к радикальному изменению не только внутривнутриполитических, но и международных отношений в целом, к существенному изменению глобального баланса сил и баланса сил в различных подсистемах. Весь прошлый опыт говорит, что такого рода изменения нигде и никогда не проходили гладко: они обычно сопровождаются обострением всего комплекса противоречий, конфликтами и войнами, пока не установится новый порядок вещей.

Возвращаясь к Тойнби, заметим, что как бы дополнением к его главному закону баланса сил служит и его положение о том, что в конфликте между менее цивилизованными и более цивилизованными государствами первые, как правило, в любой длительной борьбе добиваются в конечном итоге решающего успеха. Рассуждения Тойнби — и это важно отметить — так или иначе отвечают ряду выведенных уже позже системных закономерностей, и, в частности, той, которая утверждает, что существенные системные изменения начинаются с периферии системы.

«В центре, — пишет он, — за каждым движением, которое совершает то или иное государство с целью своего усиления, ревниво наблюдают десятки глаз, и ему быстро противопоставляются действия всех его соседей; любая попытка приобретения нескольких квадратных метров территории и нескольких сотен “душ” становится предметом ожесточенного и упорного конфликта. По этой причине обыч-

ным явлением в центре системы бывает то, что даже с помощью высочайшего гения или мобилизации высшей энергии не достигается заметного политического результата...

На периферии же и заурядный государственный деятель способен, благодаря сравнительно слабой степени давления со стороны окружения, добиться результатов, вызывающих зависть и удивление перворазрядных государственных деятелей в центре... Тот может... аннексировать провинцию, или царство, или даже целый континент, не встречая такого большого отпора, какой его более блистательный современник в центральной части системы встречает даже в том случае, если собирается аннексировать лишь одну единственную крепость или деревню...»⁴²

Времена, конечно, меняются; сегодня и на периферии не так легко аннексировать провинцию, а тем более «царство», о чем говорит пример несостоявшейся аннексии Ираком Кувейта. Но все же такие «неудачи» происходят главным образом в том случае, когда центральные державы имеют собственные серьезные интересы на периферии, сильно ограничивающие самостоятельные действия местных государств. В остальных же случаях этот закон с поправками на время и уплотнение пространства продолжает действовать и в наши дни.

* * *

Итак, баланс сил есть закономерное следствие взаимодействия политически независимых государств. На протяжении более чем 400-летней истории европейских международных отношений он предотвращал стремление тех или иных государств к исключительному преобладанию, хотя это и удавалось, как правило, только ценой кровопролитных войн.

В то же время баланс сил сам по себе не является неким рациональным средством предотвращения войны. Тут не следует заблуждаться и переоценивать его роль. Он — и это надо подчеркнуть еще раз — есть *следствие* взаимодействия государств, и в нем выражается органическое свойство всякой социальной системы, состоящей из некоторого множества независимых единиц, сохранять относительную устойчивость в их взаимоотношениях. Или, другими словами, состояние динамического равновесия есть неперемнное условие нормального, то есть бескризисного, относительно стабильного функционирования всякой, в том числе и международной, системы. Именно в этом смысле оно является основой безопасности государств.

Системное равновесие — объективная основа безопасности, но оно вовсе не служит абсолютной ее гарантией: в конечном счете решающее слово принадлежит внешнеполитической деятельности государств. Взаимодействие системного равновесия и внешнеполитической деятельности государств есть взаимодействие между объектом и субъектом. Государства могут направлять свою деятельность как на укрепление этой основы, так и на ее разрушение. Исторический опыт показывает, что наличие баланса сил само по себе еще не является гарантией мира, если отсутствует политическая воля к его поддержанию. Более того, само понятие баланса сил нередко используется в качестве средства для оправдания деструктивных действий в системе. При этом обычно ссылаются на необходимость сохранения или восстановления того же баланса сил, нарушенного, разумеется, другими государствами.

Немалый вред межгосударственным отношениям может принести непонимание или отрицание значения и роли баланса сил государственными деятелями ведущих держав мира. Обычно баланс сил отвергается по идейно-нравственным мотивам, как нечто не соответствующее неким, наперед заданным моральным идеалам.

«Должен быть не баланс сил, — поучал, к примеру, Вудро Вильсон, — а содружество силы; не организованное соперничество, а организованный общий мир»⁴³.

При всем, однако, сочувствии к нравственному императиву Вильсона, приходится признать, что значительно точнее суждение его соотечественника Спикмена, утверждавшего, что *«гораздо больше безопасности в сбалансированной силе, нежели во всех декларациях о добрых намерениях»*⁴⁴.

Какими бы, однако, ни были причины игнорирования последствий нарушения баланса сил для международных отношений, всякий раз, когда это имеет место, неизменно страдает мир, возникает угроза войны, растет напряженность. И как бы критически ни относились к концепции баланса сил те или иные политологи или политики, как бы его ни расценивали, он, говоря словами Уолтца,

«будет существовать так долго, как долго государства пожелают сохранить свою политическую независимость, и так долго, как долго они будут вынуждены полагаться на собственные свои силы в стремлении защитить эту независимость»⁴⁵.

Баланс сил и учет изменений в нем важны и для оценки перспектив развития мировой политики. В наше время, учитывая растущую взаимозависимость государств, разрушительный характер современного оружия и, прежде всего, те процессы, которые произошли в Советском Союзе, в Европе и мире в целом, значение этого многократно возрастает. В самом деле, каждая существенная трансформация системы всегда связана с нарушениями баланса сил, а значит, с ростом нестабильности и угрозой конфликтов и войн. Вот почему не вызывает сомнения важность знания «механизма» трансформации одной системы баланса сил в другую, пусть даже в самой общей форме. Знание это дает возможность точнее ориентироваться в происходящем, быть лучше подготовленными к различным неожиданностям и переменам, к грядущим кризисным и конфликтным ситуациям. И наоборот, отсутствие такого знания делает людей, принимающих внешнеполитические решения, беспомощными даже в оценке самых ближайших событий, не говоря уже о событиях более отдаленных. История межгосударственных отношений полна свидетельствами такой беспомощности даже со стороны видных политических деятелей.

Во избежание могущих возникнуть иллюзий замечу, что наука, исследующая международные отношения, не располагает сколь-нибудь надежными инструментами и методами, равно как и знанием механизма смены систем баланса сил, которые давали бы возможность более или менее верно определить пространственные и структурные характеристики надвигающегося перехода системы из одного качественного состояния в другое. Такое знание, к сожалению, носит обычно ретроспективный характер, оно приходит лишь после совершившихся событий, и мудрость задним числом не гарантирует от ошибок в оценке будущего.

Здесь, правда, есть и объективные трудности. Дело в том, что момент, когда чаши политических весов приходят в движение и начинаются изменения в балансе сил, столь же неуловим для наблюдателя с невооруженным глазом, как и момент солнцестояния. Как в том, так и в другом случае должен быть пройден некоторый путь, прежде чем изменение станет заметным.

«Те, чья чаша опускается (а на политических весах, в отличие от всяких других, опускается пустая чаша и поднимается полная), нелегко отказываются от привычных представлений о своем превосходстве в богатстве, могуществе, умении, храбрости, как и от самоуверенности, порожденной этими представлениями. Те же, чья

чаша поднимается, не сразу осознают свою силу и обретают ту уверенность в своих силах, которую победоносный опыт придаст им впоследствии. Те, кто больше других занят наблюдениями за колебаниями весов, часто судят так же ошибочно вследствие тех же ошибочных представлений. Они продолжают опасаться державы, которая уже не может причинить им вреда, и не замечать того, как угрожающе крепнет другая держава...» — так писал проницательный и искусный в политике лорд Болингброк⁴⁶.

Примеры тому можно без труда обнаружить в любом периоде развития межгосударственных отношений. Видим мы это и сегодня, когда рухнул один из столпов «биполярной системы баланса сил» — Советский Союз; а второй — Соединенные Штаты — ослабленный всей предшествующей военно-стратегической и экономической гонкой и погрязший в собственном расслабляющем изобилии, медленно, но явно клонится к упадку⁴⁷. И несмотря на это, многие по инерции всё еще продолжают мыслить в категориях биполярности и сохраняющейся веры в могущество США.

Одна из причин данного феномена кроется в том, что можно назвать инерционностью структурно-функциональных отношений, а также политического мышления вообще, стремящихся как бы удержать систему в пределах данного, привычного качества. Эта инерционность выражается и в том, что сложившиеся прежде силовые отношения какое-то время сохраняются в сознании политиков, тогда как объективные обстоятельства в своей сути уже изменились.

Если сам момент перехода системы баланса сил в новое состояние определить практически невозможно, то это не значит, что невозможно определить и некоторые общие существенные признаки перемен, дающих основание для суждений о происходящих в системе силовых изменениях, об их характере и направлении развития. О них, в частности, можно судить по идущим в системе интеграционным и дезинтеграционным процессам, по изменениям во внешнеполитической деятельности государств, которая, хотя и с запаздыванием, хотя и неадекватно, но так или иначе следует за этими изменениями. Это можно видеть на системе современных межгосударственных отношений. В числе очевидных признаков происходящих в ней качественных перемен следует назвать, прежде всего, драматические изменения на уровне центросиловых отношений вследствие дезинтеграции Советского Союза и появления вместо него десятка самостоятельных субъектов отношений. Существенные перемены происходят и в Восточной Европе: перестали существовать «система

социализма», ОВД, СЭВ; развалилась Югославская федерация, разделилась на два самостоятельных государства Чехословакия, коренным образом меняется направленность внешнеполитических курсов Польши, Венгрии, Чехии, Румынии, Албании, Болгарии. В этой части мира мы видим явное преобладание дезинтеграционных процессов. Вследствие действия законов взаимозависимости они, в свою очередь, оказывают дестабилизирующее и дезинтегрирующее влияние на западную часть Европы. Тому способствует и образование в ее центре единой Германии. Происходят существенные изменения в прежних узлах противоречий: на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Америке, в Юго-Восточной Азии. Начинает приобретать новые измерения не только система европейского и глобального балансов сил, но возникает и совершенно новая система баланса сил на пространствах бывшего Советского Союза, которая уже вносит заметные коррективы в систему межгосударственных отношений. В полную силу заявил о себе Китай, ставший одним из признанных центров силы современной системы международных отношений...

В заключение замечу, что анализ особенностей «механизма» смежных систем баланса сил и характера его воздействия на внешнеполитическую деятельность государств имеет здесь, по необходимости, самый общий характер. Думается, однако, что понимание даже самых общих контуров этого процесса может оказать пользу при решении конкретных теоретических и практических задач исследования отношений между государствами. Одним из важных моментов в понимании этого процесса служит упоминавшийся уже «закон» системного развития, а именно: *новое всегда появляется на периферии системы.*

Размывание биполярной структуры современных межгосударственных отношений, как мы видим, началось и идет не от самих «биполярных» центросиловых отношений, а от отношений периферийных, подсистемных, от выхода на передний план мировой политики всё большего числа государств, бывших прежде на ее окраине.

Различные преобразования в системе межгосударственных отношений неизбежны в процессе ее функционирования и развития. Они знаменуют собой важные этапы существенных изменений в мировом социально-экономическом и политическом развитии, равно как и в истории отдельных государств. В системе межгосударственных отношений они находят свое выражение в структурных преобразованиях, в нарушениях и сменах системного (подсистемного) баланса сил, в изменениях форм и средств внешнеполитической деятельности государств. Эти преобразования сопровождаются, как правило,

обострением всего комплекса противоречий между государствами, что, в свою очередь, выражается в кризисах системы и в межгосударственных конфликтах. Кризисы и конфликты представляют, с одной стороны, прямой результат жизнедеятельности системы (ее развития и функционирования), с другой — они неотделимы от внешнеполитической деятельности государств, создающей различные поводы для конфликтов, нередко обостряющей их, но и служащей важным средством их урегулирования. Иными словами, в кризисах системы и в конфликтах между государствами находит свое отражение системный процесс, но в особой, наиболее острой фазе его развития, когда с наибольшей силой обнаруживается столкновение противоречий между государствами, взаимодействующими на основе баланса сил. Наряду с другими, это одна из важных причин, почему изучение механизма баланса сил и происходящих изменений в нем имеет значение не только для теоретических исследований международных отношений, но и для внешнеполитической практики и, быть может, для нее-то в первую очередь.

Примечания

¹ См.: *Ferguso Yale H., Mansbach Richard W.* Between Celebration and Despair: Constructive Suggestions for Future International Theory // *International Studies Quaterly*. December, 1991. P.13.

² *Ibidem.*

³ *Gilpin R.* War and Change in World Politics. Cambr. Univ. Press, 1981. P. 7.

⁴ См.: *Поздняков Э.А.* Системный подход и международные отношения. М., 1976.

⁵ Цит. по: *Бакунин М.А.* Государственность и анархия. Философия. Социология. Политика. М., 1989. С. 475.

⁶ Там же.

⁷ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 21. С. 447.

⁸ См.: *Spykman N.J.* America's Strategy in World Politics. N.Y., 1942. P. 446.

⁹ См.: *Morgenthau H.* Politics Among Nations. The Struggle for Power. 4-th edn. N.Y., 1967. P. 106–144.

¹⁰ *Knorr K.* The War Potential of Nations. Princeton, N.J., 1956. P. 41.

¹¹ См.: *ibid.* P. 48–49.

¹² См.: *Organski A.F.K.* World Politics. N.Y., 1958. P. 436.

¹³ См.: *Russett Bruce M.* Components of an operational theory of alliance formation // *The Journal of Conflict Resolution*. 1968. No 12. P. 258–301.

¹⁴ См., например: *Keohane R.O. and Nye J.* Power and Interdependence. Boston, 1977.

¹⁵ *Rosenau J.N.* The Scientific Study of Foreign Policy. N.Y. 1971. P. 244.

¹⁶ *McClelland Ch.* Theory and International System. London, 1966. P. 22.

¹⁷ *Ibid.* P. 82.

¹⁸ См.: *Sprout H., Sprout M.* Foundations of International Politics. Princeton, N.J., 1962. P. 141.

¹⁹ См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 20. С. 403–404.

²⁰ *Schuman F.* International Politics. N.Y., 1933. P. 506.

²¹ *Hoffman St.* Contemporary Theory in International Relations. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1960. P. 31.

²² См., например: *Kugler J.* Terror without deterrence? Reassessing the role of nuclear weapons // The Journal of Conflict Resolution. 1984. No 28. P. 103–120.

²³ См.: *Huth Paul and Russett Bruce.* What makes deterrence work? // World Politics. 1984. No 36. P. 496–526.

²⁴ См.: *Gilpin R.* War and Change in World Politics. P. 215–216.

²⁵ См.: *Schuman F.* International Politics. P. 54–55.

²⁶ *Gilpin R.* War and Change in World Politics. P. 211, 227.

²⁷ *Waltz K.* International Structure, National Force and the Balance of World Power // Rosenau J. (ed.). International Politics and Foreign Policy. A Reader in Research and Theory. N.Y.-Lnd., 1969. P. 312.

²⁸ *Churchill W. S.* The Second World War. Vol. 1. The Gathering Storm. Boston, 1948. P. 207–208.

²⁹ *Morgenthau H.* Politics Among Nations. P. 161.

³⁰ *Butterfield H.* The Balance of Power // Diplomatic Investigations. Essays in the Theory of International Politics / Ed. by Herbert Butterfield and Martin Wight. Cambridge, Massachusetts, 1966. P. 142.

³¹ *Toynbee A.* A Study of History. Vol. III. Lnd., 1934. P. 301.

³² *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 20. С. 561–562.

³³ См.: *Morgenthau H.* Politics Among Nations. P. 163.

³⁴ *Шиллер Ф.* История Тридцатилетней войны // Шиллер Ф. Собр. соч. В 7 т. М., 1957. Т. 5. С. 26.

³⁵ *Spykman N.* America's Strategy in World Politics. P. 21–22.

³⁶ Цит. по: *Schuman F.* International Politics. P. 58.

³⁷ См.: *Фукидид.* История. М., 1993. Т.1. С. 52.

³⁸ *Грановский Т.Н.* Лекции по истории средневековья. М., 1987. С. 78, 82.

³⁹ *Боллингброк.* Письма об изучении и пользе истории. М., 1978. С. 81–82.

⁴⁰ См.: *Макнамара Р.* Путем ошибок — к катастрофе. Опыт выживания в первом веке ядерной эры. М., 1988. С. 49.

⁴¹ *Toynbee A.* A Study of History. Vol. III. P. 303.

⁴² *Ibid.* P. 302.

⁴³ The Messages and Papers of Woodrow Wilson. N.-Y., 1924. Vol. 1. P. 478.

⁴⁴ *Spykman N.J.* America's Strategy in World Politics. P. 20.

⁴⁵ *Waltz K.* International Structure, National Force and the Balance of World Power. P. 306–307.

⁴⁶ *Боллингброк.* Письма об учении и пользе истории. С. 81–82.

⁴⁷ См. об этом, например: *Kennedy P.* The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. Fontana Press, 1988. P. 665–693.

«Призрак бродит по Соединенным Штатам, призрак упадка» — такими словами начинает свою книгу американский экономист Морис Сильвер (*Silver M.* Affluence, Altruism and Atrophy. The Decline of Welfare States. N.Y., 1980. P. XI). Этот вывод с гораздо большим основанием можно повторить уже в наши дни.

Глава X

ГЕОПОЛИТИКА

В предыдущих главах политика рассматривалась в связи с различными сторонами социальной действительности: культурой, экономикой, идеологией, нравственностью, а также с международными отношениями и войной. Остался еще один важный аспект, оказывающий существенное воздействие на все стороны человеческого бытия, в том числе на формирование политических идей и взглядов, саму политику и на ее реализацию. Аспект этот — география, или, точнее, географическое положение государств и народов. Отчасти он уже затрагивался в связи с вопросом о национальных интересах государств, однако сказанного недостаточно для того, чтобы понять сложную и не до конца еще изученную взаимосвязь между политикой государства и его физическим окружением.

Значимость географического аспекта в общем определяется простым эмпирическим фактом: каждое государство непременно включает три необходимых компонента — территорию, народ и политическую организацию. Где бы люди ни жили и какую бы политическую систему ни имели, они живут на каком-то пространстве Земли, их деятельность так или иначе, но всегда представляет реакцию на условия внешней физической среды. Среда воздействует на человеческую деятельность в пределах данной территории, она же стимулирует ее успешность в соответствующих направлениях и ставит ей определенные пределы.

Географическое положение каждого государства уникально; занимаемая им территория имеет свой неповторимый ландшафт, протяженность, природные ресурсы. Территории государств пространственно ограничены, и от смежных стран их отделяют политические границы. Политическое деление мира, как правило, не совпадает с его делением на естественные регионы географов. Этот факт порождает в каждом случае совокупность специфических проблем

между государством и его физической средой, равно как и между самими государствами.

Уникальность территориально-географического положения каждой страны обуславливает, соответственно, и уникальность ее исторического фона. Та и другая в совокупности определяют самобытность народа и государства. И здесь важно иметь в виду то обстоятельство, что из всего множества факторов, влияющих на деятельность людей, в том числе и деятельность политическую, географический фактор в наименьшей степени подвержен изменениям. Во многом по этой причине он служит основой преемственности политики государств, пока их пространственно-географическое положение остается неизменным. Известный уже нам по предыдущим главам американский ученый Спикмен отмечал:

«География есть самый фундаментальный фактор во внешней политике государств, потому что он наиболее постоянен. Министры приходят и уходят, умирают даже диктаторы, но цепи гор остаются незбылемыми»¹.

В самом деле, между русским царем Петром Первым и главой Советского Союза Сталиным лежат два с половиной столетия великих социальных перемен и революционных бурь, не раз менявших социально-политический облик России, но неизменной оставалась ее озабоченность по поводу западной границы страны и устремленность к открытым морям. Мажино и Клемансо, де Голь и Миттеран наследовали от Ришельё и Людовика XIV тревогу относительно открытой немецкой границы, и каждый, в соответствии с духом времени, предпринимал меры для ее защиты. Никакие перемены в Европе не могли и не могут по сию пору поколебать особую политическую позицию Англии, обусловленную ее островным положением. То же можно сказать и о Соединенных Штатах как «океанической державы», омываемой с запада и востока двумя великими океанами, что существенно влияет на положение страны в мире и ее внешнюю политику.

Действительно, экономические, религиозные, нравственные, династические, идеологические и иные социальные детерминанты политики постоянно менялись во времени: одни уходили, другие приходили им на смену, но контуры земли, равнин и горных хребтов, морей и рек, на которых и вокруг которых селились люди и образовывались государства, оставались в основе своей неизменными. Не случайно конфликты между государствами, вызываемые пространственно-территориальными причинами, сохранялись более длительное время

и были наиболее трудноразрешимыми, нежели другие международные противоречия. История свидетельствует, что даже народы и государства, исповедующие одну и ту же религию, одну и ту же политическую и социальную философию, имеющие в основе одну и ту же культуру, тем не менее, вступали в непримиримые конфликты друг с другом из-за контроля над куском земли, полосой моря или каким-то имеющим стратегическое значение пунктом².

Размеры национальных территориальных владений, их расположение на земной поверхности оказывают влияние и на относительную силу государства в борьбе за свои национальные интересы. Размещение природных ресурсов обуславливает плотность населения и структуру народного хозяйства; положение относительно экватора и океанов определяет близость или отдаленность от основных центров силы и районов конфликтов, создает потенциальных противников или союзников, а тем самым — проблему безопасности. Топография страны оказывает воздействие на силу или слабость внутренних социальных и экономических связей; вместе с климатом она ставит пределы производству сельскохозяйственной продукции и промышленности, определяет характер внутренних коммуникаций и внешней торговли. Вот почему, считает тот же Спикмен, оценка политики государства должна начинаться с анализа его географии³.

Однако в сутолоке и суете повседневной дипломатии, в столкновении сиюминутных интересов, ежедневно возникающих и исчезающих конфликтов и противоречий, географический фактор порой отходит на задний план, пока политические провалы, неудачи и поражения не заставляют вновь обратиться к нему как к одной из первопричин не только политики, но и всего бытия государства. Можно, конечно, позволить себе проигнорировать географические факторы, но они будут мстить тем политическим деятелям, которые по невежеству или небрежности оказались неспособными постичь их важность для политики в целом.

Эффективная внутренняя и внешняя политика опирается, как правило, на стабильную экономику, мощные вооруженные силы, духовно-нравственное и социальное единство народа. Но это еще не всё: она должна также учитывать специфическое положение, занимаемое государством в общемировом и региональном пространстве. Нынешний разделенный мир есть не только политическая, но и географическая реальность, и с ней не могут не считаться ответственной политической и военной стратегия государства, концепция его безопасности и его национально-государственные интересы.

В число жизненно важных интересов любого государства входит, прежде всего, самосохранение себя как определенной культурно-исторической общности. С точки зрения геополитической эта задача обретает особый смысл, поскольку она прямо связана с политической и экономической независимостью государств, а также с характером их взаимоотношений. Как отмечает в этой связи Спикмен,

«союзы между государствами создаются не благодаря чувствам и эмоциям, а вследствие действия *географических причин и баланса сил*. Если при этом и возникают какие-то дружеские чувства по отношению к союзнику, то они обычно — следствие, а не причина политического сотрудничества»⁴.

Внешняя политика государства призвана решать многие задачи: экономические, демографические, внешнеторговые, этнические, экологические. Помимо соответствующих интересов и потребностей государства задачи эти во многом обуславливаются и его географическим положением и направлены в той или иной мере на решение проблем, которые можно причислить к геополитическим. Среди последних — поиски доступов к сырью и внешним рынкам, ограничение или поощрение иммиграции, решение пограничных вопросов и споров, обеспечение безопасности плавания своих судов и поиски для них морских баз и т.д. Всё это свидетельствует не только о важности географических аспектов в жизнедеятельности государства, в его внешней политике, его месте и роли в системе государств, но и о необходимости более глубокого понимания механизма их воздействия на политику во времени и пространстве, не впадая при этом ни в их абсолютизацию и переоценку, ни в их недооценку, а тем более в игнорирование.

От географического детерминизма до геополитики

Понимание того, что жизнь государств и народов во всем ее разнообразии обусловлена географическим окружением и климатом, — отнюдь не открытие нашего времени. Не является его достижением и научное рассмотрение политико-географических проблем. Обычно честь превращения *политической географии* в систематическую научную дисциплину, получившую название *геополитики*, приписывается немецкому географу начала XX столетия Фридриху Ратцелю.

Однако ему предшествовало большое число философов, ученых, политических мыслителей, задолго до него обративших внимание на роль и воздействие географических факторов на политические процессы и события.

Существует, однако, разительное отличие прежних разрозненных, ограниченных, не систематизированных представлений, знаний и суждений о влиянии географических условий на жизнь человеческих сообществ от качественного скачка в их осмыслении на рубеже XIX–XX веков. Скачок этот был предопределен глубокими и существенными изменениями в самом объективном мире, который на изломе двух столетий стал переходить из состояния изолированности и разрозненности своих отдельных частей и регионов к единому, взаимосвязанному и взаимозависимому миру в масштабах уже всей планеты. Вместе с этим переходом не связанные друг с другом различные частные концепции географического детерминизма, как бы сгущаясь вместе со сгущением земного пространства, приняли сначала вид науки политической географии, а затем и геополитики — этого чистого порождения XX столетия. Геополитика не могла родиться ни в XVIII, ни в XIX веке, как не могли родиться в те времена генетика, кибернетика и подобные им науки. Геополитика порождена главным образом быстрым «уплотнением» земного политического пространства и столь же быстро возрастающей взаимозависимостью государств.

История развития идей географического детерминизма как бы отражает историю постепенного «уплотнения» Земли с той поры, когда пространство планеты было во многих своих частях еще свободно, не обжито, не поделено, через этапы постепенного его заселения, освоения, завоевания и разделения между государствами и народами. В этом смысле наше время отличает то, что практически всё заселено, всё обжито, всё поделено... Государства не могут уже позволить себе роскошь решать, скажем, свои демографические проблемы путем свободного выплеска избыточного населения в отдаленные земли, а недостаток сырья или рынков — путем аннексии соседних территорий. В мире возникла новая геополитическая ситуация, значение которой для последующего развития человечества, похоже, еще не до конца осознается.

А ведь еще древние греки обратили внимание на влияние географической среды на существование и деятельность человека. Известный им мир они стали делить в соответствии с климатическими условиями. Так, философ Парменид выдвинул теорию пяти температурных зон или поясов: один жаркий, два холодных и два промежуточных. Опираясь на теорию Парменида, Аристотель утверждал силовое

превосходство промежуточной зоны, заселенной греками. Уже в наше время теория климатических поясов приобрела новое звучание.

Широкое распространение получила точка зрения, что история создавалась в пространстве между 20 и 60 градусами северной широты, то есть в Северном полушарии, где расположена большая часть земной суши. Соответственно, политическая энергия мира генерировалась главным образом в умеренных климатических зонах; исторические же центры притяжения развивались в направлении с юга на север, но опять-таки в пределах этой зоны. Речные цивилизации Месопотамии и Египта сменились городами-государствами Греции, затем Римской империей. И в самом деле, все древние цивилизации располагались в границах между 20 и 45 градусами северной широты. В свою очередь, культурные и политические центры Европы, России, Соединенных Штатов и Японии размещаются между 45 и 60 градусами северной широты в прохладно-умеренной зоне.

Позднее в географические концепции стали добавлять пространства суши и моря как важные характеристики для сравнения положения одних государств по отношению к другим. На них обратил внимание тот же Аристотель. В своей «Политике» он дает примечательную геополитическую оценку достоинств Крита, позволивших тому возвыситься:

«Остров Крит, — отмечает он, — как бы предназначен природой к господству над Грецией, и географическое положение его прекрасно: он соприкасается с морем, вокруг которого почти все греки имеют свои места поселения; с одной стороны, он находится на небольшом расстоянии от Пелопоннеса, с другой — от Азии, именно от Трионийской местности и Родоса. Вот почему Минос и утвердил свою власть над морем, а из островов одни подчинил своей власти, другие населил...»⁵

Значение географических условий для внутренней и внешней жизни государств отмечали также Платон и Полибий, римляне Цицерон и особенно Страбон. Последний, как географ, разделил весь мир на четырехугольники и в рамках одного из них поместил обитаемый мир. Он состоял у него из Европы, Ливии и Азии. Отдаленные же и слабонаселенные страны не представляли для него интереса.

«Не служит никаким политическим целям, — считает он, — хорошее знакомство с отдаленными местами и населяющими их людьми, особенно если это острова, чьи обитатели не могут ни помешать нам, ни принести пользы своей торговлей»⁶.

Данное суждение можно уже назвать геополитическим в современном смысле этого слова. В нем Страбон во главу угла ставит *политические* соображения и с их высоты оценивает значение тех или иных географических реалий. Взгляды Страбона прямо перекликаются с взглядами современных ученых школы политической географии. Для иллюстрации сошлось на мнение одного из известных специалистов в данной области Жана Готтмана. Наш политический мир, отмечает он, простирается только на пространства, доступные человеку.

«Доступность есть детерминирующий фактор. Места, куда человеку нет доступа, не имеют никакого политического значения и не составляют проблемы. Суверенитет Луны вовсе не имеет сегодня политического значения, так как люди не могут ни достичь ее, ни взять оттуда что-либо. Антарктика не имела политического значения до той поры, пока ее не стали осваивать; но зато с того времени, когда она сделалась доступной, ледовый континент был разделен на порции, подобно яблочному пирогу, и все эти порции представляют ныне совершенно определенные политические ячейки, которые уже породили ряд международных инцидентов»⁷.

Недоступных для человека мест на нашей планете и в самом деле не осталось, если не считать донных глубин открытого океана, да и то до поры до времени. Этот момент служит одной из важных причин обострения геополитических проблем современного мира, равно как и повышенного внимания к геополитике как дисциплине. Что касается Луны, то, судя по всему, быстрый рост ее геополитической значимости для землян — вопрос ближайшего времени.

В Новое время одним из первых, кто взялся за систематическое изучение взаимосвязи географии и политики государств, был известный нам по предыдущим главам французский политический мыслитель Жан Боден. Среди географических факторов он выделял в качестве наиболее значимого климат, приписывая именно его действию физическое превосходство северных народов над южными и горных — над долинными. Он обращал внимание государственных и политических деятелей своего времени на необходимость принимать в расчет в административной и законодательной деятельности помимо социальных также и климатические условия. В своих взглядах Боден подошел к созданию широкой концептуальной системы географического детерминизма ближе, нежели любой из его предшественников. Его утверждение, что сила и развитие суверенного государства прямо зависят от влияния окружающих его природных

условий, совпадает, по существу, с взглядами современных геополитиков.

Проблема влияния географических факторов на политику долгое время оставалась вне поля зрения философов и политических мыслителей. Только в XVIII веке она вновь становится объектом внимания, на этот раз у Монтескьё в его известном труде «О духе законов» (1748). Вслед за своим соотечественником Боденом, он сделал упор на влияние климата, также отметив значение пространства, почвы, культуры и экономики в качестве формирующих историю элементов. Монтескьё не ограничился суждением лишь о значимости условий физической среды, но и прямо указал на необходимость соответствия законов страны этим условиям⁸. Иными словами, он ввел в свою концепцию нормативный элемент, который в более поздней геополитике, особенно немецкой, обрел приоритетное значение. Семнадцатый же раздел своего сочинения он почти полностью посвятил исследованию влияния климата и топографии на особенности государственного устройства и политическую природу различных народов на примере Европы и Азии.

После Монтескьё, особенно в XIX веке, редко кто из выдающихся мыслителей не уделял внимания взаимоотношению политики и географии. Среди них назовем в первую очередь имена Гердера, Канта, Гегеля, Бокля, Огюста Конта. Постепенно, однако, начиная с XIX столетия и дальше, школа географического детерминизма всё заметнее перемещается в Германию, получив там полное свое развитие на стыке двух веков — XIX и XX. У ее истоков стояли Александр фон Гумбольдт и Карл Риттер. Оба придерживались взгляда о существовании тесных взаимных отношений между человеком, государством и миром окружающей природы.

Риттер, в частности, разработал иерархическую систему регионального деления мира в рамках единого глобального пространства. Он разделил Землю на сухопутную (континентальную) полусферу и полусферу водную (морскую). Границу между ними он представил в виде большого полукруга, проходящего в Южной Америке через Перу и затем через южную часть Азии. В рамках континентальной полусферы он выделил два больших региона: Старый Свет и Новый Свет. Первый, вследствие своего распространения с востока на запад, обладает заметным климатическим однообразием. Второй, наоборот, по причине своего расположения с севера на юг, отличается большим климатическим разнообразием. Это различие, по его мнению, оказало существенное воздействие на характер населяющих каждый регион народов и на их взаимоотношения, поскольку природа влияет не

только на труд и на стереотипы мышления (Бокль), не только на моральные нормы поведения человека (Гумбольдт), но и на все аспекты человеческой жизни без исключения.

В этой связи нельзя, хотя бы кратко, не коснуться и русской школы географического детерминизма, всплеск развития которой приходится на XIX — начало XX века. Русские исследователи отнюдь не занимались простым компилированием и переводом на родной язык идей западноевропейских исследователей. Именно Карл Бэр, один из учредителей Русского географического общества, впервые обстоятельно показал значение рек в распространении цивилизации. Другой русский ученый, Л.И. Мечников, посвятил роли рек в историческом развитии человека отдельную книгу «Цивилизация и великие исторические реки. Географическая теория развития современных обществ» (1924). Анализ природных и географических факторов в их связи с социальным бытием русского человека и его историей широко использовали в своих трудах историки Б.Н. Чичерин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, А.П. Щапов, И.Л. Солоневич и другие.

По мнению Чичерина, обширность территории России, малая ее заселенность, однообразие и простота занятий населения, постоянная угроза внешних нашествий обусловили жизненную потребность в сильной центральной власти. Кстати, эта объективная потребность сохраняется и поныне, чего, судя по всему, не может понять нынешняя, склонная к демократическим благоглупостям власть.

Особое внимание значению географических условий в развитии России уделил и С.М. Соловьев. Вслед за Чичериним, он показал географическую предопределенность зарождения русской государственности и стремления к интенсивному хозяйственному освоению земель в центре Среднерусской возвышенности. Историк подчеркивал, что возглавить объединение русских земель и создание крепкого централизованного государства суждено было Москве благодаря особенностям ее географического положения и природы. В природно-климатических условиях центрального пространства России Соловьев увидел и решающий фактор, повлиявший на характер деятельности и форму организации населения. «Скупая на дары» природа этих мест приучала жителей к упорству и твердости, не обещая скорой награды за вложенный труд. В сравнении со средой обитания западноевропейских народов суровую природу Центральной России Соловьев называл «мачехой», а не «матерью». В неравенстве изначальных условий развития он видел и естественные причины отставания России от За-

падной Европы. Русскому народу пришлось вести жестокую борьбу за выживание и в полном смысле слова отвоевывать жизненное пространство у природы. Это наложило особый отпечаток на весь уклад его жизни⁹.

Идеи географического детерминизма заметны и в исторических исследованиях другого выдающегося русского историка — В.О. Ключевского.

«Начиная изучение истории какого-либо народа, — писал он, — мы встречаем силу, которая держит в своих руках колыбель каждого народа, — природу его страны»¹⁰.

Историк Иван Солоневич, сопоставляя личные свободы в России и в США и Англии, прямо относил различие между ними на счет географического фактора:

«Американская свобода, как и американское богатство, — отмечал он, — определяются американской географией — наша свобода и наше богатство *ограничены* русской географией».

Русский народ, считал он, никогда не будет иметь такие свободы, какие имеют Англия и США, потому что безопасность последних гарантирована океанами и проливами, а наша может быть гарантирована *только всеобщей воинской повинностью*. Говоря же о бедности России, Солоневич отмечает, что она не имеет никакого отношения к политическому строю. Она обусловлена тем фактором, для которого евразийцы нашли яркое определение: «*географическая обездоленность России*». «История России есть история преодоления географии России», — заключает Солоневич¹¹.

В этой связи нельзя не упомянуть и Л.Н. Гумилева, чья теория этногенеза неотрывна от всестороннего учета влияния и воздействия факторов среды и, прежде всего, географии в самом широком смысле этого слова.

Среди русских геополитиков следует упомянуть и группу ученых-эмигрантов, известных как «евразийцы»: Г.С. Трубецкой, И.А. Ильин, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, Г.Ф. Флоровский, Л.П. Карсавин и другие. Их всех объединяла идея о России как особом мире, на развитие которого оказал сильное влияние материк Евразия. Эта концепция развивалась на основе почвенной теории, и ими был введен геополитический термин «*месторазвитие*». Под ним понималась неповторимая географическая среда, в которой происходит становление

как отдельного человека, так и крупных человеческих сообществ, включая государства.

* * *

Качественный перелом в развитии идей географического детерминизма начинается, можно сказать, с немецкого географа *Фридриха Ратцеля* — основателя современной политической географии. Его концепция своими корнями уходит в XIX столетие и во многом покоится еще на почве географического детерминизма, но вершина ее уже в XX веке. И если сам он не произнес слова «геополитика», многие положения его учения носят уже явно геополитический характер. Прежде всего это выразилось в его отношении к такому ключевому понятию, как «*пространство*».

Многие предшественники Ратцеля — Монтеस्कьё, Гердер, Риттер — не прошли мимо факта тесной связи между размерами государства и его силой, но только Ратцель пришел к пониманию, что *пространство* есть не только важный географический, но и политический фактор. Главное, что отличало его концепцию от других, был вывод, что пространство — это не просто территория, занимаемая государством и являющаяся одним из атрибутов его силы. Пространство, по Ратцелю, *само есть политическая сила*. Пространство в его концепции есть нечто большее, чем физико-географическое понятие. Оно представляет собой те природные рамки, в которых происходит экспансия народов. Каждое государство и народ имеют собственную «пространственную концепцию», то есть идею о возможных пределах своих территориальных владений. Пространство обуславливает не только физическую эволюцию народа, но и его ментальное отношение к окружающему миру. Взгляд человека на окружающий его мир во многом зависит от пространства, в котором он живет. Ратцель считал, что *упадок государства есть результат слабеющей пространственной концепции и слабеющего пространственного чувства*¹². Эта мысль особенно актуальна для современной России, волею властей преступно легкомысленно разбазарившая огромные и стратегически важные территории в угоду чуждым ей либеральным идеям.

Творя на стыке двух веков, Ратцель основывал свою систему на популярных в XIX столетии принципах эволюции и естественных наук вообще. Особенно заметно проявилось их влияние в так называемых географических законах, изложенных им в его наиболее значительном труде «Политическая география». Они вполне соответствовали господствовавшему в XIX веке взгляду, уподоблявшему

государство живому организму. Ратцель рассматривал государство как *живой организм*, укорененный в почву, как духовную связь с землей, суть которой в совместной жизни людей, в общем их труде, в потребности иметь защиту от угроз внешнего мира.

«Законы» Ратцеля — это, прежде всего, законы пространства и местоположения. По его мнению, в них выражена совокупность принципов пространственно роста государств. Законы эти таковы:

1. Пространство государств растет вместе с ростом их культуры.
2. Пространственный рост государств сопровождается другими факторами развития: новыми идеями, растущей торговлей, миссионерством, повышенной активностью.

3. Рост государств осуществляется путем присоединения или поглощения малых государств.

4. Граница есть периферийный орган государства, и в этом качестве она служит свидетельством его роста, силы или слабости, а также изменений в этом организме.

5. В своем росте государство стремится вобрать в себя наиболее ценные элементы физического окружения: береговые линии морей, русла рек, равнины, районы, богатые ресурсами.

6. Первый импульс к территориальному росту приходит к примитивным государствам извне, от более высоких цивилизаций.

7. Общая тенденция к слиянию, разветвляясь, переходит от государства к государству и по мере перехода набирает силу¹³.

Большое пространство поддерживает жизнь, считал Ратцель. Он был убежден, что потребность человека в большом пространстве и его способность эффективно использовать его станет политическим принципом международной политики XX века. Ратцель считал, что в будущем мире будут доминировать крупные государства, занимающие большие континентальные пространства, подобные Северной Америке, Евро-Азиатской России, Австралии и Южной Америке.

В работах Ратцеля берет свое начало ставшая затем, с различными изменениями и дополнениями, популярной геополитическая идея «океанического цикла». В ней особое значение придавалось бассейну Средиземного моря и Атлантике как важнейшим стратегическим районам мира. Наибольший интерес с позиций сегодняшнего дня представляет его оценка значения бассейна Тихого океана. Ратцель называл его «*океаном будущего*». Этот огромный океанический район, по его мнению, станет местом активной политической и экономической деятельности, а также столкновения интересов многих ведущих держав мира. Государства, имеющие первенство на Тихом океане, будут, по Ратцелю, владеть реальным преимуществом и в мировом

доминировании. Главные и определяющие причины тому — его стратегическое положение, уникальные ресурсы и огромные размеры. Он не сомневался, что именно в зоне Тихого океана будут выясняться и решаться сложные силовые отношения пяти ведущих мировых держав: Англии, Соединенных Штатов, России, Китая и Японии.

Ратцель и его ученики пришли к конечному выводу, что решающий конфликт между морскими и континентальными народами произойдет не где-нибудь, а именно в зоне Тихого океана, завершив собой в катастрофическом финале циклическую эволюцию человеческой истории¹⁴.

В то же время он считал, что в этом конфликте континентальные державы с их богатыми ресурсами имеют явное преимущество перед державами морскими, не обладающими достаточным пространством в качестве своей геополитической базы.

Уже из этого краткого обзора учения Ратцеля очевидно качественное отличие нарождающихся новых политико-географических теорий от прошлых географических детерминистских воззрений. С преимущественно географического аспекта, имеющего к тому же в основном описательный характер, аспекта воздействия окружающей физической среды на жизнедеятельность государств и народов, акцент явно сместился на *аспект политический и даже на политико-стратегический*. Он был подхвачен и развит дальше учениками и последователями Ратцеля как в самой Германии, так и за ее пределами.

Одним из них был шведский политолог *Рудольф Челлен* (Къеллен), государствовед и пангерманист по своим убеждениям. Именно ему мир обязан самим термином *геополитика*. Челлен, следуя Ратцелю, основное внимание сконцентрировал на природе государства. Название главной его работы «Государство как форма жизни» служит своего рода отражением основной идеи Ратцеля, а именно, что государство есть живой организм.

«Государство — не случайный или искусственный конгломерат различных сторон человеческой жизни, удерживаемый вместе лишь формулами законников. Оно глубоко укоренено в исторические и конкретные реальности, ему свойствен органический рост, оно есть выражение того же фундаментального типа, каким является сам человек. Одним словом, государство представляет собой биологическое образование или — “живое существо”. Как таковое, оно следует закону роста. Сильные, жизнеспособные государства, имеющие ограниченное пространство, подчиняются категорическому импе-

ративу расширения своего пространства путем колонизации, слияния или завоевания». — Такова одна из главных идей Челлена¹⁵.

Разделяя взгляд Ратцеля относительно того, что почва, на которой государство расположено, есть его интегральная часть, соединенная с ним в единое целое, он идет дальше. Немецкий географ то ли не заметил, то ли не счел нужным специально останавливаться на том, что в создании государства, в его росте и развитии, помимо физических условий внешнего окружения, участвуют также и другие компоненты. Челлен исправляет упущение своего учителя, отмечая значимость и таких аспектов государственного становления и роста, как культура, экономика, характер народа, форма правления и другие. Наряду с особыми физико-географическими чертами государство, по Челлену, выражает себя и в четырех других ипостасях, а именно:

- как определенная форма хозяйства со своей особой экономической активностью;

- как народ со своими национальными и этническими особенностями;

- как социальное сообщество различных классов и профессий и, наконец,

- как форма государственного управления со своей особой в каждом случае конституционной и административной структурой.

В своем единстве, они, по выражению Челлена, образуют «пять элементов одной и той же силы, которая, подобно пяти пальцам на одной руке, трудится в мирное время и сражается в военное»¹⁶.

В работах Челлена содержатся, по сути дела, все принципиальные положения геополитики. Как и Ратцель, он считал, что на основе всестороннего изучения индивидуального государства могут быть дедуцированы некоторые самые общие принципы и законы, подходящие для всех государств и для всех времен. Одним из них является *сила государства*, поскольку оно возвышается именно благодаря своей силе. Челлен считает, что сила — более важный фактор для поддержания существования государства, нежели закон, поскольку сам закон может поддерживаться только силой.

Именно в силе Челлен видит и дальнейшее доказательство своего главного тезиса, что государство есть живой организм. Если закон привносит нравственно-рациональный элемент в государство, то сила дает ему естественный органический импульс. Утверждая, что государство есть цель сама в себе, а *не благотворительная организация, служащая целям улучшения благосостояния своих граждан*, Челлен открыто противопоставлял свой взгляд многим бесхребетным либе-

ральным концепциям, сводящим роль государства к второстепенной служебной роли — к роли «пассивного полицейского».

Идеи Ратцеля и Челлена дали толчок дальнейшему развитию современных геополитических концепций. Принципиальное их отличие от положений географического детерминизма прошлых времен состояло, помимо всего прочего, в том, что они стремились к созданию общей геополитической картины мира. Стремление это — исключительно феномен XX столетия. Мы видим, как из различных, мало связанных друг с другом взглядов на пространственную структуру нашей планеты, как упорядоченную совокупность земли, вод и связующих их линий, рождались геостратегические теории и доктрины уже глобального масштаба. Одна из наиболее известных теорий такого рода — геостратегическая концепция английского географа *Хальфорда Маккиндера*.

* * *

Концепция Маккиндера оказала существенное влияние на дальнейшее развитие геополитики. Она послужила одним из краеугольных теоретических «камней» фундамента знаменитой Мюнхенской школы геополитики, созданной *Карлом Хаусхофером* — самой яркой фигурой в немецкой геополитике. Несмотря на нестихающую до сих пор критику концепции Маккиндера, она, как истинно оригинальная теория, продолжает жить и привлекать к себе внимание практиков и теоретиков международных отношений. Взлеты и падения интереса к ней прямо пропорциональны происходящим изменениям в мировой геополитической ситуации: серьезные сдвиги и обострения в ней тотчас вызывают повышенное внимание и к доктрине Маккиндера. Сегодня, на мой взгляд, снова наступил такой момент.

Маккиндера по праву можно назвать первым ученым, постулировавшим глобальную геополитическую модель. Он неустанно подчеркивал особое значение географических реальностей для мировой политики, считая, что причиной, прямо или косвенно вызывавшей все большие войны в истории человечества, было, помимо неравномерного политического и экономического развития государств, также и *неравномерное распределение плодородных земель, сырьевых ресурсов и стратегических возможностей на нашей планете*¹⁷. И мы видим, как эта *неравномерность* начинает играть всё большую роль во взаимоотношениях государств уже в наши дни.

Впервые Маккиндер изложил свои взгляды в 1904 году в прочитанной им в Британском королевском географическом обществе

лекции под названием «*Географическая ось истории*»¹⁸. Суть идеи Маккиндера состояла в том, что роль *осевого региона* мировой политики и истории играет огромное внутреннее пространство Евразии и что господство над этим пространством может явиться основой для мирового господства.

«Окидывая взглядом широкие потоки истории, — писал он, — нельзя избавиться от мысли об определенном давлении на нее географических реальностей. Обширные пространства Евро-Азии, недоступные морским судам, но в древности открытые для полчищ кочевников, покрываемые сегодня сетью железных дорог, — не являются ли именно они осевым регионом мировой политики? Здесь существовали и продолжают существовать условия для создания мобильной военной и экономической мощи... Россия заменила монгольскую империю. Место былых центробежных рейдов степных народов заняло ее давление на Финляндию, Скандинавию, Польшу, Турцию, Персию и Китай. *Россия занимает центральную стратегическую позицию в мире, сравнимую с позицией, занимаемой Германией в Европе.* Она может наносить удары по всем направлениям, но и сама получать удары со всех направлений... Вот почему маловероятно, чтобы какая-либо из мыслимых социальных революций могла бы изменить фундаментальное отношение России к бескрайним географическим пределам ее существования... За осевым регионом, в большом внутреннем полумесяце, расположены Германия, Австрия, Турция, Индия и Китай; во внешнем же полумесяце — Англия, Южная Африка, Австралия, Соединенные Штаты, Канада и Япония...»¹⁹ (курсив мой. — Э.П.).

Маккиндер считал, что любая континентальная держава, будь то Россия, Германия или Китай, захватившая господствующее положение в осевом регионе, может обойти с флангов морской мир, к которому принадлежали, в первую очередь, Великобритания и США. В этой связи он предостерегал против опасности русско-германского сближения. По его мнению, оно могло бы объединить наиболее крупные и динамичные «осевые» народы, способные вместе сокрушить мощь Британии. В качестве одного из средств предотвращения данной угрозы он предлагал укрепление англо-русского сотрудничества.

Маккиндер еще не использовал тогда термин «*хартленд*». Собственно, он был впервые введен в 1915 году не Маккиндером, а его соотечественником, тоже географом *Фэрригом*, который независимо от Маккиндера пришел к ряду сходных с ним идей²⁰. Однако

ставшее очень популярным в геополитике понятие «хартленда» ассоциируется именно с Маккиндером и его концепцией.

В опубликованной в 1919 году книге «Демократические идеалы и реальность», сразу же ставшей настольной книгой геополитиков, Маккиндер развил дальше свою теорию осевого региона, видоизменив в ней некоторые прежние положения. «Хартленд» (именно так он стал отныне называть осевой регион) был расширен им за счет включения в него Тибета и Монголии на востоке и Восточной и Центральной Европы — на западе. Новые границы «хартленда» определялись им с учетом прогресса в развитии сухопутного и воздушного транспорта, индустриализации и роста населения. Он вновь подтвердил свои опасения относительно Германии как державы, стратегически расположенной выгоднее, чем любая другая европейская держава в борьбе за доминирование в «хартленде». Заняв в нем господствующее положение, Германия, по его мнению, могла бы с помощью созданной ею морской силы предпринять попытку завоевания господства над всем миром.

В то же время Маккиндер считал, что морская сила остается, как и прежде, существенным атрибутом мировой мощи, хотя ее предпосылки претерпели изменения по сравнению с прошлым. В XX веке поддержание морской мощи на должном уровне требовало уже более разветвленной сети военно-морских баз на суше, и не каждому государству было по средствам иметь их. Господства над «Мировым островом» могла бы добиться только великая континентальная держава, типа России или Германии, и это давало бы ей возможность стать также великой морской державой.

В концепции Маккиндера «*Мировой остров*» — это сплошной континентальный пояс, включающий Европу, Азию и Африку. Окруженный со всех сторон Мировым океаном, благодаря своему географическому и стратегическому положению, он неизбежно должен стать главным местом расположения человечества на нашей планете. Отсюда логически следовал вывод, что государство, занимающее господствующее положение на «Мировом острове», будет властвовать и в мире. Дорога же к господству над «Мировым островом» лежит через «хартленд», так как только он имеет достаточно прочную основу для концентрации силы, способной угрожать свободе мира изнутри цитадели евразийского континента.

Свои сложные геополитические построения Маккиндер воплотил в ставших знаменитыми трех взаимосвязанных максимах:

«Кто правит Восточной Европой, тот господствует над Хартлендом; кто правит Хартлендом, господствует над Мировым островом; кто правит Мировым островом, господствует над миром»²¹.

Маккиндер как выразитель британских интересов страшился одновременно и России, и Германии. Извечный страх, что Россия может захватить Дарданеллы, прибрать к рукам Османскую империю и выйти к Индии — этой «жемчужине» Британской империи, обременял как английскую практическую политику, так и ее теоретические умы. Из двух зол — России и Германии — Маккиндер всё же выбрал, на его взгляд, наименьшее — Россию, и весь политический пафос своей концепции направил против Германии как ближайшей и непосредственной угрозы британским интересам. Опасаясь движения Германии на восток, к центру «хартленда», он предлагал создание «срединного яруса» независимых государств между Россией и Германией. Таковой, собственно, и был создан мирными договорами в 1919 году, хотя вряд ли его создание может быть отнесено на счет концепции Маккиндера: здесь большую роль сыграли другие идеи, но об этом ниже. Как бы то ни было, «срединный ярус» был образован. Его звеньями стали Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия и Румыния, причем политически ему предназначалась роль, противоположная маккиндеровской, а именно: защищать не Россию от Германии, а Запад от «большевицкой угрозы».

У Маккиндера, к слову, опасение вызывала не только и, быть может, не столько угроза прямой германской военной экспансии на восток, сколько мирное и постепенное проникновение в разрушенную революцией Россию экономически развитой и энергичной Германии. Он был убежден, что методы «экономического Троянского коня» могут завершиться возобновлением гражданской войны в России с последующей интервенцией германских «спасителей порядка», «приглашенных отчаявшимся народом»²².

* * *

В связи с концепцией Маккиндера нельзя пройти мимо одной важной детали, на которую обращали внимание многие ее критики. Дело в том, что Маккиндер нигде и никогда не давал определенного описания *западных* границ «хартленда», будто оставляя этот вопрос на разумение будущих исследователей. Хотя он и ссылаясь в общих чертах на то обстоятельство, что стратегически «хартленд» включает Балтийское море, Дунай, Черное море, Малую Азию и Армению,

дальше этого он, однако, не шел, и, думается, не без оснований. В самом деле, кто вообще может взять на себя смелость провести определенную, фиксированную линию на этой вечно бурлящей и конфликтующей части Европейского континента?

Зыбкая граница, установленная после Первой мировой войны, была полностью разрушена уже в 1939 году. Вторая мировая война завершилась, казалось бы, установлением более прочной и «справедливой» разделительной линии между западной и восточной частями Европы, и ее можно было бы условно принять в качестве западной границы «хартленда». В начале 90-х годов прошлого столетия она также рухнула вследствие развала Советского Союза, и это новое крушение сопровождалось образованием в центре Европы «буферной зоны», еще более зыбкой, еще более чреватой конфликтами, еще более ненадежной и опасной, нежели то было после Первой мировой войны (события в Украине на рубеже 2013–2014 годов наглядно это подтверждают). Особенность ее образования на сей раз состояла в том, что оно было практически стихийным, не имевшим какой-либо определенной политической цели, а потому и будущая ее роль и предназначение пока скрыто в плотном тумане.

Концепция Маккиндера, как уже отмечалось, вызвала в свой адрес немалую критику. Для этого она, конечно, давала достаточно поводов. Думается, однако, что бо́льшая часть критики была обусловлена тем, что эта концепция появилась несколько преждевременно. По сути своей, она имела глобальное измерение, тогда как мир в момент ее появления еще оставался по преимуществу европоцентристским. Ему соответствовал и европоцентристский характер политического мышления. Кроме того, глобальность маккиндеровской концепции причудливо сочеталась в ней с чисто британскими интересами: ведь для Маккиндера «хартленд» — это Россия и Германия, два самых опасных противника Англии. Не дать им соединиться, поддержать более слабого из них в противовес более сильному — вот основная «национальная» подоплека его концепции. Ее «глобальность» нашла свое выражение уже позже, после Второй мировой войны, в частности, в американской доктрине сдерживания. Однако какие бы идеологические мотивы ни лежали в ее основе, по своей сути, она была нацелена на нейтрализацию контролируемого Советским Союзом «хартленда» и недопущение его доминирования над «Мировым островом».

Но и в начале XX столетия было немало тех, кто по праву оценил если и не политические, то, по меньшей мере, концептуально-геопо-

литические достоинства теории Маккиндера. «*Сжатым в несколько страниц грандиозным объяснением мировой политики*» — так назвал маккиндеровскую лекцию 1904 года *Карл Хаусхофер*, с чьим именем тесно связана вся немецкая геополитика начала прошлого века, включая и ее негативный аспект как теоретического оправдания нацистской идеи мирового господства²³.

В многочисленных статьях и брошюрах Хаусхофера в общем трудно обнаружить систематическое и целостное представление о геополитической теории как таковой. Он избегает строгого определения даже такого ключевого понятия немецкой геополитики, как «*жизненное пространство*» (*Lebensraum*). В его руках геополитика делается гибкой и пластичной, свободной от всяких жестких и фиксированных дефиниций. В то же время она строится им на совершенно определенных приоритетах. Опираясь на «законы» Ратцеля и прежде всего на его идею о преимуществах больших государств перед малыми, а также на идею Маккиндера о «Мировом острове», Хаусхофер рассматривал господство Германии над малыми государствами к западу и к востоку от нее как нечто «неизбежное», а борьбу, необходимую для его реализации, как полностью оправданную. В идее «Мирового острова» он видел пространственную модель для немецкой гегемонии в будущем новом мировом порядке.

Вслед за Ратцелем и Маккиндером Хаусхофер считал, что континентальная держава обладает фундаментальным преимуществом над морской державой. Он рассматривал союз Германии и России как ядро евразийского союза с более широким трансконтинентальным блоком, должным включать Китай и Японию. На протяжении 20-х и 30-х годов Хаусхофер не устал призывать Японию к сближению с Китаем и Советским Союзом, выступая одновременно за укрепление советско-германского сотрудничества. В целом же он оценивал Советский Союз как азиатскую державу. Европа, включая славянские земли Восточной Европы, должна была, по его мнению, объединиться под главенством Германии и в этом виде служить своего рода «*геополитическим аргументом*» в переговорах с Россией по вопросу о судьбе Евразии. Немецкие геополитики всерьез рассчитывали подвести Россию к добровольному соглашению о контроле над Евразией, а русско-германский союз рассматривался ими как необходимый шаг на пути к последующим завоеваниям Германии на суше и на воде.

Хотя Хаусхофер и его последователи в своих построениях исходили из концепции Маккиндера, выводы их — и это вполне естественно — носили прямо противоположный характер: для Маккиндера

русско-германский союз — то, чему нужно всячески противиться; для Хаусхофера, наоборот, этот союз был главным ключом к реализации идеи *Lebensraum*.

* * *

Вторая мировая война, развязанная нацистскими приверженцами идеи «жизненного пространства», хотя и развивалась во многом вопреки взглядам и предположениям Хаусхофера и его школы, пробудила, тем не менее, на политико-теоретическом уровне повышенный интерес к проблемам геополитики не только в плане критики немецкой школы, но и позитивного развития геополитических идей. Так, в 40-х годах в Соединенных Штатах появился ряд исследований, в которых наряду с критикой геополитики, называемой не иначе как «псевдонаука», содержались и первые, притом достаточно крепкие ростки собственных американских геополитических воззрений. Среди этих работ назовем в первую очередь труды Спикмена, Страуса-Хюпе и Джиорджи.

Оценивая американскую геополитическую школу в целом, нельзя не упомянуть также и пионера американской геополитики адмирала *Альфреда Мэхэна*, который, подобно Маккиндеру, своими геополитическими взглядами тоже опередил время. Если Ратцель, Маккиндер и Хаусхофер делали упор на преимущество континентальных держав, Мэхэн, наоборот, выдвинул концепцию преимущества морских или океанических держав. Свои взгляды он изложил в ряде работ, в частности в книге «Проблема Азии и ее воздействие на международную политику» и в наиболее известном труде — «Влияние морской мощи на историю»²⁴.

Мэхэн хорошо понимал, что северная континентальная полусфера является ключевой в мировой политике и в борьбе за политическое и экономическое влияние. Внутри Евразии в качестве наиболее важного компонента северной полусферы он признавал позицию России — этой, как он писал, «доминантной азиатской континентальной державы». Зону между 30-й и 40-й параллелями в Азии он рассматривал как зону конфликта между сухопутной мощью России и морской мощью Англии. Мировое доминирование, по его мнению, могло бы удерживаться с помощью цепи ключевых баз на суше вдоль всей периферии Евразии. Мэхэн даже выдвинул предположение, что однажды Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Япония объединятся против России и Китая. В целом же Мэхэн рассматривал Соединенные Штаты как продвинутый далеко на запад *авантост* европейской цивилизации и силы. В его глазах США

представали как мировая держава будущего, и он неустанно и с энтузиазмом призывал к укреплению американской военно-морской мощи, которая соответствовала бы имперскому предназначению страны. Флот, способный к наступательным действиям, заявлял он, обеспечит США неоспоримыми преимуществами в Карибском бассейне и в Тихом океане. Интересно в этой связи отметить, что призывы Мэхэна, к коим американские государственные мужи оставались чуть ли не демонстративно глухи при жизни адмирала, позже нашли свое полное воплощение.

Николаса Спикмена можно в известном смысле назвать наследником геополитических доктрин Мэхэна, только с сухопутным уклоном. Его глобальные геополитические модели и выводы показывают, что он также находился под сильным влиянием концепций Маккиндера, хотя в то же время предпринял попытку ее ревизии. Сама эта ревизия в общем мало оригинальна; ее главная особенность в том, что она сделана явно с позиций геополитических интересов Соединенных Штатов, как те понимались Спикменом.

В отличие от Маккиндера в качестве ключа к контролю над миром Спикмен рассматривал не «хартленд», а евразийский пояс прибрежных территорий, или «маргинальный полумесяц», включающий морские страны Европы, Ближний и Средний Восток, Индию, Юго-Восточную Азию и Китай. Как незаурядный политический мыслитель, Спикмен хорошо понимал преимущества «маргинального полумесяца» для будущей глобальной стратегии Соединенных Штатов и нацеливал их на этот регион задолго до того, как американские государственные деятели, зараженные вильсоновским политическим идеализмом, стали их осознать.

Взгляды Спикмена были изложены им сначала в книге «Стратегия Америки в мировой политике» (1942), а затем в посмертно изданной работе «География Мира» («The Geography of the Peace», 1944). В его видении евразийская земная масса и северные побережья Африки и Австралии образуют как бы три концентрические зоны. В мировой политике они функционируют в понятиях следующих геополитических реалий:

- а) «хартленд» северного евразийского континента,
- б) окружающая его буферная зона и маргинальные моря и
- с) удаленные от центра африканский и австралийский континенты.

Внутренняя зона, вокруг которой группируется всё остальное, — это центральное ядро евразийского «хартленда». Вокруг этой сухопутной массы, начиная от Англии и заканчивая Японией, между се-

верным континентом и двумя южными континентами проходит Великий морской путь. Он начинается в морях, омывающих Западную Европу, включая Балтийское и Северное моря, проходит через европейское Средиземноморье и Красное море, пересекает Индийский океан, затем через азиатское Средиземноморье идет к прибрежным морям Дальнего Востока, Восточно-Китайскому и Японскому морям и заканчивается, наконец, в Охотском море.

Между центром евразийской континентальной массы («хартлендом») и этим морским путем лежит большая буферная зона. Она включает Западную и Центральную Европу, плоскогорные страны Ближнего Востока, Турцию, Иран и Афганистан; затем Тибет, Китай, Восточную Сибирь и три полуострова: Аравийский, Индийский и Бирманно-Сиамский²⁵.

Эту сплошную полосу, тянущуюся от западной окраины евразийского континента до восточной его оконечности, Спикмен назвал Евразийским «римлендом» (от англ. *rim* — ободок, край). Тем самым он геополитически разделил мир на две части: «хартленд» и «римленд».

В отличие от Маккиндера и других известных геополитиков, Спикмен отверг идею преобладания континентальных держав «хартленда» и выдвинул свою формулу:

*«Кто контролирует Римленд, господствует над Евразией; кто господствует над Евразией, контролирует судьбы мира»*²⁶ (курсив мой. — Э.П.).

По отношению и к «хартленду», и «римленду» Соединенные Штаты, по Спикмену, занимают выгодное центральное положение. Своими атлантическим и тихоокеанским побережьями США обращены к обеим сторонам Евразийского «римленда», а через Северный полюс — и к «хартленду». Спикмен считал, что Соединенные Штаты должны сохранять трансатлантические и транстихоокеанские базы на ударной дистанции от Евразии, чтобы постоянно контролировать баланс сил вдоль всего «римленда»²⁷.

Поскольку книга была написана в годы войны, Спикмен считал, что его рекомендации должны быть осуществлены в партнерстве с Советским Союзом и Англией — союзниками США. Однако с той поры многое изменилось, прежде всего изменилась глобальная геополитическая ситуация, а в ее пределах претерпела существенные изменения и роль Соединенных Штатов. В новой ситуации прежде игнорируемые или критикуемые геополитические концепции американских стратегов, начиная с Мэхэна и кончая Спикменом и

Страус-Хюпе, зазвучали по-новому. Джорджи верно подметил, что у Спикмена и других сторонников американской силовой политики за словами о самодостаточности США скрывалось энергичное изложение геополитической теории интервенционизма.

«Теория интервенционизма, — отмечал он, — раскрывает политическую решимость Соединенных Штатов никогда не быть буферным государством между Германией и Японией. Она включает также пересмотр доктрины Монро, которая из “туманного и неосязаемого принципа” превратилась в сильную и крепко сколоченную доктрину. Заново оживленная, доктрина Монро включает не только защиту всего Западного полушария, но также поддержание прочного баланса сил на ключевых континентах — в Европе, Азии и Африке. Наконец, она нацелена на защиту некоторых глобальных американских интересов, сформулированных в Атлантической хартии, и обеспечение тех соответствующей военной силой и последовательной, более реалистичной внешней политикой»²⁸.

Американские геополитики в принципе не ошиблись в своих практических выкладках и предположениях. Если судить по нынешней внешней политике Соединенных Штатов, то можно сделать вывод, что американские политические и государственные деятели хорошо усвоили геополитические уроки Мэхэна, Спикмена, Реннера и других. Однако такой вывод был бы не совсем точен: скорее не нынешние американские государственные деятели хорошо усвоили уроки своих теоретиков-геополитиков, а последние хорошо поняли мессианско-интервенционистскую суть внешней политики вышедших на мировой простор Соединенных Штатов. Соответственно, они попытались показать будущую их роль в мире и хотя не всегда точно в деталях, но в целом верно отразили ее в своих работах. Последние события в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии прекрасно это иллюстрируют.

«В интересах не только Соединенных Штатов, но и в интересах человечества, чтобы существовал один центр, из которого осуществлялся бы балансирующий и стабилизирующий контроль, сила арбитра, и чтобы этот балансирующий и стабилизирующий контроль находился в руках Соединенных Штатов» — так, к примеру, считал Страус-Хюпе²⁹.

Сегодня Соединенные Штаты как никогда близки к этому геополитическому идеалу, отчего, однако, мир не только не становится

более спокойным и стабильным, но, наоборот, делается более конфликтным и неустойчивым. Усвоив уроки интервенционизма, американские государственные деятели, судя по всему, гораздо хуже поняли другие, более важные вещи, касающиеся закономерностей отношений между государствами, неплохо, кстати, изложенные тем же Спикменом. Речь идет, прежде всего, о балансе сил.

Мы уже знаем, что как собственная безопасность, так и безопасность международная лежит не в стремлении к доминированию, сопровождаемом декларациями о защите мира, демократии и справедливости, а в *сбалансированной силе*. Если сила одного государства или группы государств не сбалансирована силой другого государства или группы государств, то вся система отношений между ними дезорганизуется и движется в направлении хаоса, конфликтов и войн — вот главный урок, вытекающий из всей долгой и кровавой истории международных отношений.

На этом можно было бы закончить по необходимости краткое изложение общей линии развития геополитических концепций. В мою задачу не входил подробный историографический обзор всех школ и направлений политической географии и геополитики — это отдельная научная задача, важная и нужная, и можно надеяться, что ее решение не за горами. Главной задачей было дать представление об основных идеях, концепциях и доктринах в этой области, показать определенную закономерность и преемственность в становлении и развитии основных геополитических идей, их тесную связь с развитием мира, с превращением его из пространства, состоящего из разрозненных географических регионов, в единое глобальное геополитическое пространство.

Выше вскользь уже говорилось о том, почему именно в XX столетии возникла геополитика, хотя влияние географических факторов на политику и международные отношения признавалось во все времена. Главная причина, как представляется, в том, что к XX столетию в основном закончился территориальный раздел мира. Свободная экспансия исчерпала себя: в мире не осталось незанятых мест и пространств, и в то же время его политическая и экономическая перетряска еще далека от завершения. Эта «перетряска» отныне может осуществляться только за счет ущемления интересов других государств и народов. Мир стал настолько тесен, что всякое, даже незначительное «шевеление локтями» непременно должно кого-то задевать. Послевоенное развитие, сопровождавшееся крушением колониальных империй, образованием многих десятков новых независимых государств в Азии, Африке и Латинской Америке, а теперь и в старой

Европе, вместе с научно-техническим прогрессом и созданием средств массового уничтожения спрессовали мир до предела в его пространственном измерении. В нем практически не осталось углов, куда бы можно было сбросить избыточное население. Сила же не прекращающегося ни на минуту демографического роста, не находя себе свободного выхода, направляет свою энергию главным образом на активный сброс избыточного населения путем эмиграции и многообразных форм экономического проникновения. И тут нельзя не заметить, что экспансия через эмиграцию, хотя и не столь бросается в глаза, в итоге действует не менее, если не более эффективно и надежно, чем экспансия политическая³⁰.

Что касается экспансии экономической, то, по словам известного немецкого геополитика Отто Мауля, *«полное экономическое проникновение в ту или иную страну имеет тот же эффект, что и ее территориальная оккупация»*³¹.

Второй способ, экономический, — прерогатива более богатых, промышленно развитых стран; первый — стран менее богатых экономически, но богатых демографически. В принципе же проблема *Lebensraum* («жизненного пространства») сохраняется, но ее решение изыскивается уже в адекватных нынешнему миру способах и средствах. Их поиски, в частности, входят в задачу современной геополитики, как теоретической, так и практической.

По мере происходящих в мире изменений (главным образом технологических) менялись и представления о пространстве. Если до XX столетия дело ограничивалось земной сушей и водными бассейнами, то, начиная с прошлого века, в геополитическое пространство стал включаться воздушный океан, а со второй его половины — и космос. И тот и другой во все возрастающей степени становятся предметом геополитических и геостратегических калькуляций и важнейшим компонентом национальной безопасности. Типичны в этом смысле рассуждения известного американского специалиста в области мировой политики и безопасности Бжезинского.

«Сегодня эквивалентом морского соперничества, — пишет он, — стало соперничество в космическом пространстве. Американской стратегической задачей должно быть, как минимум, обеспечение того, чтобы ни одна враждебная держава не могла воспрепятствовать использованию Соединенными Штатами средств космической разведки, раннего предупреждения, выявления целей, контроля и оперативного руководства. Современные военные операции в высшей степени зависят от космических установок, выполняющих эти

функции; и уязвимость США в этой сфере могла бы принести им непоправимый урон»³².

С еще большим основанием те же слова и рекомендации можно адресовать и нынешней России как стране, занимающей большую часть «хартленда».

Понятие геополитики

Представленная выше картина развития и становления геополитической мысли дает, казалось бы, достаточный материал для формирования общего представления о том, что такое геополитика. Напрасно было бы, однако, пытаться найти четкую формулировку геополитики, которая могла бы удовлетворить взыскательного читателя и дать строго научное понимание этой области. Такой формулировки пока не существует. В современной политической и справочной литературе понятие геополитики трактуется порой настолько широко и многопланово, что в итоге она лишается специфических черт, делающих всякую область исследования научной дисциплиной.

Понятие это используется для оценки международно-политических позиций государств, их места в системе международных отношений, условий их участия в военно-политических союзах. Важный аспект геополитики видится в исследовании комплекса экономических, политических, военно-стратегических, экологических, ресурсных и иных вопросов, играющих большую роль в сохранении или изменении общемирового и регионального балансов сил.

Разумеется, в той или иной мере все перечисленные аспекты имеют отношение к геополитике, но не может не возникнуть вопрос: чем же геополитика отличается от общетеоретических исследований международных отношений и внешней политики, также рассматривающих все эти вопросы?

Мало что проясняет в этом смысле имеющиеся энциклопедические разъяснения. Энциклопедия «Britannica», к примеру, ссылаясь на мнения авторитетов, связывает геополитику с использованием географии в интересах правительств. Согласно ей, наиболее распространенная точка зрения такова: *геополитика служит определению национальной политики с учетом факторов воздействия на нее естественной среды.*

В энциклопедии «Americana» геополитика рассматривается уже как наука, изучающая и анализирующая в единстве географические,

исторические, политические и другие взаимодействующие факторы, оказывающие влияние на стратегический потенциал государства.

Советский «Философский энциклопедический словарь» (1989) определяет геополитику как *западную* политологическую концепцию, согласно которой «политика государств, в особенности внешняя, в основном предопределена различными географическими факторами: пространственным расположением, наличием либо отсутствием определенных природных ресурсов, климатом, плотностью населения и темпами его прироста и т.п.».

Думается, однако, для того чтобы лучше понять особенности геополитики, лучше отойти от дефиниций и обратиться к политической географии, поскольку именно из ее недр она вышла. Политическая география, в свою очередь, признается многими географами в качестве самостоятельной систематической научной дисциплины, в чем, как правило, геополитике отказывают. Обратимся к суждениям двух известных американских географов нашего времени Хартшорна и Уитлеси.

Хартшорн определяет задачу политической географии как

«изучение различий в политических явлениях в зависимости от места и во взаимосвязи с другими свойствами Земли как места пребывания человека»³³.

Уитлеси, в свою очередь, считает, что

«ядром политической географии является политическое пространство... Политическая значимость любого пространства имеет четкое определенное отношение к климату, форме Земли и природным ресурсам»³⁴.

Для сравнения приведем еще одно определение политической географии, на сей раз Отто Мауля. Согласно Маулю, политическая география занимается изучением

«географической природы и географических форм государства, или, другими словами, изучением государства в его географическом единении и в его зависимости от естественного и культурного ландшафта»³⁵.

Последнюю дефиницию, на мой взгляд, выгодно отличает большая четкость и определенность. В целом же большинство определений политической географии, при многих несомненных своих

достоинствах, лишены одного — ясности. Суммируя многочисленные определения, американский геополитик Коэн приходит к заключению, что общим во многих из них является то, что

«в основе географического мышления лежит пространственная дифференциация. Дифференциация политических явлений в зависимости от места и составляет суть политической географии»³⁶.

Предложенные формулировки политической географии невольно приводят к выводу, что со времени Ратцеля и его понимания предмета политической географии, ее основных понятий и категорий мало что изменилось и мало что прибавилось, если прибавилось вообще. Создается даже впечатление, что по сравнению с его концепцией сделан шаг назад в эру географического детерминизма, где уже были найдены и сформулированы основные отношения между государством, человеческой деятельностью и географическим окружением.

Если же обратиться к определениям геополитики, то и здесь сталкиваешься почти с такой же неопределенностью и расплывчатостью. Челлен, будучи автором термина «геополитика», определял ее как «*доктрину, рассматривающую государство как географический организм или пространственный феномен*»³⁷.

Ведущий немецкий геополитический журнал «*Zeitschrift für Geopolitik*», основанный Хаусхофером, дал следующее определение, кстати, наиболее часто цитируемое в работах по геополитике:

«Геополитика — это наука об отношениях земли и политических процессов. Она зиждется на широком фундаменте географии, прежде всего географии политической, которая есть наука о пространственных характеристиках политических организмов и об их структуре. Геополитика имеет целью обеспечить надлежащими средствами политическую деятельность и придать направление политической жизни в целом. Тем самым геополитика становится искусством, а именно — искусством руководства практической политикой. Геополитика — это географический разум государства»³⁸.

В том же примерно духе, но с некоторыми важными дополнительными акцентами геополитика определяется и Маулем. Геополитика, считает тот, имеет своим предметом государство не как статическую концепцию, а как живое существо. Геополитика исследует государство главным образом в его отношении к окружению и пространству, и ставит целью решать проблемы, вытекающие из пространственных отношений. В отличие от политической географии, ее не интересуют

природные характеристики государства, то есть его положение на карте мира, размеры, форма или границы как таковые. Не имеет она дело и с государством как системой экономики, торговли или культуры. С точки зрения геополитики простой анализ государства (физический или культурологический), даже если он имеет отношение к пространству, остается статичным. Все эти вещи относятся к сфере материнской науки — политической географии...

Область же геополитики, считает Мауль, включает *пространственные нужды и требования* государства, тогда как политическую географию интересуют главным образом *пространственные условия его бытия*. Мауль еще раз отмечает принципиальное различие между политической географией и геополитикой: первая ограничивается статическим описанием государства, которое может также включать изучение динамики прошлого его развития; вторая же есть дисциплина, *взвешивающая и оценивающая данную географическую ситуацию в политических интересах государства*. Иными словами, *геополитика всегда нацелена на будущее*³⁹.

Прежде чем подводить некоторые итоги, приведем еще одно суждение, проливающее дополнительный свет на проблему. Американский исследователь Кристоф полагает, что геополитика покрывает область знаний, расположенную между политической наукой и политической географией. Признавая все трудности определения геополитики, Кристоф тем не менее рискует сделать это.

«Геополитика, — считает он, — есть изучение политических явлений, во-первых, в их пространственном взаимоотношении и, во-вторых, в их отношении, зависимости и влиянии на Землю, а также на все те культурные факторы, которые составляют предмет человеческой географии... в ее самом широком понимании. Другими словами, геополитика есть то, что этимологически предлагает само это слово, то есть *географическая политика*; не география, а именно *политика*, географическая интерпретированная и проанализированная в соответствии с ее географическим содержанием. Как наука промежуточная, она не имеет независимого поля исследования. Последнее определяется в понятиях географии и политической науки в их тесной взаимосвязи»⁴⁰.

Кристоф считает, что не существует принципиальной разницы между геополитикой и политической географией как в самой области исследования, так и методах исследования. Единственное реальное различие между той и другой состоит, по его мнению, *в акценте*,

в фокусе внимания. Политическая география, будучи преимущественно географией, делает акцент на географических явлениях; она дает политическую интерпретацию и анализ политических их аспектов. Геополитика же, как преимущественно сфера исследования политики, наоборот, *концентрирует свое внимание на политических явлениях и стремится дать географическую интерпретацию и анализ географических аспектов этих явлений.*

В последних трех определениях уже более заметно обозначается та зыбкая грань, которая отделяет геополитику от политической географии, если их вообще можно отделить одну от другой. Тем не менее, определенное различие между ними всё же существует: политическая география рассматривает государство (и, соответственно, политику) с точки зрения пространства; геополитика же, напротив, пространство рассматривает с точки зрения государства и его политики⁴¹.

Этими акцентами обуславливается статичность первой и динамичность второй. Динамика геополитики наиболее отчетливо прослеживается в работах Мэхэна, Маккиндера, Спикмена, не говоря уже о немецкой школе.

Но и в рамках самой геополитики можно различить два достаточно четко обозначенных направления: геополитику *предписывающую, или доктринально-нормативную* (к ней вполне можно причислить, не боясь ошибиться, всю немецкую школу, связанную с именем Хаусхофера), и геополитику *оценочно-концептуальную*. Наиболее типичными представителями последней назовем Маккиндера, Спикмена, Козна. Отчетливую грань между той и другой не всегда, конечно, можно провести, но она всё же существует, как существует она в более общем виде между нормативной политической наукой и политической наукой концептуальной.

Граница как геополитический фактор

Вся последовательность геополитических идей, в конечном счете, сфокусирована вокруг одного доминантного фактора — пространства, притом пространства политического. В этом смысле признаком государства является не просто некая территория, но именно *политическое пространство*. Политическим же всякое пространство делают *фиксированные границы*, являющиеся важнейшим элементом суверенитета государства. В геополитике важно не столько само пространство, сколько пространственные отношения между государствами, что органически включает в себя проблему границ между ними.

Граница и впрямь есть признанный предмет исследования как политической географии, так и геополитики, притом каждой под своим углом. Уже Ратцель в своих «законах» отметил особую значимость границ. Его четвертый «закон», напомним, гласит:

«Граница есть периферийный орган государства и как таковой служит свидетельством его роста, силы или слабости, а также изменений в этом организме» (курсив мой. — Э.П.).

Следуя за Ратцелем, немецкая геополитическая школа сделала проблему границ главным предметом своего внимания. Тот же Хаусхофер призывал к выработке у народа и его руководителей не только «геополитического чувства», но и «*чувства границ*». Большая ошибка, считал он, состоит в рассмотрении границ как неизменных, жестких линий. Границы можно считать какими угодно, но только не мертвыми — они живые органы, расширяющиеся и сжимающиеся, подобно коже и другим защитным органам человеческого тела⁴². Аналогичную оценку находим и у Мауля.

«Граница как линия, — писал он, — в действительности есть не истинная граница, а компромисс, достигнутый более или менее случайно, порой вследствие акта насилия. Граница, таким образом, есть простой перерыв между политико-силовыми ситуациями. Пакты, гарантирующие границы, основаны на той великой иллюзии, что можно будто бы поставить предел живому росту нации»⁴³.

Проблема границ столь же стара, сколь стара проблема взаимоотношений различных человеческих ассоциаций. Мы сталкиваемся с ней в Ветхом Завете, в «Артхашастре», в «Книге Шан Яна», в древнегреческом и древнеиндийском эпосах. Ее история неотрывна от войн между государствами. Границы государства — «плохие» те или «хорошие», «искусственные» или «естественные» — это всегда, в конечном счете, границы политико-стратегические, даже если они разделяют два дружественных и миролюбивых государства⁴⁴. Если мы признаём, что геополитика, как и политика вообще, зиждется на различных системах ценностей, а потому нет и не может быть некой «общей геополитики», то нельзя не признать, что в еще большей мере данное утверждение относится к проблеме границ. Как справедливо отмечал один из авторов, эта область исследования весьма опасна для любого ученого вследствие того, что насквозь пронизана политическими страстями и предрассудками⁴⁵.

Вот, кстати, почему словосочетание «научно определенная граница» лишено какого-либо реального содержания. В данном контексте несомненного внимания заслуживают рассуждения лорда Керзона. Широкой публике он более известен своими заслугами перед британской внешней политикой и как автор пресловутой «*линии Керзона*»*. Однако, ко всему прочему, он был и автором одного из первых исследований проблемы границ, в котором подытожил свой богатый практический опыт по демаркации границ, будучи вице-королем Индии. В своем труде он отмечал, в частности:

«Было бы тщетно утверждать, что когда-либо была или будет создана точная наука о границах, поскольку невозможно применить один закон ко всем государствам или народам, ко всем правительствам, всем территориям, всем климатическим условиям».

После этого в целом бесспорного утверждения Керзон ступил на более зыбкую почву общих рассуждений:

«Но всё же движение общей тенденции, — продолжал он, — происходит вперед, а не назад. Ни высокомерие, ни невежество не имеют больше господствующего положения; преимущественное значение обретает научное знание; *честно* взвешиваются этнические и топографические соображения, возрастающую роль начинает играть юриспруденция, всё более и более вовлекается национальный разум... Таким образом, вещи, столь часто служившие причиной войн, могут превратиться в инструмент и свидетельство мира».

Стивен Джоунс, американец-демократ, из статьи которого заимствован вышеприведенный пассаж, не преминул дать критически-саркастическую оценку прекраснородным рассуждениям лорда Керзона. Точка зрения последнего, по его убеждению, есть не что иное, как взгляд «законченного империалиста». Наука о границах превращается под пером Керзона в часть военной науки, а так называемая «научно-обоснованная граница» дает преимущество только одной стороне, но отнюдь не обеим. Поэтому «керзоновская» гра-

* Условное название демаркационной линии, определившей в период между двумя мировыми войнами восточную границу Польши. Была предложена как линия перемирия в июле 1920 года английским министром иностранных дел лордом Керзоном и принята за основу при установлении границы между Польшей и СССР после Второй мировой войны.

ница «как инструмент и свидетельство мира» есть, в оценке Джоунса, полное выражение лозунга *Pax Britannica**. ⁴⁶.

Права Джоунса подтверждена практикой, в частности, судьбой вошедшей во все учебники по истории дипломатии «линии Керзона». При всем том, однако, было бы ошибочно игнорировать некоторые позитивные положения, сформулированные Керзоном. Можно в целом согласиться с мнением, что вечных границ не существует, но данное положение никак не может и не должно служить аргументом против важности и ценности *временных* границ, особенно там, где границ либо вообще нет, либо отсутствие таковых служит поводом для острого конфликта между соседними народами. Это тем более верно, что само слово «*временные*» не содержит в себе точных временных рамок: они могут простираться от нескольких месяцев до многих лет. В любом случае, если временная граница дает возможность положить конец конфликту, вражде, войне, утихомирить страсти, она уже полезна и ее обозначение вполне оправданно.

Керзон на опыте увидел, что многие азиатские народы избегают фиксированных границ, что было связано отчасти с их кочевым образом жизни, отчасти с неприятием всяких жестких установлений. В общем-то, тщательно демаркированная граница, граница как четкая и жесткая линия, разделяющая два государства, — это более современное, притом европейское приобретение. Для тех же случаев, когда проведение четко фиксированной границы по каким-то соображениям или обстоятельствам невозможно, Керзон предложил использовать создание *буферных государств*. Хотя «буферное» государство представляет собой искусственное образование, оно тем не менее имеет собственное национальное существование, подкрепляемое территориальными и политическими гарантиями других государств, чьи владения оно разделяет. Искусственная природа «буферного» государства есть, конечно, вопрос степени: она может варьироваться в зависимости от стабильности внутренней ситуации в нем, от прочности правительства и его учреждений. Стабильность эта, как показывает опыт, часто весьма зыбкая, поскольку сами политические условия существования «буферных» государств дают простор для внутренних и внешних интриг и вмешательства извне⁴⁷.

Как бы то ни было, создание такого рода государств в определенных ситуациях может быть единственной альтернативой в деле уре-

* *Pax Britannica* — период доминирования Британской империи на море и в международных отношениях, начиная с битвы при Ватерлоо в 1815 году и заканчивая Первой мировой войной (1914–1918).

гулирования острых конфликтных ситуаций, возникающих между государствами по территориальным вопросам. Сегодняшняя обстановка в ряде регионов мира — например, конфликт между Арменией и Азербайджаном по вопросу о Нагорном Карабахе или сложный клубок противоречий между Молдовой, Россией и Украиной в вопросе о судьбе Приднестровья и другие — прямо подводит к идее образования «буферных» государств как одного из реальных средств выхода из тупиковой ситуации.

Идеи Керзона нашли практическое воплощение в Версальском договоре. Версаль добавил к поясу прежних «буферных» государств — Норвегии, Дании, Швеции, Голландии, Бельгии, Люксембургу и Швейцарии — второй пояс, состоящий из Финляндии, Румынии, Югославии, Болгарии, Албании и Греции. Этот второй пояс образовал сплошной сегмент большого полумесяца евразийских «буферных» государств, в котором Турция, Ирак, Персия, Афганистан и Тибет представляли его азиатское крыло. Маккиндер назвал его «европейской зоной раздела между евразийским «хартлендом» и маргинальным полумесяцем морских держав»⁴⁸.

На деле, однако, зона государств, отделившая Россию от Европы и Германии (или наоборот), была «буферной» только на бумаге. Пример таких стран, как Чехословакия, Польша, Югославия, показал, что политико-стратегические соображения оказались, в конечном счете, в подчинении национально-этнических. «Буферный пояс», как замечает Страус-Хюпе, не мог быть в целом стратегически более сильным, чем его отдельные элементы-государства⁴⁹, что лишний раз подтверждает верность рассмотренного выше «закона наименьших»: *прочность любой цепи определяется прочностью самого слабого ее звена.*

* * *

В литературе, посвященной проблеме границ, довольно обычна классификация их на «естественные» и «искусственные» (политические). Под «естественными» границами имеются в виду физические характеристики местности, могущие служить основой границ политических. Однако далеко не все согласны с подобной их классификацией. Хартшорн, к примеру, считает, что *все* без исключения политические границы рукотворны, то есть искусственны, а значит, не относятся к явлениям природы. Не природа, а человек определяет их положение, поэтому всякое различие между «естественными» и «искусственными» границами неправомерно. Сама проблема границ, по сути своей, сугубо человеческая, вследствие чего любая междуна-

родная граница, пусть самая естественная, может стать предметом спора⁵⁰. Но именно по той причине, что проблема границ есть «человеческая проблема», вопрос о «естественных границах», как верно замечает Коэн, не может быть решен простым ее отрицанием как псевдонаучной концепции.

«Если народ, — пишет он, — верит в “естественность” своих границ и приписывает некоторым свойствам физического окружения мистическую, иррациональную функцию, то та вера становится “объективной” основой для соответствующего национального действия»⁵¹.

Граница каждого государства, справедливо замечает Коэн, есть нечто большее, чем знак суверенитета: она становится своего рода символом, ориентирующим ландшафт и пространство в направлении национального ядра, а тем самым играет роль мощного централизующего фактора⁵².

Немецкая школа геополитики стремилась решить противоречие между «естественными» и «искусственными» границами с помощью концепции «органической границы». Идея такой границы как бы соединяет в себе практически-политические амбиции и национальные чаяния. По Хаусхоферу, «органическая граница» представляет собой часть государства; она не жесткая, не безжизненная, не математически вычисленная линия, а живая и дышащая материя. Данную концепцию немецкая школа заимствовала из теории «органического государства» Челлена и доктрины Ратцеля о пограничных зонах. «Органическая граница» — это пограничная зона, отделяющая заселенную территорию государства, или *ойкумену*, от слабо заселенных приграничных территорий, или *анойкумены* — периферийной зоны государства, окружающей его жизненное пространство⁵³.

Однако и это деление достаточно противоречиво, на что указал в свое время Страус-Хюпе. С точки зрения безопасности наилучшими являются границы, которые наименее проходимы. Однако вместе с развитием современных технологий с их потребностями в разнообразном сырье, развитием средств сообщения и усилением экономической взаимозависимости меняется и сама эта формула, а именно: границы, способствующие коммуникации, становятся в то же время наиболее выгодными экономически.

Здесь возникает дилемма: безопасность или выгоды от внешней торговли; замкнутость или коммуникация. При сбалансированном и прочном международном порядке, когда уважается право, оптимальная граница та, замечает Страус-Хюпе, которая «широко открыта»,

или, как мы сказали бы сегодня, «прозрачна». Но до тех пор, пока мир не достигнет такого сбалансированного порядка, открытая граница будет оставаться источником опасности, а вопрос о границах сохранит не только свое политико-стратегическое значение, но и значение защиты от проникновения враждебных и криминальных элементов⁵⁴.

* * *

Как бы ни было «опасно» исследование проблемы границ, еще опаснее ее игнорирование. Граница есть одновременно геополитическая реальность, геополитическая цель и геополитическое средство. Под каким углом зрения смотреть на эти вещи, как оценивать и пользоваться ими — от этого в немалой степени зависит состояние международных отношений в целом, в различных регионах и между отдельными государствами. Сегодня проблема границ приобретает особую остроту и значимость. Достаточно сказать, что вместе с обретением независимого статуса многими народами бывшего Советского Союза потребуется на каком-то этапе демаркация новых границ, а вместе с этим процессом неизбежно возникнет и немалое число острых пограничных проблем. Проблемы эти трудны и сложны уже потому, что имеются народы и народности, которые слишком малочисленны для образования самостоятельного жизнеспособного государства. К тому же народы эти во многих случаях не гомогенны, а перемешаны, и между ними никогда прежде не было жестких фиксированных границ — ни «естественных», ни «искусственных». Добавим и то, что национальное самосознание у большинства таких народов пробудилось сравнительно недавно и отчасти по этой причине имеет нетерпимый, подчас агрессивный характер по отношению к окружающим народам. Сюда примешивается также разная религиозная принадлежность, различные уровни экономического и социально-политического развития, даже среди народов родственных по крови.

С распадом Советского Союза и так называемой «системы социализма» обострились пограничные вопросы чуть ли не по всему периметру бывшей разграничительной линии между Востоком и Западом. Продолжают оставаться неустоявшимися восточные границы Центральной Европы; полон нерешенных пограничных проблем Балканский полуостров, часть из которых новые, а часть тянется со времен распада Османской империи и Австро-Венгрии. Нерешенные проблемы границ сохраняются в Прибалтике; периодически обостряется вопрос об островах Южно-Курильской гряды. В связи

с событиями в Украине в начале 2014 года остро встал вопрос о статусе Крыма... В такой ситуации поиски приемлемых, компромиссных решений пограничных вопросов на основе опыта прошлого и с учетом современной ситуации приобретают особое значение.

Что касается географического аспекта пограничной проблемы, то он присущ ей имманентно, ибо граница — это тоже часть пространства. Тем не менее, нельзя не согласиться с тем же Керзоном, что прочность, справедливость и постоянство границ зависит не столько от их географических достоинств, сколько от согласия, достигнутого заинтересованными сторонами по их поводу.

Геополитическая структура современного мира

Выше говорилось о пространственной «сжатости», «спрессованности» современного мира как объективной предпосылки для развития геополитики в качестве самостоятельной дисциплины. Как-нибудь 50 лет назад наиболее важной, с точки зрения политической, экономической и стратегической, была европейская зона. Результат силовой борьбы в ней воздействовал и на баланс сил во всех других, так или иначе связанных с ней регионах мира. Тем не менее, всё же оставались достаточно удаленные уголки земного шара, куда звуки европейских политических и военных битв едва доносились. За последние 50 лет картина коренным образом изменилась. Сегодня ни одна часть планеты уже не может жить в изоляции от других частей. Отдельные регионы и государства сохраняют, конечно, свою автономность, но они не изолированы.

Вместе с тем силовые отношения из регионально-центричных превратились в глобальные. Это, как минимум, означает, что противоречия и столкновения между великими державами в одном месте планеты неизбежно вызывают силовые подвижки и изменения во всех других местах. Геополитические перемены в одной части земного шара как бы эхом прокатываются по всей планете, вызывая в той или иной ее части никем до той поры не предполагавшиеся реакции и сдвиги. В условиях возросшей политической, экономической и военно-стратегической взаимозависимости, которую вполне можно отождествить с географическим «уплотнением» пространства, ни один регион мира не является уже слишком отдаленным, чтобы не представлять стратегической значимости, и слишком изолированным, чтобы остаться вне силовых политических расчетов.

И тем не менее, даже в этом мире высокой и многосторонней взаимозависимости определенные географические регионы остаются политически приоритетными, как бы концентрируя в себе основную массу мировой политической энергии. Это хорошо видно не на плоской, а на сферической карте мира. Если взять за основу полюсную проекцию, то явственно выделяется одна существенная особенность, а именно: концентрация земельных масс в Северном полушарии и «звездное» их расхождение от полюса, как центра, в нескольких направлениях: от Северного полюса к Африке и крайней южной ее точке — мысу Доброй Надежды; затем к Южной Америке и, соответственно, — к мысу Горна и, наконец, к Австралии — к мысу Луин.

На карте видно, что северные континенты, с точки зрения океанических расстояний, находятся гораздо ближе друг к другу, чем континенты южные. Евразийская земная масса, северные части Африки и Австралии образуют три концентрические зоны, участвующие в мировой политике в понятиях следующих геополитических реалий: (1) «хартленд» северного континента, (2) окружающая буферная зона с маргинальными морями и (3) удаленные от центра южноафриканский, южноамериканский и австралийский континенты.

На этой проекции также наглядно видно, что северная половина Западного полушария и евразийская континентальная масса расположены симметрично по отношению друг к другу через три водных бассейна: Северный Ледовитый, Атлантический и Тихий океаны. Географическая реальность подкрепляется тут реальностью и политической: отношения между Северной Америкой (большую часть которой занимают Соединенные Штаты) и симметричным ему Евразийским континентом (большую часть которого занимает Россия) представляют собой *базовые направления современной мировой политики*. В то же время отношения между Южной Америкой, Австралией и Южной Африкой политически малозначимы.

Таков, в общем, вывод геополитика Спикмена, и с учетом некоторых несущественных поправок с ним можно, в принципе, согласиться⁵⁵. Все содержательные геополитические концепции современности так или иначе исходят из признания этих географических реальностей. Концепция Маккиндера и Фэргрива, равно как и немецкие геополитические доктрины, во многом еще европоцентричны, поскольку создавались в начале XX века, когда политической осью мира была Европа, а Соединенные Штаты пребывали еще в состоянии относительной изоляции. Но и они уже не могли полностью абстрагироваться от простершегося с запада на восток огромного континентального массива, получившего название «хартленд». «Хартленд» пугал своими

размерами, он был совершенно несопоставим с пространственной массой Западной и Центральной Европы, отягощенной слишком большой и не соответствующей ее размерам политической энергией. Огромная, тяжелая и в чем-то таинственная масса земли к востоку от Центральной Европы рождала у многих тревожные предчувствия, вылившиеся, в частности, в знаменитую маккиндеровскую формулу.

Как уже отмечалось, концепция Маккиндера появилась на свет несколько преждевременно: «хартленду» недоставало в то время адекватного противовеса. Им не могла быть даже Европа, а тем более Англия, чьи интересы, по сути дела, и выражала его формула — «хартленд» был для нее слишком велик.

К тому времени, когда появилась другая известная концепция — концепция Спикмена, геополитическая ситуация в мире существенным образом изменилась. Хотя в разгаре была мировая война с центром в Европе, уже было ясно, что на международную арену вышла новая сила глобального масштаба — Соединенные Штаты. И в их лице появился полновесный противовес континентальному «хартленду» в полном соответствии с одним из главных постулатов геополитики, предусматривающим в качестве основы мировой политики *борьбу континентальных и океанических держав*. В данном конкретном случае речь шла о Соединенных Штатах как океанической державе и Советском Союзе как державе, занимающей большую часть «хартленда».

Спикмен хорошо уловил происходящую геополитическую перемену в мире и предстоящую роль США в мировой расстановке сил, что отразилось соответствующим образом в его формуле, имеющей явный американский акцент. Не «хартленд», считал он, а *«римленд»* — вот главная ось истории. Да, тот самый «римленд», который, как цепью, охватывал «хартленд» с востока, юга и запада вдоль всего Великого морского пути. Тот самый «римленд», в который топографически затруднены доступы со стороны «хартленда», но который в то же время легко доступен и досягаем для океанической державы масштаба Соединенных Штатов. В новой расстановке сил, зримо обозначившейся к 1944 году, ни одна держава в мире, за исключением США, не могла себе позволить осуществить контроль над раскинувшимся на полсвета «римлендом».

«Кто контролирует римленд, тот господствует над Евразией...» Джорджи и в самом деле был прав, утверждая, что за геополитическими построениями Спикмена скрывались идеи интервенционизма и господства. Они были пронизаны духом Мэхэна, чьи казавшиеся когда-то чуть ли не безумными идеи стали зримо облекаться плотью военно-морской мощи Соединенных Штатов. Но те же идеи, по сути

дела, скрывались и за геополитическими построениями Маккиндера, только окрашены они были не в цвета звездно-полосатого флага, а в расцветку «Юнион Джека». В геополитике отдавать предпочтение национальным краскам и символам скорее правило, чем исключение. Что же касается идей интервенционизма и господства, они также суть естественный продукт силовой борьбы на уровне великих держав: меняются объекты, направления, методы, участники силовых отношений, но сама борьба остается, под какими бы вывесками она ни шла.

* * *

В полной мере всё это относится и к более близким к нам по времени концепциям, претендующим на создание «беспристрастной» геополитической модели мира. К их числу отнесем, прежде всего, исследование Коэна, вышедшее в свет в 1964 году под названием «География и политика в разделенном мире»⁵⁶.

Концепция Коэна в основе своей строится по общей схеме Спикмена: «*Хартленд VS Римленд*». Близость подходов особенно заметна в делении Коэном мира на *геостратегические* и *геополитические* регионы. Различие между теми и другими есть различие между глобальным и региональным пространственно-политическим масштабами.

Геостратегический регион — это совокупность связей и взаимоотношений в политической и экономически активной части мира, выраженная в понятиях местоположения, ориентации торговли, культурных и идеологических связей. Согласно Коэну, существенное значение для определения геостратегических регионов имеет контроль над стратегическими путями и проходами на земле и на море.

Геополитический регион представляет собой органическую часть первого. Он более компактен и ограничен географически и политически; взаимозависимость политических, экономических и торговых связей тут плотнее, и здесь есть все условия для силовой дифференциации и разветвления.

В современном мире Коэн видит только два геостратегических региона. В его терминологии — это (1) «*Зависящий-от-торговли морской мир*» и (2) «*Евразийский континентальный мир*».

Сердцевиной «Зависящего-от-торговли морского мира» является «морское кольцо Соединенных Штатов» с прямыми выходами к трем океанам.

Сердцевина «Евразийского континентального мира» — это российский промышленный район, охватывающий европейскую часть бывшего Советского Союза, Урал, Западную Сибирь и Северный Ка-

захстан. В рамках этих геостратегических регионов Западная Европа и континентальный Китай представляют силовые узлы второго порядка.

Что касается Южной Азии, она, по Коэну, вполне обладает всеми качествами отдельного геополитического региона и может быть признана таковым в ближайшем будущем⁵⁷.

В отличие от схемы Спикмена, где «римленд» представляет собой сплошной пояс, идущий по южному внешнему периметру «хартленда», у Коэна этот пояс разбит. Между двумя геостратегическими регионами он помещает два так называемых «разъединенных пояса» (Shatterbelts) — Ближний и Средний Восток и Юго-Восточную Азию.

«Разъединенный пояс» определяется им как большой, стратегически расположенный регион, занятый несколькими конфликтующими между собой государствами и находящийся в центре сталкивающихся интересов великих держав (в принятой мной терминологии его можно было бы назвать «узлом противоречий»)⁵⁸.

«Разъединенные пояса» Ближнего и Среднего Востока и Юго-Восточной Азии контролируют стратегически важные морские пути. Это обуславливает жизненную заинтересованность обоих геостратегических регионов в сохранении контроля над этими районами. Со времени окончания Второй мировой войны они продемонстрировали готовность бороться за сохранение или установление сфер своего влияния на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии, и стремление создать там плацдармы для расширения своего геополитического влияния.

Модель Коэна рисует, собственно, картину геополитического мира, уходящего в прошлое. В то же время она дает возможность острее почувствовать происходящие ныне сдвиги в геополитической ситуации. Прав был Хаусхофер, оценивая геополитику как гибкую, динамичную, меняющуюся концепцию. Взаимосвязь политико-географического положения государства и его геополитического видения особенно отчетливо вырисовывается сегодня, когда происходят коренные перемены в мировой геополитической ситуации. Главной причиной этого послужили драматические изменения в Советском Союзе и в Восточной Европе. Развал Советского Союза положил конец биполярной структуре межгосударственных отношений. В результате перестала действовать и прежняя система баланса сил как на глобальном, так и региональных уровнях. Соответственно, не могли не меняться и геополитические оценки.

Из геополитических регионов в качестве наиболее значимых Коэн выделяет три: 1) Англо-Америку и Карибы; 2) Морскую Европу и

Магриб и 3) Советский Союз и Восточную Европу. Самая тесная геополитическая взаимозависимость этих трех регионов нашла свое отражение не только во всех сколь-нибудь значимых геополитических концепциях XX столетия, но и в практической политике соответствующих государств.

Взаимозависимость эта кратко может быть выражена следующим образом: *всякое существенное геополитическое изменение в одном из указанных регионов с неизбежностью ведет к не менее существенным геополитическим изменениям в двух других. Существенные изменения в одном из них уже налицо (Советский Союз и Восточная Европа). Соответственно, произошли и продолжают происходить изменения в двух остальных.*

Соединенные Штаты, олицетворяющие один из двух геостратегических регионов, остаются единственной сверхдержавой и пытаются максимально использовать эту уникальную возможность для реализации своих геополитических задач, которые было невозможно решить в недалеком прошлом. В прежние времена «холодной войны» и «биполярного» мира основной заботой США и их союзников было стремление не дать советскому влиянию распространиться за пределы евразийского «хартленда» путем удержания примыкающих к морям и океанам маргинальных частей Евразии в политической орбите Запада. Эту задачу Западу, в общем, выполнить не удалось.

Однако происшедшие в последние годы перемены дали Соединенным Штатам редкую возможность вклиниться в быстро меняющийся евразийский геостратегический регион с целью оказания решающего воздействия на ход событий в нем в свою пользу. Раз и навсегда разрушить евразийский геостратегический монолит и с этой целью не допустить доминирования в Евразии какой бы то ни было одной державы и, прежде всего, России — вот основная геополитическая задача Соединенных Штатов, и она была достаточно прозрачно выражена в ряде выступлений и заявлений американских должностных лиц. Практическим ее подтверждением является ведущаяся дипломатией США открытая и скрытая игра на обозначившихся противоречиях между Россией, Украиной, Казахстаном и другими бывшими республиками Советского Союза в соответствии с извечным принципом политики баланса сил: поддерживать слабую сторону против более сильной, с тем чтобы закрыть последней пути для единоличного доминирования.

При всей значимости роли Соединенных Штатов в современной глобальной силовой структуре, с точки зрения геополитических изменений и их воздействия на будущее мира, наибольший интерес представляют все же два других региона: Западная Европа и евразийское пространство, занимаемое до недавней поры Советским Союзом.

Европа. Если в этой связи обратиться к Европе, то не может не бросаться в глаза одна особенность: ее континентальные очертания не имеют четких границ. Что касается Западной Европы, та вообще представляет лишь малую часть евразийского континентального массива — ее западный полуостров. Обозначить с достаточной точностью географические границы Западной Европы — дело довольно трудное, поскольку она не только и не столько часть земного пространства, сколько своего рода *цивилизационная общность* (об этом отчасти говорилось выше). Английский географ Лайд выразил это так:

«...Отделение Европы от Азии имеет скорее смысл исторический, нежели географический; смысл политический, нежели физический...»⁵⁹

Но даже и в этом смысле Европа не представляет в геополитическом отношении чего-то цельного: она издавна делится на Западную, Центральную и Восточную Европу, и это деление имеет отнюдь не поверхностно географический характер. Понятие «Европа» на деле наполнено глубоким геополитическим смыслом.

Козн в своей концепции выделяет в Европе так называемую Морскую Европу. Выделение это представляется, однако, весьма искусственным и спорным. То, что он называет Морской Европой, совпадает с тем, что на политическом языке издавна было принято называть Западной Европой, в которой отнюдь не все страны можно причислить к «морским». Но это — детали. Главное же в том, что на протяжении долгой истории решающей геополитической проблемой континента была граница между Западной и Восточной Европой. Многие столетия эта граница колебалась в пределах зоны постоянной политической нестабильности, простирающейся от Финляндии на севере до Греции на юге. Эта зона охватывала пространство, известное под названием Центральной Европы (*Mitteleuropa*). Географы рассматривали ее как часть Европы, лежащую между Рейном на западе и Россией и Балканами на востоке. Географически она включала и те государства, которые после Второй мировой войны стало принято называть Восточной Европой. К собственно же Восточной Европе географы относят европейскую часть России до Урала.

Здесь наглядна разница между географическим и геополитическим видением. Маккиндер уже в 1919 году говорил о «реальной Европе» как пространстве, разделенном между Восточной и Западной Европой. Для него Восточная Европа включала территорию от Эльбы до Урала. Ее «*приливно-отливные земли*» (выражение Жана Готтмана), лежащие между Германией и Россией, были в его глазах ключом к контролю над всей Восточной Европой. Маккиндер считал, что Европе между Рейном и Волгой нельзя позволить объединиться и что объединение это можно предотвратить созданием «срединного яруса» независимых государств от Финляндии до Черного моря⁶⁰. Вследствие геополитической катастрофы, связанной с развалом Советского Союза, это чисто теоретическое суждение стало превращаться в реальность, и ее роковые последствия уже начинают давать о себе знать. Об этом свидетельствуют драматические события в Украине, развернувшиеся в начале 2014 года. Поддержка Западом (прежде всего Соединенными Штатами) государственного переворота в феврале 2014 года, осуществленного правыми силами, — лучшее тому подтверждение. И здесь надо четко понимать, что солидарные действия западных государств — это действия *не за* Украину, а *против* России, с целью ослабить ее, свести ее роль в мире до второстепенного государства. Нет сомнений в том, что Украину никогда не примут в ЕС: под тяжестью собственных, практически неразрешимых проблем Европа не возьмет на себя обузу кормить ее. Для США же Украина представляет интерес главным образом с точки зрения геополитики.

* * *

Но вернемся к Центральной Европе, играющей особую роль в судьбе всей Европы. Падение ее роли как геополитической реальности началось еще вследствие расчленения Австро-Венгрии в 1918 году. Затем аннексия Австрии и Чехословакии в 1938 году и советско-германский пакт 1939 года привели к дальнейшему снижению ее роли. Вследствие войны и поражения Германии восточная ее треть отошла к «Евразийскому континентальному миру», а другие две трети — к Западной Европе. Этот раздел изменил европейскую геополитическую карту кардинальным образом.

Дело здесь и в том, что довоенная Германия, занимая центральное положение в Европе, одновременно тяготела как к Евразийскому континентальному миру, так и к Западной Европе, не примыкая в то же время полностью ни к первому, ни ко второй. Это неопреде-

ленное положение Германии во многом предопределило как собственную ее судьбу, так и судьбу Европы. Ее индустриальная западная часть, зависимая от европейской и мировой торговли, естественно ближе к Западной Европе; тогда как аграрно-промышленный восток, родина юнкеров и центр прусского милитаризма, всегда так или иначе тяготел к евразийскому континенту. Отсюда раздвоенность политической ориентации: с одной стороны, в ней обнаруживается прозападная и антивосточная сторона, с другой, наоборот, — антизападная и провосточная.

Как заметил в этой связи Коэн, Германия в геополитическом смысле — это «*вопросительный знак Европы*»⁶¹. Она перестала быть таковым после Второй мировой войны, разделившись на Западную и Восточную Германию, и вновь становится «вопросительным знаком» после объединения обеих этих частей. Отнюдь не случайно — с точки зрения геополитической — послевоенный раздел Германии представлялся многим западным политикам как оптимальный. «Железный занавес» провел четкую границу в той зоне Европы, которая была объектом постоянных ревизий и изменений в соответствии с меняющимися политическими, социальными и научно-техническими процессами (отсюда термин: «приливно-отливные земли»). Примечательны в этом смысле рассуждения того же Коэна:

«По крайней мере для нашего поколения геополитический дуализм Германии, кажется, закреплен. Границе Маккиндера, разделяющей Хартленд и Морскую Европу, вскоре после Второй мировой войны был придан политический статус... Мы чувствуем, что нынешний раздел Германии геополитически оправдан и стратегически необходим. С точки зрения Восточной Европы и Советского Союза потеря Восточной Германии в пользу объединенной и ориентированной на запад Германии представляла бы угрозу их безопасности, которая не может быть ими принята и, несомненно, приведет к войне... Но равным образом важна и другая сторона медали: единая Германия в рамках Евразийской континентальной орбиты разрушила бы экономическое и стратегическое существование Морской Европы, поскольку нынешняя ее интеграция зависит от участия Западной Германии. Несомненно, Запад пошел бы на риск войны, чтобы предотвратить подобный ход развития».

Продолжать поддерживать идею объединения Германии, заключает свои рассуждения Коэн, означало бы попасться в опасную стратегическую ловушку XX века. «Не будет мира в Европе, а потому не будет его и во всем мире, если мы не признаем необходимости ус-

тановления четкой границы между Западной морской силой и Евразийской континентальной силой в Европе»⁶².

Читать сегодня эти строки, содержание которых совсем недавно разделялось большинством трезвомыслящих политиков, особенно поучительно. Нет уже ни четкой границы, ни двух Германий, разделительная линия между которыми, подобно дамбе, почти 50 лет ставила предел геополитическим «приливно-отливным волнам». «Дамба» рухнула — рухнула, однако, не под давлением внутренних причин, а по причине внешним. Главным образом благодаря данному обстоятельству это не привело к войне между Западом и Востоком. Тем не менее, это событие породило добрый десяток национально-этнических и территориальных конфликтов, хотя и ограничило их внутренними пространствами Восточной Европы и бывшего Советского Союза.

Но и это еще не всё. С точки зрения будущих перспектив главным здесь является то обстоятельство, что между Западной Европой и единой теперь Германией, с одной стороны, и пространственно сократившейся Россией — с другой, вновь возникла полоса нестабильности. Исчезнувшая было *Mittleeuropa* снова появилась на карте мира, притом в более масштабном и опасном варианте. Теперь она состоит из широкой зоны, в которую, помимо прежних ее составных частей, добавились новые в лице Украины, Белоруссии, Молдовы. От такого расширения ее стабильность не только не стала устойчивее, но наоборот — стала еще более уязвимой и непрочной. Похоже, в геополитическом смысле Европа возвращается к худшим своим временам. И если Европейский союз под напором быстро нарастающих кризисных явлений в экономике и политике не выдержит и рухнет — а к этому всё идет — Европа вновь станет ареной острых и чреватых войной политических и экономических противоречий.

Что касается «санитарного кордона», то взгляды в прошлое говорят нам, что он не имел успеха главным образом вследствие неразрешимых противоречий между самими государствами, составлявшими «срединный ярус». Противоречия эти были слишком велики, чтобы их можно было преодолеть собственными силами, а потому малые государства искали поддержки либо у России, либо у Германии. Без поддержки Советского Союза они были беспомощны перед немецким экономическим и политическим давлением, и наоборот, без германской поддержки были бессильны перед советским прессингом.

Сегодня положение дел во многом напоминает картину давно прошедших лет. Оно усугубляется общей геополитической нестабильно-

стью в мире и неопределенностью на огромных пространствах бывшего Советского Союза, а также ослаблением России как противовеса Германии, баланс между которыми во все времена был фактором европейской стабильности. Россия же, в отличие от Советского Союза, уже не может выступать гарантом нерушимости послевоенных границ своих прежних соседей и союзников с запада — Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, и их территориальной целостности перед лицом деструктивных действий как изнутри, так и извне. К тому же она сама становится объектом территориальных претензий чуть ли не по всему своему периметру.

Тем временем, при всех трудностях переходного-объединительного периода, налицо быстрое превращение Германии в мощный центр силы в Европе, который по своему потенциалу, весу и влиянию уже опередил такие ведущие европейские державы, как Франция и Англия. Данное обстоятельство ведет и будет вести дальше к существенному перераспределению сил во всей Европе, к новой системе баланса сил с вероятностью повторения в новых формах традиционной европейской политики союзов и коалиций. В самом деле, объединенная Европа фактически уже «дышит на ладан». Всё свидетельствует о неминуемом ее развале. Когда это произойдет, с новой силой разгорится борьба за первенство между ведущими европейскими государствами — борьба, в которой все шансы на победу будут на стороне всё той же Германии. Тут, надо думать, многое будет зависеть от того, как будут складываться будущие отношения между Германией и Россией, при условии, что сама Россия сохранит свою идентичность и не развалится на «удельные княжества».

Есть еще одно важное геополитическое обстоятельство, и оно начинает всё явственнее проявлять себя. Дело в том, что серьезные геополитические изменения — а они, как правило, связаны либо с распадом больших государств или империй или, наоборот, с их образованием — сопровождаются двумя соответствующими процессами: интеграцией и дезинтеграцией. Они чередуются, сменяя друг друга в зависимости от происходящих геополитических перемен: интеграция уступает место дезинтеграции, чтобы через какой-то промежуток времени снова смениться интеграцией. Так, единая персоязычная цивилизация сменилась раздробленной эллино-македонской; ей на смену пришла опять единая римская цивилизация, которая распалась к середине V века. Ту же картину наблюдаем и в случае с империей Карла Великого, с Османской империей и т.д. Примерно до 1990 года в Европе энергично развивались интеграционные процессы, притом как на Западе, так и на Востоке...

Однако происшедший мировой геополитический коллапс, связанный с развалом могущественной державы современности — Советского Союза, определенно положил предел этим процессам. В тесном, взаимосвязанном мире, каковым является нынешний мир, никакие серьезные перемены не происходят изолированно: одни влекут за собой другие, *«мертвые хватают живых»*... *«Мертвый» Советский Союз предупреждает о нависшей над Европой опасности; «мертвый» СЭВ тащит за собой больное Европейское сообщество...*

В геополитическом смысле несомненным представляется одно: *объединение Германии, крушение «системы социализма» и развал Советского Союза, по сути своей, стали предвестниками близкого конца Европейского Сообщества.* Да, номинально оно еще живо, но это «жизнь» катящегося по инерции локомотива, у которого отказал двигатель. *Европейская интеграция фактически умерла уже 20 лет назад вместе со смертью Советского Союза,* и только недалёковидные политики могут еще наивно верить в ее будущее. Дело ведь в том, что с самого начала ЕС был совершенно искусственным образованием, обязанным своим созданием не внутренним, органическим причинам, а причинам внешним, политическим. У входящих в ЕС государств практически нет ничего общего ни в культурном, ни в политическом, ни в историческом аспектах. Вот почему стоило только исчезнуть внешней политической и экономической угрозе со стороны Советского Союза и его союзников, как исчез и главный побудительный мотив к интеграции. Мы уже видим, как буквально на наших глазах быстро расходятся интересы входящих в ЕС государств, и тут уже не помогут ни референдумы, ни заверения в преданности идее, ни широковещательные декларации, ни даже экономические меры со стороны той же Германии. Возникла принципиально иная геополитическая ситуация в Европе, в Евразии и в мире, и в ней нет места ни западноевропейской, ни восточноевропейской интеграции. Наступила пора дезинтеграционных процессов, пора «разбрасывать камни», по крайней мере на обозримое будущее. И мы уже сегодня видим, как по еще недавно казавшемуся прочным и незыблемым фундаменту Европейского союза побежали первые зловещие трещины.

Тот же Коэн, говоря о рождении в послевоенной Европе «регионального чувства», ставшего, по его мнению, основой последующего движения к интеграции, мотивирует его возникновение следующими причинами:

- 1) общими для всех экономическими восстановительными проблемами;

2) общим страхом перед военным и политическим давлением со стороны Советского Союза;

3) потерей многих зависимых территорий и связанным с ней сокращением больших внешних обязательств;

4) американской поддержкой программ европейской интеграции;

5) развитием производственной специализации;

6) контрразвитием восточноевропейских интеграционных программ;

7) внутренней, преимущественно европоцентристской ориентацией мышления европейских государственных деятелей и народов.

Однако, добавляет Коэн, — и это добавление существенно — тенденция к интеграции обязана своим возникновением изменениям в мировой силовой структуре. Две самые большие и мощные державы, возникшие на излете Второй мировой войны, были не европейскими. Чтобы Европе достичь подобного статуса, усилий отдельных государств было явно недостаточно. Отсюда идея интеграции в качестве определенной альтернативы⁶³.

Если взглянуть на перечень приведенных Коэном причин, то легко убедиться, что на сегодняшний день добрая их половина, притом наиболее значимых, вообще потеряла всякий смысл; вторая же половина, если и продолжает еще действовать, то с очень большими оговорками. Будь это в более спокойное и стабильное время, они, быть может, и подвигали бы потихоньку скрипящий корабль европейской интеграции в искомом направлении, но они не способны выстоять против мощных экономических и финансовых бурь, разразившихся ныне на огромных просторах Европы и Евразии. И мы видим, как первые «крысы» уже навестили уши и готовы бежать с давшего течь «европейского корабля».

* * *

Совершенно новая геополитическая ситуация создается и в Евразии. Следствие политики руководства Советского Союза в лице Горбачева и Ельцина, приведшей к развалу державы, Россия оказалась «задвинутой» в глубь евразийского континента, результатом чего стало существенное ухудшение ее геополитического положения. Между ней и Европой, как уже говорилось, образовалась широкая полоса нестабильности из вновь созданных независимых государств Прибалтики, Украины, Белоруссии, Молдовы, не считая бывших «социалистических» стран Восточной Европы, причем некоторые из них питают к России не самые лучшие чувства. Значи-

тельно ухудшились и ее доступы к открытым морям — а ведь за них она непрерывно боролась всю свою историю. Эта борьба имела совершенно четкие и ясные геополитические основания. В самом деле, как уже отмечалось, все главные реки России впадают либо в Северный Ледовитый океан, либо в «Каспийский тупик». Обеспечение элементарных жизненных потребностей — вот что побуждало Россию веками пробиваться к морям: без них она задыхается на своих замкнутых материковых просторах.

Более того, на прежних советских пространствах возникают ныне два новых геополитических региона: один по южному и юго-восточному периметру России с включением среднеазиатских и некоторых закавказских государств, другой — по юго-западному и западному периметру. Вследствие того, что именно там особенно сильны дезинтеграционные процессы, они представляют наибольшую угрозу с точки зрения стабильности и безопасности. Вполне можно ожидать, что дезинтеграционные процессы будут сопровождаться претензиями по территориальным вопросам и требованиями перекройки границ. Ослабление России активизировало и внешние силы, стремящиеся, пользуясь обстановкой, поправить за ее счет собственное геополитическое положение.

Существенные изменения в евразийском геостратегическом регионе эхом отзываются по всему его огромному пространству и ведут к активизации различных политических сил, стремящихся в обстановке общей неразберихи реализовать свои интересы, в том числе и геополитические. Всё это в совокупности вполне способно сдвинуть лавину геополитических изменений, и та может стать неуправляемой. Дело в этом случае не закончится изменением государственных границ одной лишь России или других сопредельных независимых государств — цепная реакция грозит распространиться на весь земной шар.

* * *

Итак, возникла реальная опасность того, что на геополитически разбалансированном пространстве Евразии может быть создан прецедент, который послужит прологом к повсеместному территориальному переделу мира и его ресурсов со всеми вытекающими из этого последствиями для всего мира. Одно из главных средств предотвращения такого хода развития видится в сохранении исконной геополитической роли России как гаранта мирового цивилизационного и силового баланса. Для этого, в свою очередь, требуется, прежде всего, сохранение и укрепление ее территориальной целостности и на-

ционального единства. Выше были изложены основные концепции, касающиеся особой роли «хартленда» в мировом геополитическом балансе — того самого «хартленда», основную часть которого пока еще продолжает занимать Россия. Она многие столетия упорно собирала пространства «хартленда» в единое целое, делая это не ради мирового господства, а прежде всего ради собственной безопасности и в то же время будто интуитивно выполняя предназначенную ей роль быть гарантом поддержания баланса сил в геополитически неустойчивом мире. Именно выполнение ею этой роли во все времена служило непреодолимым препятствием для тех держав, которые на деле стремились к мировому господству. Сегодня перед Россией реально встала угроза разъединения и раздробления на «удельные княжества». Некоторым невежественным и легковесным политикам как внутри России, так и вне ее это приносит даже удовлетворение. Однако те беды и несчастья — не только для России, но и для всего мира, — которые может вызвать раздробление «хартленда», не идут ни в какое сравнение с сиюминутными выгодами каких-то государств и тщеславной радостью политических геростратов.

Основываясь на приведенных выше соображениях, сегодня есть основание дать иную формулу «осевого» региона («хартленда»): *кто контролирует «хартленд», владеет средством эффективного контроля над мировой политикой и прежде всего средством поддержания глобального геополитического и силового баланса, без которых немислим стабильный мир.*

«Хартленд» не сможет выполнить эту балансирующую роль, если будет раздроблен на части. В этом случае он сам окажется в состоянии дисбаланса и хаоса, и оно может распространиться, подобно волнам, по всем направлениям во внешний от него мир. Отсюда проистекает главная геополитическая роль и задача России как центра «хартленда», и здесь именно лежат истоки и основания ее фундаментальных национально-государственных интересов.

Рост населения планеты как геополитический фактор

Выше я уже касался проблемы роста населения нашей планеты, однако, думается, проблема эта заслуживает специального внимания, поскольку в наше время она выходит на передний план и начинает оказывать существенное влияние на политику многих государств, в том числе и России.

Начну с простого и в то же время пугающего факта: за последние 100 лет население планеты выросло в 3,5 раза, и это несмотря на кровавые войны и прочие стихийные бедствия.

В.И. Вернадский в 30-е годы прошлого столетия писал:

«Сейчас количество человеческого населения на Земле достигло *небывалой* раньше цифры, приближающейся к *двум миллиардам* людей, несмотря на то, что убийство в виде войн и голод, недоедание, охватывающее непрерывно сотни миллионов людей, чрезвычайно ослабляет ход процесса»⁶⁴ (курсив мой. — Э.П.).

Количество человеческого населения на планете, считал ученый, можно с некоторой точностью учесть только с начала XIX века. Согласно весьма приблизительной оценке некоторых ученых, в 1800 году население планеты составляло примерно 850 миллионов человек. Согласно сегодняшним подсчетам, оно практически уже достигло *7 миллиардов* человек (за 200 лет более чем в 8 раз) и продолжает неуклонно возрастать.

Даже с учетом возможных ошибок динамика роста населения планеты вполне очевидна. Если за 100 с лишним лет, с 1800 до 1930 года население выросло примерно в 2,5 раза, то уже с 1930 года по настоящее время, то есть менее чем за 100 лет, — более чем в 3,5 раза (с 2 миллиардов до 7 миллиардов). Тут невольно вспомнишь *Мальтуса* с его расчетами соотношения между динамикой роста населения и количеством продуктов питания, способных его прокормить. Мальтус был, в общем, прав, формулируя свой закон соотношения роста населения Земли и средств жизнеобеспечения. Он только не совсем точно вывел численное выражение этого соотношения и, главное — не принял во внимание научно-технический прогресс, плоды которого также отразились на значительном росте средств жизнеобеспечения населения Земного шара. Не мог он учесть и успехов медицинских наук: они не только освободили человека от многих эпидемических заболеваний, которые в прежние времена были одним из естественных регуляторов роста численности населения, но и сократили детскую смертность, а также способствовали росту продолжительности жизни человека, особенно в развитых странах. В совокупности всё это способствовало быстрому абсолютному приросту населения Земли.

Вместе с ростом населения, как понятно, относительно меньше остается на Земле плодородной почвы, воды, угля, металлов, нефти, газа и прочих полезных ископаемых. Соответственно, всё ожес-

точнее становится борьба за обладание ими. Как результат, наш Земной шар, казавшийся еще совсем недавно безграничным, «скукожился» и делается из года в год всё теснее и теснее. Этот факт свидетельствует о том, что вся деятельность человека, направленная на прогресс во всех сферах жизни, на деле всё более и более скованоывает человеческую жизнь материально, опустошает ее духовно, наполняя ее своей конечной бессмысленностью. И если еще можно увеличить производство продуктов питания за счет всевозможных искусственных ингредиентов, то нельзя увеличить земное пространство, нельзя увеличить запасы воды, полезных ископаемых и энергоресурсов. Можно увеличить их добычу и производство, но не запасы. Людей на Земле явно становится слишком много, особенно в Азии и Африке, а это, как сами понимаете, чревато...

Феномен относительного перенаселения знаком людям издревле. Во все времена главным средством решения этой проблемы со стороны человека были войны и колонизация, то есть освоение (завоевание) новых земель и отток туда избыточного населения. Колонизацией активно занимались древние греки, римляне и многие другие народы. В этом отражается присущая природе общая тенденция, стремящаяся выровнять всё, что находится на разных уровнях, будь то разность давлений, температур, населения и т.д. В природе это выравнивание происходит стихийно. Человек же, вмешиваясь в природу, нарушает ее законы и тем самым создает для себя всё более сложные, а подчас и вовсе не разрешимые проблемы. Борясь с эпидемиями и болезнями, продлевая срок человеческой жизни, а тем самым увеличивая абсолютный прирост населения на планете, он порождает целый узел сложнейших и подчас неразрешимых проблем, с которыми ему же и придется иметь дело в самом ближайшем будущем. Что бы там ни говорили прогрессисты-оптимисты, но рано или поздно численность населения достигнет такого уровня, когда на нашей планете просто невозможно станет жить. И что тогда? — Вот тогда начнется форменное людоедство в разнообразных его видах и проявлениях... На что способен человек в такой ситуации, говорит вся его долгая и непростая история.

* * *

Одним из наиболее важных показателей растущей перенаселенности планеты являются идущие сейчас на Земле стихийные миграционные процессы, принявшие уже масштабный и необратимый характер. Их можно назвать формой ненасильственной, мирной экспансии.

Военная экспансия в наше время не только затруднительна, но и крайне опасна ввиду наличия небывалых по своей мощи средств уничтожения и разрушения. По этой же причине она стала слишком дорогой, а потому и нерентабельной. Место военной экспансии по необходимости заняла мирная экспансия — через миграцию любыми способами, как легальными, так и нелегальными. Объектами этой массовой миграции стали США, государства Европы, а теперь и Россия.

Относительно бедные страны чрезвычайно перенаселены, что создает для их населения неразрешимые проблемы с работой, получением образования, содержанием семьи... Люди всеми правдами и неправдами пытаются перебраться туда, где, как они надеются, можно получить необходимые жизненные средства для себя и своего потомства. И эта «ползучая», мирная экспансия стала одним из важнейших факторов жизни современного человечества — факторов, еще недостаточно оцененных с точки зрения его геополитических последствий. Именно по этим линиям сегодня происходит не просто «столкновение цивилизаций», а фактически мирное поглощение старых, ослабевших от сытости и отсутствия необходимости вести ежедневную борьбу за существование европейских народов народами Азии и Африки, которые вместе с политической свободой обрели и свободу от средств производства и связанных с ними жизненных благ. Экспансия нашла свое выражение в старых, как мир, законах геополитики, суть которых — захват или расширение жизненного пространства. Сегодня это обрело лишь новые формы, отвечающие современным условиям, а именно: массовая и неудержимая миграция из стран бедных в страны богатые и сытые, прежде всего в страны Европы, в США, а теперь и в Россию. Россию нельзя причислить к богатым странам, но после развала Советского Союза в ней произошла странная, на первый взгляд, метаморфоза: при относительной бедности большей части населения никто не желает трудиться на «непрестижной» работе: в коммунальном хозяйстве, в строительстве, в общественном транспорте, в торговле (особенно мелочной) и т.п. Образовавшиеся «лакуны» стали быстро заполнять «гастарбайтеры» из ближнего зарубежья, тогда как коренное население страны столь же быстро стало люмпенизироваться и деградировать. В Европе и США этот процесс идет еще более интенсивно, и мы, по сути дела, стоим перед фактом исчезновения старых европейских наций под ставшим уже неудержимым афро-азиатским демографическим напором.

Исследователи подсчитали, что при самом интенсивном земледелии планета наша может прокормить не более *10 миллиардов* человек. Продлим мысленно приведенную выше динамику роста населения и подсчитаем, в каком году население планеты достигнет этих самых 10 миллиардов? Очень даже скоро: не позже середины нынешнего столетия. Следовательно, абсолютное перенаселение Земли — проблема отнюдь не отдаленного будущего, а будущего самого ближайшего, и решать ее придется не далеким потомкам, а фактически нынешнему поколению людей. Нет никакого сомнения в том, что это «решение» породит комплекс политических, экономических, демографических и геополитических проблем, масштаб и сложность которых сейчас даже трудно себе вообразить.

В самом деле, рост населения в таких темпах вызовет соответствующий рост потребностей не только в продуктах питания, но в жилье, рабочих местах, энергоресурсах и просто в элементарном жизненном пространстве. Всё это будет провоцировать дальнейший рост миграционных процессов, притом в глобальном уже масштабе. Рост этот отчетливо обозначился уже в наши дни, проявляясь в виде стихийного выплеска лишнего населения, массовой миграции из районов с переизбытком населения в районы с относительно стабильным или сокращающимся числом населения. Такая «мирная» демографическая экспансия для многих государств Западной Европы уже превратилась в серьезную политическую проблему, связанную, помимо всего прочего, и с обеспечением внутренней безопасности и порядка.

Сегодня под этот поток попала и Россия. Для перенаселенных стран по всему южному периметру своих границ она, несомненно, представляет «землю обетованную». Огромные пространства незанятых, бесхозных, а то и просто заброшенных земель наверняка с каждым годом будут привлекать с их стороны все более пристальное внимание. Уже сейчас, пользуясь прозрачностью российских границ, недостаточной их защищенностью, в страну хлынули людские потоки, прежде всего из бывших южных и юго-восточных республик. Помимо просто несчастных людей, лишенных возможности заработать на жизнь у себя на родине, они включают преступников и авантюристов всех мастей, контрабандистов, наркоторговцев, всяких религиозных «миссионеров» как из ближнего, так и дальнего зарубежья, желающих «половить рыбку в мутной воде».

Нет сомнения, что по мере увеличения населения планеты потоки миграции будут нарастать, создавая многочисленные поводы для роста межэтнических противоречий, ксенофобии, конфликтных ситуаций как внутри государств, так и между ними. Помимо всего прочего,

растущая скученность населения может, в свою очередь, провоцировать возрождение старых эпидемических заболеваний и порождать новые, ранее неизвестные болезни (это, кстати, уже происходит). И конечно, всё это не обойдется без изменения положения человеческой личности в обществе в сторону быстрого снижения ее и без того сильно девальвированной ценности. Общественный по своей природе человек в скученной толпе отчужденных и равнодушных друг к другу людей, озабоченных лишь своими личными проблемами, станет еще более одиноким и невостребованным. Отсюда неминуем рост неврозов, психических заболеваний, алкоголизма и наркомании, самоубийств, преступности, притом в самых жестоких ее формах.

Я уже обращал внимание на невозможность некомпенсируемых процессов в развитии природных и социальных процессов. Вот весь тот *негатив*, который лишь частично обрисован выше, есть *компенсация*, или, если хотите, неизбежная плата за *позитив* — за комфорт и все прочие удовольствия и удобства, которые несет научно-технический и социальный прогресс. По мере же дальнейшего движения человечества по пути научно-технического прогресса *негатив* неизбежно, притом с нарастающим ускорением, начнет преобладать над *позитивом*.

Делать прогнозы, как известно, дело неблагодарное. К тому же человек, естественно, ожидает от науки только приятных для его чувствительного сердца выводов, способных как-то скрасить и без того нелегкое его существование и дать ему перспективу в жизни. Однако какими бы оптимистами ни быть, нельзя не признать, что население Земли не может расти беспредельно. Не могут также беспредельно расти возможности обеспечения людей энергоресурсами, водой, продуктами питания и прочими средствами жизнеобеспечения. Еще раз напомню, что дальнейший рост этих средств может происходить только за счет масштабного поглощения и разрушения биосферы Земли, а также загрязнения ее атмосферы. Другого источника роста попросту не существует. Всё это однажды может подвести человечество к той черте, за которой благоразумие, сдержанность, компромисс и прочие всегда считавшиеся достойными качества разумной политики могут оказаться бесполезными, и им на смену придет элементарный звериный инстинкт выживания и связанные с ним самые откровенные геополитические притязания. В главе VII я уже упоминал, что ряд западных политиков (в частности, Збигнев Бжезинский и Мадлен Олбрайт) не перестают подчеркивать, что обладание Россией богатыми энергоресурсами несправедливо и что ими должна распоряжаться не одна страна, а всё человечество (разумеется, под присмотром США). И это не просто чье-то личное мнение, а прямой

отголосок происходящих в мире реальных перемен (геополитических, демографических, социальных и иных).

Трагизм нашего времени заключается в том, что раскрепощенное человеческое мышление уже не в состоянии контролировать последствия своей многогранной и, как показывает весь опыт, далеко небезопасной деятельности. К этому надо добавить, что техника вместе с так называемыми высокими технологиями сделали нынче эзотерическими сферами, то есть плоды их деятельности практически неподконтрольны общественным институтам и скрыты от них. Механизация, автоматизация, а ныне уже компьютеризация и «интернетизация» мира создают ситуацию опаснейшего перенапряжения по всем направлениям, и оно может в любой момент вылиться во всякого рода катастрофы, непредсказуемые в принципе. Последние события в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Украине и отчасти в России — красноречивое тому свидетельство.

* * *

Разделенный на государства с различными интересами мир есть геополитическая реальность. Она постоянно меняется во времени и пространстве, сохраняя эту разделенность в различных ее комбинациях. Сегодня мы присутствуем при рождении еще одной комбинации, быть может, далеко не самой лучшей. Но какой бы она ни была, она тоже реальность, и было бы опасно преуменьшать, а тем более игнорировать те последствия физических и политических перемен, которые она уже принесла и еще принесет.

Геополитика для нас во многом еще *terra incognita**. Выше по необходимости кратко были изложены лишь основные этапы ее развития вместе с базовыми понятиями, категориями и положениями. Тем не менее, автор надеется, что даже из столь сжатого изложения читатель смог вынести для себя понимание всей значимости геополитических подходов для лучшего и более глубокого осмысления происходящих в мире процессов.

Геополитика, разумеется, не панацея; она — лишь одно из средств познания окружающего нас мира и воздействия на него, равно как и важный инструмент практической политики. Вот почему это средство необходимо знать и умело им пользоваться.

* Неизвестная земля; незнакомая область (*лат.*).

Примечания

- ¹ *Spykman N.J.* America's Strategy in World Politics. The United States and the Balance of Power. N.Y., 1942. P. 41.
- ² См.: *Strausz-Hupe R.* Geopolitics. The Struggle for Space and Power. N.Y., 1942. P. 8.
- ³ См.: *Spykman N.* America's Strategy in World Politics. P. 42.
- ⁴ *Ibid.* P. 255–256.
- ⁵ *Аристотель.* Политика. Кн. вторая. VII, 2 // Аристотель. Соч. В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 434–435.
- ⁶ Цит. по: *Cohen Saul B.* Geography and Politics in a Divided World. Lnd., 1964. P. 30–31.
- ⁷ *Gottman J.* The Political Partitioning of Our World. An Attempt at Analysis // Politics and Geographic Relationships. Towards a New Focus / Ed. by W.A. Douglas Jackson and Marwyn S. Samuels. Prentice Hall, N.J., 1971. P. 269.
- ⁸ См.: *Монтескьё III.* О духе законов // Монтескьё III. Избр. произв. М., 1955. С. 168.
- ⁹ См.: *Соловьев С.М.* История России. Кн. 1. М., 1959. С. 76–78.
- ¹⁰ *Ключевский В.О.* Курс русской истории // Ключевский В.О. Соч. В 9 т. М., 1987. Т. 1. С. 63.
- ¹¹ *Соловьев И.Л.* Народная монархия. М., 1991. С. 48, 69.
- ¹² См.: *Gyorgy A.* Geopolitics. The New German Science. Univ. of California Press, Berkeley, 1944. P. 152.
- ¹³ См.: *Strausz-Hupe R.* Geopolitics. P. 30–31.
- ¹⁴ См.: *Gyorgy A.* Geopolitics. P. 159.
- ¹⁵ Цит. по: *Dorpalen A.* The World of General Haushofer. Geopolitics in Action. N.Y., 1942. P. 52.
- ¹⁶ *Ibid.* P. 53.
- ¹⁷ См.: *Mackinder H.J.* Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction. N.Y., 1919. P. 11.
- ¹⁸ См.: *Mackinder H.J.* The Geographical Pivot of History // Geographical Journal. April, 1904. Vol. 23. No 4. P. 421–444.
- ¹⁹ Цит. по: *Dorpalen A.* The World of General Haushofer. P. 199–200.
- ²⁰ См.: *Fairgrieve J.* Geography and World Power, 8-th edn. N.Y., 1941. Ch. XVIII.
- ²¹ *Mackinder H.* Democratic Ideals and Reality. P. 186.
- ²² См.: *Strausz-Hupe R.* Geopolitics. P. 148.
- ²³ См.: *ibid.* P. 53.
- ²⁴ *Mahan A. T.* The Problem of Asia and Its Effects Upon International Policies, Boston, 1900; *idem.* Influence of Sea Power Upon History, 1660–1783. Boston, 1890.
- ²⁵ См.: *Spykman N.J.* America's Strategy in World Politics. P. 180–181.
- ²⁶ *Spykman N.* The Geography of the Peace. N.Y., 1944. P. 43.
- ²⁷ См.: *ibid.* P. 60–61.
- ²⁸ *Gyorgy A.* Geopolitics. P. 257–258.
- ²⁹ *Strausz-Hupe R.* Geopolitics. P. 195.
- ³⁰ См.: *Dorpalen A.* The World of General Haushofer. P. 31.
- ³¹ Цит. по: *ibid.* P. 224.
- ³² *Brzezinski Z.* America's New Geostrategy // Foreign Affairs. 1988. Spring. Vol. 66. No 4. P. 684.
- ³³ *Hartshorne R.* Political Geography in the Modern World // The Journal of Conflict Resolution. March, 1960. IV. No 1. P. 52.

- ³⁴ *Whittlesey D.* The Earth and the State. N.Y., 1944. P. 585.
- ³⁵ Цит. по: *ibidem*.
- ³⁶ *Cohen S.* Geography and Politics in a Divided World.. P. 6.
- ³⁷ Цит. по: *Dorpalen A.* The World of General Haushofer. P. 24.
- ³⁸ Цит. по: *ibid.* P. XII.
- ³⁹ См.: *ibid.* P. 24–25.
- ⁴⁰ *Kristof Ladis K.D.* The Origins and Evolution of Geopolitics // The Journal of Conflict Resolution. March, 1960. IV. No1. P. 36–37.
- ⁴¹ См. *Dorpalen A.* The World of General Haushofer. P. XII.
- ⁴² См.: *ibid.* P. 107.
- ⁴³ Цит. по: *Strausz-Hupe R.* Geopolitics. P. 219.
- ⁴⁴ См.: *ibid.* P. 196.
- ⁴⁵ См.: *Moodie A.E.* Geography Behind Politics. London, 1957. P. 163.
- ⁴⁶ См.: *Jones Stephen B.* Boundary Concepts in the Setting of Place and Time // Politics and Geographic Relationships. P. 128.
- ⁴⁷ См.: *Strausz-Hupe R.* Geopolitics. P. 204.
- ⁴⁸ См.: *ibid.* P. 208.
- ⁴⁹ См.: *ibid.* P. 215.
- ⁵⁰ См.: *Hartshorne R.* A Survey of the Boundary Problems of Europe // Geographic Aspects of International Relations / Ed. by Ch. Colby. Chicago. 1938. P. 164.
- ⁵¹ *Cohen S.* Geography and Politics in a Divided World. P. 191.
- ⁵² См.: *ibid.* P.190.
- ⁵³ См.: *Gyorgy A.* Geopolitics. P. 232.
- ⁵⁴ См.: *Strausz-Hupe R.* Geopolitics. P. 216, 241–242.
- ⁵⁵ См.: *Spykman N.* America's Strategy in World Politics. P. 180, 178.
- ⁵⁶ См.: *Cohen Saul B.* Geography and Politics in a Divided World. Lnd., 1964.
- ⁵⁷ См.: *ibid.* P. 63–65.
- ⁵⁸ См.: *ibid.* P. 83–85.
- ⁵⁹ *Lyde Lionel W.* The Continent of Europe. Lnd., 1926. P. 7.
- Не прошел мимо этого географического казуса и Освальд Шпенглер. По его мнению, историк поддается губительному предрассудку географии, когда принимает Европу за часть света. После этого он чувствует себя обязанным провести также соответствующую идеальную демаркацию, отделяющую ее от «Азии». «Слово “Европа”, — считает он, — следовало бы вычеркнуть из истории. Не существует никакого “европейца” как исторического типа» (*Шпенглер О.* Закат Европы. Т. 1. М., 1993. С. 162).
- ⁶⁰ См.: *Mackinder H.* Democratic Ideals and Reality. P. 157, 158.
- ⁶¹ См.: *Cohen S.* Geography and Politics in a Divided World. P. 78.
- ⁶² *Ibid.* P. 81, 83.
- ⁶³ См.: *ibid.* P. 151–152.
- ⁶⁴ *Вернадский В.И.* Научная мысль как планетное явление. М., 1991. С. 129.

Эльгиз Абдулович Поздняков

Философия политики

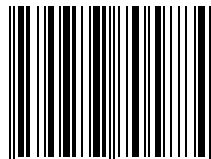
Редактор: *М.М. Беляев*
Художник: *В.Ю. Яковлев*
Верстка: *Е.А. Поташевская*
Корректор: *Ж.Ш. Арутюнова*

Подписано в печать 14.04.2014
Формат 60 x 90 ¹/₁₆ Печ. л. 34,0. Тираж 1000 экз.
Заказ №

ООО Издательство «Весь Мир»
Адрес: 125009, Москва,
ул. Моховая, д. 11, стр. 3в
Тел./факс: (495) 276-02-92
E-mail: info@vesmirbooks.ru
<http://www.vesmirbooks.ru>

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpk.ru. E-mail: marketing@chpk.ru
факс 8 (496) 726-54-10, тел. 8 (495) 988-63-87

ISBN 978-5-7777-0588-4



9 785777 705884